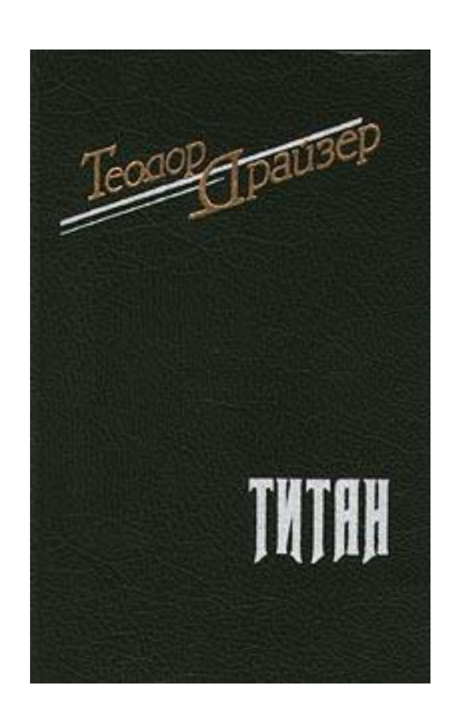
Драйзер Теодор

Титан



1. НОВЫЙ ГОРОД

Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из филадельфийской исправительной тюрьмы, он понял, что с прежней жизнью в родном городе покончено. Прошла молодость, а вместе с ней рассыпались прахом и его первые дерзкие финансовые замыслы. Придется все начинать сначала.

Не стоит повторять рассказ о том, как новая паника, последовавшая за грандиозным банкротством фирмы «Джей Кук и Кь», принесла Каупервуду новое богатство. После этой удачи его ожесточение несколько улеглось. Сама судьба, казалось, пеклась о нем. Однако карьера биржевого спекулянта внушала ему теперь непреодолимое отвращение, и он решил отказаться от нее раз и навсегда. Лучше заняться чем-нибудь другим: городскими железными дорогами, скупкой земельных участков — словом, умело использовать все безграничные возможности, которые сулит Запад. Филадельфия ему опротивела. Пусть он свободен и снова богат, но ему не избежать злословия лицемеров, так же как не проникнуть в финансовые и светские круги местного общества. Он должен идти своим путем один, ни на кого не рассчитывая, ибо если кто-нибудь из старых друзей и захочет помочь ему, то предпочтет сделать это втайне и следить за его действиями издалека. Все эти соображения побудили Каупервуда уехать. Его очаровательная любовница — ей едва исполнилось двадцать шесть лет — провожала его на перроне. Каупервуд с удовольствием смотрел на нее; она была олицетворением той красоты, которая всегда волновала его в женщинах.

— Ну, до свиданья, дорогая, — сказал он ей с ободряющей улыбкой, когда раздался звонок. — Скоро все наши неприятности кончатся. Не грусти. Через две-три недели я вернусь или ты приедешь ко мне. Я бы и сейчас взял тебя с собой, но я еще не знаю, как он выглядит, этот Запад. Мы решим, где нам поселиться, и тогда ты увидишь, умею ли я добывать деньги. Не вечно же нам жить как прокаженным. Я добьюсь развода, мы поженимся, и все будет хорошо. С деньгами не пропадешь.

Он посмотрел ей в глаза спокойным, испытующим взглядом, а она, сжав ладонями его лицо, воскликнула:

— Как я буду скучать без тебя, Фрэнк! Ведь ты для меня все!

— Через две недели я вернусь или пришлю телеграмму, — улыбаясь, повторил Каупервуд, когда поезд тронулся. — Будь умницей, детка.

Она ответила ему взглядом, полным обожания; избалованное дитя, всеобщая любимица в семье, натура страстная, пылкая, преданная, — Эйлин принадлежала к тому типу женщин, который не мог не нравиться столь сильному человеку, как Каупервуд. Потом она тряхнула копной рыжевато-золотистых волос, послала ему вдогонку воздушный поцелуй и, круто повернувшись, пошла широким, уверенным шагом, слегка покачивая бедрами; все встречные мужчины заглядывались на нее.

— Видал? — кивнул один станционный служащий другому. — Та самая — дочь старика Батлера. Нам бы с тобой такую, неплохо, а?

То была невольная дань восторга, которую зависть и вожделение неизменно платят здоровью и красоте. А страсти эти правят миром.

До этой поездки Каупервуд никогда не бывал на Западе далее Питсбурга. Финансовые операции, которыми он занимался, при всем их размахе, преимущественно протекали в косном и ограниченном мире филадельфийских дельцов, известном своей кастовостью, притязаниями на первое место в социальной иерархии и на руководящую роль в коммерческой жизни страны, своими традициями, наследственным богатством, приторной респектабельностью и теми вкусами и привычками, которые из всего этого вытекают. Он почти завоевал этот чопорный мирок, почти проник в его святая святых, он уже был всюду принят, когда разразилась катастрофа. Теперь же он — бывший каторжник, всеми отверженный, хотя и миллионер. «Но погодите! В беге побеждает тот, кто проворней всех, — твердил он себе. — В борьбе — самый ловкий и сильный. Еще посмотрим, кто кого одолеет. Не так-то просто его растоптать».

Чикаго открылся его взору внезапно на вторые сутки. Каупервуд провел две ночи среди аляповатой роскоши пульмановского вагона тех времен, в котором неудобства возмещались плюшевыми обивками и изобилием зеркального стекла; наконец под утро стали появляться первые уединенные форпосты столицы прерий. Путей становилось все больше и больше, а паутина проводов на мелькавших в окне телеграфных столбах делалась все гуще и плотнее. На подступах к городу там и сям торчали одинокие домишки рабочих — жилище какого-нибудь предприимчивого смельчака, поставившего свою лачугу на голом месте в надежде пусть на маленький, но верный доход, который принесет ему этот клочок земли, когда город разрастется.

Вокруг стлалась гладкая, как скатерть, равнина со скудной порослью порыжевшей прошлогодней травы, слабо колыхавшейся на утреннем ветру. Но местами пробивалась и молодая зелень — знамя наступающего обновления, предвестник весны. Воздух в этот день был необычайно прозрачен, и сквозь его чистый хрусталь неясные очертания далекого города проступали словно контуры мухи в янтаре, волнуя путника тонким изяществом рисунка. Коллекция картин, собранная Каупервудом и затем пущенная с молотка в Филадельфии, доставила ему столько радостей и огорчений, что он пристрастился к живописи, решил стать настоящим знатоком и научился понимать красоту, когда встречал ее в жизни.

Железнодорожные колеи разветвлялись все шире. На путях стояли тысячи товарных вагонов, желтых, красных, синих, зеленых, белых, пригнанных сюда со всех концов страны. В Чикаго, вспомнилось Каупервуду, словно меридианы к полюсу, сходятся тридцать железнодорожных линий. Низенькие деревянные одноэтажные и двухэтажные домики, как видно недавно отстроенные и часто даже неоштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порою и грязи. У переездов, где скапливались вагоны конки, фургоны, пролетки с налипшей на колесах глиной, внимание Каупервуда привлекли прямые, немощеные улицы, неровные, в ямах и выбоинах тротуары: тут — ступеньки и аккуратно утрамбованная площадка перед домом, там — длинный настил из досок, брошенных прямо в грязь девственной прерии. Ну и город! Внезапно показался рукав грязной, кичливой и самонадеянной речонки Чикаго. По ее черной маслянистой воде, пофыркивая, бойко сновали буксиры, вдоль берегов возвышались красные, коричневые, зеленые элеваторы, огромные желто-рыжие штабели леса и черные горы антрацита.

Жизнь тут била ключом — он это сразу почувствовал. Строящийся город бурлил и кипел. Даже воздух здесь, казалось, был насыщен энергией, и Каупервуду это пришлось по душе. Как тут все непохоже на Филадельфию! Тот город тоже по-своему хорош, и когда-то он представлялся Каупервуду огромным волшебным миром, но этот угловатый молодой великан при всем своем безобразии был неизмеримо лучше. В нем чувствовались сила и дерзание юности. Поезд остановился, пока разводили мост, чтобы пропустить в оба направления с десяток груженных лесом и зерном тяжелых барж, и в ярком блеске утреннего солнца, лившегося в просвет между двумя грудами каменного угля, Каупервуд увидел у стены лесного склада группу отдыхавших на берегу ирландских грузчиков. Бронзовые от загара, могучие здоровяки в красных и синих жилетках, подпоясанные широкими ремнями, с короткими трубками в зубах — они были великолепны. «Чем это они мне так понравились?» — подумал Каупервуд. Каждый уголок этого грубого, грязного города был живописен. Все здесь, казалось, пело. Мир был молод. Жизнь создавала что-то новое. Да стоит ли вообще ехать дальше на северо-запад? Впрочем, это он решит после.

А пока ему надо навестить нескольких влиятельных чикагских дельцов, к которым у него имелись рекомендательные письма. Нужно встретиться и потолковать со здешними банкирами, хлеботорговцами, комиссионерами. Его интересовала чикагская фондовая биржа; все тонкости биржевых махинаций он знал насквозь, а в Чикаго заключались самые крупные сделки на хлеб.

Прогремев по задворкам невзрачных домишек, поезд, наконец, остановился у одного из многочисленных дощатых перронов. Под грохот выгружаемых сундуков и чемоданов, пыхтение паровозов, гомон снующих взад и вперед пассажиров Каупервуд выбрался на Канал-стрит и подозвал кэб, — они стояли здесь целой вереницей, свидетельствуя о том, что Чикаго — город отнюдь не провинциальный. Каупервуд велел везти себя в «Грэнд-Пасифик». Это была самая дорогая гостиница, где останавливались только состоятельные люди, и потому он уже заранее решил избрать именно ее. Дорогой он внимательно рассматривал улицы, словно картины, которые хотел бы купить. Навстречу ему попадались желтые, голубые, зеленые, белые и коричневые вагончики конки; их тащили, позвякивая колокольчиками, заморенные, худые, как скелет, клячи, и это зрелище позабавило Каупервуда. Вагончики были совсем дрянные

— просто ярко размалеванные фанерные ящики с вставленными в них стеклами и приделанными кое-где блестящими медными побрякушками, но он понимал, что, когда город разрастется, на конке можно будет нажить миллионы. Городские железные дороги были его призванием. Ни маклерские операции, ни банкирская контора, ни даже крупная игра на бирже не привлекали его так, как городские железные дороги, открывавшие широчайшие возможности для хитроумных манипуляций.

2. РАЗВЕДКА

Чикаго — город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда! Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции Западных штатов? Город, подобный ревущему пламени, город — символ Америки, город-поэт в штанах из оленьей кожи, суровый, неотесанный Титан, Берне среди городов! На берегу мерцающего озера лежит этот город-король в лохмотьях и заплатах, город-мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, — бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Еврипида. Город-бард — о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция! Италия, восхваляй свой Рим! Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века! Сюда, дивясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из Западных штатов и Восточных. Здесь голодные и алчущие труженики полей и фабрик, носясь с мечтой о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи.

Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хемпшира, Мэна стекался сюда странный, разношерстный люд; решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией, все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел фантазер-мечтатель, лишившийся своего родового поместья на Юге; исполненный надежд питомец Йельского, Гарвардского или Принстонского университета; вольнолюбивый рудокоп Калифорнии и Скалистых гор, с мешочком серебра или золота в руках.

Уже стали появляться и растерянные иностранцы — венгры, поляки, шведы, немцы, русские. Смущенные незнакомой речью, опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности, они селились колониями, чтобы жить среди своих.

Здесь были проститутки, мошенники, шулеры, искатели приключений par excellence! [note 1] Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века и пировали всласть в этом чудо-городе — центре Западных штатов.

В Чикаго Каупервуд прежде всего отправился к одному из наиболее видных дельцов — председателю правления крупнейшего в городе банка, «Лейк-Сити Нейшнл», вклады которого превышали четырнадцать миллионов долларов. Банк помещался на Дирборн-стрит, в Мунро, всего в двух-трех кварталах от гостиницы, где остановился Каупервуд.

— Узнайте, кто этот человек, — приказал мистер Джуд Эддисон, председатель правления, своему секретарю, увидев входившего в приемную Каупервуда.

Кабинет был устроен так, что мистер Эддисон, не вставая из-за своего письменного стола, мог видеть сквозь внутреннее окно всякого, кто входил к нему в приемную, прежде чем тот видел его, и волевое, энергическое лицо Каупервуда сразу привлекло к себе внимание банкира. Каупервуд в любых обстоятельствах умел держаться уверенно и непринужденно, чему немало способствовало его длительное и тесное общение с миром банковских дельцов и прочих финансовых воротил. Для своих тридцати шести лет он был на редкость проницателен и умудрен житейским опытом. Любезный, обходительный, он вместе с тем всегда умел поставить на своем. Особенно обращали на себя внимание его глаза — красивые, как глаза ньюфаундленда или шотландской овчарки, и такие же ясные и подкупающие. Взгляд их был то мягок и даже ласков, исполнен сочувствия и

понимания, то вдруг твердел и, казалось, метал молнии. Обманчивые глаза, непроницаемые и в то же время чем-то влекущие к себе людей самого различного склада.

Секретарь, выполнив распоряжение, вернулся с рекомендательным письмом, а следом за ним вошел и сам Каупервуд.

Мистер Эддисон невольно привстал — он делал это далеко не всегда.

— Рад познакомиться с вами, мистер Каупервуд, — учтиво произнес он. — Я обратил на вас внимание, как только вы вошли в приемную. У меня тут, видите ли, окна устроены так, чтобы я мог все обозревать. Присядьте, пожалуйста, может быть вы не откажетесь от хорошего яблочка? — Он выдвинул левый ящик стола, вынул оттуда несколько блестящих красных яблок и протянул одно из них Каупервуду. — Я каждое утро съедаю по яблоку.

— Нет, благодарю вас, — вежливо отвечал Каупервуд, внимательно приглядываясь к нему и стараясь распознать характер этого человека и глубину его ума. — Я никогда не ем между завтраком и обедом, премного благодарен. В Чикаго я проездом, но решил, не откладывая, явиться к вам с этим письмом. Я полагаю, что вы не откажетесь рассказать мне вкратце о вашем городе. Я ищу, куда бы повыгоднее поместить капитал.

Пока Каупервуд говорил, Эддисон, грузный, коренастый, краснощекий, с седеющими каштановыми бакенбардами, пышно разросшимися до самых ушей, и колючими серыми блестящими глазками, — благополучный, самодовольный, важный, — жевал яблоко и задумчиво разглядывал посетителя. Эддисон, как это нередко бывает, привык с первого взгляда составлять себе мнение о том или ином человеке и гордился своим знанием людей. Как ни странно, но этот расчетливый делец с удивительным для него легкомыслием сразу пленился Каупервудом, личностью куда более сложной, чем он сам, — и не потому, что Дрексел писал о нем, как о «бесспорно талантливом финансисте», который, обосновавшись в Чикаго, может принести пользу городу, — нет, Эддисона загипнотизировали необыкновенные глаза Каупервуда. Несмотря на его внешнюю сухость, в Каупервуде было что-то располагающее, и банкир не остался к этому нечувствителен; оба они, в сущности, были что называется себе на уме

— только филадельфиец обладал умом, дальновидностью и коварством в несравненно больших размерах. Эддисон, усердный прихожанин своей церкви и примерный гражданин на взгляд местных обывателей, был, попросту говоря, ханжа. Каупервуд же всегда брезговал носить такую маску. Каждый из них стремился взять от жизни все, что мог, и каждый на свой лад был жесток и беспощаден. Но Эддисон не мог тягаться с Каупервудом, ибо им всегда владел страх: он боялся, как бы жизнь не выкинула с ним какой-нибудь штуки. Его собеседнику этот страх был неведом. Эддисон умеренно занимался благотворительностью, внешне во всем придерживался тупой, общепринятой рутины, притворялся, что любит свою жену, которая ему давно опостылела, и тайком предавался незаконным утехам. Человек же, сидевший сейчас перед ним, не придерживался никаких установленных правил, не делился своими мыслями ни с кем, кроме близких ему лиц, которые всецело находились под его влиянием, и поступал только так, как ему заблагорассудится.

— Видите ли, мистер Каупервуд, — сказал Эддисон, — мы здесь, в Чикаго, такого высокого мнения о наших возможностях, что иной раз боишься сказать то, что думаешь, — боишься, как бы тебя не сочли чересчур самонадеянным. Наш город — вроде как младший сын в семье, который уверен, что он всех может заткнуть за пояс, да не хочет пробовать свои силы до поры до времени. Его нельзя назвать красавцем — он угловат, как все подростки, — но мы знаем, что он еще выравняется. Каждые полгода этот молодчик вырастает из своих штанов и башмаков, из своей шапки и курточки и не может поэтому выглядеть франтом, но под неказистой одеждой у него крепкие кости и упругие мускулы, и вы не замедлите убедиться в этом, мистер Каупервуд, как только присмотритесь к нему поближе. Вы поймете, что внешность большой роли не играет.

Круглые глазки мистера Эддисона сузились, взгляд его на мгновение стал еще более колючим. В голосе зазвучали металлические нотки. Каупервуд понял, что Эддисон поистине влюблен в свой город: Чикаго был ему дороже всякой любовницы. Вокруг глаз банкира побежали лучистые морщинки, рот обмяк, и лицо расплылось в улыбке.

— Рад буду поделиться с вами всем, что знаю, — продолжал он. — У меня есть о чем порассказать.

Каупервуд поощрительно улыбнулся в ответ. Он стал расспрашивать о развитии различных отраслей промышленности, о состоянии торговли и ремесел. Обстановка здесь была иная, нежели в Филадельфии. В Чикаго чувствовалось больше широты, больше простора. Стремление к росту, к использованию всех местных возможностей было типичным для Западных штатов, что уже само по себе нравилось Каупервуду, хотя он и не решил, стоит или не стоит принять участие в этой деятельной жизни. Но так или иначе, она благоприятствовала его планам. Каупервуду предстояло еще избавиться от клейма бывшего арестанта и освободиться от жены и двоих детей; только юридически, разумеется, — у него не было намерения бросить их на произвол

судьбы. Деятельный, молодой и смелый Средний Запад скорее мог простить ему ту дерзость, с какою он игнорировал современный кодекс морали и отказывался ему подчиняться. «Мои желания — прежде всего» — было девизом Каупервуда, но чтобы жить согласно этому девизу, необходимо было преодолевать предрассудки других и уметь противостоять им. Каупервуд почувствовал, что сидящий перед ним банкир если и не стал воском в его руках, то все же склонен вступить с ним в дружеские и весьма полезные для него отношения.

— Ваш город произвел на меня очень благоприятное впечатление, мистер Эддисон, — помолчав, сказал Каупервуд, прекрасно сознавая, впрочем, что его слова не вполне соответствуют истине; он не был уверен, что у него когда-нибудь хватит духу обосноваться среди этих строительных лесов и котлованов. — Я видел его лишь из окна вагона, но мне понравилось, что жизнь здесь у вас бьет ключом. По-моему, у Чикаго большое будущее.

— Вы, насколько я понимаю, прибыли через форт Уэйн и, следовательно, видели худшую часть города, — сказал мистер Эддисон спесиво. — Разрешите мне показать вам более благоустроенные кварталы. Кстати, где вы остановились?

— В «Грэнд-Пасифик».

— И долго рассчитываете пробыть в Чикаго?

— Дня два, не больше.

— Позвольте, — мистер Эддисон вынул из кармана часы. — Вы не откажетесь, вероятно, познакомиться кое с кем из наиболее влиятельных людей нашего города? Мы все обычно завтракаем в клубе «Юнион-Лиг». У нас там свой кабинет. Если вы ничего не имеете против, пойдемте со мной. Я собираюсь туда к часу дня, и мы, несомненно, застанем там кого-нибудь из наших коммерсантов, крупных предпринимателей, судей и адвокатов.

— Вот и отлично, — сразу согласился филадельфиец. — Вы очень любезны. Я непременно буду сегодня в клубе «Юнион-Лиг». Но раньше мне хотелось бы повидаться еще кое с кем… — Каупервуд поднялся и взглянул на свои часы.

— Кстати, вы не могли бы указать мне, где находится контора «Арнил и Кь»?

При имени этого богача, оптового торговца мясом и одного из крупнейших вкладчиков его банка, Эддисон одобрительно закивал головой. В столь молодом еще дельце — Каупервуд был по меньшей мере лет на восемь моложе его самого — банкир сразу почуял будущего финансового магната.

После свидания с мистером Арнилом — осанистым, величественным, настороженно-неприязненным — и беседы с изворотливым и хитрым директором биржи Каупервуд отправился в клуб «Юнион-Лиг». Там он застал довольно пестрое общество: люди самых разных возрастов — от тридцати пяти до шестидесяти пяти лет — завтракали за большим столом в отдельном кабинете, обставленном массивной резной мебелью из черного ореха; со стен на них смотрели портреты именитых чикагских горожан, а окна пестрели цветными стеклами — своеобразное притязание на художественный вкус. Среди сидевших за столом были люди дородные и тощие, высокие и приземистые, темноволосые и блондины; очертанием скул и выражением глаз некоторые напоминали тигра или рысь, другие — медведя, третьи — лисицу; попадались угрюмые бульдожьи физиономии и лица снисходительно-величественные, смахивавшие на морды английских догов. Только слабых и кротких не было в этой избранной компании.

Мистер Арнил и мистер Эддисон — проницательные, изворотливые и целеустремленные дельцы — понравились Каупервуду. Помимо них, его заинтересовал Энсон Мэррил — маленький, сухопарый, изысканно вежливый человечек, утонченный облик которого, казалось, свидетельствовал о праздной жизни нескольких поколений и невольно наводил на мысль о поместьях и ливрейных лакеях. Эддисон шепнул Каупервуду, что это знаменитый мануфактурный король и крупнейший оптово-розничный торговец в Чикаго.

Другой знаменитостью, остановившей на себе внимание Каупервуда, был мистер Рэмбо, железнодорожный магнат и начинатель этого дела в Чикаго. Обращаясь к нему, Эддисон сказал с веселой улыбкой:

— Мистер Каупервуд прибыл сюда из Филадельфии, горя желанием оставить у нас часть своего капитала. Вот вам удобный случай сбыть с рук ту никудышную землю, которую вы скупили на Северо-Западе.

Рэмбо, бледный, худощавый, с черной бородкой и быстрыми точными движениями, одетый, как успел заметить Каупервуд, с большим вкусом, чем другие, внимательно оглядел его и учтиво улыбнулся сдержанной, непроницаемой улыбкой. В ответ он встретил взгляд, надолго оставшийся у него в памяти. Глаза Каупервуда говорили красноречивее слов. И мистер Рэмбо, вместо

того чтобы отделаться ничего незначащей шуткой, решил рассказать ему кое-что о Северо-западе. Быть может, это заинтересует филадельфийца.

Для человека, только что вышедшего из трудной схватки с жизнью, испытавшего на себе все проявления благонамеренности и двоедушия, сочувствия и вероломства со стороны тех, кто в каждом американском городе вершит все дела, — для такого человека отношение к нему заправил другого города значит и очень много и почти ничего. Каупервуд уже давно пришел к мысли, что человеческая природа, вне зависимости от климата и всех прочих условий, везде одинакова. Самой примечательной чертой рода человеческого было, по его мнению, то, что одни и те же люди, смотря по времени и обстоятельствам, могли быть великими и ничтожными. В редкие минуты досуга Каупервуд — если только он и тут не был погружен в практические расчеты — любил поразмыслить над тем, что же такое, в сущности, жизнь. Не будь он по призванию финансистом и к тому же оборотистым предпринимателем, он мог бы стать философом крайне субъективистского толка, хотя занятия философией неизбежно должны были казаться человеку его склада довольно никчемными. Призвание Каупервуда, как он его понимал, было в том, чтобы манипулировать материальными ценностями, или, точнее, их финансовыми эквивалентами, и таким путем наживать деньги. Он явился сюда с целью изучить основные нужды Среднего Запада, — иными словами, с целью прибрать к рукам, если удастся, источники богатства и могущества и тем самым упрочить свое положение. У дельцов, с которыми он встретился утром, Каупервуд успел почерпнуть нужные ему сведения о чикагских бойнях, о доходах железнодорожных и пароходных компаний, о чрезвычайном вздорожании земельных участков и всякого рода недвижимости, об огромном размахе спекуляции зерном, о растущих барышах владельцев отелей и скобяных лавок. Он услышал о деятельности различных промышленных компаний: одна из них строила элеваторы, другая — ветряные мельницы, третья выпускала вагоны, четвертая — сельскохозяйственные машины, пятая — паровозы. Любая новая отрасль промышленности находила для себя благодатную почву в Чикаго. Из беседы с одним из членов правления Торговой палаты, к которому у него тоже имелось рекомендательное письмо, Каупервуд узнал, что на чикагской бирже почти не ведется операций с местными акциями. Сделки заключались главным образом на пшеницу, маис и всякого рода зерно. Акциями же предприятий Восточных штатов местные дельцы оперировали только на нью-йоркской бирже, используя для этой цели арендованные телеграфные линии.

Присматриваясь к этим людям, — все они были чрезвычайно учтивы и любезны, и каждый, тая про себя свои обширные замыслы и планы, ограничивался лишь общими, ни к чему не обязывающими замечаниями, — Каупервуд думал о том, как он будет принят в этой компании. На его пути стояло немало препятствий. Никто из этих господ, которые были с ним так предупредительны, не знал, что он недавно вышел из тюрьмы. В какой мере могло это обстоятельство повлиять на их отношение к нему? Никто из них не знал также, что он оставил жену и двоих детей и добивался развода, чтобы сочетаться браком с некоей молодой особой, уже присвоившей себе фактически роль его супруги.

— Так вы серьезно намерены побывать на Северо-Западе? — с нескрываемым интересом спросил под конец завтрака мистер Рэмбо.

— Да, я думаю съездить туда, как только покончу здесь с делами.

— В таком случае разрешите познакомить вас с людьми, которые могут быть вашими попутчиками. Большинство из них — здешние жители, но есть и несколько приезжих из Восточных штатов. Мы едем в четверг специальным вагоном, одни до Фарго, другие до Дулута. Буду очень рад, если вы присоединитесь к нам. Сам я еду до Миннеаполиса.

Каупервуд принял предложение и поблагодарил. Затем последовала обстоятельная беседа о пшенице, скоте, строевом лесе, стоимости земельных участков, о неограниченных возможностях для открытия новых предприятий — словом, обо всем, чем манил к себе дельцов Северо-Запад. Разговор вертелся главным образом вокруг городов Фарго, Миннеаполиса и Дулута; обсуждались перспективы их промышленного роста, дальнейшего размещения капитала. Мистер Рэмбо, которому принадлежали железные дороги, уже изрезавшие вдоль и поперек этот край, твердо верил в его будущее. Каупервуд, с полуслова улавливая и запоминая все, что ему было нужно, получал весьма ценные сведения. Городские железные дороги, газ, банки и спекуляция земельными участками — вот что всегда и везде особенно привлекало к себе его внимание.

Наконец он ушел, так как ему предстояло еще несколько деловых встреч, но впечатление, произведенное его личностью, не изгладилось с его уходом. Мистер Эддисон, например, и мистер Рэмбо были искренне убеждены в том, что такого интересного человека им давно не приходилось встречать. А ведь он почти ничего не говорил — только слушал.

3. ВЕЧЕР В ЧИКАГО

Посетив Эддисона в банке и отобедав затем запросто у него дома, Каупервуд пришел к выводу, что с этим финансистом не следует кривить душой. Эддисон был человеком влиятельным, с большими связями. К тому же он положительно нравился Каупервуду. И вот, побывав, по совету мистера Рэмбо в Фарго, Каупервуд на пути в Филадельфию снова заехал в Чикаго и на другой же день с утра отправился к Эддисону, чтобы рассказать ему, смягчив, разумеется, краски, о своих филадельфийских злоключениях. От Каупервуда не укрылось впечатление, произведенное им на банкира, и он надеялся, что мистер Эддисон посмотрит на его прошлое сквозь пальцы. Он рассказал, как филадельфийский суд признал его виновным в растрате и как он

отбыл срок наказания в Восточной исправительной тюрьме. Упомянул также о предстоящем ему разводе и о своем намерении вступить в новый брак.

Эддисон, человек не столь сильной воли, хотя по-своему тоже достаточно упорный, подивился смелости Каупервуда и его уменью владеть собой. Сам он никогда не отважился бы на такую отчаянную авантюру. Эта драматическая повесть взволновала его воображение. Он видел перед собой человека, который, по-видимому, еще так недавно был унижен и втоптан в грязь, и вот он уже снова на ногах — сильный, решительный, уверенный в себе. Банкир знал в Чикаго многих, весьма почтенных и уважаемых горожан, чье прошлое не выдержало бы слишком пристального изучения. Однако никого это не беспокоило. Некоторые из этих людей принадлежали к наиболее избранному обществу, другие не имели в него доступа, но все же обладали большим весом и влиянием. Почему же не дать Каупервуду возможности начать все сначала? Банкир снова внимательно поглядел на гостя; крепкий торс, красивое, холеное лицо с маленькими усиками, холодный взгляд… Мистер Эддисон протянул Каупервуду руку.

— Мистер Каупервуд, — сказал он, тщательно подбирая слова, — не буду говорить, как я польщен доверием, которое вы мне оказали. Я все понял и рад, что вы обратились ко мне. Не стоит больше толковать об этом. Когда я впервые увидел вас у себя, я почувствовал, что вы — человек незаурядный. Теперь я в этом убедился. Вам не нужно оправдываться передо мной. Я, как-никак, недаром пятый десяток живу на свете — жизнь меня кое-чему научила. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме и почетным клиентом в моем банке. Посмотрим, как сложатся обстоятельства, будущее само подскажет нам, что следует предпринять. Я был бы рад, если бы вы поселились в Чикаго, хотя бы уже потому, что вы сразу пришлись мне по душе. Если вы решите обосноваться здесь, я уверен, что мы будем полезны друг другу. А теперь — не думайте больше о прошлом, я же, со своей стороны, никогда и ни при каких обстоятельствах не стану о нем упоминать. Вам еще предстоит борьба, я желаю вам удачи и готов оказать всяческую поддержку, поскольку это в моих силах. Итак, забудьте о том, что вы мне рассказали, и, как только ваши семейные дела уладятся, приезжайте в гости и познакомьте нас с вашей женой.

Покончив с делами, Каупервуд сел в поезд, отправлявшийся в Филадельфию.

— Эйлин, — сказал он своей возлюбленной, встречавшей его на вокзале, — по-моему, Запад — это то, что нам с тобой нужно. Я проехал вплоть до Фарго и побывал даже в его окрестностях, но нам, пожалуй, не стоит забираться так далеко. Кроме пустынных прерий и индейцев, мне ничего не удалось там обнаружить. Что бы ты сказала, Эйлин, — добавил он шутливо, — если бы я поселил тебя в дощатой хибарке и кормил гремучими змеями на завтрак и сусликами на обед? Пришлось бы это тебе по вкусу?

— Конечно! — весело отвечала она, крепко сжимая его руку. — Если бы ты это выдержал, так выдержала бы и я. С тобой я поеду хоть на край света, Фрэнк. Я закажу себе красивый индейский наряд, весь разукрашенный бусами и кусочками кожи, и головной убор из перьев — ну, знаешь, такой, как они носят, — и…

— Так я и знал! Ты верна себе! Главное — туалеты, даже в дощатой лачуге. Ничего с тобой не поделаешь.

— Ты бы очень скоро разлюбил меня, если бы я не заботилась о туалетах,

— смеясь, отвечала Эйлин. — Ох, как я рада, что ты вернулся!

— Беда в том, — улыбаясь, продолжал Каупервуд, — что места эти не кажутся мне столь многообещающими, как Чикаго. Придется нам, как видно, поселиться в этом городе. Правда, часть капитала я разместил в Фарго, — значит, время от времени нужно будет наведываться и туда, но обоснуемся мы все-таки в Чикаго. Я не хочу никуда больше ездить один. Мне это надоело, — он сжал ее руку. — Если нам не удастся вскоре добиться развода, я просто представлю тебя в обществе как мою жену, вот и все.

— А что, от Стеджера нет известий? — спросила Эйлин.

Стеджер, поверенный Каупервуда, добивался у миссис Каупервуд согласия на развод.

— Нет, ни слова.

— Дурной признак, верно? — вздохнула Эйлин.

— Ничего, не огорчайся. Могло быть и хуже.

Каупервуду вспомнились дни, проведенные в филадельфийской тюрьме, и Эйлин подумала о том же. Затем он принялся рассказывать ей о Чикаго, и они решили при первой возможности переселиться туда, в этот западный город.

О последующих событиях в жизни Каупервуда скажем вкратце. Прошло около трех лет, прежде чем он, покончив, наконец, со своими делами в Филадельфии, окончательно переселился в Чикаго. Эти годы были заполнены поездками из Восточных штатов в Западные и обратно. Сначала Каупервуд бывал главным образом в Чикаго, но затем стал все чаще наведываться в Фарго, где Уолтер Уэлпли, его секретарь, руководил строительством торгового квартала, прокладкой линии городской железной дороги и организацией ярмарки. Все эти многообразные начинания объединялись в одном предприятии, именовавшемся Строительной и транспортной компанией, во главе которой стоял Фрэнк Алджернон Каупервуд. На мистера Харпера Стеджера, филадельфийского адвоката Каупервуда, было возложено заключение контрактов.

Поселившись на некоторое время в Чикаго, Каупервуд снял номер в отеле «Тремонт», ограничиваясь пока что, — ввиду ложного положения Эйлин, — лишь краткими деловыми встречами с теми влиятельными лицами, с которыми он свел знакомство в свой первый приезд. Он внимательно приглядывался к чикагским биржевым маклерам, подыскивая солидного компаньона, уже имеющего свою контору, человека не слишком притязательного и честолюбивого, который согласился бы посвятить его в дела чикагской биржи и ее заправил и ввел бы в курс местной деловой жизни. Как-то раз, отправляясь в Фарго, Каупервуд взял с собой Эйлин, и она свысока, с беспечной и скучающей миной смотрела на молодой, строящийся город.

— Нет, ты только взгляни, Фрэнк! — воскликнула Эйлин, увидав простое бревенчатое здание четырехэтажной гостиницы. Длинная, неказистая улица в торговом квартале, где склады кирпича уныло перемежались со складами лесоматериалов, произвела на нее удручающее впечатление. Не лучше были и другие части города. Вдоль немощеных улиц зияли пустотой каркасы недостроенных домов. — Неужели ты всерьез думал поселиться здесь? — Эйлин, разряженная, как всегда, в пух и прах, тщеславная, самоуверенная, в модном щегольском костюме, являла странный контраст с озабоченными, суровыми, равнодушными к своей внешности жителями этого нового, буйно растущего города.

Эйлин недоумевала, где же она будет блистать, когда, наконец, пробьет ее час? Допустим даже, что Фрэнк страшно разбогатеет, станет куда богаче, чем был когда-то. Какой ей от этого прок здесь? В Филадельфии до своего банкротства, когда никто еще не подозревал о ее связи с ним, он начал было устраивать блестящие приемы. Будь она в то время его женой, ее бы с распростертыми объятиями приняло избранное филадельфийское общество. Но здесь, в этом городишке… Боже милостивый! Эйлин с отвращением сморщила свой хорошенький носик.

— Какая мерзкая дыра! — больше у нее ничего не нашлось сказать о самом молодом, самом кипучем городе Запада.

Зато Чикаго, с его шумной и день ото дня все более суетливой жизнью, пришелся ей по душе. Каупервуд хотя и был всецело поглощен своими финансовыми махинациями, все же не забывал и об Эйлин — заботился о том, чтобы она не скучала в одиночестве. Он просил ее ездить по магазинам и покупать все, что вздумается, а потом рассказывать ему о том, что она видела, и Эйлин делала это с превеликим удовольствием — разъезжала по городу в открытом экипаже, нарядная, красивая, в широкополой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей ее бело-розовую кожу и червонное золото волос. Иногда вечерами Каупервуд возил ее кататься по главным улицам города. Когда Эйлин впервые увидела простор и богатство Прери-авеню, Норс-Шор-Драйв, Мичиган авеню и новые, окруженные зелеными газонами, особняки на бульваре Эшленд, она точно так же, как и Каупервуд, почувствовала, что по жилам у нее пробежал огонек, — мечты, надежды, дерзания этого города зажгли ей кровь. Все эти роскошные дворцы были отстроены совсем недавно. И все заправилы Чикаго, подобно ее Фрэнку, лишь недавно стали богачами. Эйлин как будто даже забыла о том, что она еще не жена Каупервуда, и чувствовала себя его законной супругой. Улицы, окаймленные красивыми тротуарами из желтовато-коричневых плит, обсаженные молодыми деревцами; зеленые, гладко подстриженные газоны; серые, посыпанные скрипучим щебнем мостовые; чуть колеблемые июньским ветерком кружевные занавеси в окнах, защищенных от солнца пестрыми полотняными маркизами, — все это волновало воображение Эйлин. Как-то раз они катались по берегу озера, и она, глядя на молочно-голубую с зеленоватым отливом воду, на чаек, на белеющие вдали паруса и новые нарядные дома вдоль берега, мечтала о том, что когда-нибудь станет хозяйкой одного из таких великолепных особняков. О, как важно будет она себя держать тогда, как роскошно одеваться! Они построят себе шикарный дом, в сто раз лучше того, что был у Фрэнка в Филадельфии. Дом-дворец, с огромным бальным залом и огромной столовой, и они с Фрэнком будут давать в нем балы и обеды и как равные равных принимать у себя всех чикагских богачей!

— Как ты думаешь, Фрэнк, будет у нас когда-нибудь такой же красивый дом? — спросила она, изнемогая от зависти.

— Вот слушай, что я надумал, — отвечал Каупервуд. — Если тебе нравится этот район, мы купим участок на Мичиган авеню, но строиться подождем. А как только в Чикаго у меня появятся прочные связи и я решу, чем мне тут заняться, мы построим

себе прекрасный дом, будь покойна. Прежде всего нужно уладить это дело с разводом и тогда уж начинать новую жизнь. А до тех пор, если мы хотим обосноваться здесь, нам лучше не привлекать к себе внимания. Ты согласна со мной?

Время близилось к шести часам, ослепительный летний день еще не начал угасать, но зной спал, тень от домов на западной стороне улицы легла на мостовую, и воздух был теплый и ароматный, как подогретое вино. По улице длинной вереницей катились нарядные экипажи — катанье было любимой утехой чикагского «света» и для многих едва ли не единственной возможностью щегольнуть своим богатством (социальные прослойки города определились еще не достаточно четко). В позвякивании упряжи — металлической, серебряной и даже накладного золота — слышался голос успеха или упования на успех. По этой улице, одной из главных артерий города, — Виа Аппиа его южной части,

— спешили домой из деловых кварталов, с фабрик и из контор все ретивые охотники за наживой. Богатые горожане, лишь изредка встречавшиеся друг с другом на деловой почве, обменивались любезными поклонами. Нарядные дамы и молодые щеголи, дочери и сыновья чикагских богачей, или их красавицы-жены

— в кабриолетах, колясках и новомодных ландо устремлялись к деловой части города, чтобы отвезти домой утомившихся за хлопотливый день мужей или отцов, друзей или родственников. Здесь царила атмосфера успеха, надежд, беспечности и того самоуспокоения, которое порождается материальными благами, их обладанием. Послушные выхоленные чистокровные рысаки проносились, обгоняя друг друга, по длинной, широкой, окаймленной газонами улице, мимо роскошных особняков, самодовольно кичливых, выставляющих напоказ свое богатство.

— О-о! — вскричала Эйлин при виде всех этих сильных, уверенных в себе мужчин, красивых женщин, элегантных молодых людей и нарядных девиц, улыбающихся, веселых, обменивающихся поклонами, всего этого удивительного и показавшегося ей столь романтическим мира. — Я бы хотела жить в Чикаго. По-моему, здесь даже лучше, чем в Филадельфии.

При упоминании о городе, где он, несмотря на всю свою изворотливость, потерпел крах, Каупервуд крепко стиснул зубы, и его холеные усики, казалось, приобрели еще более вызывающий вид. Пара, которой он правил, была поистине бесподобна — тонконогие, нервные животные, избалованные и капризные. Каупервуд терпеть не мог жалких непородистых кляч. Когда он правил, держась очень прямо, в нем виден был знаток и любитель лошадей, и его сосредоточенная энергия как бы передавалась животным. Эйлин сидела рядом с ним, тоже выпрямившись, горделивая и самодовольная.

— Правда, недурна? — заметила одна из дам, когда коляска Каупервуда поравнялась с ее экипажем.

«Что за красотка!» — думали мужчины, и некоторые даже выражали эту мысль вслух.

— Видела ты эту женщину? — восторженно спросил один мальчик-подросток у своей сестры.

— Будь покойна, Эйлин, — сказал Каупервуд с той железной решимостью, которая не допускает и мысли о поражении, — мы тоже найдем свое место здесь. Верь мне, у тебя в Чикаго будет все, что ты пожелаешь, и даже больше того.

Все его существо в эту минуту, казалось, излучало энергию, и она, словно электрический ток, передавалась от кончиков его пальцев — через вожжи — лошадям, заставляя их бежать все резвее. Кони горячились и фыркали, закидывая головы.

У Эйлин распирало грудь от обуревавших ее желаний, надежд, тщеславия. О, скорей бы стать миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, хозяйкой роскошного особняка здесь, в Чикаго! Рассылать приглашения, которыми никто не посмеет пренебречь, приглашения, равносильные приказу!

«Ах, если бы… — вздохнула она про себя. — Если бы все это уже сбылось… скорей бы!»

Так жизнь, возведя человека на вершину благополучия, продолжает и там дразнить и мучить его. Впереди всегда остается что-то недосягаемое, вечный соблазн и вечная неудовлетворенность.

О жизнь, надежды, юные года!

Мечты крылатые! Все сгинет без следа.

4. «ПИТЕР ЛАФЛИН И Кь»

Компаньон, которого в конце концов подыскал себе Каупервуд в лице опытного старого маклера Торговой палаты Питера Лафлина, не оставлял желать ничего лучшего. Лафлин, длинный, как жердь, сухопарый старик, большую часть жизни провел в Чикаго, куда он явился еще совсем мальчишкой из штата Миссури. Это был типичный чикагский маклер старой школы, очень напоминавший лицом покойного президента Эндрю Джексона, и такой же долговязый, как Генри Клей, Дэви Крокет и «Длинный Джон» Уэнтворт.

Каупервуда с юности почему-то привлекали чудаки, да и они льнули к нему. При желании он мог приспособиться к любому человеку, даже если тот отличался большими странностями. В пору своих первых паломничеств на Ла-Саль-стрит Каупервуд справлялся на бирже о лучших агентах и, желая к ним приглядеться, давал им разные мелкие поручения. Таким образом он напал однажды на Питера Лафлина, комиссионера по продаже пшеницы и кукурузы. У старика была собственная небольшая контора неподалеку от биржи. Он спекулировал зерном и акциями восточных железных дорог и выполнял подобные операции по поручениям своих клиентов. Лафлин, сметливый, скуповатый американец, предки которого, вероятно, были выходцами из Шотландии, обладал всеми типично американскими недостатками: он был неотесан, груб, любил сквернословить и жевал табак. Каупервуд с первого же взгляда понял, что Лафлин должен быть в курсе дел всех сколько-нибудь видных чикагских коммерсантов и что уже по одному этому старик для него находка. Кроме того, по всему было видно, что человек он прямодушный, скромный, непритязательный, — а эти качества Каупервуд ценил в компаньоне превыше всего.

За последние три года Лафлину раза два сильно не повезло, когда он пытался самолично организовать «корнеры»; и на бирже сложилось мнение, что старик робеет, проще говоря, стал трусоват. «Вот такой-то мне и нужен!» — решил Каупервуд и однажды утром отправился к Лафлину, чтобы открыть у него небольшой счет.

Входя в его просторную, но запущенную и пропыленную контору, Каупервуд услышал, как старик говорил совсем еще юному и необычайно сосредоточенному и мрачному с виду клерку — на редкость подходящему помощнику для Питера Лафлина:

— Сегодня, Генри, возьмешь мне акциев Питсбург — Ири. — Заметив стоявшего в дверях Каупервуда, Лафлин повернулся к нему: — Чем могу служить?

«Так он говорит „акциев“. Недурно! — подумал Каупервуд и усмехнулся. — Старикан начинает мне нравиться».

Каупервуд представился как приезжий из Филадельфии и сказал, что интересуется чикагскими предприятиями, охотно купит любые солидные бумаги, имеющие шансы на повышение, но особенно желал бы приобрести контрольный пакет какой-нибудь компании — предпочтительно предприятий общественного пользования, размах деятельности которых с ростом города будет, несомненно, расширяться.

Старик Лафлин, — ему уже стукнуло шестьдесят, — член Торговой палаты и обладатель капитала тысяч в двести по меньшей мере, с любопытством взглянул на Каупервуда.

— Кабы вы, сударь мой, заявились сюда этак лет десять или пятнадцать назад, вам легко было бы вступить в любое дело. Тут и газовые общества учреждали — их прибрали к рукам эти молодчики, Отвей и Аперсон, — тут и конку тогда проводили. Я сам надоумил Эди Паркинсона взяться за постройку линии на Северной Стэйт-стрит, доказал ему, что на ней можно зашибить немало денег. Он мне посулил тогда пачку акциев, если дело выгорит, да так ничего и не дал. Я, впрочем, на это и не рассчитывал, — благоразумно добавил он и покосился на Каупервуда. — Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. А теперь и его самого оттуда вытеснили. Шайка Майкла и Кеннеди ободрала его как липку. Да, годков десять — пятнадцать назад можно было живо конку к рукам прибрать. А сейчас и думать нечего. Сейчас акции продаются по сто шестьдесят долларов штучка. Вот как, сударь мой!

Каупервуд любезно улыбнулся.

— Сразу видно, мистер Лафлин, что вы давно на чикагской бирже. Вы так хорошо осведомлены даже о том, что здесь происходило десятки лет назад.

— С самого тысяча восемьсот пятьдесят второго года, сударь, мой, да-с,

— отвечал старик.

Густые жесткие волосы щетинились у него надо лбом наподобие петушиного гребня, длинный и острый подбородок сильно выдавался вперед навстречу большому с горбинкой носу, скулы резко выступали над впалыми и желтыми, как пергамент, щеками. А глаза были зоркие и пронзительные, как у рыси.

— По правде говоря, мистер Лафлин, — продолжал Каупервуд, — главная цель моего приезда в Чикаго — подыскать себе компаньона. Я сам занимаюсь банковскими и маклерскими операциями на Востоке. У меня собственная фирма в Филадельфии, я член нью-йоркской и филадельфийской фондовых бирж. Есть у меня кое-какие дела и в Фарго. Любая банкирская контора даст вам исчерпывающие сведения обо мне. Вы член здешней Торговой палаты и, по всей вероятности, ведете операции на нью-йоркской и филадельфийской биржах. Новая фирма, если только вы пожелаете войти со мной в компанию, могла бы заниматься всем этим непосредственно на месте. В Чикаго я человек новый, но я располагаю порядочным капиталом и вообще думаю здесь обосноваться. Не согласитесь ли вы стать моим компаньоном? Мы, пожалуй, уживемся в одной конторе, как по-вашему?

Когда Каупервуд хотел кому-нибудь понравиться, он имел обыкновение соединять ладони и постукивать кончиками пальцев друг о друга; при этом он улыбался, вернее сказать, сиял улыбкой — столько тепла и как будто даже приязни светилось в его глазах.

А Питер Лафлин под старость начал тяготиться своим одиночеством и очень желал, чтобы кто-нибудь пришел к нему с подобным предложением. Не решившись доверить ни одной женщине заботу о своей несколько своеобразной особе, он остался холост. Женщин он не понимал, все его отношения с ними ограничивались тем низменным и жалким развратом, который покупается за деньги, а на такие траты Лафлин никогда не был особенно щедр. Жил он в западной части города на Харрисон-стрит, занимал три крохотные комнатки и, случалось, сам себе стряпал. Единственным его другом и товарищем был маленький спаниель, бесхитростное и преданное животное, — сучка по кличке Дженни, которая всегда спала у него в ногах. Дженни была очень понятлива, кротка и послушна; весь день она терпеливо просиживала в конторе, дожидаясь старика, а вечером они вместе отправлялись домой. Лафлин разговаривал со своим спаниелем совсем как с человеком — пожалуй даже более откровенно, принимая за ответы преданный взгляд собачьих глаз и виляние хвоста. Он не любил долго нежиться в постели и обычно вставал часов в пять, а то и в четыре утра, натягивал на себя брюки (ванну он уже давно отвык принимать, приурочивая мытье к стрижке в парикмахерской) и начинал беседовать с Дженни.

— Вставай, Дженни, — говорил он. — Пора вставать. Сейчас мы с тобой заварим кофе и сядем завтракать. Думаешь, я не вижу, что ты давно проснулась и только прикидываешься, будто спишь. Пора, пора, вставай. Хватит валяться. Не позднее моего вчера легла.

А Дженни умильно косилась на него, постукивала хвостиком по кровати и чуть-чуть пошевеливала ухом.

Когда же Лафлин был совсем готов — умыт, одет, его старый скрученный в веревочку галстук повязан свободным и удобным узлом, а волосы тщательно зачесаны кверху, — Дженни проворно соскакивала с кровати и принималась бурно прыгать по комнате, словно говоря: «Смотри, как я быстро».

— Ну, конечно, — притворно ворчал Лафлин. — Всегда последняя. Хоть бы ты разок, Дженни, поднялась первой. Так нет же, пусть, мол, старик сначала встанет.

В сильные холода, когда коченели уши и пальцы, а колеса конки пронзительно взвизгивали на поворотах, Лафлин, облачившись в заношенное драповое пальто старинного покроя и нахлобучив шапку, сажал Дженни в темно-зеленый мешок, где уже лежала пачка акций, составлявших на данный день предмет его размышлений и забот, и ехал в город. Иначе Дженни не пустили бы в вагон. Но обычно старик шел пешком со своей собачкой: ходьба доставляла ему удовольствие. В контору он являлся рано, в половине восьмого — в восемь, хотя занятия начинались только с девяти, и просиживал там до пяти вечера; если посетителей не было, он читал газеты или что-нибудь вычислял и подсчитывал, а не то, свистнув Дженни, шел прогуляться или заходил к кому-нибудь из знакомых дельцов. Биржа, контора, улица, отдых дома и вечерняя газета — вот все, чем он жил. Театр, книги, картины, музыка его не интересовали вообще, а женщины интересовали только весьма односторонне. Ограниченность его кругозора была столь очевидна, что для такого любителя чудаков, как Каупервуд, он действительно был находкой. Но Каупервуд только пользовался слабостями подобных людей, — вникать в их душевную жизнь ему было некогда.

Как Каупервуд и предполагал, Лафлин был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось финансовой жизни Чикаго, дельцов и сделок, выгодных комбинаций, возможностей помещения капитала, а то немногое, чего старик не знал, — как обычно потом оказывалось, и знать не стоило. Прирожденный коммерсант, он, однако, был начисто лишен организаторских и административных способностей и потому не мог извлечь для себя никакой пользы из своих знаний и опыта. К барышам и убыткам Лафлин относился довольно хладнокровно. Понеся урон, он только щелкал пальцами и повторял: «Эх, черт, незачем мне было ввязываться!» А оставшись в барыше или твердо рассчитывая на таковой, блаженно улыбался, жевал табак и в разгаре торга вдруг выкрикивал: «Спешите, ребятки! Пользуйтесь случаем!» Его трудно было втянуть в какую-нибудь мелкую биржевую спекуляцию; он выигрывал и терял, только когда игра была крупной и шла в открытую или когда он проводил какую-нибудь хитроумную комбинацию собственного изобретения.

Каупервуд и Лафлин к соглашению пришли не сразу, хотя в общем довольно быстро. Старик хотел хорошенько подумать, несмотря на то, что Каупервуд понравился ему с первого взгляда. Собственно говоря, уже с самого начала было ясно, что он

станет жертвой и послушным орудием Каупервуда. Они встречались изо дня в день и обсуждали подробности соглашения, пока, наконец, Лафлин, верный своей природе, не потребовал себе равной доли в деле.

— Ну, полноте! Я же знаю, что вы это говорите не всерьез, Лафлин, — мягко заметил Каупервуд.

Разговор происходил в кабинете Лафлина под конец делового дня, и старик с упоением жевал табак, чувствуя, что ему сегодня предстоит разрешить весьма интересную задачу.

— У меня место на нью-йоркской бирже, — продолжал Каупервуд, — это одно уже стоит сорок тысяч долларов. Затем место на филадельфийской, которое ценится выше, чем ваше здесь. Это, как вы сами понимаете, основной актив фирмы. Она будет оформлена на ваше имя. Но я не стану скупиться. Вместо трети, которая вам по-настоящему причитается, я дам вам сорок девять процентов, и фирму мы назовем «Питер Лафлин и Кь». Вы мне нравитесь, и я уверен, что вы будете мне очень полезны. Не беспокойтесь, со мной вы заработаете больше, чем зарабатывали без меня. Я мог бы, конечно, найти себе компаньона среди этих молодых франтиков на бирже, но не хочу. Словом, решайте, и мы немедленно приступим к работе.

Лафлин был чрезвычайно польщен тем, что Каупервуд захотел взять его в компаньоны. Старик последнее время все чаще замечал, что молодое поколение маклеров — эти вылощенные самодовольные юнцы — смотрят на него, как на старого, выжившего из ума чудака. А тут смелый, энергичный, молодой делец из Восточных штатов, лет на двадцать моложе его и не менее, а скорей всего более ловкий, чем он, как опасливо подумал Лафлин, предлагает ему деловое сотрудничество. Кроме того, Каупервуд был так полон энергии, так уверен в себе и так напорист, что на старика словно пахнуло весной.

— Да я за именем не больно-то гонюсь, — отвечал Лафлин. — Это как хотите. Но если вам дать пятьдесят один процент, значит хозяином дела будете вы. Ну да ладно, я человек покладистый, спорить не стану. Я своего тоже не упущу.

— Значит, решено! Только вот помещение надо бы сменить, Лафлин. Здесь у вас как-то мрачновато.

— А это уж дело ваше, мистер Каупервуд. Мне все едино. Сменить так сменить.

Неделю спустя со всеми формальностями было покончено, а еще через две недели над дверями роскошного помещения в нижнем этаже дома на углу улиц Ла-Саль и Мэдисон, в самом центре деловой части города, появилась вывеска: «Питер Лафлин и Кь, хлеботорговая и комиссионная контора».

— Вот и раскуси старого Лафлина! — заметил один маклер другому, прочитав название фирмы на тяжелых бронзовых дощечках, прибитых по обе стороны двери, выходившей на угол, и окидывая взглядом огромные зеркальные стекла. — Я думал, старик вовсе на-нет сошел, а он гляди как развернулся. Кто же этот его компаньон?

— Не знаю. Говорят, какой-то приезжий из Восточных штатов.

— В гору пошел, ничего не скажешь. Какие стекла поставил!

Так началась финансовая карьера Фрэнка Алджернона Каупервуда в Чикаго.

5. О ДЕЛАХ СЕМЕЙНЫХ

Тот, кто полагает, что Каупервуд действовал поспешно или опрометчиво, вступая в компанию с Лафлином, плохо представляет себе трезвую и расчетливую натуру этого человека. За тринадцать месяцев, проведенных в филадельфийской тюрьме, Каупервуд имел время как следует обо всем поразмыслить, проверить свои взгляды на жизнь, на то, кому принадлежит господство в обществе, и раз навсегда избрать себе линию поведения. Он может, должен и будет властвовать один. Никому и ни при каких обстоятельствах не позволит он распоряжаться собой и если иной раз и снизойдет к просьбе, то просителем не будет никогда! Хватит того, что он уже однажды жестоко поплатился, связавшись в Филадельфии со Стинером. Он на голову выше всех этих бездарных и трусливых финансистов и дельцов и сумеет это доказать. Люди должны вращаться вокруг него, как планеты вокруг солнца.

Когда в Филадельфии перед ним захлопнулись все двери, он понял, что с точки зрения так называемого хорошего общества репутация его замарана, и неизвестно, удастся ли ему когда-нибудь ее восстановить. Размышляя об этом между делом, он пришел к выводу, что должен искать себе союзников не среди богатой и влиятельной верхушки, проникнутой духом кастовости и снобизма, а среди начинающих, талантливых финансистов, которые только что выбились или еще выбиваются в люди и не имеют надежды попасть в общество. Таких было немало. А если ему повезет и он добьется финансового могущества, тогда уже можно будет диктовать свою волю обществу. Индивидуалист до мозга костей, не желающий считаться ни с кем и ни

с чем, Каупервуд был чужд подлинного демократизма, а вместе с тем люди из народа были ему больше по сердцу, чем представители привилегированного класса, и он лучше понимал их. Этим, быть может, и объяснялось отчасти, что Каупервуд взял себе в компаньоны такого самобытного и чудаковатого человека, как Питер Лафлин. Он выбрал его, как выбирает хирург, приступая к операции, нужный ему инструмент, и теперь старому Питеру Лафлину при всей его прозорливости предстояло быть всего только орудием в ловких и сильных руках Каупервуда, простым исполнителем замыслов другого, на редкость изворотливого и гибкого ума. До поры до времени Каупервуда вполне устраивало работать под маркой фирмы «Питер Лафлин и Кь», — это позволяло, не привлекая к себе внимания, в тиши обдумать и разработать два-три мастерских хода, с помощью которых он надеялся утвердиться в деловом мире Чикаго.

Однако для успеха финансовой карьеры Каупервуда и светской карьеры его и Эйлин в новом городе необходимо было прежде всего добиться развода; адвокат Каупервуда Харпер Стеджер из кожи вон лез, стараясь снискать расположение миссис Каупервуд, которая столь же мало доверяла адвокатам, как и своему непокорному мужу. Теперь это была сухая, строгая, довольно бесцветная женщина, сохранившая, однако, следы былой несколько блеклой красоты, в свое время пленившей Каупервуда. Тонкие морщинки залегли у нее вокруг глаз, носа и рта. На лице ее всегда было написано осуждение, покорность судьбе, сознание собственной правоты и обида.

Вкрадчиво-любезный Стеджер, напоминавший ленивой грацией манер сытого кота, неторопливо подстерегающего мышь, как нельзя лучше подходил для предназначенной ему роли. Вряд ли где-нибудь нашелся бы другой более коварный и беспринципный человек. Казалось, его заповедью было: говори мягко, ступай неслышно.

— Моя дорогая миссис Каупервуд, — убеждал он свою жертву, сидя как-то раз весенним вечером в скромной гостиной ее квартирки в западной части Филадельфии. — Мне незачем вам говорить, что муж ваш человек незаурядный и что бороться с ним бесполезно. Он во многом перед вами виноват — я не отрицаю — очень во многом, — при этих словах миссис Каупервуд нетерпеливо передернула плечами, — но мне кажется, вы слишком требовательны к нему. Вы же знаете, что за человек мистер Каупервуд, — Стеджер беспомощно развел своими тонкими, холеными руками, — силой его ни к чему не принудишь. Это натура исключительная, миссис Каупервуд. Человек посредственный, перенеся столько, сколько перенес он, никогда не сумел бы так быстро подняться. Послушайтесь дружеского совета, отпустите его на все четыре стороны! Дайте ему развод. Он готов обеспечить вас и детей, он искренне этого хочет. Я уверен, он позаботится об их будущем. Но его раздражает ваше нежелание юридически оформить разрыв, и, если вы станете упорствовать, я очень опасаюсь, что дело может быть передано в суд. Так вот, пока до этого не дошло, мне бы от души хотелось достигнуть приемлемого для вас соглашения. Вы знаете, как огорчила меня вся эта история, я не перестаю сожалеть о случившемся.

Тут мистер Стеджер с сокрушенным видом закатил глаза, словно скорбя о том, что все так изменчиво и непостоянно в этом мире.

Миссис Каупервуд терпеливо — в пятнадцатый или двадцатый раз — выслушала его. Каупервуда все равно не вернешь. Стеджер относится к ней не хуже и не лучше любого другого адвоката. К тому же он такой обходительный, вежливый. Несмотря на его макиавеллиеву профессию, миссис Каупервуд готова была ему поверить. А Стеджер мягко, осторожно продолжал приводить все новые и новые доводы. В конце концов — это было в двадцать первое его посещение — он с огорченным видом сообщил ей, что Каупервуд решил прекратить оплату ее счетов и снять с себя всякие материальные обязательства, пока суд не определит, сколько он должен ей выплатить, сам же он, Стеджер, отказывается от дальнейшего ведения дела. Миссис Каупервуд поняла, что нужно уступить, и поставила свои условия. Если муж выделит ей и детям двести тысяч долларов (таково было предложение самого Каупервуда), а в будущем, когда подрастет их единственный сын Фрэнк, пристроит его к какому-нибудь делу, — она согласна. Миссис Каупервуд шла на развод очень неохотно, — как-никак, это означало победу Эйлин Батлер. Впрочем, эта гадкая женщина навеки опозорена. После скандала в Филадельфии ее никто и на порог не пустит. Лилиан подписала составленную Стеджером бумагу, и благодаря стараниям этого медоточивого джентльмена местный суд быстро и без лишней огласки рассмотрел дело. А месяца полтора спустя три филадельфийские газеты кратко сообщили о расторжении брака. Прочитав эти несколько строк, миссис Каупервуд даже удивилась, что пресса уделила так мало внимания этому событию. Она опасалась, что их развод наделает много шума. Лилиан и не подозревала, сколько изворотливости проявил обворожительный адвокат ее мужа, чтобы умаслить печать и правосудие. Когда Каупервуд в один из своих приездов в Чикаго, просматривая филадельфийские газеты, прочел те же несколько строк, у него вырвался вздох облегчения. Наконец-то! Теперь он женится на Эйлин. Он тут же послал ей поздравительную телеграмму, смысл которой могла понять только она. Когда Эйлин прочла ее, она затрепетала от радости. Итак, скоро она станет законной женой Фрэнка Алджернона Каупервуда, новоявленного чикагского финансиста, и тогда…

— Неужели это правда! Наконец-то я буду миссис Каупервуд! Какое счастье! — твердила она, читая и перечитывая телеграмму.

А миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд номер первый, вспоминая все: измену мужа, его банкротство, тюремное заключение, сногсшибательную операцию, которую он провел в момент краха «Джея Кука и Кь», и его теперешние финансовые успехи, недоумевала — почему так странно устроена жизнь. Ведь есть же бог на свете! В библии это стоит черным по белому. И муж ее при всех своих пороках не такой уж дурной человек, он хорошо обеспечил семью, и дети его любят; И уж, конечно, когда его засадили в тюрьму, он был не хуже многих других, которые разгуливали на свободе. Но его осудили; она жалела его и всегда

будет жалеть. Он умный человек, хотя и бессердечный. Почему же все так вышло? Нет, во всем виновата эта гадкая, пустая, тщеславная девчонка Эйлин Батлер. Она его соблазнила, а теперь, конечно, женит на себе. Но бог ее накажет. Непременно накажет. И миссис Каупервуд по воскресеньям стала ходить в церковь, стараясь верить, что, как бы там ни было, а все в этом мире устраивается к лучшему.

6. ВОЦАРЕНИЕ ЭЙЛИН

В тот день, когда Каупервуд и Эйлин поженились, — для совершения этой церемонии они сошли с поезда в глухом местечке Дальтон, не доезжая Питсбурга, — он сказал ей:

— Пойми, дорогая, что мы с тобой начинаем теперь совсем новую жизнь. А как она обернется, зависит только от нас самих. По-моему, на первых порах в Чикаго нам следует держаться поскромнее. Кое с кем мы, конечно, будем встречаться. Это неизбежно. Эддисоны, например, давно хотят познакомиться с тобой, я и так слишком долго откладывал эту встречу. Но я считаю, что очень расширять круг знакомств не стоит. Начнутся расспросы, разговоры. Лучше немного потерпеть, а тем временем построить себе хороший дом, который не придется потом перестраивать. Весной, если все сложится хорошо, мы поедем в Европу, посмотрим, как там строятся, и, может быть, позаимствуем какую-нибудь идею. Я хочу, чтобы у нас в доме была большая картинная галерея, — кстати будем подыскивать во время путешествия интересные полотна и антикварные вещи.

Эйлин сразу же загорелась этой мыслью.

— Ты просто изумителен, Фрэнк! — восторженно вырвалось у нее. — Ты всегда добиваешься всего, чего хочешь!

— Ну, положим, не всегда, — возразил он, — иной раз одного желания недостаточно. Многое, Эйлин, зависит и от удачи.

Она стояла перед ним, положив, как часто это делала, свои холеные, унизанные кольцами руки ему на плечи, и глядела не отрываясь в его холодные светлые глаза. Другой человек, столь же изворотливый, как Каупервуд, но менее сильный и властный, не выдержал бы этого испытующего взгляда. Но Каупервуд на любопытство и недоверие окружающих отвечал таким кажущимся чистосердечием и детским простодушием, что сразу всех обезоруживал. Объяснялось это тем, что он верил в себя, только в себя, и потому имел смелость не считаться с мнениями других. Эйлин дивилась ему, но разгадать его не могла.

— Знаешь, Фрэнк, ты похож на тигра, — сказала она, — или на огромного страшного льва. У-у-у, боюсь!

Он шутливо ущипнул ее за щеку и улыбнулся. Бедняжка Эйлин, подумал он. Где ей разгадать его, если он сам для себя загадка.

Тотчас же после брачной церемонии Каупервуд и Эйлин поехали в Чикаго, где на первое время заняли один из лучших номеров в отеле «Тремонт». Вскоре они услышали, что на углу Двадцать третьей улицы и Мичиган авеню сдается на один-два сезона небольшой особняк с полной обстановкой и даже с собственным выездом. Они немедленно подписали контракт, наняли дворецкого, прислугу и обзавелись всем, что необходимо для «хорошего дома». И Каупервуд — не затем, чтобы повести наступление на чикагское общество, это он считал преждевременным и пока неразумным, а просто по долгу вежливости

— пригласил Эддисонов и еще двух-трех человек, которые, по его глубокому убеждению, не откажутся придти: председателя правления Чикагской Северо-западной железной дороги Александра Рэмбо с женой и архитектора Тейлора Лорда. К последнему Каупервуд незадолго перед тем обращался за советом и нашел, что он человек достаточно светский. Лорд, как и Эддисоны, был принят в обществе, но большого веса там не имел.

Стоит ли говорить, что Каупервуд все предусмотрел и устроил как нельзя лучше. Серый каменный особнячок, который он снял, был очарователен. Гранитная лестница с фигурными перилами вела к широкой парадной двери, расположенной в арке. Благодаря удачному сочетанию цветных стекол в вестибюль проникал приятный мягкий свет. Дом, по счастью, был обставлен с большим вкусом. Заботу о меню обеда и сервировке стола Каупервуд возложил на одного из лучших рестораторов, так что Эйлин оставалось лишь нарядиться и ждать гостей.

— Ты сама понимаешь, — сказал ей Каупервуд утром, собираясь ехать к себе в контору, — как мне хочется, детка, чтобы ты сегодня была особенно хороша. Тебе необходимо понравиться Эддисонам и Рэмбо.

Этого намека для Эйлин было более чем достаточно, а впрочем, и его, пожалуй, не требовалось. По приезде в Чикаго она подыскала себе камеристку француженку. И хотя Эйлин привезла с собой из Филадельфии целый ворох нарядов, она все-таки заказала у лучшей и самой дорогой чикагской портнихи, Терезы Доновен, еще несколько вечерних туалетов. Только накануне ей принесли зеленое кружевное платье на золотисто-желтом шелковом чехле, удивительно гармонировавшее с ее волосами цвета червонного золота и мелочно-белыми плечами и шеей. В день обеда будуар Эйлин был буквально завален шелками,

кружевом, бельем, гребнями, косметикой, драгоценностями — словом, всем, к чему прибегает женщина, чтобы казаться обворожительной. Для Эйлин подбор туалета всегда был сопряжен с подлинными творческими муками; ею овладевала бурная энергия, беспокойство, она лихорадочно суетилась, так что ее камеристка Фадета едва поспевала за ней. Приняв ванну, Эйлин — стройная, белокожая Венера — быстро надела шелковое белье, чулки и туфельки и приступила к прическе. Фадета внесла свое предложение. Не угодно ли мадам испробовать новую прическу, которую она недавно видела. Мадам не возражала. Они обе принялись укладывать тяжелые, отливающие золотом пряди то одним, то другим манером, но почему-то все получалось не так, как хотела Эйлин. Попробовали было заплести косы, но и от этой мысли пришлось отказаться. Наконец на лоб были спущены два пышных валика, подхваченные перекрещивающимися темно-зелеными лентами, которые посередине скрепляла алмазная звезда. Эйлин в прозрачном, отделанном кружевами пеньюаре из розового шелка подошла к трюмо и долго, внимательно себя разглядывала.

— Хорошо, — сказала она, наконец, повертывая голову то в одну, то в другую сторону.

Теперь настал черед платья от Терезы Доновен. Оно скользило и шуршало в руках. Надевая его. Эйлин сомневалась, будет ли оно ей к лицу. Фадета суетилась, возясь с бесчисленными застежками и прилаживая платье у корсажа и на плечах.

— О, мадам, charmant! [note 2] — воскликнула она, когда все было готово. — Это так идет к вашим волосам. И так пышно, богато тут,

— и она указала на кружевную баску, драпировавшую бедра. — О, это очень, очень мило!

Эйлин зарделась от удовольствия, но лицо ее оставалось серьезным. Она была озабочена. За свой наряд она не особенно беспокоилась, но Фрэнк сказал, что она должна непременно понравиться гостям, а мистер Эддисон такой богатый человек, принятый в лучшем обществе, да и мистер Рэмбо тоже занимает большое положение. Как бы не ударить в грязь лицом — вот чего она опасалась. Недостаточно произвести впечатление на этих мужчин своей внешностью, их надо занять разговором, да притом еще соблюдать правила хорошего тона, а это совсем не легко. Хотя в Филадельфии Эйлин была окружена богатством и роскошью, ей не приходилось ни бывать в свете, ни принимать у себя сколько-нибудь важных гостей. Из всех людей, с которыми она до сих пор встречалась, Фрэнк был самым значительным. У мистера Рэмбо жена, вероятно, строгая, старозаветных взглядов. О чем с ней говорить? А миссис Эддисон! От той, конечно, ничто не укроется, она все подметит и все осудит. Эйлин настолько углубилась в свои мысли, что чуть было не принялась утешать себя вслух, не переставая, впрочем, охорашиваться перед зеркалом.

Когда Эйлин, предоставив Фадете убирать разбросанные принадлежности туалета, наконец сошла вниз, взглянуть, все ли готово в столовой и зале, она была ослепительно хороша. Нельзя было не залюбоваться ее великолепной фигурой, задрапированной в зеленовато-желтый шелк, ее роскошными волосами, шелковистой гладкостью ее плеч и рук, округлостью бедер, точеной шеей. Она знала, как она красива, и все-таки волновалась. Что-то скажет Фрэнк? Эйлин заглянула в столовую: цветы, серебро, золото, хрусталь, расставленные умелой рукой метрдотеля на белоснежной скатерти, придавали столу сходство с грудой драгоценных камней на белом атласе дорогого футляра. Словно опалы, мягко переливающиеся всеми цветами радуги, подумала Эйлин. Оттуда она прошла в залу. На розовом с позолотой рояле лежала заранее приготовленная стопка нот; Эйлин решила блеснуть своим единственным талантом и с этой целью отобрала романсы и пьесы, которые ей лучше всего удавались; в сущности, она была довольно посредственной пианисткой. Сегодня впервые в жизни Эйлин чувствовала себя не девочкой, а замужней дамой, хозяйкой дома и понимала, какую это налагает на нее ответственность и как трудно ей будет справиться со своей новой ролью. По правде говоря, Эйлин всегда подмечала в жизни только чисто внешнюю, показную, псевдоромантическую сторону, и все ее представления были так туманны и расплывчаты, что она ни в чем не отдавала себе ясного отчета, ни на чем не умела сосредоточиться. Она умела только мечтать — пылко и безудержно. Было уже около шести часов; ключ звякнул в замке, и вошел улыбающийся, спокойный Фрэнк, внося с собой атмосферу уверенности.

— Хорошо, очень хорошо! — воскликнул он, разглядывая Эйлин, освещенную теплым сиянием сотен свечей, горевших в золоченых бра. — Да это лесная фея пожаловала к нам сюда! Я просто не смею к тебе прикоснуться. Что, плечи у тебя сильно напудрены?

Он привлек ее к себе, а она с чувством облегчения подставила губы для поцелуя. По всему было видно, что он находит ее прелестной.

— Осторожно, милый, ты сейчас весь будешь в пудре. Ну, да, впрочем, тебе все равно надо переодеться, — и Эйлин обвила его шею полными сильными руками.

Каупервуд был доволен и горд: вот такую и надо иметь жену — красавицу! Ожерелье из бирюзы оттеняло матовую белизну ее шеи, и как ни портили ее рук кольца, надетые по два и по три на палец, эти руки все-таки были прекрасны. От ее кожи исходил тонкий аромат не то гиацинта, не то лаванды. Каупервуду понравилась ее прическа, но еще больше — великолепие наряда, блеск желтого шелка, светившегося сквозь частую сетку зеленых кружев.

— Очаровательно, детка. Ты превзошла самое себя. Но этого платья я еще не видел. Где ты его раздобыла?

— Здесь, в Чикаго.

Каупервуд сжал теплые пальцы Эйлин и заставил ее повернуться, чтобы посмотреть шлейф.

— Да, тебя учить не приходится. Ты, я вижу, могла бы быть законодательницей мод.

— Значит, все в порядке? — кокетливо спросила Эйлин, но в глубине души она еще сомневалась: сумеет ли она ему угодить.

— Превосходно! Лучше и придумать нельзя. Великолепно!

Эйлин воспрянула духом.

— Хорошо, если б и твои друзья были того же мнения. Ну, а теперь иди переодеваться.

Каупервуд поднялся к себе наверх. Эйлин последовала за ним, мимоходом еще раз заглянув в столовую. Тут во всяком случае все в порядке: Фрэнк умеет принимать гостей.

В семь часов послышался стук колес подъезжающего экипажа, и дворецкий Луис поспешил отворить дверь. Спускаясь вниз, Эйлин слегка волновалась — а вдруг она не сумеет занять гостей? — и напряженно придумывала, что бы такое им сказать приятное. Следовавший за нею Каупервуд, напротив, был уверен в себе и оживлен. В своем будущем он никогда не сомневался, не сомневался и в том, что устроит будущее Эйлин, стоит ему только захотеть. Трудное восхождение по крутым ступеням общественной лестницы, которое так пугало Эйлин, нимало не тревожило его.

С точки зрения кулинарии и сервировки обед удался на славу. Каупервуд благодаря разносторонности своих интересов умело поддерживал оживленную беседу с мистером Рэмбо о железных дорогах, а с Тейлором Лордом об архитектуре, — правда, на том уровне, на каком способный студент беседует с профессором; разговор с дамами также не затруднял его. Эйлин же, к сожалению, чувствовала себя связанной, но не потому, что была глупее или поверхностнее собравшихся, а просто потому, что она имела лишь очень смутное представление о жизни. Многое оставалось для нее закрытой книгой, многое было лишь неясным отзвуком, напоминавшим о чем-то, что ей довелось мимоходом услышать. О литературе она не знала почти ничего и за всю свою жизнь прочла лишь несколько романов, которые людям с хорошим вкусом показались бы пошлыми. В живописи все ее познания ограничивались десятком имен знаменитых художников, слышанных когда-то от Каупервуда. Но все эти недостатки искупались ее безупречной красотой, тем, что сама она была как бы произведением искусства, излучающим свет и радость. Даже холодный, рассудительный и сдержанный Рэмбо понял, какое место должна занимать Эйлин в жизни человека, подобного Каупервуду. Такой женщиной он и сам не прочь был бы обладать.

У сильных натур влечение к женщине обычно не угасает, а подчас лишь подавляется стоической воздержанностью. Увлекаться, как известно, можно без конца, но чего ради? Не стоит хлопот, — решают многие. Однако Эйлин была так блистательна, что в Рэмбо заговорило мужское честолюбие. Он глядел на нее почти с грустью. Когда-то и он был молод. Но, увы, ему никогда не случалось взволновать воображение столь прекрасной женщины. Теперь, любуясь Эйлин, Рэмбо сожалел, что такая удача не выпала на его долю.

Рядом с ярким и пышным нарядом Эйлин скромное серое шелковое платье миссис Рэмбо, с высоким, чуть не до ушей воротом, выглядело строго, даже как-то укоризненно, но миссис Рэмбо держалась с таким достоинством, так любезно и приветливо, что впечатление это сглаживалось. Уроженка Новой Англии, воспитанная на философии Эмерсона, Торо, Чаннинга, Филлипса, она отличалась большой терпимостью. К тому же ей нравилась хозяйка дома и вся ее несколько экзотическая пышность.

— У вас прелестный домик, — сказала она Эйлин с мягкой улыбкой. — Я давно обратила на него внимание. Ведь мы живем неподалеку и, можно сказать, почти соседи с вами.

Глаза Эйлин засветились признательностью. Хотя она не могла вполне оценить миссис Рэмбо, та ей нравилась: в ней было что-то располагающее, и Эйлин понимала ее — скорее чутьем, чем разумом. Такой, вероятно, была бы ее мать, если бы получила образование. Когда все двинулись в залу, дворецкий доложил о Тейлоре Лорде. Каупервуд, взяв архитектора под руку, подвел его к жене и гостям.

Лорд, плотный, высокий мужчина с умным, серьезным лицом, подошел к хозяйке дома.

— Миссис Каупервуд, — сказал он, с восхищением глядя на Эйлин, — разрешите мне в числе других приветствовать вас в Чикаго. После Филадельфии вам на первых порах многого будет недоставать здесь, но я уверен, что со временем вы полюбите наш город.

— О, я не сомневаюсь, — улыбнулась Эйлин.

— Когда-то и я жил в Филадельфии, правда очень недолго, — добавил Лорд.

— И вот тоже перебрался сюда.

Эйлин на мгновение замялась, однако быстро овладела собой. К такого рода случайностям надо быть всегда готовой, ей могут встретиться неожиданности и похуже.

— Чем же плох Чикаго? — поспешила она продолжить разговор. — Мне нравится этот город. Жизнь здесь кипит ключом, не то что в Филадельфии.

— Рад это слышать. Я сам влюблен в Чикаго. Может быть потому, что мне тут открылось широкое поле деятельности.

Для чего такой красавице образование, размышлял Лорд, любуясь роскошными волосами и плечами Эйлин; он сразу определил, что она не принадлежит к числу развитых и умных женщин.

Дворецкий доложил о новых гостях, и супруги Эддисон вошли в залу. Эддисон, не задумываясь, принял приглашение Каупервуда: положение его в Чикаго было достаточно прочным, и потому они с женой могли поступать, как им заблагорассудится.

— Как дела, Каупервуд? — спросил он дружески, кладя руку на плечо хозяина дома. — Очень мило, что вы пригласили нас. Верите ли, миссис Каупервуд, вот уж скоро год как я твержу вашему мужу, чтобы он привез вас сюда. Он не говорил вам? (Эддисон еще не посвятил свою жену в историю Каупервуда и Эйлин.)

— Ну, конечно, говорил, — весело отвечала Эйлин, видя, что ее красота произвела впечатление на Эддисона. — А как я рвалась сюда! Это его вина, что я так долго не приезжала.

Изумительно хороша, думал между тем Эддисон, разглядывая Эйлин. Так вот кто причина развода Каупервуда с первой женой. Ничего удивительного. Восхитительное создание. Он невольно сравнивал ее со своей женой и, конечно, не в пользу последней. Миссис Эддисон никогда не была так хороша, так эффектна, зато здравого смысла у нее куда больше. Ах, черт возьми, если б и ему обзавестись такой красоткой! Жизнь снова заиграла бы яркими красками. У Эддисона бывали любовные приключения, но он тщательно их скрывал.

— Очень рада познакомиться с вами, — говорила тем временем миссис Эддисон, полная дама, увешанная драгоценностями, обращаясь к Эйлин. — Наши мужья уже успели стать друзьями — нам тоже надо будет почаще встречаться.

Миссис Эддисон продолжала непринужденно болтать о разных пустяках, и Эйлин казалось, что она неплохо справляется со своей ролью хозяйки. Бесшумно вошел дворецкий и поставил на столик в углу поднос с винами и закусками. За обедом беседа стала еще оживленнее, заговорили о росте города, о новой церкви, которую строил Лорд на той же улице, где жили Каупервуды; потом Рэмбо рассказал несколько забавных историй о мошенничестве с земельными участками. Общество явно развеселилось. Эйлин прилагала все усилия, чтобы сблизиться с обеими дамами. Миссис Эддисон казалась ей более приятной, вероятно потому, что с ней было легче поддерживать разговор. Эйлин не могла не понимать, что миссис Рэмбо и умнее и сердечнее, но как-то побаивалась ее. Впрочем, очень скоро Эйлин выдохлась и должна была прибегнуть к помощи Лорда. Архитектор с рыцарской галантностью пришел ей на выручку и принялся болтать обо всем, что ему приходило на ум. Все мужчины, кроме Каупервуда, думали о том, как великолепно сложена Эйлин, какая у нее ослепительная кожа, какие округлые плечи, какие роскошные волосы!

7. ГАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧИКАГО

Старик Лафлин, помолодевший и воодушевленный смелыми замыслами Каупервуда, усиленно способствовал процветанию фирмы. Он сообщал своему компаньону биржевые слухи и сплетни, а также собственные, подчас очень тонкие, догадки о том, что затевает та или иная группа или тот или иной биржевик, и Каупервуд оборачивал в свою пользу эти сведения.

Наутро после почти бессонной ночи в своей одинокой постели старик нередко говорил Каупервуду:

— А ведь, ей-богу, я, кажется, додумался, куда эти молодчики гнут. Это все та же банда с боен орудует. (Под бандой он подразумевал крупных биржевых спекулянтов вроде Арнила, Хэнда, Шрайхарта и других.) Опять всю кукурузу скупить хотят. Или я больше уж ничего не смыслю, или нам тоже нужно немедленно покупать впрок. Как вы на это смотрите, Фрэнк?

Каупервуд, уже постигший многие неизвестные ему ранее уловки местных дельцов и с каждым днем приобретавший все больший опыт, обычно тут же принимал решение.

— Ну что ж, рискнем на сотню тысяч бушелей. Мне думается, что железнодорожные «Нью-Йорк сентрал» упадут пункта на два в ближайшие дни. Давайте запродавать их на пункт ниже курса.

Лафлин недоумевал, как это Каупервуд ухитряется так быстро ориентироваться в местных делах и не менее быстро, чем он сам, принимать решения. Когда дело касается акций и других ценностей, котирующихся на восточных биржах, — это понятно, но как он умудрился так быстро постичь все тонкости чикагской биржи?

— Откуда вы это знаете? — спросил он однажды Каупервуда, сильно заинтригованный.

— Да очень просто: вчера, когда вы были на бирже, сюда заходил Антон Видера (один из директоров Хлеботоргового банка), он все и рассказал мне,

— откровенно отвечал Каупервуд, и со слов Видера обрисовал Лафлину биржевую конъюнктуру.

Лафлин знал Видера, богатого, предприимчивого поляка, который за последние годы заметно пошел в гору. Просто поразительно, как Каупервуд легко сходится с богачами, как быстро приобретает их доверие. Лафлин понимал, что с ним Видера никогда бы не стал так откровенничать.

— Гм! Ну, если Видера сказал, значит это так. Надо действовать.

И Лафлин действовал, а фирма «Питер Лафлин и Кь» оказывалась в барышах.

Но хотя хлеботорговое и комиссионное дело и сулило каждому из компаньонов тысяч двадцать годового дохода, Каупервуд смотрел на него лишь как на источник информации.

Боясь распылять средства, чтобы не оказаться в таком же отчаянном положении, как в пору чикагского пожара, Каупервуд подыскивал себе дело, которое со временем могло бы приносить солидный и постоянный доход. Ему удалось заинтересовать своими планами небольшую группу чикагских дельцов — Джуда Эддисона, Александра Рэмбо, Миларда Бэйли, Антона Видера; хотя это были не бог знает какие тузы, но все они располагали свободными средствами. Каупервуд знал, что они охотно откликнутся на любое серьезное предложение.

Больше всего привлекали Каупервуда газовые предприятия Чикаго: тут представлялась возможность захватить исподтишка великолепный источник наживы — завладеть никем еще не занятой областью и установить там свое безраздельное господство. Получив концессию, — каким путем, читатель догадается сам, — он мог, подобно Гамилькару Барка, проникшему в самое сердце Испании, или Ганнибалу, подступившему к вратам Рима, предстать перед местными газопромышленниками и потребовать капитуляции и раздела награбленного.

В то время освещение города находилось в руках трех газовых компаний. Каждая из них обслуживала свой район или, как говорили в Чикаго, «сторону»

— Южную, Западную и Северную. Самой крупной и преуспевающей была Чикагская газовая, осветительная и коксовая компания, основанная в 1848 году в южной части города. Всеобщая газовая, осветительная и коксовая, снабжавшая газом Западную сторону, возникла несколькими годами позже и обязана была своим появлением на свет глупой самоуверенности учредителей и директоров Южной компании, полагавших, что они во всякое время сумеют получить разрешение муниципалитета на прокладку газопровода в других частях города; они никак не ожидали, что Западный и Северный районы начнут так быстро заселяться. Третья компания — Северо-чикагская газовая — была основана почти одновременно с Западной и в силу тех же причин, ибо та оказалась столь же непредусмотрительной, как и Южная. Впрочем, при получении концессий все учредители заявляли, что предполагают ограничить свою деятельность только той частью города, где они проживают.

Сначала Каупервуд намеревался скупить акции всех трех компаний и слить их в одну. С этой целью он стал выяснять финансовое и общественное положение акционеров. Он полагал, что, предложив за акции втрое или даже вчетверо больше, чем они стоили по курсу, он сумеет завладеть контрольными пакетами. А затем, после объединения компаний, можно будет

выпустить новые акции на огромную сумму, расплатиться с кредиторами и, сняв богатый урожай, остаться самому во главе дела. В первую очередь Каупервуд обратился к Джуду Эддисону, считая его наиболее подходящим партнером для осуществления своего замысла. Впрочем, Эддисон был нужен ему не столько как компаньон, сколько как вкладчик.

— Вот что я вам скажу, — внимательно выслушав его, заявил Эддисон. — Вы напали на блестящую мысль. Даже удивительно, как это до сих пор никому не пришло в голову. Но если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь опередил, то держите язык за зубами. У нас в Чикаго много предприимчивых людей. Я-то к вам расположен, вы это знаете, на меня можете рассчитывать. Правда, открыто участвовать в этом деле мне неудобно, но я позабочусь, чтобы вам был открыт кредит. Очень неплохая мысль — учредить держательскую компанию или трест под вашим председательством. Я уверен, что вы с этим справитесь. Но повторяю: я буду участвовать в деле только как вкладчик, а вам придется подыскать еще двух-трех человек, которые бы вместе со мной гарантировали нужную сумму. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Да, конечно. Я просто раньше всего обратился к вам, — отвечал Каупервуд и назвал Рэмбо, Видера, Бэйли и других.

— Ну что ж, очень хорошо, если вы сумеете их привлечь, — сказал Эддисон. — Но я даже и в этом случае еще не уверен, что вам удастся уговорить акционеров и директоров старых компаний расстаться со своими акциями. Это не обычные акционеры. Они смотрят на свое газовое предприятие, как на кровное дело. Они его создали, свыклись с ним; они строили газгольдеры, прокладывали трубы. Все это не так просто, как вам кажется.

Эддисон оказался прав. Каупервуд скоро убедился, что не так легко заставить директоров и акционеров старых компаний пойти на какую бы то ни было реорганизацию. Более подозрительных и несговорчивых людей ему еще никогда не приходилось встречать. Они наотрез отказались уступить ему свои акции, даже по цене, втрое или вчетверо превышавшей их биржевой курс. Акции газовых компаний котировались от ста семидесяти до двухсот десяти долларов, и по мере того как город рос и потребность в газе увеличивалась, возрастала и стоимость акций. К тому же предложение объединить компании исходило от никому не известного лица, и уже одно это казалось всем подозрительным. Кто он такой? Чьи интересы представляет? А Каупервуд хотя и мог доказать, что располагает значительным капиталом, но раскрыть имена тех, кто действовал с ним заодно, не хотел. Директора и члены правления одной фирмы подозревали в этом предложении козни директоров и членов правлений другой и считали, что все это подстроено с единственной целью добиться контроля, а потом вытеснить всех конкурентов. С какой стати продавать свои акции? Зачем гнаться за большими барышами, когда они и так не внакладе? Каупервуд был новичком в Чикаго, связей со здешними крупными дельцами он еще не успел завязать и потому ему не оставалось ничего другого, как придумать новый план наступления на газовые общества. Он решил создать для начала несколько компаний в пригородах. Такие пригороды, как Лейк-Вью и Хайд-парк, имели собственные муниципалитеты, которые пользовались правом предоставлять акционерным компаниям, зарегистрированным согласно законам штата, концессии на прокладку водопровода, газовых труб и линий городских железных дорог. Каупервуд рассчитывал, что, учредив отдельные, якобы независимые друг от друга компании в каждом из таких пригородов, он сумеет раздобыть концессию и в самом городе, а тогда уж старые акционерные общества будут поставлены на колени и он начнет диктовать им свои условия. Все сводилось к тому, чтобы получить разрешения и концессии до того, как спохватятся конкуренты.

Трудность заключалась еще и в том, что Каупервуд был совершенно незнаком с газовыми предприятиями, не имел ни малейшего понятия о том, как вырабатывается газ, как снабжается им город, и никогда раньше этими вопросами не интересовался. Другое дело конка, — эту отрасль городского хозяйства он знал как свои пять пальцев и к тому же считал самой прибыльной; однако здесь, в Чикаго, пока, видимо, не было никаких возможностей прибрать к рукам этот наиболее соблазнительный для него источник дохода. Все это Каупервуд тщательно обдумал, взвесил, почитал кое-какую литературу о производстве газа, а потом ему, как обычно, повезло

— подвернулся нужный человек.

Выяснилось, что наряду с Чикагской газовой, осветительной и коксовой компанией на Южной стороне когда-то, очень недолго, существовала другая, менее крупная компания, основанная неким Генри де Сото Сиппенсом. Этот Сиппенс посредством каких-то сложных махинаций раздобыл концессию на производство газа и снабжение им деловой части города, но его так допекали всякими исками, что в конце концов он был вынужден бросить дело. Теперь у него была контора по продаже недвижимости в Лейк-Вью. Питер Лафлин знал его.

— Ну, это дока! — отозвался о нем старик. — Было время, когда я думал, что он на газе состояние сделает, да вот схватили его за горло, и пришлось ему все-таки выпустить лакомый кусочек. Тут у него на реке газгольдер взорвали. Я думаю, он живо понял, чьих это рук дело. Как бы там ни было, а от своей затеи он отказался. Что-то давненько я о нем не слыхал.

Каупервуд послал старика к Сиппенсу разузнать, что тот сейчас делает, и спросить, не хочет ли он опять заняться газом. И вот несколько дней спустя в контору «Питер Лафлин и Кь» явился Генри де Сото Сиппенс собственной персоной. Это оказался маленький человечек лет пятидесяти, в высоченной жесткой фетровой шляпе, кургузом коричневом пиджачке (который он летом сменял на холстинковый) и в штиблетах с тупыми носками; он походил не то на деревенского аптекаря, не то на букиниста, но было в нем что-то и от провинциального врача или нотариуса. Манжеты мистера Сиппенса вылезали из рукавов

несколько больше, чем следует, галстук был, пожалуй, слишком пышен, шляпа слишком сдвинута на затылок; в остальном же он имел вид хотя и своеобразный, но вполне благопристойный и даже не лишенный приятности. Лицо Сиппенса украшали воинственно топорщившиеся рыжевато-каштановые бачки и кустистые брови.

— Вы как будто занимались одно время газом, мистер Сиппенс? — вежливо обратился к нему Каупервуд.

— Да, и уж во всяком случае я не меньше других смыслю в этом деле, — несколько вызывающе отвечал Сиппенс. — Я с ним возился не год и не два.

— Так вот, мистер Сиппенс, я надумал открыть небольшое газовое предприятие в одном из здешних пригородов, — они так быстро растут, что, мне кажется, это дело может стать довольно прибыльным. Сам я мало разбираюсь в технике газового производства и хотел бы пригласить хорошего специалиста. — При этих словах Каупервуд многозначительно и дружелюбно взглянул на Сиппенса. — Я слышал о вас как о человеке опытном и хорошо знакомом со здешними условиями. В случае если мне удастся создать компанию с достаточным капиталом, может быть вы согласитесь занять в ней пост управляющего?

«Здешние условия мне даже слишком хорошо известны. И ничего из этого не выйдет», — хотел было ответить Сиппенс, но передумал.

— Что ж, если мне предложат приличное вознаграждение, — сказал он осторожно. — Вы ведь, вероятно, представляете себе, с какими трудностями вам придется столкнуться?

— Примерно представляю, — с улыбкой отвечал Каупервуд. — Но что вы называете «приличным» вознаграждением?

— Тысяч шесть в год и известная доля в прибылях компании, скажем, половина или около того — тогда еще стоило бы подумать, — отвечал Сиппенс, намереваясь, по-видимому, отпугнуть Каупервуда своими непомерными требованиями. Контора по продаже недвижимости приносила ему около шести тысяч в год.

— А если я вам предложу по четыре тысячи в нескольких компаниях — это составит в общей сложности тысяч пятнадцать — и, скажем, десятую долю от прибылей?

Сиппенс мысленно взвешивал сделанное ему предложение. Совершенно очевидно, что сидящий перед ним человек не какой-нибудь легкомысленный новичок. Он бросил испытующий взгляд на Каупервуда и по всему его виду понял, что этот делец готовится к серьезной схватке. Еще десять лет назад Сиппенс разгадал, какие огромные возможности таят в себе газовые предприятия. Он уже пробовал свои силы на этом поприще, но его затаскали по судам, замучили штрафами, лишили кредита и в конце концов взорвали газгольдер. Он не мог этого забыть и всегда горько сожалел, что не в силах отомстить своим противникам. Сиппенс уже привык считать, что время борьбы для него миновало, а тут перед ним сидел человек, замысливший план грандиозной битвы; слова Каупервуда прозвучали для него, как призыв охотничьего рога для старой гончей.

— Что ж, мистер Каупервуд, — уже с меньшим задором и более дружелюбно ответил он, — недурно было бы познакомиться с вашим предложением поближе, а вообще-то я по газу специалист. Все, что касается машинного оборудования, прокладки труб, получения концессий, я знаю назубок. Я строил газовый завод в Дайтоне, штат Огайо, и в Рочестере, штат Нью-Йорк. Приехать бы мне сюда чуть пораньше, и я был бы теперь состоятельным человеком, — в голосе его прозвучала нотка сожаления.

— Вот вам, мистер Сиппенс, превосходный случай наверстать упущенное, — соблазнял его Каупервуд. — Между нами говоря, в Чикаго создается новое и очень крупное газовое предприятие. Старым компаниям скоро придется поступиться своими интересами. Ну как? Это вас не прельщает? В деньгах у нас недостатка не будет. Да и не в них сейчас дело: нам нужен человек — организатор, делец, специалист, который мог бы строить заводы, прокладывать трубы и все прочее.

Каупервуд внезапно поднялся во весь рост — обычный его трюк, когда он хотел произвести на кого-нибудь впечатление. И теперь стоял перед Сиппенсом — олицетворение силы, борьбы, победы.

— Итак, решайте!

— Я согласен, мистер Каупервуд! — воскликнул Сиппенс. Он тоже вскочил и надел шляпу, сильно сдвинув ее на затылок. В эту минуту он очень походил на драчливого петуха.

Каупервуд пожал протянутую ему руку.

— Приводите в порядок дела у себя в конторе. Ваша Первоочередная задача

— выхлопотать мне концессию в Лейк-Вью и приступить к постройке завода. Необходимая помощь и поддержка вам будут оказаны. Через неделю, самое большее через десять дней, я все для вас подготовлю. Нам, очевидно, потребуется хороший поверенный, а может быть даже два.

Выходя из конторы, Сиппенс внутренне ликовал, и на лице его сияла торжествующая улыбка. Кто бы мог подумать, чтобы сейчас, через десять лет!.. Теперь он покажет этим жуликам! Теперь он не один: с ним рядом настоящий боец, такой же закаленный, как он сам. Ну и драка будет — только держись. Но кто же этот человек? Давно он таких не встречал. Надо бы разузнать о нем. Тем не менее Сиппенс уже сейчас готов был за Каупервуда в огонь и в воду.

8. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫ

Когда Каупервуд, потерпев неудачу в своих переговорах с газовыми компаниями, изложил Эддисону новый план — организовать конкурирующие компании в пригородах, — банкир взглянул на него с нескрываемым восхищением.

— Ловко придумано! — воскликнул он. — О, да у вас мертвая хватка! Вы их одолеете.

Эддисон посоветовал Каупервуду заручиться поддержкой наиболее влиятельных лиц в пригородных муниципалитетах.

— Насчет честности все они там один другого стоят, — сказал он. — Но есть два-три отъявленных мошенника, на которых можно рассчитывать больше, чем на остальных, — они-то и делают погоду. Поверенного вы уже пригласили?

— Нет. Я еще не нашел подходящего человека.

— Это, как вы сами понимаете, очень важно. Есть тут один старик, генерал Ван-Сайкл. Он здорово понаторел на таких делах. На него, пожалуй, можно, положиться.

Появление на сцене генерала Джадсона П.Ван-Сайкла бросило тень на все предприятие. Старый вояка, — теперь ему было за пятьдесят, — Ван-Сайкл в Гражданскую войну командовал дивизией; как поверенный он приобрел славу тем, что составлял фиктивные документы на право владения землей в южном Иллинойсе, а затем, чтобы узаконить мошенничество, подавал в суд, в котором заседали его приятели и сообщники, и выигрывал дело. Теперь он был более или менее преуспевающим стряпчим, взимавшим с клиентов весьма солидный гонорар, но до процветания генералу все же было далеко, ибо к нему обращались только по делам сомнительного свойства. Своими повадками он напоминал барана-провокатора на бойнях, ведущего перепуганное и упирающееся стадо своих собратьев под нож и достаточно смышленого, чтобы всегда вовремя отстать и спасти собственную шкуру. Старый крючкотвор и сутяжник, на чьей совести лежало великое множество подложных завещаний, нарушенных обязательств, двусмысленных контрактов и соглашений, подкупивший на своем веку столько судей, присяжных, членов Муниципалитета и законодательного собрания, что и не счесть, он постоянно измышлял все новые юридические уловки и каверзы. Предполагалось, что у генерала имеются большие связи среди политиков, судей, адвокатов, которым он оказывал немалые услуги в прошлом. Брался он за любое дело — главным образом потому, что это было какое-то занятие, избавлявшее его от скуки. Зимой, если кто-нибудь из клиентов настаивал на встрече с ним, генерал натягивал на себя старую потрепанную шинель серого сукна, снимал с вешалки засаленную, потерявшую всякую форму фетровую шляпу и, низко надвинув ее на тусклые серые глаза, пускался в путь. Летом костюм его всегда имел такой вид, словно он по неделям спал в нем не раздеваясь. К тому же он почти непрестанно курил. Ван-Сайкл немного походил лицом на генерала Гранта: такая же всклокоченная седая бородка и усы, такие же взъерошенные седые волосы, свисающие прядками на лоб. Бедняга генерал! Он не был ни очень счастлив, ни очень несчастлив: Фома Неверный, он безучастно относился к судьбам человечества, не возлагал на него никаких надежд и ни к кому не был привязан.

— Вы не представляете себе, что такое муниципальные советы в пригородах, мистер Каупервуд, — многозначительно заметил Ван-Сайкл, когда с предварительными переговорами было покончено. — Городской муниципалитет плох, а эти и того хуже. Без денег к таким мелким плутам и ходить нечего. Я не сужу людей строго, но эта шатия… — И он сокрушенно покачал головой.

— Понимаю, — отозвался Каупервуд. — Они не умеют быть благодарными за оказанные им одолжения.

— Да на них положиться нельзя, — продолжал генерал. — Кажется, обо всем договорились, все порешили, а у них на уме одно: как бы подороже тебя продать. Им ничего не стоит переметнуться на сторону той же Северной компании и открыть ей все ваши карты. Тогда опять плати, а конкурент еще накинет, и пошло, и пошло… — Тут генерал изобразил на своей физиономии крайнее огорчение. — Впрочем, и среди этих господ есть один-два таких, с которыми можно столковаться, — добавил он. — Понятно, если их заинтересовать. Я имею в виду мистера Дьюниуэй и мистера Герехта.

— Видите ли, генерал, мне вовсе не важно, как это будет сделано, — приятно улыбаясь, заметил Каупервуд. — Главное — чтобы все было сделано быстро и без лишнего шума. У меня нет ни времени, ни охоты входить во все подробности. Скажите, можно ли получить концессии, не привлекая к себе особого внимания, и во что это обойдется?

— Надо пораскинуть умом, а так сразу сказать трудно, — задумчиво отвечал генерал. — Может обойтись и в четыре тысячи, может и во все сорок четыре, а то и больше. Бог его знает. Надо хорошенько осмотреться, кое-что разведать. — Старику хотелось выпытать у Каупервуда, сколько тот намерен затратить на это дело.

— Хорошо, не будем пока этого касаться. Скредничать я не собираюсь. Я пригласил сюда Сиппенса, председателя Газово-топливной компании Лейк-Вью, он скоро должен придти. Вам с ним вместе придется работать.

Несколько минут спустя явился Сиппенс. Получив распоряжение всемерно поддерживать друг друга и в деловых переговорах ни в коем случае не упоминать имени Каупервуда, они вместе покинули кабинет своего патрона. Странная это была пара: многоопытный, но опустившийся, ко всему равнодушный, ни во что не верящий старый флегматик-генерал и щеголеватый, живой Сиппенс, мечтавший отомстить своему давнишнему врагу — могущественной Южной газовой компании — и использовать как орудие мести скромную на первый взгляд компанию, которая создавалась на северной окраине города. Минут через десять они уже отлично спелись: генерал посвятил Сиппенса в то, как скареден и нечистоплотен в своей общественной деятельности советник Дьюниуэй и как, напротив, обязателен Джейкоб Герехт,

— конечно, отнюдь не задаром. Но что делать — такова жизнь!

Взяв себе за правило не ставить все на одну карту, Каупервуд решил пригласить для газовой компании Хайд-парка второго юриста, а в качестве ее председателя привлечь еще одно подставное лицо, — это вовсе не означало, что он намерен отказаться от услуг де Сото Сиппенса, которого предполагалось оставить техническим консультантом всех трех или даже четырех компаний. Каупервуд как раз подыскивал подходящих людей, когда некий Кент Бэрроуз Мак-Кибен, молодой юрист, единственный сын бывшего члена верховного суда штата Иллинойс Маршала Скэммона Мак-Кибена, обратил на себя его внимание. Мак-Кибену исполнилось тридцать три года. Он был высок ростом, атлетически сложен и в общем недурен собой. Он очень ловко вел свои дела, но при этом был человек вполне светский и порой держался даже несколько надменно. У него была собственная контора в одном из лучших домов на Дирборн-стрит, куда он, замкнутый и холодный, более похожий на богатого щеголя, чем на дельца, являлся каждое утро к девяти часам, если только какое-нибудь важное дело не требовало его присутствия в деловой части города еще раньше. Случилось так, что компания по продаже недвижимости, у которой Каупервуд приобрел земельные участки на Тридцать седьмой улице и на Мичиган авеню, поручила Мак-Кибену составить купчие. Заготовив документы, он отправился в контору Каупервуда узнать, не пожелает ли тот внести в них какие-нибудь дополнения. Секретарша ввела Мак-Кибена в кабинет. Каупервуд окинул его острым испытующим взглядом, и адвокат сразу ему понравился: он был в меру сдержан и в меру изыскан. Каупервуду понравилось, как он одет, понравился его скептически-непроницаемый вид и светская непринужденность. Мак-Кибен в свою очередь отметил костюм Каупервуда, дорогую обстановку кабинета и понял, что имеет дело с финансистом крупного масштаба. На Каупервуде был светло-коричневый с искрой сюртук и выдержанный в таких же тонах галстук; в манжеты вместо запонок были продеты две маленькие камеи. Покрытый стеклом письменный стол выглядел строго и внушительно. Панели и мебель были из полированного вишневого дерева, на стенах в строгих рамах висели хорошие гравюры, изображавшие сцены из истории Америки. На видном месте стояла пишущая машинка — тогда они еще были вновь, а биржевой телеграф, тоже новинка, неугомонно отстукивал последние биржевые курсы. Секретаршей у Каупервуда служила молоденькая полька, Антуанета Новак, красивая брюнетка, сдержанная и, по-видимому, очень расторопная.

— Кстати, какие дела вы обычно ведете, мистер Мак-Кибен? — как бы между прочим спросил Каупервуд. И, выслушав ответ, небрежно заметил: — Загляните ко мне на будущей неделе. Может быть, у меня найдется для вас что-нибудь подходящее.

Предложение, сделанное таким небрежным тоном, вероятно, задело бы самолюбие Мак-Кибена, если бы оно исходило от другого человека, но тут он был даже польщен. Этот делец так поразил воображение молодого юриста, что ему изменило обычное бесстрастие.

Когда он в следующий раз пришел к Каупервуду и тот рассказал ему, какого рода услуг он ждет от него, Мак-Кибен сразу же клюнул на приманку.

— Поручите это мне, мистер Каупервуд, — с живостью сказал он, — я хоть никогда и не занимался подобными делами, но уверен, что справлюсь. Я живу в Хайд-парке и знаю почти всех членов муниципального совета. Думаю, что мне удастся на них воздействовать.

Каупервуд в ответ одобрительно улыбнулся.

Так была основана вторая компания, во главе которой Мак-Кибен поставил своих людей. Де Сото Сиппенса, без ведома старого генерала Ван-Сайкла, привлекли в качестве технического консультанта. Затем было написано ходатайство о предоставлении концессии, и Кент Бэрроуз Мак-Кибен исподволь повел тонкую подготовительную работу на Южной стороне, постепенно завоевывая доверие одного члена муниципалитета за другим.

Позднее появился еще третий поверенный — Бэртон Стимсон, самый молодой и, может быть, самый ловкий из всех троих, — бледный темноволосый юноша с горящим взором, ни дать ни взять шекспировский Ромео. Он иногда выполнял кое-какие мелкие поручения Лафлина. Каупервуд предложил ему работать на Западной стороне, где общее руководство было возложено на старика Лафлина, а техникой ведал де Сото Сиппенс. Стимсон, однако, был отнюдь не мечтательным Ромео, а весьма энергичным и предприимчивым молодым человеком, из очень бедной семьи, страстно желавшим выбиться в люди. Ему была присуща та гибкость ума, которая могла отпугнуть кого угодно, но только не Каупервуда, ибо Каупервуду нужны были умные слуги. Он давал им работу, изысканно вежливо обходился с ними и щедро вознаграждал, но взамен требовал рабской преданности. И Стимсон, правда, сохраняя независимый и самоуверенный вид, всячески раболепствовал перед Каупервудом. Так уж складываются человеческие отношения.

И вот на северной, южной и западной окраинах Чикаго началось какое-то странное оживление, встречи, секретные переговоры. В Лейк-Вью старый генерал Ван-Сайкл и де Сото Сиппенс совещались с оборотистым членом муниципалитета аптекарем Дьюниуэй и районным боссом — оптовым мясоторговцем Джейкобом Герехтом, любезнейшими, но довольно требовательными джентльменами. Эти господа принимали посетителей в задних комнатах своих лавок, где беседовали с ними по душам, расценивая только что не по прейскуранту собственные услуги и услуги своих приспешников.

В Хайд-парке мистер Кент Бэрроуз Мак-Кибен, лощеный и изысканно одетый, своего рода лорд Честерфилд среди адвокатов, а также Дж.Дж.Бергдол, длинноволосый, неопрятный наймит «из благородных», подставной председатель Хайдпаркской газово-топливной компании, заседали вместе с членом муниципалитета Альфредом Б.Дэвисом, фабрикантом плетеных изделий, и мистером Пэтриком Джилгеном, кабатчиком, заранее распределяя акции, барыши, привилегии и прочие блага. В поселках Дуглас и Вест-парк на Западной стороне, возле самой черты города, долговязый чудаковатый Лафлин и Бэртон Стимсон заключали такие же сделки.

Противник — три разобщенные городские газовые компании — был застигнут врасплох. Когда до них дошел слух, что в пригородные муниципалитеты поступили ходатайства о предоставлении концессий, компании немедленно заподозрили друг друга в захватнических стремлениях, предательстве и грабеже. Они снарядили в ближайшие муниципалитеты своих пронырливых юристов, но директора компаний все еще не догадывались, кто заправляет маленькими пригородными компаниями и чем это им грозит. Однако, прежде чем они успели заявить протест и надумали сунуть кому надо приличный куш, чтобы сохранить за собой прилегающие к их территории пригороды, прежде чем они успели начать юридическую борьбу, — предложения о выдаче концессий уже были внесены на рассмотрение муниципалитетов и, после первого же чтения и одного открытого, как того требует закон, обсуждения, приняты почти единогласно. Кое-какие мелкие пригородные газетки, которых обделили при раздаче вознаграждений, попытались было поднять шум. Но крупные чикагские газеты отнеслись к известию довольно безразлично, поскольку дело шло о дальних пригородах; они отметили только, что предместья, видимо, успешно следуют по стопам погрязшего в мздоимстве городского муниципалитета.

Прочтя в утренних газетах, что муниципалитеты утвердили концессии, Каупервуд улыбнулся. А в ближайшие дни он уже с удовлетворением выслушивал сообщения Лафлина, Сиппенса, Мак-Кибена и Ван-Сайкла о том, что старые компании подсылают к ним своих агентов, предлагая купить у них контрольные пакеты акций или дать им отступного за концессии. Вместе с Сиппенсом он рассматривал проекты будущих газовых заводов. Надо было приступать к выпуску и размещению облигаций, к продаже акций на бирже, заключению договоров на всевозможные поставки, к постройке резервуаров, газгольдеров, прокладке труб. Не менее важно было успокоить взбудораженное общественное мнение. Во всех этих делах де Сото Сиппенс оказался незаменимым. Пользуясь советами Ван-Сайкла, Мак-Кибена и Стимсона, которые действовали каждый в своем районе, он коротко докладывал Каупервуду о своих планах и, получив в ответ одобрительный кивок, покупал участки, рыл котлованы, строил. Каупервуд был так им доволен, что решил оставить его при себе и на будущее. Де Сото, в свою очередь довольный тем, что ему представился случай свести старые счеты и начать ворочать большими делами, был от души признателен Каупервуду.

— С этими мошенниками нам предстоит еще немало возни, — не без злорадства заявил он однажды своему патрону. — Вот увидите, они начнут нас донимать всякими кляузами. Кто их знает, они могут объединиться. Того и гляди завод у нас взорвут, как в свое время взорвали у меня газгольдер.

— Пусть взрывают, взрывать и мы умеем и судиться умеем тоже. Я не прочь. Мы их так прижмем, что они у нас волком взвоют. — В глазах Каупервуда заиграли веселые огоньки.

9. В ПОГОНЕ ЗА ПОБЕДОЙ

Между тем и Эйлин в новой для нее роли хозяйки дома тоже кое в чем преуспела — ибо хотя всем и было ясно, что Каупервудов в свете не сразу примут, но богатство этих людей не позволяло пренебрегать знакомством с ними. Привязанность Каупервуда к жене заставляла многих снисходительней относиться к Эйлин. Ее находили грубоватой и дурно воспитанной, но считали, что с таким мужем и наставником, как Каупервуд, можно всего добиться. Таково было мнение миссис Эддисон, например, и миссис Рэмбо. Мак-Кибен и Лорд рассуждали примерно так же. Если только Каупервуд любит Эйлин, а это, по-видимому, так, он, конечно, сумеет «продвинуть» ее в общество. Каупервуд действительно по-своему любил Эйлин. Он не мог забыть, что она совсем еще девочкой нашла в себе силы пренебречь условностями и всем для него пожертвовала, хотя знала, что он женат, что у него есть дети, знала, какой это будет удар для ее родных. Как пылко, как беззаветно она его полюбила! Она не жеманничала, не хитрила, не колебалась. Он с самого начала был «ее Фрэнк», да и теперь она любила его не меньше, чем в те давние незабываемые дни их первой близости. Каупервуд всегда это чувствовал. Эйлин могла с ним ссориться, капризничать, дуться, спорить, подозревать, укорять его в том, что он ухаживает за другими женщинами, но какое-нибудь мимолетное увлечение не встревожило бы ее, — так во всяком случае она утверждала. Правда, у нее не было оснований сомневаться в нем. Она готова простить ему все, решительно все, уверяла она, и сама этому искренне верила, если только он будет по-прежнему ее любить.

— Ах ты, разбойник, — говорила она шутливо. — Я тебя насквозь вижу. Думаешь, я не замечаю, как ты заглядываешься на женщин. Эта стенографисточка у тебя в конторе очень недурна. Наверно, ты уже за ней приударил.

— Не глупи, Эйлин, — отмахивался Каупервуд. — Ну, зачем говорить пошлости. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не свяжусь с какой-то стенографисткой. Контора — неподходящее место для флирта.

— Неподходящее? Ну уж не втирай мне очки. Будто я тебя не знаю. Для тебя всякое место подходящее.

Каупервуд смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Она ничего не могла с собой поделать. Слишком уж она его любила. В нападках ее не было настоящей горечи. Часто, укачивая ее на коленях, как ребенка, и нежно целуя, он шептал ей: «Моя крошка! Моя рыжая кукла! Правда, что ты меня так любишь? Тогда поцелуй меня». Они оба пылали какой-то первобытной страстью. И пока жизнь не отдалила их друг от друга, Каупервуд даже представить себе не мог более восхитительного союза. Они не ведали того холодка пресыщенности, который нередко переходит во взаимное отвращение. Эйлин всегда была ему желанна. Он подтрунивал над ней, дурачился, нежничал, зная наперед, что она не оттолкнет его от себя чопорностью или постной миной ханжи и лицемерки. Несмотря на ее горячий, взбалмошный нрав, Эйлин всегда можно было остановить и образумить, если она была неправа. Она же, со своей стороны, не раз давала Каупервуду дельные советы, подсказанные ее женским чутьем. Все их помыслы занимало теперь чикагское общество и новый дом, который они решили построить в надежде упрочить таким образом свое положение и войти в круг избранных. Будущее представлялось Эйлин только в розовом свете. Есть ли в мире женщина, счастливее ее? Фрэнк так красив, так великодушен, так нежен! В нем нет ничего мелочного. Пусть он даже иногда заглядывается на других женщин — что с того? В душе он ей верен, и не было еще случая, чтобы он ей изменил. Хотя Эйлин знала Каупервуда достаточно хорошо, она все же не представляла себе, как ловко он умеет изворачиваться и лгать. Но пока что он действительно любил ее и действительно был ей верен…

Каупервуд вложил уже около ста тысяч долларов в газовые компании и считал свое будущее обеспеченным. Концессии были выданы на двадцать лет, к концу этого срока ему не исполнится еще и шестидесяти, а за это время он наверняка либо приобретет контрольные пакеты старых компаний, либо объединится с ними, либо с большой выгодой переуступит им дело. Рост Чикаго предвещал ему успех. Поэтому он решил вложить до тридцати тысяч долларов в картины, если найдет что-нибудь стоящее, и заказать портрет Эйлин, пока она еще так хороша. Каупервуд опять стал интересоваться живописью. У Эддисона было четыре или пять хороших полотен — Руссо, Грез, Вуверман и Лоуренс, которые тот неизвестно где раскопал. Каупервуд слышал, что у некоего Колларда, владельца гостиницы и торговца недвижимостью и мануфактурой, имеется замечательная коллекция. Эддисон рассказал ему, что Дэвис Траск, король скобяных изделий, тоже коллекционирует картины. Многие богатые семейства в Чикаго уже начали собирать произведения искусства. Значит, пора начать и ему.

Как только концессии были утверждены, Каупервуд посадил Сиппенса у себя в кабинете и на время передал ему все дела. В пригородах, поблизости от строившихся заводов, были открыты маленькие конторы с незначительным штатом. Теперь старые компании донимали новые компании всевозможными тяжбами, требуя, чтобы суд «запретил», «отменил», «пресек» и т.д., но Мак-Кибен, Стимсон и генерал Ван-Сайкл отражали все атаки врага со спокойствием и доблестью защитников Трои. Это было забавное зрелище. Однако о Каупервуде почти никто ничего не знал. Он все еще оставался в тени. В связи с этими делами имя его даже и не упоминалось. Газеты ежедневно прославляли других людей, и в Каупервуде это будило досаду и зависть. Когда же настанет его черед? Теперь уж, наверно, скоро. В июне Каупервуд и Эйлин, веселые и жизнерадостные, отправились в Европу, решив насладиться сполна своим первым большим путешествием.

Это была чудесная поездка! Эддисон, с обычной для него любезностью, телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы миссис Каупервуд на пароход были доставлены цветы. Мак-Кибен прислал путеводители. Каупервуд, не зная наверное, подумает ли кто-нибудь о цветах, тоже заказал две великолепные корзины, так что, когда Эйлин поднялась на верхнюю палубу, ее ожидали там три

корзины цветов, каждая с приколотой к ней карточкой. Кое-кто из сидевших за капитанским столом пытался завязать знакомство с Каупервудами. Их приглашали на любительские концерты или просили составить партию за карточным столом. Но море было все время бурное, и Эйлин чувствовала себя неважно. Хорошо выглядеть, когда страдаешь морской болезнью, нелегкая задача, и поэтому она предпочитала большей частью оставаться в каюте. Держалась. Эйлин со всеми надменно, даже холодно, а в разговоре с теми, для кого она делала исключение, взвешивала каждое слово. Она вдруг почувствовала себя важной дамой.

Перед отъездом из Чикаго Эйлин почти опустошила ателье Терезы Доновен. Белье, пеньюары, костюмы для прогулок, амазонки, вечерние туалеты — все это она везла с собой в огромном количестве. На груди у нее был спрятан мешочек, в котором она хранила на тридцать тысяч долларов разных драгоценностей. А уж туфлям, шляпкам, чулкам и прочим принадлежностям дамского туалета просто не было числа. И это заставляло Каупервуда гордиться Эйлин. Сколько в ней энергии, сколько в ней живости! Лилиан, его первая жена, была бледной, анемичной женщиной, а в Эйлин жизнь била ключом. Она постоянно что-то напевала, шутила, наряжалась, кокетничала. Есть такие натуры, которые живут сегодняшним днем, ни над чем не размышляя и не углубляясь в себя. Наша планета с ее многовековой историей если и существовала для Эйлин, то как нечто весьма смутное и отвлеченное. Возможно, она и слышала, что когда-то на земле жили динозавры и крылатые пресмыкающиеся, но особого впечатления это на нее не произвело. Кто-то там сказал, будто мы произошли от обезьяны; какой вздор! А впрочем, может быть, так оно и есть. Ревущие в просторах океана зеленоватые громады волн внушали Эйлин почтение и страх, но не тот благоговейный трепет, который они будят в душе поэта. Пароход вполне надежен. Капитан, в синем мундире с золотыми пуговицами, такой любезный и предупредительный, сам сообщил ей это за столом. Эйлин полагалась на капитана. А кроме того, возле нее всегда был Каупервуд, настороженно, но без страха взиравший на величественное зрелище разбушевавшейся стихии и ни словом не обмолвившийся о том, на какие мысли оно его наводило.

В Лондоне благодаря письмам, которыми их снабдил Эддисон, Каупервуды получили несколько приглашений в оперу, на званые обеды, в Гудвуд — провести конец недели и побывать на скачках. Они катались в колясках, фаэтонах, кабриолетах. На воскресенье новые знакомые пригласили Каупервудов в свой плавучий домик на Темзе. Хозяева-англичане, смотревшие на это знакомство как на способ установить связь с финансовыми кругами Америки, были с ними учтивы, но и только. Эйлин интересовало все: присмотревшись к манерам людей, к порядкам в домах, к прислуге, она сразу же разочаровалась в Америке, — там все не так, все нуждается в коренных переменах.

— Нам предстоит прожить с тобой в Чикаго еще много лет. Эйлин, так что не увлекайся, — предостерегал ее Каупервуд. — Неужели ты не видишь, что эти люди терпеть не могут американцев? Поверь, если бы мы жили здесь постоянно, они бы нас к себе на порог не пустили. Во всяком случае сейчас. Мы здесь проездом, только поэтому они с нами и любезны.

Каупервуду это было совершенно ясно. А у Эйлин совсем закружилась голова. Она только и знала, что переодевалась. В Хайд-парке, где она ездила верхом и каталась в кабриолете, в «Кларидже», где Каупервуды остановились, на Бонд-стрит, где она ходила по магазинам, мужчины глядели на нее в упор, а чопорные, консервативные, скромные в своих вкусах англичанки только поднимали глаза к небу. Каупервуд все это видел, но молчал. Он любил Эйлин и пока что не желал для себя лучшей жены, — как-никак, она очень хороша собой. Если ему удастся упрочить ее положение в чикагском обществе, этого на первых порах будет достаточно.

Проведя три недели в Лондоне, где Эйлин отдала дань всему, чем издавна славится и гордится старая Англия, Каупервуды отправились в Париж. Здесь Эйлин овладел уже почти ребяческий восторг.

— Ты знаешь, — серьезно заявила она Каупервуду на следующее же утро, — я теперь убедилась, что англичане совсем не умеют одеваться… Даже самые элегантные из них только подражают французам. Возьми хотя бы тех мужчин, что мы видели вчера в «Кафе дез Англэ». Ни один англичанин не сравнится с ними.

— У тебя, дорогая моя, экзотический вкус, — отвечал Каупервуд, повязывая галстук, и покосился на нее со снисходительной усмешкой. — Французская элегантность — это уже почти фатовство. Я подозреваю, что некоторые из этих молодых людей были в корсетах.

— Ну и что ж такого? Мне это нравится. Уж если щеголять, так щеголять.

— Я знаю, что это твоя теория, детка, но во всем надо знать меру. Иногда полезно выглядеть и поскромнее. Не следует очень уж отличаться от окружающих, даже в выгодную сторону.

— Знаешь что, — сказала она вдруг, глядя на него, — а ведь ты когда-нибудь станешь страшным консерватором, не хуже моих братцев.

Она подошла к Каупервуду, поправила ему галстук и пригладила волосы.

— Кому-нибудь из нас надо же быть консерватором для блага семьи, — шутливо заметил он.

— А впрочем, я еще не уверена, что это будешь ты, а не я.

— Какой сегодня чудесный день. Взгляни, как хороши эти белые мраморные статуи. Куда мы поедем — в Клюни, в Версаль или в Фонтенебло? Вечером надо бы сходить во Французскую комедию, посмотреть Сарру Бернар.

Эйлин была счастлива и весела.

Какое блаженство путешествовать с Каупервудом в качестве его законной жены.

В эту поездку жажда удовольствий, интерес к искусству и твердая решимость завладеть всем, что может дать ему жизнь, пробудилась в Каупервуде с новой силой. В Лондоне, Париже и Брюсселе он познакомился с крупными антикварами. Его представление о старых школах живописи и великих мастерах прошлого значительно расширилось. Один лондонский торговец, сразу распознавший в Каупервуде будущего клиента, пригласил его и Эйлин посмотреть некоторые частные собрания и представил «иностранца, интересующегося живописью», кое-кому из художников — лорду Лейтону, Данте Габриэлю Россетти, Уистлеру. Для них Каупервуд был лишь самоуверенным, сдержанным, учтивым господином с несколько старомодными вкусами. Он же в свою очередь решил, что это люди неуравновешенные и самовлюбленные, с которыми ему никогда близко не сойтись, и единственное, что может их связывать, — это купля-продажа. Они ищут восторженных почитателей, а он мог быть только щедрым меценатом. Итак, Каупервуд посещал галереи, мастерские, рассматривал картины и думал — скоро ли, наконец, сбудутся его мечты о величии.

В Лондоне он приобрел портрет кисти Реберна, в Париже «Пахаря» Милле, маленькую вещичку Яна Стена, батальное полотно Мейссонье и романтическую сцену в дворцовом саду Изабэ. Так возродилось прежнее увлечение Каупервуд а живописью, и было положено начало коллекции, занявшей в дальнейшем столь большое место в его жизни.

По возвращении в Чикаго Каупервуд и Эйлин с увлечением отдались постройке нового дома. Насмотревшись старинных замков во Франции, они решили взять их за образец, и Тейлор Лорд не замедлил представить им архитектурный проект, воссоздававший некое подобие такого замка. Лорд считал, что потребуется год или даже полтора, чтобы завершить все работы, но Каупервуды особенно и не торопились: пока дом будет строиться, они упрочат свои светские связи и ко дню его окончания сумеют войти в избранный круг.

В ту пору чикагское общество представляло собой весьма пеструю картину. Были тут люди, которые внезапно разбогатели после долгих лет бедности и еще не забыли ни своей деревенской церкви, ни своих провинциальных привычек и взглядов; были и другие, получившие капитал по наследству или перебравшиеся сюда из Восточных штатов, где крупные состояния существуют давно, — эти уже умели» жить на широкую ногу; и наконец подрастали дочки и сынки новоявленных богачей, — они видели возникшее в Америке тяготение к роскоши и надеялись со временем к ней приобщиться. Молодежь эта пока только мечтала о танцах у Кинсли, где устраивались благотворительные базары и вечера, о летних развлечениях на европейский лад. Но до этого им было еще далеко. Первая группа, самая богатая, пользовалась, несмотря на свое невежество и тупость, наибольшим влиянием, ибо высшим мерилом были здесь деньги. Их увеселения поражали своей глупостью: все сводилось к тому, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Эти скороспелые богачи боялись как огня всякой свежей мысли, всякого новшества. Только шаблонные мысли и поступки, только рабское преклонение перед условностями допускались в их среде. Пригласить в дом актрису, — как это часто делалось в Восточных штатах или в Лондоне, — сохрани господи! Даже на певцов и на художников они смотрели косо. Как бы чего не вышло. Но если бы из Европы в Чикаго случайно заехал какой-нибудь князь или граф, — чего, конечно, никогда не бывало, — местные тузы расшиблись бы в лепешку, что, кстати сказать, они и делали всякий раз, когда в их городе проездом останавливался какой-нибудь воротила из Восточных штатов.

Каупервуд понял это сразу, как только приехал, но ему казалось, что если он станет богатым и влиятельным, построит роскошный особняк, то ему с Эйлин, быть может, удастся всколыхнуть это стоячее болото. К несчастью, Эйлин слишком горячилась, слишком уж явно искала случая утвердиться в обществе и добиться признания. Как дикарь, не приспособленный к самозащите и находящийся всецело во власти стихийных сил, она трепетала при мысли о возможной неудаче. Очень скоро Эйлин поняла, что существует категория светских женщин, совершенно чуждых ей по складу, сблизиться с которыми будет очень нелегко. Как-то раз она видела в магазине жену мануфактурного короля Энсона Мэррила, и та показалась ей непомерно чопорной и холодной. Миссис Мэррил, мнившая себя женщиной умной и высокообразованной, считала, что в Чикаго для нее нет подходящего общества. Она воспитывалась в Восточных штатах, в Бостоне, не раз ездила в Лондон и даже была принята в тамошнем свете. Чикаго представлялся ей просто грязной дырой, городом торгашей. Она предпочитала Нью-Йорк или Вашингтон, но была вынуждена жить здесь. С теми, кого миссис Мэррил удостаивала своим знакомством, она держалась покровительственно-надменно и имела обыкновение закидывать назад голову, устало опустив ресницы и страдальчески подняв брови, давая этим понять, как нестерпимо пошло все, что ее окружает.

На миссис Мэррил Эйлин указала некая миссис Хадлстоун, супруг которой был владельцем мыловаренного завода. Хадлстоуны жили по соседству с Каупервудами и тоже не принадлежали к избранному обществу. Но миссис Хадлстоун прослышала, что Каупервуды — люди состоятельные, что они дружны с Эддисонами и собираются строить особняк, который обойдется им в двести тысяч (молва всегда все преувеличивает). Этого оказалось достаточно. Как соседка она сочла возможным посетить Каупервудов и оставить свою карточку, а Эйлин, радовавшаяся всякому новому знакомству, поспешила отдать ей визит. Миссис Хадлстоун была маленькой, довольно невзрачной, но чрезвычайно пронырливой и практичной особой.

— Вы, конечно, слышали о миссис Мэррил. Вон она стоит возле прилавка с шелками, — заметила миссис Хадлстоун, указывая глазами на высокую худощавую брюнетку, очень высокомерную и чопорную. — Посмотрите, как она держит лорнет.

Эйлин обернулась и критически осмотрела с головы до ног эту великосветскую даму, от которой так и веяло холодом.

— Вы с ней знакомы? — спросила она с любопытством, продолжая разглядывать женщину у прилавка.

— Нет, они живут на Северной стороне, а у нас каждый вращается в своем кругу, — с достоинством заявила миссис Хадлстоун.

На самом же деле наиболее видные семейства ставили себе в заслугу именно то, что они выше всякого деления на «стороны» и избирают себе друзей из всех трех районов.

— Вот как! — заметила Эйлин с притворным безразличием. Втайне она была раздосадована тем, что миссис Хадлстоун сочла нужным показать ей миссис Мэррил, точно та была какой-то знаменитостью.

— По-моему, она подкрашивает брови, — шепнула миссис Хадлстоун, с завистью разглядывая жену мануфактуриста. — Я слышала, что ее муж не самый верный из супругов. У него, говорят, есть дама сердца, некая миссис Гледенс, она живет рядом с ними.

— Вот оно что! — осторожно отозвалась Эйлин. После своих филадельфийских злоключений она решила быть начеку и остерегаться всяких сплетен. Стрелы злословия легко могли попасть и в нее.

— Но миссис Мэррил, конечно, принадлежит к самому избранному обществу,

— не могла не признать спутница Эйлин.

С тех пор мечтой Эйлин стало познакомиться с этой дамой и попасть в число ее друзей. Она не знала, что ее честолюбивой мечте никогда не суждено сбыться, хотя, может быть, в глубине души и опасалась этого.

Но среди чикагцев нашлись и такие, что нанесли Каупервудам визиты, едва те обосновались в городе, а кое с кем Каупервуды и сами сумели завязать знакомство. У них стали бывать Сандерленд Слэд, директор службы движения одной из Юго-западных железных дорог, проходивших через город, человек образованный, не лишенный вкуса и довольно состоятельный, со своей женой — честолюбивым ничтожеством; Уолтер Райзем Коттон, комиссионер по оптовой продаже кофе, известный больше как автор статеек на темы светской жизни, и его супруга, окончившая женский колледж Вассарра; Нори Симс, секретарь и казначей кредитного и сберегательного общества «Дуглас», лицо весьма влиятельное, но не в тех финансовых кругах, которые представляли Эддисон и Рэмбо. Каупервуды познакомились домами и с богатым меховщиком Станиславом Хоксема, и с оптовым торговцем мукой Дьюэйном Кингслендом, с мясоторговцем-экспортером Уэбстером Израэлсом, ювелиром Брэдфордом Кэнда. Все эти семейства пользовались некоторым весом в обществе. Все они имели недурные особняки и недурные доходы, — с ними приходилось считаться. Разница между Эйлин и большинством этих дам была примерно та же, что между реальностью и иллюзией. Но это требует некоторого пояснения.

Чтобы понять умонастроения женщин того времени, следует мысленно обратиться к периоду средневековья, когда главенствующая роль принадлежала церкви и талантливые, но далекие от жизни поэты окружали женщину мистическим ореолом. С той поры девушки и женщины возомнили, что они созданы из другого, более благородного материала, чем мужчины, что их призвание — возвышать и облагораживать вторую половину рода человеческого и что их благосклонность — бесценнейший дар на свете. Эта розовая романтическая дымка, не имеющая ничего общего с понятием личной добродетели, привела к самовозвеличению некоторых женщин, вообразивших себя чуть ли не святыми и сверху вниз взиравших на мужчин, а подчас и на других женщин.

В атмосферу, насквозь пропитанную этой нелепой иллюзией, и попала Эйлин в Чикаго. Дамы, с которыми она познакомилась, витали в выдуманном ими мире. Они почитали себя неземными созданиями, вроде тех, что увековечила религиозная живопись и поэзия. В своих мужьях они стремились видеть образец нравственности, воплощение идеала, от других женщин требовали

незапятнанной чистоты. Эйлин, пылкая и непосредственная, подняла бы их на смех, если бы ей дано было это понять. Но она ровно ничего не понимала и чувствовала себя в присутствии этих женщин неловко и неуверенно.

Возьмем, к примеру, миссис Симс, горячую почитательницу миссис Мэррил. Получить приглашение к Мэррилам на обед, чай или завтрак, прокатиться по городу с миссис Мэррил было верхом блаженства для миссис Симс. Она любила повторять bon mots [note 3] своего кумира, рассуждать о ее удивительной образованности, рассказывать, как люди будто бы отказывались верить, что это жена такой посредственности, как Энсон Мэррил, — словом, все те принятые в свете пошлости, начало которым, вероятно, было положено еще дамами древнего Египта и Халдеи. Сама миссис Симс была заурядная, ничем не примечательная карьеристка — довольно ловкая, довольно миловидная и элегантная. Две маленькие дочки Симсов, соответственно требованиям того времени, были уже обучены всем тонкостям светского обхождения, — они радовали родителей умением принимать изящные позы, мило улыбаться, грациозно приседать. Приставленная к ним няня ходила в форме, а гувернантка была необычайно важной. Сама миссис Симс вела себя очень надменно, считалась только с теми, кто стоял выше ее на социальной лестнице, и от всей души презирала тот заурядный мир, в котором вынуждена была прозябать.

Пригласив Каупервудов на обед, миссис Симс тут же постаралась выведать у Эйлин что-нибудь о ее прошлом: не знавала ли она в Филадельфии Артура Ли и его жену, супругов Дрейк, Роберту Уилинг и семейство Уокеров? Миссис Симс сама с ними знакома не была, а только слышала о них от миссис Мэррил

— повод вполне достаточный, чтобы пустить эти имена в ход. Эйлин сразу насторожилась и, спасения ради, стала лгать, уверяя миссис Симс, что знакома со всеми этими людьми. Впрочем, в какой-то мере это было правдой: до того как распространился слух о связи Эйлин с Каупервудом, они с ней раскланивались. Такое сообщение несколько успокоило миссис Симс.

— Я непременно расскажу об этом Нелли, — воскликнула она, называя миссис Мэррил уменьшительным именем, чтобы показать, как близко они знакомы.

Эйлин очень боялась, что если так пойдет дальше, то скоро весь город узнает, что Каупервуд сидел в тюрьме, что, прежде чем стать его женой, она была его любовницей и фигурировала в его бракоразводном процессе в качестве соответчицы — хотя имя ее и не упоминалось. Спасти Эйлин могли только ее красота и богатство Каупервуда, больше ей не на что было надеяться.

Однажды на обеде у Кингслендов миссис Кэнда спросила Эйлин — как той показалось, весьма многозначительно — не была ли она знакома в Филадельфии с ее приятельницей, миссис Шюлер Эванс? Эйлин не на шутку перепугалась.

— Тебе не кажется, что миссис Кэнда, а может быть, и не ей одной, многое известно о нас? — спросила она Каупервуда по пути домой.

— Весьма возможно, а впрочем, не знаю, — отвечал он подумав. — На твоем месте я не стал бы особенно тревожиться. Если ты будешь постоянно об этом думать и волноваться, они скорее заподозрят, что у нас что-то не ладно. Я во всяком случае не скрывал и скрывать не собираюсь, что сидел в Филадельфии в тюрьме. Это все было подстроено. Никто не имел права сажать меня туда.

— Ну, конечно, дорогой! — сказала Эйлин. — Даже если здесь что-нибудь и пронюхали — беда не велика. Что особенного в конце концов. Мало ли у кого что было до брака.

— Все сводится к тому, примут ли они нас в свой круг. Не примут, — ну что ж, ничего не поделаешь. Нам нужно достроить дом и дать им возможность проявить свою доброжелательность. А не захотят — есть и другие города. В Нью-Йорке с деньгами мы добьемся чего угодно, поверь мне. Мы можем и там выстроить себе дворец и всех заставить с собой считаться, — для этого нужны только деньги. А деньги у нас будут, об этом беспокоиться нечего, — добавил он после недолгого молчания. — Я наживу здесь миллионы, нравится им это или не нравится, а потом… потом увидим. Не тревожься. Нет такой беды на свете, которой нельзя помочь деньгами, в этом я давно убедился.

И Каупервуд крепко стиснул зубы, как делал всегда, принимая бесповоротное решение. Впрочем, это не помешало ему взять руку Эйлин и ласково ее пожать.

— Не тревожься, — повторил он. — Разве нет других городов, кроме Чикаго? А лет через десять мы с тобой будем отнюдь не бедняками. Не падай духом. Все устроится, иначе и быть не может.

Эйлин смотрела на освещенную огнями уходившую вдаль Мичиган авеню и на безмолвные особняки, мимо которых они проезжали. Белые шары фонарей мерцали во мраке, превращаясь вдали в еле приметные точки. Было темно, приятно веяло прохладой. О, если бы на деньги Фрэнка можно было купить доступ в этот заманчивый мир и благожелательное к себе отношение! Эйлин не отдавала себе отчета в том, как много зависело от нее самой в предстоящей борьбе.

10. ИСПЫТАНИЕ

Новоселье в особняке на Мичиган авеню Каупервуды справляли в конце ноября 1878 года. Прошло около двух лет, как они переселились в Чикаго, и эти два года не пропали зря. На бегах, званых обедах, на приемах в клубах «Юнион-Лиг» и «Келюмет», куда Эддисон ввел Каупервуда, они встречались с новыми людьми, завязывали знакомства и теперь могли уже разослать более трехсот пригласительных билетов на свое празднество. Правда, в числе этих трехсот гостей должны были быть и люди им незнакомые — друзья Мак-Кибена и Лорда. На приглашение отозвалось человек двести пятьдесят. Каупервуд вел свои дела в Чикаго настолько ловко, умудряясь все время оставаться в тени, что никто не заинтересовался его прошлым. Он был богат, хорошо воспитан, не лишен обаяния. Дельцы, встречавшиеся с ним в обществе, считали его приятным и неглупым. Эйлин была красива, с признательностью откликалась на малейшее внимание, и ей охотно воздавали должное. Тем не менее высший свет Каупервудов не признавал.

Примечательно, что при известном такте и ловкости можно, не занимая никакого положения в обществе, создать себе вполне солидную репутацию. В те времена в Чикаго существовала еженедельная газетка, в которой печаталась светская хроника, и Каупервуд при посредстве Мак-Кибена заставил ее служить своим интересам. Представить сомнительное безупречным

— не легкая задача в любых условиях, но если внешне у вас все обстоит благопристойно, если вы держитесь уверенно, обладаете некоторым обаянием, а главное, имеете капитал, то это уже намного упрощает дело. Мак-Кибен знал редактора Хортона Бигерса. Это был жалкий, опустившийся циник лет сорока пяти, с седыми волосами и унылой физиономией — не человек, а какой-то губчатый нарост или полип, проявлявший показное оживление и заинтересованность только там, где этого требовала выгода. В те дни редакторы светской хроники еще были вхожи в привилегированные дома — на положении гостей, а не репортеров; впрочем, и тогда уже их принимали не очень охотно. Мак-Кибен, желая услужить Каупервуду, который давал ему работу и к которому он был расположен, как-то сказал Бигерсу:

— Вы ведь знаете Каупервудов?

— Нет, — отвечал редактор. — А кто они такие? — Как всякий прихлебатель, он прислуживал только самым высшим кругам.

— Ну как же? Каупервуд — банкир. У него контора на Ла-Саль-стрит. Они из Филадельфии. Миссис Каупервуд красавица — молода и всякое такое. Они строят себе особняк на Мичиган авеню. Вам бы следовало с ними познакомиться. Я думаю, что они будут приняты в лучших домах. Эддисоны с ними хороши. Если вы теперь окажете этим людям внимание, они вас не забудут. Каупервуд человек щедрый и вообще славный малый.

Бигерс навострил уши. Светская хроника — небогатая пожива, а другие возможности заработать представляются не часто. Тем, кто хотел получить благоприятный отзыв прессы, дабы упрочить свое положение в обществе или проникнуть туда, приходилось подписываться — и подписываться не скупясь — на его газетенку. Вскоре после этого разговора Каупервуд получил подписной бланк из конторы «Сэтердей ревю» и сейчас же послал чек на сто долларов мистеру Хортону Бигерсу лично. Вслед за тем семейства, не пользовавшиеся особым весом в чикагском обществе, стали замечать, что когда они приглашают на званый обед Каупервудов, «Сэтердей ревю» помещает отчет, а в тех случаях, когда не бывает Каупервудов, не бывает и отчетов. По-видимому, с этими Каупервудами следует поддерживать знакомство. Но все же, кто они такие?

Всякое внимание прессы, всякий даже самый скромный успех в обществе легко могут превратить человека в мишень для злословия. Тот, кто хоть чуть-чуть выделился из окружающей его среды, мгновенно привлекает к себе внимание светских судей: а кто он, откуда взялся, что собой представляет? Эйлин вложила в свой первый прием в новом доме всю душу, Каупервуд — весь свой вкус и изобретательность, — немудрено, что новоселье оказалось чем-то из ряда вон выходящим, а этого-то, учитывая известные обстоятельства, Каупервудам и не следовало делать. Чикагское общество, как мы уже говорили выше, отличалось большой косностью, на всякие новшества смотрело неодобрительно и мирилось с ними очень неохотно. Вторгнуться в этот узкий круг и ошеломить всех пышностью и невиданным блеском было по меньшей мере неосмотрительно. Наиболее осторожные, даже если и не придут совсем, то обо всем узнают и тоже произнесут свой приговор.

Торжество началось в четыре часа. Гости продолжали съезжаться до половины седьмого. В девять открылся бал, для которого был приглашен знаменитый чикагский струнный оркестр. Танцы перемежались выступлениями более или менее известных артистов, а в одиннадцать часов был подан роскошный ужин; гости сидели за маленькими столиками в трех залах нижнего этажа, эффектно освещенных гирляндами китайских фонариков. В довершение всего Каупервуд повесил в картинной галерее не только лучшие полотна, вывезенные из-за границы, но и последнее приобретение — великолепного Жерома, который тогда находился в зените своей несколько экзотической славы. Картина изображала нагих одалисок у бассейна, выложенного разноцветной мозаикой. Для Чикаго такое искусство было чересчур «фривольным», люди мало смыслящие в живописи нашли картину непристойной, тогда как более просвещенные не могли бы увидеть в ней ничего предосудительного. Но так или иначе, а это произведение бесспорно оживляло галерею. Тут же висел и недавно присланный из Европы портрет Эйлин работы голландского художника Яна Ван-Беерса, с которым Каупервуды познакомились прошлым летом в Брюсселе. Он написал портрет в девять сеансов и создал довольно эффектную вещь, в яркой гамме красок. Эйлин была изображена на фоне летнего ландшафта, в глубине виднелся пруд, окруженный низким каменным парапетом, красное кирпичное крыло голландского

загородного дома, куртины с тюльпанами и голубое небо в пушистых облачках. Эйлин сидела на вогнутом подлокотнике каменной скамьи, держа над головой розовый, отделанный кружевом зонтик; у ног ее зеленела трава; шелковый костюм в белую и голубую полоску — по последней парижской моде — облегал ее сильное, цветущее тело, соломенная шляпа с мягкими широкими полями, повязанная голубой лентой, бросала тень на искрящиеся жизнью и весельем глаза. Художнику удалось передать характер Эйлин — смелость, самонадеянность, дерзость, свойственные натурам неглубоким или еще не знавшим поражений. Сочный по краскам, хотя и несколько кричащий, как и все связанное с Эйлин, портрет способен был вызвать зависть в тех, кого природа наградила не столь щедро; будь это жанровая вещь — он мог бы считаться превосходным. В мягком свете газовых рожков Эйлин на этом полотне казалась особенно блистательной — праздная, беспечная, балованная красавица, которую всегда холили и берегли. Многие подолгу задерживались возле портрета, немало раздавалось по его адресу замечаний — кое-какие произносились громко, а кое-какие шепотом.

С самого утра Эйлин терзали беспокойство и неуверенность. По настоянию Каупервуда она обзавелась секретаршей, тщедушной и усердной девушкой, которая рассылала приглашения, сортировала ответы, выполняла всякие поручения и подчас могла даже дать дельный совет. Фадета, камеристка-француженка, совсем сбилась с ног, спеша все подготовить для своей госпожи, которой предстояло сегодня надеть два туалета — один днем, другой — между шестью и восемью вечера. Разыскивая засунутую куда-то ленту или усердно начищая броши и пряжки, она так и сыпала своими «mon dieu» и «parbleu». Эйлин, по обыкновению, немало помучилась, прежде чем решила, что все в порядке. Особенно труден был выбор платья. Портрет, висевший в картинной галерее, словно бросал ей вызов. Эйлин казалось, что сегодня вечером ей предстоит явиться на суд всего общества. В конце концов она все-таки не последовала совету лучшей чикагской портнихи Терезы Доновен и остановила свой выбор на парижском платье от Борта из тяжелого коричневого бархата с золотистым отливом; оно очень шло к ее волосам и цвету лица и выгодно обрисовывало ее статную фигуру. В тон платью были и коричневые шелковые чулки и коричневые туфельки с красными эмалевыми пуговками. Серьги Эйлин сперва надела аметистовые, потом заменила их топазовыми.

Беда Эйлин заключалась в том, что она не умела все это проделывать со спокойной уверенностью светской женщины. Она не столько управляла обстоятельствами, сколько обстоятельства управляли ею. В иных случаях ее выручало только спокойствие, выдержка и такт Каупервуда. Если Каупервуд был возле нее, она чувствовала себя знатной дамой, умеющей держаться непринужденно в любом обществе. Но стоило ей остаться одной, и она тотчас теряла мужество, хотя робость отнюдь не была ей свойственна. Эйлин никак не могла забыть о своем прошлом.

В четыре часа Кент Мак-Кибен, элегантный и самоуверенный, окинув быстрым, не слишком одобрительным взглядом всю эту пышность, остановился в большой гостиной с Тейлором Лордом, который, в последний раз осмотрев весь дом, уже собрался было уходить, чтобы вернуться вечером, но задержался, увидев адвоката. Будь Лорд и Мак-Кибен короче знакомы, они, вероятно, пустились бы в обсуждение предстоящего приема и шансов Каупервудов на успех, но сейчас, не решаясь говорить откровенно, только обменивались общими, ничего не значащими фразами. В эту минуту во всем блеске своей красоты в гостиной появилась Эйлин. Кент Мак-Кибен подумал, что она никогда еще не была так хороша, как сегодня. Что ни говори, а по сравнению с этими надутыми ханжами, которых так много встречаешь в свете, с этими хитрыми, злобными, расчетливыми карьеристками, умело спекулирующими своим общественным положением, Эйлин просто восхитительна. Жаль только, что ей недостает уверенности в себе, ей бы следовало быть чуть сдержанней, чуть холоднее, слишком уж она простодушна и приветлива. И все же при поддержке Каупервуда она может достигнуть многого.

— Очаровательно! Все здесь совершенно очаровательно! — заверил он Эйлин. — Я как раз говорил мистеру Лорду, что я в восторге от вашего особняка.

Услышав такую похвалу от Мак-Кибена, человека светского, да еще в присутствии Тейлора Лорда, тоже принятого в высшем обществе, Эйлин была чрезвычайно польщена. Она просияла от удовольствия.

Одним из первых прибыли миссис Уэбстер Израэлс, миссис Брэдфорд Кэнда и миссис Уолтер Райзем Коттон, — они обещали помочь Эйлин принимать гостей. Дамы эти, гордившиеся своей прозорливостью и умением разбираться в людях, даже и не подозревали о том, какому риску подвергают свою репутацию: их сбили с толку роскошь, которой окружила себя Эйлин, растущая известность Каупервуда в финансовых кругах и великолепие нового дома. У миссис Уэбстер Израэлс был такой странный рот, что Эйлин, встречаясь с нею, всякий раз поражалась: «До чего же он а похожа на рыбу!» Однако миссис Израэлс нельзя было назвать безобразной, а в этот день оживление придавало ей даже некоторую миловидность. Миссис Брэдфорд Кэнда в блекло-розовом платье с серебристо-серой отделкой, отчасти скрадывавшем ее худобу, была еще довольно привлекательна, несмотря на свою сухопарость. Она принимала во всем самое горячее участие, полагая, что присутствует при знаменательном событии. Миссис Уолтер Райзем Коттон, несколько более молодая, чем две другие дамы, за годы пребывания в колледже набралась модной учености и считала себя «выше предрассудков». Она инстинктивно угадывала, что Каупервуды, пожалуй, не принадлежат к сливкам общества, но они быстро продвигались по общественной лестнице и, чего доброго, могли обогнать остальных. А потому с ними следовало быть любезной.

В жизни бывает иной раз так, как на картинах Монтичелли: отдельные предметы, фигуры, лица теряют свою обособленность, сливаются в красочное целое, и частное исчезает в общем блеске. Новый особняк Каупервудов с огромными до полу окнами первого этажа, с высеченными из камня тяжелыми гирляндами цветов по фасаду, с резной дубовой дверью подъезда, скрытой в глубокой нише, вскоре заполнился пестрым оживленным потоком гостей. Многих Каупервуд и Эйлин видели впервые; это

были гости, приглашенные Мак-Кибеном и Лордом, которых они тут же представляли хозяевам. Площадка у подъезда и соседние переулки были до отказа забиты нарядными экипажами и лошадьми, нетерпеливо грызущими удила. Все, с кем Каупервуды были мало-мальски знакомы, приехали пораньше и оставались дольше других, видя, что тут есть на что посмотреть и на что полюбоваться. Ресторатор Кинсли прислал целую маленькую армию вышколенных официантов, которых дворецкий Каупервуда расставил вокруг стола. Столовая, выдержанная в красновато-коричневых тонах, излюбленных в древней Помпее, сверкала хрусталем, поражая взор великолепием сервировки. Платья женщин — здесь были представлены все оттенки серого, лилового, коричневого и зеленого цветов, модных той осенью, — эффектно сочетались с коричневыми тонами вестибюля, темно-серыми с позолотой стенами гостиной, суриком столовой, белой с позолотой окраской музыкальной комнаты и нейтральной сепией картинной галереи.

Эйлин, не терявшая твердости духа благодаря присутствию Каупервуда, который переходил из столовой в библиотеку, из библиотеки в картинную галерею, беседуя то с одной, то с другой группой мужчин, стояла у входа в зал, блистая своей тщеславной красотой, восхитительная, но достойная жалости — воплощение тщеты всего показного, жестокого: «иметь и не иметь». Эта разряженная толпа, в которой было больше любопытства, чем дружеского внимания, больше зависти, чем благожелательности, больше придирчивости, чем снисходительности, явилась сюда только за тем, чтобы все высмотреть и все раскритиковать.

— Право, даже не понимаю почему, но ваш дом, миссис Каупервуд, напоминает мне вернисаж, — как бы между прочим заметила миссис Симс.

Эйлин уловила колкость, но не нашлась, что ответить, а только вспыхнула от обиды и язвительно спросила:

— Вы так думаете?

Удовлетворенная достигнутым эффектом, миссис Симс горделиво двинулась дальше в сопровождении влюбленного в нее молодого художника, который всегда следовал за ней по пятам.

Это замечание, как, впрочем, и многое другое, показало Эйлин, что она еще далеко не «свой» человек в высшем обществе. Пока что ни с ней, ни с Каупервудом в свете считаться не желали. Она почти возненавидела недалекую миссис Израэлс, которая стояла возле нее в эту минуту и слышала замечание миссис Симс. И все же миссис Израэлс хоть что-то собою представляла: миссис Симс удостоила ее легким кивком и довольно снисходительным «как поживаете?».

Появление Эддисонов, Слэдов, Кингслендов, Хоксема и других уже ничего не могло поправить: Эйлин утратила душевное равновесие. Но когда после обеда молодежь во главе с Мак-Кибеном — он был распорядителем на балу — начала танцевать, Эйлин снова, несмотря на свою неуверенность, оказалась на высоте. Она была весела, смела, очаровательна. Кент Мак-Кибен, слывший великим мастером и знатоком всех тайн и тонкостей полонеза, вел ее в первой паре этого грациозного, праздничного шествия, а за ними второй парой следовал Каупервуд с миссис Симс. Эйлин, в белом атласном платье, шитом серебром, в бриллиантовых серьгах, диадеме, ожерелье и браслетах, ослепляла почти экзотической роскошью. Она блистала в буквальном смысле слова. Мак-Кибен был совершенно покорен и рассыпался в комплиментах.

— Какое наслаждение танцевать с вами, — шептал он, наклоняясь к ней. — Вы красивы, как мечта!

— Но мечта отнюдь не бесплотная, в этом, знаете ли, легко убедиться, — ответила Эйлин.

— О, если б мне выпало такое счастье! — шутливо воскликнул он.

Эйлин поняла намек и в ответ взглянула на него с дразнящей улыбкой. Миссис Симс, которую усиленно занимал Каупервуд, сколько и старалась, так и не смогла расслышать их разговора.

После полонеза Эйлин, окруженная шумной, легкомысленной толпой развязней «золотой молодежи», повела всех смотреть свой портрет. Люди старшего поколения осуждали обилие вина, обнаженных женщин на картине Жерома, висевшей в одном конце галереи, вызывающе яркий портрет Эйлин в другом ее конце и самое хозяйку дома, за которой слишком усердно увивались некоторые из молодых мужчин. Миссис Рэмбо, женщина добрая и благожелательная, сказала своему мужу, что Эйлин, как ей кажется, «слишком спешит жить». Миссис Эддисон, пораженная кричащей роскошью и размахом празднества, устроенного Каупервудами и затмившего, если не многолюдностью и респектабельностью, то блеском все вечера у них в доме, заметила мужу:

— А Каупервуд, видимо, наживает бешеные деньги.

— Так ведь он прирожденный финансист, Элла, — наставительно пояснил Эддисон. — Он спекулирует на бирже и, конечно, наживает и будет наживать большие деньги. А вот примут ли их в свете — не знаю. Будь он один, без жены, это было бы проще. Она очень красива, но Каупервуду она не пара, не такая ему нужна жена. Она как-то даже слишком хороша.

— Ты прав. Мне она нравится, но я боюсь, что она сама много себе напортит. А жаль.

Как раз в эту минуту Эйлин, с раскрасневшимся от лести и комплиментов счастливым лицом, проходила мимо них в сопровождении двух улыбающихся юнцов. Каупервуды отвели под танцы музыкальную комнату и гостиную, и теперь все устремились в этот импровизированный бальный зал. Навстречу Эйлин неслись звуки музыки, запах цветов, многоголосый говор; взволнованная, она приостановилась на пороге, окидывая взглядом движущуюся, блестящую, разряженную толпу.

— Давно я не видел таких красавиц, как миссис Каупервуд, — заметил Брэдфорд Кэнда редактору светской хроники Хортону Бигерсу. — Она, пожалуй, даже чересчур красива.

— А какое она, по-вашему, произвела впечатление? — допытывался осторожный Бигерс.

— Очаровательная женщина, только боюсь, что она недостаточно сдержанна, недостаточно умна. Ей бы надо держаться посолидней. Она слишком увлекается. Наши зрелые красотки не захотят у них бывать, рядом с ней они все будут казаться старухами. Если бы миссис Каупервуд была не столь молода и не столь красива, к ней отнеслись бы лучше.

— Я тоже так думаю, — сказал Бигерс. На самом деле он вовсе этого не думал и вообще неспособен был к подобным обобщениям. Но теперь он был твердо в этом убежден, ибо так сказал Брэдфорд Кэнда.

11. ПЛОДЫ ДЕРЗАНИЙ

На следующий день за утренним кофе у Симсов и во многих других чикагских домах только и было разговору, что о новоселье у Каупервудов и о том, будут они приняты в обществе или нет.

— Как хочешь, но миссис Каупервуд совершенно не умеет себя держать, — заметила миссис Симс своему мужу. — И вообще они устроили не новоселье, а какую-то ярмарку. Надо же додуматься: в одном конце галереи повесить ее портрет, а в другом — этого Жерома! А сегодняшняя заметка в «Пресс»! Словно они и в самом деле что-то собой представляют.

Миссис Симс подозревала теперь, и не без основания, что дала себя провести своим приятелям Тейлору Лорду и Кенту Мак-Кибену, познакомившим ее с Каупервудами, и это ее злило.

— А что ты скажешь о гостях? — спросил мистер Симс, намазывая маслом булочку.

— Все это люди без положения. Кроме нас, в сущности, и назвать-то некого. Я очень жалею теперь, что мы поехали. Кто такие эти Израэлсы и Хоксема? Вот несносная женщина. (Она имела в виду миссис Хоксема.) Замучила меня своей глупой болтовней.

— Я вчера беседовал с издателем «Пресс» Хейгенином, — заметил мистер Симс. — Он утверждает, что Каупервуд приехал сюда после того, как обанкротился в Филадельфии и что ему там будто бы было предъявлено несколько исков. Ты что-нибудь об этом слышала?

— Нет. Но миссис Каупервуд говорит, что была там знакома с Дрейками и Уокерами. Я все собиралась спросить у Нелли. Мне всегда казалось странным, что они уехали из Филадельфии, раз дела у него там шли хорошо. Что-то тут не так.

Симса раздражало, что Каупервуд уже успел завоевать известное положение в финансовых кругах Чикаго, и он завидовал ему. К тому же Каупервуд, без сомнения, был весьма неглуп и очень энергичен, а это обычно вызывает в людях зависть, если только они не рассчитывают на твои благодеяния или сами не преуспели в какой-то другой области. Теперь Симсу захотелось выяснить, кто такой Каупервуд, узнать всю его подноготную.

Но не успело еще чикагское общество произнести свой приговор над Каупервудами, как произошли события, в какой-то мере даже более важные для их будущего в Чикаго, хотя Эйлин и не отдавала себе в этом отчета. Отношения между новыми и старыми газовыми компаниями все более обострялись. Обеспокоенные акционеры старых компаний стали доискиваться, кто

же все-таки стоит за этими новыми компаниями, которые так нагло покушаются на их права и привилегии. Некоему Парсонсу, поверенному Северо-чикагской газовой, было поручено противодействовать махинациям де Сото Сиппенса и старого генерала Ван-Сайкла. Узнав, что муниципальный совет Лейк-Вью постановил разрешить концессию и что апелляционный суд собирается это постановление утвердить, Парсонс напал на удачную мысль: он предложил выдвинуть против новой компании обвинение в тайном сговоре и поголовном подкупе членов муниципалитета. Удалось раскопать немало доказательств, подтверждающих, что Дьюниуэй, Джейкоб Герехт и другие члены муниципалитета Лейк-Вью получили взятку, и, возбудив дело, можно было оттянуть окончательное решение вопроса о выдаче концессии, с тем чтобы выиграть время и дать возможность старой компании еще что-нибудь придумать и предпринять. Внимательно следя за каждым шагом Сиппенса и генерала Ван-Сайкла, Парсонс установил, что тот и другой всего лишь подставные лица, а истинный вдохновитель всей этой аферы — Каупервуд или еще какие-то дельцы, которых он в свою очередь представляет. Парсонс однажды зашел-даже в контору к Каупервуду в надежде поговорить с ним и что-нибудь у него выведать, но хитрость не удалась; тогда он принялся еще усерднее наводить справки о прошлом Каупервуда и его деловых связях. Завершились все эти розыски и слежка тем, что в окружном суде в конце ноября было возбуждено дело по обвинению Фрэнка Алджернона Каупервуда, Генри де Сото Сиппенса, Джадсона П.Ван-Сайкла и других в тайном сговоре; почти одновременно Западная и Южная компании со своей стороны тоже обратились в суд. И те и другие указывали, что за новыми компаниями стоит Каупервуд, намеревающийся принудить старые компании откупиться от него. Газеты не замедлили опубликовать историю, которая произошла с Каупервудом в Филадельфии, правда, не во всех подробностях, а лишь то, что он сам незадолго перед тем нашел нужным им сообщить. «Тайный сговор» и «подкуп» — слова неблагозвучные, однако обвинения, состряпанные адвокатом конкурента, еще ровно ничего не доказывают. Но тюрьма, банкротство, развод, скандал — пусть даже газеты упоминали обо всем этом лишь вскользь и очень осторожно

— возбудили всеобщий интерес и привлекли внимание к Каупервуду и его супруге.

Каупервуда попросили дать интервью, и он заявил, что не состоит пайщиком новых компаний, а является всего лишь их финансовым агентом, и что выдвинутые против него обвинения — чистейший вымысел, обычная юридическая уловка, с целью как можно больше запутать положение. Он грозил подать в суд за клевету. Судебные иски ни к чему не привели (Каупервуд умел прятать концы в воду), однако обвинения все же были ему предъявлены, и Каупервуд приобрел известность как ловкий, изворотливый делец с довольно сомнительным прошлым.

— О Каупервуде начинают писать в газетах, — сказал как-то Энсон Мэррил жене за утренним завтраком. На столе перед ним лежал номер «Таймса», и он смотрел на заголовок, расположенный по тогдашней моде пирамидой и гласивший: «Чикагские граждане обвиняются в тайном сговоре. В окружной суд подана жалоба на Фрэнка Алджернона Каупервуда, Джадсона П.Ван-Сайкла, Генри де Сото Сиппенса и других». Далее шли подробности. — А я думал, он обыкновенный маклер.

— Я знаю о них лишь то, что мне рассказывала Белла Симс, — ответила жена. — А что про него пишут?

Энсон Мэррил протянул ей газету.

— Мне всегда казалось, что это выскочки, — объявила миссис Мэррил. — Я никогда ее не видела, но говорят, она совершенно невозможна.

— Этот филадельфиец неплохо начинает, — улыбнулся Мэррил. — Я видел его в клубе. Он производит впечатление человека очень толкового. Ему пальца в рот не клади.

Совершенно так же и мистер Норман Шрайхарт, который неоднократно видел Каупервуда в залах клубов «Келюмет» и «Юнион-Лиг», но до сего времени нисколько им не интересовался, вдруг начал наводить о нем справки. Высоченного роста, сильный и здоровый как бык и чрезвычайно энергичный, он был прямой противоположностью изнеженному Мэррилу. Когда газеты заговорили о Каупервуде, Шрайхарт, встретив как-то в клубе Эддисона, подсел к нему на большой кожаный диван.

— Что представляет собой этот Каупервуд, о котором сейчас столько пишут в газетах? — спросил он банкира. — Вы ведь всех знаете, Эддисон, и, помнится, даже когда-то знакомили меня с ним.

— Как же, как же, — весело отвечал Эддисон, который, несмотря на сыпавшиеся на Каупервуда нападки, был в общем доволен оборотом, который приняло дело. Страсти разгорелись, а это свидетельствовало о том, что Каупервуд действует достаточно ловко, и главное — что он сумел отвлечь подозрение от дельцов, стоявших за его спиной. — Он уроженец Филадельфии. Несколько лет назад перебрался сюда и открыл хлеботорговую и комиссионную контору. Теперь он банкир. Неглупый человек, как мне кажется. И довольно богатый.

— Газеты пишут, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году он обанкротился в Филадельфии, задолжав миллион долларов. Правда это?

— Насколько я знаю, правда.

— И действительно сидел в тюрьме?

— Да, как будто сидел. Но, насколько я понимаю, никаких преступлений он не совершал, а просто чего-то не поделил с местными финансистами и политиками.

— И ему всего сорок лет?

— Что-то около того. А почему это вас интересует?

— Да так. Довольно смелый у него план — обобрать старые газовые компании. Вы думаете, ему это удастся?

— Ну, этого я не знаю. Мне ведь известно только то, что я прочел в газетах, — осторожно отвечал Эддисон. Ему вообще не хотелось продолжать этот разговор. Каупервуд через подставных лиц пытался как раз ценой некоторых уступок прийти к соглашению и объединить все компании. Но дело пока не очень клеилось.

— Хм! — произнес Шрайхарт, сам удивляясь тому, что ни он, ни Мэррил, ни Арнил, ни другие дельцы не додумались до сих пор заняться производством газа или скупить акции у старых компаний.

С этой мыслью он ушел из клуба, а на следующее утро у него уже сложился собственный план. Подобно Каупервуду, Шрайхарт был хитрый, холодный и расчетливый делец. Он твердо верил в будущее Чикаго и во всякое начинание, связанное с ростом города. Когда деятельность Каупервуда привлекла его внимание к газовым предприятиям, Шрайхарт быстро смекнул, какие возможности в них заложены. Пожалуй, и сейчас еще не поздно ввязаться в борьбу; если действовать достаточно ловко, не исключено, что удастся выхватить из-под носа противников этот лакомый кусок. А не то можно попытаться перетянуть на свою сторону Каупервуда.

Человек властный, Шрайхарт не любил участвовать в делах в качестве младшего компаньона или мелкого вкладчика. Если уж он за что-нибудь брался, то желал распоряжаться и руководить. Он решил пригласить к себе Каупервуда и потолковать с ним. Секретарь написал по его указанию письмо, в котором Каупервуда в довольно высокомерном тоне просили зайти «по важному делу».

Каупервуд считал сейчас свое положение в финансовом мире Чикаго достаточно прочным, однако он еще не забыл, как совсем недавно его чернили все, кому не лень. Все это вместе взятое заставляло его относиться с нескрываемым презрением ко всему человечеству — равно и к бедным и к богатым. К тому же он отлично помнил, что Шрайхарт, которому он был представлен, никогда до сей поры не удостаивал его ни малейшим вниманием.

«Мистер Каупервуд просит сообщить, — писала под его диктовку секретарша Антуанета Новак, — что он в настоящее время очень занят, но будет счастлив видеть мистера Шрайхарта в любое время у себя в конторе».

Самонадеянный, властный Шрайхарт разозлился, получив это письмо, но потом рассудил, что от свидания с Каупервудом вреда не будет, а пользу оно принести может, и однажды под вечер отправился к нему в контору, где и был принят весьма любезно.

— А, мистер Шрайхарт, как поживаете? — приветствовал его Каупервуд, протягивая ему руку. — Очень рад вас видеть. Мы, насколько я помню, встречались с вами однажды, несколько лет назад.

— Да, да, припоминаю, — отвечал Шрайхарт — широкоплечий, с квадратным лицом, коротко подстриженными усиками над упрямой верхней губой и жесткими, пронизывающими черными глазами. — Судя по газетам, если только им можно верить, — приступил он прямо к делу, — вас интересуют местные газовые предприятия, не так ли?

— На газеты никогда не следует особенно полагаться, — учтиво возразил Каупервуд. — Но, может быть, вы соблаговолите сперва пояснить мне, что заставляет этим интересоваться вас?

— Видите ли, по правде говоря, — отвечал Шрайхарт, глядя в упор на Каупервуда, — я сам интересуюсь газом. Это довольно выгодная сфера приложения капитала, а кроме того, ко мне недавно обратились кое-кто из членов правления старых компаний и просили помочь им объединиться. (Шрайхарт лгал.) В общем мне хотелось бы знать, неужели вы в самом деле рассчитывали добиться таким путем какого-то успеха?

Каупервуд улыбнулся.

— Прежде чем обсуждать этот вопрос, я желал бы получить более исчерпывающие сведения о ваших намерениях и связях. Вы говорите, что к вам обратились акционеры старых компаний и просили помочь им прийти к какому-то соглашению. Так ли я вас понял?

— Так.

— И вы думаете, что вам удастся их объединить? А на каких условиях?

— Мне кажется, что проще всего учредить держательскую компанию и за каждую старую акцию выдать акционерам по две или три новых. Тогда можно было бы избрать одно правление, иметь одну контору и прекратить эти тяжбы, от чего все только бы выиграли.

Он говорил небрежным, покровительственным тоном, словно и не подозревая, что все это было давно обдумано самим Каупервудом, и тот не мог не подивиться спокойной наглости, с какою этот видный чикагский делец, который еще недавно даже не находил нужным с ним здороваться, теперь преподносит ему его же собственный план.

— А на каких условиях думаете вы привлечь к этому делу новые компании?

— осторожно осведомился Каупервуд.

— Да на таких же, как и все остальные, если только капитал у них не слишком разводнен. О подробностях я еще не думал. По-моему, две или три акции за одну, смотря по тому, каков реально вложенный капитал. Надо ведь принять во внимание и претензии старых компаний.

Каупервуд размышлял. Стоит или не стоит обсуждать это предложение? Представлялся случай быстро и без особых хлопот заработать солидный куш, продав свои акции старым компаниям. Но тогда львиная доля барыша от всей этой комбинации достанется уже не ему, а Шрайхарту. А выждав, может быть удастся добиться от старых компаний более выгодных условий, даже если Шрайхарт и сумеет их объединить. Трудно сказать. Наконец он спросил:

— А какой пакет акций останется у вас на руках — или на руках у учредителей — после того, как вы разочтетесь со старыми и новыми компаниями?

— Процентов тридцать пять, сорок от всех акций. Надо же что-нибудь получить за свои труды, — с любезной улыбкой отвечал Шрайхарт.

— Совершенно справедливо, — подтвердил Каупервуд и улыбнулся, — но поскольку я срезал палку, которой вы теперь собираетесь сбить это сочное яблочко, основательная часть должна достаться и мне, как вы полагаете?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего, кроме того, что я сказал. Новые компании, без которых ни о каком объединении не могло бы идти и речи, основал я. Ваш план ничем не отличается от того, который уже давно был предложен мною. Правление и директора старых компаний злы на меня, они считают, что я покушаюсь на какие-то их особые права и привилегии. Если единственно по этой причине они предпочитают иметь дело с вами, а не со мной, это вовсе не значит, что мне не причитается большая доля учредительской прибыли. Мои личные капиталовложения в новые компании не так уж велики. Я скорее выступаю здесь в роли финансового агента. (Это не соответствовало истине, но Каупервуд предпочитал, чтобы Шрайхарт думал именно так.) Шрайхарт улыбнулся.

— Но вы забываете, дорогой мой, — пояснил он, — что я обеспечу почти весь необходимый капитал.

— А вы забываете, — перебил его Каупервуд, — что я не новичок в деловом мире. Если хотите, я сам гарантирую весь капитал и дам вам еще хорошую премию за услуги. Заводы и концессии старых и новых компаний чего-нибудь да стоят. Вы упускаете из виду, что Чикаго растет.

— Все это мне известно, — уклончиво отвечал Шрайхарт, — но я знаю также, что вам предстоит длительная борьба, на которую вы изведете уйму денег. Обстоятельства сложились так, что у вас нет никаких шансов договориться со старыми компаниями. Насколько я понимаю, они не желают иметь с вами дела. Объединение это может провести только какое-нибудь

незаинтересованное лицо вроде меня, и непременно человек влиятельный или, вернее, давно живущий в Чикаго и лично знакомый со всеми этими людьми. А у вас ведь нет никого, кто бы мог это сделать лучше, чем я.

— Почему же, очень возможно, что мне удастся кого-нибудь найти, — хладнокровно возразил Каупервуд.

— Навряд ли. И во всяком случае не при том положении, какое создалось сейчас. Старые компании не пойдут вам навстречу, а со мной они готовы вести дело. Не лучше ли вам согласиться на мое предложение и поскорее со всем этим покончить?

— На таких условиях — нет, — отрезал Каупервуд. — Мы слишком глубоко проникли на территорию противника и слишком многое уже сделали. Три или четыре акции за одну — сколько бы там ни получили акционеры старых компаний, — самое меньшее, на что я могу согласиться в отношении новых акций. А затем половина того, что останется, должна пойти мне. Мне ведь придется делиться с другими. (Это тоже не соответствовало истине.)

— Нет, — Шрайхарт упрямо замотал большой головой, — невозможно. Риск слишком велик. Я бы мог еще, пожалуй, дать вам четвертую часть — да и то нужно подумать.

— Половина или ничего, — решительно сказал Каупервуд.

Шрайхарт поднялся.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

— Боюсь, что мы с вами не сговоримся. Жаль. Борьба может оказаться длительной и обойдется вам очень дорого.

— Я это предусмотрел, — отвечал финансист.

12. НОВЫЙ СОЮЗНИК

Вскоре после того как Каупервуд столь решительно отказал Шрайхарту, ему пришлось убедиться, что «взявший меч от меча и погибнет». В самом деле, не прошло и нескольких дней, как его вездесущий поверенный, старый генерал Ван-Сайкл, зорко следивший за всем, что делалось в законодательном собрании штата, где регистрировались новые акционерные компании, в городском и пригородных муниципалитетах, в судах и других присутственных местах, проведал о серьезном контрударе, который готовил противник. Он первый и сообщил Каупервуду, что компания на Северной стороне что-то затевает. Как-то под вечер Ван-Сайкл явился к Каупервуду в своей залосненной шинели внакидку и мягкой шляпе, надвинутой на кустистые брови, и, не отвечая на приветствие последнего: «Добрый день, генерал, чем могу служить?» — с мрачным видом опустился в кресло.

— Готовьтесь к шторму, капитан! (Так он всегда величал Каупервуда.)

— А что случилось? — спросил тот.

— Пока ничего, но может случиться. Кто-то, не знаю еще кто, хочет объединить все три старые компании. Учреждается новая компания. Чикагская объединенная газовая и топливная, в законодательное собрание уже поступило заявление о регистрации, а в кредитном обществе «Дуглас» директора совещаются чуть не каждый день. Мне это сказал Дьюниуэй, а он узнал от своих приятелей.

Каупервуд по своей старой привычке размеренно постукивал кончиками пальцев друг о друга.

— Позвольте-ка… Кредитное и сберегательное общество «Дуглас»? Председателем там мистер Симс. Ну, он недостаточно хитер, чтобы выдумать такую штуку. А кто же учредители?

Генерал протянул ему записку с четырьмя именами. Ни один из этих людей не имел ни малейшего отношения к правлениям старых компаний.

— Все подставные лица, — коротко сказал Каупервуд и, помолчав, добавил:

— А ведь я, кажется, знаю, кто там орудует. Но вы не беспокойтесь, генерал, пусть объединяются, ничего они с нами поделать не могут. Рано или поздно им все равно придется либо продать нам свои акции, либо купить наши.

Тем не менее он был очень раздосадован, что Шрайхарт сумел убедить газовые компании объединиться. Он сам как раз собирался подослать к ним Эддисона с аналогичным предложением. По-видимому, Шрайхарт начал действовать сразу после разговора с ним.

Каупервуд немедленно отправился в «Лейк-Сити Нейшнл», чтобы повидать Эддисона.

— Вы слышали новость? — воскликнул банкир, едва Каупервуд переступил порог его кабинета. — Они объединяются. Это все Шрайхарт. Как раз то, чего я опасался. Симс из кредитного общества «Дуглас» будет у них финансовым агентом. Я узнал об этом десять минут назад.

— И я тоже, — хладнокровно отвечал Каупервуд. — Нам следовало действовать быстрее, но что об этом теперь говорить. А на каких условиях они объединяются?

— Они получают три новых акции за одну старую. Около тридцати процентов акций держательской компании остается Шрайхарту, который вправе продать их или оставить себе по своему усмотрению. Он гарантирует им процент на вложенный капитал. А ведь это мы для него все подготовили — загнали ему дичь прямо в силок.

— Так или иначе, ему все равно придется иметь дело с нами, — отвечал Каупервуд. — Я вот что думаю: нужно сейчас же обратиться в городской муниципалитет и просить концессию на весь город. Этого можно добиться. А если мы такую концессию получим, то поставим их на колени. Мы будем в лучшем положении, чем они, так как у нас ведь имеются компании в пригородах. А сами с собой мы уж сумеем объединиться.

— Это нам обойдется недешево.

— Но и не так уж дорого. Скорее всего нам вовсе не понадобится ни прокладывать труб, ни строить заводов. Эти джентльмены сразу прибегут с предложением скупить наши акции, продать свои или объединиться. Тогда мы будем диктовать им условия. Предоставьте мне действовать. Кстати, вы случайно не знакомы с этим самым Мак-Кенти, от которого здесь у вас в Чикаго так много зависит, — Джоном Дж.Мак-Кенти?

Игрок, владелец широкой сети публичных домов, тайный пайщик многочисленных подрядных контор и совладелец пивных заведений, без участия которого не избирался ни один мэр и ни один олдермен, Мак-Кенти был ангелом-хранителем и заступником разномастного уголовного сброда Чикаго, негласным заправилой политических кулис, и естественно, что во всех делах и начинаниях, где требовалась санкция муниципалитета и законодательного собрания штата, с ним волей-неволей приходилось считаться.

— Нет, я с ним не знаком, но могу достать вам письмо к нему, — ответил Эддисон. — А что вы надумали?

— Пока не спрашивайте. Раздобудьте только солидную рекомендацию.

— Я это сделаю сегодня же и пришлю вам, — пообещал Эддисон.

Каупервуд распрощался и ушел, а банкир стал размышлять об этом новом маневре. На Каупервуда можно положиться. Он уж сумеет вырыть яму конкуренту. Эддисон часто поражался его изобретательности и не спорил, когда тот предпринимал что-нибудь очень смелое и дерзкое.

Человек, о котором в эту трудную минуту вспомнил Каупервуд, был весьма красочной и любопытной фигурой, типичной для Чикаго и Западных штатов того времени. Всегда улыбающийся, любезный, обходительный и вкрадчивый, Мак-Кенти обаянием и коварством напоминал Каупервуда, но отличался от него известной грубостью и примитивностью, не сказывавшейся, правда, на его внешности, — грубостью, не свойственной и даже чуждой Каупервуду. Что-то в натуре Мак-Кенти привлекало к нему людскую накипь большого города, весь этот темный преступный мир, который был сродни его душе. Есть такие люди, без художественных наклонностей и духовных интересов, не расположенные к чувствительности и тем менее к философии и все же благодаря своей жизненной силе обладающие какой-то странной притягательностью; они сами являются как бы сгустком жизни, не светлой, не слишком темной и многослойной, как агат. Мак-Кенти попал в Америку трехлетним ребенком — родители его эмигрировали из Ирландии во время голода. Детство его прошло на южной окраине Чикаго, в жалкой лачуге с глиняным полом, стоявшей у скрещения железнодорожных путей, которые сплетались здесь в густую сеть. Отец Мак-Кенти работал на железной дороге чернорабочим-поденщиком и лишь под старость был назначен десятником; детей в семье было восемь человек, и Джону с ранних лет пришлось добывать себе кусок хлеба. Сначала его поместили мальчиком в лавку, потом

он служил рассыльным на телеграфе, заменял официанта в пивной, и наконец, устроился буфетчиком. С этого, собственно, и началась карьера Джона Мак-Кенти. На него обратил внимание один дальновидный политический деятель, посоветовал ему изучить законы и со временем выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Еще совсем мальчишкой Мак-Кенти много кое-чего узнал — он был свидетелем и подтасовки избирательных бюллетеней, и покупки голосов, и казнокрадства, и всевластия политических лидеров, распределявших теплые местечки, а также взяточничества, семейственности, использования человеческих слабостей — словом, всего, из чего в Америке складывается (или складывалась) политическая и финансовая жизнь. В верхних слоях общества существует-некое предвзятое мнение, будто на социальном дне нельзя ничему научиться. Если бы можно было заглянуть в душу Мак-Кенти, которая столь многое в себя вместила и даже привела в известную гармонию, нас прежде всего поразили бы своеобразная мудрость и еще более своеобразные наслоения его натуры — жестокость и нежность, заблуждения и пороки, служившие ему не только источником страданий, но и наслаждений; мы увидели бы жадную, суровую жизнь первобытного существа, которое руководствуется только своими инстинктами и потребностями. И при всем этом у него были манеры и облик джентльмена.

Теперь, в сорок восемь лет, Джон Дж.Мак-Кенти был весьма влиятельной особой. В его большом особняке на углу Харрисон-стрит и Эшленд авеню можно было в любое время встретить финансистов, дельцов, чиновников, священников, трактирщиков — словом, всю ту разношерстную публику, с которой неизбежно бывает связан всякий деятельный и хитрый политикан. В затруднительных случаях все они шли к Мак-Кенти, зная, что он посоветует, укажет, устроит, выручит, и платили ему за это кто чем мог — иной раз даже только благодарностью и признанием. Полицейские чиновники и агенты, которых он частенько спасал от заслуженного увольнения; матери, которым он возвращал сыновей и дочерей, вызволяя их из тюрьмы; содержатели домов терпимости, которых он ограждал от чрезмерных аппетитов мздоимцев из местной полиции; политиканы и трактирщики, боявшиеся расправы разгневанных горожан, — все они с надеждой взирали на его гладкое, сияющее добродушием, почти вдохновенное лицо, и в трудную минуту он казался им каким-то лучезарным посланцем небес, неким чикагским богом, всемогущим, всемилостивым и всеблагим. Но были, конечно, и неблагодарные, были непримиримые или желающие снискать себе популярность моралисты и реформаторы, были соперники, которые подкапывались под него и строили козни — для таких он становился жестоким и беспощадным противником. К услугам Мак-Кенти была целая свита прихвостней, толпившихся вокруг трона своего владыки и по первому слову бросавшихся выполнять его приказы. Мак-Кенти одевался просто, вкусы имел самые неприхотливые, был женат и, по-видимому, счастлив в семейной жизни, считался образцовым католиком, хотя никогда особой набожности не проявлял — короче говоря, это был некий Будда, внешне благодушный и даже мягкий, могущественный и загадочный.

Каупервуд впервые встретился с Мак-Кенти весенним вечером у него в доме. Затянутые сетками окна большого особняка были открыты настежь, и занавеси слабо колыхались от легкого ветерка. Вместе с ароматом распускающихся почек в комнату временами врывалось зловонное дыхание чикагских боен.

Каупервуд предварительно отправил Мак-Кенти два рекомендательных письма

— то, которое достал Эддисон, и другое, добытое ему Ван-Сайклом у одного известного судьи, — и получил ответ с приглашением заехать. Когда он явился, ему предложили вина, сигару, представили миссис Мак-Кенти, которая нигде не показывалась и рада была хотя бы минутной встрече с знаменитостью из высшего, недоступного для нее мира, а затем провели в библиотеку. Жена Мак-Кенти, тучная блондинка лет пятидесяти, чем-то очень напоминала Эйлин, но только Эйлин уже в годах и сильно перезревшую, что, вероятно, не преминул бы заметить Каупервуд, если бы мысли его не были заняты другим; она сохранила, однако, следы прежней несколько вызывающей красоты и для бывшей проститутки держалась достаточно тактично. Случилось так, что Мак-Кенти в этот вечер был в отличном расположении духа. Никакие политические заботы не волновали его. Стояли первые дни мая. На улице уже зазеленели деревья, воробьи и малиновки чирикали и заливались на все лады. Лиловатая дымка окутывала город, и несколько ранних комариков бились о сетки, защищавшие окна и балконные двери. Каупервуд, несмотря на одолевавшие его заботы, тоже был настроен довольно благодушно. Он любил жизнь со всеми ее трудностями и осложнениями, быть может даже больше всего и любил именно эти трудности и осложнения. Природа, конечно, красива, временами благосклонна к человеку, но препятствия, которые надо преодолеть, интриги и козни, которые надо предвосхитить, разгадать, разрушить, — вот ради чего действительно стоило жить!

— Итак, мистер Каупервуд, — начал Мак-Кенти, когда они вошли в прохладную, уютную библиотеку, — чем могу служить?

— Видите ли, мистер Мак-Кенти, — сказал Каупервуд, взвешивая каждое слово и пуская в дело всю свою ловкость и обходительность, — моя просьба не так уж велика, но для меня то, о чем я буду вас просить, имеет большое значение. Мне нужна концессия от чикагского муниципалитета, и я хочу, чтобы вы помогли мне получить ее. Вы спросите, почему я не обращаюсь непосредственно в муниципалитет. Я бы так и поступил, но боюсь, что найдутся люди, которые постараются использовать ваше влияние против меня. Я уверен, что вы на меня не обидитесь, если я скажу, что считаю вас своего рода арбитром во всех затруднительных вопросах, связанных с политикой чикагского муниципалитета.

Мак-Кенти усмехнулся.

— Весьма лестное мнение, — сухо заметил он.

— Я человек новый в Чикаго, — вкрадчиво продолжал Каупервуд, — и живу здесь только второй год. Я из Филадельфии. Как финансовый агент и как пайщик я связан с несколькими газовыми компаниями, которые были учреждены в Лейк-Вью, Хайд-парке и других местах за чертой города, о чем вы, вероятно, знаете из газет. Строго говоря, я не владелец этих компаний, — большая часть вложенного в них капитала принадлежит не мне. Я даже не управляющий, ибо я осуществляю лишь самое общее руководство. Скорее меня можно назвать инициатором этого дела, его поборником, — так на это смотрят мои компаньоны и я сам.

Мак-Кенти понимающе кивнул головой.

— Так вот, мистер Мак-Кенти, вскоре после того как я предпринял шаги, чтобы получить концессии в Лейк-Вью и Хайд-парке, мне пришлось натолкнуться на сопротивление со стороны лиц, возглавляющих старые компании. Им, как вы сами понимаете, было очень нежелательно, чтобы мы получили разрешение на прокладку газопроводов где бы то ни было в пределах округа Кук, хотя по существу мы нигде не посягаем на их территорию. С тех пор они донимают меня судебными преследованиями, предписаниями, обвинениями в подкупе и тайном сговоре.

— Да, я кое-что слышал об этом, — вставил Мак-Кенти.

— Не сомневаюсь, — продолжал Каупервуд. — Встретив такое противодействие, я предложил им слить старые и новые компании в одну, получить новое свидетельство и объединить все газоснабжение города в одних руках. Они на это не пошли — мне кажется, главным образом потому, что я в Чикаго человек пришлый. Спустя некоторое время другое лицо, а именно мистер Шрайхарт (Мак-Кенти снова кивнул), человек, который газовыми предприятиями города никогда не интересовался, является к ним с таким же предложением. Его план ничем не отличается от моего, если не считать того, что в дальнейшем, объединив старые компании, он явно намерен проникнуть на нашу территорию и очистить наши карманы или же, получив наравне с нами концессии в пригородах, вынудить нас продать наши акции. Как вы знаете, идут разговоры о том, чтобы слить эти пригороды с Чикаго, а тогда городские концессии будут действительны там наряду с нашими. Что же нам остается делать? Либо мы должны теперь же продать им наши акции, постаравшись выторговать как можно больше, либо продолжать борьбу с довольно значительными для себя затратами, либо, наконец, обратиться в городской муниципалитет и просить концессию в самом городе — общую концессию на снабжение газом Чикаго наряду со старыми компаниями — исключительно в целях самозащиты, как говорит один из моих служащих, — с улыбкой добавил Каупервуд.

Мак-Кенти тоже улыбнулся.

— Понимаю, — сказал он. — Но это ведь нелегкое дело, мистер Каупервуд,

— ходатайствовать о новой концессии. Неизвестно, как посмотрят на это наши избиратели. Многие могут и не понять, зачем городу нужна еще одна газовая компания. Правда, старые компании не очень баловали потребителей. Я бы не сказал, например, чтобы у меня в доме газ был особенно хорошего качества,

— и он неопределенно улыбнулся, приготовившись слушать дальше.

— Так вот, мистер Мак-Кенти, я знаю, что вы человек деловой, — продолжал Каупервуд, пропуская мимо ушей замечание собеседника, — и я тоже человек деловой. И пришел я к вам сюда не за тем, чтобы просто поделиться своими горестями в надежде, что вы из сочувствия захотите мне помочь. Я прекрасно понимаю, что обратиться в муниципальный совет Чикаго с вполне законным предложением — это одно, а добиться, чтобы оно было принято и утверждено городскими властями, — совсем другое. Мне нужны совет и поддержка, но я не прошу благотворительности. Общегородская концессия, если я ее раздобуду, принесет мне очень хорошие деньги. Ведь с таким козырем на руках я могу выгодно продать акции новых компаний, в жизнеспособности которых никто не сомневается, да и старым компаниям меня тогда уже не съесть. Словом, концессия мне необходима, чтобы иметь возможность бороться и защищать свои интересы. Я отлично знаю, что никто из нас не занимается политикой или финансами ради развлечения. Концессия намой взгляд стоит того, чтобы заплатить за нее тысяч триста — четыреста, то есть четверть или даже половину той суммы, которую я надеюсь на ней заработать (тут Каупервуд опять немного покривил душой), конечно в случае, если план с объединением старых и новых компаний осуществится. Мне незачем вам объяснять, что в моем распоряжении будет достаточный капитал. Это обеспечивается уже самим фактом получения концессии. Короче говоря, мне хотелось бы знать, согласны ли вы оказать мне поддержку, пустить в ход свое влияние и участвовать со мной в этом предприятии на тех условиях, которые я только что вам изложил. Я сообщу вам заранее, кто мои компаньоны. Раскрою перед вами все карты, выложу все данные, чтобы вы сами могли судить, как обстоят дела. И если вам покажется, что я ввел вас в заблуждение, вы, разумеется, вольны в любой момент расторгнуть нашу сделку. Повторяю, — сказал в заключение Каупервуд, — я не прошу вас о благотворительности. Мне незачем что-то скрывать или о чем-то умалчивать, преуменьшая значение, которое имеет для нас эта концессия. Напротив, я хочу, чтобы вы знали все. Хочу, чтобы вы согласились помочь мне на таких условиях, которые сочтете приемлемыми для себя и справедливыми. Ведь я попал в такое положение только потому, что к здешним, так сказать, сливкам общества я не принадлежу. Будь я лощеным франтом, все давно было бы улажено. Эти джентльмены охотно соглашаются на реорганизацию, если проводить ее будет Шрайхарт, а меня они знать не желают, потому что я человек сравнительно новый в Чикаго и не принят в их кругу. Если бы я был из их клики, —

тут Каупервуд развел руками, — не думаю, чтобы мне пришлось сидеть здесь сегодня и просить вашего содействия, хотя я очень рад нашему знакомству и вообще счастлив был бы с вами работать. Просто обстоятельства сложились так, что нам до сих пор не привелось встретиться.

Всю эту пространную речь Каупервуд произнес, глядя на Мак-Кенти в упор с самым простодушным видом; а Мак-Кенти, слушая его, думал, какой это незаурядный, ловкий и сильный человек. Он не вилял, не лицемерил, как другие, и вместе с тем в каждом его слове чувствовался тонкий расчет, и это больше всего нравилось Мак-Кенти. Брошенное Каупервудом как бы вскользь замечание о «сливках общества», не желавших с ним знаться, и позабавило Мак-Кенти и польстило ему. Он прекрасно понял, что хотел сказать Каупервуд и с какой целью это говорилось, Каупервуд олицетворял собой новый и более близкий ему по духу тип финансиста. Очевидно, его поддерживают влиятельные люди, если верить тем, кто так горячо его рекомендовал. Каупервуд знал, что Мак-Кенти лично не заинтересован в старых компаниях, и подозревал, что он никакой особой симпатии к ним не питает, хотя Мак-Кенти и не обмолвился об этом ни единым словом. В его глазах они были обычными финансовыми корпорациями, платящими дань политической машине и ожидающими взамен известных услуг. Чуть ли не каждую неделю их представители являлись в муниципалитет, выпрашивали концессии на прокладку то одной, то другой линии (настаивая на особых привилегиях при прокладке труб по определенным улицам), добивались более прибыльных контрактов на уличное освещение, всевозможных льгот на речных пристанях, снижения налогов и прочее и прочее. Такого рода «мелочами» Мак-Кенти как правило сам не занимался. Для этого у него в муниципалитете имелся весьма влиятельный подручный, некто Пэтрик Даулинг, здоровенный и весьма энергичный ирландец, настоящий сторожевой пес партийной машины, который присматривал за действиями мэра, городского казначея, налогового инспектора, да и вообще всех чиновников муниципалитета, зорко следя за тем, чтобы и дела решались и взятки распределялись как надлежало. За исключением двух директоров Южной компании, с которыми Мак-Кенти приходилось иной раз встречаться, он никого из правления газовых компаний не знал. А эти двое не вызывали в нем никаких симпатий. Во главе старых компаний стояли дельцы, считавшие политиков такого типа, как Мак-Кенти и Даулинг, чуть ли не исчадием ада, что не мешало им, однако, пользоваться услугами этих людей и платить им мзду — иного выхода у них не было.

— Что ж, — отвечал Мак-Кенти, задумчиво перебирая тонкую золотую цепочку от часов, — это вы неплохо придумали. Конечно, старым компаниям ваша просьба о параллельной концессии вряд ли понравится, но после того, как вы ее получите, возражать уже будет трудно. — Он улыбнулся. Мак-Кенти говорил очень чисто, ничто в его говоре не выдавало ирландца. — В одном только отношении это дело может оказаться не очень приятным. Они непременно подымут шум, хотя сами об интересах населения никогда не заботились. Впрочем, если вы предлагали им объединиться, какие могут быть теперь возражения? Со временем они на этом заработают не меньше вашего. А вам это даст возможность с ними поторговаться.

— Совершенно справедливо, — сказал Каупервуд.

— И вы говорите, что у вас достаточно средств, чтобы проложить трубы по всему городу и бороться с компаниями за клиентуру, если они не пойдут на уступки?

— Да, достаточно, а если не хватит, я раздобуду, — заявил Каупервуд.

Мистер Мак-Кенти с одобрением посмотрел на мистера Каупервуда. Оба они уже понимали друг друга и чувствовали взаимное расположение, но эгоистические интересы заставляли каждого до поры до времени скрывать свои чувства. Каупервуд возбудил любопытство Мак-Кенти: не часто встретишь дельца, который, предлагая взятку, не прикрывается высокопарными фразами, не фарисействует и не лицемерит.

— Вот что я вам скажу, мистер Каупервуд, — сказал он наконец. — Я об этом подумаю. Подождите хотя бы до понедельника. Я понимаю, что сейчас есть основания просить об общегородской концессии, а позже это будет уже труднее сделать. Вы пока составьте проект и пришлите его мне. Посмотрим, как отнесутся к нему другие джентльмены из муниципального совета.

При слове «джентльмены» Каупервуд с трудом сдержал улыбку.

— Проект концессии у меня с собой, — сказал он.

Такая деловитость изумила Мак-Кенти и понравилась ему. Решительность и напористость этого дельца пришлись ему по душе, тем более что сам Мак-Кенти подвизался не в финансах, а в политике, и большинство дельцов, с которыми ему приходилось сталкиваться, были трусливы и заносчивы.

— Оставьте мне это, — сказал он, беря у Каупервуда бумаги. — А в следующий понедельник, если вам угодно, милости прошу.

Каупервуд встал.

— Я решил, что самое лучшее встретиться и переговорить с вами лично, мистер Мак-Кенти. И теперь очень рад, что сделал это. Если вы возьмете на себя труд рассмотреть мой проект, вы убедитесь, что все обстоит именно так, как я вам излагал. Дело это, вообще говоря, очень прибыльное, но для его осуществления потребуется время, и сразу оно, конечно, денег не даст.

Мак-Кенти прекрасно понял, для чего это было сказано.

— Да, разумеется, — с готовностью согласился он.

Обмениваясь рукопожатием, они поглядели в глаза друг другу.

— Мне кажется, что вам пришла на ум хорошая мысль, — поощрительно сказал в заключение Мак-Кенти. — Очень даже хорошая. Приходите в понедельник, и я дам вам окончательный ответ. И вообще приходите в любое время, если я вам понадоблюсь. Я всегда буду рад вас видеть. Чудесный вечер, — добавил он, проводив Каупервуда до парадной двери. — А луна-то какая! — На небе сиял тонкий серп луны. — Доброй ночи!

13. ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Результаты этого свидания не замедлили сказаться. В высших сферах делового мира все так или иначе друг с другом связаны. Теперь, когда внимание Мак-Кенти было привлечено к газовым предприятиям, он принялся усердно разведывать обстановку, желая выяснить — не выгоднее ли будет договориться со Шрайхартом, или изобрести какую-либо другую комбинацию. В конце концов он пришел к выводу, что план Каупервуда по политическим соображениям легче осуществить. Эти политические соображения заключались главным образом в том, что группа Шрайхарта, не нуждаясь пока что в услугах олдерменов, проявила недальновидность и не сообразила подмазать на всякий случай шайку бандитов, засевшую в ратуше.

Когда Каупервуд снова пришел к Мак-Кенти, он был встречен очень радушно.

— Ну что ж, — сказал Мак-Кенти после обычных приветствий, — я навел справки. Ваше предложение довольно обосновано. Создавайте свою компанию и действуйте, как задумали. Затем подавайте в муниципалитет прошение, и мы посмотрим, что можно будет сделать.

Они долго и подробно обсуждали, как должны быть поделены новые акции, которые решено было депонировать в банке, пользующемся особым доверием Мак-Кенти, до тех пор пока не произойдет слияния со старыми газовыми компаниями или с новой, объединенной, после чего Каупервуд должен будет выполнить свои обязательства перед Мак-Кенти, и т.д. Все это было далеко не просто, и Каупервуд остался не вполне доволен соглашением; но все же оно его устраивало потому, что позволяло одержать верх над своими противниками. Генерал Ван-Сайкл, Генри де Сото Сиппенс, Кент Бэрроуз Мак-Кибен и правая рука Мак-Кенти — олдермен Даулинг немало потрудились, прежде чем все было, наконец, приведено в готовность для решительного удара.

И вот в четверг, когда чикагский муниципалитет по заведенному порядку занимался такого рода вопросами, проект был внесен на его рассмотрение, а в понедельник оказался уже одобренным и утвержденным. Такая поспешность не оставляла времени для публичного обсуждения, а этого как раз и добивались Мак-Кенти и Каупервуд. На следующий день, после того как проект был оглашен и по всему было видно, что его утвердят, Шрайхарт отправил своих поверенных и директоров старых компаний в редакции чикагских газет, где они в один голос заявили, что это грабеж среди бела дня. Но уже ничего нельзя было сделать. Чтобы восстановить против Каупервуда общественное мнение, почти не оставалось времени. Правда, газеты, подчиняясь более влиятельной финансовой группе, которую представлял Шрайхарт, послушно заговорили о том, что «со старыми компаниями поступают бесчестно», что две конкурирующие фирмы излишни и не нужны и что одна компания вполне обеспечит потребности города в газе. Однако население, которое всячески обрабатывала агентура Мак-Кенти, не очень-то верило газетам. Старые компании не так уж заботились о своих потребителях, и потребители не считали нужным слишком рьяно их отстаивать.

В понедельник вечером, когда постановление о концессии было принято муниципалитетом, мистер Сэмюэл Блэкмен, председатель газовой компании Южной стороны, маленький тщедушный человек с бакенбардами, похожими на сапожные щетки, стоя у дверей зала заседаний, кричал:

— Это подлая махинация! Если мэр подпишет постановление, его надо отдать под суд! Все они там подкуплены — все до единого! Ну и порядки завелись у нас в Чикаго: прямо разбой среди бела дня. На что это похоже! Годами создаешь дело, работаешь не покладая рук, а завтра тебя вытеснит какой-нибудь проходимец.

— Вы правы, вы совершенно правы, — жалобно вторил ему мистер Джордан Джулс, председатель компании Северной стороны, коротконогий толстяк с жесткими голубыми глазами и лысой головой, украшенной узкой бахромой волос и похожей на яйцо, обращенное острым концом вверх. — Все подстроил этот мерзавец из Филадельфии. Он во всем виноват! Уважающим

себя чикагским дельцам давно пора бы понять, что это за птица, и выгнать его отсюда. Вспомните только, что он натворил в Филадельфии. Там, правда, догадались засадить его в тюрьму, не мешало бы и у нас сделать то же самое.

С Джорданом Джулсом стоял высокий сухопарый человек — мистер Хадсон Бейкер, председатель Западной чикагской компании. Все они явились сюда, чтобы заявить протест. Бейкер — горячий сторонник Шрайхарта — пришел прямо от него и тоже негодовал.

— Это настоящий проходимец, — уверял он Блэкмена. — Он ведет нечестную игру. Ему не место среди порядочных людей.

Однако, несмотря на все эти протесты и негодующие возгласы, решение о предоставлении концессии было принято. Мистер Норман Шрайхарт, мистер Нори Симс и все те, кто, на свое несчастье, ввязался в эту игру, получили жестокий урок. Делегация от трех старых компаний посетила мэра, но тот — послушное орудие в руках Мак-Кенти — сжег свои корабли и подписал решение. Каупервуд получил концессию, и противнику скрепя сердце оставалось теперь только идти к нему на поклон. Шрайхарт, однако, понимал, что его счеты с Каупервудом еще не сведены и что столкновение с ним на какой-либо другой почве неизбежно. Но впредь он будет умнее и в борьбе с Каупервудом использует его же оружие. А пока он как человек дальновидный решил пойти на известные уступки.

Стараясь по возможности скрыть свою досаду, он искал случая встретиться с Каупервудом в одном из клубов, но Каупервуд, выжидая, пока уляжется шум, намеренно там не показывался, и поскольку гора не шла к Магомету, то Магомету пришлось идти к горе. Итак, в душный июньский день мистер Шрайхарт отправился в контору к Каупервуду, надев для этого случая новый отлично сшитый сюртук стального цвета и соломенную шляпу. Из нагрудного кармана у него, по моде того времени, выглядывал аккуратно сложенный шелковый платок с голубой каемкой, на ногах блестели новенькие полуботинки.

— Я через несколько дней отплываю в Европу, мистер Каупервуд, — как ни в чем не бывало сказал он, — и вот решил до отъезда заглянуть к вам. Может быть, нам удастся все-таки договориться. Директорам старых компаний, конечно, нежелательно иметь конкурента, а вам, я думаю, вовсе неинтересно вести бесполезную тарифную войну, от которой всем один убыток. Как мне помнится, вы тогда соглашались поделить контрольный пакет пополам. Вы еще не отказались от этой мысли?

— Присаживайтесь, мистер Шрайхарт, присаживайтесь, пожалуйста, — радушно предлагал Каупервуд, широким жестом указывая посетителю на кресло возле стола. — Рад вас видеть. Конечно, тарифная война мне совершенно ни к чему. Напротив, я очень хочу избежать ее, но, как вы сами понимаете, со времени нашего с вами разговора многое изменилось. Учредители новой общегородской газовой компании вложили свои деньги в дело и стремятся — я бы сказал даже горят желанием — развить его и основать настоящее солидное предприятие. Они не сомневаются в успехе, и я вполне разделяю их точку зрения. Соглашение между старыми и новыми компаниями может быть достигнуто, но уже не на тех условиях, которые я тогда готов был принять. За это время была основана новая компания, выпущены акции и израсходованы большие деньги. (Каупервуд лгал.) При любом соглашении акции эти должны обмениваться на равных началах с остальными. Я считаю слияние компаний весьма желательным, но при непременном условии, чтобы все акции — независимо от того, сколько новых акций мы будем давать за одну старую, две, три или четыре — расценивались по их номинальной стоимости, а не по курсу.

У Шрайхарта вытянулось лицо.

— А вам не кажется, что это многовато? — сказал он мрачно.

— Ну что вы, что вы! — возразил Каупервуд. — Вы ведь знаете, что мы пошли на такие затраты не по своей воле (мистер Шрайхарт уловил скрытую в этих словах иронию, однако смолчал).

— Согласен, но поскольку ваши акции сейчас вообще ничего не стоят, вы должны быть довольны, если их примут по номиналу, а для остальных нужно исходить из реального курса.

— Почему же? Виды на будущее у нас превосходные, — отвечал Каупервуд. — Нет, тут должен быть соблюден принцип равенства, или мы с вами так ни до чего и не договоримся. Но меня интересует другое: какую часть акций нового общества вы думаете сохранить в портфеле после того, как удовлетворите претензии старых акционеров?

— Как думал и раньше: тридцать — сорок процентов от всего выпуска, — ответил Шрайхарт, все еще надеясь что-нибудь выторговать. — Мне кажется, что это удалось бы провести!

— А кому эти акции достанутся?

— Учредителям, конечно, — уклончиво ответил Шрайхарт. — Вам… мне.

— А как вы намерены их поделить? Пополам, как предполагалось раньше?

— Я думаю, что это было бы справедливо.

— Нет, меня это уже не устраивает, — резко возразил Каупервуд. — После нашего разговора мне пришлось взять на себя некоторые обязательства и заключить сделки, которых я тогда не предвидел. Самое меньшее, на что я могу согласиться теперь, — это на три четверти остающихся акций.

Шрайхарт гневно выпрямился. Он был возмущен. Какая наглость! Какое неслыханное нахальство!

— Это невозможно, мистер Каупервуд, — высокомерно заметил он. — Вы и так хотите нам навязать слишком много макулатуры. Акции старых компаний, как вам хорошо известно, котируются сейчас по сто пятьдесят — двести десять долларов. Ваши же ничего не стоят. А вы хотите за каждую из них получить по две, по три акции, да еще сверх того три четверти остатка. Я на такую сделку никогда не пойду. Это значило бы разводнить капитал и поставить вас во главе всего дела. Всему, знаете, есть границы. Единственное, что я могу еще предложить акционерам старых компаний, — это разделить остаток акций пополам. Все равно они не согласятся ни на какую комбинацию, которая даст вам контроль над газовыми предприятиями, это я вам заранее говорю, хотите — верьте, хотите — нет. Все слишком возмущены и слишком злы на вас. Они не уступят, а вы вынуждены будете вести длительную борьбу, которая вам очень дорого обойдется. Если у вас имеется какое-нибудь благоразумное предложение, я охотно его выслушаю. Иначе боюсь, что наши переговоры ни к чему не приведут.

— Все акции по номиналу и три четверти остатка, — твердо повторил Каупервуд. — Я вовсе не гонюсь за тем, чтобы забрать в свои руки эти газовые компании. Если акционерам угодно от меня избавиться, пусть принимают мои условия и готовят деньги, я продам им свои акции. Единственное, что мне нужно, — это получить известную прибыль на вложенный в дело капитал, и я ее получу. Не берусь говорить за своих компаньонов, но пока я являюсь их представителем, от этих условий я не отступлюсь и не обману их ожиданий.

Шрайхарт ушел, хлопнув дверью. Он был взбешен. Каупервуд хочет ободрать их как липку. Шрайхарт решил, что на худой конец порвет со старыми компаниями, продаст свои акции и предоставит им разделываться с Каупервудом как знают. Но пока он имеет хоть какое-то отношение к газу, Каупервуду во главе этого дела не стоять. Лучше уж поймать его на слове, раздобыть денег и скупить у него все акции, пусть даже втридорога. Тогда старые газовые компании опять смогут тихо и мирно продолжать свою деятельность. Вот выскочка! Вот бандит! И какой он сделал хитроумный и молниеносный ход! Шрайхарт был вне себя.

В конце концов обе стороны пошли на известный компромисс и договорились, что Каупервуд получает половину учредительских акций из нового общего выпуска и по две акции за одну выпущенную его компаниями, продает все старым компаниям и сам выходит из игры. Сделка была чрезвычайно выгодной, и Каупервуд щедро расквитался не только с Мак-Кенти и Эддисоном, но и со всеми, кто действовал с ним заодно. «Блестящая операция», — говорили Мак-Кенти и Эддисон. Покончив с газом, Каупервуд стал думать, за какое бы прибыльное дело ему теперь приняться, что бы такое еще прибрать к рукам.

Но победа на этом поприще повлекла за собой неудачи на другом: теперь под угрозу было поставлено положение Каупервуда и Эйлин в чикагском обществе. Шрайхарт стал непримиримым врагом Каупервуда, а с его мнением в свете считались. Нори Симс тоже естественно был на стороне своих давнишних компаньонов. Однако самый жестокий удар нанесла Каупервудам миссис Энсон Мэррил. Вскоре после новоселья у Каупервудов, когда «газовая» война была в самом разгаре и против Каупервуда выдвигались обвинения в тайном сговоре, миссис Мэррил поехала в Нью-Йорк и там случайно встретилась со своей старой знакомой миссис Мартин Уокер, принадлежавшей к тому высшему филадельфийскому обществу, в которое Каупервуд когда-то тщетно пытался проникнуть. Зная, что Каупервудами интересуются и миссис Симс и многие другие, миссис Мэррил не замедлила воспользоваться случаем и разведать о их прошлом.

— Кстати, вам никогда не приходилось слышать в Филадельфии о некоем Фрэнке Алджерноне Каупервуде или о его супруге? — спросила она миссис Уокер.

— Бог с вами, дорогая Нелли! — воскликнула ее приятельница, недоумевая, как такая утонченная женщина может даже упоминать о них. — Почему вы спрашиваете? Разве эти люди поселились в Чикаго? Его карьера в Филадельфии была по меньшей мере скандальной. У него там завязались какие-то дела с городским казначеем, тот украл полмиллиона долларов, и обоих посадили в тюрьму. Но это, милая, еще не все. Он сошелся с одной девушкой, некоей мисс Батлер, — между прочим, ее брат, Оуэн Батлер, у нас теперь большая сила, — и, можете себе представить… — тут она закатила глаза. — Пока он сидел под замком, умер ее отец, и вся семья распалась. Ходили даже слухи, будто старик покончил с собой (под «стариком» она подразумевала отца Эйлин

— Эдварда Мэлия Батлера). А когда этот субъект вышел из тюрьмы, он вскоре куда-то исчез. Говорили, что он развелся с женой, уехал на Запад и снова женился. Его первая жена с двумя детьми и сейчас живет в Филадельфии.

Миссис Мэррил была поражена, но сделала вид, что все это ее очень мало трогает.

— Занятная история, — сдержанно отозвалась она, думая о том, как легко будет теперь поставить этих выскочек на место и какое счастье, что она никогда не уделяла им внимания.

— А вы когда-нибудь видели ее — эту его новую жену?

— Да, как будто, только не помню где. Вероятно, на улице, она вечно каталась то верхом, то в кабриолете.

— Она рыжая?

— Да, да. Такая яркая блондинка.

— Видимо, это она и есть. О них недавно писали что-то в газетах. Мне просто хотелось удостовериться.

Миссис Мэррил уже заранее обдумывала всякие ядовитые намеки по адресу Каупервудов.

— Они, вероятно, пытаются теперь проникнуть в чикагское общество? — пренебрежительно усмехнулась миссис Уокер; усмешка одинаково относилась и к Каупервудам, и к чикагскому «свету».

— Весьма возможно, что в Восточных штатах такие попытки и могли бы увенчаться успехом, — съязвила в свою очередь миссис Мэррил, — но у нас в Чикаго они ни к чему не приведут.

Стрела попала в цель, и разговор на этом прекратился. А когда миссис Симс, приехав к миссис Мэррил с визитом после ее возвращения из Нью-Йорка, имела неосторожность заговорить о Каупервуде, или, вернее, о шумихе, поднятой газетами вокруг его имени, ей не замедлили раз и навсегда предписать точку зрения на эту чету.

— Если вы желаете знать мое мнение, я посоветовала бы вам держаться подальше от этих ваших друзей, — не допускающим возражения тоном изрекла миссис Мэррил. — Я все о них знаю. И как это вы сразу не поняли, с кем имеете дело? Они никогда не будут приняты в обществе.

Миссис Мэррил не нашла даже нужным что-либо объяснять. Но миссис Симс скоро узнала все от своего мужа, возмутилась до глубины души и даже порядком струхнула. Пренеприятная история! Но кто же тут виноват? — перебирала она в уме. Кто первый ввел их в общество? Эддисоны, конечно! Но Эддисоны, хоть и не занимавшие главенствующего положения в свете, были неуязвимы. Оставалось одно — исключить Каупервудов из числа своих знакомых, что миссис Симс и не замедлила сделать. Престиж Каупервудов пошатнулся, но произошло это не сразу и не сразу стало понятным даже им самим.

Сначала Эйлин обратила внимание на то, что число приглашений и визитных карточек, недавно еще сыпавшихся как из рога изобилия, резко сократилось; а по «средам», которые она поторопилась назначить в качестве своего приемного дня, в ее гостиной едва набиралась ничтожная кучка гостей. Сперва она недоумевала — ведь еще так недавно у них в доме собиралось блестящее общество, неужели же теперь это общество не желает ее больше знать? Всего три недели прошло после новоселья, и вместо семидесяти пяти или, в крайнем случае, пятидесяти человек, обычно заходивших к ним или оставлявших визитные карточки, у них стало бывать не более двадцати; еще через неделю — только десять, а месяц спустя к ним уже редко-редко кто заглядывал. Правда, несколько человек остались верны Каупервудам, но это все была мелкая сошка — одним из них она сама оказывала покровительство, другие в делах зависели от ее мужа, как, например, Кент Мак-Кибен и Тейлор Лорд, и их внимание только подчеркивало образовавшуюся вокруг Каупервудов пустоту. Эйлин себя не помнила от гнева, стыда, обиды и разочарования. Есть, конечно, толстокожие люди с воловьими нервами, которые, добиваясь своей цели, согласны идти на любое унижение, но Эйлин не принадлежала к их числу. И хотя она сама бросила вызов общественному мнению и пренебрегла правами первой жены Каупервуда, теперь она дрожала от страха за свое будущее и стыдилась своего прошлого. Ведь только молодость, страсть и неотразимое мужское обаяние Каупервуда заставили ее в свое время поступить так смело и безрассудно. Не будь этого, Эйлин благопристойно вышла бы замуж, не подав ни малейшего повода к злословию. Теперь же ей казалось, что она скомпрометировала себя безвозвратно и только прочное положение в чикагском обществе может оправдать ее в собственных глазах и, как она думала, в глазах Каупервуда.

— Сэндвичи нужно убрать на лед, Луис, — сказала она дворецкому в одну из первых неудавшихся «сред», окидывая взглядом почти нетронутые яства, разложенные на старинном севрском фарфоре. — Цветы отошлите в больницу, а крюшон и лимонад отдайте на кухню. Пирожное подадите нам к обеду.

— Слушаю, мадам, — отвечал, наклонив голову, дворецкий и, по-видимому желая утешить хозяйку, добавил: — Ужасная погода. Должно быть, это помешало.

Эйлин вспыхнула и уже хотела крикнуть: «Извольте заниматься своим делом!» — но сдержалась.

— Возможно, — сказала она коротко и ушла к себе.

Если прислуга начинает говорить об этом — значит, дело из рук вон плохо. Эйлин решила подождать до будущей недели, чтобы убедиться, повинна ли в ее неудаче погода, или и вправду отношение общества к ним так изменилось. Но в следующую среду гостей приехало и того меньше. Певцов, которых она пригласила, пришлось отпустить домой. Кент Мак-Кибен и Тейлор Лорд, прекрасно осведомленные о ходившей по городу сплетне, пришли, как обычно, но держали себя натянуто и казались чем-то встревоженными. Это тоже не ускользнуло от внимания Эйлин. Кроме них, были еще только две дамы

— миссис Уэбстер Израэлс и миссис Генри Хадлстоун. Нет, что-то неладно. Эйлин пришлось сослаться на нездоровье и уйти к себе, извинившись перед гостями. На третью неделю, опасаясь еще большего позора, она заранее сказалась больной. Интересно, сколько же будет оставлено визитных карточек? Их оказалось три. Это был конец. Эйлин поняла, что ее «среды» с треском провалились.

Тем временем и Каупервуду пришлось испытать на себе все возраставшее недоверие и даже враждебность чикагского общества.

Впервые он начал догадываться об истинном положении вещей на одном званом обеде. Приглашение на этот обед было получено уже давно, и они имели неосторожность принять его, так как Эйлин в ту пору еще не была уверена в окончательном провале своих «сред». Обед давали Сандерленд Слэды, не пользовавшиеся особым весом в обществе; городские пересуды либо еще не успели до них дойти, либо они не знали, что это вызвало такую резкую перемену в отношении к Каупервудам, тогда как почти все другие знакомые Каупервудов — и Симсы, и Кэнды, и Коттоны, и Кингсленды — уже пришли к убеждению, что ими была допущена непростительная ошибка и что Каупервудов принимать не следует.

Все они тоже получили приглашение на обед, и все, узнав, что в числе гостей будут Каупервуды, в последнюю минуту, словно сговорившись, прислали свои извинения хозяевам: «Бесконечно огорчены…», «К великому сожалению» и т.д. и т.п. За стол сели вшестером — сами хозяева, Каупервуды и чета Хоксема, которых, кстати, и Эйлин и Каупервуд не очень-то жаловали. Всем было не по себе. Эйлин сослалась на головную боль, и вскоре они уехали.

Несколько дней спустя Каупервуды были на приеме у своих прежних соседей Хатштадтов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними очень сдержанно, если не сказать холодно. Прежде лица влиятельные, которым не случалось до тех пор встречаться с Каупервудами, всегда охотно с ними знакомились, — яркая красота Эйлин выделяла эту пару из толпы гостей. Но на сей раз почему-то (Эйлин и Каупервуд уже начали догадываться почему) ни один человек не пожелал быть им представленным. Среди гостей было много знакомых, некоторые с ними разговаривали, но большинство явно их сторонилось. Каупервуд это сразу заметил.

— Уедем пораньше, — вскоре сказал он Эйлин. — Здесь что-то не интересно.

Каупервуд отвез Эйлин домой и, чтобы избежать лишних разговоров, тут же уехал. До поры до времени ему не хотелось говорить Эйлин, как он все это расценивает.

Незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион-Лиг», уже самому Каупервуду было нанесено, правда, окольным путем, тяжкое оскорбление. Как-то утром Эддисон, к которому Каупервуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему:

— Мне нужно поговорить с вами кое о чем, Каупервуд. Чикагское общество вы теперь знаете. Знаете также, как я смотрю на некоторые обстоятельства вашего прошлого, в которые вы сами меня посвятили. Ну, так вот: сейчас в городе только и разговоров, что о вас. В клубах, где мы с вами состоим членами, достаточно лицемеров и ханжей, которые подхватили газетную брехню и рады случаю разыграть благородное негодование. Пять крупнейших акционеров газовых компаний — старейшие члены этих клубов, и все они из кожи вон лезут, хлопоча о вашем исключении. Они раскопали кое-какие подробности об этой вашей истории и грозятся подать жалобу в правления клубов. Конечно, ничего у них не выйдет — они по этому поводу разговаривали даже со мной. Но вот, что касается предстоящего вечера, тут уж вы сами решайте, как вам лучше,

поступить. Не послать вам приглашения, они не могут, но это будет сделано только для проформы. (Каупервуд понял, что хотел этим сказать Эддисон.) Со временем все уляжется, во всяком случае я сделаю все от меня зависящее, но пока что…

Он дружелюбно взглянул на Каупервуда. Тот улыбнулся.

— По правде сказать, Джуд, я все время ждал чего-нибудь в этом роде. Никакой неожиданности тут для меня нет, — нисколько не смущаясь, произнес Каупервуд. — Напрасно вы обо мне беспокоитесь. Все это для меня не ново, я знаю, откуда ветер дует, и знаю, как надо ставить паруса.

Эддисон дотронулся до руки Каупервуда.

— Но что бы вы ни решили, не вздумайте подавать заявление о выходе из клуба, — предостерег он финансиста. — Это значило бы признаться в своей слабости. Да они на это и не рассчитывают. Я вам советую: не сдавайтесь. Все обойдется. Мне кажется, они вам просто завидуют.

— Я и не собираюсь этого делать, — отвечал Каупервуд. — Никакого основания меня исключать у них нет. Я знаю, что со временем все обойдется.

Однако самолюбие Каупервуда было сильно задето тем, что ему пришлось вести подобный разговор, хотя бы даже с Эддисоном. Впрочем, ему пришлось еще не раз убедиться в том, что свет умеет диктовать свою волю.

Больше всего Каупервуд негодовал из-за выходки, которую позволили себе Симсы в отношении Эйлин, хотя он узнал об этом лишь много времени спустя. Эйлин приехала с визитом и услышала, что «миссис Симс нет дома», в то время как у подъезда стояла вереница экипажей. Эйлин от огорчения даже слегла, и Каупервуд, которому тогда ничего еще не было известно, не мог понять, что с ней, и очень тревожился.

Если бы Каупервуд не одержал блестящей победы на деловом поприще, наголову разбив противника в последней и решающей схватке за контроль над газовыми предприятиями, — положение стало бы и вовсе безотрадным. Тем не менее Эйлин была очень подавлена: она чувствовала, что общество преследует своим презрением скорее ее, чем Каупервуда, и что приговор свой оно не отменит. В конце концов Эйлин и Каупервуд вынуждены были признаться друг другу в том, что каким бы роскошным и внушительным с виду ни казался их карточный домик, теперь он рассыпался, и окончательно. Такого рода признания между близкими людьми особенно мучительны. Чужая душа — потемки, и как ни стараемся мы понять друг друга, нам это редко удается.

Однажды, вернувшись неожиданно домой и застав Эйлин в постели, расстроенную, с заплаканными глазами и совсем одну, — она на весь день отпустила свою камеристку, — Каупервуд подсел к ней и ласково сказал:

— Я ведь отлично понимаю, Эйлин, что происходит. По правде говоря, я давно этого ожидал, Мы слишком горячо с тобой взялись, слишком спешили. Но не надо так падать духом, дорогая. Я думал, у тебя больше выдержки. Ничего ведь еще не потеряно. Вспомни-ка, что я тебе всегда говорил? В конечном счете все решат деньги. А в этой битве я победил и буду побеждать дальше. Они пришли ко мне на поклон. Ну, стоит ли так отчаиваться, девочка моя? Ведь я-то не унываю. Ты молода и свое возьмешь. Мы еще себя покажем этим чикагским зазнайкам, а заодно и поквитаемся кое с кем. Мы богаты и будем еще богаче. Деньги всем заткнут рот. Ну, перестань киснуть и улыбнись. Я понимаю, блистать в обществе приятно, но и без этого на свете много интересного, ради чего стоит жить. Вот что, вставай, одевайся и поедем кататься, а потом куда-нибудь обедать. Я-то ведь с тобой. Разве это не самое главное?

— Да, да, милый, — глубоко вздохнув, пролепетала Эйлин. Она хотела было подняться, но снова бессильно опустилась на подушки. Слезы брызнули у нее из глаз. Уткнувшись в плечо Каупервуда, она плакала — от радости, что он ее утешает, и от горя, что ее заветная мечта не сбылась. — Да ведь я не для себя одной, я и для тебя этого хотела, — говорила она всхлипывая.

— Знаю, дорогая, знаю, — успокаивал он ее. — Но сейчас ты об этом не думай. Все обойдется. Все будет хорошо. А теперь вставай и поедем. — И все же в душе он досадовал на малодушие Эйлин. Слабость всегда раздражала его. Когда-нибудь он заставит чикагское общество жестоко поплатиться за все.

Эйлин между тем немного приободрилась. Она уже стыдилась своей слабости, видя, как мужественно держится Каупервуд.

— Какой ты молодец, Фрэнк! Ты просто необыкновенный! — воскликнула она.

— А что унывать? — сказал он весело. — Не добьемся своего в Чикаго, добьемся где-нибудь еще!

Он подумал о том, как ловко он обошел старые газовые компании и Шрайхарта, и о том, что и впредь будет, конечно, не менее ловко вести свои дела!

14. ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Уже в первый год этого вынужденного затворничества — и особенно в последующие — Каупервуд почувствовал, что значило бы прожить остаток своих дней вне общества или в среде, которая постоянно напоминала бы ему о том, что он не принадлежит к лучшему, или, вернее, привилегированному кругу, каким бы ограниченным и скучным этот круг ни был. Когда Каупервуд пытался впервые ввести Эйлин в общество, ему казалось, что, завоевав положение, они сумеют влить новую, живую струю в этот затхлый мирок, даже сообщить ему известный блеск. Но все двери закрылись перед ними одна за другой, и в конце концов они вынуждены были или вовсе отказаться от общения с людьми, или искать знакомств среди самой разношерстной публики — зазывать к себе в дом после первой же встречи художников и певцов или проезжих актеров, в честь которых можно было дать обед. У них продолжали бывать только Хаксема, Видера, Бэйли — семейства, не пользовавшиеся никаким весом в обществе. Иногда Каупервуд приводил к себе обедать или ужинать какого-нибудь приятеля из дельцов, или любителя картин, или подающего надежды художника, и тогда Эйлин выходила к гостям. Изредка их навещали или приглашали к себе Эддисоны. Но это мало скрашивало их жизнь, они только острее чувствовали, какое потерпели поражение.

Чем больше Каупервуд размышлял над этим поражением, тем яснее становилось ему, что он тут ни при чем. К нему относились вполне благосклонно. Вот если бы Эйлин была другой… Тем не менее он ни в чем не упрекал ее и не помышлял о том, чтобы ее покинуть. В тяжелые дни его тюремного заключения Эйлин была ему верна. Она ободряла его, когда он в этом нуждался. Нет, он ее не оставит, надо выждать и посмотреть, что тут можно сделать. Правда, этот остракизм порядком ему надоел. Тем более что его как будто и не сторонились вовсе, даже, пожалуй, не прочь были встречаться с ним. Своих приятелей-мужчин он всех сохранил — и Эддисона, и Бэйли, и Видера, и Мак-Кибена, и Рэмбо, и многих других. А некоторые светские дамы, ничуть не огорченные исчезновением Эйлин, высказывали сожаление по поводу того, что Каупервуд нигде больше не появляется. Время от времени делались даже попытки пригласить его без жены. Сначала он неизменно отвечал на такие приглашения отказом, потом стал иногда ходить на обеды и вечера один, не сообщая об этом Эйлин.

Именно в эту пору Каупервуд впервые ощутил, как далека от него Эйлин и по уму и по складу характера. Эмоционально, физически они были близки друг другу, но Каупервуд жил своей, обособленной от Эйлин, жизнью, и большой круг его интересов был недоступен ей. С мнением чикагского общества он особенно не считался, но теперь он мог сравнивать Эйлин с дамами из аристократических кругов Европы, ибо после своего поражения в свете и финансовой победы он решил снова побывать за границей. В Риме — на приемах в японском и бразильском посольствах, куда благодаря своему богатству Каупервуд получил доступ, и при новом итальянском дворе — он встречал очаровательных светских женщин: итальянских графинь, знатных англичанок, американок из высших кругов, наделенных вкусом и тактом. Как правило, они видели в нем человека с обаятельными манерами, острым и проницательным умом, и вообще считали его личностью незаурядной, к Эйлин же — он не мог этого не заметить — относились много холодней. Она была слишком вызывающе красива, слишком роскошно одевалась. Ее цветущее здоровье и яркая красота бросали вызов женщинам, наделенным более скромной и бледной внешностью, хотя по-своему и не лишенным привлекательности.

Во время одного большого приема при дворе, на который Каупервуд, уступая настояниям Эйлин, без особого труда раздобыл приглашение, он услышал, как кто-то позади него сказал:

— Вот вам типичная американка.

Каупервуд стоял в стороне, беседуя с греческим банкиром — своим соседом по гостинице, а Эйлин прогуливалась с женой этого банкира по залу.

— Смотрите, какой кричащий туалет, сколько самоуверенности и какая смешная наивность!

Каупервуд обернулся, чтобы посмотреть, к кому относятся эти слова, и увидел Эйлин. А гак жестоко раскритиковавшая ее дама, по-видимому англичанка, была хороша собой, изящна и бесспорно принадлежала к высшему обществу. Он должен был признать, что она во многом права, но разве можно подходить к Эйлин с обычной меркой? Разве можно винить ее в том, что она здоровое, сильное существо и что каждая жилка трепещет у нее от полноты жизни. Для него она была привлекательна. Очень жаль, что люди более консервативных взглядов относятся к ней с такой недоброжелательностью. Почему не видят они того, что видит он, — наивную страсть к роскоши, желание непременно быть на виду, вызванные, вероятно, тем, что Эйлин в юности была лишена возможности выезжать в свет, хотя только об этом и мечтала? Каупервуд жалел Эйлин. И вместе с тем уже начинал понимать, что для светской карьеры ему, пожалуй, нужна совсем иная жена — более сдержанная, с большим вкусом, чутьем и тем врожденным тактом, без которого нельзя преуспеть в обществе.

Из этой поездки Каупервуд привез в Чикаго прекрасного Перуджино, несколько великолепных полотен Луини и Превитали, портрет Цезаря Борджиа работы Пинтуриккьо, две огромные африканские красные вазы, купленные в Каире, позолоченный

резной консоль времен Людовика XV, приобретенный у одного антиквара в Риме, два причудливых венецианских бра и пару старинных итальянских светильников, которые он разыскал в Неаполе и намеревался поставить у себя в библиотеке — по углам. Так постепенно пополнялась и росла его художественная коллекция.

Приблизительно в это же время стало меняться и отношение Каупервуда к женщинам. И раньше, когда он впервые встретился с Эйлин, у него уже был выработан свой, достаточно смелый взгляд на жизнь и взаимоотношение полов, а главное, он был твердо уверен в том, что волен поступать, как ему вздумается. С тех пор как он вышел из тюрьмы и снова пошел в гору, ему не раз приходилось ловить брошенный на него украдкой взгляд, и он не мог не видеть, что нравится женщинам. Эйлин лишь недавно стала его женой, но уже много лет была его любовницей, и пора первого пылкого влечения миновала. Каупервуд любил Эйлин не только за ее красоту, но и за неизменную горячую привязанность, однако и другие женщины начинали теперь интересовать его, иногда даже будить в нем страсть, и он не пытался подыскивать этому какие-либо объяснения или моральные оправдания. Такова жизнь и таков человек. От Эйлин он скрывал, что его влечет к другим женщинам, понимая, как ей это будет горько, но тем не менее это было так.

Вскоре после своего возвращения из Европы Каупервуд как-то зашел в галантерейный магазин на Стэйт-стрит купить галстук. Еще в дверях он заметил даму — она направлялась к другому прилавку и прошла совсем близко от него. С первого взгляда он понял, что перед ним одна из тех светских женщин, к которым его тянуло в последнее время, хотя любоваться ими ему приходилось только издали: изящная, элегантно, но строго одетая, миниатюрная, стройная, с темными волосами и глазами, смуглой кожей, крохотным ртом и пикантным вздернутым носиком. В общем это была шикарная женщина по представлениям чикагцев того времени. Выражение ее глаз говорило о жизненном опыте, а задорно-дерзкое лицо пробудило в Каупервуде сознание своего мужского превосходства и желание во что бы то ни стало подчинить ее себе. На вызывающе-пренебрежительный взгляд, который она метнула в его сторону, Каупервуд ответил пристальным и властным взглядом, заставившим даму тотчас опустить глаза. Он смотрел на нее не нагло, а лишь настойчиво и многозначительно. Незнакомка была ветреной супругой одного преуспевающего адвоката, поглощенного своими делами и самим собой. После этого молчаливого разговора она с притворным безразличием остановилась неподалеку, делая вид, что внимательно рассматривает кружева. Каупервуд не сводил с нее глаз в надежде, что она опять посмотрит на него. Но он спешил по делам, не хотел опаздывать и потому, вырвав листок из записной книжки, написал название отеля, а внизу сделал приписку: «Второй этаж, гостиная, вторник в час дня». Дама стояла вполоборота к нему, и ее левая, затянутая в перчатку, рука была опущена. Проходя мимо, незаметно сунуть ей записку ничего не стоило. Каупервуд так и поступил и видел, как незнакомка зажала ее в руке. Вероятно, она украдкой все время наблюдала за ним. В назначенный день и час она ждала его в отеле, хотя он даже не подписал своего имени. Эта связь, показавшаяся ему вначале восхитительной, длилась, однако, недолго. Его возлюбленная была интересна, но уж слишком причудлива и капризна.

Затем у Хадлстоунов — своих прежних соседей — он как-то встретил на обеде девушку двадцати трех лет, которая на короткое время сильно увлекла его. У нее была смешная и не слишком благозвучная фамилия — Хабби (Элла Ф.Хабби, как он выяснил впоследствии), но девушка была очень мила. Главная ее прелесть заключалась в шаловливой лукавой мордочке и плутовских глазах. Отец Эллы был состоятельным комиссионером с Южной Уотер-стрит. Стоило Каупервуду обратить на нее внимание, как девушка не замедлила влюбиться в него, что, впрочем, было довольно естественно. Она была молода, неопытна, впечатлительна, блеск славы кружил ей голову, а миссис Хадлстоун уже давно на все лады превозносила Каупервуда и пророчила ему великую будущность. Когда Элла с ним встретилась, увидела, что он очень моложав, откровенно ею любуется и ничуть не страшен и не суров, — во всяком случае с нею, — она была совершенно очарована, и стоило Эйлин отвернуться, как смеющиеся глаза девушки тотчас с восхищением обращались на Каупервуда. После обеда все перешли в гостиную, и тут Каупервуд самым естественным и непринужденным образом пригласил Эллу навестить его в конторе, если ей доведется быть поблизости. Но глаза его досказали остальное, вызвав в ответ жаркий и смущенный взгляд. Она пришла, и они стали встречаться. Но связь эта была непродолжительной и не захватила его. Девушка была не из тех, что могла бы удержать Каупервуда после того, как было удовлетворено его любопытство.

За этой связью последовала еще одна короткая интрижка с некоей миссис Джозефайн Ледуэл, красивой вдовушкой, которая, вздумав спекулировать на хлебной бирже, обратилась за советом к Каупервуду и с первой же встречи решила, что с ним стоит затеять флирт. Внешне она немного походила на Эйлин, но была постарше, не так хороша собой и обладала более трезвым, практическим складом ума. Ее элегантность, независимая манера держаться и холодная расчетливость заинтриговали Каупервуда. Она, со своей стороны, всячески старалась его завлечь и в конце концов преуспела; местом встреч им служила ее квартира на Северной стороне. Связь эта длилась месяца полтора; новая возлюбленная даже не очень нравилась Каупервуду. Всякой женщине, которая с ним сближалась, предстояло состязаться с привлекательностью Эйлин и былым очарованием его первой жены. А это оказывалось не так уж просто.

Именно в ту пору, чем-то напоминавшую первые годы супружества с Лилиан, когда они тоже почти никуда не выезжали, Каупервуд встретил, наконец, женщину, которой суждено было оставить глубокий след в его жизни. Он долго не мог ее забыть. Это была жена молодого скрипача, Гарольда Сольберга, датчанина, поселившегося в Чикаго. Сама она не была датчанкой. Мужа ее выдающимся скрипачом никак нельзя было назвать, хотя музыкальным темпераментом он несомненно обладал.

Всем нам приходилось сталкиваться, и в самых разных областях, с этими будущими светилами, без пяти минут знаменитостями, непризнанными гениями. Это любопытный народ, с великим упорством предающийся тому делу, к которому

вопреки всему считает себя призванным. У этих людей и подобающая внешность и все традиционные замашки профессионала, однако это только «медь звенящая и кимвал бряцающий». Достаточно было самого краткого знакомства с Гарольдом Сольбергом, чтобы отнести его именно к этой категории людей искусства. У него был хмурый блуждающий взгляд, длинные до плеч темно-каштановые кудри, которые он зачесывал назад, оставляя одну прядь по-наполеоновски спущенной на лоб, младенчески нежный румянец, чересчур пухлые, красные, чувственные губы, красивый нос с небольшой горбинкой, густые брови и усы, которые топорщились так же беспокойно, как и его болезненно самолюбивая и ничтожная душа. Родные услали его из Дании, потому что в двадцать пять лет он все еще никак не проявил себя и только и делал, что докучал замужним дамам, в которых постоянно влюблялся. В Чикаго Сольбергу пришлось жить на сорок долларов в месяц, которые высылала ему мать, и на скудный заработок от уроков музыки. Денег было маловато, но, расходуя их на свой лад «экономно» — то есть одеваясь шикарно и питаясь впроголодь, — он как-то выворачивался и даже сумел окружить свою персону неким романтическим ореолом. Ему было всего двадцать восемь лет, когда он встретил Риту Гринаф из Уичиты, штат Канзас; к тому времени, когда Сольберги познакомились с Каупервудом, Гарольду было тридцать четыре года, а его жене — двадцать семь.

Она училась в чикагской школе живописи и ваяния и встречалась с Сольбергом на студенческих вечерах; в ту пору ей казалось, что он играет божественно и что жизнь — это только искусство и любовь. Весна, сверкающее на солнце озеро, белые паруса яхт, несколько прогулок и бесед в тихие, задумчивые вечера, когда город утопает в золотистой дымке, завершили дело. Затем последовало внезапное венчанье в субботний вечер, свадебная поездка в Милуоки на один день, возвращение в студию, которую нужно было теперь переоборудовать для двоих, и поцелуи, поцелуи без числа, пока не был утолен любовный голод.

Но одними поцелуями сыт не будешь, и вскоре начались семейные неурядицы. Счастье еще, что молодым не пришлось столкнуться с подлинной нуждой. Рита была сравнительно обеспечена. У отца ее был в Уичите свой небольшой элеватор, приносивший ему неплохой доход, и, когда она внезапно вышла замуж, старик решил по-прежнему высылать ей деньги, хотя служение искусству, которому посвятили себя дочь и зять, было для него чем-то совершенно чуждым и непонятным. Тщедушный, робкий, мягкий человек, предпочитавший лучше наживать поменьше, лишь бы ничем не рисковать, и словно созданный для жизни в провинциальной глуши, он смотрел на Гарольда примерно так, как мы стали бы смотреть на адскую машину, — с любопытством, однако держась на почтительном расстоянии. Но со временем — ибо даже людям простодушным не чужды человеческие слабости — он стал гордиться своим зятем, хвастался по всей округе Ритой и ее супругом-музыкантом, пригласил их на все лето к себе в гости, желая поразить соседей, а осенью привез жену в Чикаго навестить молодых, и мать Риты, мало чем отличавшаяся от любой фермерши, ездила с ними кататься, участвовала в пикниках, бывала на артистических вечеринках в студиях. Это было забавно, наивно, нелепо и типично для Америки того времени.

Рита Сольберг была по натуре женщина довольно флегматическая. Ее округлые, мягкие формы говорили о том, что годам к сорока ей предстоит растолстеть, и все же она была на редкость привлекательна. Шелковистые пепельные волосы, влажные серо-голубые глаза, нежная кожа и ровные белые зубы давали ей право гордиться своей внешностью, и она прекрасно сознавала силу своих чар. Разыгрывая детскую наивность и беспечность, она притворялась, будто не замечает, какой трепет вызывает ее красота у иных влюбчивых мужчин, а между тем всегда прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает, и зачем, — ей нравилось испытывать свою власть. Она знала, что у нее великолепные плечи и шея, пышные соблазнительные формы, что одевается она изящно, и хотя много тратить на туалеты не может, во всяком случае каждая ее вещь носит на себе отпечаток ее индивидуальности. Любая модистка позавидовала бы искусству, с каким она из старой соломенной шляпы, лент и какого-нибудь перышка мастерила себе новую, которая удивительно шла к ней. Она любила наряжаться в белое с голубым или с розовым, в коричневое с палевым — наивные, девичьи сочетания, в которых как бы отражалась ее душа; вокруг талии она обычно повязывала широкую коричневую или красную ленту, а шляпы носила большие с мягкими полями, красиво обрамлявшими ее лицо. Рита грациозно танцевала, недурно пела, с чувством, а иногда и с блеском играла на рояле, рисовала. Но все это ничего общего не имело с настоящим искусством, — Рита не была подлинным художником и если чем-либо и выделялась из окружавшей ее среды, то скорее своими настроениями и мыслями — изменчивыми, сумасбродными, своевольными. С точки зрения общепринятой морали Рита Сольберг в ту пору была особа опасная, хотя сама она считала себя просто милой фантазеркой.

Изменчивость ее настроений объяснялась отчасти тем, что она стала разочаровываться в Сольберге. Он страдал одной из самых страшных болезней

— неуверенностью в себе и неспособностью найти свое призвание. По временам он никак не мог решить, рожден ли он быть великим скрипачом, или великим композитором, или, на худой конец, великим педагогом, — впрочем, с последней возможностью ему никак не хотелось примириться. «Я артист, — любил он говорить. — О, как я страдаю от своего темперамента!» И заключал: «Чурбаны! Бесчувственные скоты! Свиньи!» — это уже относилось к окружающим. Играл он очень неровно, хотя порой в его исполнении было немало изящества, лиричности и мягкости, снискавших ему некоторое внимание публики. Но, как правило, исполнение Сольберга отражало хаос, царивший в его мыслях. Он играл так лихорадочно, так нервно, водил смычком с такой самозабвенной страстностью, что не мог уже уследить за техникой игры и много от этого терял.

— Дивно, Гарольд! — восторженно восклицала Рита в первые годы их брака. Потом она уже не была в этом уверена.

Чтобы стать предметом восхищения, нужно чего-то достигнуть в жизни. А Гарольд ничего не достиг — поневоле должна была признать Рита — и вряд ли когда-нибудь достигнет. Он давал уроки, горячился, мечтал, лил слезы, что, однако, не мешало ему с аппетитом есть три раза в день и время от времени заглядываться на женщин. Быть для своего избранника всем, быть единственной и неповторимой, заполнить собою все его помыслы и чувства — на меньшее Рита не хотела согласиться, она слишком высоко себя ценила. Поэтому, когда с годами Гарольд начал изменять ей, сначала в мечтах, а потом и на самом деле, терпение Риты истощилось. Она вела счет его увлечениям: молоденькая девушка, которой он давал уроки музыки, студентка из школы живописи, жена банкира, в доме у которого Гарольд иногда выступал. Узнав об очередной измене, Рита замыкалась в себе и угрюмо молчала или уезжала к родным. Гарольд униженно каялся, плакал, бурные сцены заканчивались пылким примирением, а потом все начиналось сначала. Такова жизнь!

Потеряв веру в талант Гарольда, Рита перестала его ревновать, но ей было досадно, что ее чары уже не властны над ним и что он смеет обращать внимание на других женщин. Под сомнение ставилась ее красота, а она все еще была красива. Ниже ростом, чем Эйлин, и не такая крупная, Рита была более пышной, округлой и казалась нежнее и женственней. Полнота ее красила, но, в сущности, она не была хорошо сложена, зато в изменчивом выражении глаз, в линии рта, в ее неожиданных фантазиях и мечтательности таилась какая-то чарующая прелесть. Она стояла выше Эйлин по развитию, лучше понимала живопись, музыку, литературу, лучше разбиралась в событиях дня и в любви была куда более загадочной и обольстительной. Она знала много любопытного о цветах, драгоценных камнях, насекомых, птицах, помнила имена героев художественных произведений, читала на память и прозу и стихи.

Когда Каупервуды познакомились с Сольбергами, те все еще снимали студию во Дворце нового искусства и, по-видимому, наслаждались безоблачным семейным счастьем. Правда, дела у Гарольда шли неважно, он уже на все махнул рукой и плыл по течению. Первая встреча состоялась за чаем у Хатштадтов, с которыми Каупервуды сохранили дружеские отношения. Гарольд играл, и Эйлин, — Каупервуда в этот день с ней не было, — решив, что Сольберги люди интересные, а ей необходимо развлечься, пригласила их к себе на музыкальный вечер. Те воспользовались приглашением.

Каупервуд с первого взгляда разгадал Сольберга. «Неустойчивая, эмоциональная натура, — подумал он, — и, вероятно, слишком слабоволен и ленив, чтобы из него когда-нибудь вышел толк!» Тем не менее скрипач ему понравился. Подобно фигуркам на японских гравюрах, Сольберг был любопытен как характер, как тип. Каупервуд встретил его очень любезно.

— Миссис Сольберг, я полагаю, — сказал он, почтительно склоняясь перед Ритой, спокойную грацию и вкус которой он сразу оценил. Она была в скромном белом платье с голубой отделкой — по верхнему краю кружевных оборок была пропущена узенькая голубая лента. Ее обнаженные руки и плечи казались удивительно нежными. А живые серые глаза глядели ласково и шаловливо, как у балованного ребенка.

— Вы знаете, — щебетала она, капризно выпячивая хорошенькие губки, как всегда это делала, когда что-нибудь рассказывала, — я уж думала, мы никогда сюда не доберемся. На Двенадцатой улице — пожар (она произнесла «пажай»), и никак не проедешь, столько там машин. А дым какой! Искры! И пламя из окон. Огромные багровые языки — знаете, почти оранжевые с черным. Это красиво — правда?

Каупервуд был очарован.

— Очень даже, — весело согласился он с тем благодушным и снисходительным видом, с каким взрослые говорят с детьми. Он и в самом деле почувствовал какую-то отеческую нежность к миссис Сольберг, она казалась такой наивной, юной и в то же время бесспорно обладала и характером и индивидуальностью. Лицо и плечи необыкновенно хороши, думал он, скользя по ней взглядом. А миссис Сольберг видела перед собой только элегантного, холодного, сдержанного человека, — судя по всему, очень энергичного, — с блестящими, проницательными глазами. «Да, это не Гарольд!

— думала она. — Тот никогда ничего не добьется в жизни, даже известности».

— Как хорошо, что вы взяли с собой скрипку, — говорила между тем Эйлин Гарольду в другом углу гостиной. — Мне очень хотелось послушать вас.

— Вы слишком любезны, — отвечал Сольберг, слащаво растягивая слова. — Как у вас красиво тут: какие чудесные книги, нефрит, хрусталь…

Эйлин нравилась его мягкая податливость. Он похож ка впечатлительного, балованного мальчика, подумала она. Его должна была бы опекать какая-нибудь сильная, богатая женщина.

После ужина Сольберг играл. Высокая фигура, глаза, устремленные в пространство, волосы, спадающие на лоб, — весь облик музыканта заинтересовал Каупервуда, но миссис Сольберг интересовала его больше, и взгляд его то и дело обращался на нее. Он смотрел на ее руки, порхавшие по клавишам, на ямочки у локтя. Какой восхитительный рот и какие светлые пушистые волосы! Но главное — за всем этим чувствовалась индивидуальность, определенная душевная настроенность, которая вызывала у Каупервуда сочувственный отклик, более того — страстное влечение. Такую женщину он мог бы полюбить. Она чем-то напоминала Эйлин, когда та была на шесть лет моложе (Эйлин теперь исполнилось тридцать три, а миссис Сольберг двадцать семь), только Эйлин была более рослой, сильной, здоровой и будничной. Миссис Сольберг — словно раковина тропических морей, — пришло ему в голову сравнение, — нежная, теплая, переливчатая. Но в ней есть и твердость. Он еще не встречал в обществе подобной женщины. Такой притягательной, пылкой, красивой. Каупервуд до тех пор смотрел на нее, пока Рита, почувствовав на себе его взгляд, не обернулась и лукаво, одними глазами, не улыбнулась ему, строго поджав губы. Каупервуд был покорен. Может ли он на что-то надеяться, — было теперь единственной его мыслью. Означает ли эта неуловимая улыбка что-нибудь, кроме светской вежливости? Вероятно, нет. Но разве в такой натуре, богатой, пылкой, нельзя пробудить чувство?

Каупервуд воспользовался тем, что Рита встала из-за рояля, чтобы спросить:

— Вы любите живопись? Не хотите ли посмотреть картинную галерею? — и предложил ей руку.

— Когда-то я думала, что буду знаменитой художницей, — с кокетливой ужимкой и, как показалось Каупервуду, удивительно мило сказала миссис Сольберг. — Забавно! Правда? Я даже послала отцу рисунок с трогательной надписью: «Тому, которому я всем обязана», Надо видеть рисунок, чтобы понять, как это смешно.

И она тихо засмеялась.

Каупервуд весело вторил ей, чувствуя, как жизнь вдруг заиграла новыми красками. Смех Риты освежал, словно летний ветерок.

— Это Луини, — сказал он, невольно понижая голос, когда они вошли в галерею, освещенную мягким сиянием газовых рожков. — Я купил его прошлой зимой в Италии.

Перед ними было «Обручение св.Екатерины». Каупервуд молчал, пока она разглядывала тонкие черты святой, которым художник сумел придать выражение неземного блаженства.

— А вот, — продолжал он, — мое самое ценное приобретение — Пинтуриккьо.

— Они остановились перед портретом известного своим коварством Цезаря Борджиа.

— Какое необыкновенное лицо! — простодушно заметила миссис Сольберг. — Я не знала, что существует его портрет. Он сам похож на художника, вы не находите? — Рита, конечно, слышала о кознях и преступлениях Цезаря Борджиа, но никогда не читала его жизнеописания.

— Он и был художником в своем роде, — отвечал с иронической улыбкой Каупервуд, которому в свое время, когда он покупал портрет, рассказали во всех подробностях и о Цезаре Борджиа и об его отце — папе Александре VI. С тех пор его и стала интересовать история семейства Борджиа. Впрочем, миссис Сольберг вряд ли уловила скрытую в его словах иронию.

— А вот миссис Каупервуд, — заметила Рита, переходя к портрету, написанному Ван-Беерсом. — Эффектная вещь! — добавила она тоном знатока, и эта наивная самоуверенность показалась Каупервуду очень милой: он считал, что женщина должна быть самонадеянной и немного тщеславной. — Какие сочные краски! И этот сад и облака — очень удачный фон.

Она отступила на шаг, и Каупервуд, занятый только ею, залюбовался изгибом ее спины и профилем. Какая гармония линий и красок! «Движенье каждое сплетается в узор», — хотелось ему процитировать, но вместо этого он сказал:

— Портрет писался в Брюсселе. А облака и вазу в нише художник написал потом.

— Превосходный портрет, — повторила миссис Сольберг и двинулась дальше.

— А как вам нравится Израэльс?

Картина называлась «Скромная трапеза».

— Очень нравится, — отвечала она. — И ваш Бастьен-Лепаж тоже. (Она имела в виду «Кузницу»). Но мне кажется, что старые мастера у вас более интересны. Если вам посчастливится отыскать еще несколько вещей, их непременно надо перевесить в отдельный зал. Вы не думаете? А вот к Жерому я как-то равнодушна, — она говорила, растягивая слова, и это казалось Каупервуду очаровательным.

— Почему же? — спросил он.

— В нем что-то есть искусственное, вы не находите? Мне нравится колорит, но тела одалисок уж слишком совершенны. Хотя, конечно, это красиво.

Каупервуд был не очень высокого мнения об умственных способностях женщин и расценивал представительниц прекрасного пола больше как произведения искусства, хотя и замечал, что иной раз они интуитивно постигали то, до чего он сам никогда бы не додумался. Эйлин, конечно, не могла бы этого подметить, размышлял Каупервуд. И вдобавок она теперь не так уж хороша — нет в ней этой восхитительной свежести, наивности, очарования и тонкости ума. Муж у миссис Сольберг — какой-то шут гороховый, хладнокровно продолжал рассуждать Каупервуд. Может быть, ему удастся увлечь ее? Но уступит ли такая женщина? Не поставит ли условием развод и брак?

А миссис Сольберг, со своей стороны, думала, что Каупервуд, должно быть, человек незаурядный и что он очень уж близко стоял возле нее, когда они смотрели картины. Кружить головы мужчинам ей было не внове, и она сразу поняла, что нравится ему. Рита знала силу своих чар, но, кокетничая, чтобы насладиться своим могуществом, соблюдала меру и держалась неприступно: до сих пор она не встречала человека, ради которого стоило бы пожертвовать душевным покоем. «Конечно, Эйлин не подходящая жена для Каупервуда, — думала она. — Ему нужна женщина более содержательная, глубокая».

15. НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Сближению Каупервуда и Риты Сольберг невольно способствовала сама Эйлин: она заинтересовалась Гарольдом, который возбудил в ней не то чтобы настоящее чувство, а скорее какую-то нелепую сентиментальную нежность. В присутствии женщин, особенно женщин красивых, Сольберг мгновенно воспламенялся, становился необычайно учтив, внимателен, угодлив и сумел этим понравиться Эйлин. Она решила непременно найти ему учеников, а кроме того, ей доставляло удовольствие бывать в студии у Сольбергов. Эйлин скучала без общества. А Каупервуд, ради миссис Сольберг, охотно сопровождал ее. Преследуя свои собственные цели, он коварно поощрял это знакомство и то предлагал Эйлин пригласить Сольбергов к обеду, то советовал ей устроить у себя музыкальный вечер, чтобы дать возможность Гарольду выступить и немного заработать. Каупервуды приглашали Сольбергов в свою ложу, посылали им билеты на концерты, по воскресеньям и даже в будни возили их кататься.

Сама жизнь с ее физиологическими законами часто берет на себя роль сводни. Поскольку Каупервуд непрестанно и взволнованно думал о Рите, Рита тоже стала думать о нем. И с каждым днем он представлялся ей все более привлекательным, властным и необыкновенным. Чувствуя его влечение, она мучительно боролась со своей совестью. Правда, ничего еще не было сказано, но Каупервуд искусно вел осаду, постепенно преграждая Рите все пути к отступлению — один за другим. Однажды, когда ни Эйлин, ни Каупервуд не могли приехать к чаю, который по четвергам устраивали у себя Сольберги, Рита получила огромный букет великолепных темно-красных роз. «Для уголков и уголочков вашей студии» — было написано на карточке. Рита прекрасно знала, от кого эти розы и каких денег они стоят. Цветов было не меньше, чем на пятьдесят долларов, и от букета веяло той непривычной для нее роскошью, которую могли позволить себе только очень богатые люди, финансовые воротилы, крупные биржевики. Рите ежедневно попадались на глаза газетные объявления банкирской конторы Каупервуда. Как-то раз она столкнулась с ним лицом к лицу в магазине Мэррила. Время было около полудня, и Каупервуд предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, но Рита сочла своим долгом отказаться. Он всегда глядел на нее в упор, настойчиво и жадно. Рите льстило, что ее красота дает ей над ним такую власть. Против воли в голову ей закрадывалась мысль, что этот энергичный, обаятельный человек может со временем окружить ее роскошью, которая и не снилась Сольбергу. Однако внешне жизнь ее текла по-старому, она по-прежнему немного играла на рояле, ходила по магазинам, ездила в гости, читала, сетовала на лень и неспособность Гарольда, и лишь иногда ею вдруг овладевала странная задумчивость, и перед нею возникал образ Каупервуда. Какие у него сильные, красивые руки, а взгляд — ласковый и вместе с тем твердый, все видящий. Пуританству Уичиты (уже несколько поколебленному жизнью в кругу чикагской богемы) приходилось туго в борьбе с изворотливостью и коварством нового времени, воплощенными в этом человеке.

— Вы какая-то неуловимая, — сказал ей Каупервуд однажды вечером в театре, когда Эйлин с Гарольдом вышли в фойе и они остались вдвоем в ложе. В зале стоял гул голосов, и можно было говорить без опаски. Миссис Сольберг была очаровательна в вечернем кружевном платье.

— Вы находите? — смеясь, ответила Рита, польщенная замечанием Каупервуда и взволнованная его близостью. Она все больше поддавалась его настроению, любое его слово вызывало в ней трепет. — А по-моему, я существо весьма материальное, — добавила она и взглянула на свои сложенные на коленях полные красивые руки.

Каупервуд, всем существом ощущавший ее материальность, так же как и своеобразие этой натуры, куда более богатой, чем натура Эйлин, был глубоко взволнован. Чувства, настроения, фантазии, владевшие ее душой, передавались ему без слов, как дуновение ветерка, восхищая его и вызывая ответное волнение в крови. В Рите было не меньше жизненной энергии, чем в Эйлин, но она была тоньше, нежнее и богаче духовно. «Или Эйлин мне уже прискучила?» — спрашивал он себя временами. «Нет, не может быть», — решал он тут же. Но Рита Сольберг несомненно самая привлекательная женщина, какую он когда-либо встречал.

— И все-таки вы неуловимая, — продолжал он, наклоняясь к ней. — Вы напоминаете мне что-то, чего даже не выразишь словами: переливы красок, аромат, обрывок мелодии… вспышку света. Я теперь только о вас и думаю. Вы очень тонко судите о картинах. Мне нравится ваша игра на рояле, вы вкладываете в нее частицу себя. Вы уводите меня в другой мир, отличный от того, в котором я живу. Вы меня понимаете?

— Я рада, если это так. — Она глубоко и несколько театрально вздохнула.

— Но вы рисуете уж слишком привлекательный портрет, я еще бог весть что о себе возомню, — и Рита сделала очаровательную гримаску, округлив и выпятив губки. Разгоряченная, раскрасневшаяся, она задыхалась от обуревавших ее чувств.

— Да, да, вы такая, — настойчиво продолжал Каупервуд, — такой я всегда вас ощущаю. Вы знаете, — он еще ниже склонился к ее креслу, — порой мне кажется, что вы еще совсем не жили, ничего не видели, а ведь это много прибавило бы к вашему совершенству. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали за границей, — со мной или даже без меня. Я восхищаюсь вами, Рита. А я для вас значу хоть что-нибудь?

— Да, но… — она помедлила. — Я боюсь этого всего и вас боюсь. — Ее губки опять капризно выпятились — милая привычка, пленившая его еще в первый день знакомства. — Лучше поговорим о другом. Гарольд ужасно ревнив. И что подумает миссис Каупервуд?

— Я знаю, но стоит ли сейчас тревожиться об этом? И какой Эйлин вред от того, что я беседую с вами? Жизнь в общении индивидуальностей, Рита. А у нас с вами очень много общего. Разве вы этого не чувствуете? Вы самая интересная женщина, которую я когда-либо встречал. Вы открываете мне что-то новое, о чем я никогда даже и не подозревал раньше. Вы должны это понять. Скажите мне правду, посмотрите мне в глаза; вы ведь не довольны своей жизнью? Не так счастливы, как могли, как хотели бы быть?

— Нет, — она задумчиво разглаживала пальцами веер.

— Вы несчастны!

— Когда-то мне представлялось, что я счастлива. Но это было давно.

— И неудивительно! — горячо подхватил он. — Вы не можете довольствоваться ролью, которую выполняете теперь, она слишком для вас ничтожна. У вас собственная индивидуальность, а вы жертвуете ею, чтобы курить фимиам другому человеку. Я не хочу этим сказать, что мистер Сольберг не талантлив, но с ним вы никогда не будете счастливы. Меня поражает, как вы этого сами не понимаете.

— Ах, откуда вам знать! — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала усталость.

Он посмотрел на нее в упор, и она задрожала.

— Давайте прекратим этот разговор, — сказала она поспешно, — лучше…

Каупервуд положил руку на спинку ее кресла, — он почти касался ее плеча.

— Рита, — сказал он, снова называя ее по имени, — вы изумительная женщина!

— О! — произнесла она чуть слышно.

Прошло дней десять, прежде чем Каупервуд снова увидел Риту. Как-то раз, под вечер, Эйлин заехала за ним в контору в новом экипаже, захватив по пути Сольбергов, чтобы ехать вместе кататься. Эйлин правила, и Гарольд сидел рядом с ней впереди, Каупервуду же с Ритой были предоставлены места на заднем сиденье. Ей даже в голову не приходило, что Каупервуду нравится миссис Сольберг, — так осторожно он себя вел. К тому же Эйлин не сомневалась в своем превосходстве над Ритой: как же, ведь она и красивее и лучше одевается, а следовательно — Рите и думать нечего равняться с ней. Она не подозревала, какой притягательной силой обладала миссис Сольберг в глазах Каупервуда, — при всей его деловитости и кажущейся прозаичности, под внешностью уравновешенного, положительного человека у него скрывалось немало внутреннего огня и даже романтики.

— Чудесно, — сказал Каупервуд, опускаясь на мягкое сиденье рядом с Ритой. — Какой прекрасный вечер! И что за прелестная соломенная шляпка с розами и как ока идет к вашему платью! — Розы были красные, платье белое, с пропущенной сквозь мережку узенькой зеленой лентой. Рита прекрасно понимала, отчего Каупервуд в таком приподнятом настроении. Как он не похож на Гарольда, какой он сильный, жизнерадостный, ловкий! Гарольд — тот целый день сегодня проклинал судьбу, жизнь, преследующие его неудачи.

— Я бы на твоем месте не жаловалась, — заметила она язвительно. — Надо только больше работать и меньше беснотаться.

В ответ он раскричался, устроил сцену, а она ушла гулять. Когда она вернулась, за ними заехала Эйлин. Это было очень кстати. Рита сразу повеселела и побежала одеваться. Сольберг последовал ее примеру. Счастливые и довольные с виду, словно ничего и не произошло, они отправились в путь. Теперь, слушая Каупервуда, Рита гордо поглядывала по сторонам. «Да, я красива, — думала она, — и он от меня без ума. Как это было бы упоительно, если б только мы посмели». Но вслух сказала:

— Ничего хорошего во мне нет! Просто день выдался прекрасный. Платье самое обыкновенное, а я даже немножко расстроена сегодня.

— Что-нибудь случилось? — участливо спросил он под стук экипажей, заглушавший их голоса. — Может быть, я могу быть вам полезен? — Каупервуд рад был бы случаю вывести Риту из затруднительного положения, оказать ей услугу и покорить ее своей добротой. — Сейчас мы проедем в Джексон-парк, пообедаем там в павильоне и вернемся в город при луне. Хорошо, правда? Так улыбнитесь же, будьте веселы, как всегда. О чем вам грустить? Я готов сделать для вас все, что вы пожелаете, — все, что в моих силах! У вас может быть все, чего бы вы ни захотели. Что тревожит вас? Вы знаете, как вы мне дороги. Расскажите мне о своих затруднениях, позвольте мне избавить вас от всяких забот.

— Нет, вы для меня ничего не можете сделать — во всяком случае сейчас. Затруднения? Ну, какие там затруднения. Все пустяки!

Она даже о себе говорила с небрежной отчужденностью, в которой была какая-то особая прелесть. Каупервуд был очарован.

— Но вы-то для меня не пустяк, Рита, — мягко сказал он, — так же как и все, что вас касается. Я вам говорил, как много вы для меня значите. Неужели вы сами этого не видите? Для меня вы самая сложная из всех загадок и самая чудесная. Я без ума от вас. Со времени нашей последней встречи я все думал, думал. Если у вас есть какие-то заботы, тревоги — поделитесь со мной. У меня сейчас только одна забота — вы. Соедините свою жизнь с моей, и я устрою так, что вы будете счастливы. Вы нужны мне, а я — вам.

— Да, — сказала она, — я знаю… — И запнулась. — Ничего особенного не произошло, мы с Гарольдом немножко повздорили.

— Из-за чего?

— Из-за меня. — Она опять капризно выпятила губки. — Я не могу вечно курить фимиам, как вы тогда сказали. — Слова Каупервуда крепко засели у нее в уме. — Но это все позади. Смотрите, какой чудесный день, просто вос-хи-ти-тель-ный!

Каупервуд поглядел на нее и покачал головой. Как она очаровательна в своей непоследовательности! Правя лошадьми и разговаривая с Сольбергом, Эйлин ничего не слышала и не видела. Она была поглощена своим спутником, а кроме того, ее внимание отвлекал поток экипажей, устремлявшихся к югу по Мичиган авеню, Мелькавшие мимо деревья с нежной молодой листвой, зеленеющий газон, вскопанные клумбы, распахнутые окна домов — вся неотразимая прелесть весны вызывала в Каупервуде радостное ощущение жизни, заново начинавшейся и для него. Если бы упоение, которое он сейчас испытывал, могло быть видимо, оно окружило бы его сияющим ореолом. Миссис Сольберг чувствовала, что ей предстоит провести чудесный вечер.

Обедали в парке, на открытом воздухе, цыплятами, жареными в сухарях; пили шампанское и ели вафли, — словом, все было, как водится. Эйлин, польщенная тем, что Сольберг в ее обществе очень оживлен, дурачилась, провозглашала тосты, смеялась,

бегала по лужайке и веселилась вовсю. Гарольд открыто ухаживал за ней, как делали это все мужчины, пытался было даже объясниться в любви. Эйлин шутливо его обрывала, называя «несносным мальчишкой» и требуя, чтобы он «перестал сейчас же!» Она была настолько уверена в себе, что, вернувшись домой, не побоялась рассказать Каупервуду, как легко воспламеняется Сольберг и как она все время над ним подтрунивала. Каупервуд, не сомневавшийся в ее верности, отнесся к этому рассказу весьма благодушно. Сольберг — болван, пусть себе ухаживает за Эйлин, — это как нельзя более кстати.

— Гарольд неплохой малый, — заметил он. — Я ничего против него не имею, но скрипач он, по-моему, довольно посредственный.

После обеда вся компания поехала по берегу озера за город, где начиналась прерия с разбросанными там и сям темными купами деревьев. Небо было чисто, и ярко светила луна, заливая серебристым сиянием безмолвные поля и неподвижную поверхность озера. Расточаемый Каупервудом яд, который Рита в последнее время поглощала в огромных дозах, оказывал на нее свое разрушительное действие. Пылкая и смелая при всей своей кажущейся апатичности, Рита была из тех женщин, в которых чувство пробуждает решительность. Каупервуду удалось поразить ее воображение; она понимала, что он гораздо значительнее всех, кто ее окружал. Разве не счастье быть любимой таким человеком! Какая у них могла бы быть яркая, интересная жизнь! Мысль о связи с Каупервудом и привлекала и страшила ее, словно яркий огонек в темноте. Чтобы побороть свое волнение, она заговорила об искусстве, об общих знакомых, о Париже, Италии; Каупервуд поддерживал этот разговор и все время тихонько гладил ее руку, а раз, когда экипаж въехал в тень деревьев, притянул к себе ее голову и коснулся губами ее щеки. Рита вспыхнула, затрепетала, побледнела, захваченная врасплох бурей новых ощущений, но все же справилась с собой. Вот оно, счастье! Она понимала, что прежней жизни наступил конец.

— Будьте завтра в три за мостом на Рош-стрит, — сказал Каупервуд, понижая голос. — Я приеду за вами. Вам не придется ждать ни минуты.

Она медлила с ответом, раздумывая, грезя наяву, завороженная ослепительным будущим, которое он открывал перед ней, готовая покориться чужой, непреклонной воле.

— Вы придете? — настойчиво спросил он.

— Постойте, — проговорила она еле слышно. — Дайте подумать… Могу ли я?

Она все еще медлила.

— Да, — сказала она немного погодя и глубоко, всей грудью вдохнула воздух. — Да! — снова повторила она, словно что-то решив про себя.

— Любимая, — прошептал он, сжимая локоть Риты и вглядываясь в ее освещенный луною профиль.

— Что я делаю? — прошептала она, бледнея и задыхаясь от волнения.

16. РОКОВАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Каупервуд ликовал. Он едва дождался часа свидания, и действительность превзошла все самые смелые его мечты. Рита была милее, своеобразнее, обольстительнее всех женщин, которых ему когда-либо доводилось встречать. Он тотчас снял прелестную квартирку на Северной стороне и проводил там с Ритой немало часов и утром, и днем, и вечером — смотря по обстоятельствам. Здесь, на свободе, Каупервуд мог не торопясь изучить свою новую возлюбленную, но сколь придирчив он ни был, ему не удалось обнаружить в ней никаких или почти никаких недостатков. Молодость и беспечность — бесценные дары, а у нее в избытке былой то и другое. Натура, чуждая всякой меланхолии, обладавшая счастливой способностью наслаждаться минутой, Рита не пыталась заглядывать в будущее, не выискивала причин для тревог и волнений, не вспоминала о прошлых неудачах и неприятностях. Она любила красивые вещи, но не была мотовкой. Как ни старался Каупервуд уговорить ее больше расходовать на себя, как ни хитрил, все было напрасно, и это не могло не внушать ему уважения. Она всегда знала, чего хочет, тратила деньги экономно, покупала с разбором и скромностью своих нарядов напоминала ему полевой цветок. По временам чувство к Рите захватывало Каупервуда с такою силой, что становилось мучительным для него и он рад был бы избавиться от этого наваждения, но не мог ничего с собой поделать. Очарование не проходило. Когда после самых исступленных ласк Рита поправляла растрепавшиеся волосы, строя очаровательные гримаски перед зеркалом и думая сразу о множестве приятных вещей, она казалась ему только еще более свежей, красивой, обворожительной.

— Ты помнишь, Алджернон, ту картину, что мы с тобой видели у антиквара третьего дня? — говорила она, растягивая слова и называя его этим вторым именем, которое считала более благозвучным и более подходящим для их романтических встреч.

Каупервуд сначала возражал против этого, но она настояла на своем. — Помнишь плащ старика, какой великолепный синий тон? (Картина называлась «Поклонение волхвов».) Ну, просто вос-хи-ти-тельный!

Она так мило растягивала слова и так забавно при этом выпячивала губки, что немыслимо было не поцеловать ее.

— Маргаритка моя, — говорил он, привлекая ее к себе. — Саксонская статуэтка!

— Ну вот, я только что причесалась, а ты опять растреплешь мне волосы.

Голос и глаза ее были невинны и простодушны.

— Непременно растреплю, кокетка ты этакая.

— Ты меня совсем задушишь. Мне всегда больно от твоих поцелуев. Неужели тебе не жаль меня?

— Жаль, крошка! Хотя мне нравится причинять тебе боль.

— Ну, что с тобой поделаешь!

Но и после этих бурных порывов его все так же влекло к ней. Она как бабочка, думал он, палевая с белым или лазоревая с золотом — порхает над шиповником, с цветка на цветок.

Очень скоро Каупервуд убедился, что Рита прекрасно разбирается в требованиях света, хотя сама и не принята в этом кругу. Рита сразу поняла и его желание играть роль в обществе, и честолюбивое стремление коллекционировать картины, и мечты о блестящем будущем. По-видимому, ей было ясно, что он еще полностью не проявил себя, что Эйлин — жена для него не совсем подходящая и что ей, Рите, эта роль была бы больше по плечу. Вскоре она стала говорить с ним и о своем муже, очень снисходительно отзываясь о его слабостях и недостатках. Она не питала к нему зла, просто ей, как видно, наскучили отношения, которые не оправдывались ни любовью, ни преклонением перед талантом, ни взаимным пониманием. Каупервуд предложил Рите перебраться в более просторную мастерскую, покончить с мелочной экономией, которая стесняла ее и Сольберга, и объяснить это тем, что родные стали высылать ей больше денег. Сначала Рита и слушать ничего не хотела, но Каупервуд мягко, хотя и упорно настаивал и все-таки добился своего. Спустя еще немного он посоветовал ей уговорить Гарольда поехать в Европу. Пусть думает, что ее родные и на этот раз расщедрились. Просьбы, ласки, убеждения, лесть делали свое дело; миссис Сольберг в конце концов подчинилась и приняла помощь Каупервуда: избавившись от материальных забот, она совсем успокоилась и расцвела. Впрочем, щедротами Каупервуда Рита пользовалась умеренно и деньги его тратила с умом. Больше года ни Сольберг, ни Эйлин не подозревали об этой связи. Гарольд, которого ничего не стоило обвести вокруг пальца, поехал погостить к матери в Данию, а оттуда в Германию — совершенствоваться в музыке. На следующий год Рита Сольберг отправилась вслед за Каупервудом в Европу. В Экс-ле-Бен, в Биаррице, в Париже и даже в Лондоне Эйлин пребывала в блаженном неведении относительно этой второй спутницы своего супруга. Рита старалась развить вкус Каупервуда, познакомила его с серьезной музыкой и литературой; благодаря ей изменились его взгляды на многие вещи. Она одобряла его намерение составить большое собрание картин старых мастеров и советовала быть осмотрительнее в выборе полотен современных художников. Каупервуд был вполне доволен таким положением дел и ничего лучшего не желал.

Но как и всякое пиратское плавание по волнам страсти, положение это было чревато опасностью: того и гляди мог подняться шторм — одна из тех свирепых бурь, причиной которых бывает обманутое доверие и созданные обществом моральные нормы, согласно которым женщина является собственностью мужчины. Правда, Каупервуда, который никаких законов, кроме своих собственных, не признавал, а если и подчинялся чужому закону, то лишь тогда, когда не мог его обойти, возможность скандала, сцен ревности, криков, слез, упреков, обвинений особенно не смущала. К тому же, быть может, удастся этого избежать. И там, где обыкновенный человек побоялся бы последствий даже одной такой связи, Каупервуд, как мы видели, не смущаясь и почти одновременно, завязывал отношения с несколькими женщинами. Новая связь не могла его испугать, тем более что на этот раз он был по-настоящему увлечен. Прежние его любовные похождения в лучшем случае были суррогатом подлинного чувства, пустыми интрижками, в которых не участвовали ни ум, ни сердце. С миссис Сольберг дело обстояло иначе. Неизвестно, надолго ли, но теперь Рита была для него всем. Однако женщины обладали для Каупервуда такой притягательной силой, так мощно — если не чувственно, то эстетически — действовала на него их красота и манящая тайна их индивидуальности, что он вскоре оказался вовлеченным в новую авантюру, исход которой был не столь благополучен.

Антуанета Новак поступила к Каупервуду в качестве личного секретаря и стенографистки чуть ли не со школьной скамьи: среднее образование она получила в училище на Западной стороне, после чего окончила еще коммерческую школу. Девочкой приехав в Америку вместе с родителями, она выросла и расцвела на диво. Трудно было поверить, что эта стройная и гибкая красавица, всегда со вкусом одетая, прекрасно знающая стенографию, бухгалтерию и всю конторскую работу, — дочь бедного поляка, который работал сначала в юго-западной части Чикаго на сталелитейном заводе, а потом открыл в польском квартале третьеразрядную лавчонку и стал торговать табаком, газетами и писчебумажными принадлежностями. Продажа игральных

карт да комнатка за лавкой, где посетители могли посидеть и при случае перекинуться в картишки, по существу были единственными доходными статьями этого предприятия. Антуанета (кстати сказать, ее звали Минка, а имя Антуанета она просто вычитала в чикагской воскресной газете), тоненькая брюнетка, мечтательная, честолюбивая и полная надежд на будущее, не прослужив и недели на новом месте, стала восхищаться Каупервудом и, затаив дыхание, следила за каждым его смелым ходом в войне с газовыми компаниями. Быть женой такого человека, думала она, завоевать его любовь или хотя бы привлечь его внимание — какое это должно быть счастье! После серенького мирка ее детства и юности, — он казался ей сереньким по сравнению с теми высшими и недоступными сферами, о существовании которых она начала догадываться, глядя на своего шефа, — и после ничем не примечательных людей в конторе по продаже недвижимости, где она работала некоторое время до того, как поступить сюда, Каупервуд, всегда прекрасно одетый, сдержанный, спокойно-самоуверенный, не мог не затронуть самых чувствительных струн ее честолюбивой души. Однажды она видела, как из коляски вышла Эйлин в коричневом костюме, соболях, элегантных лакированных ботинках и меховом токе с длинным-предлинным темно-красным пером, торчавшим над головой словно шпиль или лезвие кинжала. С первого же взгляда Антуанета ее возненавидела. Чем она хуже этой расфранченной особы? Почему так несправедливо устроен мир? И что за человек Каупервуд? Как-то, вскоре после, открытия комиссионной конторы в Чикаго, Каупервуд продиктовал ей свою биографию, несколько смягчив факты, и велел разослать по одному экземпляру в редакции чикагских газет. Антуанета засиделась за перепиской, поздно вернулась домой, и ночью ей приснился сон, в котором искаженно, как всегда бывает в снах, она увидела то, что было с ней днем.

Ей снилось, будто она сидит за своим столиком в роскошном кабинете Каупервуда на Ла-Саль-стрит, а он стоит подле нее и спрашивает:

— Что вы обо мне думаете, Антуанета?

Она смущена, но отвечает храбро. Во сне она была страстно в него влюблена.

— Я, право, и сама не знаю.

Тогда он взял ее за руку и погладил по щеке, и тут она проснулась. А потом долго лежала и думала, как возмутительно и обидно, что такой человек сидел в тюрьме. Как он красив! Он женат во второй раз. Может быть, его первая жена была нехороша собой или глупа? Эти мысли не покидали Антуанету, и даже уже утром, на работе, она никак не могла от них избавиться. Занятый своими делами, Каупервуд в то время не обращал на нее внимания. Он с увлечением разрабатывал очередной ход, который дал бы ему перевес в войне со старыми газовыми компаниями. А для Эйлин, хотя она однажды и видела Антуанету у Каупервуда в кабинете, секретарша и вовсе не существовала. Женщина-конторщица была в те дни такой редкостью, что на нее смотрели как на отщепенку. Эйлин просто не замечала ее.

Спустя примерно год после того как Каупервуд сошелся с Ритой Сольберг, его отношения с Антуанетой Новак, чисто деловые и официальные вначале, внезапно приобрели несколько иной, более личный характер. Чем это объяснить? Тем, что ему наскучила Рита? Нисколько! Каупервуд по-прежнему был без ума от нее. Или тем, что ему опостылела Эйлин, которую он нагло обманывал? Вовсе нет. Порою она привлекала его ничуть не меньше, может быть даже больше прежнего, — и именно потому, что ее воображаемые права так грубо попирались им. Он жалел Эйлин, но оправдывал себя тем, что все его романы — за исключением, пожалуй, связи с миссис Сольберг — очень недолговечны. Если бы у него была возможность жениться на Рите, он, вероятно, женился бы, он даже иной раз думал, может ли что-нибудь заставить Эйлин дать ему свободу, — но все это в конце концов были только праздные мысли. В глубине души он полагал, что они проживут вместе до самой смерти, тем более что Эйлин так легко обманывать.

Ну а Антуанета Новак была для него лишь частью той симфонии плотской любви, с помощью которой, как известно, красота правит миром. Антуанета была очаровательной брюнеткой, особенно хороши были ее большие черные глаза, горевшие огнем неутоленных желаний, и Каупервуд, на которого стенографистка вначале не произвела большого впечатления, постепенно заинтересовался ею; глядя на нее, он удивлялся, как Америка преображает людей.

— Ваши родители американцы, Антуанета? — спросил он ее как-то утром с той снисходительной фамильярностью, с какой обычно обходился со своими подчиненными или людьми, стоящими ниже его по умственному развитию, что, впрочем, никого не обижало, а многим даже казалось весьма лестным.

Антуанета, свеженькая и опрятная, в белой блузке и черной юбке, с черной бархаткой на нежной шее и с тяжелыми черными косами, обвивавшими ее голову и скрепленными белым целлулоидовым гребнем, взглянула на него полными счастья и благодарности глазами. Она привыкла к мужчинам совсем другого рода: в детстве ее окружали люди суровые, вспыльчивые, горячие, временами они напивались и тогда начинали нехорошо браниться; они то и дело бастовали, участвовали в демонстрациях, ходили молиться в католическую церковь. А потом она видела вокруг себя только дельцов, помешанных на деньгах, невежественных и ничем не интересовавшихся, кроме возможностей наживы, которые открывались им в Чикаго. В конторе у Каупервуда, стенографируя его письма, слыша его краткие, но всегда живые разговоры со старым Лафлином, Сиппенсом и другими, она узнала о жизни много нового, о чем раньше никогда и не подозревала. Словно он распахнул перед ней окно, за которым открывались необозримые дали.

— Нет, не американцы, сэр, — отвечала Антуанета, опуская на блокнот тонкую, но сильную белую руку, в которой она держала карандаш. Польщенная его вниманием, она невольно улыбнулась.

— Так я и думал, — сказал он, — хотя вас можно принять за настоящую американку.

— Не знаю даже, почему это так, — продолжала Антуанета очень серьезно.

— И брат у меня тоже настоящий американец. Мы с ним совсем не похожи на отца и мать.

— А что делает ваш брат? — спросил Каупервуд, чтобы что-нибудь сказать.

— Он работает весовщиком у Арнила и Кь. Надеется когда-нибудь стать управляющим. — Она улыбнулась.

Каупервуд испытующе посмотрел на нее, и она, не выдержав его взгляда, опустила глаза. Помимо воли предательский румянец запылал на ее смуглых щеках. Она всегда мучительно краснела, когда Каупервуд смотрел на нее.

— Итак, что же мы писали генералу Ван-Сайклу? — пришел ей на помощь Каупервуд, и через несколько минут она уже овладела собой. Всякий раз, когда ей случалось оставаться наедине с Каупервудом, она испытывала странное волнение, с которым не могла справиться. Сердце ее начинало отчаянно колотиться, и вся она горела как в огне. Порой Антуанета спрашивала себя, может ли такой замечательный человек обратить внимание на простую стенографистку.

Естественно, что, постоянно думая о Каупервуде, Антуанета в конце концов без памяти в него влюбилась. Можно было бы, конечно, рассказать, как она день за днем писала под его диктовку, выслушивала приказания, спокойно и деловито, как полагается образцовой секретарше, выполняла свои обязанности. Но мысли Антуанеты, хотя это и не отражалось на точности и аккуратности ее работы, были целиком поглощены необыкновенным человеком, сидевшим рядом в кабинете, — ее хозяином, к которому непрерывно приходили важные, солидные дельцы; они совали ей свою карточку и иной раз часами задерживались у него. Правда, она заметила, что шеф редко снисходил до продолжительной беседы с кем-либо, и это очень интриговало ее. Распоряжения, которые он отдавал, всегда отличались краткостью: он полагался на ее природную сметливость, мгновенно дополнявшую то, на что он только намекал.

— Вы поняли? — обычно спрашивал он.

— Да, — отвечала Антуанета.

Никогда еще не чувствовала она себя столь значительным лицом, как теперь, — с тех пор как стала работать у Каупервуда.

В просторной конторе с до блеска натертыми полами все было светлым, холодным и жестким, как сам Каупервуд. Утреннее солнце заглядывало в большое выходившее на восток окно с толстым зеркальным стеклом и, проникая сквозь приспущенные шторы салатного цвета, создавало в комнате зеленоватый, романтический, как казалось Антуанете, полумрак. Кабинет Каупервуда, отделанный, как и в Филадельфии, вишневым деревом, был устроен так, чтобы нельзя было ни подсмотреть, ни подслушать, что там делается. Когда дверь была закрыта, никто не смел туда входить, точно в святая святых. Правда, Каупервуд по большей части благоразумно оставлял дверь отворенной, даже когда диктовал деловые письма. И вот во время этих диктовок, происходивших обыкновенно при открытой двери, — Каупервуд не считал удобным оставаться с секретаршей слишком долго наедине, — и создалась обстановка, способствовавшая их сближению.

Шли месяцы, Каупервуд был увлечен другой женщиной, о существовании которой и не подозревала Антуанета, а она, входя к нему в кабинет, то с трудом переводила дух от волнения, то сгорала от девичьего стыда. Она даже самой себе не решалась признаться, что мечтает о нем. Ей было страшно подумать, как легко она может ему уступить. А между тем не было такой черточки в облике Каупервуда, которая не врезалась бы ей в сердце. Его густые каштановые волосы, всегда аккуратно разделенные пробором, его большие, ясные, невозмутимые глаза, холеные руки, такие сильные и мужественные, даже его костюм всегда изящного и простого покроя, — все восхищало ее! Каупервуд обычно казался очень замкнутым и далеким, и только когда они работали вместе, становился как-то ближе и доступней.

Однажды, когда он диктовал Антуанете деловое письмо и взгляды их несколько раз встречались — при этом она неизменно опускала глаза на бумагу, — он, продолжая диктовать, подошел к полуотворенной двери и прикрыл ее. Антуанета не обратила бы на это внимания — ему случалось и раньше закрывать дверь, — но сегодня у него был какой-то особенный взгляд, пристальный, без улыбки, и она почувствовала, что сейчас, сию минуту что-то произойдет. Она похолодела, потом кровь прихлынула к ее лицу и по спине пробежала дрожь. Антуанета и сама не знала, как она хороша; руки и ноги у нее были словно точеные, тело стройное и гибкое. Тонкий профиль чеканностью рисунка напоминал изображения на старинных греческих монетах, а обвивавшие голову туго заплетенные косы казались высеченными из камня. Все это внезапно бросилось Каупервуду

в глаза. Вернувшись к столу, он не сел на свое место, а наклонился к девушке, взял ее за руку и нежно, но настойчиво потянул к себе.

— Антуанета, — сказал он.

Она взглянула на него снизу вверх, потом приподнялась, бледная, задыхаясь от волнения; от обычной ее деловитости не осталось и следа. Ее охватила какая-то слабость, безволие. Она попыталась было высвободить руку, но, подняв глаза, увидела устремленный на нее жесткий и жадный взгляд. Голова у нее закружилась, в глазах отразилось предательское смятение.

— Антуанета!

— Да, — прошептала она.

— Вы любите меня, признайтесь!

Она попыталась овладеть собой, проявить твердость духа, которая, как ей казалось, никогда ее не покинет, — но, увы, этой твердости духа уже не было и в помине. На мгновенье Антуанете представилась далекая чикагская окраина, Блю-Айленд авеню, с двумя рядами низеньких глинобитных домишек, где она провела свое детство… а тут этот элегантный светлый кабинет и сильный, властный человек, который ждет ее ответа. Как чудесен должен быть мир, в котором он живет. Кровь стучала у нее в висках, и она застыла в каком-то блаженном оцепенении.

— Антуанета!

— Ах! Я и сама не знаю… — пролепетала она. — О да, да! Люблю!

— Мне нравится ваше имя, — сказал он. — Антуанета! — И привлек ее к себе.

Испуганная, счастливая, она не сопротивлялась, но вдруг, скорее от неожиданности, чем от стыда, слезы брызнули у нее из глаз. Она отвернулась, оперлась рукой о стол и, опустив голову, заплакала.

— О чем вы, Антуанета? — ласково спросил он, наклоняясь к ней. — Вы так плохо знаете жизнь? Ведь вы сказали, что любите меня. Может быть, вы хотите, чтобы я забыл о том, что сегодня произошло, и чтобы все между нами было по-прежнему? Я могу пойти на это, если только, конечно, и вы можете.

Он прекрасно знал, что она любит его и всем существом стремится к нему.

Она слышала, что говорил Каупервуд, но рыданья душили ее.

— Хотите, все будет по-прежнему? — снова повторил он, помолчав, чтобы девушка могла прийти в себя.

— Ах, дайте мне поплакать! — в смятении пробормотала она наконец. — Я и сама не знаю, почему плачу. Просто разволновалась немножко. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания.

— Антуанета, перестаньте плакать и взгляните на меня.

— Нет, нет, только не теперь. У меня глаза совсем распухли.

— Ну, взгляните на меня, Антуанета, — и он взял ее за подбородок, — посмотрите, разве я такой уж страшный?

— О! — всхлипнула она, когда их взгляды встретились. — Я… — и, положив руки на грудь Каупервуду, припала к нему головой, а он обнял ее и погладил по плечу.

— Я не такой уж плохой, Антуанета, вы тут столько же виноваты, сколько и я. Так вы меня любите?

— Да, о да!

— И вы не будете сердится на меня?

— Нет. Как это все странно. — Она спрятала лицо у него на груди.

— Так поцелуйте меня.

Она запрокинула голову и обвила его шею руками. Каупервуд крепко прижал ее к себе.

Он слегка подтрунивал над ней, допытываясь, почему она плакала, а сам думал: что бы сказали Эйлин и Рита, если б узнали? Сначала Антуанета не хотела говорить, а потом призналась, что у нее было такое ощущение, будто она поступает дурно. Любопытно, что и Антуанета тоже думала об Эйлин, о том, с какой важностью та всегда проплывает мимо нее. Теперь она делит с этой высокомерной и тщеславной миссис Каупервуд его любовь. И как ни странно, Антуанета считала это честью для себя. Она выросла в собственных глазах, — почувствовала в себе прилив бодрости и сил. Теперь она ближе узнала жизнь, потому что узнала любовь и страсть. Будущее рисовалось ей исполненным радости. Немного погодя она села за свою пишущую машинку. К чему все это приведет? — думала она с лихорадочным волнением. По лицу ее не заметно было, что она плакала, только смуглые щеки пылали жарким румянцем, и это делало ее еще красивей. Никакое чувство вины перед Эйлин не тревожило Антуанету. Она принадлежала к новому поколению, которое начинало в душе подвергать переоценке прежнюю этику и мораль. Разве не вправе она распоряжаться собой, как хочет, и какое кому дело, куда это может ее завести. Поцелуи Каупервуда все еще горели на ее губах. Что теперь сулит ей будущее?

17. НАЧАЛО РАЗЛАДА

Последствия этого сближения были не так значительны для Каупервуда, как для Антуанеты. Повинуясь внезапной прихоти, он пробудил к жизни страстную, неукротимую натуру; девушка слепо боготворила его. Сколько бы он ни причинил ей горя, Антуанета — и будущее это показало — никогда не стала бы ему мстить. Однако, сама того не зная, она первая вызвала подозрения у Эйлин и открыла ей глаза на измены Каупервуда.

Поводом к тому послужили два довольно незначительных случая. Однажды, заехав за Каупервудом, Эйлин застала его в кабинете наедине со стенографисткой, хотя было уже поздно и остальные служащие давно разошлись; они очень оживленно беседовали о чем-то, и девушка, когда Эйлин вошла, как будто смутилась. В другой раз, когда Каупервуд был в отъезде, Эйлин показалось, что она видела его вместе с Антуанетой в карете на Стэйт-стрит. Стояла ненастная ноябрьская погода. Эйлин выходила из магазина Мэррила и случайно взглянула на проезжавший возле тротуара экипаж. Полной уверенности у нее не было, но тем не менее это ее потрясло. Неужели Фрэнк в городе и никуда не уезжал? Эйлин тотчас же отправилась к нему в контору, под предлогом, что нашла хорошенький ошейник для Дженни, собачки старика Лафлина, а на самом деле, чтобы проверить, там ли Антуанета. Неужели Каупервуд мог увлечься этой стенографисточкой? — спрашивала она себя дорогой. В конторе все считали, что шефа нет в городе, но и Антуанеты не оказалось на месте. Лафлин сказал Эйлин, что мисс Новак, кажется, пошла в библиотеку подобрать какие-то материалы. Так Эйлин и не удалось разрешить свои сомнения.

Как должна была она к этому отнестись? И счастье ее и все надежды были настолько тесно связаны с любовью и успехом Каупервуда, что при одной мысли потерять его она готова была сойти с ума. Порой Каупервуд, пробираясь по извилистым тропам страсти, задумывался над тем, как поступит Эйлин, если узнает о его похождениях. Уже и раньше — когда он завел интрижку с женой адвоката, миссис Катридж, а потом с Эллой и с миссис Ледуэл — у него бывали небольшие стычки с Эйлин, и хотя до настоящих ссор дело не доходило, Каупервуду было ясно, что даже тень подозрения выводит Эйлин из себя. Иногда он где-то пропадал, и Эйлин ждала его напрасно, но у него всегда находились оправдания; иногда ее удивляло его непонятное равнодушие к ней — в этом оправдаться было уже труднее. Тем не менее до сих пор Каупервуду всегда удавалось рассеивать ревнивые подозрения Эйлин, потому что ни одной из этих женщин он не был серьезно увлечен.

— Ну, зачем ты это говоришь? — спокойно возражал он, когда Эйлин, сердясь на него за какую-нибудь очередную отлучку, утверждала, что он, верно, неплохо провел время с другой. — Ты же прекрасно знаешь, что у меня никого нет. Поверь, если бы я и завел шашни с какой-нибудь женщиной, ты бы очень быстро об этом узнала. И все равно, даже случись со мной такой грех, в душе я никогда бы тебе не изменил.

— Вот как? — язвительно восклицала Эйлин; червь сомнения точил ее. — Ну, знаешь, «духовную верность» можешь оставить при себе. Мне одних возвышенных чувств мало.

Каупервуд смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Он жалел ее и понимал, что она права. Нравился ему и сарказм, звучавший в ее словах. Кроме того, он знал, что в глубине души она не верит его измене, — ведь он и сейчас вел себя с нею как влюбленный. Но Эйлин хорошо знала, что он нравится женщинам, а разве мало бездушных кокеток, которые рады будут завлечь его и исковеркать ей жизнь. Да Фрэнк и сам, может быть, не прочь пасть жертвой этих обольстительниц.

Взаимное влечение и физическая близость составляют столь неотъемлемую сторону брака и вообще всякой любовной связи, что почти каждая женщина следит за проявлениями чувства у своего возлюбленного примерно так, как, скажем, моряк, плаванье которого зависит от погоды, следит за барометром. Эйлин в этом смысле не составляла исключения. Она была так хороша собой, так сильно влекла к себе всегда Каупервуда, что всякая перемена в его отношении не могла бы от нее укрыться: очередные вспышки страсти доказывали ей, что она не утратила еще для него своей привлекательности. Но мало-помалу, задолго до его увлечения миссис Сольберг или кем-либо другим, пыл Каупервуда стал угасать, — правда, перемена была не столь велика, чтобы вызвать тревогу. Эйлин недоумевала, но не доискивалась причин. После неудачи, которую она потерпела в чикагском обществе, положение ее было слишком шатким, и у нее попросту не хватало на это духу.

С появлением миссис Сольберг и Анутанеты Новак все усложнилось еще больше. По-своему привязанный к Эйлин, Каупервуд и хотел бы быть нежным с женой, — он знал, как сильно она его любит, и чувствовал себя виноватым перед ней, — но в то же время все больше от нее отдалялся. Он отдалялся от Эйлин или, напротив, вновь сближался с нею в зависимости от оживления или затишья, поочередно наступавших в его любовных делах, что, впрочем, никак не отражалось на его делах банкирских, которым он предавался с неизменной энергией и рвением; Эйлин все это замечала и очень тревожилась. Однако при ее безмерной самонадеянности ей не верилось, чтобы Каупервуд мог долго оставаться нечувствительным к ее красоте, а кроме того, сентиментальное участие, которое она принимала в судьбе Гарольда Сольберга и в его душевных терзаниях, не позволяло ей трезво судить об истинном положении вещей. И все же в конце концов она начала понимать, что любовь Каупервуда идет на убыль. Самое страшное то, что прежние отношения очень быстро опошляются, превращаясь в пустую видимость былой любви. Эйлин сразу почувствовала фальшь. Она пыталась протестовать.

— Почему ты не целуешь меня так, как прежде? — упрекала она Каупервуда.

Или в другой раз обиженно спрашивала:

— Что с тобой случилось? Вот уже четыре дня, как ты не обращаешь на меня никакого внимания.

— Ничего не случилось, — непринужденно отвечал Каупервуд. — Я ничуть не изменился и отношусь к тебе по-прежнему. — Он привлекал ее к себе, ласкал, но Эйлин оставалась недоверчивой и настороженной.

В душевном состоянии, которое наступает у человека, столкнувшегося с этими мучительными и необъяснимыми приливами и отливами любви, очень малую роль играют так называемый разум или логика. Нельзя не удивляться, как под напором страсти и под воздействием изменившихся условий рушатся те взгляды и теории, которыми мы ранее руководствовались в жизни. В ту пору, когда Эйлин пренебрегла правами первой жены Каупервуда, как смело толковала она о том, что «ее Фрэнку» нужна женщина, которая подходила бы ему по развитию, наклонностям, вкусам; теперь же, когда ее одолевал страх, что Фрэнк найдет себе возлюбленную, еще более отвечающую его запросам, — хотя Эйлин не представляла себе, кто бы это мог быть, — она рассуждала совсем по-другому. Неужели пробил ее час? И его влечет к какой-то другой женщине больше, чем к ней? Это было бы ужасно! Что же тогда делать? — спрашивала она себя в полной растерянности.

Как-то вечером Эйлин совсем пала духом и даже немножко всплакнула, сама толком не зная почему. Порой ей доставляло мстительное наслаждение придумывать, как и чем доймет она ту, которая посягнет на ее мужа. А потом она терзалась сомнениями. Надо ли открыто объявлять войну, если она убедится, что у Фрэнка есть любовница? Эйлин знала, что скорее всего именно так и поступит, но вместе с тем понимала, что если Каупервуд к ней охладел и кем-то увлечен всерьез, то ничего она этим не добьется. Как все это ужасно! Но что делать? Как вернуть Фрэнка? Ведь это сейчас самое главное. Ревнивые расспросы Эйлин заставили Каупервуда насторожиться и удвоить свое внимание к ней, — правда, чисто внешне. Он по мере сил скрывал чувства, которые волновали его теперь, — восхищение Ритой Сольберг, интерес к Антуанете Новак, — и на время преуспел в этом.

Но в конце концов перемена стала слишком очевидной. Эйлин это заметила спустя год после их возвращения из Европы. В то время она еще интересовалась Сольбергом, хотя ее отношения с ним никогда не заходили дальше легкого флирта. Ей, правда, приходило в голову, что Гарольд довольно привлекателен, но разве можно его сравнить с Фрэнком? Никогда! И лишь только Эйлин почувствовала, что Каупервуд переменился к ней, она сразу опомнилась; а случая с каретой было достаточно, чтобы Сольберг и вовсе перестал для нее существовать. С ужасом думала она о том, что потерять теперь Каупервуда — это потерять все: его любовь — единственное, что у нее осталось, после того как рухнули ее надежды попасть в общество. Быть может, из-за этой неудачи Фрэнк и охладел к ней? Да, да, конечно. И все же, вспоминая, как он клялся ей в любви, вспоминая свою преданность ему в самое тяжелое время, когда он сидел в тюрьме в Филадельфии и все от него отшатнулись. Эйлин не верила, что он способен отплатить ей таким предательством. Фрэнк может увлечься, но если хорошенько его пристыдить, устроить, наконец, сцену, неужели у него хватит совести так мутить ее? Нет, нет, он образумится и снова станет так же ласков и нежен, как раньше. Когда Эйлин видела его или вообразила, что видела в карете с Антуанетой Новак, ей очень хотелось учинить ему допрос, но она пересилила себя и решила сначала последить за ним. Может быть, он волочится сразу за несколькими женщинами? Тогда это не так уж страшно. Эйлин была обижена, оскорблена в своих лучших чувствах, но не сломлена.

18. СТОЛКНОВЕНИЕ

Рита Сольберг была из тех женщин, все поведение которых и самая манера держаться не позволяют заподозрить их в чем-либо дурном. Хотя многое в ее теперешней жизни было ей внове, она не волновалась, не робела, неизменно сохраняла душевное равновесие и потому в самых затруднительных обстоятельствах умудрялась не терять самообладания. Даже захваченная с поличным, сна не почувствовала бы смущения и неловкости, ибо не видела в своих отношениях с Каупервудом ничего безнравственного и не мучилась мыслью о том, куда заведет ее эта связь; такие понятия, как «душа», «грех», для нее не существовали, а мнение общества мало ее тревожило. Она любила искусство, любила жизнь — словом, это была настоящая язычница. Есть такие натуры, защищенные как бы непроницаемой броней. Обычно это люди стойкие, но не обязательно выдающиеся или особенно преуспевающие. Рита в своей эгоистической наивности была не способна понять душевные муки женщины, потерявшей возлюбленного. Сама она равнодушно отнеслась бы к такой утрате, погоревала бы, наверно, немножко и утешилась: уверенная в своей красоте и тщеславная, она ждала бы для себя в будущем чего-нибудь лучшего или во всяком случае столь же хорошего.

Рита часто навещала Эйлин — и с Гарольдом и без него, ездила с Каупервудами кататься, бывала с ними в театре, на выставках. После сближения с Каупервудом она снова решила учиться живописи. Вечерние и дневные занятия, которые можно было по желанию пропускать, служили ей прекрасным предлогом для частых отлучек из дому. Кроме того, Гарольд, с тех пор как у него появились деньги, заметно повеселел, стал вести более легкомысленный образ жизни, увлекаться женщинами. Каупервуд даже советовал Рите предоставить мужу полную свободу, чтобы в случае, если их отношения откроются, тот был связан по рукам и ногам.

— Пусть заведет какой-нибудь серьезный роман. Мы наймем сыщиков и соберем против него улики. Он тогда и рта не посмеет раскрыть, — объяснил Каупервуд Рите.

— Ну зачем же? У него и так было сколько угодно историй, — с милым простодушием заметила Рита. — Он даже отдал мне кое-что из своей переписки (она произнесла «пи-еписки») — любовные послания, которые он получал от разных женщин.

— Письма — это недостаточно. Если уж нужно будет его припугнуть, нам потребуются свидетели. Когда он опять влюбится в кого-нибудь, дай мне знать, а об остальном я позабочусь сам.

— Мне кажется, он даже сейчас влюблен, — забавно протянула Рита. — На-днях я видела его на улице с одной из его учениц. Прехорошенькая девушка, кстати.

Известие это обрадовало Каупервуда. Порой ему казалось, что если бы Эйлин уступила домогательствам Сольберга, он был бы только рад; поймав ее на месте преступления, он почувствовал бы себя в безопасности. Впрочем, нет, в глубине души он не хотел этого и, наверное, хоть не надолго, а огорчился бы ее изменой. К Сольбергу, однако, были приставлены сыщики, связь его с ветреной ученицей установлена и подтверждена под присягой свидетелями, чего вместе с имевшейся у Риты «пи-епиской» было вполне достаточно, чтобы «заткнуть рот» музыканту, вздумай тот поднять шум. Так что Каупервуду и Рите нечего было особенно тревожиться.

Другое дело Эйлин. Мысль об Антуанете Новак не давала ей ни минуты покоя: подозрения, любопытство, тревога неотступно терзали ее. После всего, что Каупервуд перенес в Филадельфии, Эйлин не хотела ничем вредить ему здесь, но вместе с тем при мысли, что он ее обманывает, она приходила в ярость. Не только ее любви, но и тщеславию был нанесен жестокий удар. Как узнать, наконец, правду? Самой следить за ним? Гордость не позволяла Эйлин поджидать Каупервуда на улице, у конторы, в отелях, подсматривать из-за угла. Нет, на это она не пойдет! Потребовать у него объяснений? Не имея достаточно веских доказательств, это было бы глупо. Он слишком хитер, и если его вспугнуть, он заметет следы, и она так ничего и не узнает: он просто будет все отрицать. Эйлин совсем извелась, не зная, на что решиться, пока однажды с болью в сердце не вспомнила, как десять лет назад ее собственный отец прибег к помощи сыщиков и без труда установил ее связь с Каупервудом и место их тайных встреч. Как ни горько, как ни мучительно было это воспоминание, но теперь тот же самый способ дознаться истины не вызывал в ней такого возмущения, как когда-то. Что ж, ведь тогда это разоблачение не причинило Каупервуду вреда, рассуждала Эйлин, во всяком случае большого вреда (это было неверно), ну и теперь ничего особенного не произойдет (что тоже было неверно). Но кто же поставит в вину страстной, любящей и глубоко уязвленной женщине такое отклонение от истины? Эйлин прежде всего хотела узнать, виновен ли он перед нею, а там уж она решит, что делать. И тем не менее она понимала, что вступает на опасный путь, и содрогалась при мысли о возможных последствиях. Если ожесточить Фрэнка, он может ее бросить, поступить с ней так же, как с первой женой, Лилиан.

Все эти дни, присматриваясь к своему господину и повелителю, она думала: неужели он меня разлюбил и обманывает, как обманывал тринадцать лет назад свою первую жену? Неужели он вправду мог сойтись с такой девушкой, как Антуанета Новак? Думала, думала, думала с безотчетным страхом и вместе с тем с решимостью постоять за себя. Но как воздействовать на него? Если он еще любит ее, то все обойдется… ну, а если нет?

Сыскная контора, куда Эйлин после долгих недель мучительных колебаний в конце концов обратилась, была одним из тех гнусных учреждений, к услугам которых многие все же не брезгают прибегать, когда нет иного способа разрешить свои сомнения в личных или денежных делах. С Эйлин, как с богатой клиентки, не преминули содрать втридорога, но поручение

выполнили исправно. К ее изумлению, досаде и ужасу, после нескольких недель слежки ей донесли, что Каупервуд близок не только с Антуанетой Новак, — о чем она подозревала, — но и с миссис Сольберг. И поддерживает отношения и с той и с другой — две связи одновременно! Известие это так ошеломило Эйлин, что она долго не могла прийти в себя.

Ни одна женщина ни до, ни после этой истории не казалась Эйлин столь опасной, как Рита Сольберг. Из всех живых существ женщины больше всего боятся женщин, и прежде всего умных и красивых. Рита Сольберг за последний год очень выросла во мнении Эйлин; материальное положение ее явно улучшилось, и благоденствовавшая Рита хорошела с каждым днем. Однажды, увидев ее в очень элегантном новеньком кабриолете на Мичиган авеню, Эйлин рассказала о своей встрече Каупервуду.

— У отца ее, вероятно, хорошо идут дела, — заметил он. — От Сольберга ей кабриолета никогда не дождаться.

И как Эйлин ни симпатизировала Гарольду — этому музыканту с впечатлительной душой, она понимала, что Каупервуд прав.

В другой раз, на премьере, сидя рядом с Ритой в ложе, она обратила внимание, какое изящное и дорогое ка ней платье: светлый шелк весь в мелкую складочку, ажурная строчка, бесчисленные крохотные розетки из лент

— над всем этим кому-то пришлось немало потрудиться.

— Какая прелесть! — заметила Эйлин.

— Да? Вы находите? — беззаботно отвечала Рита. — Моя портниха столько возилась с ним, я думала, она никогда не кончит.

Платье обошлось в двести двадцать долларов, и Каупервуд охотно уплатил по счету.

Возвращаясь тогда из театра домой, Эйлин думала о том, как изящно одевается Рита и как она умеет всегда выбрать именно то, что ей идет. Все-таки она очаровательна!

Теперь же, когда оказалось, что те самые чары, которые пленили ее, пленили и Каупервуда, Эйлин ощутила бешеную, лютую ненависть. Рита Сольберг! То-то приятная будет для нее неожиданность, когда она услышит, что Каупервуд делил свои чувства между ней и какой-то ничтожной стенографисткой, Антуанетой Новак! И этой дрянной выскочке Антуанете тоже хороший будет сюрприз, когда она узнает, как мало значит она для Каупервуда, если Рите Сольберг он снял целую квартиру, а с ней встречается в домах свидания и средней руки номерах.

Но как ни злорадствовала Эйлин, мысль о собственной беде неотступно мучила и терзала ее. Какой лгун! Какой лицемер! Какой подлец! Ее попеременно охватывало то отвращение к этому человеку, который когда-то клялся ей в своей любви, то безудержный, бешеный гнев, то сознание непоправимой утраты и жалость к себе. Что ни говори, а лишить такую женщину, как Эйлин, любви Каупервуда — значило отнять у нее все; без него она была как рыба, выброшенная на берег; как корабль с поникшими парусами; как тело без души. Рухнула надежда с его помощью занять положение в обществе, померкли радость и гордость именоваться миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд. Получив донесения сыщиков, она сидела у себя в комнате, устремив усталый взгляд в пространство; впервые в жизни горькие складки обозначились в уголках ее красивого рта. Перед ней как в тумане беспорядочно проносились картины прошлого, страшные мысли о будущем. Вдруг она вскочила — в глаза ей бросилась фотография на туалетном столе, с которой, словно на смех, спокойно и пытливо смотрел на нее муж. Эйлин схватила снимок, швырнула на пол и в бешенстве растоптала своей изящной ножкой красивое и наглое лицо. Мерзавец! Негодяй! Она представила себе, как белые руки Риты обвивают его шею, как губы их сливаются в долгом поцелуе. Воздушные пеньюары, открытые вечерние туалеты Риты стояли у нее перед глазами. Так нет же, он не достанется ни ей, ни этой дрянной выскочке, Антуанете Новак! Этому не бывать! Дойти до того, чтобы связаться с какой-то стенографисткой у себя же в конторе! В будущем она уже не позволит ему взять себе в секретари девушку. После всего, чем она для него пожертвовала, он не смеет не любить ее, не смеет даже глядеть на других женщин! Самые несообразные мысли вихрем проносились в ее голове. Она была близка к помешательству. Страх потерять Каупервуда довел ее до такого исступления, что она способна была на какой угодно опрометчивый шаг, на какую угодно бессмысленную и дикую выходку. Эйлин с лихорадочной поспешностью оделась, послала за наемной каретой и велела везти себя к Дворцу нового искусства. Она покажет этой красавице с конфетной коробки, этой вкрадчивой дряни, этой чертовке, как отбивать чужих мужей. По дороге она обдумывала план действий. Она не станет сидеть сложа руки и дожидаться, пока у нее отнимут Фрэнка, как она отняла его у первой жены. Нет, нет и нет! Он не может так поступить с ней. Пока она жива, этого не будет! Она убьет Риту, убьет эту проклятую стенографистку, убьет Каупервуда, убьет себя, но этого не допустит. Лучше отомстить и покончить с собой, чем потерять его любовь. В тысячу раз лучше!

К счастью, ни Риты, ни Гарольда дома не было. Они уехали в гости. В квартире на Северной стороне, где, как сообщило Эйлин сыскное агентство, миссис Сольберг и Каупервуд встречались под фамилией Джекобс, Риты тоже не оказалось. Понимая, что дожидаться бесполезно, Эйлин после недолгих колебаний велела кучеру ехать в контору мужа. Было около пяти часов. Антуанета и Каупервуд уже ушли, но Эйлин не могла этого знать. Однако по пути туда она передумала и приказала повернуть обратно, к Дворцу нового искусства — сперва надо разделаться с Ритой, а потом уже с той девчонкой. Но Сольберги еще не

возвратились. Отчаявшись найти Риту, Эйлин в бессильной ярости поехала домой. Где же и как встретиться ей с Ритой наедине? Но на ловца и зверь бежит: к злобной радости Эйлин, Рита неожиданно явилась к ней сама. Часов в шесть вечера Сольберги возвращались из гостей по Мичиган авеню, и Гарольд, когда экипаж поравнялся с особняком Каупервудов, предложил заглянуть к ним на минутку. Рита была прелестна в бледно-голубом туалете, отделанном серебряной тесьмой. Ее туфли и перчатки были чудом изящества, а шляпка — просто мечта. При виде Риты Эйлин — она была еще в вестибюле и сама отворила Сольбергам — почувствовала непреодолимое желание вцепиться ей в горло, ударить ее, но сдержалась и проговорила: «Милости прошу». У нее хватило ума и самообладания скрыть свое бешенство и запереть за ними дверь. Рядом с Ритой стоял Гарольд, в модном сюртуке и шелковом цилиндре, фатоватый, никчемный, но все-таки его присутствие сдерживало Эйлин. Он кланялся и улыбался.

— О, — собственно звук этот не походил у Сольберга ни на «о», ни на «а», а представлял собой нечто вроде модулированного по-датски «оу», что даже нравилось Эйлин. — Как поживаете, миссис Каупервуд? Оу! Я так счастлив вас видеть.

— Не пройдете ли в гостиную, — хрипло произнесла Эйлин. — Я только зайду к себе и сейчас же вернусь! — Затем, когда Сольберги были уже в дверях, Эйлин, словно что-то вспомнив, нежным голоском позвала Риту: — Миссис Сольберг! Может быть, вы подыметесь на минутку ко мне? Я хочу показать вам одну вещь.

Рита тотчас согласилась. Она считала своим долгом всегда быть особенно предупредительной с Эйлин.

— Мы к вам заглянули всего на несколько минут, но я с удовольствием подымусь с вами, — отвечала она, возвращаясь с приветливой улыбкой в вестибюль.

Эйлин пропустила Риту вперед, легко и уверенно ступая, поднялась по лестнице, вошла следом за ней в спальню и закрыла дверь. Затем с решимостью и злобой, порожденной отчаянием, она заперла дверь на ключ и круто повернулась к Рите. Глаза Эйлин горели ненавистью, щеки побелели, потом стали багровыми, пальцы конвульсивно сжимались и разжимались.

— Так вот вы как, — проговорила она, в упор глядя на Риту и подступая к ней с перекошенным от гнева лицом. — Моего мужа отбить вздумали, да? Квартиру завели для встреч, да? А ко мне в дом приходили улыбаться и лгать? Ах ты гадина! Лживая тварь! Потаскушка! Я тебе покажу, будешь знать, как прикидываться овечкой! Теперь я тебя раскусила! Теперь я тебя проучу, раз и навсегда проучу. Вот тебе, вот тебе! Вот тебе!

От слов Эйлин тотчас перешла к действию; налетев на Риту как вихрь, она с остервенением колотила ее, царапала, щипала; она сорвала с нее шляпку, разодрала кружево у ворота, била ее по лицу, таскала за волосы и, вцепившись своей сопернице в горло, старалась задушить ее и изуродовать. В эту минуту она действительно была невменяема.

Нападение было столь стремительно и внезапно, что Рита поневоле растерялась. Все произошло слишком быстро, было слишком ужасно, она и опомниться не успела, как буря обрушилась на нее. У Риты не было времени ни убеждать, ни оправдываться. Страх, позор, неожиданность заставили ее всю сжаться при этом молниеносном натиске. Когда Эйлин набросилась на нее, она стала беспомощно защищаться, оглашая криками весь дом. Это были дикие, пронзительные крики раненного насмерть зверя. Весь лоск цивилизации мгновенно слетел с нее. От светской изысканности и грации, нежного воркования, поз, гримасок, составлявших главную прелесть и очарование Риты, не осталось и следа: страх мигом вернул ее к первобытному состоянию. В глазах ее был ужас затравленного животного, посиневшие губы тряслись. Она пятилась от Эйлин, неуклюже спотыкаясь, с воплями корчилась и извивалась в ее цепких, сильных руках.

Каупервуд вошел в дом за несколько секунд до того, как раздались эти крики. Он приехал из конторы почти вслед за Сольбергами и, случайно заглянув в гостиную, увидал там Гарольда. На лице музыканта сияла самодовольная и вместе с тем угодливая улыбка, та же угодливость чувствовалась во всей его фигуре, облаченной в застегнутый на все пуговицы длинный черный сюртук, к даже в шелковом цилиндре, который он все еще держал в руках.

— О, мистер Каупервуд, как вы поживаете? — приветствовал он хозяина дома, дружески кивая кудрявой головой. — Я так рад вас видеть… — Но тут… Можно ли описать вопль ужаса? У нас нет слов, нет даже обозначений, чтобы передать эти животные, нечленораздельные звуки, которыми выражают страдание и страх. Они достигли вестибюля, библиотеки, гостиной, долетели даже до кухни и погреба, наполнив весь дом трепетом ужаса.

Каупервуд, человек действия, не ведающий раздумья и нерешительности впечатлительных натур, весь напрягся, как пружина. Что это? Что за страшный крик? Сольберг — артист, как хамелеон реагирующий на всякое неожиданное происшествие и волнение, — побледнел, тяжело задышал, растерялся.

— Господи! — воскликнул он, ломая руки. — Да ведь это Рита. Она наверху у вашей жены! Там что-то случилось. Боже мой! Боже мой!.. — Перепуганный, дрожащий, он сразу размяк и обессилел.

Каупервуд же, без единой секунды колебаний, сбросил на пол свое пальто и ринулся наверх. Сольберг побежал за ним. Что случилось? Где Эйлин? — спрашивал себя Каупервуд, перескакивая через три ступеньки и сознавая, что стряслась какая-то непоправимая, ужасная беда. Эти вопли выворачивали всю душу, от них мороз продирал по коже. Опять вопль, еще и еще. Потом истошные крики.

— Боже! Убивают! Помогите! Спасите! — И снова вопль, вернее какой-то дикий, протяжный, зловещий вой.

Сольберг был близок к обмороку, так он перепугался. Лицо его стало землисто-серым. Каупервуд толкнул дверь и, убедившись, что она заперта, стал ее дергать, стучать, колотить в нее ногами.

— Эйлин! Что там такое? — властно закричал он. — Сейчас же отвори!

— Помогите! Помогите! Сжальтесь… О-о-о-о-о! — Это был слабеющий голос Риты.

— Я тебе покажу, чертовка! — послышался голос Эйлин. — Я тебя, гадина, проучу! Лживая, продажная тварь! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

— Эйлин! — хрипло позвал Каупервуд. — Эйлин! — Но она не отвечала, и вопли не прекращались.

— Отойдите! Что вы стоите, как столб? — злобно крикнул он беспомощно охающему Сольбергу. — Дайте мне стул, стол, что-нибудь! — Дворецкий бросился выполнять приказание, но прежде чем он вернулся, Каупервуд нашел подходящее орудие. На площадке лестницы стоял дубовый резной стул с высокой узкой спинкой. — Вот! — воскликнул он, схватил его и занес над головой. Раз! Удар в дверь на мгновенье заглушил доносившиеся изнутри крики.

Раз! Стул затрещал и чуть не рассыпался, но дверь не поддавалась.

Ррраз! Стул разлетелся в щепы, и дверь распахнулась. Каупервуду удалось вышибить замок. Одним прыжком он очутился возле Эйлин, которая, придавив коленом распростертую посреди комнаты Риту, душила ее и колотила головой об пол. Как зверь кинулся он на нее.

— Эйлин! Дура! Идиотка! Отпусти! — прорычал он хриплым, странно изменившимся голосом. — Что с тобой, черт тебя возьми! Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла? Безмозглая идиотка! — Он, словно клещами, схватил Эйлин за руки и, оторвав от Риты, силком оттащил ее; перегнув через колено, он повалил ее на пол, но она, не помня себя от бешенства, продолжала вырываться и кричать:

— Пусти меня! Пусти меня! Я ее проучу! Не смей держать, негодяй! Я и тебе покажу, собака… О!..

— Подымите эту женщину, — указывая на распростертую Риту, крикнул Каупервуд появившимся в дверях дворецкому и Сольбергу. — Унесите ее скорей отсюда. У миссис Каупервуд припадок. Унесите же, говорят вам. Жена сейчас сама не понимает, что делает. Унесите скорей и немедленно пошлите за доктором. Чтобы так драться!..

— О! — простонала Рита. Она была вся истерзана и от страха почти потеряла сознание.

— Я убью ее! — взвизгнула Эйлин. — Изуродую! И тебя убью, собака! О!..

— Она порывалась его ударить. — Я тебе покажу, как путаться со всякой дрянью. Негодяй! Подлец!

Но Каупервуд еще крепче стиснул руки Эйлин и несколько раз сильно ее встряхнул.

— Что это на тебя нашло, черт тебя возьми, безмозглая дура! — грубо сказал он, когда Риту унесли. — Чего ты добиваешься? Что тебе надо? Убить ее? Ты что же, хочешь, чтобы сюда пожаловала полиция? Перестань вопить и веди себя прилично, а не то я заткну тебе рот платком! Перестань, тебе говорят! Перестань, слышишь? Довольно, сумасшедшая! — Он зажал ей рот ладонью, а другой рукой, перехватив ее поудобнее, резко, со злостью встряхнул. Каупервуд был очень силен. — Ну, замолчишь ты, наконец, или хочешь, чтобы я тебя придушил? И придушу, если ты не прекратишь это безобразие, — пригрозил он. — Совсем рехнулась! Замолчи сейчас же! Так вот ты как, когда что-нибудь не по тебе?

Но Эйлин в исступлении рыдала, вырывалась, стонала, пытаясь все же выкрикивать угрозы и ругательства.

— Дура! Сумасшедшая! — Каупервуд опрокинул ее на спину, с трудом вытащил платок из кармана и запихал ей в рот. — Ну вот, — произнес он с облегчением, — теперь ты будешь у меня молчать! — Она продолжала вырываться, колотила ногами об пол, но он держал ее железной хваткой; в эту минуту ему ничего не стоило ее придушить.

Мало-помалу она затихла. Каупервуд, стоя возле нее на одном колене, крепко держал ее руки, прислушивался к тому, что делается в доме, и размышлял. Какая все-таки бешеная злоба! Конечно, ее особенно и винить нельзя. Она слишком его любит, слишком глубоко оскорблена. Он достаточно хорошо знал характер Эйлин и должен был предвидеть такой взрыв. Но дикая сцена, которую он застал, была настолько безобразна, грозила такими неприятностями, позором и скандалом, что ему трудно было сохранять обычное хладнокровие. Как можно дойти до такого неистовства? Да, Эйлин показала себя! А Рита? Страшно подумать, как Эйлин избивала ее. Может быть, она тяжело ранена, изувечена или даже убита? Какой ужас! Это вызовет бурю негодования! Будет скандальный процесс! Ревность Эйлин погубит всю его карьеру. Боже мой, все его будущее может рухнуть из-за этой сумасшедшей вспышки отчаяния и ярости!

Когда вернулся дворецкий, Каупервуд кивком головы подозвал его к себе.

— Как миссис Сольберг? — спросил он, втайне опасаясь самого худшего. — Что-нибудь серьезное?

— Нет, сэр, не думаю. По-моему, только в обмороке. И, надо полагать, сэр, скоро придет в себя. Не прикажете ли вам помочь, сэр?

Увидев подобную сцену со стороны, Каупервуд не удержался бы от смеха, но сейчас он остался холоден и строг.

— Нет, пока не надо, — отвечал он со вздохом облегчения, продолжая крепко держать Эйлин. — Идите и закройте дверь поплотнее. Пошлите за доктором и ждите его в вестибюле. Как только он придет, позовите меня.

Когда Эйлин поняла, что Рите собираются оказывать помощь, что о ней заботятся, делают что-то для нее, она попыталась приподняться, хотела закричать, но ее господин и повелитель держал ее крепко.

— Может быть, ты теперь успокоишься, Эйлин, — сказал он, когда затворилась дверь, — и мы будем разговаривать по-человечески, или мне держать тебя так до утра? Ты, видно, хочешь, чтоб я навсегда расстался с тобой, и притом немедленно. Я все прекрасно понимаю, но тебе со мной не справиться, так и знай. Или ты образумишься, или, даю тебе слово, я завтра же уйду от тебя. — Голос его звучал угрожающе. — Так что же? Будем разговаривать серьезно или ты и дальше собираешься валять дурака — позорить меня, позорить наш дом, выставлять нас на посмешище прислуге, соседям, всему городу? Хорошее представление устроила ты сегодня. Господи боже мой! Вот уж действительно показала себя во всей красе. Скандал, драка! И где — у нас в доме! Я думал, у тебя больше здравого смысла, больше уважения к себе. Ты знаешь, что ты мне очень навредила! Всей моей будущности в Чикаго! Ты тяжело поранила, а может быть, даже убила эту женщину. Тебя могут повесить. Слышишь ты меня?

— И пусть вешают. Я хочу умереть, — простонала Эйлин.

Он вытащил платок у нее из рта и отпустил ее руки, чтобы она могла встать. Все в ней еще кипело и клокотало от ярости, но, поднявшись на ноги, она увидела перед собой лицо Каупервуда, его пристальный, холодный, властный взгляд. Что-то жесткое, ледяное, беспощадное сквозило в его чертах; Эйлин не знала у него этого выражения, таким Каупервуда видели только его конкуренты, да и то в редких случаях.

— Довольно! — крикнул он. — Ни слова больше! Слышишь, ни слова!

Она смешалась, вздрогнула, покорилась. Бушевавший в душе ее гнев стих, как стихает море, когда унимается ветер. «Подлец! Мерзавец!» и сотни других не менее страшных и бесполезных слов рвались из груди Эйлин, но под ледяным взглядом Каупервуда замерли у нее на губах. Мгновенье она смотрела на него в нерешительности, потом бросилась на постель и разрыдалась; закрыв лицо руками и раскачиваясь взад и вперед от невыносимой душевной муки, она всхлипывала и бормотала:

— Боже мой! Боже мой! Сердце разрывается. Для чего жить? Хоть бы умереть скорей! Хоть бы умереть!

Видя, что с ней делается, Каупервуд вдруг понял, какую она должна испытывать сердечную и душевную боль, и пожалел ее.

Немного погодя он подошел к Эйлин и тихонько коснулся ее плеча.

— Эйлин! Не надо! Перестань плакать, — уговаривал он. — Я ведь еще не бросил тебя. Не все еще погибло. Не плачь. Все это, конечно, очень плохо, но, может быть, и поправимо. Ну, перестань, Эйлин. Возьми себя в руки.

Но Эйлин только покачивалась и стонала; безутешная в своем горе, она не желала ничего слушать.

А у Каупервуда, кроме Эйлин, были и другие заботы: надо было придумать какое-то объяснение для доктора и прислуги, узнать, что с Ритой, по возможности успокоить Сольберга. Выйдя в коридор, он подозвал к себе лакея.

— Стойте возле этой двери и никуда не отходите. Если миссис Каупервуд выйдет, немедленно позовите меня.

19. «НЕТ ФУРИИ В АДУ, СТОЛЬ ЗЛОЙ…»

Рита, разумеется, не умерла, но она была избита до синяков, исцарапана, полузадушена. На затылке у нее оказалась широкая ссадина. Эйлин колотила ее головой об пол, и это могло бы плохо кончиться, если бы Каупервуд не подоспел вовремя. У Сольберга сначала создалось впечатление, что Эйлин и вправду была невменяема, что она неожиданно потеряла рассудок и что ее дикие выкрики по адресу Риты и Каупервуда не более как плод больного воображения. На какое-то время он в это поверил. И все же слова Эйлин не шли у него из головы. К самому Сольбергу впору было звать врача — после пережитого потрясения он еле держался на ногах, губы у него были синие, лицо мертвенно-бледное.

Риту перенесли в соседнюю спальню и уложили в постель. Были пущены в ход примочки, холодная вода, компрессы из арники, и когда Каупервуд явился к ней, она уже пришла в сознание и чувствовала себя лучше. Все же она была еще очень слаба и жестоко страдала физически и нравственно. Доктору сказали, что гостья оступилась и упала с лестницы. Когда Каупервуд вошел к Рите, ей делали перевязку.

Как только доктор распрощался, Каупервуд сказал горничной, которая ухаживала за Ритой:

— Принесите кипяченой воды.

Едва она скрылась за дверью, он нагнулся и поцеловал Риту в обезображенные вспухшие губы, потом предостерегающе приложил палец к собственным губам.

— Ну, как, Рита? Тебе лучше теперь? — тихо спросил он.

Она ответила еле приметным кивком.

— Тогда слушай внимательно, — сказал Каупервуд, наклоняясь к ней и стараясь говорить раздельно и внятно. — Попытайся все понять и запомнить и делай так, как я тебе скажу. Никаких серьезных увечий у тебя нет. Ты скоро поправишься. Все это пройдет бесследно. Сегодня же тебя дома навестит другой доктор, я за ним уже послал. Гарольд поехал за платьем для тебя. Он скоро вернется. Как только ты почувствуешь себя немного лучше, тебя отвезут в моей карете домой. Не тревожься. Все будет хорошо, только ты должна все отрицать, слышишь! Решительно все! Стой на том, что миссис Каупервуд сошла с ума. А завтра я переговорю с твоим мужем. Я пришлю к тебе опытную сиделку. Только, пожалуйста, будь осторожна, думай о том, что и как будешь говорить. Главное — не волнуйся. И не бойся ничего. Ты и здесь и дома в полной безопасности. Миссис Каупервуд больше тебя не потревожит. Об этом я позабочусь. Мне так жаль тебя, Рита, я так тебя люблю. Знай, что я всегда с тобой. То, что случилось, не должно отразиться на наших отношениях. Больше ты ее никогда не увидишь.

Тем не менее Каупервуд знал, что прежнего не вернуть.

Убедившись, что состояние Риты не внушает опасений, Каупервуд пошел к Эйлин, чтобы еще раз поговорить с ней и по возможности успокоить. Он застал ее уже на ногах, она одевалась и, как видно, приняла какое-то новое решение. Пока она лежала на Кровати, обливаясь слезами, в ней произошел перелом. Если она не имеет больше никакой власти над Каупервудом, если она не может заставить его искренне раскаяться, то лучше ей уйти от него. Фрэнк ее разлюбил, это ясно, иначе он не стал бы так горячо защищать Риту и с ней никогда бы не обошелся так грубо. И все же она не хотела этому верить. Фрэнк был так внимателен к ней, так нежен когда-то! Эйлин еще не потеряла надежды одержать победу над Каупервудом и своими соперницами — она слишком любила его, чтобы сразу сдаться, — но считала теперь, что помочь ей может только разлука. Лишь страх навсегда ее потерять образумит Каупервуда. Она встанет, оденется и уедет в какой-нибудь отель. И больше он ее не увидит, если сам не придет к ней. Как бы там ни было, его связи с Ритой Сольберг она все-таки положила конец, хотя бы на время, со злорадством думала Эйлин, а с Антуанетой Новак можно будет разделаться потом. Сердце у нее ныло, голова раскалывалась, в груди теснились такая злоба и боль, что она уже не могла больше плакать. Когда Каупервуд вошел, Эйлин, стоя перед зеркалом, дрожащими пальцами застегивала пуговицы на костюме и поправляла прическу. Этого Каупервуд никак не ожидал и потому даже несколько опешил.

— Эйлин, — сказал он, подходя к ней, — почему бы нам спокойно и мирно не переговорить теперь обо всем. Ты сгоряча наделаешь глупостей и потом будешь жалеть. Зачем это нужно? Прости меня. Неужели ты действительно могла подумать, что я тебя разлюбил? Я люблю тебя, как и прежде, Эйлин. Все это не так страшно, как тебе представляется. Мне казалось, что я вправе ожидать от тебя большей чуткости и понимания после всего, что мы пережили вместе. И потом у тебя нет никаких оснований обвинять меня и устраивать такую сцену.

— Нет оснований? — воскликнула Эйлин, отрывая взгляд от зеркала, перед которым она только что, в печали и расстройстве, приглаживала свои рыжевато-золотистые волосы. Щеки ее пылали, глаза покраснели от слез. Она вдруг живо напомнила ему ту шестнадцатилетнюю девочку в красном капюшоне, которая стремительно взбежала на крыльцо отцовского дома и с первого взгляда так поразила его воображение много лет назад. Как она была хороша тогда! Это воспоминание вызвало в нем прилив нежности к Эйлин.

— И ты смеешь это утверждать, лгун ты этакий! — продолжала она с возмущением. — Напрасно ты воображаешь, что я ничего не знаю. Думаешь, зря за тобой целый месяц по пятам ходили сыщики? Подлец ты, и больше ничего! Ты просто стараешься выведать, что мне известно о тебе, а что нет. Достаточно известно, за глаза достаточно, не беспокойся! Больше ты меня не одурачишь своими ритами, антуанетами, холостыми квартирами и домами свиданий. Я тебя насквозь вижу, негодяй! И это после всех твоих клятв и уверений в любви! Тьфу, мерзость!

Она снова яростно принялась закалывать волосы шпильками, а Каупервуд, пораженный силой ее страсти, поневоле любовался ею. Вот это темперамент — она подстать ему!

— Эйлин, — мягко сказал он, не теряя надежды все же умилостивить ее, — не будь так сурова со мной. Неужели ты не можешь понять, что жизнь берет свое и устоять против нее трудно? Неужели в тебе нет ни капли сочувствия ко мне? Я считал тебя великодушнее, ожидал от тебя большей чуткости. Не такой уж я дурной человек.

Он смотрел на нее задумчивым, нежным взглядом, надеясь, как всегда, сыграть на ее любви к нему.

— Сочувствие! Сочувствие! — вскипела Эйлин, оборачиваясь к нему. — Не тебе об этом говорить! Разве я не сочувствовала тебе, когда ты сидел в тюрьме? Нет? И вот что я за это получила. Да, посочувствовала… Чтобы ты потом в Чикаго путался с разными шлюхами — всякими стенографистками и женами музыкантов! Ты мне тоже, верно, сочувствовал, когда обманывал меня с этой особой, что лежит в соседней комнате!

Эйлин провела руками по талии и бедрам, приглаживая жакет, поправила его на плечах, надела шляпку и набросила шаль. Она решила ничего с собой не брать и завтра прислать Фадету за вещами.

Но Каупервуд не отставал, добиваясь своего.

— Эйлин, — снова заговорил он, — пойми, что ты делаешь глупость, страшную глупость. У тебя нет для этого решительно никакого повода. Ты кричишь на весь дом, срамишь нас перед соседями, устраиваешь тут драку, а теперь еще собираешься со скандалом уйти. Это же чудовищно. Я не хочу, чтобы ты губила и себя и меня. Ведь ты меня еще любишь. Сама знаешь, что любишь. Многое ты наговорила в сердцах и сама этому не веришь. Не можешь верить. Ведь не думаешь же ты в самом деле, что я разлюбил тебя?

— Любил!.. Разлюбил! — снова вскипела Эйлин. — Что ты понимаешь в любви! Разве ты когда-нибудь любил, низкий ты человек? Я знаю, как ты любишь. Когда-то я, правда, думала, что дорога тебе. Вздор! Теперь я вижу, как ты меня любил! Не больше, чем всех других, не больше, чем эту кубышку, Риту Сольберг — гадину, лживую, подлую тварь! Или эту ничтожную стенографистку, Антуанету Новак! Любовь! Тебе и слово-то это непонятно!..

— Но тут спазма перехватила ей горло, она всхлипнула, и глаза ее от злости и обиды наполнились слезами. Каупервуд заметил это и, надеясь использовать ее минутную слабость, приблизился к ней. Он и в самом деле был опечален и хотел смягчить ее сердце.

— Эйлин, — умоляюще сказал он, — зачем ты все это говоришь с такой злобой? Не надо быть жестокой. Я не такой уж плохой. Будь же благоразумна. Успокойся. — Каупервуд протянул к ней руку, но Эйлин отпрянула от него.

— Не трогай! — крикнула она, дрожа от бешенства. — Не прикасайся ко мне! Не подходи! Все равно я уйду от тебя. Ни минуты больше не останусь в одном доме с тобой и твоей любовницей. Ступай к своей прекрасной Рите, живи с ней, если тебе угодно. У вас ведь есть даже квартира на Северной стороне. Мне теперь это безразлично. Ты уж, конечно, бегал к ней в соседнюю комнату, утешал эту мерзавку! Господи! Почему только я не убила ее! — и Эйлин вдруг рванула ворот жакета, который сна безуспешно пыталась застегнуть.

Каупервуд был поражен. Такой вспышки он от нее не ожидал, не считал ее на это способной. Он не мог не восхищаться ею. Однако ее оскорбительные нападки на Риту, ее упреки в непостоянстве и неразборчивости по его адресу задели Каупервуда за живое, и раздражение его вылилось в словах, о которых он тут же пожалел.

— На твоем месте, Эйлин, я не стал бы особенно осуждать моих любовниц. Собственный опыт должен бы… — Но тут Каупервуд запнулся, поняв, что допустил непростительный промах. Упоминание о прошлом Эйлин испортило все дело. Она вздрогнула, выпрямилась, в глазах ее отразилась душевная боль.

— Так вот как ты разговариваешь теперь со мной! — сказала она глухо. — Я знала, что так будет. С самого начала знала! — и, отвернувшись к высокому комоду, уставленному серебряными туалетными принадлежностями, флаконами, щетками, футлярами с драгоценностями, легла на него грудью, уронила, голову на руки и зарыдала. Эта капля переполнила чашу. Он ставит ей в упрек ее безрассудную девичью любовь к нему.

— О-о! — всхлипывала она, сотрясаясь от судорожных, безутешных рыданий.

Каупервуд подошел к ней. Он был искренне огорчен.

— Ты меня не так поняла, Эйлин, — пытался он объяснить. — Я совсем не то хотел сказать, совсем не в этом смысле. Ты сама меня на это вызвала, я ведь не думал упрекать тебя. Да, ты была моей любовницей, но разве я поэтому меньше любил тебя? Напротив! Ты сама знаешь. Верь мне, Эйлин. Я не лгу. А те истории… какое же может быть сравнение с тобой… это так все несущественно, уверяю тебя…

Эйлин с отвращением от него отстранилась, и Каупервуд, заметив это, смешался и замолчал. Глубоко сожалея о допущенной оплошности, он отошел на середину комнаты. А в Эйлин между тем улегшийся было гнев вспыхнул с новой силой. Как он смеет!

— Так вот как ты разговариваешь со мной! — воскликнула она. — После того, как я всем для тебя пожертвовала! После того, как я два года плакала и ждала тебя, когда ты сидел в тюрьме? Любовница! Вот награда за все!

Взгляд ее упал на шкатулку с драгоценностями, и, вспомнив о подарках, которые Каупервуд делал ей в Филадельфии, в Париже, в Риме, здесь, в Чикаго, она откинула крышку и, захватив пригоршню драгоценностей, швырнула их ему в лицо. Ожерелье и браслет из зеленого нефрита в тонкой золотой оправе с фермуарами из слоновой кости; матово блеснувшая в вечернем освещении нитка жемчуга, все зерна которой были одного цвета и одной величины; груды колец и брошей с бриллиантами, рубинами, опалами, аметистами; изумрудное ожерелье, бриллиантовая диадема — все украшения, которые он когда-то с любовью выбирал для нее у ювелиров и с радостью ей преподносил. Она кидала их с лихорадочным неистовством, и кольца, броши, браслеты попадали Каупервуду в голову, в лицо, в руки и рассыпались по полу.

— Получай свои подарки! На тебе! На! На! Ничего мне твоего не надо! Не хочу тебя знать больше! Ничего не хочу твоего! Слава богу, у меня есть свои деньги, как-нибудь проживу! Ненавижу… презираю… не хочу тебя больше видеть… О!.. — Она остановилась, не зная, чтобы еще сказать ему, но, так ничего и не придумав, стремительно выбежала из комнаты. Эйлин уже пробежала коридор и спустилась с лестницы, когда Каупервуд, опомнившись, бросился за ней.

— Эйлин! — крикнул он. — Эйлин, вернись! Не уходи, Эйлин!

Но она побежала еще быстрее. Парадная дверь открылась, с шумом захлопнулась, и Эйлин очутилась на темной улице; глаза ее застилали слезы, сердце готово было разорваться. Так вот каков конец ее юной любви, начало которой было так прекрасно. Он ее ни в грош не ставит — она всего-навсего одна из его любовниц. Бросить ей в лицо ее прошлое, чтобы защитить другую женщину! Сказать ей, что та ничем не хуже ее. Этого Эйлин была не в силах вынести. Она торопливо шла, давясь от рыданий, и клялась никогда больше не возвращаться, никогда больше не видеть Каупервуда. Но Каупервуд уже бежал за ней. Как ни мало считался он с понятиями морали и долга, он все же не мог допустить, чтобы так оборвались его отношения с Эйлин. Она любила его, говорил себе Каупервуд, и все дары своей преданности и страсти принесла на алтарь этой любви. Слишком уж это было бы несправедливо. Надо ее удержать. Каупервуд, наконец, догнал Эйлин и остановил ее под темным сводом сумрачных осенних деревьев.

— Эйлин, — нежно сказал он, обнимая ее за плечи, — Эйлин, дорогая, это же чистейшее безумие. Ты не в своем уме! Что ж это такое? Не уходи! Не оставляй меня! Я тебя люблю! Неужели ты этого не видишь, не хочешь понять? Не беги от меня и не плачь. Ведь я тебя люблю, ты это знаешь, и всегда буду любить. Вернись, Эйлин. Ну, поцелуй меня. Я исправлюсь. Честное слово, исправлюсь. Ты только испытай меня, и увидишь. А теперь вернемся, да? Вернемся, моя девочка, моя Эйлин. Я прошу тебя!

Она порывалась уйти, но он держал ее и гладил ее плечи, волосы, лицо.

— Эйлин! — молил он.

Она вырывалась, но он обнял ее и крепко прижал к груди. Тогда она сразу затихла и только изредка слабо всхлипывала, испытывая одновременно и горе и какую-то мучительную радость.

— Я не хочу! — твердила она. — Ты не любишь меня больше. Пусти!

Но Каупервуд не отпускал ее, уговаривал, и, наконец, уткнувшись головой ему в плечо, как это бывало прежде, она сказала:

— Только не сегодня. Не заставляй меня. Я не хочу. Не могу. Я переночую в городе, а завтра, может быть, приеду.

— Тогда пойдем вместе, — с нежностью сказал Каупервуд. — Это, вероятно, неразумно. Мне следовало бы позаботиться о том, чтобы предотвратить скандал. Но я пойду с тобой.

И они направились к станции конки.

20. «ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»

Как ни прискорбно, но надо признаться, что большинство любовных союзов не выдерживает натиска житейских бурь, и только истинная любовь — это полное органическое слияние двух существ — способна противостоять всему, но она-то обычно и заканчивается трагической развязкой. Рита Сольберг, так пылко, казалось бы, влюбленная в Каупервуда, все же была не настолько околдована им, чтобы ужасный удар, нанесенный ее самолюбию, не подействовал на нее отрезвляюще. Какое позорное разоблачение, какое смешное и жалкое крушение всех ее пустых расчетов и планов, какое неумение предвидеть последствия! Все это было совершенно непереносимо! Мысль о том, как легкомысленно и беспечно попалась она в ловушку, расставленную ей женой Фрэнка, о том, что она позволила этой женщине сделать из себя посмешище, приводила Риту в ярость. Эта Эйлин — просто грубое животное! Ведьма! То обстоятельство, что кулаки миссис Каупервуд оказались куда крепче ее собственных, не особенно огорчало Риту Сольберг, — скорее она увидела в этом доказательство своего морального превосходства. Но как бы там ни было, а лицо у нее в синяках и кровоподтеках, точно у пьяного бродяги, и от этого положительно можно было сойти с ума! В тот вечер в лечебнице на Лейк-Шор, куда ее поместили, у нее было только одно желание: уехать, уехать куда-нибудь подальше и забыть обо всем. Она не желала больше видеть Сольберга, не желала больше видеть Каупервуда. К тому же Гарольд Сольберг, исполненный ревнивых подозрений, решил во что бы то ни стало докопаться до истины и уже приставал к Рите, с вопросами: с чего это миссис Каупервуд вздумалось вдруг наброситься на нее с кулаками, какая могла быть тому причина? Впрочем, когда доложили о Каупервуде, он сразу сбавил тон; подозрения подозрениями, а ссориться с этим человеком ему отнюдь не хотелось.

— Я безмерно огорчен всем происшедшим, это так прискорбно, — стремительно входя в комнату, проговорил Каупервуд — самообладание и тут не покинуло его. — Я никак не предполагал, что моя жена подвержена таким странным припадкам. Хорошо еще, что я подоспел вовремя. Прошу вас обоих принять мои самые искренние сожаления. Надеюсь, миссис Сольберг, что вы не очень пострадали? Если я могу быть чем-нибудь полезен вам или вам, — с видом живейшей готовности он взглянул на Гарольда, — поверьте, я охотно сделаю все, что в моих силах. Мне кажется, что миссис Сольберг следовало бы сейчас поехать куда-нибудь отдохнуть. Я с радостью возьму на себя все расходы.

Сольберг молчал, угрюмо насупившись, размышляя; его душила злоба. Рита, которая с появлением Каупервуда несколько приободрилась, но отнюдь не обрела еще своего обычного душевного равновесия, с тревогой ждала, что будет дальше. Боясь, как бы между мужем и Каупервудом не разыгралась какая-нибудь безобразная сцена, она поспешила заявить, что чувствует себя уже значительно лучше и скоро совсем оправится. Она никуда не хочет уезжать, но сейчас предпочитает остаться одна.

— Все это очень странно, — угрюмо произнес Сольберг, нарушив, наконец, молчание. — Я не понимаю, я решительно ничего не понимаю. Почему ваша жена позволила себе такую выходку? Почему позволила она себе говорить такие слова? Мы были лучшими друзьями, и вдруг она набрасывается на мою жену и кричит бог весть что!

— Уверяю вас, дорогой мистер Сольберг, что моя жена просто была невменяема в ту минуту. У нее и раньше случались подобные припадки — правда, не в такой резкой форме. Сейчас она уже пришла в себя и абсолютно ничего не помнит. Но, может быть, мы перейдем в приемную, если у вас есть желание продолжить этот разговор? Вашей супруге нужен сейчас полный покой.

Притворив за собою дверь, Каупервуд продолжал с поразительным присутствием духа:

— Так вот, дорогой мой Сольберг, что, собственно, могу я вам еще сказать? Моя жена, без всяких к тому оснований, позволила себе оскорбить вашу жену и даже, стыдно признаться, — нанесла ей серьезные увечья. Повторяю: я глубоко об этом сожалею и заверяю вас, что миссис Каупервуд — жертва какого-то чудовищного заблуждения. Что ж тут можно поделать? Мне кажется, нам теперь ничего другого не остается, как предать все это забвению. Согласны вы со мной?

Ну и положение! Гарольд терял голову, не зная, на что решиться. Он и сам был не без греха. Рита не раз упрекала его в неверности. От злости он надулся, как индейский петух, и, наконец, его прорвало.

— Вам легко так говорить, мистер Каупервуд! — вызывающе начал он. — А каково мне? Каково мое положение? Я до сих пор не знаю, что мне об этом думать. Все это в высшей степени странно. А предположим, что ваша жена сказала правду? Предположим, что моя жена и в самом деле путалась с кем-то? Вот что я хочу выяснить прежде всего. А если это так? Если она действительно… тогда… тогда я… Я даже не знаю, что я тогда сделаю. Я человек отчаянный…

Каупервуд едва сдержал улыбку, хотя, в сущности, ему было не до смеха. Сольберг был ему не страшен, но он боялся огласки.

— Вот что, дорогой мой, — сказал он, бросая пронзительный взгляд на музыканта: он решил взять быка за рога. — Мне кажется, что вы сами находитесь в довольно щекотливом положении, и, если только вся эта история выйдет наружу, ваша личная жизнь станет предметом толков и обсуждений ничуть не менее, чем моя или миссис Каупервуд, а ведь, насколько мне известно, она далеко не безупречна. Вы не можете очернить вашу жену, не очернив вместе с тем и самого себя, — одно неизбежно повлечет за собой другое. Все мы не безгрешны. Я в таком случае, разумеется, вынужден буду доказать невменяемость миссис Каупервуд, — мне ничего не стоит это сделать. А вот если у вас в прошлом не все ладно, это мгновенно станет достоянием молвы, имейте в виду. Если вы согласитесь предать дело забвению, я не останусь в долгу перед вами и вашей супругой. Если же, наоборот, вы найдете нужным поднять шум и эта злосчастная история получит огласку, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свое имя.

— Как! — воскликнул Сольберг. — Вы же мне еще и угрожаете! Хотите меня запугать, когда ваша собственная жена говорит, что вы путаетесь с моей женой? И вы смеете рассуждать о моем прошлом! Вот это мне нравится! Ну, мы еще посмотрим! Что же такое вам обо мне известно?

— А вот что, мистер Сольберг, — спокойно отвечал Каупервуд. — Я знаю, например, что ваша жена уже давно не любит вас, что вы жили на ее средства, что у вас было шесть или семь любовниц за последние шесть или семь лет. Миссис Сольберг доверила мне, как банкиру, вести ее денежные дела, и я с помощью сыщиков уже давно получил сведения о ваших связях — об Энн Стелмак, Джесси Ласка, Берте Риз, Джорджи дю Койн… стоит ли продолжать? Кроме того, у меня имеются кое-какие ваши письма.

— Так вот оно что! — воскликнул Сольберг, избегая устремленного на него пристального взгляда Каупервуда. — Так вы, значит, все-таки путались с моей женой? Значит, это правда? И вы же теперь грозите мне, клевещете на меня! Хотите меня запугать? Вот это ловко! Ну, нет! Вы еще увидите, на что я способен. Погодите, я поговорю с моим адвокатом. Тогда мы посмотрим!

Каупервуд взирал на него с холодной злобой. «Какой осел!» — думал он.

— Извольте меня выслушать, — и, подтолкнув Сольберга к лестнице, Каупервуд заставил его спуститься в вестибюль и затем выйти на улицу, тускло освещенную мерцающим светом двух газовых фонарей, которые раскачивались на ветру перед зданием лечебницы. Тут разговор мог происходить без свидетелей. — Я вижу, что вы во что бы то ни стало хотите устроить скандал. Хоть я и заверил вас честным словом, что вся эта история

— сплошная нелепость, вас это не удовлетворило. Вам непременно хочется ее раздуть. Ну что ж, отлично. Допустим на минуту, что миссис Каупервуд отнюдь не теряла рассудка. Допустим, что все, сказанное ею, — правда, что я действительно был в связи с вашей женой. Что же дальше? Что вы можете предпринять?

И он с холодной насмешкой взглянул на Сольберга. Тот снова вскипел.

— Как! — мелодраматически воскликнул он. — Да я убью вас, вот что я сделаю. И ее убью. Я устрою страшный скандал. Если только я узнаю, что это правда, вы увидите, что будет!

— Так, так, — мрачно произнес Каупервуд. — Я это и предполагал. Что ж, я вам верю. Я даже припас кое-что, когда шел сюда, чтобы в любой момент быть к вашим услугам, — и он вынул из кармана два небольших револьвера, которые предусмотрительно захватил из дому. Стволы их блеснули в темноте.

— Вот, видите? Я избавлю вас от необходимости ломать себе голову, докапываясь до истины, мистер Сольберг. Все, что сказала сегодня миссис Каупервуд, — правда, от первого до последнего слова, и я прекрасно отдаю себе отчет в том, какие последствия будет иметь и для вас и для меня это признание. Миссис Каупервуд не более безумна, чем я или вы. Вот уже больше года я встречаюсь с вашей женой в одной квартирке на Северной стороне, но только вы никогда не сможете этого доказать. Ваша жена не любит вас, она любит меня. Теперь, если вы намерены меня убить, — вот револьвер, — он протянул револьвер Сольбергу. — Я к вашим услугам. Если уж мне суждено умереть, то я постараюсь и вас отправить на тот свет.

Каупервуд произнес эти слова таким решительным, таким ледяным тоном, что Сольберг, бахвал, но трус в душе, побелел от страха; как всякому здоровому животному, ему вовсе не хотелось умирать. Вид холодной блестящей стали вселил в него ужас. Рука, вложившая револьвер в его руку, была тверда и беспощадна. Сольберг боязливо, трясущимися пальцами сжал было оружие, но суровый металлический голос, звучавший в его ушах, отнял у него последнее мужество. Каупервуд с каждой минутой становился все грознее, Сольбергу он казался уже не человеком, а демоном. Не помня себя от страха, скрипач опустил руку, державшую револьвер.

— Боже милостивый! — пролепетал он, дрожа, как лист на ветру. — Я вижу, вы хотите меня убить! Оставьте меня! Я не желаю с вами разговаривать. Я хочу поговорить с моим адвокатом! С моей женой!

— Ну нет, этого вам сделать не удастся, — возразил Каупервуд; он заступил Сольбергу дорогу и, видя, что тот все-таки хочет улизнуть, схватил его за руку. — Я вам не позволю. Я не собираюсь убивать вас, если вы не собираетесь убивать меня. Но я хочу, чтобы вы вняли, наконец, голосу рассудка. Выслушайте то, что я хочу вам сказать, и покончим с этим. Я не питаю к вам вражды. Хочу даже оказать вам услугу, несмотря на то, что, в сущности, до вас мне никакого дела нет. Прежде всего, то, что говорила моя жена, — конечно, чушь, неправда. Я сейчас нарочно обманул вас, чтобы проверить, насколько серьезны ваши угрозы. Вы не любите больше вашу жену. Она не любит вас. Вы ей совершенно не нужны. Так вот, я хочу по-дружески предложить вам: покиньте Чикаго, не возвращайтесь сюда года три или больше, и я позабочусь о том, чтобы вы ежегодно первого января день в день получали на руки пять тысяч долларов! Вы слышите: пять тысяч долларов! Или вы можете остаться в Чикаго, но держать язык за зубами, — и тогда вы будете получать три тысячи — раз в год или помесячно, как вам будет угодно. Но если вы — и прошу вас хорошенько это запомнить, — если вы не уберетесь из этого города, или не будете держать язык за зубами, или позволите себе какой-либо выпад против меня, тогда я убью вас, раздавлю, как муху. А теперь ступайте отсюда прочь и ведите себя благоразумно. Оставьте вашу жену в покое. Дня через два наведайтесь ко мне. Деньги будут для вас приготовлены.

Каупервуд умолк, и Сольберг уставился на него остекленевшими глазами. Никогда в жизни он еще не испытывал ничего подобного. Это не человек, а дьявол! «Боже милостивый! — думал Сольберг. — Ведь он это сделает! Он и вправду убьет меня!» Потом поразительное предложение Каупервуда дошло до его сознания: пять тысяч долларов! Ну что ж, а почему бы и нет? Молчание Сольберга было уже равносильно согласию.

— На вашем месте я бы сегодня не заходил больше в лечебницу, — продолжал Каупервуд сурово. — Не тревожьте жену. Ей нужен покои. Поезжайте сейчас домой, а завтра зайдите ко мне. Если же вы непременно хотите видеть миссис Сольберг, то я пойду с вами. Я хочу сказать ей то, что уже сказал вам. Надеюсь, вы запомнили мои слова?

— Да, да, хорошо, — ответил Сольберг упавшим голосом. — Я поеду домой. Спокойной ночи. — И он поспешно зашагал прочь.

«Ну, что поделаешь?! — как бы оправдываясь, сказал самому себе Каупервуд. — Скверная, конечно, получилась история, но другого выхода не было».

21. АФЕРА С ТУННЕЛЯМИ

Разделавшись с Сольбергом таким простым и грубым способом, Каупервуд перенес свое внимание на его супругу. Но здесь ему пришлось труднее. Каупервуд прежде всего сообщил миссис Сольберг, что уже укротил Эйлин и Гарольда — назначил Гарольду ежегодное содержание, и тот не посмеет теперь поднимать шума, а Эйлин тоже присмирела и будет вести себя тихо. Каупервуд старался выразить миссис Сольберг самое горячее сочувствие, но она уже тяготилась своей связью с ним. Она любила его прежде — во всяком случае так ей казалось, — но после яростных воплей и угроз Эйлин он вдруг предстал перед нею в новом свете, и ей захотелось от него освободиться. Деньги Каупервуда — а он был щедр — не представляли для нее такого соблазна, как для многих других женщин. Правда, Рита благодаря Каупервуду жила в роскоши, но она легко могла без нее обойтись. Фрэнк Каупервуд покорил ее главным образом тем, что его, как ей казалось, окружала какая-то удивительная атмосфера спокойствия и уверенности. Это придавало ему налет романтики в ее глазах. Но вот пронесся шквал, и эта романтическая дымка развеялась. Каупервуд оказался таким же, как все, — обыкновенным человеком, не застрахованным от житейских бурь и кораблекрушений. Быть может, он был более искусным мореходом, чем многие другие, — но и только. И Рита, оправившись немного, уехала к себе на родину, потом — в Европу. Описывать подробности их разрыва было бы слишком утомительно. Гарольд Сольберг, после бесплодных колебаний и взрывов бессильной ярости, принял в конце концов

предложение Каупервуда и возвратился к себе на родину, в Данию. Эйлин, поупрямившись еще немного и закатив еще несколько сцен, в результате которых Каупервуд пообещал уволить с работы Антуанету Новак, вернулась домой.

Каупервуд отнюдь не был доволен такой развязкой. Все это никак не способствовало усилению его привязанности к Эйлин, однако, как ни странно, он в какой-то мере сочувствовал ей. В то время у него еще не возникало намерения покинуть ее, хотя иной раз и приходило на ум, что такая женщина, как Рита Сольберг, была бы ему более подходящей женой.

Но нет, так нет. И Каупервуд с удвоенной энергией принялся за дела. Однако воспоминание о днях, проведенных с Ритой, о тех минутах, когда он держал ее в объятиях и весь мир, казалось, окрашивался в какие-то радужные, поэтические тона, не покидало его. Эта женщина была так пленительна в своей наивной непосредственности… Но потерянного не воротишь.

В последовавшие за этим годы Каупервуд со все возрастающим интересом приглядывался к состоянию городского транспорта в Чикаго. Тосковать о Рите Сольберг было занятием пустым и бесполезным, — Каупервуд знал, что она не вернется к нему, и все же порой воспоминания о ней преследовали его. Но он умел уходить в дела с головой, и это помогало. Проблема городского транспорта всегда непреодолимо влекла его к себе, и сейчас она снова не давала ему покоя. Звонки городской конки и цоканье копыт по мостовой, можно сказать, с детства волновали его воображение. Разъезжая по городу, он жадным взором окидывал убегающие вдаль блестящие рельсы, по которым, позванивая, катились вагоны конки. Чикаго рос не по дням, а по часам. Крошечные вагончики, влекомые упряжкой лошадей, были переполнены до отказа и ранним утром и поздним вечером, а днем иной раз в них просто яблоку негде было упасть. О, если б можно было, подобно осьминогу, охватить весь город своими щупальцами! Если б можно было объединить все городские железные дороги и взять их под свой контроль! Какое богатство они сулили! А ведь только огромное, неслыханное богатство — и ничто другое — могло вознаградить Фрэнка Каупервуда за все, что он претерпел! Он с упоением рисовал себе картину своего обогащения, мечтал о линиях конки, как поэт мечтает о живописных ручейках, журчащих среди скал… «Завладеть городским транспортом! Завладеть городским транспортом!» — звенело в его мозгу.

Чикагская конка совершенно так же, как газоснабжение, находилась в руках трех различных компаний, каждая из которых обслуживала свою «сторону» или свой район. Основанная в 1859 году Чикагская городская железнодорожная компания обслуживала Южную сторону вплоть до 39-й улицы и была подлинным кладезем обогащения для своих владельцев. Эта компания проложила уже свыше семидесяти миль рельсовых путей и ежегодно тянула свои линии все дальше и дальше по Индиана авеню, Убеш авеню, Стэйт-стрит, Арчар авеню… Ей принадлежало свыше ста пятидесяти старомодных вагончиков, не отапливающихся зимой и устланных для тепла соломой, и свыше тысячи лошадей. Конку обслуживало сто семьдесят кондукторов, сто шестьдесят возниц, сто конюхов и весьма солидное число кузнецов, шорников и ремонтных рабочих. Зимой по улицам двигались принадлежавшие компании снегоочистители, летом — машины для поливки. Прикинув в уме стоимость подвижного состава, акций, облигаций и прочего имущества компании, Каупервуд пришел к заключению, что ее капитал, должно быть, уже перевалил за два миллиона. Скверно было то, что контрольный пакет акций компании находился в руках у двух лиц — Шрайхарта и Энсона Мэррила. Первый был теперь заклятым врагом Каупервуда и старался воспрепятствовать любому его начинанию, да и второй тоже был настроен весьма неприязненно. Каупервуд еще и сам не знал, как подобраться к этому доходному делу. Курс акций компании доходил до двухсот пятидесяти долларов.

Северо-чикагская железнодорожная компания была основана в том же году, что и компания Южной стороны, но только другой группой лиц. Здесь дело велось совсем уж по старинке, не очень знающими и не очень предприимчивыми людьми; оборудование тоже было старое и изношенное. Железнодорожная компания Западной стороны первоначально входила в Чикагскую городскую железнодорожную, иначе говоря Южную компанию, но теперь являлась уже самостоятельным предприятием. Линии, принадлежащие этой компании, были пока что наименее доходными, но Западная сторона Чикаго росла и развивалась не менее бурно, чем все остальные. Веселый звон колокольчиков, возвещавший о приближении лошадей, тащивших вагоны, слышен был во всех концах города.

Наблюдая все это со стороны и переносясь мыслями в будущее, Каупервуд лучше, быть может, чем сами акционеры, видел открывавшиеся перед ними гигантские возможности — особенно если Чикаго и впредь будет так же бурно расти. Все, что могло содействовать или препятствовать развитию городских железных дорог, было предметом его постоянных и упорных размышлений.

Довольно скоро он пришел к выводу, что движению конки на Северной и Западной сторонах города больше всего мешают постоянные скопления всех видов транспорта у въездов на мосты через реку Чикаго. По этой речонке, грязной, зловонной и удивительно живописной, делившей город на две части, двигались нескончаемые и величественные караваны всевозможных судов и суденышек; мосты то и дело послушно расступались перед ними, преграждая путь скопившимся на обоих берегах фургонам и экипажам, и тогда казалось, что единоборству водного и сухопутного транспорта так и не будет конца. Картина эта, исполненная своеобразной, патриархальной, чисто диккенсовской прелести, была достойна кисти Домье, Тэрнера или Уистлера. Ленивые разводчики мостов должны были решать по собственному разумению, когда следует застопорить движение экипажей и когда — судов, — и сколько времени заставить их ждать; у мостов, наряду с деловым, озабоченным людом, всегда

толкались зеваки, глазевшие на высокий лес мачт, на скопление людей и экипажей на берегу и пеструю вереницу буксиров и барж, скользящих по реке. Каупервуд, сидя в своем легком кабриолете и досадуя на задержку или что есть сил погоняя лошадь, чтобы проскочить на ту сторону, пока мост не развели, не раз думал о том, какой огромной помехой являются эти мосты для развития городского транспорта в северной и западной частях города. На Южной стороне, не пересеченной рекой, транспорт развивался беспрепятственно и быстро.

Не удивительно поэтому, что Каупервуд очень заинтересовался открытием, которое он сделал однажды во время своих блужданий по городу: оказалось, что в двух местах под рекой проложены туннели. Один служил как бы продолжением Ла-Саль-стрит и пересекал реку с юга на север, другой начинался у Вашингтон-стрит и шел с востока на запад. Это были сырые, мрачные, заваленные мусором обиталища крыс; по стенам, тускло освещенным керосиновыми фонарями, сочилась вода; и, по слухам, ни один из этих туннелей будто бы никогда не был в эксплуатации. Каупервуд навел справки. Оказалось, что они были построены несколько лет назад, ибо и тогда уже ощущалась потребность разгрузить те самые мосты, возле которых сейчас происходило такое столпотворение. В то время всем, и особенно акционерам нового предприятия, казалось, что каждый предпочтет лучше заплатить несколько центов за пользование туннелем, чем тратить даром драгоценные минуты, и потому, во избежание задержек, решено было проложить там конку. Однако, как это часто бывает с различными многообещающими коммерческими проектами, которые выглядят столь заманчиво в мечтах или на бумаге, на деле все обернулось совсем иначе. Туннели могли бы, вероятно, приносить доход, если бы их правильно построили, но спуск и подъем в них были слишком круты, проезд недостаточно широк, а вентиляция и освещение и вовсе никуда не годились. Словом, туннели оказались очень мало приспособленными для пользования. Отец Нормана Шрайхарта был одним из акционеров этого предприятия, так же как и Энсон Мэррил. Когда дело оказалось неприбыльным, туннели — после всевозможных довольно бессмысленных махинаций, стоивших ровно миллион долларов, — были проданы городу, каждый за эту сумму. Видимо, кое-кто в простоте душевной полагал, что быстро растущему городу легче расстаться с такой крупной суммой, нежели тому или иному из его почтенных, скромных, но честолюбивых граждан. На этой сделке недурно поживились в те годы некоторые члены муниципального совета. Впрочем, сейчас это к делу не относится.

Обнаружив туннели, Каупервуд решил их осмотреть. Въезд туда был заколочен досками, но для пешеходов оставался небольшой проход. Побывав там несколько раз, Каупервуд пришел к выводу, что туннели, пожалуй, могут быть использованы. Город растет, растет уличное движение, и конки из года в год приносят все больше и больше дохода, думал он. Если бы, без особых затрат, эти туннели можно было перестроить и несколько уменьшить уклон, — главное препятствие для развития городского транспорта на Северной и Западной сторонах было бы устранено. Но как это сделать? Туннели ему не принадлежали. Не принадлежала ему и городская конка. Аренда и перестройка туннелей потребовали бы огромных расходов. Кроме того, на каждом уклоне, как бы ни был он незначителен, понадобятся дополнительные упряжки лошадей, дополнительные возчики и подсобные рабочие, а следовательно, еще новые затраты. Словом, Каупервуд не был уверен, что при отсутствии другой тягловой силы, кроме лошадей, задуманное им предприятие оправдает себя, даже если будут перестроены уклоны.

Однако осенью 1880 года, когда Каупервуд еще был поглощен мелкими любовными интрижками, завершившимися в конце концов романом с Ритой Сольберг, ему стало известно об одном нововведении в области городского транспорта, которое наряду с дуговым фонарем, телефоном и прочими изобретениями должно было коренным образом изменить весь уклад городской жизни.

В Сан-Франциско, где, переполненные пассажирами вагоны городской конки с великим трудом продвигались по холмистой местности, был применен новый вид тяги, а именно — *канатный*. Стальной трос, заключенный в трубопровод и движущийся по колесам с желобками, приводился в движение огромными двигателями, установленными в расположенной неподалеку силовой станции. Вагоны были снабжены легко управляемым приспособлением — «захватным рычагом», который, проходя наподобие стальной лапы сквозь прорезь в трубопроводе, «захватывал» движущийся трос. Это изобретение разрешало задачу подъема и спуска тяжело нагруженных вагонов по крутым уклонам улиц. А вскоре Каупервуд случайно прослышал о том, что Чикагская городская железнодорожная, основными пайщиками которой были Шрайхарт и Мэррил, собирается ввести у себя этот новый вид тяги — проложить канатную дорогу по Стэйт-стрит. Вагоны окраинных и малодоходных линий предполагалось использовать на этом прогоне в качестве прицепов, а далее они должны были снова переходить на конную тягу и двигаться своим маршрутом. И тут же Каупервуда озарила мысль: вот оно, разрешение транспортной проблемы Северной и Западной сторон — канатная дорога!

Но не только давка у мостов и заброшенные туннели привлекали к себе внимание Каупервуда. В Северо-чикагской железнодорожной компании дела шли все более и более вяло. Косность и близорукость членов правления этой компании мешали им заглядывать далеко вперед, и потому, сталкиваясь с различными трудностями, они не умели их разрешать. Финансовое состояние предприятия было далеко не блестящим; одним ловким ударом можно было бы завладеть этими дорогами. С самого начала, когда предприятие только создавалось, никто не ждал от него больших барышей, так как принадлежащие этой компании конки обслуживали район малонаселенный и расположенный довольно близко к торговым и коммерческим кварталам города, но не самые эти кварталы. Позднее, когда население района увеличилось и дороги стали приносить больше дохода, возникли бесконечные задержки у мостов. Правление компании, не слишком уповая на успех своего предприятия, уложило дешевые, никудышные рельсы и пустило по ним плохонькие, на скорую руку построенные вагоны, в которых летом можно было задохнуться от жары, а зимой зуб на зуб не попадал от холода. И хоть бы одна линия была доведена до деловых кварталов города! Все они обрывались у реки, преграждавшей им путь с юга. На Южной стороне мистер

Шрайхарт проявил бОльшую заботу о своих пассажирах. Он подвел свою линию прямо к магазину Мэррила. На Северной стороне, как и на Западной, довольствовались тем, что зимой пол в вагонах устилали соломой, чтобы у пассажиров не слишком стыли ноги, а летом на линию пускали некоторое, довольно ничтожное, количество открытых вагонов. Правление решительно восставало против всяких дополнительных затрат. Так оно и шло; время от времени добавлялась новая линия — если правление было уверено, что она начнет давать доход с первого же дня. При этом опять укладывались дешевые, непрочные рельсы и пускались допотопные вагончики, которые так тряслись и громыхали, что у пассажиров ум за разум заходил. В последнее время жалобы и судебные иски сыпались на компанию со всех сторон, неимоверно досаждая правлению, которое решительно не знало, что предпринять. Конечно, в правлении было и несколько толковых, здравомыслящих людей; к их числу принадлежали: Тэренс Малгэнон — главный директор, Эдвин Кафрат — директор, Уильям Джонсон — главный инженер; однако другие дельцы, как, например, Ониас С.Скиннер, председатель правления, или Уолтер Паркер, заместитель председателя, были консервативные, прижимистые тугодумы, которые как огня боялись всяких новшеств. Как ни грустно в этом убеждаться, но с возрастом люди почти неизбежно теряют вкус к нововведениям, и тогда излюбленным девизом их становится: «И так сойдет».

Учтя все эти обстоятельства и тщательно разработав план действий, Каупервуд под каким-то благовидным предлогом пригласил однажды Джона Дж.Мак-Кенти к себе на обед. Когда тот прибыл в сопровождении своей супруги и Эйлин, сияя улыбками, стала занимать миссис Мак-Кенти беседой, Каупервуд, как бы между прочим, спросил:

— Скажите, Мак-Кенти, вам известно что-нибудь относительно этих туннелей под рекой у Ла-Саль-стрит и Вашингтон-стрит? Они, кажется, принадлежат городу?

— Мне известно, что город приобрел их, не имея в том никакой надобности, и что туннели эти решительно ни к чему не пригодны. Впрочем, — осторожно добавил Мак-Кенти, — я тогда еще не имел к этим делам никакого касательства. Насколько мне помнится, город отвалил за каждый из них по миллиону долларов. А почему вы спрашиваете?

— Так просто, — уклончиво отвечал Каупервуд. — Неужели они и вправду никуда не годятся? В газетах то и дело указывают на их полную непригодность.

— Да, они, кажется, в прескверном состоянии, — заметил Мак-Кенти. — Я, откровенно говоря, не заглядывал туда уже много лет. Эти туннели были проложены для уличного транспорта, чтобы разгрузить мосты. Да ничего из этого не вышло. Спуск и подъем там слишком круты, а плату за проезд назначили слишком высокую, ну, все и предпочитали дожидаться своей очереди у мостов. Лошади выходили оттуда взмыленные. В этом я сам убедился. Мне не раз приходилось проезжать там с тяжелой кладью. Городу, конечно, незачем было покупать эти туннели. Здесь что-то нечисто, я только не знаю толком, чьих это рук дело. Мэром тогда был Кармоди, а Олдрич руководил общественными работами.

Мак-Кенти умолк, и Каупервуд не возобновлял разговора о туннелях до конца обеда. Но затем, пройдя с гостем в библиотеку, он дружески взял его за локоть — интимно-фамильярный жест, который пришелся по вкусу этому дельцу и политику.

— Мне кажется, Мак-Кенти, — сказал Каупервуд, — что вы остались довольны нашей операцией с газовыми компаниями в прошлом году? Верно?

— Верно. Очень доволен, — подтвердил Мак-Кенти с жаром. — Я вам это тогда же сказал. — Ирландец чувствовал симпатию к Каупервуду и был благодарен ему за то, что тот в короткий срок увеличил его состояние на несколько сотен тысяч долларов.

— Вот что, друг мой, — внезапно сказал Каупервуд, казалось бы, без всякой связи с предыдущим. — Вам никогда не приходило в голову, что в городском железнодорожном транспорте у нас назревают крупные перемены? Это уже по всему видно. На Южной стороне через год-два будет введена механическая тяга. Вы, наверно, слышали об этом?

— Да, что-то такое промелькнуло в газетах, — отвечал Мак-Кенти, удивленный и заинтересованный. Он закурил сигару и приготовился слушать. Каупервуд, который-никогда не курил, придвинул свое кресло поближе.

— Я вам объясню, что это значит, — сказал он. — Все наши городские железные дороги, не говоря уже о тех новых линиях, которые будут проложены впоследствии, перейдут в конце концов на новую тягу. Я имею в виду канатную. Старым компаниям, которые ведут дело через пень-колоду, продолжая пользоваться устарелым оборудованием, придется перестраиваться на новый лад. Они вынуждены будут сменить свое оборудование на новое, отвечающее современным требованиям, а для этого понадобятся миллионы и миллионы. Если вы интересовались этим вопросом, то знаете, вероятно, в каком состоянии находятся конки Северной и Западной сторон.

— Знаю, в отвратительном состоянии, — проронил Мак-Кенти.

— Вот именно, — выразительно подчеркнул Каупервуд. — И должен вам сказать, что при таких устарелых методах им придется туго, когда они начнут перестраиваться, очень туго, поверьте мне, я недаром интересовался этим вопросом. Два-три миллиона долларов — деньги немалые, а раздобыть такую сумму им будет нелегко… значительно труднее, пожалуй, чем кое-кому из нас, если предположить, конечно, что нам придет охота заняться этим делом.

— Да, разумеется, если предположить… — разговор явно заинтересовал Мак-Кенти. — Но каким образом думаете вы включиться в это дело? Владельцы городских железных дорог, насколько мне известно, не собираются расставаться со своими акциями.

— Не важно, — сказал Каупервуд. — Мы можем это сделать, если захотим, я потом объясню вам — как. А пока я попрошу вас об одной услуге. Как вы думаете, можно было бы каким-нибудь образом передать в мое распоряжение один из этих туннелей, о которых мы с вами сегодня толковали? А еще лучше оба. Как вы полагаете, можно это устроить?

— Да, вероятно, можно, — отвечал Мак-Кенти недоумевая. — Но при чем здесь туннели? Они же ни на что не годны. Как-то недавно шла даже речь о том, чтобы их взорвать. Полиция утверждает, что они сделались пристанищем бродяг.

— Тем не менее смотрите, чтобы кто-нибудь не завладел этими туннелями. Не вздумайте сдавать их в аренду, — настойчиво и решительно произнес Каупервуд. — Я сейчас изложу вам свой план. Нужно прибрать к рукам, и как можно быстрее, все городские железные дороги на Северной и Западной сторонах, — путем ли продления старых концессий, или получения новых — безразлично. Тогда вы увидите при чем здесь туннели.

Каупервуд умолк и вопросительно поглядел на Мак-Кенти — разгадал ли тот, куда он гнет, но на сей раз проницательность Мак-Кенти изменила ему.

— Да-а… у вас очень скромные аппетиты, ничего не скажешь, — воскликнул он весело. — Однако я все жене понимаю, при чем здесь туннели. Это не значит, конечно, что я не постараюсь заполучить их для вас, если они вам так необходимы.

— Вот что, Мак-Кенти, — задумчиво произнес Каупервуд. — Вы будете постоянным партнером во всех моих предприятиях, если поможете мне. Все наши конки в том виде, в каком они сейчас существуют, через восемь, самое позднее через девять лет можно будет сдать на слом. Вы видите, что предпринимает уже сейчас Южная компания? Когда же дело дойдет до Западной и Северной, им это, пожалуй, будет не под силу. Они не получают таких прибылей, как Южная, да вдобавок еще на их пути стоят эти мосты, которые представляют собой огромное затруднение для канатной дороги. Для перехода на новую тягу прежде всего придется перестроить мосты, так как старые не выдержат дополнительной нагрузки, и тогда сразу возникнет вопрос — а на чьи средства? На средства города?

— Может быть, смотря по тому, кто будет об этом просить, — любезно улыбаясь, отвечал Мак-Кенти.

— Пусть так, — согласился Каупервуд. — Кроме того, речной транспорт с каждым днем становится все большей и большей помехой для уличного движения. Приходится ждать по десять, а то и по пятнадцать минут, пока не пройдут все эти пароходы и баржи. Сейчас в Чикаго пятьсот тысяч жителей. А сколько будет в тысяча восемьсот девяностом году? В тысяча девятисотом? А что вы скажете, когда население города возрастет до восьмисот тысяч или даже до миллиона?

— Вы безусловно правы, — отозвался Мак-Кенти. — С транспортом нам придется туго.

— Бесспорно. Учтите, кроме того, что канатная дорога, кроме основной линии, будет обслуживать еще и ветки, и у мостов будут скапливаться не отдельные вагоны, а целые поезда с прицепами, переполненные людьми. Едва ли это желательно — заставлять канатный поезд ждать от десяти до пятнадцати минут, пока по реке пройдут суда. Пожалуй, пассажиры не захотят с этим долго мириться, а? Как вы думаете?

— Да уж без скандалов не обойдется, — проронил Мак-Кенти.

— Так. И что же из этого следует? — спросил Каупервуд. — Может быть, вы рассчитываете на то, что уличное движение внезапно уменьшится? Или река высохнет?

Мак-Кенти молча смотрел на Каупервуда. Потом лицо его оживилось.

— Так, так, понимаю, — сказал он прищурившись. — Вот зачем понадобились вам туннели. Но ведь они в ужасном состоянии, можно ли их использовать?

— Реконструкция их все же будет стоить дешевле, чем прокладка новых.

— Вероятно, вы правы, — ответил Мак-Кенти. — А если их перестроить, это будет как раз то, что требуется. — В голосе его зазвучало торжество, почти ликование. — Но вы ведь знаете — туннели принадлежат городу. И каждый из них обошелся ему в миллион долларов.

— Да, я знаю, — сказал Каупервуд. — Теперь вы понимаете, к чему я веду разговор?

— Как не понять! — усмехнулся Мак-Кенти. — Превосходная мысль, мистер Каупервуд, превосходная! Восхищен и преклоняюсь. Итак, говорите, чем я могу быть вам полезен.

— Прежде всего, — сказал Каупервуд, улыбнувшись похвалам Мак-Кенти, — будем считать решенным, что город ни под каким видом и ни при каких условиях не отдаст никому этих туннелей, пока мы не уладим дело с конками.

— Это решено.

— Затем мы с вами условимся, что в дальнейшем вы не будете особенно помогать Северной и Западной компаниям, если они захотят получить разрешение муниципалитета на прокладку новых линий. Я сам хочу взять концессию на продление линий и прокладку веток.

— Представляйте ваши проекты, — сказал Мак-Кенти, — и все будет сделано. Я уже работал с вами и знаю, что вы умеете держать слово.

— Благодарю вас, — произнес Каупервуд с чувством. — Я знаю, как важно держать свое слово. Итак, я займусь конками и посмотрю, что тут можно предпринять. Мне еще неясно, сколько людей надо будет привлечь к этому делу и какая форма организации окажется наиболее удобной. Но во всяком случае ваши интересы будут учтены, и я ничего не предприму без вашего ведома и согласия.

— Превосходно. — Мак-Кенти уже мысленно обозревал открывавшееся перед ним новое поле деятельности. Сделка с Каупервудом сулила большие барыши им обоим. А опыт предыдущего сотрудничества убеждал Мак-Кенти в том, что его выгода будет соблюдена.

— Не присоединиться ли нам теперь к дамам? — беспечным тоном спросил Каупервуд, беря Мак-Кенти под руку.

— Да, да, конечно, — весело согласился тот. — У вас прекрасный дом, Каупервуд, великолепный. И простите за откровенность, — такой красивой женщины, как ваша жена, я еще отродясь не видывал.

— Да, мне самому она кажется довольно привлекательной, — отвечал Каупервуд с самым простодушным видом.

22. ГОРОДСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Среди членов правления Северо-чикагской железнодорожной компании был некто по имени Эдвин Л.Кафрат — человек молодой, но на редкость дальновидный. Отец Эдвина, крупный акционер этого предприятия, оставил своему единственному сыну в наследство объемистый пакет акций, а тем самым и место в правлении компании. Молодой Кафрат, не имея большого опыта в области городского железнодорожного транспорта, считал, однако, что мог бы широко развернуть дело, если бы ему не мешали. Из пяти тысяч акций, выпущенных компанией, ему принадлежало около восьмисот. Но остальные акции распределялись между акционерами таким образом, что Кафрат не имел в правлении большого веса. Невзирая на это, с первого же дня своей деятельности на новом поприще и еще задолго до того, как Каупервуд начал проявлять интерес к этим предприятиям, молодой Кафрат весьма энергично ратовал за всевозможные усовершенствования. Его требования новых концессий, удлинения существующих линий, хороших лошадей, устройства отапливаемых вагонов воспринимались старшими коллегами лишь как проявление юношеского задора и легкомыслия и неизменно получали единодушный отпор.

— Да чем же плохи наши вагоны? — негодовал Альберт Торсен, один из старейших директоров, в ответ на обычные протесты Кафрата. — Не понимаю, что они вам дались. Я сам в них езжу.

Торсен, тучный, неряшливого вида старик лет шестидесяти пяти, туповатый и бестолковый, но добродушный, был владельцем красильной фабрики. И лето и зиму он ходил в одном и том же легком шерстяном костюме серого цвета, сильно помятом, особенно на спине и на рукавах, и обсыпанном табаком.

— Может быть, потому они и пришли в такое состояние, Альберт? — игриво предположил Солон Кэмпферт, один из его закадычных друзей и ныне член правления.

Шутка вызвала одобрительный смех.

— Ну, уж не знаю. Я довольно часто вижу там и всех вас, джентльмены.

— Ладно, если вы сами не понимаете, я вам объясню, что в них плохого, — сказал Кафрат. — Грязь — во-первых, холод — во-вторых, окна дребезжат так, что не только разговаривать — думать невозможно. Рельсы давно пора менять, а зимой от этой зловонной соломы, которую там стелют на пол, просто с души воротит. Пути содержатся из рук вон плохо. Немудрено, что пассажиры жалуются. Я бы на их месте тоже жаловался.

— А по-моему, дело обстоит совсем не так скверно, как вы это изображаете, — заявил Ониас С.Скиннер, председатель правления, шестидесятивосьмилетний старец с широким, плоским, как у китайского божка, лицом, обрамленным курчавыми седыми бакенбардами. — Может быть, это и не самые лучшие вагоны на свете, но это хорошие вагоны. Некоторые из них, конечно, давно бы следовало почистить и подкрасить, но в общем они еще могут послужить, и не один год. Конечно, было бы недурно обновить наш подвижной состав, но ведь это потребует значительных затрат. А новые линии, которые мы все прокладываем да прокладываем, и длинные перегоны за пять центов съедают все наши прибыли.

Ни один из упомянутых перегонов не превышал трех миль, но мистеру Скиннеру все они казались непомерно длинными.

— Хорошо, а вы поглядите на Южную компанию, — не унимался Кафрат. — Я не понимаю, о чем, собственно, вы думаете! В Филадельфии уже провели канатную дорогу. В Сан-Франциско — тоже. Говорят даже, что уже изобретен вагон, который приводится в движение электричеством, а мы все еще продолжаем гонять взад и вперед эту рухлядь, эти собачьи конуры, устланные соломой. Пора бы, черт возьми, взяться за ум!

— Ну, не знаю, — процедил мистер Скиннер. — Мне казалось, что дела Северной компании идут не так уж плохо. Разве мы мало сделали для развития дорог?

Члены правления — Солон Кэмпферт, Альберт Торсен, Исаак Уайт, Энтони Иуэр, Арнольд С.Бенджамин и Отто Мэтджес — все весьма солидные, почтенные джентльмены — сидели молча, с неодобрением поглядывая на Кафрата. Но последнего не так-то легко было угомонить. При всяком удобном случае он снова принимался за свое. В газетах тоже время от времени появлялись вполне обоснованные нарекания на Северную компанию, и это в какой-то мере даже радовало Кафрата. Может быть, газеты подольют масла в огонь и заставят директоров взяться за ум.

Тем временем в результате сговора между Каупервудом и Мак-Кенти Северная компания уже лишилась возможности получать новые концессии, удлинять линии и пользоваться туннелем в конце Ла-Саль-стрит, но Кафрат этого еще не знал. Не знали об этом и другие члены правления; однако это было так. Мало того, Джон Дж.Мак-Кенти, стремясь окончательно опорочить руководство Северной компании, внушал членам муниципального совета, которые ходили у него на поводу, что им надлежит при каждом удобном случае возмущаться состоянием конки в Северной части города. На очередном заседании муниципалитета кто-то предложил потребовать от Северной компании, чтобы она выкинула на свалку все свои старые вагоны и заменила старые, изношенные рельсы новыми, что наделало немало шуму. Как ни странно, конки на Южной и Западной сторонах, мало чем отличавшиеся от той, что существовала на Северной, отнюдь не вызывали таких нареканий. Рядовые горожане, не посвященные в эти хитроумные махинации, к которым так часто прибегают в своих корыстных целях отдельные лица, были чрезвычайно обрадованы столь горячим вниманием к их интересам. Будучи всего лишь пешками в этой игре, они не подозревали, какова истинная подоплека всех этих забот об их благе.

Эддисон между тем подыскивал среди акционеров Северной компании людей, которые могли бы быть полезны Каупервуду, и в конце концов остановил свой выбор на Кафрате, сочтя, что этот молодой человек лучше других может служить его тайным планам. И вот однажды, как бы невзначай, он столкнулся с ним лицом к лицу в клубе «Юнион-Лиг».

— Похоже, что вашей компании, да и Западной тоже, предстоят весьма крупные затраты, — небрежно проронил Эддисон, после того как они с Кафратом обменялись несколькими фразами.

— Почему вы так думаете? — с любопытством спросил Кафрат, интересовавшийся всякими нововведениями в их деле.

— Если я не ошибаюсь, всем вашим акционерам придется теперь здорово раскошелиться. Я слышал, что вы будете вынуждены в самом скором времени полностью переоборудовать линии — ввести новую канатную тягу, как на Южной стороне. — Эддисон хотел создать у Кафрата впечатление, что по требованию муниципалитета, или под давлением общественного мнения,

или еще по каким-то причинам Северная компания вынуждена будет провести ряд крупных и разорительных усовершенствований.

Кафрат навострил уши. Что это муниципалитет задумал? Надо бы разузнать как следует!

Они еще потолковали немного — обсудили особенности канатной системы, стоимость силовых станций, необходимость укладки новых рельсов и укрепления мостов или изыскания других средств переправы через реку. Эддисон особенно упирал на то, что Южная компания находится в значительно более благоприятном положении, так как ее линиям не преграждает путь река. Потом он снова выразил соболезнование акционерам Северной компании — что ни говори, а в трудное положение они попали.

— Да, у вашей компании будет теперь много хлопот, — еще раз повторил он на прощанье.

Кафрат был в должной мере взволнован и напуган. Если компании предстоят крупные затраты на перестройку туннелей и другие усовершенствования, то его акции могут сильно упасть в цене. Однако он утешал себя тем, что в результате всех этих мероприятий конка будет в конце концов приносить хороший доход. А пока что предстояло трудное время. «Да, придется нашим старичкам пораскинуть мозгами, — думал Кафрат. — Когда Южная компания переоборудует свои дороги, мы должны будем последовать ее примеру. А вдруг эти старые тюфяки не захотят? Как растолковать им, что ради будущих прибылей стоит даже заложить на несколько лет все имущество компании — впоследствии это окупится с лихвой». Кафрата бесила их трусость, и их бесталанное, косное ведение дела.

А еще две-три недели спустя у Эддисона, действовавшего по-прежнему в интересах Каупервуда, снова состоялась беседа с Кафратом. Взяв с него слово хранить пока все в тайне, он сообщил Кафрату, что вскоре после их встречи произошли кое-какие небезынтересные события. Мистера Эддисона, по его словам, посетили некоторые приезжие, владеющие линиями железных дорог в других местах. Они побывали уже в разных городах, подыскивая подходящий объект для помещения своих капиталов, и в конце концов выбор их пал на Чикаго. Ознакомившись здесь с различными предприятиями, они решили, что Северо-чикагская компания отвечает их целям не хуже всякой другой. Тут Эддисон очень подробно изложил Кафрату план Каупервуда. Кафрат, немного поколебавшись, сдался. Устарелые методы ведения дела уже давно стояли ему поперек горла. Он не знал, кто эти лица, о которых говорил Эддисон, но их взгляды совпадали с его собственными. На переоборудование конки потребуется несколько миллионов долларов, доказывал Эддисон, и Кафрат, откровенно говоря, не знал, как раздобыть эти деньги без посторонней помощи, не прибегая к закладу и перезакладу дорог. Если эти лица готовы хорошо заплатить за передачу им пятидесяти одного процента всех акций на срок в девяносто девять лет и гарантируют удовлетворительный процент прибыли на все остальные акции по их теперешнему курсу, да к тому же еще берутся перестроить дело, — почему же не пойти им навстречу? Все лучше, чем закладывать и перезакладывать эту старую рухлядь, а теперешнее руководство все равно никуда не годится. Кафрат, разумеется, понятия не имел о том, что новые акционеры будут наживать состояния на всевозможных дочерних предприятиях, занимающихся строительными работами и поставкой оборудования, и что одним из крупнейших акционеров в них опять-таки будет Каупервуд; не знал он и о том, что путем выпуска разводненных акций под старые и новые линии городской железной дороги Каупервуд избавится от необходимости вложить в это дело сколько-нибудь значительные средства, раз ему будет обеспечен первоначальный капитал или, как он выражался, «капитал для дальнейших разговоров». Каупервуд и Эддисон уже договорились тем временем, — если их затея удастся, — основать Чикагское кредитное общество с акционерным капиталом в несколько миллионов долларов, которым они будут орудовать по своему усмотрению. Кафрат же понял лишь одно: он получит хорошую прибыль на свои акции и, может быть, окажется в числе учредителей новой компании.

— Три года кряду я бился, стараясь растолковать все это нашим директорам, — заявил он в конце концов Эддисону, польщенный вниманием, которое оказывал ему этот весьма влиятельный человек. — Куда там — и слушать не хотели! А по-моему, вести дело так, как они его ведут, — преступление. Ребенок наладил бы его лучше. Они скаредничают, экономят на рельсах, на подвижном составе и теряют пассажиров. А без пассажиров мы вылетим в трубу! И, насколько я понимаю, существует только один способ заполучить их: им нужно предложить приличный транспорт. А мы, сказать по совести, меньше всего об этом думаем.

Вскоре после этого у Каупервуда состоялась краткая беседа с Кафратом, и Каупервуд посулил ему по шестьсот долларов за каждую акцию, с которой тот пожелает расстаться, а сверх того еще и пакет акций новой компании в виде премии за поддержку его интересов в нынешнем правлении. Кафрат вернулся к себе на Северную сторону в самом веселом настроении, радуясь и за себя и за компанию. Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что предложение Каупервуда следует довести до сведения акционеров каким-нибудь окольным путем — скажем, через незаинтересованных лиц. В результате Уильям Джонсон, главный инженер компании, действуя по наущению Кафрата, сообщил Альберту Торсену, самому пугливому и податливому из членов правления, что по имеющимся у него сведениям трем наиболее крупным акционерам — членам правления Исааку Уайту, Арнольду С.Бенджамину и Отто Мэтджесу — было предложено продать их акции за неслыханно высокую цену, и они, по-видимому, собираются это сделать, оставив всех остальных с носом.

Торсен отчаянно разволновался.

— Когда это вы слышали? — спросил он.

Джонсон сказал, что не так давно, но источник своей информации предпочел до поры до времени сохранить в тайне. Торсен поспешил поделиться новостью со своим другом Солоном Кэмпфертом, а тот бросился к Кафрату.

— Да, я слышал что-то в этом роде, — небрежно уронил Кафрат, — но, по правде говоря, больше ничего не знаю.

Получив такой уклончивый ответ, Торсен и Кэмпферт решили, что Кафрат тоже в сговоре, тоже собирается выгодно продать свои акции и предоставить остальным довольствоваться объедками. Дело было плохо.

Тем временем Каупервуд, по совету Кафрата, сам обратился к Исааку Уайту, Арнольду С.Бенджамину и Отто Мэтджесу, делая вид, что желает войти в сделку только с ними. А немного спустя с этой же целью были нанесены визиты Торсену и Кэмпферту, и те со страху согласились уступить свои акции Каупервуду, который предлагал им очень выгодные условия и брался склонить к такой сделке и остальных крупных держателей. Таким образом, Каупервуд приобрел сильную поддержку в правлении. Наконец Исаак Уайт на одном из заседаний заявил, что ему сделано очень интересное предложение, которое он тут же в общих чертах изложил собравшимся. Он еще и сам не знает, как к этому отнестись, сказал Уайт, и решил поставить вопрос перед правлением. Услыхав такое заявление, Торсен и Кэмпферт тотчас пришли к выводу, что Джонсон говорил сущую правду. Тогда было решено пригласить Каупервуда и попросить его самолично изложить свой проект правлению компании в полном составе, что он и сделал в довольно пространной, учтивой и остроумной речи. Он дал понять, что дороги Северной компании в самом ближайшем будущем неизбежно придется переоборудовать, а его предложение избавляет господ акционеров от всяких беспокойств, забот и трудов, с этим связанных. Более того, он сразу же гарантировал такую прибыль, какую в ближайшие двадцать-тридцать лет никто из них не рассчитывал получить. После этого все согласились с тем, что надо попробовать. Допустим, что Каупервуд не будет выплачивать в срок обусловленные проценты — тогда их собственность снова возвратится к ним, рассуждали акционеры; а если учесть, что Каупервуд брал к тому же на себя все обязательства компании — налоги, плату за водоснабжение, старые долги и немногочисленные пенсии бывшим служащим, то предложение его приобретало чуть ли не идиллический характер.

— Ну, друзья, мне кажется, что мы сегодня неплохо поработали, — заявил Энтони Иуэр, дружески похлопывая по плечу мистера Альберта Торсена. — Я полагаю, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи. — Принадлежащие мистеру Иуэру семьсот пятнадцать акций, общей стоимостью в семьдесят одну тысячу пятьсот долларов, внезапно поднялись в цене до четырехсот двадцати девяти тысяч долларов, и это естественно привело его в чрезвычайно жизнерадостное расположение духа.

— Да, вы правы, — отвечал Торсен, который из семисот девяноста принадлежащих ему акций расставался с четырьмястами восемьюдесятью и был очень обрадован тем, что они подскочили в цене с двухсот до шестисот долларов каждая. — Мистер Каупервуд — деловой человек. Надеюсь, он добьется успеха.

После совещания с Мак-Кенти, Эддисоном, Видера и прочими своими помощниками и компаньонами, затянувшегося до глубокой ночи, Каупервуд, проснувшись утром, потрепал еще дремавшую Эйлин по плечу и сказал:

— Ну, детка, вчера я уладил дело с Северо-чикагской железнодорожной. Не сегодня — завтра я буду избран председателем новой компании — нужно только подобрать себе членов правления. Годика через два мы с тобой, пожалуй, будем уже иметь некоторый вес в этой большой деревне, почему-то именуемой городом.

Каупервуд надеялся, что достигнутые им успехи, наряду с прочими его стараниями, умилостивят в конце концов Эйлин. С того злополучного дня, когда она так решительно расправилась с Ритой Сольберг, Эйлин была всегда хмурой, замкнутой, отчужденной.

— Вот как? Значит, ты доволен? — сказала она, простирая заспанные глаза и невесело улыбаясь. На ней была воздушная бледно-розовая ночная сорочка.

Приподнявшись на локте, Каупервуд внимательно поглядел на жену и легонько погладил ее округлые руки, которые неизменно приводили его в восхищение. Пушистое золото ее волос тоже не утратило еще для него своей прелести.

— Примерно через год можно будет проделать то же самое с Западной компанией, — продолжал Каупервуд. — Но боюсь, шума будет много, а мне это сейчас ни к чему. Впрочем, шила в мешке не утаишь. Я уже вижу, как Шрайхарт и Мэррил и еще кое-кто хватаются за голову, убедившись, что позволили двум самым крупным и доходным статьям чикагского городского хозяйства — конке и газу — уплыть у них из-под носа.

— Да, да, я рада за тебя, Фрэнк, — сонно сказала Эйлин. Глубоко уязвленная неверностью мужа, она все же не могла не радоваться его успехам. — Ты всегда умеешь устраивать свои дела.

— Не нужно больше грустить, Эйлин, — просительно и ласково проговорил Каупервуд. — Разве ты не можешь быть снова счастлива со мной? Ведь я стараюсь не только для себя, но и для тебя. Ты тоже скоро расквитаешься за старые обиды.

Он с улыбкой заглянул ей в глаза.

— Да много ли мне проку от твоих денег, — нежно, но с грустью и с мягкой укоризной ответила Эйлин. — Не они мне нужны, а твоя любовь.

— И она принадлежит тебе, — заверил ее Каупервуд. — Разве я не твержу тебе это изо дня в день? Я никогда не переставал тебя любить. Ты сама это знаешь.

— Знаю, как же! — возразила она, когда он привлек ее к себе. — Знаю я, какова твоя любовь! — Но, говоря так, Эйлин невольно теснее прижималась к мужу, ибо под ее горькими упреками скрывалась глубокая скорбь и страстное желание вернуть себе его былую любовь, восстановить то, что было между ними когда-то, воскресить чувство, которое — как ей казалось прежде — никогда не умрет.

23. МОГУЩЕСТВО ПЕЧАТИ

Несмотря на все усилия Каупервуда и его друзей сохранить эту сделку в тайне, газеты вскоре уже были полны намеков на предстоящие перемены в Северо-чикагской железнодорожной. Фрэнка Алджернона Каупервуда, имя которого до той поры никогда не связывалось с городским железнодорожным транспортом, называли возможным преемником Ониаса С.Скиннера, а Эдвина Л.Кафрата прочили в заместители председателя. Высказывались предположения, что за спиной Каупервуда стоят другие лица — «по всей вероятности, крупные капиталисты из Восточных штатов». Просматривая утренние газеты в комнате Эйлин, Каупервуд понял, что его уже сегодня начнут осаждать репортеры — потребуют, чтобы он рассказал о своих планах, и постараются выудить из него все, что можно. Он решил, что будет просить их подождать, а сам воспользуется этой оттяжкой для переговоров с владельцами газет, которых ему необходимо перетянуть на свою сторону. После этого уже можно будет объявить во всеуслышание о своих намерениях, — нужно только изобрести что-нибудь такое, что понравится публике, а в особенности жителям Северной стороны. Однако он отнюдь не собирался брать на себя какие-либо обязательства в ущерб личной выгоде. Он хотел создать себе громкое имя, он жаждал славы, но еще сильнее жаждал денег и твердо намеревался добиться и того и другого.

На человека, довольно долго занимавшегося всякими мелочами, — а Каупервуд именно так расценивал свою прежнюю деятельность, — подобный скачок вверх, в сферу «больших финансов» и финансового контроля, не мог не подействовать вдохновляюще. Каупервуду так долго приходилось ограничиваться делами не слишком большого размаха, разрабатывая и вынашивая в тиши свои замыслы, что теперь, когда цель была достигнута, он с трудом в это верил. Замечательный был город Чикаго. Он рос не по дням, а по часам. Возможности его поистине беспредельны. Эти люди, которые так глупо передали ему на неограниченный, в сущности, срок свои акции, видимо, сами не понимали, что делают. Ведь городские железные дороги в Чикаго, как только он окончательно завладеет ими, начнут приносить огромные барыши! Он может объединить их и выпустить дополнительные акции. Мак-Кенти за бесценок выхлопочет ему разрешение на постройку новых линий, которые в самом ближайшем времени будут оцениваться в миллионы и принадлежать только ему, Каупервуду. Тут уж не придется выплачивать никаких процентов членам правления Северо-чикагской железнодорожной. Город, конечно, будет все расти, и мало-помалу дороги, номинально еще находящиеся в ведении компании, а фактически уже принадлежащие ему, станут всего лишь центральным узлом огромной разветвленной сети городских железных дорог, которые он сам построит вокруг. А потом придет черед Западной и даже Южной стороны… Но зачем грезить наяву? Да, скоро, очень скоро он, быть может, станет единоличным владельцем всей сети городских железных дорог Чикаго! Станет финансовым королем города и одним из крупнейших финансовых магнатов страны!

Каупервуд отлично знал, что, принимаясь за дело, для осуществления которого требуются голоса избирателей и их добрая воля даровать ту или иную привилегию, надо прежде всего заручиться поддержкой газет. С вожделением думая о городских туннелях, — один из которых необходим был реорганизованной им Северной компании, а другой мог ему понадобиться в будущем, если удастся прибрать к рукам Западную компанию, — он думал также и о том, что теперь нужно втереться в доверие к владельцам газет. Но как это сделать?

В последнее время, вследствие притока переселенцев из других штатов и из Старого Света (тысячи и десятки тысяч людей стекались в поисках заработка в этот бурно растущий и многообещающий город) и распространения анархистских, социалистических и коммунистических идей благодаря наиболее передовым из осевших здесь иностранцев, — проблема гражданских прав и свобод приобрела в Чикаго крайне острый характер. Еще в мае, когда Каупервуд прилагал все усилия, чтобы обернуть дело с городскими железными дорогами в свою пользу, произошло весьма знаменательное событие. На

Западной стороне, в Хеймаркете, который издавна служил местом народных сборищ, на одном из рабочих собраний, получившем по характеру некоторых выступлений ярлык анархистского, какой-то сумасшедший фанатик бросил бомбу. Несколько полисменов было покалечено, один убит, другие отделались легкими повреждениями. Это событие выдвинуло на первый, план и, словно вспышка молнии, осветило проблему классовой борьбы, к которой американцы, по свойственной им беспечности, легкомыслию и непоследовательности, до сих пор относились недостаточно серьезно, и теперь проблема эта встала во весь рост, привлекая к себе всеобщее внимание. Вся привычная деловая жизнь города сразу изменилась — точно знакомый ландшафт после извержения вулкана. Люди начали глубже вдумываться в политические и общественные проблемы. Что такое анархизм? Что такое социализм? Каковы в конце концов права рядового человека, какова его роль в экономическом и политическом развитии страны? Вот какие волнующие вопросы возникали теперь в умах, приведенных в смятение этой бомбой, которая, подобно камню, брошенному в воду, всколыхнула стоячее болото обывательского благодушия, а порожденные ею мысли, словно круги по воде, распространялись все дальше и дальше, пока не достигли таких, казалось бы, неприступных крепостей, как редакции газет, банки и вообще все финансовые учреждения, а также кабинеты политических воротил и их приемные.

Каупервуд, однако, перед лицом этих событий сохранял полнейшее спокойствие. Не веря в силу народных масс, не признавая за ними никаких прав, он, впрочем, сочувственно относился к тяжелому положению отдельных лиц и был твердо убежден, что люди, подобные ему, призваны в мир, чтобы навести в нем порядок и сделать жизнь более сносной. В эти дни ему приходилось наблюдать большие группы рабочих, толпившихся вместе со своими лошадьми возле конюшен и вагонных сараев городских железнодорожных компаний, и он иной раз задумывался над их уделом. У большинства из них был измученный вид. Каупервуду они казались похожими на животных — терпеливых, заморенных, одичалых. Он думал об их убогих жилищах, долгих часах изнурительного труда, ничтожной заработной плате и пришел к выводу, что если и можно для них что-нибудь сделать, так это дать им сравнительно приличный прожиточный минимум — не больше. Его мечты, его замыслы недоступны этим людям, разве могут они хоть в какой-то мере приобщиться к его блистательной судьбе, разделить с ним богатство, славу и власть?

В конце концов Каупервуд решил посетить издателей различных газет и потолковать с ними. Когда он поделился этой мыслью с Эддисоном, тот выразил некоторые сомнения. Эддисон не верил издателям; Он знал об их мелком интриганстве, видел, как они сводят личные счеты и продают свои мнения за жалкие гроши.

— Я вам скажу, в чем дело, Фрэнк, — заметил как-то Эддисон. — Рассчитывая на них, вы строите здание на песке. Вы же знаете, что вся эта шайка из старых газовых компаний по-прежнему настроена против вас, хоть вы и являетесь одним из самых крупных акционеров. Шрайхарт вам отнюдь не друг, а ему фактически принадлежит «Кроникл». Рикетс ходит у него на поводу, Хиссоп — издатель «Мейл» и «Трэнскрипт» — человек хоть и независимых взглядов, но пресвитерианец, холодный, убежденный в своей непогрешимости моралист. Брекстен — неплохой малый, но его «Глоб» издается на деньги Мэррила. Старый генерал Мак-Дональд, издатель «Инкуайэрера», — ну, это… старый генерал Мак-Дональд. У него все зависит от того, с какой ноги он встал. Если вы почему-либо ему приглянетесь, он будет поддерживать вас всегда и во всем — пока вы не начнете ему перечить. Но в общем он неплохой старикан. Он мне нравится. Ни Шрайхарт, ни Мэррил никогда ничего от него не добьются, он под чужую дудку плясать не привык. Но он стар, долго не протянет, а его сынок не внушает мне доверия. С Хейгенином из «Пресс» можно поладить, и он к вам расположен, насколько мне известно. Вероятно, он поддержит вас во всем, что сочтет правильным и справедливым. Ну вот, кажется, и все. Попробуйте, конечно, привлечь их на свою сторону, если удастся. Не затевайте раньше времени разговора о туннелях. Эта мысль должна как бы внезапно осенить вас потом и быть подсказана заботой о насущных нуждах населения. Самое главное — опередить другие компании, пока они еще не успели всех восстановить против вас. Будьте уверены, Шрайхарт уже сейчас ломает себе голову — что все это значит? А что касается Мэррила, — тот, я думаю, живо перекинется на вашу сторону, если только вы пообещаете проложить линию поближе к его магазину.

Есть, быть может, своеобразное, хотя и жестокое очарование в том, что никому и никогда не было дано предусмотреть все подводные течения и рифы, отклоняющие от намеченного пути нашу ладью, предугадать, куда повернет капризный ветер удачи — надует ли он наши паруса, или оставит их безжизненно плескаться на мачтах. Мы строим и строим планы, но сколько ни думай, разве можем мы прибавить хоть полдюйма к своему росту? Кто в состоянии противоборствовать или, наоборот, содействовать провидению, которое выковывает наши судьбы, хотя мы грубо, на свой лад и пытаемся их изменить? Каупервуд выступал теперь на широкую арену, и многие издатели газет и прочие видные горожане с интересом наблюдали за ним. Особенно привлекал он к себе внимание Огастоса М.Хейгенина, независимого — если бы ему не приходилось заботиться о том, чтобы газета приносила доход, — издателя «Пресс». Не обладая ни авторитетом, ни обаянием старика Мак-Дональда, Хейгенин был человеком безусловно честным, благожелательным и осторожным. Он с интересом следил за карьерой Каупервуда еще с тех пор, когда тот проводил свою первую операцию с газовыми компаниями. Ему казалось, что Каупервуду предстоит занять видное положение в городе. Наглая, самоуверенная сила в соединении с врожденным макиавеллизмом — если это только макиавеллизм и ничего больше — имеет особую притягательность в глазах людей заурядных и ограниченных. Боязливые обыватели среднего достатка, глядя на мир сквозь тусклую пелену окружающей их обыденщины, нередко первыми готовы простить звериные методы борьбы, с помощью которых сильные достигают своей цели. Наблюдая за Каупервудом, Хейгенин создал себе образ незаурядного человека, столь же грешного, сколь и натерпевшегося от чужих грехов, человека,

который умеет сохранять верность друзьям и на которого можно опереться в трудную минуту. Случайно Хейгенины оказались соседями Каупервудов. После неудачной попытки Каупервудов проникнуть в высшее чикагское общество Хейгенины оказались в числе тех, кто продолжал поддерживать с ними дружеские отношения и были, на их взгляд, не хуже других.

И вот однажды, в сочельник, в стужу и метель, Каупервуд явился к Хейгенину в редакцию газеты «Пресс» и был принят весьма радушно.

— А зима-то нынче дает себя знать! — весело приветствовал его Хейгенин.

— Ну, как идут дела в Северо-чикагской транспортной? — Хейгенин, как и другие издатели, уже давно слышал о предстоящем переоборудовании всех линий конки на Северной стороне — новая канатная система, силовые станции, комфортабельные вагоны. Поговаривали также, что принимаются какие-то меры, чтобы улучшить сообщение этой части города с центром.

— Мистер Хейгенин, — улыбаясь, начал Каупервуд, сбрасывая с плеч тяжелую меховую шубу с бобровым воротником и снимая кожаные рукавицы, — наша работа по переоборудованию городских железных дорог Северной стороны достигла сейчас такой стадии, когда нам необходима помощь или хотя бы дружеская поддержка газет. Главная трудность состоит в том, что все наши линии, идущие от предместья к центру, обрываются на Лейк-стрит у мостов. Чтобы попасть оттуда на Южную сторону, приходится совершать длинный путь пешком, и вы слышали, вероятно, что это вызывает много жалоб ее стороны населения. Вместе с тем я позволю себе заметить, что речной транспорт, и всегда-то затруднявший уличное движение, становится с каждым днем все более несносной помехой. Все мы страдаем от этого. И ни разу не делалось попыток как-то упорядочить движение через реку. Вероятно, потому, что это задача чрезвычайно трудная, а при нынешних условиях, пожалуй, даже неосуществимая. Желательнее всего было бы со временем проложить туннель под рекой, но это потребует огромных капиталовложений, а возможности наши пока еще ограничены. Доходы от наших линий не оправдают подобных затрат. Они не могут оправдать даже реконструкции трех мостов: у Стэйт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит. Однако, если мы переведем наши городские железные дороги на канатную тягу, мосты так или иначе придется реконструировать. Я полагаю, что население не меньше нас заинтересовано в этом начинании, и потому будет только справедливо, если город поможет нам покрыть расходы по реконструкции мостов. Там, где проходят наши линии, участки и дома сильно вздорожают. Следовательно, очень и очень возрастут доходы города от налогов. Я беседовал с некоторыми чикагскими финансистами, и они разделяют мое мнение, но — как обычно бывает в таких случаях — кое-кто из наших политических деятелей настроен против меня. С тех пор как я принял на себя руководство Северо-чикагской компанией, некоторые газеты заняли по отношению ко мне явно недружелюбную позицию. «Кроникл», газета, финансируемая Шрайхартом, уже несколько раз писала, что в Северо-чикагской транспортной орудует Каупервуд со своей шайкой, и, следовательно, нужно держать ухо востро, предвидя возможность разбойничьих налетов вроде тех, какие уже испытали на себе старые газовые компании. Брэкстоновский же «Глоб», фактически принадлежащий Мэррилу и старающийся угодить и той и другой стороне, выразил надежду, что подобные методы не будут более практиковаться. Должен вам сказать, — продолжал Каупервуд, — что мы наметили очень широкую программу переоборудовании и усовершенствований, но хотим прежде всего заручиться сочувствием и поддержкой общественности.

Тут Каупервуд сунул руку в карман и извлек оттуда искусно вычерченные планы, которые он заготовил специально для этого случая. На одном из планов были указаны три главные линии канатной дороги, пролегающие по Северной Кларк-стрит, Ла-Саль-стрит и Уэлс-стрит. Эти линии шли к центру города, сходясь в одну точку у перекрестка улиц Иллинойс и Ла-Саль и — хотя Каупервуд еще ни словом не обмолвился о туннеле — были далее обозначены на плане красной чертой, пересекающей реку в таком месте, где не было никаких мостов; они шли над рекой или под рекой, затем описывали петлю по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф и возвращались снова в туннель. Каупервуд помолчал, давая Хейгенниу возможность должным образом оценить некоторые интересные особенности этого плана, и затем объявил:

— Вы видите перед собой, мистер Хейгенин, проект, который, в случае одобрения его городом, разрешит все недоразумения по поводу больших затрат, неизбежных при реконструкции мостов. Кроме того, он даст возможность использовать объект, который в настоящее время не имеет для города никакой цены, но может сослужить большую службу населению. Я имею в виду, как вы понимаете, — тут Каупервуд прикоснулся указательным пальцем к плану, который рассматривал Хейгенин, — старый туннель у Ла-Саль-стрит, заколоченный досками и никем не используемый. При его постройке не учли, как видно, крутизны уклона, допустимой при подъеме и спуске обыкновенных вагонов со средним грузом. Когда выяснилось, что туннель в таком виде не может приносить никакого дохода, его продали городу, и на том дело и кончилось. Если вы когда-либо заглядывали в него, то вам известно, в каком он состоянии. Мои инженеры осмотрели его и говорят, что там всюду просачивается вода и, если не принять срочных мер, свод не сегодня — завтра обвалится. Восстановление туннеля по их подсчетам обойдется в четыреста тысяч долларов, никак не меньше. Вот я и считаю, что раз уж Северо-чикагская транспортная готова принять на себя такие расходы, чтобы покончить, наконец, с заторами на мостах и дать населению Северной стороны возможность быстро и с удобствами добираться до центра, то и город должен пойти компании навстречу и отдать нам безвозмездно этот туннель или, на худой конец, сдать его в долгосрочную аренду по номинальной цене.

Каупервуд умолк, ожидая, что скажет Хейгенин. А тот задумчиво глядел на чертежи, пытаясь уяснить себе, вправе ли Каупервуд ставить такое требование? Должен ли город безвозмездно отдать ему этот туннель, так ли уж неразрешима проблема переправы через реку, как пытается изобразить это Каупервуд, и не является ли весь проект лишь хитроумной уловкой с тем, чтобы при минимуме затрат получить максимум выгод?

— А это что такое? — спросил, наконец, Хейгенин, указывая на уже упоминавшуюся выше петлю.

— Это, — сказал Каупервуд, — по нашему разумению, единственная возможность связать деловые кварталы с Северной стороной и заодно разрешить вопрос переправы через реку. Если мы, как я надеюсь, получим в свое распоряжение туннель, все поезда с Северной стороны будут выходить из туннеля здесь, — он указал на чертеж, — и делать петлю, — опять-таки в том случае, если город даст нам право проложить здесь рельсовый путь. Я полагаю, конечно, что против этого не может быть выдвинуто никаких основательных возражений. Я не вижу причин, почему население Северной стороны не должно иметь таких же удобных средств сообщения с деловыми кварталами города, какими располагает население Западной и Южной сторон.

— Никаких причин, разумеется, никаких причин, — вынужден был согласиться мистер Хейгенин. — И вы считаете, что город и городское самоуправление должны совершенно безвозмездно предоставить вам право проложить эту петлю?

— А почему бы нет? — возразил Каупервуд несколько оскорбленным тоном. — Разве ставился когда-нибудь вопрос о компенсации, если речь шла о благоустройстве города? Южная компания получила разрешение на прокладку петли по Стэйт-стрит и Уобеш авеню. А Чикагская городская пассажирская проложила такой же путь по Эдамс-стрит и Вашингтон-стрит.

— Да, пожалуй, что и так, — неопределенно заметил мистер Хейгенин. — Все это верно. Но вот туннель… Уверены ли вы, что его тоже можно причислить к категории безвозмездно предоставляемых привилегий?

Однако Хейгенин поглядывал при этом искоса на проектируемую петлю и невольно думал о том, что новая канатная дорога — красивые, удобные вагоны с прицепами — придаст деловым кварталам Чикаго вполне столичный вид и будет очень содействовать развитию Северной стороны. Проектируемые линии должны были пройти по самым оживленным торговым улицам, застроенным уже сейчас высокими пяти-, шести-, семи— и даже восьмиэтажными зданиями. Жизнь била здесь ключом — молодая, бурливая, исполненная надежд. Вся коммерческая деятельность города, казалось, стремилась сосредоточиться на этом небольшом участке, и потому земля и строения ценились здесь необычайно дорого и были, пожалуй, наиболее доходными в Чикаго. И, наконец, издатель Хейгенин не мог не заметить, что поезда новой дороги на своем обратном пути через Дирборн-стрит будут проходить мимо здания редакции «Пресс», что должно было значительно повысить ценность этого дома, а он был его собственностью.

— Разумеется, уверен, мистер Хейгенин, — веско сказал Каупервуд, отвечая на его вопрос. — Я считаю даже, что муниципалитет должен выплатить премию тому, кто возьмется наладить здесь городской железнодорожный транспорт, в особенности если это будет солидная организация, выступающая с хорошо продуманным и, я бы сказал даже, великодушным предложением. Осуществление моего проекта повысит стоимость земли и зданий на Северной стороне на миллионы долларов. Постройка петли обеспечит приток новых и новых миллионов долларов к деловой части города.

Каупервуд снова указал на свои чертежи, и Хейгенин согласился, что проект, несомненно, представляет собой вполне солидное деловое предложение.

— Я, со своей стороны, понятно, не буду возражать против вашего предложения, — сказал Хейгенин, — тем более что новая линия пройдет мимо моей редакции. Однако этот туннель, как я понимаю, обошелся городу не менее, чем в восемьсот тысяч, а то и в миллион. Это очень щекотливое дело. Мне хотелось бы выяснить, как смотрят на это остальные издатели и как отнесется к вашему предложению муниципалитет.

Каупервуд кивнул.

— Разумеется, разумеется, — сказал он. — Я ничего против не имею. Я бы не пришел сюда, если б не был уверен в законности моего предложения. Мне кажется, оно должно получить единодушную поддержку всей чикагской прессы. Но перед лицом таких крупных издержек, какие предстоят нашей компании, мы, естественно, хотим заранее предохранить себя от всяких бессмысленных и необоснованных нападок, тем более что нам придется делать крупные займы на стороне. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку?

— Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, — улыбнулся мистер Хейгенин, и они расстались добрыми друзьями.

Однако другие издатели, стоявшие на страже городских привилегий, встретили проект Каупервуда далеко не так благосклонно. Они охотно соглашались с тем, что для осуществления намеченного Каупервудом плана ему необходимо получить в свое распоряжение туннель и заручиться разрешением провести канатную дорогу по главным улицам делового центра. Но почему все это должно достаться ему даром?.. Шрайхарт, Мэррил и еще кое-кто из недругов Каупервуда уже прощупывали почву в

редакциях газет, стараясь разузнать, как будет принята местной печатью эта новая его авантюра. Получит он поддержку или не получит? Шрайхарт, у которого еще не изгладились из памяти увечья, нанесенные ему в войне газовых компаний, с тревогой и завистью следил за деятельностью, развиваемой Каупервудом. Для него, более чем для других, Каупервуд был новым и весьма опасным противником в борьбе за чикагские городские железные дороги. Впрочем, и другие крупные дельцы с интересом наблюдали за происходящим.

— Сдается мне, — сказал Шрайхарт достопочтенному Уолтеру Мелвилю Хиссопу, редактору и издателю «Трэнскрипта» и «Ивнинг мейл», встретившись с ним в клубе «Юнион-Лиг», — сдается мне, что этот проходимец Каупервуд уже готовит какую-то новую аферу с городскими железными дорогами. От него ничего доброго ждать не приходится. Не мешало бы нашим газетам поинтересоваться его связями с политическими кругами. — В то время уже распространились слухи о том, что Мак-Кенти имеет какое-то касательство к вновь созданной компании.

Однако издатель Хиссоп — низенький, толстенький, коренастый — был человеком весьма осмотрительным и не спешил с выводами.

— Я не сомневаюсь, что мы скоро узнаем, каковы намерения мистера Каупервуда, — заметил он. — Мне кажется, что это очень энергичный и способный предприниматель.

Хиссопа и Шрайхарта, так же как Шрайхарта и Мэррила, связывала многолетняя деловая дружба.

После визита к издателю «Пресс» Хейгенину чутье, всегда помогавшее Каупервуду выбирать нужных людей и получать нужную поддержку, подсказало ему отправиться в редакцию «Инкуайэрера» — газеты, принадлежавшей старому генералу Мак-Дональду, где ему сообщили, что острый приступ ревматизма в сочетании с суровой чикагской непогодой принудил старого генерала отплыть неделю назад на пароходе в Италию. Сын генерала, весьма самоуверенный молодой человек, и основной редактор, некто мистер Дю-Буа, заправляли газетой в его отсутствие. В лице Трумена Лесли Мак-Дональда — хладнокровного, напористого и хитрого дельца — Каупервуд столкнулся с человеком, который, подобно ему самому, все на свете рассматривал с сугубо эгоистической точки зрения. Какую выгоду он, Трумен Лесли Мак-Дональд, может извлечь для себя из сложившихся обстоятельств и как, пользуясь ими, заставить газету приносить больше прибыли, чем умудрялся извлекать до сих пор его отец? Молодой Мак-Дональд не испытывал никакого почтения к репутации старого генерала, она скорее казалась ему смешной. Он хотел только одного — разбогатеть, и твердо шел к этой цели. Представитель так называемой «золотой молодежи», которой становилось все больше на Северной стороне, молодой Мак-Дональд ездил верхом и на беговых дрожках, был членом и заправилой сверхпривилегированного загородного клуба и презирал рядовых обывателей, не имевших доступа в тот избранный круг, для которого он считал себя предназначенным.

Редактор газеты «Инкуайэрер» мистер Клиффорд Дю-Буа, прожженный сорокалетний мошенник с манерами джентльмена, умел использовать газету для своих корыстных целей под самым носом старого генерала. Костлявый, белобрысый, с бледно-голубыми, словно выцветшими глазами, длинным тонким носом и тяжелым подбородком, Клиффорд Дю-Буа обладал одной замечательной особенностью — он никогда не позволял своей правой руке ведать о том, что творит левая.

Вот эта-то достойная пара и принимала Каупервуда в отсутствие старого генерала — сначала в кабинете мистера Дю-Буа, а потом в кабинете мистера Мак-Дональда. Последний уже немало слышал о деятельности Каупервуда. Все, кто пострадал в «газовой войне», как, например, Джордан Джулс, председатель бывшей Северо-чикагской газовой компании, или Хадсон Бейкер, председатель бывшей компании Западной стороны, не называли Каупервуда иначе как грабителем и пиратом, ибо он лишил их чрезвычайно выгодных синекур. А теперь этот человек хочет захватить еще и городские железные дороги Северной стороны и является с каким-то сенсационным проектом реорганизации делового центра. Почему бы городу в свою очередь не извлечь из этого для себя выгоду, или, вернее, почему бы не извлечь ее тем, кто помогает создавать общественное мнение, играющее столь большую роль в осуществлении каупервудовских замыслов? Трумен Лесли Мак-Дональд, как уже говорилось выше, отнюдь не разделял взглядов своего отца. Более того, он решил, пользуясь его отсутствием, войти в сделку с Каупервудом. Генералу, само собой разумеется, об этом знать не полагалось.

— Я понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд, — высокомерно произнес Трумен Лесли Мак-Дональд, — но при чем тут город? Разумеется, для населения Северной стороны и для всех владельцев предприятий и земельных участков в деловой части города очень выгодно, чтобы ваш проект осуществился, но для вас это в десять раз выгоднее. Ваш проект бесспорно принесет пользу городу, но город растет, и это в свою очередь принесет немалую пользу вам. Я уже давно твержу о том, что все эти концессии стоят куда больше, чем принято думать. Никто, по-видимому, еще не отдает себе в этом отчета, но тем не менее это так. Да и туннель теперь стоит больше, чем в то время, когда его сооружали. Пусть даже город его не использует, найдутся на него и другие охотники.

Это был намек на возможность конкуренции.

Каупервуд обозлился, но не подал виду.

— Все это так, — сказал он с любезной миной, — но зачем же мерить такими разными мерками — Южная компания не уплатила ни единого доллара за право построить свою петлю, совершенно также, как и Чикагская городская пассажирская компания. Северная компания намечает ряд мероприятий по благоустройству городского транспорта в таких широких масштабах, какие никому и не снились до сих пор. Едва ли это справедливо — поднимать вопрос о компенсации за концессию именно сейчас и в отношении одной только Северной компании.

— Ну… отчасти, может быть, вы и правы, и другим компаниям тоже следовало бы платить за это, но Южная компания получила свои права уже давно. Сейчас она просто соединила между собой отдельные линии. А туннель

— это совсем другое дело. Город купил его и уплатил при этом немалые деньги, не так ли?

— Совершенно верно — купил, чтобы дать кое-кому возможность избавиться от него, когда стало ясно, что на нем не заработаешь ни цента, — возразил Каупервуд едко. — Но он и сейчас совершенно не нужен городу. Он рухнет в самое ближайшее время, если не привести его в порядок. Да ведь само согласие владельцев недвижимости на прокладку петли мимо их владений принесет значительную выгоду городу. Мне кажется, что ваш гражданский долг

— не только не препятствовать такому серьезному начинанию, но всемерно ему содействовать. Речь идет о благоустройстве деловых кварталов, о придании им подлинно столичного вида. Пора уже Чикаго выходить из пеленок.

Мистер Мак-Дональд младший покачал головой. Нельзя было не признать резонности доводов Каупервуда, но он завидовал этому человеку, завидовал его успехам. Получив задаром туннель и концессию на постройку петли, Каупервуд наживет миллионы. Так почему бы и ему, Мак-Дональду, не урвать себе кусочек? Он вызвал мистера Дю-Буа, и они сообща обсудили предложение. Каупервуда. Мистер Дю-Буа без труда понял, к чему клонится дело.

— Отличный проект, — сказал он. — Не вижу, однако, почему город должен остаться внакладе. Общественное мнение сейчас настроено против таких безвозмездных даров.

Каупервуду стало ясно, какие мысли бродят в голове мистера Мак-Дональда.

— Итак, каковы же, по-вашему, должны быть размеры компенсации в пользу города? — спросил он осторожно. Быть может, этот напористый молодой человек уже настолько обнаглел, что выдаст себя?

— Ну, что касается размеров компенсации, — ответил мистер Мак-Дональд, делая какой-то неопределенный жест, — этого я не могу сказать. Компенсация, мне кажется, должна быть определена в разумной пропорции к нынешней стоимости объекта. Это нужно обдумать. Я полагаю, что город не станет выдвигать чрезмерных требований. Но все же речь идет о привилегиях, которые кое-чего да стоят.

Каупервуд бесился в душе. Его основной слабостью — если допустить, что у него вообще имелись слабости — было то, что он органически не выносил противодействия. Он смотрел на Мак-Дональда, на его худое, бледное лицо и жесткие, колючие глаза. Какой наглец этот мальчишка! Каупервуду хотелось послать его ко всем чертям вместе с его газетой! Он ушел, решив про себя, что сумеет сладить с «Инкуайэрером» другим путем, как только вернется старик генерал.

На следующее утро, сидя в своей конторе на Северной Кларк-стрит, Каупервуд услышал тогда еще малопривычный звук — звонил телефон, который в ту пору был новинкой. Секретарь взял трубку и сообщил, что кто-то из газеты «Инкуайэрер» желает переговорить с мистером Каупервудом лично.

— Говорят из «Инкуайэрера», — услышал Каупервуд и подумал тотчас, что это голос молодого Мак-Дональда. — Вы хотели знать, каковы могут быть размеры компенсации в интересующем вас вопросе о туннеле? Вы меня слышите?

— Слышу, — ответил Каупервуд.

— Отлично. Я не хочу оказывать на вас ни малейшего нажима, но если вас интересует мое мнение, то я полагаю, что пакет акций Северо-чикагской транспортной на сумму примерно в пятьдесят тысяч долларов мог бы послужить к удовлетворительному разрешению вопроса.

Голос был молодой и звучал резко и отчетливо.

— И кому, по вашему мнению, должны быть вручены эти акции? — спросил Каупервуд учтиво, почти вкрадчиво.

— В этом вопросе я целиком полагаюсь на ваше усмотрение.

Голос умолк. Каупервуд услышал, как повесили трубку.

— Черт возьми! — воскликнул он, задумчиво уставясь в пол. По лицу его промелькнула презрительная улыбка. — Им не поймать меня на эту удочку. Овчинка не стоит выделки; я могу обойтись и без них, — пока во всяком случае. — Он стиснул зубы.

Однако Каупервуд недооценил мистера Трумена Лесли Мак-Дональда, и главным образом потому, что тот пришелся ему не по вкусу.

Собственно говоря, Каупервуд рассчитывал на то, что вернется старый генерал и выгонит вон своего ретивого сынка. Это был один из самых крупных промахов, когда-либо допущенных Фрэнком Каупервудом.

24. ПОЯВЛЕНИЕ СТЕФАНИ ПЛЕЙТО

В эти годы, когда коммерческие и финансовые дела Каупервуда быстро шли в гору, стали понемногу налаживаться и его отношения с Эйлин. Отчасти чтобы отвлечь Эйлин от ее грустных мыслей, отчасти чтобы утолить жажду впечатлений и пополнить свою коллекцию художественных ценностей, Каупервуд завел обычай каждое лето отправляться в путешествие — либо по Америке, либо в Европу. За два года они побывали в России, на Скандинавском полуострове, в Аргентине, в Чили и Мексике. Они уезжали в мае или в июне, когда все поезда отходили переполненными, и возвращались в сентябре или в начале октября. Каупервуд старался успокоить и порадовать Эйлин, он тешил ее честолюбие, рисуя перед ней будущие успехи в обществе — если не в чикагском, то в лондонском или в нью-йоркском, всячески убеждал ее, что, несмотря на свои измены, он по-прежнему предан ей.

Каупервуд был достаточно ловок и хитер, чтобы искусно симулировать нежные чувства, которых он уже не испытывал, вернее, в которых не было прежнего огня. Он был олицетворенное внимание, покупал Эйлин цветы и драгоценности, всевозможные безделушки и сувениры, окружал ее самым изысканным комфортом и в то же время украдкой поглядывал по сторонам, уже томясь по новым, недозволенным развлечениям. Эйлин чувствовала это, хотя доказательств у нее никаких не было. И все же, несмотря ни на что, она любила этого человека, благоговела перед ним и подчинялась ему вопреки своей воле.

Представьте себе полководца, потерпевшего жестокое поражение, или просто рядового труженика, которому после долгих лет безупречной службы отказали от места. В чем искать утешения любящему сердцу, если любовь отвергнута, если все жертвы, принесенные на ее алтарь, оказались напрасными? В философии? Но ведь это не более как игра в бирюльки. В религии? Она требует метафизического склада ума. В 1865 году, когда Каупервуд впервые встретился с Эйлин Батлер, это была юная, стройная девушка, стремительная, полная жизни. Теперь она уже стала иной. Конечно, Эйлин все еще была красива. Цветущая, золотоволосая тридцатипятилетняя матрона — она выглядела не старше тридцати лет, а в душе, увы, чувствовала себя все той же быстроногой девчонкой и думала, что она так же привлекательна, как прежде. Любой женщине, даже очень избалованной судьбой, грустно видеть, как уходят годы, и любовь — этот вечно манящий блуждающий огонек — меркнет где-то в надвигающемся мраке. Эйлин в час своего, казалось бы, величайшего триумфа увидела, что любовь умерла. Бесполезно было убеждать себя — как она пыталась это делать порой, — что любовь еще может возродиться. Наделенная от природы умом трезвым и реалистическим, Эйлин понимала, что прошлого не вернешь. Пусть ей удалось убрать со своего пути Риту Сольберг, — все равно верности и постоянству Каупервуда пришел конец. А значит — конец и ее счастью. Любовь умерла. Погибла нежная иллюзия; рассеялся жемчужно-розовый, сладостный туман; прочь отлетел смеющийся купидон, с лукавой улыбкой на пухлых устах и таинственно-манящим взглядом; увяли цветы, шептавшие о вечной весне, об опьянении жизнью; умолкли призывы, властно будившие мучительно-острую радость; погибло все.

К чему слезы, ярость, бесплодные сожаления? К чему снова и снова глядеться в зеркало, изучая мягкие женственно-округлые линии еще свежего и привлекательного лица? Как-то раз, заметив темные круги у себя под глазами, Эйлин в бешенстве сорвала с груди кружева, которые только что приколола, и, бросившись на постель, зарыдала горько и отчаянно. На что ей наряды? На что все эти побрякушки? Фрэнк не любит ее. К чему ей этот роскошный особняк на Мичиган авеню, изысканно обставленный будуар во французском стиле, туалеты, каждый из которых — вершина портновского искусства, шляпы, похожие на цветочные клумбы? К чему, к чему? Мучительное воспоминание о невозвратном прошлом будет вечно преследовать ее, словно плакальщик в траурных одеждах, словно пресловутый ворон, прокаркавший у дверей свое «никогда, никогда». Эйлин знала, что сладостная иллюзия, на какой-то недолгий срок привязавшая к ней Каупервуда, рассеялась навеки. Каупервуд был здесь, рядом с ней. По утрам и вечерам в доме раздавались его шаги. В долгие тоскливые ночные часы она слышала рядом с собой его дыхание, чувствовала на своем теле его руку. А затем наступали другие ночи, когда его не было дома, когда он «отлучался из города», и, выслушивая потом его объяснения, Эйлин старалась принимать их за чистую монету. Зачем ссориться? — говорила она себе. Что тут можно поделать? И она ждала, ждала, — но чего, сама не знала.

А Каупервуд, наблюдая эти непреложные изменения, странные, несмываемые отметины, которые на каждом из нас оставляет время, — поблекшие краски, померкший огонь, все то, что уходит вместе с молодостью, — хотя и вздыхал порой, но невольно обращал свои взоры туда, где, подобно заре, светилась и блистала юность. Поэтическая верность, которая умеет исчезнувшее очарование юной любви заменить воспоминаниями о ней, была не свойственна Каупервуду, он не умел, когда остыла страсть и угасло желание, искать мучительную усладу в чистых воспоминаниях о прежних радостях. Расставшись с Ритой Сольберг, потеряв в ее лице ту легкую, беспечную отраду, которой не умела дать ему Эйлин, Каупервуд не знал покоя — он жаждал найти женщину, которая заменила бы ему Риту. В сущности, его всегда влекла к себе только молодость, очарование красоты, беспечной женственности, новизна юного, нераскрывшегося еще темперамента — совершенно так же, как влекли его к себе хорошие картины, старинный фарфор, антикварные редкости, великолепные особняки или слава, власть, преклонение неразумной толпы.

Беспорядочные любовные похождения Каупервуда были, как уже говорилось, естественным проявлением беспокойного, вечно жаждущего перемен нрава, внутреннего анархизма и моральной неустойчивости. Быть может, Каупервуд искал воплощение какого-то своего идеала? Но, как ни странно, со временем и сами наши идеалы, по-видимому, подвергаются изменениям, заставляя нас снова и снова блуждать во мраке. И что такое этот идеал в конце-то концов? Призрак, туман, аромат, принесенный дуновением ветерка, пустая греза. Девическое обожание Антуанеты Новак оказалось чересчур утомительным для Каупервуда. Она была слишком пылкой, слишком влюбленной, и он мало-помалу, хотя и не без труда, освободился от этих уз. После Антуанеты у него было несколько непродолжительных связей с различными женщинами, но они не принесли ему удовлетворения. Дороти Ормсби, Джесси Белл Хинсдейл, Тома Льюис, Хильда Джуэлл — в его памяти остались только их имена, не больше. Первая была актриса, вторая — стенографистка, третья — дочь одного из его коллег, четвертая — деятельница церковной общины, явившаяся к нему с благотворительной целью — испросить пожертвование на сиротский приют. Иной раз случались неприятности — трогательные и жалкие сцены, но таков уж удел тех, кто осмеливается свернуть с проторенной дорожки. По меткому выражению Наполеона, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц.

Появление Стефани Плейто — девушки, в которой еврейская кровь смешалась с южноамериканской, сыграло немалую роль в жизни Каупервуда. Стефани была молода и чрезвычайно эффектна. Высокая, стройная, грациозная, она совмещала в себе веселую беспечность Риты Сольберг с каким-то удивительным фатализмом, который, — когда Каупервуд узнал ее ближе, — странным образом взволновал и растрогал его. Впервые он встретился со Стефани на пароходе, шедшем в Гетеборг. Отец Стефани, Айседор Плейто, вел в Чикаго крупную торговлю пушниной. Это тучное, амебообразное существо, с мясистым, лоснящимся от жира лицом обладало безошибочным деловым нюхом и странной склонностью к философствованию. Слабость эта приводила его к некоторому разброду в мыслях, заставляя утверждать сегодня одно, а завтра — другое, лишь бы это не вредило его коммерции. Айседор Плейто, в общем порядочный сноб, считал себя поклонником Генри Джорджа и одновременно — столь бескорыстного утописта, как Роберт Оуэн. Впрочем, его снобизм отнюдь не помешал ему жениться в свое время на Сюзетте Осборн — простой техасской девушке, служившей у него в магазине счетоводом. Миссис Плейто была любезная, обходительная, изворотливая и хитрая дама, чрезвычайно чувствительная к успеху в обществе, — короче говоря — пролаза. Смекнув, что для достижения успеха достаточно читать модные романы, интересоваться искусством и быть в курсе всех сплетен, она с большим усердием посвятила себя этим занятиям.

Любопытно наблюдать, как характеры родителей, смешиваясь, видоизменяются и повторяются в детях. Когда Стефани подросла, у нее, такой непохожей ни на отца, ни на мать, проявились черты и того и другого, — создалась новая и интересная разновидность характера. Стефани была тоненькая, гибкая, темноволосая девушка, с бледным лицом и темно-карими глазами, которые могли мерцать, сверкать, светиться, отражая внезапные смены настроений этой странно неустойчивой души. Полный чувственный рот, грациозная посадка головы и мечтательное, почти дремотное выражение смуглого, чуть тяжеловатого, словно высеченного из камня лица дополняли ее облик. Она переняла от своих родителей тяготение к искусству, литературе, философии и музыке. В восемнадцать лет она уже мечтала стать певицей, художницей, актрисой, писать романы, стихи — ей хотелось всего зараз. Свято веря в безупречность своего вкуса, она целиком отдавалась во власть каждой своей прихоти, каждого мимолетного настроения, если находила его изысканным, — величайшее достоинство в ее глазах. В семье Плейто росла отъявленная сластолюбка, проводя дни в мечтах, рисуя себе любовный союз то с одним артистом, поэтом или музыкантом, то с другим, окружая себя в грезах целым сонмом представителей этого заманчивого, увлекательного мира.

Каупервуд впервые увидел Стефани июньским утром на борту парохода «Центурион» в нью-йоркском порту. Чета Каупервудов направлялась в Норвегию, а Стефани с отцом и матерью — в Данию. Перегнувшись через поручни, Стефани следила за стаей белокрылых чаек, круживших около камбуза. Она была целиком погружена в мечты, сознавая (вполне отчетливо), что целиком погружена в мечты. Каупервуд почти не обратил на нее внимания, отметил лишь, что она высока, грациозна и что темно-серое плиссированное платье и пышный серый газовый шарф, окутывавший ее стан и плечи и перекинутый через руку на манер индусских женщин, чрезвычайно ей к лицу. Ему бросилась в глаза ее бледность, темные круги под глазами, и он подумал, что, вероятно, она плохо переносит качку. Не ускользнули от его острого взгляда и ее иссиня-черные волосы под кокетливой модной шляпкой. В тот же день он встретил Стефани еще раз: она и ее отец сидели за столом в капитанской каюте.

Каупервуд и Эйлин не знали сначала, как отнестись к этой девушке, которая невольно заинтересовала их обоих. Ее изменчивый, коварный нрав открылся им далеко не сразу. Стефани была прирожденной актрисой, существом, не более постоянным и устойчивым, чем бегущие по ветру облака. Она всегда находилась во власти случайных, мимолетных настроений. Каупервуду понравился полусемитский тип ее лица, нежная округлая шея, темные, мечтательные глаза. Но она

была слишком молода, показалась ему на первый взгляд еще несложившимся подростком и он не удостоил ее внимания. Во время этого путешествия, продолжавшегося десять дней, Каупервуду часто приходилось встречаться со Стефани, наблюдать ее в самых различных настроениях. Он видел, как она гуляла по палубе с каким-то молодым еврейским юношей, который, по-видимому, вызывал в ней живейший интерес, играла в карты или сидела где-нибудь в уголку, защищенном от ветра и морских брызг, углубившись в чтение. И всегда при этом у нее был наивный, подчеркнуто невинный, замкнутый и мечтательный вид. Но порой ею овладевало какое-то дикое, безудержное веселье, и тогда она внезапно преображалась, лицо ее словно оживало, в глазах вспыхивал огонь. А еще минуту спустя она уже сидела со стальным лобзиком в руках и, склонившись над кусочком дерева, прилежно и задумчиво выпиливала что-то.

Эйлин нашла Стефани бесцветной, малозначительной девочкой, лишенной того обаяния цветущей юной женственности, которое обладает столь могучей притягательной силой для мужчин, и потому отнеслась к ней довольно дружелюбно. А Стефани, несмотря на свой возраст, куда более тонкая и проницательная, чем Эйлин, очень точно определила интеллектуальный уровень миссис Каупервуд и поняла, как и чем можно расположить ее к себе. Она сдружилась с Эйлин, сделала ей закладку для книг, набросала ее портрет. Как-то она призналась Эйлин, что твердо решила стать актрисой, — лишь бы позволили родители. Эйлин пригласила Стефани побывать у них в Чикаго, поглядеть картины. Могла ли она думать, что эта девушка сыграет такую роль в жизни Каупервуда?

В Гетеборге Каупервуды сошли с парохода и до конца октября не встречались больше с семейством Плейто. А потом, уже в Чикаго, Эйлин, скучавшая в своем вынужденном одиночестве, наведалась как-то к Стефани, после чего та в свою очередь отправилась на Южную сторону и посетила Каупервудов. Ей понравилось бродить по их огромному дому или мечтать с книгой в руках в каком-нибудь уютном уголке роскошно обставленной гостиной. Ей понравились картины Каупервуда, его нефриты, старинные молитвенники, цветное венецианское стекло. Стефани очень скоро смекнула, что у Эйлин нет подлинного интереса к этим вещам, и ее восхищение ими — чистейшее притворство, вызванное тем, что за них дорого уплачено. А для Стефани во всех этих старинных книгах, украшенных миниатюрами, и в хрустальных бокалах таилось почти чувственное очарование, которое испытывают только художественные натуры. Они действовали на нее как музыка, будили в ней смутные мечты; какие-то далекие, исполненные невиданного великолепия и пышности сцены рисовались ее воображению, и она вздыхала, грезила, приходила в экстаз.

В такие минуты Стефани часто думала о Каупервуде. Любит ли он эти вещи, или просто приобретает их ради того, чтобы приобретать? Она немало слышала о псевдоценителях искусства, которые интересуются им исключительно напоказ. Ей вспоминался Каупервуд. Стефани снова видела его перед собой, как он расхаживал взад и вперед по палубе «Центуриона», и она чувствовала на себе внимательный и твердый взгляд его больших серых глаз, в которых, как ей казалось, светился ум. Каупервуд, по мнению Стефани, был еще более важным и значительным человеком, чем ее отец, хотя она и не могла бы сказать, откуда взялось у нее это убеждение. Уж не оттого ли, что он всегда был так безукоризненно одет и так уверенно держался? Ничто, казалось, не могло бы вывести этого человека из равновесия. И во всем, что он говорил или делал, Стефани чудилась какая-то спокойная, дружеская ласка, хотя, сказать по правде, в ее присутствии он почти ничего не говорил и еще меньше делал. В глубине его глаз Стефани нередко читала усмешку, словно он посмеивался в душе над чем-то, но над чем? Этого она не могла разгадать.

Прошло уже полгода с тех пор как Стефани вернулась в Чикаго, но она почти не видела Каупервуда: он был погружен в дела — проводил в жизнь свой проект захвата городских железных дорог, да и она сама была во власти новых интересов, которые на время отвлекли ее от Каупервуда и Эйлин. Несколько друзей ее матери организовали любительский театральный кружок, поставивший своей целью не более и не менее, как поднять драматическое искусство на самую высокую ступень. Эта старая как мир задача никогда, как видно, не перестанет волновать умы неопытных новичков. Начало театральному кружку было положено в доме Тимберлейков, новоиспеченных богачей, живших на Западной стороне. Там, в огромном особняке на Эшленд авеню, была устроена сцена, ибо Джорджия Тимберлейк, романтически настроенная девица лет двадцати, с льняными волосами, внушила себе, что у нее незаурядный сценический талант. Миссис Тимберлейк, тучная и добродушная, разделяла, по-видимому, мнение своей дочки. Вся эта затея, после нескольких весьма спорных, чтобы не сказать больше, постановок мильтоновской «Маски Кома», «Пирама и Тисбы» и перекроенной своими силами на новый лад арлекинады, перекочевала из особняка в студию, а затем продолжала осуществляться в так называемом Дворце нового искусства. Некий актер по имени Лейн Кросс, вернее, не столько актер, сколько режиссер, и, пожалуй, не столько режиссер, сколько портретист, а по существу просто ловкач, сумевший внушить светским снобам, что он умеет писать портреты, и добывавший себе таким путем средства к существованию, был приглашен на роль постановщика.

Мало-помалу «гарриковцы», как величали себя новоиспеченные актеры, набили себе руку на постановках классических и полуклассических пьес. Не слишком заботясь о бутафории и реквизите, они ставили «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Ученых женщин» Мольера, шеридановских «Соперников» и даже «Электру» Софокла. В труппе оказалось несколько не совсем бесталанных людей; двух актрис, по общему признанию, ждал успех на американской сцене, и одной из них была Стефани Плейто. В крупных ролях выступало около десятка девушек и женщин и примерно столько же мужчин — сборище столь разношерстное, что у нас нет возможности останавливаться на каждом из них в отдельности. К этому же кругу принадлежал и некий театральный критик по имени Гарднер Ноулз. Молодой, красивый, самодовольный, он печатал свои отчеты в «Чикаго пресс». Вылощенный, с тоненькой тросточкой в руках, Ноулз появлялся каждый вторник, четверг и субботу на традиционном чае у «гарриковцев» и хвалил их смелое начинание. Благодаря его стараниям о «гарриковцах» постепенно заговорили газеты. Лейн Кросс, смазливый актер, стоявший во главе труппы, был мелкая душонка, распутник, циник, умело скрывавший свою

истинную сущность под маской стереотипной светской обходительности. Ему нравились задорные, розовощекие девицы типа Джорджии Тимберлейк или Ирмы Отли, которые были в их театре на комических ролях, но он не обделял своим вниманием и Стефани Плейто. Вскоре составился довольно тесный дружеский кружок, к нему примкнула еще Этель Такермен, чувствительная, сентиментальная девица, которая недурно танцевала и пела. Мало-помалу между отдельными парами завязались интимные отношения, но вместо того, чтобы кончиться браком, они, в этой обстановке, могли привести только к половой распущенности. Так, Этель Такермен сделалась любовницей Лейна Кросса, Ирма Отли нарушила заповедь с молодым светским повесой по имени Блисс Бридж, а Гарднер Ноулз, который был без ума от Стефани Плейто, в один прекрасный день нагло напал на девушку у нее в доме, явившись туда под предлогом интервью, и сломил ее сопротивление своим красноречием. Он только нравился ей — слегка; она даже не успела в него влюбиться. Но Стефани была легкомысленна, темпераментна, неопытна и чрезвычайно любопытна и тщеславна. Лишенная всякого представления о дозволенном и недозволенном — принципов, которыми общество руководствуется в подобных вопросах, она довольно легко пошла на эту пошлую и грубую связь. Стефани не испугалась и не раскаялась потом — для этого она была слишком легкомысленна к слишком уверена в себе. От родителей ей удалось все скрыть. Но, сделав первый шаг, она открыла для себя новый мир — мир плотских радостей.

Были ли все эти юноши и девушки испорченными от природы? На этот вопрос может ответить разве что философ-социолог. Одно несомненно: они не строили семьи, не растили детей. Они просто веселились и порхали по жизни, как мотыльки. Это длилось около двух лет; затем их хоровод распался. Начались ссоры: из-за ролей, из зависти к чужому таланту или положению. Этель Такермен порвала с Лейном Кроссом, обнаружив, что он волочится за Ирмой Отли. Ирма охладела к Блиссу Бриджу, и тот перенес свою привязанность на Джорджию Тимберлейк. Стефани Плейто, наиболее одаренная из всех, проявила еще большую непоследовательность в своих поступках. Ее связь с Гарднером Ноулзом началась, когда Стефани не было и двадцати лет. Очень скоро Лейн Кросс возбудил ее интерес: он был значительно старше Ноулза, — Лейну уже стукнуло сорок, а Ноулзу едва сравнялось двадцать четыре, — и, кроме того, на нее произвели впечатление его якобы серьезные творческие поиски. Лейн охотно пошел ей навстречу. Возникла еще одна чувственная и пустая связь; человек этот, казавшийся Стефани значительным, был по существу ничтожеством. Но мало-помалу Стефани уже стала смутно предчувствовать, что самое большое и увлекательное еще впереди, что она может встретить человека несравненно более интересного, чем ее теперешние возлюбленные. Впрочем, пока это были только мечты. Порой она думала о Каупервуде; но он, казалось ей, был погружен в какие-то ужасно серьезные и скучные дела, был слишком далек от романтики, от сцены, от любительского искусства — словом, от того мира, в котором она жила.

25. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК

Стефани Плейто впервые обратила на себя внимание Каупервуда, когда он с Эйлин был у «гарриковцев» и увидел ее в «Электре». Ему понравилось, как она исполняла свою роль. Он подумал вдруг, что она красива. А вскоре после этого, вернувшись как-то вечером домой, он застал в гостиной Стефани. Она стояла, склонившись над его коллекцией нефритов, любуясь разложенными в ряд браслетами и серьгами. Каупервуда восхитила ритмичная линия ее гибкого тела. И он подумал, что Стефани — удивительная девушка, очень своеобразная, что, быть может, ее ждет известность и слава. А Стефани в это время думала о нем.

— Вы находите занятным эти безделушки? — спросил Каупервуд, подойдя к ней и став рядом.

— Ах, они чудесны! Особенно вот те, темно-зеленые! И эти бледные, почти белые, тоже прелесть! А какие они тяжелые. Эти нефриты были бы очень хороши с китайским костюмом. Я всегда мечтала найти какую-нибудь китайскую или японскую пьесу для постановки.

— Да, — сказал Каупервуд. — Вот эти серьги очень пошли бы к вашим волосам.

Никогда раньше он не говорил о ее внешности. Стефани подняла на него темные, бархатисто-карие глаза, светившиеся мягким матовым блеском, и Каупервуд подумал, что они поистине прекрасны; и руки тоже красивы — смуглые, как у малайки.

Больше он не сказал ни слова, но на другой день рассыльный вручил Стефани изящную коробочку, в которой она обнаружила нефритовые украшения: серьги, браслет и брошь с выгравированными на ней китайскими иероглифами. Стефани была вне себя от восторга. Она долго любовалась драгоценностями и прижимала их к губам, потом надела серьги, браслет, приколола брошь. Несмотря на свои любовные приключения, широкий круг знакомств и постоянное общение с легкомысленным миром богемы, Стефани еще плохо знала жизнь и в душе оставалась ребенком — взбалмошным, мечтательным, отравленным романтическими бреднями. Подарками ее никто не баловал, даже родители. Они покупали ей наряды и сверх этого выдавали по шесть долларов в неделю — на мелкие расходы. Запершись в своей комнате, Стефани разглядывала красивые побрякушки и с изумлением спрашивала себя — неужели она могла понравиться Каупервуду? Может ли такой серьезный деловой человек заинтересоваться ею? Она слышала, как ее отец говорил, что Каупервуд богатеет не по дням, а по часам. Неужели она и вправду большая актриса, как утверждают многие, и на нее начинают обращать внимание серьезные, энергичные, преуспевающие дельцы вроде Каупервуда! Стефани слышала о знаменитых актрисах — о «божественной» Сарре Бернар и ее возлюбленных, о Рашели, о Нэлл Гвин. Она сняла драгоценности и заперла их в черный резной ларец, который был хранилищем всех ее безделушек и сердечных тайн.

Стефани не отослала Каупервуду обратно его подарки, из чего тот заключил, что она к нему расположена. Он терпеливо ждал, и однажды в контору пришло письмо, адресованное: «Фрэнку Алджернону Каупервуду, в собственные руки». Письмо было написано очень старательно, четким, аккуратным, мелким, как бисер, почерком.

«Не знаю, как благодарить Вас за Ваш изумительный подарок. Конечно, это могли сделать только Вы, хотя у меня и в мыслях не было, что мои слова будут так истолкованы. Принимаю Ваш дар с искренней признательностью и буду всегда носить его с восторгом. Это очень мило с Вашей стороны.

Стефани Плейто».

Каупервуд внимательно поглядел на почерк, бумагу и еще раз перечитал недлинное послание. Для молоденькой девушки написано неглупо, сдержанно и тактично. И у нее хватило сообразительности не написать на домашний адрес. Он не тревожил ее еще неделю, а в воскресенье вечером столкнулся с ней лицом к лицу у себя в гостиной. Эйлин не было дома, и Стефани сидела у окна, делая вид, будто дожидается ее возвращения.

— Вы выглядите восхитительно в раме этого окна, — сказал Каупервуд. — Весь этот фон очень вам к лицу.

— Вы находите? — Темные глаза смотрели на него задумчиво, мечтательно. Высокое окно в тяжелой дубовой раме позади Стефани было позолочено лучами зимнего заката.

Стефани тщательно обдумала свой наряд, готовясь к этой встрече. Ее стриженные густые черные волосы были, как у маленькой девочки, подхвачены сзади алой лентой, завязанной бантиком на макушке, и падали свободными локонами на виски и уши. Стройную, гибкую фигурку облекала травянистого цвета блузка и пышная черная юбка с красным рюшем на подоле. Тонкие смуглые руки были обнажены по локоть, на левом запястье тускло поблескивал нефритовый браслет, подарок Каупервуда. Шелковые чулки такого же травянисто-зеленого цвета, как блузка, и, невзирая на прохладный день — легкие кокетливые туфельки с бронзовыми пряжками завершали ее туалет.

Каупервуд вышел, чтобы снять пальто, и тотчас вернулся в гостиную; на губах его играла улыбка.

— Разве миссис Каупервуд нет дома?

— Ваш дворецкий сказал, что она поехала навестить кого-то, и я решила немного подождать — может быть, она скоро вернется.

Стефани обратила к нему смуглое улыбающееся лицо, и, встретив взгляд ее мечтательных глаз, он внезапно и вполне отчетливо понял, что она и в жизни играет, как на сцене.

— Вам понравился мой браслет, я вижу.

— Он очень красив, — отвечала Стефани, опустив глаза и задумчиво разглядывая браслет. — Я не всегда надеваю его, но никогда с ним не расстаюсь — ношу с собой в муфте. Сейчас надела на минутку. Я все ваши подарки ношу с собой. Они мне очень нравятся. Их так приятно трогать.

Она открыла маленькую замшевую сумочку, лежавшую на подоконнике, рядом с носовым платком и альбомом для эскизов, который она всюду носила с собой, и вынула оттуда серьги и брошь.

Каупервуд был восхищен и взволнован таким непосредственным проявлением восторга. Он очень любил свои нефриты, но еще больше любил наблюдать восхищение, которое они вызывали в других. Юность с ее надеждами и стремлениями, воплощенная в женском облике, всегда имела над ним необоримую власть, а здесь перед его глазами были юность, красота и честолюбие, слитые воедино в облике молодой девушки. Стремление Стефани выдвинуться, чего-то достичь — не важно, чего именно, — находило в нем живой отклик; он снисходительно, почти по-отечески, взирал на проявление эгоизма, суетности, тщеславия, столь часто свойственных молодым и красивым женщинам. Хрупкие нежные цветы, распустившиеся на древе жизни, красота их так недолговечна! Грубо, походя, обрывать их было не в его натуре, но тем, кто сам тянулся к нему, не приходилось сетовать на его жестокосердие. Словом, Каупервуд был натура широкая и щедрая во всем, что касалось женщин.

— Как это мило, — сказал он улыбаясь. — Я очень тронут. — Потом, заметив альбом, спросил: — А что у вас здесь?

— Так, наброски.

— Можно взглянуть?

— Нет, нет, это все пустяки, — запротестовала она. — Я плохо рисую.

— Вы одаренная девушка! — сказал он, беря альбом. — Живопись, резьба по дереву, музыка, пение, сцена — чем только вы не занимаетесь.

— И всем довольно посредственно, — вздохнула она, медленно отвела от него взгляд и отвернулась. В этом альбоме хранились лучшие из ее рисунков: тут были наброски обнаженных женщин, танцовщиц; бегущие фигуры, торсы, женские головки, мечтательно запрокинутые назад, чувственно грезящие с полузакрытыми глазами; карандашные зарисовки братьев и сестер Стефани, ее отца и матери.

— Восхитительно! — воскликнул Каупервуд, загораясь при мысли, что он открыл новое сокровище. Черт побери, где были его глаза! Это же бриллиант, бриллиант чистейшей воды, неиспорченный, нетронутый, и сам дается ему в руки! В рисунках были проникновение и огонь, затаенный, подспудно тлеющий, и Каупервуд ощутил трепет восторга.

— По-моему, ваши рисунки очаровательны, Стефани, — сказал он просто, охваченный странным, непривычным для него приливом нежности. В конце концов он ничего на свете так не любил, как искусство. Оно обладало для него какой-то гипнотической силой. — Вы учились живописи?

— Нет.

— А играть на сцене вы тоже никогда не учились?

— Тоже нет.

Она медленно, печально и кокетливо покачала головой. В темных локонах, прикрывавших ее уши, было что-то странно трогательное.

— Я видел вас на сцене — это настоящее, подлинное искусство. А теперь открыл в вас еще один талант. Как же это я не сумел сразу разгадать вас?

— Ах, — снова вздохнула она. — А мне все кажется, что я просто играю во все понемножку, как в куклы. Порой даже хочется плакать, как подумаешь, на что уходят годы.

— В двадцать-то лет?

— А разве это мало? — лукаво улыбнулась она.

— Стефани, — осторожно спросил Каупервуд, — сколько вам все же лет?

— В апреле исполнится двадцать один, — отвечала она.

— Ваши родители очень строги к вам?

Она задумчиво покачала головой.

— Нет. А почему вы спрашиваете? Они не очень-то много уделяют мне внимания. Люсиль, Джильберта и Ормонда они всегда любили больше, чем меня.

— Голос ее звучал жалобно, как у заброшенного ребенка. Она часто пускала в ход эти нотки на сцене, в наиболее патетических местах.

— Ваши родители понимают, как вы талантливы?

— Мама, по-моему, считает, что у меня есть кое-какие способности. Папа, конечно, нет. А что?

Она подняла на него томный, жалобный взгляд.

— Послушайте, Стефани, вы изумительны. Я понял это еще в тот вечер, когда вы любовались моими нефритами. Я вдруг словно прозрел. Вы настоящий художник, а я был так погружен в свои дела, что едва не проглядел вас. Ответьте мне на один вопрос.

— Да?

Она взглянула на него снизу вверх из-под темных локонов, падавших ей на лоб, беззвучно, глубоко вздохнула, грудь ее всколыхнулась; руки безвольно и неподвижно продолжали лежать на коленях. Потом, словно смутившись, она отвела взгляд.

— Посмотрите на меня, Стефани. Подымите глаза! Я хочу задать вам один вопрос. Вы знаете меня уже больше года. Скажите — я нравлюсь вам?

— Вы — удивительный, необыкновенный, — пробормотала она.

— И это все?

— А вам этого мало! — Она улыбнулась ему, и в ее темных глазах, как в глубине черного опала, блеснули искорки.

— Вы надели сегодня мой браслет. Я доставил вам радость, прислав его?

— О да! — прошептала она чуть слышно, как бы пересиливая охватившее ее волнение.

— Вы прекрасны, Стефани, — сказал он, поднимаясь со стула и глядя на нее сверху вниз.

Она покачала головой.

— Неправда.

— Правда, правда.

— Нет, неправда.

— Встаньте, Стефани. Подойдите ко мне, посмотрите мне в глаза. Вы такая высокая, стройная и грациозная. Вы — экзотический цветок.

Он обнял ее, а она слегка вздохнула и изогнулась, как лоза, отстраняясь от него.

— Мне кажется, мы не должны этого делать. Ведь нехорошо, правда? — наивно спросила она, после минутного молчания выскальзывая из его объятий.

— Стефани!

— Мне теперь, пожалуй, пора домой.

26. ЛЮБОВЬ И БОРЬБА

И вот в ту пору, когда Каупервуд начинал воевать за городской железнодорожный транспорт Чикаго, возникла эта связь, значительно более серьезная, чем многие предшествовавшие ей. Стефани Плейто сумела возбудить в Каупервуде весьма пылкие чувства. После нескольких тайных свиданий с девушкой Каупервуд, действуя по уже установившемуся шаблону, снял холостую квартиру в деловой части города — удобное прибежище для любовных встреч. Однако ни частые свидания, ни долгие беседы не помогли ему ближе узнать Стефани. Она была очаровательна — редкостная находка в трезвом, будничном Чикаго, — но вместе с тем загадочна и неуловима. Они часто завтракали вместе, болтали; Стефани посвятила Каупервуда в свои честолюбивые замыслы, рассказала; как нуждается она в духовной поддержке, в преданном друге, который верил бы в ее талант и тем укреплял бы ее веру в себя. Вскоре он уже все знал о ее семье, о знакомых, о закулисной жизни «гарриковцев», о

нараставшем разладе в труппе. Однажды, когда они сидели вдвоем в своем укромном гнездышке и страсть уже начинала заглушать в них голос рассудка, Каупервуд спросил, имела ли она раньше…

— Только раз, — с самым простодушным видом призналась Стефани.

Такое открытие было большим ударом для Каупервуда. А он-то думал, что эта девушка свежа и нетронута! Но Стефани принялась уверять его, что все произошло совсем случайно, что она вовсе этого не хотела, нет, нет! Она говорила так искренне, так задушевно, с таким серьезным, задумчивым видом, с таким сокрушением, что Каупервуд был растроган. Бедная девочка. Это Гарднер Ноулз, призналась Стефани. Но его тоже нельзя особенно винить. Все случилось как-то само собой. Она сопротивлялась, но… Была ли она оскорблена? Да, конечно, но потом ей стало жаль Гарднера и как-то не хотелось причинять ему неприятности. Он такой славный мальчик, и сестра и мать у него очень милые.

Каупервуд был озадачен. Правда, при его взглядах на жизнь открытия подобного рода не должны были производить на него ошеломляющего впечатления, но Стефани, такая юная и очаровательная! Нет, это ужасно! А папаша и мамаша Плейто — вот ослы-то! Позволять дочери жить в этой нездоровой атмосфере театральных подмостков и даже не приглядывать за ней как следует. Впрочем, он уже успел заметить, что приглядывать за Стефани было не так-то просто. Беспечное, чувственное и неуравновешенное создание, неспособное постоять за себя. Подумать только — спуталась с этим негодяем, да еще продолжает с ним дружить! Стефани клялась, впрочем, что после той единственной встречи эта связь оборвалась. Каупервуд не слишком верил ей. Она лгала, конечно, но что делать — его так тянуло к ней. Даже самое это признание было сделано столь непосредственно, наивно и романтично, что оно ошеломило, заинтересовало и даже как будто еще сильнее приворожило к ней Каупервуда.

— Но послушай, Стефани, — настаивал он, снедаемый болезненным любопытством. — Это же не могло так, вдруг, кончиться? Что было потом? Что ты сделала?

Она покачала головой:

— Ничего.

Каупервуд не мог не улыбнуться.

— Ах, пожалуйста, не будем об этом говорить! — взмолилась Стефани. — Я не хочу. Мне больно вспоминать. Ничего больше не было, ничего!

Она вздохнула, и Каупервуд задумался. Зло уже совершилось, и если он дорожит Стефани, — а он несомненно дорожил ею, — значит, нужно предать все это забвению — и только. Он смотрел на Стефани, сомневаясь, не доверяя. Сколько обаяния в этой девочке, в ее мечтательности, наивности, непосредственности и как чувствуется в ней одаренность! Может ли он отказаться от нее?

Казалось, Каупервуд должен был бы понимать, что такой девушке, как Стефани, верить нельзя, тем более что не он первый пробудил ее чувственность, а настоящей всепоглощающей любви она к нему не испытывала. К тому же последние два года ее так избаловали лестью и поклонением, что целиком завладеть ее вниманием было нелегко. Правда, сейчас Каупервуд покорил ее обаянием своей силы. Разве это не восхитительно — видеть у своих ног такого замечательного, такого могущественного человека? — думала Стефани. В ее представлении он был не столько дельцом, сколько великим художником в области финансов, и Каупервуд вскоре это понял и был польщен. Стефани все больше и больше приводила его в восторг; он не ждал такого огня, ее страсть, хоть и сдержанная, не уступала его чувству. А как она принимала его подарки, с какой своеобразной ленивой грацией, так отличавшей ее от всех его прежних возлюбленных! У нее был такт, этим она напоминала ему Риту Сольберг, но в отличие от Риты она бывала порой так странно тиха и молчалива.

— Стефани! — взывал тогда к ней Каупервуд. — Вымолви хоть слово! О чем ты думаешь? Ты грезишь наяву, как дикарка с берегов Конго.

Но она сидела молча и только улыбалась своей загадочной улыбкой и так же молча принималась набрасывать его портрет или лепить бюст. Она вечно чертила что-то в своем альбоме. Потом внезапно, охваченная страстью, откладывала альбом в сторону и молча смотрела на Каупервуда или, опустив глаза, погружалась в глубокую задумчивость. Он протягивал к ней руки, и она с легким радостным вздохом устремлялась к нему.

Да, это были восхитительные дни.

Каупервуд держал совет с Эддисоном и Мак-Кенти относительно требования молодого Мак-Дональда уплатить ему пятьдесят тысяч акциями компании и не слишком благожелательной позиции, занятой другими издателями — Хиссопом, Брэкстоном, Рикетсом.

— Прохвост! — лаконично изрек Мак-Кенти, выслушав рассказ Каупервуда. — В одном отношении он безусловно превзойдет своего папашу — загребет больше денег.

Мак-Кенти видел генерала Мак-Дональда только однажды, но старик понравился ему.

— Интересно, что сказал бы старый Мак-Дональд, узнай он про эти плутни,

— заметил Эддисон, который очень любил старика. — Да он бы сразу потерял сон.

— Тут нельзя упускать из виду одно обстоятельство, — подумав, заметил Каупервуд. — Этот молодой человек рано или поздно станет владельцем «Инкуайэрера». А он, мне кажется, не из тех, кто забывает обиды. — Каупервуд презрительно улыбнулся, и Мак-Кенти и Эддисон улыбнулись тоже.

— Ну, там видно будет, — заметил последний. — Пока что он еще не хозяин газеты.

Мак-Кенти, делившийся своими мыслями только с Каупервудом, подождал, пока они останутся наедине.

— А что они могут сделать? — спросил он. — Ваше предложение практично и разумно. Почему бы городу не отдать вам этот туннель? Кому и на что он нужен — в таком виде, как сейчас? А что касается постройки петли — так ведь другим-то компаниям это разрешалось? Думается мне, что это все Чикагская городская железнодорожная и газовые компании мутят воду и подстрекают всех против вас, вкупе с этими зазнайками со Стэйт-стрит. Мне уже не впервой иметь с ними дело. Дайте им сорвать хороший куш — и они будут кричать, что это замечательное, высоконравственное начинание. Дайте поживиться кому-нибудь другому — и они завопят о грязных махинациях. На них нечего обращать внимание. Муниципалитет у нас в руках. Как только они вынесут решение — ваше дело в шляпе. Пусть попробуют доказать, что здесь что-нибудь не чисто. Мэр — человек толковый. Он живо подпишет то, что решат члены муниципалитета. А этот мальчишка Мак-Дональд может трепать языком, сколько ему угодно. Если он уж чересчур зарвется, — потолкуйте с его отцом. Ну, а Хиссоп — тот просто старая приживалка. Я еще никогда не видел, чтобы он поддержал какое-нибудь действительно полезное для города начинание, если только оно не на руку Шрайхарту, или Мэррилу, или Арнилу, или еще кому-нибудь из этой шайки. Я их не первый год знаю. Мой совет — послать их ко всем чертям и действовать. Они забрали в городе силу, а теперь забирайте ее вы, и тогда сразу все пойдет как по маслу. Больше они уж ничего задаром не получат. Они не очень-то шли мне навстречу, когда я нуждался в поддержке.

Но Каупервуд молчал, холодно взвешивая все «за» и «против». Стоит ли давать взятку мистеру Мак-Дональду младшему? — спрашивал он себя. Эддисон считал, что Мак-Дональд не может оказать влияния на исход дела. В конце концов, обдумав все, Каупервуд решил держаться ранее намеченного плана. В результате репортерам — тем, что всегда толклись в кулуарах муниципалитета и были связаны с олдерменом Томасом Даулннгом, главным подручным Мак-Кенти в муниципалитете, а также от случая к случаю (по существу же довольно регулярно) заглядывали в контору Северо-чикагской транспортной, иными словами — в новую элегантную контору Каупервуда на Северной стороне, — дано было понять, что в самом непродолжительном времени муниципалитет примет два важных решения, а именно: передаст Северной компании в бессрочное и безвозмездное пользование — то есть попросту подарит — туннель на Ла-Саль-стрит и даст разрешение на прокладку новой петли городской железной дороги по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф. Каупервуд во время интервью весьма цветисто расписывал те усовершенствования, которые проводит и собирается проводить впредь Северо-чикагская транспортная и какое блестящее будущее это сулит Северной стороне и деловым кварталам города.

Шрайхарт, Мэррил и прочие лица, связанные с Железнодорожной компанией Западной стороны, немедленно подняли крик в клубах и в редакциях газет, науськивая Брэкстона, Рикетса, молодого Мак-Дональда и других издателей на Каупервуда. Все они бешено завидовали Каупервуду, его головокружительным успехам. О том, что другие компании совершенно безвозмездно получали от города различные привилегии, как видно, успели уже позабыть, саркастически заметил по этому поводу Каупервуд.

Ловкая махинация, проделанная Каупервудом с чикагскими газовыми компаниями, его смелая, хотя и безуспешная попытка проникнуть в чикагский «высший свет», его филадельфийские злоключения, которых он не скрывал, — все это заставляло ультраконсервативных дельцов города относиться к нему крайне настороженно. В «Кроникл», газете, финансируемой Шрайхартом, появилось сообщение, озаглавленное: «Наглое присвоение городского туннеля». Это был резкий выпад, и Каупервуд пришел в бешенство. С другой стороны, «Пресс», газета Хейгенина, встретила проект постройки новой петли в

высшей степени сочувственно и выразила только некоторое сомнение насчет туннеля — следует ли отдавать его Каупервуду совершенно безвозмездно. Другой издатель, Хиссоп, почел своим долгом заявить, что чисто номинальной компенсации за туннель, разумеется, недостаточно, и кроме того, если уж разрешать постройку; петли, то нужно обязать при этом Северную компанию содержать в порядке предоставленные в ее распоряжение улицы, заботиться об их ремонте и освещении. «Инкуайэрер», в котором все еще хозяйничали мистер Дю-Буа и мистер Мак-Дональд младший, метал громы и молнии. Чикаго не отдаст свои туннели безвозмездно. Никаких концессий на прокладку новых линий в деловой части города! Правда, по адресу самого Каупервуда не было сказано ни слова. «Глоб», газета мистера Брэкстона, выражала уверенность, что попытка завладеть туннелями не увенчается успехом, а петлю предлагала проложить по Стэйт-стрит, либо по Уобеш авеню, либо по обеим этим улицам (где, кстати сказать, помещались магазины мистера Мэррила), так как это якобы создавало больше удобств для населения. Подобные заметки появлялись изо дня в день, и это достаточно красноречиво свидетельствовало. о том, в какой мере газетная полемика отражала подлинные интересы населения.

Каупервуд, не желавший считаться ни с кем, неизменно самоуверенный, проявлял полное равнодушие к проискам врагов, хотя в душе и был раздосадован, что так кончились все его заигрывания с прессой! Что ж, Мак-Кенти был прав — нужно действовать, нужно прежде всего показать им свою силу. Когда по вновь проложенным путям побегут вагоны канатной железной дороги и ярко засияет огнями отремонтированный туннель, когда заторам и давке у мостов будет положен конец, население увидит, какую пользу принес городу Фрэнк Алджернон Каупервуд, и станет на его сторону.

Наконец все было готово, и проект Каупервуда протащили через муниципалитет. Мак-Кенти, не будучи вполне уверен в исходе дела, приказал поставить себе кресло-качалку прямо в зале совещаний. В этом кресле он восседал все время, пока обсуждался проект, — не более как посторонний зритель с виду, истинный вдохновитель и режиссер этой постановки по существу. Все, в том числе и Каупервуд, узнали о поступке Мак-Кенти, когда ничего уже нельзя было поделать. Прочтя весьма язвительное описание этой выходки в газетах, Эддисон и Видера, словно по команде, удивленно подняли брови и тут же нахмурились.

— Да-а, грубая, я бы сказал, работа, — протянул Эддисон. — Я думал, что у Мак-Кенти больше такта. Вот оно — ирландское воспитание.

Александр Рэмбо, неизменный поклонник и почитатель Каупервуда, просмотрев газеты, не поверил своим глазам: неужели Каупервуд и вправду стакнулся с этим проходимцем Мак-Кенти и окончательно пренебрег общественным мнением? Проект Каупервуда казался мистеру Рэмбо настолько дельным и целесообразным, что он решительно не понимал, как можно против него возражать и зачем Мак-Кенти и Каупервуду понадобилось прибегать к подобным методам?

Но как бы то ни было, а Каупервуд добился своего — он получил концессию на постройку петли, и туннель был сдан ему в аренду сроком на девятьсот девяносто девять лет за пять тысяч долларов в год. При этом было обусловлено, что Каупервуд должен отремонтировать все три старых моста в конце Стэйт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит или поставить новые. Однако в решении муниципалитета имелась какая-то юридическая «закорючка», которая фактически аннулировала это условие. В местной печати тотчас разразилась буря. Особенно неистовствовали «Кроникл», «Инкуайэрер» и «Глоб», но Каупервуд только улыбался, просматривая газеты. «Пусть себе вопят, — думал он. — Мое предложение выгодно для всех. Чего они бесятся? Я делаю сейчас для города больше, чем Чикагская городская железнодорожная. Это просто зависть, и ничего больше. Будь на моем месте Шрайхарт или Мэррил, никто бы и не подумал возмущаться».

Мак-Кенти зашел в контору Чикагского кредитного общества, чтобы принести свои поздравления Каупервуду.

— Ребята не подкачали, — сказал он. — Недаром я на них надеялся. Но все же пришлось самому торчать там: меня предупредили, что десяток этих молодчиков договорились угробить наш проект в последнюю минуту.

— Ничего не скажешь, чистая работа, — весело отвечал Каупервуд. — Вся эта шумиха скоро уляжется. С чем бы мы ни обратились в муниципалитет, все равно поднялся бы крик. Но теперь атмосфера разрядится. Мы создадим первоклассный транспорт, и все будут только рады, что отдали нам этот туннель.

Тем не менее на следующий день после заседания муниципального совета многие влиятельные лица города возмущались и негодовали, обсуждая вынесенное решение. Мистер Норман Шрайхарт кипел от возмущения и разносил Каупервуда в финансируемой им газете; встретившись с издателем Рикетсом, он поглядел на него довольно хмуро.

— Итак, — произнес сей финансовый туз, уже предвидевший впереди новую беду: покушение на его драгоценный заповедник — Чикагскую городскую железнодорожную, — я вижу, что наш друг, мистер Каупервуд, ухитрился все-таки вырвать у муниципалитета этот туннель. Будьте уверены, уж он не жалеет денег на взятки, когда ему нужно чего-нибудь добиться. Скользкий и увертливый, как угорь. Недурно было бы установить, что между ним и разными политиканами, которые вьются вокруг городского самоуправления, существует сговор; или хотя бы между ним и Мак-Кенти. Я уверен, что Каупервуд задумал все прибрать здесь к рукам — все доходные предприятия города, муниципалитет, все! За ним нужно зорко следить. Нужно

восстановить против него общественное мнение, тогда — придет час, и мы его свалим. Чикаго покажется ему самым неуютным местом на земле! А с Мак-Кенти я хоть и знаком, но предпочитаю никаких дел не иметь.

Мистер Шрайхарт вел свои дела в муниципалитете через посредство почтенных, но не слишком расторопных стряпчих, состоявших на службе у Южной компании. Добраться до Мак-Кенти им было просто не под силу. Рикетс, как оказалось, целиком разделял мнение своего патрона.

— Вы правы, вы безусловно правы! — воскликнул он, тараща свои совиные глаза, поправляя манжеты и стараясь приладить на место отвисшую пуговицу жилетки. — Мак-Кенти хозяйничает там вовсю. Нужно глядеть в оба, если мы хотим поймать его.

По правде говоря, мистер Рикетс с радостью переметнулся бы на сторону Каупервуда, не будь он слишком многим обязан Шрайхарту, и не потому, что Каупервуд успел расположить его к себе, — просто издатель распознал в нем человека с будущим.

Тем временем в редакции газеты «Инкуайэрер» мистер Мак-Дональд младший вел беседу с мистером Дю-Буа. Мысль о том, как мало он достиг своим телефонным звонком к Каупервуду, не давала покоя мистеру Мак-Дональду, и он пребывал в желчном и раздраженном состоянии духа.

— Ну что ж, наш друг Каупервуд не захотел, как видно, воспользоваться дружеским советом, — заметил он. — Сейчас ему удалось добиться своего, но пусть он не думает, что «Инкуайэрер» уже свел с ним счеты. Ему еще не раз придется обращаться в муниципалитет.

Клиффорд Дю-Буа с затаенным любопытством наблюдал за молодым патроном. Он решительно ничего не знал о некоем телефонном разговоре между ним и Каупервудом, но зато очень хорошо знал, как поступил бы он с этим финансистом, доводись ему оказаться на месте Мак-Дональда младшего.

— Да, Каупервуд — ловкая бестия, — заметил он. — Причард, наш человек в муниципалитете, говорит, что этот Каупервуд вместе с Мак-Кенти уже подкупил там всех — от младшего клерка до самого мэра, — и теперь они могут добиться всего, чего бы ни пожелали. Том Даулинг пляшет под их дудку, а вы сами понимаете, что это значит. Старый генерал Ван-Сайкл тоже работает на них, а уж этот дряхлый стервятник всегда вьется там, где есть чем поживиться.

— Да, нюх у него хороший, — согласился Мак-Дональд. — Но Каупервуду все это не долго будет сходить с рук. Он чересчур зарвался. Слишком уж у него большой аппетит.

Мистер Дю-Буа усмехнулся про себя. Его немало позабавило то, как Каупервуд, словно от назойливой мухи, отмахнулся от молодого Мак-Дональда к всех его претензий и отказался до поры до времени от услуг «Инкуайэрера». В глубине души мистер Дю-Буа был почти уверен, что, не будь старый генерал сейчас в отъезде, он, вероятно, поддержал бы этого весьма предприимчивого дельца.

Каупервуд же, присвоив туннель на Ла-Саль-стрит и завладев четырьмя центральными улицами делового квартала для прокладки своей пресловутой петли, теперь в течение восьми месяцев готовился к выполнению второй части плана, а именно: к захвату туннеля на Вашингтон-стрит, с тем чтобы прибрать к рукам и Железнодорожную компанию Западной стороны, которая все еще продолжала гонять по улицам свои ветхозаветные конки. Вся история атаки на Северо-чикагскую железнодорожную повторилась тут снова, и даже без особых изменений, ибо обычные держатели акций, как правило, народ чрезвычайно нервный, неустойчивый и пугливый. Они подобны моллюску, который, чуть что, прячется в свою раковину и замирает там в полной неподвижности. Налоговый отдел муниципалитета, смотревший раньше сквозь пальцы на несвоевременную уплату налогов Западной компанией, теперь начал вдруг предъявлять к ней иск за иском. Отдел городского благоустройства не менее внезапно заинтересовался плохим состоянием улиц на Западной стороне. Управление городского водопровода вдруг при помощи какого-то удивительного трюка обнаружило, что Западная компания ворует воду. В это же самое время любезные, обходительные агенты Каупервуда, Кафрата, Эддисона, Видера и других стали наведываться то к одному акционеру или члену правления Западной компании, то к другому и расписывать, какое процветание и благоденствие наступит для этой компании, если она согласится уступить на известный срок пятьдесят один процент из тысячи двухсот пятидесяти принадлежащих ей акций на баснословно выгодных условиях — по шестисот долларов за каждую двухсотдолларовую акцию, плюс тридцать процентов гарантированного дохода на все остальные акции.

Ну как тут было устоять? Лупи собаку палкой, мори ее голодом, потом ласкай, подкармливай, снова лупи и снова приручай подачками, и в конце концов она начнет проделывать любые фокусы. Этот метод был хорошо известен Каупервуду. Его агенты, действовавшие и угрозами и подачками, были неутомимы. В конце концов — и ждать этого пришлось не так уж долго — члены правления и главные акционеры Западной компании сдались, и не успел никто оглянуться, как Железнодорожная компания Западной стороны уже передала свою собственность Северо-чикагской транспортной, а та в свою очередь переуступила ее Чикагской городской пассажирской, созданной Каупервудом в целях захвата туннеля на Вашингтон-стрит. Но

как, как удалось ему все это проделать? — изумлялись чикагские дельцы. Кто эти лица или фирмы, располагающие такими огромными средствами? Ведь подумать только — из тысячи двухсот пятидесяти акций, принадлежавших старушке Западной, они получили шестьсот пятьдесят, уплатив за каждую акцию по шестьсот долларов, да еще обязались выплачивать тридцать процентов ежегодно на все оставшиеся акции! А сооружение канатных дорог! Откуда берутся такие средства? Ответ был прост, стоило лишь пораскинуть мозгами. Каупервуд раздобыл их под будущие доходы.

И вот, прежде чем кто-либо, в том числе и газеты, успел заявить протест, толпы людей были уже за работой. День и ночь в деловой части города стучали молоты, пылали факелы, превращая эти кварталы в некое подобие ада. Прокладывалась первая линия канатной железной дороги. Восстановительные работы в туннеле на Ла-Саль-стрит шли полным ходом. То же самое происходило на Северной и Западной сторонах: закладывались первые бетонированные желоба для тросов, строились новые тяговые и прицепные вагоны, новые вагонные парки, воздвигались огромные, сияющие огнями силовые станции. Горожане, привыкшие томиться в ожидании у мостов и мерзнуть в неотапливаемых, устланных соломой вагонах конки, с грохотом подскакивающих на расшатанных рельсах, ждали с великим нетерпением, каков будет этот новый вид транспорта. Туннель на Ла-Саль-стрит уже сверкал свежей белой штукатуркой в ослепительных лучах электрических фонарей. По длинным улицам и проспектам Северной стороны протянулись бетонированные желоба и тяжелые устойчивые рельсы. Наконец постройка силовых станций здесь была закончена, и новая диковинная система пущена в ход. Западная сторона старалась не отстать от Северной.

Шрайхарт и его присные были ошеломлены такой быстротой действий, такой головокружительной фантасмагорией финансовых махинаций. В глазах консервативных магнатов чикагского городского железнодорожного транспорта этот делец из Восточных штатов был каким-то легендарным великаном, который готовился пожрать весь город. Чикагское кредитное общество, созданное им совместно с Эддисоном, Мак-Кенти и другими для всяческих манипуляций с выпусками долговых обязательств, процветало, причем, по слухам, и там фактически всем заправлял Каупервуд. Как видно, он мог уже выписывать чеки на миллионы долларов, даже не прибегая к займам у чикагских архимиллионеров. Самым чудовищным и возмутительным было то, что этот выскочка, этот острожник, этот проходимец Каупервуд, которого они сплоченными усилиями старались задушить как финансиста и подвергнуть остракизму, становился весьма популярной личностью в глазах чикагских горожан. Только и слышно было: «Каупервуд полагает… Каупервуд придерживается того взгляда…» Газеты — даже те, что были настроены враждебно, — уже не решались пренебрегать им. Все денежные тузы, фактические хозяева газет, вынуждены были признать, что у них появился новый и весьма серьезный противник, достойный скрестить с ними шпагу.

27. ОЧАРОВАННЫЙ ФИНАНСИСТ

Интересно отметить, что в самый разгар всех этих событий, когда в орбиту деятельности предприятий городского железнодорожного транспорта были вовлечены уже тысячи и десятки тысяч людей, Каупервуд, энергичный и неутомимый, как всегда, находил время отдыхать и развлекаться в обществе Стефани Плейто. Духовный облик и обаяние Риты Сольберг как бы возродились для него в этой девушке. Однако Рита была ему верна; пока Каупервуд любил ее, она не помышляла об измене. Даже по отношению к Гарольду Рита долгое время была безупречна, хотя знала, что он напропалую волочится за другими женщинами. Стефани же, наоборот, казалось непонятным, почему, любя, нужно хранить верность; она могла любить Каупервуда и с легким сердцем его обманывать. Да и любила ли она его? И да и нет. Чувственная и ленивая, Стефани отличалась вместе с тем каким-то наивным простодушием и добротой. Ей казалось невозможным порвать с Гарднером Ноулзом или Лейном Кроссом — ведь оба они такие милые и всегда были добры к ней. Гарднер Ноулз везде и всюду восхвалял ее талант, надеясь, что слава о ней дойдет до профессиональных театров, приезжавших в Чикаго на гастроли, и она будет принята в труппу и со временем станет знаменитостью. А Лейн Кросс — тот попросту был влюблен в нее без памяти, что делало разрыв с ним особенно тяжелым и вместе с тем, рано или поздно, — неизбежным. А потом появился еще третий — молодой поэт и драматург по имени Форбс Герни, высокий, белокурый, восторженный… Он ухаживал за Стефани, вернее — она кокетничала с ним в свободные минуты. Впрочем, у нее на все хватало времени, ибо Стефани не пожелала посещать колледж, как ее старшая сестра, заявив, что предпочитает «свободно развивать свои художественные вкусы и способности», чем она и занималась, то есть, попросту говоря, бездельничала.

Каупервуд постоянно слышал от нее рассказы о жизни их театрального мирка. Сначала он относился к ее болтовне с добродушной иронией. Стефани была в его глазах восторженным ребенком, увлеченным романтической атмосферой подмостков. Мало-помалу, однако, ее беспорядочный образ жизни начал возбуждать его любопытство. То она спешила к Лейну Кроссу, в его мастерскую, то проводила вечер на холостой квартире Блисса Бриджа, где, по ее словам, он всегда принимал «гарриковцев», то, после спектакля, отправлялась на очередную актерскую пирушку к Гарднеру Ноулзу, в его домик на Северной стороне. Каупервуд находил, что она ведет слишком свободную и независимую, чтобы не сказать больше, жизнь, но… такова была ее натура. Все же подозренье начало закрадываться в его душу.

— Где ты была вчера, Стефани? — допытывался он, когда они завтракали вместе, или гуляли, или катались по городу.

— О, вчера утром я была у Лейна Кросса, в его мастерской — примеряла индусские шали и покрывала. У него их такая уйма — оранжевые, синие, чудо как хороши! Как бы я хотела показаться тебе в них! Надо будет это непременно устроить.

— Ты была одна?

— Сначала одна. Я думала, что там будут Блисс Бридж и Этель Такермен, но они запоздали. Лейн Кросс такая прелесть! Он немножко чудак, но я очень люблю его. Его портреты удивительно оригинальны.

И она принималась расхваливать претенциозное и пустое искусство этого художника.

Каупервуд дивился — не портретам Лейна Кросса и не его шалям, — а тому миру, в котором нравилось жить Стефани. Он все еще не мог до конца постичь ее. Не мог заставить вразумительно объяснить всю историю ее отношений с Гарднером Ноулзом, которые, по ее заверениям, оборвались так внезапно. С тех пор как она рассказала ему об этом, сомнение не покидало его, ибо он был недоверчив по натуре. Но Стефани была так мила, так ребячлива, так непоследовательна и противоречива в своих поступках, что он терялся, не зная, что и думать. Она была прелестна, как цветок, и неуловима, как дуновение ветерка. А с цветком ведь не станешь пререкаться — особенно если ты эстет по натуре. Порой Стефани дарила ему блаженные минуты, восторг весеннего обновления, когда, припав к нему с затуманенным взором, забывалась в его объятиях. Она умела так тонко, с такой артистичностью болтать обо всем — о порыве ветра, облаках, озере, пыли, заклубившейся над дорогой, о контурах здания, завитке дыма. Прикорнув у него на коленях, она читала ему длинные монологи из «Ромео и Джульетты» или «Паоло и Франчески», из «Кольца и Книги» или «Кануна дня святой Агнессы» Китса. Каупервуд боялся потерять ее — она казалась ему дикой розой или ожившим произведением искусства. Ее альбом всегда был полон новых набросков. В ее муфте или в легкой шали, которую она носила летом, постоянно можно было обнаружить какую-нибудь только что вылепленную статуэтку. Неуверенно, застенчиво, как ребенок, она показывала ее Каупервуду, и, если статуэтка вызывала похвалу, если она ему нравилась, он получал ее в подарок. Каупервуд много думал о Стефани, но не мог ее понять.

В конце концов это состояние неуверенности, в котором он теперь постоянно пребывал, и вечные подозрения стали его злить и раздражать. Когда Стефани была с ним, она ласкалась и льнула к нему, но он видел, что и вдали от него она веселится и радуется жизни. Каупервуду впервые приходилось допытываться у своей возлюбленной, любит ли она его, — до сих пор он привык сам выслушивать подобные вопросы от женщин.

Каупервуд полагал, что его положение, богатство, открывавшиеся перед ним блестящие возможности должны крепко-накрепко привязать к нему любую женщину, однажды с ним сблизившуюся. Но Стефани была слишком молода и слишком поэтически настроена, чтобы всецело подпасть под обаяние богатства и громкого имени, а к тому же, видимо, недостаточно сильно увлечена Каупервудом. Она по-своему любила его, но ее новый приятель Форбс Герни тоже волновал ее воображение. Этот высокий, белокурый юноша с карими глазами и меланхолической улыбкой был очень беден. Он приехал в Чикаго из южной Миннесоты с несколько неопределенным намерением посвятить себя не то репортажу, не то поэзии, не то драматургии. А пока что добывал свой хлеб, работая агентом в мебельной фирме, — занятие, дававшее ему возможность с трех часов пополудни быть свободным. Одновременно он пытался, вернее — мечтал, завязать знакомства в мире чикагских журналистов, и его «открыл» Гарднер Ноулз.

Стефани впервые встретила Герни за кулисами у «гарриковцев». Она внимательно оглядела его удлиненное лицо в ореоле светлых волнистых волос, большой, красиво очерченный рот, прямой нос, глаза, обведенные томной синевой, и ей казалось, что она читает в этом лице какую-то затаенную тоску и страстную жажду жизни. Однажды Гарднер Ноулз принес переписанную от руки поэму этого юноши и прочел ее вслух всей компании — Стефани, Этели Такермен, Лейну Кроссу и Ирме Отли.

— Вот, послушайте, — сказал Гарднер Ноулз, вытаскивая из кармана тетрадку.

В поэме описывался волшебный сад, залитый лунным светом и напоенный ароматом цветущих деревьев, таинственная заводь и призрачные фигуры, пляшущие под мелодичные переливы музыки.

И флейты плач и ропот тамбурина В мелодии сливались воедино.

Стефани Плейто слушала, затаив дыхание; эти стихи были в ее вкусе, они задевали самые чувствительные струны ее души. Она попросила дать ей поэму и прочитала ее всю от начала до конца.

— По-моему, это очаровательно, — сказала она.

С того дня Стефани постоянно искала встречи с Форбсом Герни. Зачем? Она и сама не знала. Это даже не было кокетством. Она просто тянулась к нему, ей нравилось беседовать с ним о сцене, о пьесах, в которых она играла, о своих честолюбивых замыслах. Она сделала с него несколько набросков — точно так же, как делала наброски с Каупервуда и других. Каупервуд, перелистывая ее альбом, обнаружил эти рисунки, на которых Форбс Герни был явно идеализирован и представлен в самом романтическом ореоле.

— Кто это? — осведомился Каупервуд.

— О… это один молодой поэт, он часто бывает в нашем театре, Форбс Герни. Очаровательный — правда? У него такое бледное, мечтательное лицо.

Каупервуд с ироническим любопытством рассматривал рисунки. Глаза его потемнели.

— Еще один из свиты Стефани, — заметил он насмешливо. — Я вижу, что мне довелось примкнуть к довольно многолюдной процессии: Гарднер Ноулз, Лейн Кросс, Блисс Бридж, Форбс Герни…

Стефани капризно надула губки.

— Зачем ты так говоришь, Фрэнк! Блисс Бридж, Гарднер Ноулз! Конечно, я дружу с ними, я этого не скрываю, но и только. Они все очень милые и славные. Я уверена, что тебе бы понравился Лейн Кросс, — он такая забавная старая мартышка. А этот Форбс Герни просто заходит к нам иногда за кулисы вместе с другими зрителями. Я почти незнакома с ним.

— Ну, конечно, — мрачно проговорил Каупервуд. — Однако ты рисуешь с него портреты.

На этот раз Каупервуд инстинктивно не поверил Стефани. Да, собственно, он никогда ей не верил, ни единому ее слову. Но он был сильно увлечен ею, и, быть может, именно потому, что вечно в ней сомневался.

— Скажи мне правду, Стефани, — осторожно, но настойчиво сказал он ей однажды. — Ты знаешь, я не ревную к прошлому. Но мы с тобой настолько близки, что не должны ничего скрывать друг от друга. А ведь ты кое-что утаила от меня, когда рассказывала про Ноулза, верно? Скажи мне теперь правду, все как есть. Я прекрасно понимаю, как это могло случиться, и не придаю значения прошлому; для меня оно ничего не меняет, но я хочу знать правду.

Он поймал ее врасплох — она не была подготовлена к этой новой атаке. Тревога порой закрадывалась в ее сердце, когда она думала о тех, кого обманывала, и в такие минуты ей хотелось покончить с этим, быть честной, любить только одного Каупервуда… или кого-то другого, кто ей дороже… По сравнению с Каупервудом, с его блестящей карьерой, Кросс и Ноулз казались ей ничтожными и тривиальными, и все же… все же Ноулз нравился Стефани. Форбс Герни рядом с Каупервудом был просто жалкий нищий, зато… зато он был так поэтичен, так привлекателен в своей томной печали, и Стефани горячо сочувствовала ему. Он совсем одинок, этот мальчик! А Каупервуд такой сильный, уверенный в себе, такой обаятельный.

Быть может, ей просто захотелось облегчить душу? Как бы то ни было, но Стефани сказала вдруг:

— Да, правда, я не все рассказала тебе тогда. Мне было как-то стыдно.

Впрочем, и на этот раз ложь мешалась с правдой в ее словах: она призналась лишь в том, что у нее были еще встречи с Ноулзом. Каупервуд, слушая ее лепет, горел негодованием. Зачем связался он с этой лживой потаскушкой? Итак, в двадцать один год эта особа, не задумываясь, меняет любовников. Но она была так красива, так удивительно своеобразна; даже в этом ее бесстыдстве и своеволии была какая-то притягательная сила. Нет, он не мог отказаться от нее. Каупервуд чувствовал, что она чем-то сродни ему самому.

— Ты странная девушка, Стефани, — сказал он, усилием воли подавляя желание сказать ей что-то резкое, оскорбительное и расстаться с ней навсегда. — Почему ты сразу не рассказала мне все? Я же тебя спрашивал! Десятки, сотни раз. И ты еще уверяешь, что любишь меня!

— Как можешь ты так говорить! — с упреком воскликнула она, чувствуя, что допустила промах. А вдруг он бросит ее теперь? Стефани отнюдь этого не хотелось. Она заметила злой, ревнивый блеск его глаз и внезапно разрыдалась. — Ах, лучше бы я тебе ничего не рассказывала. Ведь и говорить-то даже не о чем. Я же совсем этого не хотела!

Каупервуд был озадачен. Он знал людей, и женщин в особенности. Здравый смысл подсказывал ему, что этой девушке нельзя верить, но он не мог противиться своему влечению к ней. Быть может, она все-таки не лжет и эти слезы непритворны?

— И ты хочешь уверить меня, Стефани, что у тебя действительно больше никого не было — ни до, ни после?

Стефани утерла слезы. Этот разговор происходил в холостой квартире Каупервуда на Рэндолф-стрит, снятой им специально для своих любовных похождений.

— Я вижу, ты совсем не любишь меня! — с горьким укором воскликнула Стефани. — Ты совсем не понимаешь меня и не веришь мне, должно быть. Когда я рассказываю тебе, как это было, ты не хочешь понять. Я же не лгу. Я не могу лгать. Если ты мне не веришь, так лучше нам больше не встречаться. Я хотела быть правдивой и откровенной с тобой, но если ты не хочешь мне верить…

Голос ее оборвался, она тяжело, скорбно вздохнула и умолкла, а Каупервуд смотрел на нее, и ему хотелось притянуть ее к себе… Какую необъяснимую власть имела над ним эта девочка! Он не верил ей, но не находил в себе сил с ней расстаться.

— Право, Стефани, ты ставишь меня в тупик, — проговорил он угрюмо. — Разумеется, я вовсе не хочу ссориться с тобой из-за того, что ты сказала мне правду. Но только прошу тебя, не обманывай меня. Ты необыкновенная девушка. Я могу очень много для тебя сделать, если ты захочешь. Ты должна это понять.

— Но я же не обманываю тебя, — повторила она устало. — Разве ты сам этого не видишь?

— Хорошо, я верю тебе, — сказал Каупервуд, стараясь обмануть самого себя наперекор рассудку. — Но ты ведешь такой рассеянный, такой, я бы сказал, фривольный образ жизни…

«Вот оно что! — подумала Стефани. — Я, как видно, слишком много болтаю».

— Я люблю тебя, Стефани. Я восхищаюсь тобой. Ты мне очень дорога. Не обманывай меня. Перестань ты встречаться с этими глупыми мальчишками. Поверь, они не стоят тебя. Я скоро добьюсь развода и женюсь на тебе.

— Да что же дурного в том, что я с ними встречаюсь? Мне с ними весело, они меня развлекают — вот и все. Лейн Кросс просто душечка, и Гарднер Ноулз тоже по-своему очень мил. И все они так добры ко мне.

Каупервуд был задет за живое, услыхав, что Лейн Кросс «душечка». Это взбесило его, и все же он сдержался.

— Дай мне слово, Стефани, что ты ничего не позволишь себе с этими субъектами до тех пор, пока мы с тобой любим друг друга, — сказал он почти молящим тоном, что далеко не входило в привычки Фрэнка Алджернона Каупервуда. — Я не хочу делить тебя ни с кем. И не стану. Я не ревную к тому, что было прежде, но требую, чтобы впредь ты была мне верна.

— Ну, что ты говоришь, Фрэнк! Конечно, я буду тебе верна. Но если ты мне не веришь, если… ах, господи боже мой! — она горестно вздохнула, а Каупервуд смотрел на нее и хмурился, с трудом подавляя шевелившиеся в нем подозрения и ревность.

— Хорошо, хорошо, Стефани, я уже сказал, что верю тебе. Верю на слово. Но если ты обманешь меня и я об этом узнаю, больше ты меня не увидишь. Повторяю, я не стану делить тебя ни с кем. Если хочешь знать, я просто не понимаю, как ты можешь, если только ты действительно меня любишь, находить удовольствие в обществе всех этих бездельников. Неужели все дело только в твоей безумной страсти к театру? Не может этого быть!

— Ну вот, я вижу, ты снова хочешь поссориться со мной! — ребячливым тоном воскликнула Стефани. — Я все время твержу тебе, как я тебя люблю, а ты просто не хочешь мне верить. Ну что ж, тогда, тогда… — И призвав на помощь все свое актерское мастерство, Стефани неудержимо разрыдалась.

Каупервуд заключил ее в объятия.

— Успокойся, успокойся, Стефани, — нежно сказал он. — Я верю тебе. Верю, что ты любишь меня. Хотелось бы мне только, чтобы ты не порхала по жизни, как мотылек.

Итак, эта первая размолвка закончилась примирением.

28. РАЗОБЛАЧЕНИЕ СТЕФАНИ

Но Стефани меньше всего помышляла о том, чтобы как-то упорядочить свою жизнь и сохранить верность Каупервуду. Не судите ее слишком строго. Неустойчивое, увлекающееся создание, ярко выраженная артистическая натура, она росла почти без присмотра в семье, которая не могла ни должным образом направить, ни воспитать ее. Каупервуд очень нравился Стефани своей энергией, силой своего характера. Но Форбс Герни нравился ей тоже, вернее

— окружавший его поэтический ореол. При каждой новой встрече Стефани с любопытством приглядывалась к этому юноше. Он был застенчив, замкнут, чуждался ее, но она решила разбить этот лед. Она видела, что он робок, беден, одинок, и это будило в ней чисто женскую потребность заботиться о нем.

Цели своей она достигла без труда. Как-то раз вечером Стефани и Форбс Герни сидели на борту легкой маленькой яхты Блисса Бриджа и, прислонясь к мачте, любовались серебристой лунной дорожкой за кормой. Вся остальная компания «убивала вечер» внизу в каюте: на палубу доносились взрывы смеха, веселые возгласы, пение. Все друзья Стефани уже заметили, что она увлечена Форбсом Герни. Его находили очаровательным, ее — своенравной, и решено было не мешать им, хотя, разумеется, не обошлось и без шуток по их адресу. Форбс Герни был наивен и неопытен по части любовных похождений; счастье само давалось ему в руки, но он не знал, как его взять. Он рассказывал Стефани о своем детстве, которое протекло среди пшеничных полей Северо-Запада, о том, как его семья уехала из Огайо, когда ему было всего три года, и как с малых лет он познал тяжелый труд землепашца. Не раз, оставив плуг в борозде, он отходил в сторонку и, стоя под деревом, изливал нахлынувшие на него мысли и чувства в простых, безыскусственных стихах, или, следя за полетом птиц, мечтал о том, как уедет в Чикаго и поступит учиться в колледж.

Стефани слушала, устремив на него задумчивый взгляд, в лунном свете ее кожа казалась бронзовой, а черные волосы отливали синевато-стальным блеском. Форбс Герни отнюдь не был нечувствителен к красоте. Собравшись в конце концов с духом, он отважился коснуться ее руки, не раз обвивавшей шею Ноулза, Кросса и Каупервуда. Стефани затрепетала. Этот мальчик был так очарователен. Она смотрела на его светлые, волнистые волосы, открытое юношеское лицо, и он казался ей молодым греческим богом. Она сидела не шевелясь, замерев в ожидании.

— Если бы я мог сказать вам, что я сейчас чувствую, — пробормотал, наконец, Форбс Герни срывающимся от волнения голосом.

Пальчики Стефани легли на его руку.

— Вы — прелесть, Форбс, — прошептала она. Он понял, что не будет отвергнут. Восторг охватил его. Он тихонько погладил руку Стефани, потом робко обнял ее за талию. Стефани сидела в полуоборот-к нему, мечтательно запрокинув голову, и он, осмелев, коснулся губами ее смуглой щеки. Головка Стефани без промедления склонилась к нему на плечо, и он восторженно зашептал ей на ухо первое, что пришло ему на ум: как она божественно хороша, как изумительна, неповторима!.. С точки зрения Стефани все это могло иметь только один конец. Небольшого поощрения с ее стороны оказалось достаточно, чтобы он пришел к ней домой. Там она повела его наверх, в маленькую гостиную, показать свои книги, играла ему, пела. Очутившись, наконец, в его объятиях, она помогла ему побороть застенчивость. Форбс Генри понял, что она более сведуща, чем он предполагал…

Каупервуд в эти дни был всецело поглощен устройством мощных силовых станций, установкой гигантских паровых двигателей, разработкой ставок заработной платы для своих рабочих, которых насчитывалось теперь на его предприятиях более двух тысяч и которые угрожали ему забастовкой, укреплением сводов и оборудованием туннеля на Ла-Саль-стрит, прокладкой новой петли по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф и выпуском акций своих новых предприятий. Однако непрошенная мысль нет-нет, да и закрадывалась к нему в голову: «А где сейчас Стефани, что она делает?» Время от времени она назначала ему свидания. Каупервуд заметил, что с тех пор, как он позволил себе однажды, воспользовавшись откровенностью Стефани, упрекнуть ее в легкомыслии и чересчур рассеянном образе жизни, ему приходилось все реже слышать о Гарднере Ноулзе, Лейне Кроссе и Форбсе Герни и все чаще о Джорджии Тимберлейк и Этели Такермен. Что значит эта внезапная скрытность? Раз как-то, впрочем, Стефани обронила несколько слов о Форбсе Герни, — ему так плохо живется, бедняжке, и костюм у него, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сама Стефани благодаря щедрости Каупервуда щеголяла в ослепительных туалетах. Она без стеснения брала у него столько, сколько ей требовалось, чтобы одеться по своему вкусу.

— Почему ты не пришлешь его ко мне? — спросил Каупервуд. — Я подыщу ему какое-нибудь занятие. — Пристроить мистера Герни на место, где можно было бы следить за каждым его шагом, показалось Каупервуду весьма заманчивым. Однако Форбс Герни не воспользовался этим великодушным предложением, а Стефани больше ни разу не заикалась о его бедственном положении. Как-то раз Каупервуд дал Стефани двести долларов и вскоре после этого встретил ее на Вашингтон-стрит в сопровождении Форбса Герни. Мистер Герни, бледный и томный, был, как ни странно, одет с иголочки. Каупервуд заметил у него в галстуке булавку, которую видел раньше у Стефани. Впрочем, она нимало не была смущена этой встречей. Прошло еще несколько дней, и Стефани обмолвилась, что Лейн Кросс, уезжая на лето в Нью-Хэмпшир, предложил ей пользоваться его студией. Каупервуд решил взять эту студию под наблюдение.

Среди служащих Каупервуда был некто Фрэнсис Кеннеди, весьма честолюбивый молодой человек, работавший когда-то репортером в газете. Кеннеди напечатал в одном из воскресных номеров «Инкуайэрера» довольно бойкую статью о планах Каупервуда, попутно охарактеризовав и его самого как человека недюжинного. Статья понравилась Каупервуду, и когда Кеннеди однажды явился к нему и сказал, что репортерская работа ему надоела и он не прочь был бы попробовать свои силы в области городского железнодорожного транспорта, Каупервуд решил воспользоваться его услугами.

— Могу предложить вам на первое время место секретаря, — любезно сказал он. — У меня есть для вас два-три особых поручения. Если вы с ними справитесь, я подыщу вам что-нибудь поинтереснее.

Кеннеди недолго проработал у Каупервуда, когда тот сказал ему однажды:

— Послушайте, Фрэнсис, вы, в вашем газетном мире, слышали когда-нибудь о молодом человеке по имени Форбс Герни?

Разговор происходил в кабинете Каупервуда.

— Нет, сэр, не слыхал, — отвечал Фрэнсис настораживаясь.

— А о любительской студии под названием «Театр гарриковцев»?

— Да, сэр, об этой студии я слышал.

— А как вы думаете, Фрэнсис, могли бы вы выполнить одно поручение несколько щекотливого характера? Только сделать это нужно умно и осторожно.

— Думаю, что могу, сэр, — сказал Фрэнсис. В это утро он выглядел настоящим щеголем — в новом коричневом костюме, гранатового цвета галстуке и до блеска начищенных ботинках. В манжетах мистера Фрэнсиса поблескивали сердоликовые запонки, а молодое лицо сияло здоровьем.

— Так вот, послушайте, что мне от вас нужно. Одна молодая актриса из этой любительской студии, Стефани Плейто, посещает мастерскую некоего художника и режиссера Лейна Кросса. Мастерская помещается в так называемом Дворце нового искусства. Не исключено, что эта дама пользуется мастерской и в отсутствие хозяина, — все может быть. Вы должны выяснить, в каких отношениях находится эта особа с мистером Форбсом Герни. По некоторым деловым соображениям мне это надо знать.

Кеннеди весь обратился в слух.

— Вы не можете указать мне, где бы я мог для начала навести справки об этом мистере Герни? — спросил он.

— Мне кажется, он близко знаком с неким критиком по имени Гарднер Ноулз. Можете потолковать с ним. Мне не нужно, разумеется, предупреждать вас, что мое имя упоминаться не должно.

— Это само собой разумеется, мистер Каупервуд.

Кеннеди удалился, размышляя, как бы ему получше выполнить это поручение. Репортерский нюх подсказал ему путь: Кеннеди прежде всего разыскал кое-кого из своих прежних коллег и выведал у них все, что только мог, относительно «Театра гарриковцев» и подвизавшихся в нем актрис. Предлогом послужило то, что он якобы пишет одноактную пьесу, которую хочет предложить этому театру.

Затем Кеннеди отправился к Лейну Кроссу в его студию, решив выдать себя за репортера, желающего получить интервью. От лифтера он узнал, что мистера Кросса нет в городе. Студия была заперта.

Мистер Кеннеди задумался на минуту.

— А кто-нибудь пользуется этой студией в летнее время? — спросил он у лифтера.

— Да, тут бывает одна молодая особа. Иногда…

— А вы не знаете, кто она такая?

— Знаю. Плейто ее фамилия. А почему вы спрашиваете?

— Вот что, друг, — доверительно сказал Кеннеди, оглядывая довольно потрепанную одежду своего собеседника, — хочешь заработать десять долларов без особых хлопот?

Лифтер, недельный заработок которого равнялся восьми долларам, навострил уши.

— Я хочу знать, с кем бывает здесь эта мисс Плейто… когда она приходит… Ну, словом, все, что можно разведать. Если я выясню то, что мне нужно, я дам тебе пятнадцать долларов, а пока получай в задаток пятерку.

У лифтера в эту минуту в кармане было шестьдесят пять центов. Он недоверчиво, но с большой готовностью посмотрел на Кеннеди.

— А чем я могу вам помочь? — спросил он. — Я ведь здесь только до шести. От шести до двенадцати на лифте работает другой.

— А нет ли у вас свободной комнаты по соседству с этой мастерской? — осведомился Кеннеди.

Лифтер задумался.

— Есть. Как раз напротив, через коридор.

— Когда обычно приходит сюда эта особа?

— В мое дежурство — иной раз с утра, иной раз после обеда. А как по вечерам — не знаю.

— Одна приходит или с кем-нибудь?

— Иногда с каким-то мужчиной, иногда с подружками. По правде-то говоря, я не особенно обращал на нее внимание.

Кеннеди ушел насвистывая.

С этого дня вышеупомянутая мастерская, в которой царила довольно легкомысленная атмосфера, подверглась самому пристальному наблюдению. Мистер Кеннеди то и дело слонялся по коридору, регистрируя каждое появление мистера Форбса Герни. Очень скоро ему удалось установить, как он, собственно говоря, и ожидал, что мистер Герни и мисс Стефани частенько остаются в студии вдвоем в самые неурочные часы. Иной раз мистер Герни, покинув студию вместе с компанией молодых людей и девиц, которые приходили туда повеселиться, вскоре тайком возвращался назад, иной раз и Стефани уходила вместе со всеми, но потом возвращалась вдвоем с мистером Герни. Эти тайные свидания бывали то очень коротки, то довольно продолжительны, и Кеннеди самым добросовестным образом наблюдал и записывал все дни, часы и длительность свиданий, а затем наутро эти сведения в запечатанном конверте попадали на письменный стол к мистеру Каупервуду. Тот был вне себя от ярости, но так было велико его увлечение Стефани, что он еще не мог ни на что решиться. Ему хотелось проверить, до какой степени лицемерия способна она дойти.

Впервые в жизни Каупервуд оказался в положении обманутого и чувствовал себя в высшей степени непривычно и странно. Даже в часы самой напряженной деятельности колючая мысль о Стефани ни на минуту не покидала его. Где она сейчас? Что делает? Ее способность нагло и беззастенчиво лгать невольно напоминала Каупервуду его самого. Подумать только, что эта девчонка могла предпочесть ему кого-то другого, да еще теперь, когда он приобретал громкую славу преобразователя города. Это невольно наводило его на мысль о том, что он стареет, что более молодые соперники уже становятся для него опасны. И мысль эта язвила и жгла.

Как-то, промучившись всю ночь горькими думами о Стефани, Каупервуд сказал наутро Кеннеди:

— Я хочу, Фрэнсис, чтобы вы заставили этого лифтера, с которым вы там познакомились, подобрать ключ к студии, и пусть он позаботится, чтобы изнутри не было другого запора. Ключ вы дадите мне. Когда мисс Стефани, будет там вдвоем с этим мистером Герни, известите меня по телефону.

И вот после нескольких недель неустанной слежки наступила развязка. Большая желтая луна висела в небе, дул теплый летний ветерок. Стефани забежала к Каупервуду в контору — предупредить, что она не может поехать с ним за город, как у них было условлено. Она спешит домой, на Западную сторону, так как у Джорджии Тимберлейк в этот вечер устраиваются игры и танцы в саду. Каупервуд слушал ее и понимал, что она лжет. Он был, как всегда, весел, любезен, острил и улыбался, но мысль о том, как бесстыдна эта девица, как нагло играет она свою роль и каким глупцом его считает, не шла у него из головы. Он говорил себе, что Стефани молода, обворожительна, темпераментна и от природы ветрена и непостоянна, но не мог простить ей, что она не любила его так же беззаветно, как любили другие женщины. На Стефани было легкое белое платье в черную полоску и широкополая соломенная шляпа с белой в черную полоску вуалью вокруг тульи и ярко-пунцовым цветком мака, свисающим

над левым ухом. Она показалась Каупервуду особенно юной и задорной в этом наряде. «Смесь современной цивилизации и древнего Востока», — невольно подумал он.

— Собираешься повеселиться, малютка? — спросил он, ласково улыбаясь и не сводя с нее своих загадочных, непроницаемых глаз. — Мы сегодня опять намерены блистать в компании наших очаровательных молодых друзей? Вся свита будет в полном сборе, я полагаю? Мистер Блисс Бридж, мистер Ноулз, мистер Кросс — все твои верные пажи и партнеры по танцам?

Он ни словом не обмолвился о Форбсе Герни.

Стефани весело кивнула. Она пребывала в самом безмятежном и праздничном расположении духа.

Каупервуд улыбался, думая о том, что скоро, очень скоро он будет отомщен. Он уличит ее во лжи, поймает на месте преступления — в этой самой студии, быть может, — и с презрением прогонит прочь, навсегда. Случись это в прежние времена, и не здесь, а например, в Турции, он приказал бы удушить ее, зашить в мешок и бросить в Босфор. Теперь в его власти только одно — расстаться с ней. И он все улыбался, поглаживая ее руку.

— Желаю весело провести время, — крикнул он ей вслед, когда она уходила.

Дома, около полуночи, его вызвал к телефону Кеннеди.

— Мистер Каупервуд?

— Да.

— Вы знаете студию во Дворце нового искусства?

— Да.

— Они там сейчас.

Каупервуд позвонил и приказал заложить кабриолет. У него уже давно было заготовлено нечто вроде отмычки, сделанной по его заказу слесарем: металлический стержень, полый на конце и с бороздками — точно по рисунку ключа, доставленного ему Кеннеди. Просунув стержень в замочную скважину и надев его на бородку ключа, вставленного изнутри, можно было без труда отпереть дверь снаружи. Каупервуд нащупал отмычку в кармане, сел в кабриолет и уехал. В вестибюле Дворца нового искусства его ждал Кеннеди. Каупервуд отпустил его домой.

— Благодарю, — коротко сказал он. — Остальным я займусь сам.

Он не воспользовался лифтом и, быстро поднявшись по лестнице, прошел в свободное помещение напротив, потом снова вышел в коридор и приник ухом к двери мастерской. Да, Кеннеди не ошибся, Стефани была там и Герни тоже. Она привела с собой томного молодого поэта, рассчитывая провести с ним восхитительный вечер. В эти часы в здании царила тишина, и Каупервуд отчетливо слышал их приглушенные голоса; потом до него долетел обрывок песенки — пела Стефани. Ярость душила Каупервуда, и он был даже рад, что Стефани взяла на себя труд предупредить его о своем намерении провести этот вечер у Джорджии Тимберлейк. Он улыбнулся мрачно и злорадно, представив себе изумление и испуг Стефани. Достав из кармана отмычку, он бесшумно вставил ее в замочную скважину и надел на бородку ключа. Ключ повернулся мягко, почти беззвучно. Каупервуд нажал на ручку двери и почувствовал, как она подалась. Он неслышно ступил в комнату. Тихий, такой знакомый ему, воркующий смех заглушил его шаги.

При звуке его резкого сухого покашливания они вскочили. Герни сделал попытку найти убежище за гардиной, Стефани тщетно старалась натянуть на себя покрывало с кушетки. От неожиданности она онемела и смотрела на Каупервуда остановившимся взглядом. Герни сначала тоже растерялся, однако вскоре овладел собой и проговорил даже несколько вызывающе:

— Кто вы такой? Что вам здесь надо?

Каупервуд ответил очень спокойно, с улыбкой»

— Ничего особенного. Мисс Плейто, вероятно, объяснит вам причину моего появления. — Он небрежно кивнул в ее сторону.

Стефани, чувствуя на себе его холодный, иронический взгляд, сжалась в комочек и, казалось, совсем забыла о существовании Форбса Герни. Последний понял уже, что перед ним его предшественник — обманутый и разгневанный любовник, и это неожиданное открытие заставило его еще больше растеряться.

— Мистер Герни, — с некоторым оттенком снисхождения сказал Каупервуд, отведя, наконец, уничтожающий взгляд от Стефани. — К вам у меня, собственно, никаких дел нет, и через несколько минут я избавлю вас и мисс Плейто от моего присутствия. Однако у меня были некоторые основания явиться сюда. Эта молодая особа довольно долго меня обманывала. Она постоянно лгала мне, прикидывалась невинным созданием, чему я, впрочем, не верил. Не далее как сегодня она заявила мне, что отправляется на танцы к своей приятельнице, живущей на Западной стороне. Она была моей любовницей в течение нескольких месяцев и принимала от меня деньги, драгоценности, я не отказывал ей ни в чем. Эти нефритовые серьги, кстати, — тоже один из моих подарков. — Каупервуд весело и насмешливо поглядел на Стефани. — Я пришел сюда, чтобы доказать ей бесполезность дальнейшей лжи. Всякий раз, когда я пытался уличить ее в недостойном поведении, она заливалась слезами и лгала мне. Быть может, вы знаете ее лучше, чем я, быть может вы сильно привязаны к ней. Во всяком случае от вас мне ничего не нужно. А эту даму,

— тут Каупервуд снова повернулся к Стефани и смерил ее презрительным взглядом, — я прошу только об одном — не утруждать себя больше бесполезной ложью.

В продолжение этого довольно своеобразного монолога Стефани, перепуганная, дрожащая и все же прелестная, забившись в угол огромной тахты, словно зачарованная, не сводила глаз с Каупервуда, и взгляд этот без слов говорил о том, как, несмотря на все ее легкомыслие, ей больно его терять. Его крепкая сильная фигура, спокойствие и невозмутимость, и даже самые слова его, язвительные и беспощадные, зажгли ее пылкое воображение, всегда готовое воспламениться, словно порох. Покрывало, в которое она завернулась, лишь отчасти скрывало ее наготу; смуглые руки, плечи и грудь и тонкие стройные ноги с округлыми коленями были обнажены. Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детски наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось молило Каупервуда. Стефани и в самом деле была чрезвычайно испугана. Она в глубине души всегда побаивалась Каупервуда; этот сильный, суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх. Она не произносила ни слова и только смотрела на него, все еще пытаясь тронуть его сердце жалобным, как у обиженного ребенка, выражением лица. Но Каупервуд отвечал ей взглядом, исполненным холодного презрения, а на ее любовника смотрел с почти нескрываемой насмешкой. Он спокойно стоял перед ними и улыбался, и мысль о том, кого она теряет, какой это необыкновенный человек, пронзила Стефани. Рядом с ним Форбс Герни, меланхолический, томный поэт, показался ей вдруг жалким и бесцветным — пустой причудой романтического воображения, Стефани искала и не находила слов, она готова была молить Каупервуда о прощении, но чувствовала, что это бесполезно, и к тому же тут был Герни… К горлу у нее подкатил комок, глаза затуманились, и Каупервуд увидел, как в них сквозь слезы блеснул знакомый ему таинственный и влекущий огонек. Он хорошо знал этот взгляд. То была минута горького торжества для Каупервуда.

— Позвольте дать вам совет, Стефани, — сказал он. — Мы, разумеется, не увидимся больше. Вы — талантливая актриса. Ступайте на профессиональную сцену. Вас ждет слава, если ваши любовные похождения не помешают вам посвятить себя искусству. Я допускаю, конечно, что такая распущенность — потребность вашей натуры, но не забывайте, что в обществе существует вполне определенный взгляд на подобное поведение. Прощайте.

Каупервуд повернулся и быстро направился к двери.

— Фрэнк! О Фрэнк! — воскликнула Стефани. Это был горестный, полный отчаяния, безотчетный крик; она забыла о присутствии своего нового возлюбленного. Герни смотрел на нее, широко раскрыв глаза.

Но Каупервуд, казалось, даже не слышал ее призыва. Он вышел из студии, пересек темный коридор и спустился по лестнице. На мгновение, на одно краткое мгновение он снова почувствовал себя во власти этого распущенного, безнравственного и все же обаятельного создания, словно в лицо ему пахнул пряный аромат какого-то ядовитого цветка.

«А, будь ты проклята! — мысленно воскликнул Каупервуд. — Будь ты проклята, тварь, потаскуха, девка!» — Он изрыгал самые грязные, самые циничные ругательства, ибо в эту минуту, впервые в жизни, почувствовал, что значит любить, страстно желать и утратить — утратить навсегда. Он поклялся себе, что жизненные пути его и Стефани Плейто никогда больше не пересекутся.

29. СЕМЕЙНАЯ ССОРА

Случилось так, что после описанного выше разрыва душевный покой Эйлин был снова нарушен — и не кем иным, как миссис Плейто, впрочем, без всякого умысла с ее стороны. Заехав однажды навестить миссис Каупервуд, она разговорилась об успехах своей дочери, о затруднениях, которые переживают «гарриковцы», и о том, что Стефани скоро появится в новой роли — будет, кажется, играть китаянку.

— Эти нефритовые украшения, что вы ей подарили, — прелестны, — любезно улыбаясь, заявила миссис Плейто. — Я только на днях впервые увидела их. Стефани мне ничего раньше не говорила. Она в таком восторге от этого подарка, что я должна от всей души поблагодарить вас.

Эйлин широко раскрыла глаза.

— Я, право, что-то не припомню… — она тотчас подумала о Каупервуде, о его извечных слабостях, и в душу к ней закралось подозрение. Растерянность и смущение отразились на ее лице.

— Да что вы? — удивилась в свою очередь миссис Плейто, несколько обескураженная словами Эйлин. — Ну как же, серьги, брошь и браслет. Стефани сказала, что это вы подарили ей.

— Ах, ну да, да, конечно, — спохватившись, пробормотала Эйлин. — Припоминаю теперь. Собственно говоря, это был подарок Фрэнка. Очень рада, что эти безделушки понравились вашей дочери.

И она учтиво улыбнулась.

— Стефани находит их восхитительными, и они в самом деле очень ей к лицу, — добродушно сказала миссис Плейто, считая, что недоразумение разъяснилось.

Разговор этот произошел потому, что Стефани забыла однажды запереть свою шкатулку с украшениями, и миссис Плейто, разыскивая что-то в комнате дочери, увидела нефриты. Прекрасно понимая, какую они представляют ценность, она не замедлила допросить дочь. Стефани в первое мгновение растерялась, но тотчас овладела собой. Как-то раз она была у Каупервудов, и Эйлин уговорила ее принять этот подарок, объяснила она небрежно.

К несчастью для Эйлин, этим разговором дело не ограничилось. На обеде у Риза Грайера, молодого скульптора, делающего светскую карьеру и представленного ей Тейлором Лордом, Эйлин пришлось убедиться в том, что общество не склонно сочувствовать женщине, утратившей привязанность своего супруга. Входя в гостиную, она услышала, как одна дама, стоя у ширмы, где гости оставляли свои накидки и шали, шепнула другой:

— Смотрите, вон идет миссис Каупервуд. Жена того самого Каупервуда, которому принадлежит половина всех городских железных дорог у нас в Чикаго. Весь прошлый сезон он путался с этой Плейто — актрисочкой из «Театра гарриковцев».

Вторая дама утвердительно кивнула, с завистью разглядывая туалет Эйлин

— роскошное платье из темно-зеленого бархата.

— А вы думаете, что она верна ему? — Эйлин вся превратилась в слух. — Вид у нее во всяком случае довольно вызывающий.

Эйлин удалось потом поближе рассмотреть этих дам, когда они стояли отвернувшись и не смотрели на нее, и на лице ее было ясно написано все, что она о них думает, — но что толку? Проклятые сплетницы уже ранили ее в самое сердце. Эйлин была возмущена, ошеломлена, растеряна. В какое унизительное положение ставит ее Фрэнк, давая своим легкомысленным поведением пищу для подобных пересудов!

Но прошло еще несколько дней, и Эйлин ждало новое испытание. Как-то раз, выйдя из своей спальни на галерейку, окружавшую холл, Эйлин услышала внизу голоса; две служанки оживленно обсуждали чикагские нравы вообще и поведение своего хозяина в частности. Одна из них — рослая, костлявая девица лет двадцати восьми, работала у Каупервудов горничной, другая — коренастая, дородная особа сорока с лишним лет, состояла на должности младшей экономки. Обе делали вид, что заняты уборкой, но работали не столько руками, сколько языком. Костлявая горничная совсем недавно перешла к Каупервудам от Кокрейнов. Эймар Кокрейн, бывший директор Железнодорожной компании Западной стороны, был теперь директором новой компании — Западно-чикагской транспортной.

— Можете себе представить, голубушка, — услышала Эйлин голос костлявой горничной, — как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает! Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила. Да ведь наша-то мисс Флоренс бегала к нему на свидания почитай три раза на неделе! Просто в толк не возьму, как это ее маменька все проморгала.

— Да, — вздохнула вторая, — уж это бабник так бабник. — При этом она выразительно всплеснула руками, чего Эйлин, разумеется, уже не могла видеть. — Сюда тоже бегала одна девчонка. Она живет на нашей улице, Хейгенин по фамилии. Отец у нее издает газету. У них очень красивый дом в двух шагах отсюда. Последнее время, правда, она что-то к нам не захаживает.

А то я сколько раз видела, как он целовался с ней в этой самой комнате. Быть того не может, чтобы миссис Каупервуд ничего не знала, никогда этому не поверю. Мне рассказывали, как она однажды налетела на одну дамочку, с которой путался ее муженек. Говорят, тут ужас что было, когда она в нее вцепилась, и обе визжали на весь дом, как зарезанные. Да уж мужчины — все подлецы, как до женщин дойдет.

Легкий шорох заставил сплетниц отскочить друг от друга, но Эйлин и так уже слышала достаточно. Что же, что ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала! Мисс Флоренс — это, конечно, Флоренс Кокрейн — ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов. И еще Сесили Хейгенин. Подумать только — дочь издателя Хейгенина, одного из их лучших друзей! И Фрэнк целовал ее здесь! Неужели этому конца не будет — его вероломству, его изменам!

Эйлин вернулась в спальню вне себя от ярости и горя; мысли ее путались. Что же ей делать? Оставить Фрэнка? Сказать ему в лицо все, что она о нем думает? Следить за ним? Нанять еще сыщиков? К чему, к чему? Она уже нанимала сыщиков однажды. Разве это помешало Фрэнку завести роман со Стефани Плейто? Ничуть. Разве это может помешать новым увлечениям? Конечно, нет. Как видно, ее совместная жизнь с Фрэнком приходит к концу, неотвратимому, горестному концу. Долго ведь так продолжаться не может. Вероятно, она была неправа, когда разлучила его с миссис Каупервуд. Но ведь Лилиан совсем не пара Каупервуду. За что же такая страшная расплата? Будь Эйлин суеверна или религиозна, читай она библию, чего она, разумеется, не делала, ей сейчас вспомнилось бы, вероятно, одно из самых фаталистических утверждений Нового завета: «Какою мерой мерите, такою же отмерится и вам».

Неукротимое влечение Каупервуда к прекрасному полу и в самом деле не могло не привести к плачевным последствиям. После разрыва со Стефани Плейто Каупервуд, как говорится, пустился во все тяжкие, и в числе его многочисленных жертв оказались сначала Сесили Хейгенин — очаровательная дочка издателя Хейгенина, весьма достойного человека, искренне расположенного к Каупервуду и служившего ему опорой в газетном мире, а затем и дочь Эймара Кокрейна. Впрочем, нельзя не заметить, что во всех своих любовных приключениях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и жертвой соблазна.

Его сближение с Сесили Хейгенин произошло очень просто. Будучи приятелем ее отца и частым гостем в их доме, Каупервуд в один прекрасный день обнаружил, что молодая девушка весьма чувствительна к его чарам. Сесили в ту пору исполнилось двадцать лет. Пышная, белокожая, светловолосая и голубоглазая, она отличалась жизнерадостным нравом и, несмотря на свою кукольную внешность, довольно живым умом. Каупервуду нравилось шутить и забавляться с ней. Он привык играть с Сесили, когда та была еще ребенком, школьницей. Игры и шутливые поддразнивания продолжались и потом, когда Сесили уже училась в колледже и приезжала домой на каникулы. Теперь она жила дома, и Каупервуд видел ее значительно чаще — почти всякий раз, когда заходил к ее отцу, чтобы обсудить с ним, как лучше преподнести публике ту или иную из своих очередных махинаций.

Как-то вечером Хейгенин отлучился из дома по делам, связанным с концессиями Каупервуда, и тот оказался наедине с Сесили. Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сесили в ответ на какую-то шутку Каупервуда игриво замахнулась на него книгой. Каупервуд схватил девушку за руки и сжал их — ласково, но крепко.

— Пустите, вам все равно со мной не справиться, — храбро сказала Сесили.

— Посмотрим, — отвечал Каупервуд.

За этим последовала шутливая борьба, в результате которой Сесили после полупритворного сопротивления очутилась в объятиях Каупервуда и головка ее склонилась на его плечо.

— Вот вы как! — сказала она, глядя на него снизу вверх насмешливо и чуть-чуть испуганно. — А дальше что? Вам придется отпустить меня — и только.

— Нет, не так скоро, как вы думаете.

— Очень скоро. Сейчас вернется папа.

— Ну что ж, до тех пор во всяком случае я вас не отпущу. Какая вы красивая, Сесили, вы хорошеете с каждым днем.

Она притихла, перестав сопротивляться, и на ее испуганном лице появилось томное выражение. Каупервуд погладил ее по щеке, поцеловал. Возвращение мистера Хейгенина положило конец этой сцене, но после такого начала найти общий язык было уже нетрудно.

Первые шаги к сближению с Флоренс Кокрейн — дочерью Эймара Кокрейна, директора Железнодорожной компании Западной стороны, — мало чем отличались от описанного выше, а финал в обоих случаях был совершенно одинаков. Чтобы представить вам Флоренс Кокрейн, скажем, что она тоже была блондинка, как и Сесили, но совершенно иного типа — тоненькая, хрупкая, мечтательная. Она запоем читала романы, увлекалась Марло и Джонсоном, и Каупервуд, этот крупный делец, занятый какими-то таинственными финансовыми операциями и часто приходивший совещаться с ее отцом, пленил воображение девушки, словно какой-нибудь герой елизаветинской эпохи. Тоскливо-размеренный уклад жизни, мещанское благополучие ее домашнего очага претили Флоренс Кокрейн, и в душе ее зрел протест. Каупервуд разгадал, что творится с девушкой, провел с ней несколько вечеров в отвлеченно-возвышенных беседах, проникновенным взором смотрел ей в глаза и вскоре прочел в них желанный ответ. Ни Эймар Кокрейн, ни его чопорно-добродетельная супруга ни о чем не догадывались.

И все же Эйлин, раздумывая над последними любовными приключениями Каупервуда, почувствовала вдруг, несмотря на всю свою досаду и горе, некоторое успокоение. Что ни говори, а такие мимолетные измены менее опасны для нее, чем одна устойчивая привязанность. Если Каупервуд и впредь будет так гоняться за женщинами, он едва ли полюбит кого-нибудь всерьез, а в таком случае зачем ему покидать ее?

Но какой это все-таки удар для ее женского самолюбия, невольно думалось ей. Какой позорный конец идеального супружеского союза, который, казалось, будет длиться всю жизнь! Подумать только, что она, Эйлин Батлер, не знавшая себе равных, затмевавшая всех своей красотой и очарованием, должна так рано — ведь ей едва минуло сорок лет — уступить дорогу более молодым соперницам! И кому? Каким-то жалким, невзрачным подросткам! Стефани Плейто! Сесили Хейгенин! Или этой, как ее… Флоренс Кокрейн — сухой, как щепка, и бледной, как мертвец! И вот она, блистательная красавица, в расцвете сил и всех своих женских чар, отодвинута на задний план. Гладкая ослепительная, кожа, ясные, лучистые глаза, на лбу, на шее, на подбородке

— ни единой морщинки; золотое руно волос, упругая походка, прекрасный рост и безукоризненное сложение, роскошные туалеты, драгоценности, уменье одеваться… А Фрэнк предпочитает ей каких-то желторотых выскочек! Это казалось Эйлин невероятным и глубоко несправедливым. Как жестока жизнь! Как непостоянен Фрэнк в своих вкусах и привязанностях! Боже мой, боже мой, неужели это правда? Почему Фрэнк разлюбил ее? Эйлин снова и снова рассматривала себя в зеркале и все больше растравляла свои раны. Почему он отверг ее красоту? Почему другие женщины кажутся ему лучше? Сколько раз уверял он ее в своей любви — зачем он лгал? Почему другие мужчины сохраняют верность своим женам? Ее отец всегда был верен ее матери. При мысли об отце у Эйлин екнуло сердце — ведь она опозорила себя в его глазах… Но все равно, что было — то прошло, а теперь только она имела права на Фрэнка. Эйлин разглядывала свои глаза, волосы, руки, плечи… Почему Фрэнк разлюбил ее? Почему, почему?

Однажды вечером, вскоре после этого приступа горя, Эйлин читала у себя в будуаре какой-то роман, поджидая возвращения мужа, как вдруг зазвонил телефон. Каупервуд хотел предупредить ее, что задержится в конторе, а потом, быть может, ему придется поехать в Питсбург. Дня на полтора, не больше. Послезавтра он уж во всяком случае будет дома. Эйлин огорчилась, и Каупервуд понял это по ее голосу. Они собирались в этот день обедать у Хоксема, а потом поехать в театр. Он предложил ей отправиться к Хоксема без него, но Эйлин что-то резко возразила в ответ и повесила трубку не попрощавшись. В десять часов Каупервуд позвонил снова и сказал, что он передумал. Может быть, Эйлин хочет поужинать с ним в ресторане? Тогда пусть она переодевается, он заедет за ней. А нет — так они проведут вечер дома.

Эйлин тотчас решила, что Фрэнк собирался развлекаться на стороне, но что-то ему помешало. Он испортил ей вечер, а теперь, за неимением лучшего, решил явиться домой, чтобы осчастливить ее своим присутствием. Это взбесило Эйлин. Двусмысленность ее положения, постоянная неуверенность в Каупервуде начинали сказываться на ее нервах. В воздухе запахло грозой, и вскоре гроза разразилась. Каупервуд приехал чуть позже, чем обещал, стремительно вошел в комнату, заключил Эйлин в объятия и, поцеловав, нежно и шутливо погладил по руке, потом потрепал по плечу. Эйлин нахмурилась, и он спросил:

— Что случилось? Малютка не в духе?

— Ничего особенного, — отвечала Эйлин с раздражением. — То же, что всегда, не стоит об этом говорить. Ты обедал?

— Да, нам приносили обед в контору. — Каупервуд не лгал. Он действительно обедал у себя в конторе вместе с Мак-Кенти и Эддисоном. Не чувствуя на сей раз за собой вины, Каупервуд захотел оправдаться перед Эйлин. — Я не мог вырваться сегодня, — сказал он, — мне самому жаль, что дела отнимают у меня так много времени, но скоро будет легче. Все идет теперь на лад.

Эйлин высвободилась из его объятий и подошла к туалетному столику. Пригладила растрепавшиеся волосы, внимательно оглядела себя в зеркало, села и углубилась в роман. «Опять надулась!» — подумал Каупервуд.

— Ну, Эйлин, в чем дело? — спросил он. — Ты не рада, что я пришел домой? Я знаю, последнее время тебе было нелегко, но пора уже забыть прошлое. Право же, лучше подумать о будущем.

— О будущем? Не смей говорить мне о будущем, — злобно воскликнула Эйлин. — Не очень-то много радости оно мне сулит.

Каупервуд видел, что все в ней кипит, но, полагаясь на ее привязанность к нему и на свое умение убеждать и уговаривать, надеялся, что сумеет ее успокоить.

— Напрасно ты так горюешь, детка, — сказал он. — Ты же знаешь, что я никогда не переставал тебя любить. И никогда не перестану. Правда, сейчас у меня куча всяких хлопот, которые часто разлучают нас с тобой против моей воли, но чувство мое к тебе неизменно. Мне кажется, ты сама это понимаешь.

— Чувство? Твое чувство? — с горечью вскричала Эйлин. — О каком чувстве ты толкуешь? Ты даришь другим женщинам нефритовые драгоценности и волочишься за каждой юбкой, какая только попадется тебе на глаза! И у тебя еще хватает духу говорить мне о своих чувствах! Ведь ты и домой-то явился только потому, что тебе не удалось повеселиться где-то на стороне. Да, да, я знаю цену твоим чувствам. Знаю!

Эйлин в сердцах откинулась на спинку кресла и снова схватила свой роман. Каупервуд пристально посмотрел на нее — этот намек на Стефани был для него полной неожиданностью. Да, иметь дело с женщинами становится по временам невыносимо утомительным.

— Что ты, собственно, хочешь сказать? — спросил он осторожно, самым, казалось бы, искренним и невинным тоном. — Никаких нефритов я никому не дарил и ни за какими юбками, как ты изволишь выражаться, не волочился. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь, Эйлин.

— О Фрэнк! — воскликнула Эйлин устало, в голосе ее прозвучал упрек. — Как ты можешь так лгать! Ну, к чему ты лжешь мне в глаза? Мне тошно от твоей лжи, от твоего притворства. Даже слуги — и те уже судачат о твоих похождениях, а ты хочешь, чтобы я тебе верила. Разве я виновата, что миссис Плейто является сюда и спрашивает меня — с какой стати ты даришь драгоценности ее дочери! Я понимаю, почему ты лжешь, тебе нужно заткнуть мне рот, заставить меня молчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину, или к мистеру Кокрейну, или к мистеру Плейто, или ко всем трем зараз. Можешь не беспокоиться, не побегу, не бойся. Ты опостылел мне своей ложью. И подумать только, на кого он польстился! Стефани Плейто — эта сухая жердь! Сесили Хейгенин — квашня с тестом! А Флоренс Кокрейн — ни дать ни взять, сонная рыба! (Эйлин иной раз давала довольно меткие характеристики.) Если бы не мои близкие, которым я и так уж принесла немало огорчений, да не разные толки и сплетни, которые могут повредить твоим делам, я бы не стала ждать ни минуты, я бы ушла от тебя! И как только я могла поверить, что ты меня любишь, что ты вообще способен кого-нибудь любить по-настоящему! Какая чушь! Но мне теперь все равно! Можешь продолжать в том же духе. Только запомни: не воображай, что я и дальше буду терпеть все, как терпела до сих пор. Нет, не буду. Больше тебе не удастся меня обмануть. Я не хочу так жить. Я еще не старуха. Найдутся мужчины, которые рады будут подарить меня своим вниманием, раз я тебе не нужна. Я уже сказала тебе однажды и повторяю снова: если ты будешь мне изменять, я в долгу не останусь, так и знай! Вот посмотришь, я тоже заведу себе любовников. Да, да! Клянусь!

— Эйлин! — сказал Каупервуд мягко, с мольбой, сознавая бесполезность новой лжи. — Неужели ты не простишь мне еще один, последний раз? Будь снисходительна, пожалей меня. Я сам не понимаю себя порой. Должно быть, я как-то иначе устроен — не так, как другие. Мы с тобой уже прожили вместе такую долгую жизнь. Подожди еще немного. Дай мне время. Увидишь, я стану другим. Я докажу тебе.

— О да, конечно, я должна ждать! Он, видите ли, станет другим! А разве я мало ждала? Разве мало провела бессонных ночей, слоняясь здесь из угла в угол, пока ты пропадал невесть где? Пожалеть тебя? Конечно, конечно! А кто пожалеет меня, когда сердце мое рвется на части! О боже мой, боже мой! — в безмерном отчаянии воскликнула вдруг Эйлин. — Я так несчастна! Так несчастна! В сердце такая боль! Такая невыносимая боль!

Она судорожно прижала руки к груди и бросилась вон из комнаты. Ее легкий, стремительный, упругий шаг, всегда пленявший Каупервуда, даже и сейчас произвел на него впечатление. Но, увы, это было лишь мгновенное сожаление о том, что жизнь так жестока и все в ней так преходяще! Каупервуд поспешил за Эйлин и (совсем как после стычки с Ритой Сольберг) попытался заключить ее в объятия, но она раздраженно оттолкнула его.

— Нет, нет! — крикнула она. — Оставь меня! Мне все это надоело.

— Право же, ты несправедлива ко мне, Эйлин! — Он произнес это с чувством, подкупающе искренним тоном. — Из-за одного прискорбного случая в прошлом ты теперь видишь все в искаженном свете. Клянусь, я не изменял тебе ни со Стефани Плейто, ни с другими женщинами. Я ухаживал за ними слегка, но ведь это все сущие пустяки. Будь благоразумна. Я вовсе не такой

негодяй, как тебе кажется. Я занят сейчас очень большими делами, от которых твое благополучие, твое будущее зависит в такой же мере, как и мое. Будь же благоразумна, Эйлин, будь снисходительна ко мне.

Все повторялось снова и снова: те же упреки и обвинения с одной стороны, те же оправдания и уговоры — с другой. Наконец, усталая, измученная телом и душой, чувствуя, что ей не под силу разрубить этот узел, Эйлин сдалась и, уступая увещеваниям Каупервуда, позволила ему убедить себя в том, что и на ее долю остались еще какие-то крохи чувства. Она совсем пала духом, тоска грызла ее сердце. Да и сам Каупервуд, хотя и пытался утешить Эйлин, отчетливо понимал, что ему никогда не удастся возродить в ней прежнюю веру в его любовь, ибо для этого он должен был бы окружить ее таким вниманием, на какое он, с его стремлением к разнообразию и новизне, уже не был способен. До поры до времени мир был восстановлен, но, зная, чего ждет от него Эйлин, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Каупервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, и она рано или поздно оставит его. Ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным и слишком большим эгоистом, чтобы сохранять приверженность к кому-то одному.

30. ПРЕПЯТСТВИЯ

Препятствия, которые возникают порой на пути самого удачливого и преуспевающего человека, неожиданны и разнообразны. Сильный пловец может выплыть и против течения. Иным помогает случай, порой вступающий в союз с человеком, иные сами, приноравливаясь к обстоятельствам, бессознательно отдаются на волю этого случая, и прилив выносит их на берег. Что это, божественный промысел? Едва ли! Никто еще не проник в эту тайну. Добрый гений? Так думают многие — на свою погибель (вспомним Макбета!). Или это наша бессознательная тяга к добру, долгу, справедливости? Но все эти ярлыки — творения рук человеческих. Все не доказано и все — дозволено.

Так, например, когда Каупервуд завладел конкой на Западной стороне, между возглавляемой им компанией и неким Рэдмондом Парди, крупным ростовщиком, скупщиком земельных участков и торговцем недвижимостью, возникла тяжба, которая взбудоражила весь Чикаго. Туннели на Ла-Саль-стрит и Вашингтон-стрит были уже сданы в эксплуатацию, но тут возникла потребность в третьем туннеле — к югу от Вашингтон-стрит, — так как интересы северной и южной окраин Западной стороны требовали проведения канатной дороги по Ван-Бьюрен-стрит и Блю-Айленд авеню. Предпочтительнее всего было бы проложить туннель в районе Ван-Бьюрен-стрит, ибо это был кратчайший путь к деловому центру города. Туннель был решительно необходим Каупервуду, — но как добиться разрешения проложить его под рекой от Ван-Бьюрен-стрит и как раз под мостом, по которому шло интенсивное движение? Тут сразу возникали всевозможные осложнения. Прежде всего для прокладки туннеля под рекой требовалось разрешение военного министерства в Вашингтоне. Далее: это было делом чрезвычайно трудным и хлопотливым, так как пришлось бы на время закрыть движение на мосту или даже разобрать таковой. После захвата Каупервудом двух туннелей газеты и без того уже следили за каждым его шагом. Большинство из них было настроено подозрительно, а многие и прямо враждебно, и потому Каупервуд решил, вместо того чтобы обращаться в муниципалитет за разрешением, купить значительный участок земли к северу от моста и таким образом получить возможность беспрепятственно приступить к работам.

Самым подходящим для этой цели оказался участок на берегу реки, занятый семиэтажным торговым зданием. И участок и здание принадлежали уже упомянутому выше мистеру Рэдмонду Парди — длинному, тощему, нечистоплотному с виду субъекту, который носил целлулоидные воротнички и манжеты и сильно гнусавил.

Каупервуд, как водится, подослал к мистеру Парди подставных лиц, предложивших тому продать участок по сходной цене. Но Парди, подозрительный и осторожный, как всякий скряга, обладал нюхом ищейки и уже успел проведать о замыслах Каупервуда. Он почуял хорошую поживу.

— Нет, нет и нет, — всякий раз заявлял он представителям мистера Сильвестра Туми, пронырливого земельного агента Каупервуда. — Не хочу я продавать. Ступайте с богом.

Мистер Сильвестр Туми стал в конце концов в тупик и признался в этом Каупервуду; тот немедленно призвал на помощь генерала Ван-Сайкла и достопочтенного Кента Бэрроуза Мак-Кибена, которые, подобно спасительным маякам, всегда указывали ему верный путь в штормовую погоду. Генерал, правда, уже изрядно поглупел от старости, и Каупервуд подумывал о том, чтобы удалить его на покой, но Мак-Кибен был в расцвете сил и способностей

— самодовольный, красивый, расфранченный, ловкий. Переговорив с мистером Туми, генерал и Мак-Кибен вернулись к Каупервуду с неким многообещающим проектом. После этого на сцене появился новый персонаж, а именно достопочтенный Наум Дикеншитс, один из судей апелляционного суда штата, уже давно, — а с помощью каких махинаций, мы здесь лучше умолчим, — впряженный в колесницу великого Каупервуда; судье предложили применить все свои познания в области крючкотворства и найти выход из затруднительного положения. По его совету решено было тотчас приступить к прокладке туннеля

— сначала с восточной стороны, то есть от Франклин-стрит, а затем, спустя восемь месяцев, — с западной, то есть от Канал-стрит. Между участком мистера Парди и рекой, всего в тридцати футах от его торгового здания, появилась шахта. Мистер Парди следил за этими зловещими приготовлениями с алчным блеском в глазах. Он не сомневался в том, что когда туннель приблизится к его владениям, компания вынуждена будет отвалить ему за его участок столько звонкой монеты, сколько он пожелает.

— Ну и ну, черт меня подери! — бормотал мистер Парди, потирая руки, словно Шейлок, знающий, что расплата человеческим мясом уже неизбежна. И все же порой его охватывала какая-то смутная тревога. Наконец, когда приобретение вожделенного участка стало для Каупервуда насущной необходимостью, он послал за его владельцем, и тот явился в приятном предвкушении выгодной сделки, сулившей целое состояние.

— Мистер Парди, — непринужденно начал Каупервуд, — вы владеете по ту сторону реки земельным участком, который мне очень нужен. Почему бы вам его не продать? Мне кажется, нам следует уладить дело полюбовно.

Он с улыбкой смотрел на Парди, а тот исподтишка, по-волчьи, оглядывался вокруг, боясь продешевить, прикидывая в уме, сколько тут можно содрать. Принадлежавший мистеру Парди земельный участок вместе со зданием и всем инвентарем стоил около двухсот тысяч долларов.

— А зачем мне продавать? — сказал Парди. — Там у меня хороший, крепкий дом. Мне он нужен не меньше, чем вам. Я от него доход получаю.

— Правильно, — отвечал Каупервуд. — Но я готов заплатить вам хорошую цену. Ведь речь идет о предприятии общественного пользования. Туннель насущно необходим населению Западной стороны и даже лично вам, если у вас имеются там земельные участки. На деньги, что я вам уплачу, вы можете приобрести участок значительно больше этого, где-нибудь по соседству или в любом другом районе, и будете получать с него хороший доход. У нас другое положение. Туннель должен пройти именно здесь, иначе я не стал бы тратить время на пререкания с вами.

— Вот то-то и оно, — упрямо отвечал мистер Парди. — Вы начали рыть этот свой туннель, никого не спросясь, а теперь я должен, видите ли, убираться со своей земли. Да с какой стати мне уступать вам свой участок?

— Я дам вам хорошую цену.

— Сколько же вы дадите?

— А сколько бы вы хотели получить?

Мистер Парди — старая лиса — почесал за ухом.

— Миллион долларов.

— Миллион долларов? — воскликнул Каупервуд. — Не кажется ли вам, мистер Парди, что вы хватили через край?

— Нет, не кажется, — невозмутимо отвечал мистер Парди. — Я прошу не больше того, что стоят участок и постройка.

Каупервуд вздохнул.

— Очень жаль, — с расстановкой проговорил он. — Вы слишком запрашиваете, мистер Парди. Если угодно, получайте триста тысяч долларов наличными, и покончим с этим.

— Миллион долларов, — упрямо повторил Парди, уставясь в потолок.

— Что ж, очень жаль, мистер Парди, — повторил Каупервуд. — Но с вами, видно, не столкуешься. Я предлагаю хорошую цену, а вы требуете чего-то несуразного. Подумайте как следует. Мы можем проложить туннель и без вас.

— Миллион долларов, — сказал Парди.

— Ничего не выйдет, мистер Парди. Ваш участок этого не стоит. Зачем вы упрямитесь? Ну хорошо, пусть будет триста двадцать пять тысяч, и я сейчас выпишу вам чек.

— Я не возьму ни пятисот, ни шестисот тысяч долларов, ни сейчас, ни потом. Я знаю свои права, мистер Каупервуд.

— Прекрасно, значит больше и толковать не о чем, — сказал Каупервуд. — Не хотите продавать, не надо. Быть может, вы еще передумаете.

Мистер Парди удалился, а Каупервуд вызвал к себе своих адвокатов и инженеров. Прошло недели полторы, и в субботу вечером, когда все конторы закрылись и здание, служившее предметом раздора, опустело, на участок мистера Парди прибыла партия рабочих — человек около трехсот — с кирками, лопатами, тачками и динамитными шашками. На следующий день, то есть в воскресенье, и следовательно в день неприсутственный, когда судебные и административные учреждения закрыты, примерно к заходу солнца все уже было кончено и на месте одного из крыльев солидного семиэтажного здания — бывшей собственности мистера Парди — зиял огромный черный котлован. Весть о том, что его строение уже почти не существует, долетела до джентльмена в целлулоидном воротничке и манжетах только в девять часов утра в воскресенье и повергла его, как и следовало ожидать, в чрезвычайную ярость. Когда мистер Парди, красный и потный от волнения, прибыл на место происшествия, часть стены еще стояла, и он тотчас вызвал полицию. Однако, как ни странно, это мало помогло мистеру Парди, ибо полиции было предъявлено предписание высокой судебной инстанции, за подписью достопочтенного Наума Дикеншитса, в котором предлагалось прокладке туннеля не препятствовать. (Впоследствии, когда этим достопримечательным документом заинтересовалась другая высокая инстанция, выяснилось, что он исчез. Поговаривали, что документ этот никак не мог быть предъявлен полиции, так как его не существовало вовсе.) Между тем работы на участке шли своим чередом. Адвокаты забегали от одного знакомого судьи к другому. Горящие глаза, багровые лица, срывающийся от возмущения голос… Судьи выслушивали сообщение о неслыханном бесчинстве, но — закон есть закон, установленная процедура есть установленная процедура, и никакое предписание не может быть вынесено в праздничный день, когда все присутственные места закрыты. Правда, около трех часов удалось все же разыскать услужливое должностное лицо, которое согласилось выдать предписание, приостанавливающее это чудовищное самоуправство. Но к этому времени строение уже было снесено и работы в основном закончены. Западно-чикагской транспортной оставалось только раздобыть новое предписание, аннулирующее вышеуказанное и предостерегающее против посягательства на права, привилегии и прочая и прочая этой компании, и создать, таким образом, кляузное дело, которое естественным ходом вещей должно было попасть в апелляционный суд штата, где ему предстояло благополучно пролежать под сукном до скончания века. Затем еще в течение нескольких лет писались всевозможные предписания, отмены решений, запросы, апелляции, ходатайства о передаче дела из суда штата в федеральный суд на основе конституционных прав и привилегий и тому подобное. В конце концов дело было улажено помимо всех судебных инстанций, ибо мистер Парди к тому времени стал сговорчивее. Однако газеты, сумевшие раздобыть полную информацию об этой тяжбе, снова открыли огонь по Каупервуду.

И все же поединок с Рэдмондом Парди причинил Каупервуду куда меньше хлопот и беспокойств, нежели соперничество новой компании — Чикагской транспортной. Идея создания такой компании первоначально зародилась в мозгу некоего Джемса Фернивейла Уолсена, весьма предприимчивого молодого калифорнийца, и вылилась мало-помалу в поток прошений и ходатайств со стороны доброй половины населения юго-западной окраины города, где было намечено проложить новую линию городской железной дороги. От этого молодого честолюбца, Джемса Фернивейла Уолсена, не так-то легко было отделаться. Помимо всех этих прошений и ходатайств, которые никто не мог запретить ему подавать, у Уолсена имелся на руках еще один козырь: он предлагал ввести новый вид транспорта, уже существующий кое-где в других городах и действующий на электрической тяге. На крыше вагона устанавливалась длинная металлическая штанга с роликом, который скользил по электрическому проводу, подвешенному на столбах. Такой способ передвижения считался более удобным, чем канатная дорога, и даже более дешевым, чем конка.

Каупервуд уже и раньше слышал об этих электрических железных дорогах и в течение последних лет с величайшим интересом изучал их, ибо понимал, что они должны произвести переворот в городском железнодорожном транспорте. Но так как он совсем недавно соорудил свою великолепную канатную дорогу, то, естественно, считал невыгодным от нее отказываться. Трамвай был новшеством, с которым, по мнению Каупервуда, население Чикаго могло повременить до тех пор, пока он, Каупервуд, не сочтет для себя удобным ввести этот новый вид тяги — сперва на окраинах, а затем и повсеместно.

Однако, прежде чем Каупервуд успел принять необходимые меры для обуздания Уолсена, этот ловкий молодой пройдоха, обладавший неукротимой фантазией и хорошо подвешенным языком, сумел привлечь на свою сторону таких сугубо заинтересованных лиц, как Джордан Джулс, бывший директор Северо-чикагской газовой компании, потерявший изрядную долю своего состояния в «газовой войне» с Каупервудом, и Трумен Лесли Мак-Дональд. Последний воспринял предложение Уолсена, как самим небом ниспосланную возможность свести, наконец, счеты с Фрэнком Алджерноном Каупервудом. Трудно было подобрать лучших союзников для беспощадной мести тому, кого они считали своим заклятым врагом: Трумен Лесли Мак-Дональд, худой, подвижный, с черными колючими глазками, всегда сверкавшими подозрением и завистью, и Джордан Джулс — тучный, приземистый, рыжий, с длинной редкой бахромой сальных волос, окружавших блестящий голый череп и свисавших на грязный воротник, и пронзительным злым взглядом жестких голубых глаз. Эта пара в свою очередь втянула в дело Сэмюэла Блэкмена, бывшего председателя правления Южной газовой компании, Сандерленда Слэда, крупного биржевика и директора одной из чикагских железных дорог, и Нори Симса, председателя кредитного общества «Дуглас»; последний, впрочем, выступал скорее в роли финансового агента. Все они сходились во мнении, что избранному Каупервудом пассивному способу борьбы, заключавшемуся в том, чтобы заставлять муниципальный совет игнорировать все обращенные к нему прошения и ходатайства новой компании, не так уж трудно противостоять.

— Ну, я думаю, что мы скоро выкурим этих жуликов из муниципалитета, — заявил молодой Мак-Дональд на одном из очередных совещаний своей клики. — Нужно только поднять шум вокруг этого дела.

Молодой Мак-Дональд обратился к отцу, желая использовать в своих целях «Инкуайэрер», но старый генерал не хотел до поры до времени ввязываться в это дело, заметив, что его сынок что-то слишком уж в нем заинтересован. Лесли Мак-Дональд, разъяренный пассивным сопротивлением олдерменов, явился в муниципалитет и потребовал объяснений от олдермена Даулинга. Почему проект первостепенной важности продолжает лежать под сукном? На что председатель комитета городского благоустройства мистер Даулинг, человек могучего телосложения, голубоглазый, флегматичный, с неизменной плотоядной улыбкой на устах, соизволил ответить, что впервые слышит о таком проекте.

— Впрочем, я в последнее время мало занимался этими вопросами, — добавил он.

Лесли Мак-Дональд посетил и других членов комитета. Но все равно не добился толку. Да, да, они непременно ознакомятся с этим проектом. Кажется, там прошения составлены не по установленной форме, — заявил ему кто-то из них.

Ясно было, что тут дело не чисто, и за всем этим, конечно, скрывается Каупервуд. Молодой Мак-Дональд посовещался с Блэкменом и Джорданом Джулсом, и было решено принудить муниципалитет выполнить свой долг. Ведь проектируемое предприятие было вполне законным.

Почему не дают городу применить новый, усовершенствованный вид транспорта? Шрайхарт, которому было предложено войти в дело на очень выгодных условиях и который рассчитывал со временем прибрать его к рукам, согласился, что нужно заставить муниципалитет рассмотреть прошения. И тотчас газеты ринулись к нему на помощь.

«Нужно покончить с этим безобразием!» — кричали шрайхартовская «Кроникл», газеты Хиссопа и Мэррила и «Инкуайэрер». Если представители главенствующей партии в муниципалитете пляшут под дудку такой темной личности, как Каупервуд, и готовы в угоду ему задушить всякую иную инициативу в области городского железнодорожного транспорта, то избирателям остается только одно: выгнать вон зарвавшихся негодяев! Ни одна партия не может оставаться у власти, имея на своем счету подобные политические плутни и мошеннические сделки! Газеты изображали Мак-Кенти, Даулинга и Каупервуда алчными, тупыми противниками прогресса, темной, губительной силой. Но Каупервуд только усмехался. Весь этот вой, писк и визг свидетельствовал лишь о слабости его врагов. Позднее, когда Трумен Лесли Мак-Дональд пригрозил обратиться в суд, дабы заставить муниципалитет выполнить свой долг, Каупервуд и его присные отнеслись к этому уже не столь иронически. Судебное предписание, даже если бы оно ни к чему не привело, дало бы новую пищу газетным крикунам, а тем временем близились выборы в муниципалитет. Но, разумеется, ни Мак-Кенти, ни Каупервуд не собирались складывать оружие. В их распоряжении были деньги, возможность назначения на должности, административный аппарат, хорошо налаженная партийная машина, пивные, бары, кабаки для вербовки голосов и те темные закоулки, где ночью, в последние минуты голосования в избирательные урны подсовываются фальшивые бюллетени.

Принимал ли сам Каупервуд в этом участие? Разумеется, нет. А Мак-Кенти? Тоже, конечно, нет. В прекрасных добротных костюмах и тончайшем белье, самоуверенные, благополучные, они частенько совещались в эти дни — то в конторе Чикагского кредитного общества, то в кабинете директора Северо-чикагской транспортной, то в библиотеке мистера Каупервуда. Никакие темные личности не имели сюда доступа, здесь не совершалось никаких подозрительных дел. И тем не менее, когда подоспело время, газетный заговор Шрайхарта — Симса — Мак-Дональда потерпел крах. Партия Мак-Кенти получила большинство голосов. Некоторые особенно оскандалившиеся олдермены были, правда, забаллотированы, но какое может иметь значение потеря одного-двух олдерменов? Те, что займут их место, очень скоро позабудут все предвыборные посулы и клятвы и поймут свою выгоду, а нет — так их нетрудно будет приструнить. Итак, противники Каупервуда ни на шаг не продвинулись вперед, но отношение к нему заметно изменилось к худшему, и уже в самых широких слоях населения начали поговаривать о том, что Каупервуд нечестно ведет дела и накладывает свою хищную лапу на весь городской железнодорожный транспорт в Чикаго.

31. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Как раз во время этих бурных событий в общественной жизни Чикаго издатель Хейгенин узнал о связи своей дочери Сесили с Каупервудом, и это открытие возымело свои последствия. Выплыло это наружу безо всякого участия со стороны Эйлин, которая уже устала бороться с бесчисленными изменами мужа. Зато некая дама, работавшая в газете Хейгенина редактором светской хроники и считавшая себя весьма обязанной своему патрону, услыхав неизвестно откуда о скандальной истории с его дочкой, почла своим долгом без дальнейших околичностей выложить ему эту новость. Хейгенин, человек простой и, несмотря на свою профессию, недостаточно хорошо знавший жизнь, отказывался верить своим ушам. Каупервуд? Каупервуд, всегда такой сдержанно-учтивый, такой деловитый? До Хейгенина доходили, правда, кое-какие слухи о его прошлом, но ему казалось, что Каупервуд не станет рисковать своим положением в Чикаго и марать свою репутацию. Однако сплетня эта касалась, как-никак, его родной дочери, и Хейгенин скрепя сердце призвал к себе Сесили. Га, не выдержав допроса, призналась во всем. Как это обычно бывает в подобных случаях, Сесили заявила, что она уже совершеннолетняя и сама отвечает за свои поступки, — рассуждения, почерпнутые главным образом из бесед с Каупервудом. Хейгенин решил было ограничиться отправкой Сесили к тетке в Небраску, но Сесили заупрямилась. Тогда, опасаясь влияния на нее Каупервуда и каких-либо ответных мер со стороны

последнего, ибо Каупервуд, кстати сказать, индоссировал его векселя на сто тысяч долларов, Хейгенин решил переговорить с ним лично. Конечно, это повлечет за собой разрыв отношений и некоторые финансовые осложнения, но другого выхода не было. Хейгенин уже собирался отправиться к Каупервуду, когда тот, не подозревая о том, что его отношения с Сесили перестали быть тайной, позвонил Хейгенину и пригласил его позавтракать с ним, чтобы обсудить кое-какие деловые вопросы. Хейгенин был удивлен и в то же время почувствовал известное облегчение.

— Я занят сейчас, — сказал он, с трудом подбирая слова, — но, может быть, вы зайдете потом ко мне в редакцию? Мне нужно поговорить с вами.

Каупервуд, полагая, что тот хочет сообщить ему какие-то интересные газетные или политические новости, пообещал быть после четырех. Он приехал в редакцию газеты, помещавшуюся в Доме прессы, и прошел в кабинет к Хейгенину, где был встречен угрюмым, суровым и глубоко уязвленным человеком.

— Мистер Каупервуд, — начал Хейгенин, когда финансист, элегантный, подтянутый, довольный, живое воплощение успеха и преуспеяния, быстро вошел в кабинет, — мы с вами знакомы уже добрых полтора десятка лет, и все эти годы вы всегда встречали с моей стороны самое искреннее и дружеское расположение. Не так давно вы в свою очередь оказали мне некоторые финансовые услуги, но я полагал, что вами руководит только дружба. Совершенно случайно мне стало известно о ваших отношениях с моей дочерью. Я говорил с ней, и она призналась во всем. Простая порядочность, думается мне, должна была бы остановить вас, когда вам вздумалось включить мое дитя в число обесчещенных вами женщин. Поскольку вы рассудили иначе, мне остается только просить вас, — тут мистер Хейгенин перевел дыхание, лицо его было сурово и бледно, — забыть дорогу в мой дом. Сто тысяч долларов по индоссированным вами векселям будут оплачены мною в ближайшие дни, а вы соблаговолите вернуть мне акции, принятые вами в виде дополнительного обеспечения. Человек другого склада, мистер Каупервуд, заставил бы вас понести иного рода ответственность за ваш поступок. Вы, вероятно, никогда не имели детей или же лишены от природы отцовских чувств, иначе у вас не хватило бы духу нанести мне подобное оскорбление. Здесь у нас, в Чикаго, такие поступки не доведут вас до добра, да и в другом месте тоже, и я надеюсь, что вы скоро в этом убедитесь.

Хейгенин медленно повернулся к Каупервуду спиной и направился к своему столу. Каупервуд, который выслушал его, не сморгнув глазом, внимательно и терпеливо, сказал:

— Я вижу, что в этом вопросе нам с вами не столковаться, мистер Хейгенин, — мы слишком по-разному смотрим на вещи. Вы не можете встать на мою точку зрения, а я, к сожалению, не могу принять вашу. Но как бы то ни было, поскольку вы этого хотите, акции будут вам возвращены, лишь только я получу индоссированные мною векселя. Больше я ничего не имею вам сказать.

Каупервуд повернулся на каблуках и с самым невозмутимым видом вышел из кабинета. «Скверно, конечно, потерять поддержку такого почтенного человека, — думал он, — ну, да обойдемся и без него. Как это глупо, что все отцы непременно хотят навязать своим дочерям добродетель, к которой те не питают ни малейшей склонности».

После ухода Каупервуда Хейгенин еще долго неподвижно стоял перед письменным столом, раздумывая над тем, где достать сто тысяч долларов и как заставить Сесили понять, что она совершила непоправимую ошибку. Какой неожиданный удар и от кого? От человека, которого он считал своим другом. Потом у него мелькнула мысль, что Уолтер Мелвиль Хиссоп получает хорошие барыши со своих двух газет и может прийти ему на выручку; он расплатится с ним, как только в «Пресс» поправятся дела. Мистер Хейгенин поехал домой, недоуменно размышляя над тем, какие неприятные неожиданности готовит иной раз людям судьба. А Каупервуд отправился в Чикагское кредитное общество посовещаться с Видера; оттуда он тоже отправился домой, по дороге обдумывая, как бы ему побыстрее возместить себе потерю издателя Хейгенина. Самые различные вопросы волновали его сейчас, и судьба Сесили Хейгенин уже не занимала Каупервуда.

Однако Каупервуду пришлось все-таки призадуматься, когда его связь с миссис Хосмер Хэнд, женой крупного банкира и финансиста, стала достоянием гласности. Хэнд, солидный, медлительный, флегматичный человек, несколько лет назад потерял жену, которой он был неизменно верен. После ее смерти он долгое время оставался вдовцом, с головой уйдя в свои крупные и разнообразные финансовые спекуляции. Потом его колоссальное богатство, довольно представительная внешность и хорошее положение в обществе обратили на себя внимание некоей миссис Джесси Дрю Баррет. Она принялась его обхаживать и в конце концов женила на своей дочке Керолайн, весьма решительной молодой особе, живой, неглупой, бойкой на язык, расчетливой, легкомысленной и очень веселой. Пустое сердце и честолюбивый ум, мысль о хэндовских миллионах и о возможности блистать в свете (особенно после смерти мужа) помогли Керолайн примириться с тем, что жених немолод и с ее точки зрения малопривлекателен, и она подарила его своей благосклонностью. Не обошлось, конечно, и без пересудов. Хэнд был объявлен жертвой, а Керолайн и ее мать — бесстыдными авантюристками и развратницами. Но, поскольку богач-банкир был уже прочно пойман в сети, всем, кто рассчитывал попасть в число его друзей и приближенных, надлежало быть любезными с его супругой,

что они и делали. На свадьбу съехался весь чикагский «свет». Вскоре миссис Хэнд начала давать роскошные балы, обеды, музыкальные вечера.

В начале своей деятельности Каупервуду не приходилось встречаться ни с мистером Хэндом, ни с его супругой. Но как-то раз, когда работы по проведению канатной дороги шли уже полным ходом, ему потребовалось срочно достать двести пятьдесят тысяч долларов. Чикагское кредитное общество, «Лейк-сити Нейшнл» и другие кредитные учреждения были уже сверх меры обременены его обязательствами, и Каупервуду пришло на ум пойти к Хэнду. Каупервуд всегда смело делал крупные займы, и в обращении, как правило, находилось большое количество его векселей. Он являлся к кому-нибудь из чикагских богачей, делал краткосрочный или долгосрочный заем под высокий или низкий процент, смотря по обстоятельствам, и нередко завязывал таким образом полезные знакомства. Что касается Хэнда, то он по своим связям явно принадлежал к враждебному лагерю — к клике Шрайхарта, старых газовых компаний, общества «Дуглас» и т.д., — однако это не остановило Каупервуда. Он надеялся, что ему удастся рассеять предубеждение банкира, если таковое существует, и расположить его к себе. Хэнд, человек практичный, уравновешенный и по натуре прямой, слышал много дурного о Каупервуде, но не хотел доверять слухам и быть к нему несправедливым. Возможно, что Каупервуд не так уж плох, как изображают его завистливые конкуренты.

Поэтому, когда тот явился к нему в контору в «Рукери-Билдинг», Хэнд встретил финансиста довольно приветливо.

— Прошу вас, присядьте, мистер Каупервуд, — сказал он. — Я уже слышал о вас от разных лиц, да и газеты уделяют вашим делам немало внимания. Чем могу служить?

Каупервуд вынул из кармана пачку «Западно-чикагских транспортных» на сумму в пятьсот тысяч долларов.

— Могу ли я получить у вас завтра утром двести пятьдесят тысяч долларов под обеспечение вот этих бумаг?

Хэнд, как всегда спокойный и невозмутимый, молча посмотрел на акции.

— А что же ваш банк? — спросил он, имея в виду Чикагское кредитное общество. — Разве он не может выручить вас?

— Перегружен сейчас другими обязательствами, — отвечал Каупервуд со своей открытой, располагающей улыбкой.

— Ну, если верить газетам, то вы неминуемо должны вылететь в трубу вместе с этой вашей канатной дорогой. Но я не слишком им верю. На какой срок нужны вам деньги?

— На полгода, на год, если вы сочтете это возможным.

Хэнд повертел в руках акции, разглядывая их золоченые печати.

— «Западно-чикагские транспортные», привилегированные, шестипроцентные на сумму пятьсот тысяч долларов, — проронил он. — А дают они сейчас шесть процентов?

— Они дают восемь. И вы увидите еще, что эти акции дойдут до двухсот долларов и будут давать двенадцать процентов.

— Вы ведь, кажется, выпустили акций в четыре раза больше, чем старая компания? Ну что ж, Чикаго растет. Оставьте мне их или занесите завтра. Можете позвонить утром по телефону или прислать кого-нибудь — я дам вам ответ.

Они потолковали еще немного о городских железных дорогах и других предприятиях. Хэнда интересовали участки в западной части города, около Равенсвуда, и Каупервуд дал ему дельный совет.

На другой день Каупервуд позвонил Хэнду, и тот сказал ему, что обеспечение принято. Мистеру Каупервуду будет прислан чек. Так началось их знакомство, которое перешло в осторожную деловую дружбу, продолжавшуюся до тех пор, пока Хэнд не узнал об отношениях, завязавшихся между Каупервудом и его женой.

Керолайн Баррет — как она иной раз предпочитала себя называть — была существом почти столь же беспокойным и непостоянным, как и Каупервуд, но уступала ему, пожалуй, в расчетливости и коварстве. Желая блистать в свете, Керолайн вместе с тем не желала подчиняться его условностям. Хэнда она не любила. Став его женой, она вознаграждала себя за эту жертву тем, что проводила дни в беспрестанных развлечениях. Ее первая встреча с Каупервудом произошла в роскошном особняке Хэндов на Норс-Шор-Драйв, где из окон открывался великолепный вид на озеро. Хэнд пригласил Каупервуда потолковать о делах. Миссис Хэнд была очень заинтригована скандальной репутацией Каупервуда. Маленькая шатенка с ярко

накрашенным ртом, ослепительно белыми зубами и веселым дерзким взглядом блестящих карих глаз, она старалась быть остроумной, находчивой, забавной — и до некоторой степени преуспевала в этом.

— Кто не слыхал про Фрэнка Алджернона Каупервуда? — воскликнула она, протягивая ему тонкую белую, унизанную кольцами, руку с чуть подкрашенной розовым ладонью и ногтями, обведенными хной. Глаза миссис Хэнд лучились, зубы блестели. — В газетах только о вас и пишут.

Каупервуд ответил ей одной из своих самых обольстительных улыбок.

— Счастлив познакомиться с вами, миссис Хэнд. И мне приходилось немало слышать о вас. Надеюсь, однако, что вы не верите всему, что пишут обо мне в газетах?

— Если бы я даже и верила, это не могло бы уронить вас в моих глазах. В наше время не сплетничают только о тех, о ком нечего сказать.

Каупервуд рассчитывал использовать Хэнда в своих целях и потому в этот вечер был неотразим. Разговор не выходил из рамок обычной светской болтовни, но улыбки, которыми незаметно обменивались хозяйка дома и гость, говорили красноречивее всяких слов. Каупервуд с первого взгляда понял, что миссис Хэнд вышла замуж по расчету и теперь намерена развлекаться, невзирая на ревнивый надзор своего супруга. Есть своеобразный веселый азарт в том, чтобы обмануть бдительность стража, выскользнуть из-под надзора при первом удобном случае. Именно эти чувства испытывала миссис Хэнд и потому была жива, весела, остроумна, как никогда. Каупервуд, хорошо изучивший женщин и все их повадки, разглядывал ее руки, глаза, волосы, всегда смеющийся рот. В конце концов он пришел к выводу, что миссис Хэнд очень недурна собой, и так как ей, видимо, угодно обратить на него внимание, то он не прочь ответить ей тем же. Ее пылающие щеки, выразительные взгляды и улыбки очень скоро подтвердили Каупервуду, что он не ошибся в своей догадке.

Прошло несколько дней, и Каупервуд встретил миссис Хэнд на улице. Она тотчас сообщила ему, что собирается навестить друзей в Окономовоке, штат Висконсин.

— Вы, вероятно, никогда не забираетесь летом в такую глушь на север? — многозначительно спросила она и улыбнулась.

— Пока не забирался, — отвечал Каупервуд. — Но если меня раздразнить, я на все способен. Вы там, верно, гребете, катаетесь верхом?

— Конечно. И, кроме того, играю в теннис и в гольф.

— Но где же бедный странник вроде меня мог бы найти приют в этих краях?

— О, насчет этого не беспокойтесь. Там сколько угодно первоклассных гостиниц. А вы тоже ездите верхом?

— Да, с грехом пополам, — ответил Каупервуд, который был отличным наездником.

И вот ранним воскресным утром, среди живописных холмов Висконсина, произошла нечаянная встреча миссис Керолайн Хэнд и мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда. Веселая верховая прогулка легким галопом бок о бок; пустая, беззаботная болтовня о природе, гостиницах, добрых знакомых. Потом внезапное объяснение в любви в обычной для Каупервуда смелой и решительной манере…

А потом наступил день расплаты.

Керолайн Хэнд была, пожалуй, чересчур беспечна. Она не любила Каупервуда, но восхищалась и гордилась им. А Каупервуда привлекала в ней молодость, жизнерадостность, дерзкая самоуверенность; это был новый для него тип женщины. По возвращении они стали встречаться в Чикаго, потом в Детройте, где у Керолайн тоже были друзья, потом в Рокфорде, куда переехала жить ее сестра. У Каупервуда было достаточно денег и свободного времени для этих встреч. Но вот как-то раз Дьюэйн Кингсленд, оптовый торговец мукой — суровый, набожный блюститель нравов и приличий, знавший Каупервуда и ходившую о нем дурную славу, встретил его погожим летним днем в окрестностях Окономовока в обществе миссис Керолайн Хэнд, а еще через несколько дней эта пара снова попалась ему на глаза уже в Чикаго, на Рэндолф-стрит, где у Каупервуда была холостая квартира. Дьюэйн Кингсленд, давно знавший «старину Хэнда», не испытал ни сомнений, ни колебаний — ему сразу стало ясно, чего требует от него долг. Он отправился к Хэнду и спросил его напрямик, известно ли ему, в каких отношениях находятся его жена и Фрэнк Каупервуд? В особняке Хэндов произошла бурная сцена. Хэнд подверг жену суровому допросу. Та отрицала все, но Хэнд ей не поверил. Волнение и наигранный гнев выдавали ее с головой. Первой мыслью Хэнда было

объясниться с Каупервудом, но, будучи человеком рассудительным и практичным, он, подумав, решил, что лучше порвать с ним деловые отношения и отомстить ему другим путем. За миссис Хэнд была установлена слежка, и подкупленная Хэндом горничная вскоре нашла старую записку, написанную Керолайн Каупервуду. Хэнд потребовал от жены, чтобы она уехала в Европу (совершенно так же, как старик Батлер требовал этого в свое время от Эйлин), что вызвало новую бурю, но в конце концов миссис Хэнд подчинилась. Хэнд, всегда относившийся к Каупервуду непредубежденно и даже скорее дружелюбно, сделался одним из самых грозных и могущественных его врагов. Гнев его был безграничен. Теперь он считал Каупервуда темной и опасной личностью, от растлевающего влияния которой необходимо избавить Чикаго.

32. ВЕЧЕР В ИГОРНОМ ДОМЕ

С тех пор как Каупервуд стал все чаще и чаще оставлять Эйлин в одиночестве, ей неизменно оказывали самое преданное внимание Тейлор Лорд и Кент Мак-Кибен. Оба они восхищались Эйлин — ее внешностью, ее живым, веселым нравом, но, будучи слишком многим обязаны Каупервуду, не выходили из рамок самого почтительного поклонения — особенно в те годы, когда Каупервуд был еще горячо привязан к жене. Впоследствии они стали менее щепетильны.

Эти друзья мало-помалу ввели Эйлин в чикагский полусвет, и Эйлин нашла, что там можно нескучно проводить время. В каждом большом городе существует такая смешанная среда, где люди искусства встречаются с теми из представителей высшего света, которые тяготятся условностями и ищут новых впечатлений. Это издревле знакомый нам мир богемы. Отсюда выходят те эксцентрические личности, без которых и сцена, и салон, и студия были бы лишены всякой остроты и своеобразия. В Чикаго было несколько таких мастерских — вроде мастерской Лейна Кросса или Риза Грайера, — где находила себе приют богема. Риз Грайер, обыкновенный салонный портретист, с манерами и повадками светского пройдохи, имел целую свиту почитателей. В его мастерскую и другие подобные, места Тейлор Лорд и Мак-Кибен стали водить Эйлин, желая развлечь ее в отсутствие Каупервуда.

Среди друзей Тейлора Лорда и Мак-Кибена числился в то время некий Польк Линд, молодой светский вертопрах, сын крупного фабриканта сельскохозяйственных машин, проводивший время на балах, на скачках и в казино, — словом, живший в свое удовольствие. Линд был высок, статен, широкоплеч, смугл лицом, с темно-карими, почти черными глазами, курчавыми черными волосами и холеными усиками. Он щеголял изящными костюмами и военной выправкой. Искусный покоритель женских сердец, Линд гордился тем, что не хвастал своими победами, однако самодовольный его вид говорил сам за себя. Эйлин впервые увидела его в студии Риза Грайера. Это была мимолетная встреча, но Польк Линд сразу обратил на себя ее внимание; заметила она и его ответный взгляд — восхищенный и жадный. Этот взгляд показался ей чрезмерно дерзким, он испугал и даже возмутил Эйлин, однако красивое и наглое лицо Полька Линда произвело на нее впечатление. Линд принадлежал к кругу избранных, всегда манившему ее и, видимо, навеки ей недоступному. Эйлин представилось вдруг, что она встретила, наконец (Каупервуд, разумеется, был не в счет), настоящего мужчину и что поклонение этого самоуверенного светского франта было бы ей приятно, если, конечно, он будет держаться в определенных рамках. Если уж стать дурной женщиной, — как мысленно назвала это Эйлин, — так только ради такого человека. Эйлин чувствовала, что он может быть вкрадчив и нежен и в то же время решителен, смел и даже груб порой — совсем как ее Фрэнк. Вместе с тем в нем было то, чего недоставало даже Каупервуду, — тот особый светский лоск, та беззаботная небрежность, которые создаются пустой, праздной и обеспеченной жизнью, сознанием своего привилегированного положения и равнодушным презрением к чувствам и мыслям других людей.

Недели две спустя она снова встретила его, но на этот раз у Кортнея Таборса, одного из приятелей Тейлора Лорда. При появлении Эйлин Линд воскликнул:

— Кого я вижу! Ведь это же миссис Каупервуд! Мы встречались с вами однажды в студии Риза Грайера. Помните — Тейлор Лорд познакомил нас. С тех пор я не мог вас забыть. Я искал вас повсюду, ваш образ неотступно стоял у меня перед глазами. Вы — изумительно красивая женщина!

Он приблизился к ней с восхищенным, почтительным и лукавым видом.

Поведение Линда показалось Эйлин несколько странным — ну, можно ли проявлять такой бурный восторг на глазах у всех! Она не догадывалась, что, несмотря на ранний час, он побывал уже в разных домах и успел порядком угоститься виски. Глаза его блестели, сквозь смуглую кожу пробивался горячий румянец, он держал себя с ней развязно, дерзко, вызывающе. Эйлин насторожилась. Ей нравилось его смуглое мужественное лицо, красиво очерченный рот, крутые завитки волос, придававшие его голове скульптурную форму. Но его восхищение выходило за рамки приличия, и она сделала попытку ускользнуть.

— Польк, идите сюда! Здесь ваша старинная приятельница Сэди Ботуэл — она хочет вас видеть, — воскликнул кто-то из гостей, беря Линда под руку.

— Ну, нет, — возразил тот шутливо, хотя в голосе его прозвучало раздражение захмелевшего человека, которому чем-то досаждают. — Все эти дни, куда бы я ни пошел, я видел перед собой образ одной дамы, и теперь, когда мы, наконец, встретились, я не позволю, чтобы нас так быстро разлучили. Я хочу сначала побеседовать с ней.

Эйлин рассмеялась:

— Право, я очень тронута, но ведь мы, вероятно, еще встретимся, а сейчас меня зовут. — Тейлор Лорд тактично выручил ее, сказав, что хочет ее познакомить со своей приятельницей; Риз Грайер и Мак-Кибен тоже спешили уже к ней на помощь. Общими усилиями Эйлин была на этот раз избавлена от навязчивости Полька Линда. Но потом они встретились снова, и обоим стало ясно, что эта встреча будет не последней. Линд тут же вполне хладнокровно обдумал все и решил, что ему следует приложить некоторые старания и сблизиться с миссис Каупервуд. Эта женщина, хотя и не первой молодости, была как раз в его вкусе: великолепно сложена, чувственная и влекущая. Она не принадлежала к его кругу, но что ему до того? Как-никак, она жена крупного финансиста, который когда-то был принят в обществе, и у нее очень романтическое прошлое, — Линд был в этом уверен. Он сможет добиться ее, если захочет. Это будет нетрудно; он понял это сразу, с первого взгляда — ни она, ни ее жизнь не представляли для него загадки.

Итак, не теряя времени даром, Польк Линд пригласил миссис Каупервуд, Тейлора Лорда, Мак-Кибена, мистера и миссис Риз Грайер и подругу миссис Грайер — мисс Кристобел Лэнмен, молоденькую и довольно хорошенькую девушку, — провести с ним вечер. Решено было сначала посмотреть модный фарс, потом поужинать у Ришелье и отправиться в какой-нибудь закрытый игорный дом. За последние годы на Южной стороне развелось множество таких злачных мест. Здесь, среди довольно претенциозной роскоши, велась крупная игра в рулетку, в трант-и-карант, в баккара и в покер, и сюда, попытать счастья, стекались как представители богемы, так и светские кутилы.

После ужина у Ришелье — с цыплятами, омарами и хорошим шампанским — все были слегка навеселе и в наилучшем расположении духа. В игорном зале «Олкот клуба» Польк Линд предложил Эйлин научить ее игре в баккара или в покер, или любой другой — по ее выбору. За ужином, усадив ее между собой и Мак-Кибеном, он говорил:

— Вы только слушайтесь моих советов, миссис Каупервуд, и если не выиграете, то уж свои деньги во всяком случае вернете; я вас научу, как это делается. Кстати сказать, не каждый умеет дать хороший совет, — добавил он шутливо, бросая взгляд в сторону Мак-Кибена, который в одно из своих последних посещений игорного дома очень старательно давал приятелям советы и все невпопад.

— Так вы тоже играете, Кент? — спросила Эйлин лукаво, оборачиваясь к своему старому другу и покровителю.

— Нет, по чести сказать, это нельзя назвать игрой, — отвечал тот улыбаясь. — Я воображал, что играю, пока не понял, что понятия не имею о том, как это делается. Вот Польк, тот всегда выигрывает. Верно, Польк? Вам нужно только его слушаться.

Линд криво усмехнулся. Его крупные проигрыши в десять, пятнадцать тысяч были предметом пересудов в светских кругах Чикаго. Рассказывали, как он однажды, просидев за карточным столом круглые сутки, выиграл в баккара двадцать пять тысяч и тут же спустил их.

Весь вечер Польк Линд следил за Эйлин тяжелым, многозначительным взглядом. Она не могла избежать этого взгляда, да и не хотела. Польк Линд был так хорош! В театре он все время, незаметно для окружающих, нашептывал ей на ухо комплименты. Эйлин прекрасно понимала, что у него на уме. И временами, совсем как в первые дни ее знакомства с Каупервудом, она невольно чувствовала волнение в крови. Глаза ее сияли. Как знать, быть может, она и вправду полюбит этого человека. Конечно, это было бы ужасно! Однако Фрэнку поделом, он первый стал пренебрегать ею. И хотя образ Каупервуда и сейчас неотступно стоял перед ее глазами, но Эйлин истосковалась по любви и страстно хотела снова ощутить полноту жизни.

В игорном зале собралась, как обычно, нарядная оживленная толпа: актеры, актрисы, завсегдатаи клуба — две-три эксцентричные дамы из высшего общества и множество молодых игроков более или менее джентльменского вида. Тейлор Лорд и Мак-Кибен советовали дамам, на какие числа ставить для начала, а Польк Линд, низко склонившись к напудренным плечам Эйлин и бросая на стол двадцатидолларовую золотую монету, прошептал:

— Позвольте мне поставить это на «катр премье» для вас.

— О нет, я сама поставлю, — возразила Эйлин. — Я хочу играть на свои деньги. Иначе у меня не будет ощущения выигрыша.

— Хорошо, хорошо! Но не можете же вы играть на ассигнации. — Эйлин доставала из сумочки хрустящую пачку новых банкнот. — Их надо прежде разменять на золото. Потом вернете мне, если угодно! Смотрите! Сейчас ставки прекратятся.

Пошло! Видите, видите! Останавливается! Вы наверное выиграете! — Линд замолчал, напряженно следя за маленьким шариком, который теперь вертелся все тише и тише над гнездами с номерами.

— Неужели! А сколько я получу, если выпадет «катр премье»? — Эйлин старалась припомнить правила рулетки, в которую играла за границей.

— Десять за один, — отвечал Линд. — Только вы их не получите. Вы проиграли. Давайте попробуем еще раз на счастье. Эта комбинация выпадает довольно часто. Один раз на десять — двенадцать игр. Мне случалось выигрывать с первой ставки. Давно не выходило «катр премье»? — спросил он у кого-то из знакомых игроков.

— Да нет, не очень! Ну, как дела, Польк?

— Еще неясно. — Линд снова повернулся к Эйлин. — Должно скоро выпасть. Мое правило — удваивать ставки. Тогда рано или поздно получаешь обратно весь проигрыш. — И он поставил две двадцатидолларовые монеты.

— Подумать только! Значит, мы могли выиграть двести долларов! — воскликнула Эйлин. — Я совсем позабыла правила игры.

Раздался голос крупье: «Ставок больше нет!» — и Эйлин сосредоточила все свое внимание на шарике. Он крутился и крутился, так что у нее даже зарябило в глазах, и вдруг остановился.

— Опять не повезло, — сказал Линд. — Ну что ж, теперь поставим восемьдесят. — И он бросил на сукно четыре золотых. — И попытаем еще счастья на тридцать шестом, тринадцатом и девятом. — Небрежным жестом он положил на каждый из названных номеров по сотне долларов.

Эйлин нравилась его манера игры. Линд напоминал ей Фрэнка. У него была выдержка настоящего игрока, умеющего хладнокровно рисковать. Отец Линда, зная нрав сына, определил на его содержание довольно крупную сумму, которая выплачивалась ему ежегодно. Эйлин поняла, что Линд так же азартен по натуре, как Каупервуд, только подвизаются они в разных областях. Вероятно, при своей бесшабашности, Линд рано или поздно свернет себе шею, но что с того? Он джентльмен с головы до пят. У него прочное положение в обществе. А она, видно, никогда этого не достигнет. Мысль о провале ее светской карьеры не переставала печалить Эйлин.

— Ох, у меня даже голова закружилась! — воскликнула она и весело, как девочка, захлопала в ладоши. — Сколько же это я теперь получу, если выиграю? — Многие обернулись в ее сторону, хотя в эту минуту шарик как раз остановился.

— Вот видите, ваша взяла! — крикнул Линд, следивший за крупье. — Восемьсот, двести, еще двести… — он считал про себя, — но тринадцатый проиграл. Отлично — значит, за вычетом ставок мы выиграли около тысячи долларов. Неплохо для начала — что вы скажете? Теперь я бы советовал вам до поры до времени не ставить на «катр премье». Попробуем удвоить тринадцать — мы проиграли на нем и будем играть по формуле Бейтса. Сейчас я вам все объясню.

У Линда была слава азартного игрока, и за его стулом уже начинали собираться зрители. Эйлин как зачарованная следила за ним, увлеченная таинственным капризом случая. Оторвавшись от игры, Линд обернулся к Эйлин, увидел ее сияющую улыбку и, близко наклонившись к ее лицу, прошептал:

— Какие у вас чудесные глаза, какие волосы! Вы кажетесь мне большой, пышно распустившейся розой. Вы ослепительны и вся словно светитесь изнутри.

— О, мистер Линд! Перестаньте. Неужели игра всегда так действует на ваше воображение?

— Всегда, всегда, только не игра, а вы, — и он упорным, красноречивым взглядом посмотрел в ее поднятые к нему глаза. Линд продолжал ставить очень крупно, всякий раз подчеркивая, что играет для Эйлин. Следуя своей системе, он удвоил предыдущую ставку и положил на стол кучку золотых в тысячу долларов. Эйлин стала просить его играть для себя — она будет просто наблюдательницей.

— Вы играйте по своей системе, а я буду ставить сама маленькими суммами на разные номера. Согласны?

— Нет, нет, не согласен, — решительно отвечал он. — Вы — моя удача. Мы играем вместе. Вы будете раскладывать ставки по клеткам. Если мы выиграем, я куплю вам какую-нибудь красивую безделушку. Проигрыш плачу я.

— Ну, как хотите. Я, правда, мало смыслю в этой игре. Значит, если мы выиграем, я получу от вас что-нибудь на память?

— Выиграем мы или проиграем, я все равно вам что-нибудь подарю, — прошептал Линд. — А теперь ставьте на те номера, которые я буду называть. Двадцать долларов на седьмой. Восемьдесят — на тринадцатый. Двадцать — на девятый. Пятьдесят — на двадцать четвертый. — Линд ставил по разработанной им самим системе, и белая пухлая ручка Эйлин послушно клала золотые кружочки то на одну, то на другую клетку, а взволнованные зрители придвигались все ближе: эта пара вела самую крупную игру в зале. Линд играл азартно, в расчете на эффект. Он потерял тысячу пятьдесят долларов сразу.

— Как, мы проиграли всю эту кучу денег? — с притворным ужасом воскликнула Эйлин, когда крупье сгреб лопаточкой их ставки.

— Ничего, ничего, мы получим их обратно, — заявил Польк Линд, бросая кассиру две тысячедолларовых банкноты. — Разменяйте на золото.

Получив две полных пригоршни золотых, он высыпал их на стол, между розоватых ладоней Эйлин.

— Сто долларов — на второй, сто — на четвертый, сто — на шестой, сто — на восьмой.

Все монеты были по пять долларов, и Эйлин, проворно составив из них невысокие желтые столбики, передвинула каждый на соответствующую клетку. Остальные игроки снова прервали игру и с интересом наблюдали за этой необыкновенной парой. Розовые щеки и сияющие глаза, копна рыжевато-золотистых волос и пышный туалет из шелка и кружев — все в Эйлин невольно приковывало взоры, а рядом с ней — Польк Линд, красивый, статный, в превосходно сшитом фраке и белоснежном крахмальном белье, выгодно оттенявшем его смуглое лицо и кудрявые темные волосы… Поистине очень эффектная пара.

— Что тут происходит? Что такое? — спросил, протискиваясь к ним, Риз Грайер. — Крупная игра? Это вы играете, миссис Каупервуд?

— Игра самая обычная, — небрежно отвечал Линд. — Просто мы играем по определенной системе — миссис Каупервуд и я. Играем сообща.

Эйлин улыбалась. Она чувствовала себя в своей стихии. На нее обращают внимание! Она начинает блистать. Наконец-то!

— Сто — на двенадцать. Сто — на восемнадцать. Сто — на двадцать шесть.

— Черт возьми, что вы затеяли, Линд? — воскликнул Тейлор Лорд, оставив миссис Риз и подходя к их столу. Миссис Риз не замедлила последовать за ним. Подходили и еще какие-то люди, — толпа зрителей росла. Шел второй час ночи, игра была в самом разгаре, и залы переполнены.

— Как интересно! — воскликнула мисс Лэнмен, сидевшая в противоположном конце стола. Она бросила игру и стала следить за Эйлин и Линдом. Мак-Кибен, стоявший за ее стулом, тоже перестал ставить и смотрел в их сторону. — Они крупно играют. Посмотрите, сколько золота! А какой у нее задорный вид, верно? А он… — Унизанные кольцами руки Эйлин непрерывно двигались, ловко и проворно раскладывая ставки.

— Видите, он опять меняет деньги. — Достав из кармана еще одну толстую пачку банкнот, Линд менял их на золото. — Не правда ли — необыкновенная пара?

Почти весь стол был уже покрыт ставками Линда, — аккуратными желтыми столбиками золотых. Теперь Линд играл по так называемой «системе Мазарини». В случае выигрыша он должен был получить пять к одному и мог сорвать банк. Вокруг стола собралась уже целая толпа. Яркий свет подчеркивал напряжение, написанное на лицах. «Крупная игра!», «Он хочет сорвать банк!» — слышалось то здесь, то там. Линд играл смело, с поразительным хладнокровием. Он сидел очень прямо, сосредоточенно глядя на стол перед собой, зажав в зубах незажженную папиросу. Эйлин была взволнована, как ребенок, получивший в подарок интересную игрушку. Она чувствовала себя в центре внимания, и это приводило ее в восторг. Тейлор Лорд смотрел на нее, сочувственно улыбаясь. Он симпатизировал ей. Ну что ж, пусть забавляется. Надо же ей развлекаться время от времени. Но Линд — дурак! Рисковать такими крупными суммами только затем, чтобы пустить пыль в глаза!

— Ставок больше нет! — объявил крупье. Шарик снова пришел в движение и снова приковал к себе все взоры. Он крутился и крутился, и Эйлин вся превратилась в напряженное ожидание. Щеки у нее разгорелись, глаза сияли.

— Если мы проиграем, — сказал Линд, — удвоим еще раз ставки, а если нам снова не повезет, — покончим на этом. — Он проиграл уже около трех тысяч долларов.

— Да, да, конечно. Только, мне кажется, лучше кончить сейчас. Ведь в случае проигрыша мы потеряем еще две тысячи долларов. Вы не думаете, что уже хватит? Нельзя сказать, чтобы я принесла вам счастье!

— Вы сами — счастье, — прошептал Линд. — Единственное счастье, которое мне нужно. Попытаем удачи еще раз. Еще один последний раз вместе — идет? Если мы выиграем, я кончу на этом.

Эйлин кивнула, и в ту же секунду шарик с легким стуком остановился, и крупье, выплатив несколько мелких ставок, неторопливо сгреб все остальное золото в специальное отверстие в столе. Зрители отозвались на это вздохом разочарования, сочувственным шепотом.

— Сколько у них было поставлено? — спросила мисс Лэнмен, глядя на Мак-Кибена расширенными от изумления глазами. — По-моему, уйма денег!

— Тысячи две, вероятно. Не так уж много в конце-то концов. Бывают игры, когда ставки достигают восьми, десяти тысяч. Всяко бывает. — Мак-Кибен был настроен скептически.

— Да, да, конечно, но это случается не так уж часто, я думаю!

— Послушайте, Польк! — воскликнул Риз Грайер, приближаясь к Линду и дергая его за рукав. — Если вам непременно нужно освободиться от ваших денег, так отдайте их лучше мне. Я не хуже этого крупье сумею сгрести их; пригоню небольшую тачку, отвезу домой и найду им хорошее применение. Ведь это ужас, как вы зарываетесь!

Линд отнесся к своей потере совершенно невозмутимо.

— Ну, теперь удвоим ставки и либо вернем весь проигрыш, либо пойдем вниз и будем пить шампанское к есть гренки с сыром. Что бы вы хотели получить на память об этом вечере, миссис Каупервуд? Впрочем, я знаю одну премилую вещицу!

И он, улыбаясь, разменял еще одну пачку банкнот. Эйлин медленно, словно с неохотой, раскладывала ставки. Она не одобряла такой азартной игры и вместе с тем невольно увлеклась — ей нравился риск. Через несколько минут ставки были сделаны — в тех же комбинациях, только удвоенные — ровно четыре тысячи долларов. Раздался голос крупье, шарик побежал по кругу и остановился. Крупье выплатил триста долларов и забрал все остальное.

— Ну вот, теперь можно приниматься за гренки, — беззаботно воскликнул Польк Линд, оборачиваясь к Тейлору Лорду, который, улыбаясь, стоял за его стулом. — Нет ли у вас спичек, Лорд? Нам здорово не везло сегодня, ничего не скажешь.

Линд в душе был слегка раздосадован, он надеялся выиграть и часть денег истратить на ожерелье или другую безделушку для Эйлин. А теперь придется раскошелиться еще и на подарок. Вместе с тем он чувствовал некоторое удовлетворение оттого, что показал Эйлин, как легко и беззаботно можно просаживать в рулетку крупные суммы. Это явно произвело на нее впечатление. Он встал и предложил ей руку.

— Итак, мы проиграли, миледи, — сказал он шутливо. — Но я надеюсь, что это вас немножко позабавило? Последняя комбинация, в случае удачи, могла бы принести вам неплохой выигрыш. Ну, не повезло сегодня — в другой раз повезет.

И он ласково и беспечно улыбнулся Эйлин.

— Но я должна была принести вам счастье и не принесла, — сказала она.

— Вы — единственное счастье, к которому я стремлюсь, — лишь бы вы захотели мне его дать. Прошу вас, приходите завтра к Ришелье, мы позавтракаем вместе, хорошо?

— Я подумаю, — сказала Эйлин. Его пылкая настойчивость заставила ее насторожиться. — Нет, завтра я не могу, — решила она после минутного размышления. — Я занята.

— Тогда, может быть, во вторник?

Эйлин вдруг поняла, что ей не следует принимать это слишком всерьез, и ответила небрежно:

— Во вторник? Чудесно. Только позвоните мне накануне. Мало ли что может измениться за это время, — и она дружелюбно улыбнулась ему.

В этот вечер Линду не пришлось больше говорить с Эйлин наедине. И только на прощанье он многозначительно пожал ей руку. Нервная дрожь пробежала по ее телу, но она поспешила себя успокоить: просто в ней говорит жажда жизни, жажда расплаты, но она должна хорошенько все обдумать. Хочет ли она, чтобы эти отношения развивались? Этот вопрос ей надо решить прежде всего. Но как это часто бывает, обстоятельства пришли ей на помощь, решив за нее, и подсознательно она уже знала, что ее ждет, когда возвратилась домой в тот вечер и Тейлор Лорд галантно помог ей выйти из экипажа.

33. МИСТЕР ЛИНД ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

Появление такого человека, как предприимчивый Польк Линд, на жизненном пути Эйлин, да еще в тот момент, когда в ее семейных делах наступил разлад, было одной из причуд судьбы, которые нельзя объяснить простой случайностью, хотя истинная природа их никем еще не разгадана. Эйлин в одиночестве печально размышляла над своей горькой участью, над своими ошибками. И вот появился Польк Линд — неотразимый, напористый Лотарио из города Чикаго… Среди окружавших Эйлин мужчин не было никого, — исключая, разумеется, Каупервуда, — кто в такой мере отвечал бы ее требованиям и вкусам, как обольстительный мистер Линд.

Он и в самом деле был не лишен привлекательности. Сравнительно молодой

— ровесник Эйлин, получивший в свое время если не образование, то воспитание в одном из наиболее привилегированных американских колледжей, он со вкусом одевался, со вкусом выбирал друзей и вообще умел жить со вкусом, а по существу был повесой и распутником. С юных лет он любил азартную игру, много пил, но это почти не отзывалось на его железном здоровье; поглотив несметное количество алкоголя, Линд бывал разве что «под хмельком». Немалое место в его жизни занимала также страсть к женщинам, которую Гиббон назвал «самым приятным из наших пороков». Упорное, терпеливое, жестокое накопление богатства, которому посвятил себя его отец, создавая свое гигантское предприятие, интересовало Полька Линда не больше, чем священные таинства халдеев. Он признавал, впрочем, что доходное предприятие само по себе — превосходная штука, и любил иногда думать о грандиозных линдовских заводах, раскинувшихся на огромном пространстве, мысленно представляя себе бесконечные однообразные ряды кирпичных строений, высокие дымящиеся трубы, пронзительные заводские гудки. Но принимать какое-либо участие в унылой рутине управления всей этой машиной — нет уж, увольте!

Для Эйлин наибольшая опасность таилась сейчас в ее непомерном тщеславии и самолюбии. Трудно было бы найти более тщеславное и вместе с тем сильнее истосковавшееся по любви существо, чем она. Почему, почему, спрашивала себя Эйлин, приходится ей вечно сидеть в одиночестве, терзаясь думами о Фрэнке, изводясь от ревности и тоски, в то время как он порхает где-то, словно мотылек, и наслаждается всеми радостями жизни? Что мешает ей, пока красота еще не увяла, подарить ее другим мужчинам, которые сумеют оценить этот дар? Разве такое возмездие Фрэнку не было бы справедливым? Но Каупервуд был все еще дорог Эйлин; даже сейчас, даже в мыслях она не могла решиться на измену. Он умел быть так очарователен, так нежен, когда ему хотелось ее приласкать.

Когда Польк Линд напомнил Эйлин ее обещание встретиться с ним, она сначала ответила отказом, и на этом все могло бы кончиться, если бы обстоятельства сложились по-другому. Но случилось так, что именно в это время Эйлин стала чуть ли не ежедневно получать все новые доказательства неверности Каупервуда, все новые напоминания о его изменах.

Так, явившись однажды к Хейгенинам, с которыми она старалась поддерживать дружбу, пока правда не выплыла наружу, Эйлин услышала, что «миссис Хейгенин нет дома». Вскоре после этого «Пресс», всегда писавшая о Каупервуде в дружественном тоне, что побуждало Эйлин читать именно эту газету, внезапно резко изменила свою позицию и разразилась нападками по его адресу. Сначала это были лишь патетические возгласы по поводу того, что намерения Каупервуда и проводимая, им политика идут вразрез с интересами города. Но затем появилась передовая, в которой Каупервуд уже попросту именовался «филадельфийским авантюристом», «грабителем», «бессовестным прожектером» и так далее и тому подобное. Эйлин мгновенно поняла, в чем причина такой перемены, но была слишком погружена в свое горе, чтобы пускаться в объяснения с Фрэнком. Она чувствовала себя совершенно беспомощной перед лицом всех этих обвинений и угроз, направленных против Фрэнка, и не видела никакого выхода из своего отчаянного положения.

А еще несколько дней спустя, просматривая «Сэтердей ревю», усердную вестницу всех светских сплетен города, Эйлин наткнулась на скандальную заметку, которая нанесла ей страшный удар.

«За последнее время в высших кругах чикагского общества, — говорилось в заметке, — вызывают немало толков любовные похождения некоего субъекта, обладающего большим состоянием и довольно сомнительной известностью. Господин этот делал в свое время безуспешные попытки втереться в лучшие дома Чикаго. Нам нет нужды называть здесь его имя, так как

всем, кто знаком с последними событиями чикагской общественной жизни, будет ясно, кого мы имеем в виду. И без того грязная репутация этого авантюриста недавно обогатилась, как говорят, еще двумя бесчестными поступками. Последними жертвами пали — жена весьма почтенного чикагского коммерсанта и дочь не менее уважаемого общественного деятеля. Следует отметить, что такими подвигами вышеупомянутый субъект естественно нажил себе могущественных врагов и в светских и в деловых кругах, ибо муж одной из дам, о которых было сказано выше, и отец другой пользуются большим весом и влиянием в городе. Уже не раз говорилось о том, что Чикаго не должен и не станет терпеть разбойничьи приемы, к которым прибегает этот господин во всех своих финансовых и общественных делах, однако до сих пор не было принято никаких сколько-нибудь серьезных мер, чтобы от него избавиться. Особенное изумление вызывает у всех то, что жена этого субъекта, которую он привез сюда из Восточных штатов и которая, как говорят, самым скандальным образом пожертвовала и своей репутацией и семейным очагом другой женщины ради сомнительного удовольствия разделить с ним его судьбу, продолжает оставаться с этим человеком и по сей день».

Все было ясно. Отец «одной из дам» — это, конечно, Хейгенин, или, быть может, Кокрейн; скорее Хейгенин, Муж другой… но кого же они имеют в виду? Эйлин ничего не слышала о связи Каупервуда с какой-либо замужней женщиной. Рита Сольберг? Нет, не может быть, это уже далекое прошлое. Значит, какое-то новое любовное приключение, о котором она даже и не подозревала. И снова Эйлин сидела одна и думала, думала… Теперь, сказала она себе, если Линд еще раз пригласит ее, она примет его приглашение.

Встреча Эйлин с Польком Линдом произошла спустя несколько дней в раззолоченном зале ресторана Ришелье. Эйлин твердила себе, что Линд ей совершенно безразличен, однако, как ни странно, уделила в тот вечер сугубое внимание своему туалету. Стоял февраль, холодный ветер наметал на улицах сверкающие белизной сугробы, и Эйлин надела темно-зеленое шерстяное платье с большими пуговицами из ляпис-лазури, сходившимися углом на ее груди, от плеч к талии, котиковую шапочку с изумрудным пером, котиковый жакет, тоже отделанный огромными серебряными пуговицами ручной работы, и бронзовые туфельки. Подумав, Эйлин прибавила к этому туалету серьги из ляпис-лазури в форме цветка и тяжелый, гладкий золотой браслет.

Линд устремился ей навстречу: на его красивом смуглом лице было написано восхищение.

— Вы выглядите очаровательно! — воскликнул он, когда они сели за столик. — С каким вкусом вы умеете подбирать тона. Эти серьги необыкновенно идут к вашим волосам.

Польк Линд неизменно пугал Эйлин своим беззастенчивым восторгом, но она невольно покорялась его настойчивой лести, упорной, непреклонной воле, скрытой под маской светского обольстителя. Даже в тонких смуглых мускулистых руках Линда чувствовалась незаурядная сила — так же как в его твердом подбородке и в улыбке, обнажавшей ряд ровных белых зубов.

— Итак, вы все-таки пришли, — в упор глядя на нее, произнес он. Она смело встретила его взгляд, но тут же отвела глаза.

Линд внимательно, неторопливо разглядывал ее подбородок, рот, небольшой, слегка вздернутый нос. Яркий румянец, крепкие сильные руки и плечи, обрисованные плотно облегающим платьем, — в Эйлин было то, что он больше всего ценил в женщинах: неуемная жизненная сила. Чтобы прервать молчание, Линд заказал коктейль с виски и стал уговаривать Эйлин выпить, но она отказалась. Тогда он вынул из кармана небольшой футляр.

— Вы помните тот вечер, в казино? Вы обещали принять от меня что-нибудь на память, — сказал он. — Небольшую безделушку. Угадайте, что в этом футляре?

Эйлин растерянно посмотрела на Линда. В таком футляре могли быть только драгоценности.

— О нет, нет, вы не должны этого делать, — запротестовала она. — Ведь я согласилась только в том случае, если мы выиграем. А мы проиграли — значит, не о чем и говорить. Наоборот, я еще сержусь на вас за то, что вы не позволили мне заплатить мой проигрыш.

— Вот это поистине было бы весьма галантно с моей стороны, — рассмеялся Линд, играя длинным лакированным футляром. — Что ж хорошего, если б я оказался таким невежей? Докажите, что вы настоящий игрок, настоящий товарищ, как говорится. Угадайте, и коробочка ваша.

Эйлин кокетливо надула губки — как он настойчив!

— Ну что ж, попробую, — снисходительно сказала она. — Просто ради шутки, конечно. Это, вероятно, серьги, или булавка, или браслет…

Линд молча открыл футляр, и Эйлин увидела золотое ожерелье в виде виноградной лозы тончайшей филигранной работы; в центре его, среди золотых листьев, сверкал большой черный опал. Линд знал, что поразить воображение Эйлин, имевшей уйму драгоценностей, можно только чем-то незаурядным. Он внимательно следил за ней, пока она рассматривала ожерелье.

— Какая тонкая работа! — воскликнула Эйлин. — И какой чудесный опал! Очень странная форма. — Она перебирала ожерелье, листик за листиком. — Но это безумие! Я не могу принять такой подарок. У меня и без того куча драгоценностей, и к тому же… («А что, если Фрэнк увидит это ожерелье? Как объяснить ему, откуда оно взялось? — думала Эйлин. — Он ведь сразу догадается!»).

— И к тому же? — вопросительно повторил Линд.

— Нет, ничего, просто я не могу принять это, вот и все.

— Неужели вы не хотите взять его на память, если даже… помните наш уговор?

— Если что?

— Если даже мы видимся сегодня в последний раз. Пусть у вас останется хоть память обо мне…

Он сжал ее пальцы своей большой, сильной рукой.

Год, даже полгода назад Эйлин с улыбкой отняла бы руку. Теперь она заколебалась. К чему быть недотрогой, если Фрэнк так жесток к ней?

— Скажите, я ведь не совсем безразличен вам? — спросил Линд, заметив колебание Эйлин и еще крепче сжимая ее пальцы.

— Да, конечно, вы мне нравитесь… Но и только, — однако, сказав это, она невольно зарделась.

Линд молчал, не сводя с нее упорного, горячего взора. Чувственное волнение охватило Эйлин, и на мгновение она забыла о Каупервуде. Это было удивительное, совсем новое для нее ощущение. Она вся горела ответным огнем, а Линд смотрел на нее, улыбаясь ласково и ободряюще.

— Почему вы не хотите быть мне другом, Эйлин? Я знаю, вы несчастливы, я вижу это. И я несчастлив тоже. У меня проклятый, беспокойный характер, и я много натерпелся из-за этого в жизни. Мне нужен друг, который любил бы меня. Почему вы не хотите мне помочь? Мы с вами созданы друг для друга, я чувствую это. Неужели вы так сильно любите его? — Линд разумел Каупервуда.

— Неужели ваше сердце совсем закрыто для других?

— Люблю ли я его!.. — с горечью повторила Эйлин, и слова ее прозвучали почти как отречение. — Да. А ему это все равно, он больше не любит меня. Дело не в нем.

— А в чем же? Я вам не нравлюсь? Вам скучно со мной? Вы не чувствуете, что мы подходим друг к другу? — И снова его рука слегка коснулась ее руки.

Эйлин не противилась этой ласке.

— Нет, нет, не то, — сказала она горячо, внезапно вспомнив все, весь свой долгий путь с Каупервудом, его любовь, его страстные уверения. Как мечтала она о жизни с ним, какие строила планы! А теперь сидит здесь, в ресторане, и кокетничает с чужим, малознакомым человеком, позволяя ему жалеть себя! Эта мысль жгучей болью отозвалась в ее сердце. Она сжала губы, но горячие, непрошенные слезы уже прихлынули к ее глазам.

Линд увидел, что она готова расплакаться. Ему стало жаль ее, но она была красива, и он решил сыграть на ее настроении.

— Зачем же плакать, любимая? — сказал он нежно, глядя на ее пылающие щеки и ярко-синие, полные слез глаза. — Вы красавица, молодая, обаятельная. Разве ваш муж — единственный мужчина на свете? Почему вы хотите хранить ему верность, хотя его измены для вас не тайна? Об этой истории с миссис Хэнд говорит весь город, вы встретили человека, который искренне полюбил вас, и отвергаете его любовь. Если ваш муж не ценит вас, то ведь есть другие, которые ценят.

Услышав имя миссис Хэнд, Эйлин насторожилась.

— О какой истории вы говорите? — спросила она, подняв брови.

— Как, разве вы не знаете? — удивился Линд. — Я был уверен, что вам все известно, иначе я никогда не заговорил бы об этом.

— О, я догадываюсь! — воскликнула Эйлин с горькой усмешкой. — Уже столько было всяких историй. «Жена крупного финансиста…» — так, кажется, сказано в «Сэтердей ревю»?.. Так вот кого они имели в виду! Значит, у него роман с миссис Хэнд?

— Да, по-видимому, — отвечал Линд. — Мне очень жаль, что я заговорил об этом. Вот уж действительно поневоле попал в сплетники.

— Круговая порука? — насмешливо спросила Эйлин.

— Нет, не потому. Не нужно быть злюкой. Я вовсе не такой скверный, как вам кажется. Просто это не в моих правилах. В конце концов все мы не без греха.

— Да, да, конечно, — рассеянно подтвердила Эйлин, думая о миссис Хэнд. Так вот это значит кто! Последнее увлечение Фрэнка! — Ну что ж, во всяком случае я не могу не одобрить его выбор, — сказала она, вымученно улыбнувшись. — Все равно этих женщин было уже так много! Одной больше, одной меньше.

Линд усмехнулся. Он и сам одобрял выбор Каупервуда и решил, что лучше переменить тему беседы.

— Не стоит больше говорить об этом, — сказал он. — Не сокрушайтесь из-за него, дорогая. Возьмите себя в руки. Тут уж ничего нельзя изменить.

— Он снова сжал ее пальцы. — Ну как, согласны?

— О чем это вы?

— О, вы же знаете! Согласны вы подружиться со мной? Принять это ожерелье и меня в придачу? — Его глаза улыбались, в них была и ласка, и вызов.

Эйлин покачала головой.

— Вы просто скверный, избалованный мальчик, — сказала она уклончиво. Сделанное ею открытие снова пробудило в ней мстительные чувства. — Дайте мне подумать. Не заставляйте меня брать это ожерелье сегодня. Я не могу. Все равно мне не придется его надевать. А потом видно будет. — Она сделала неопределенный жест, и Линд поймал на лету ее руку и погладил.

— Хотите пойти со мной в мастерскую к моему приятелю-художнику? — спросил он как бы между прочим. — Это здесь неподалеку. Вы увидите прелестную коллекцию пейзажей. Вы ведь любите картины, я знаю. У вашего супруга есть превосходные полотна.

Эйлин мгновенно поняла, куда он клонит, поняла инстинктивно. Эта мастерская, очевидно, просто холостая квартира.

— Только не сегодня, — сказала она нервно, испуганно. — Нет, нет, не сегодня. Как-нибудь в другой раз. Теперь мне пора домой. Мы еще увидимся.

— А это? — спросил Линд, указывая на футляр.

— Пусть пока останется у вас, до нашей следующей встречи. Быть может, я и надумаю потом принять ваш подарок…

Эйлин была рада, что все так благополучно кончилось и она может вернуться домой. У нее сразу отлегло от сердца. Однако Линд отнюдь не был ей безразличен, и все чувства ее были в смятении, словно клочья гонимых ветром облаков. Ей просто хотелось отдалить, хоть немного отдалить неизбежное.

34. ХОСМЕР ХЭНД ВЫСТУПАЕТ НА АРЕНУ

Мрачная ярость Хэнда, скорбь и гнев Хейгенина, злобное неистовство Рэдмонда Парди, который без устали рассказывал всем свою печальную историю, мстительная ненависть молодого Мак-Дональда и всех его присных из Общечикагской городской создали вокруг Каупервуда атмосферу, таившую для него серьезные неприятности и даже опасности.

Самым непримиримым врагом Каупервуда стал Хосмер Хэнд. Огромное богатство и видное положение, которое он занимал в многочисленных коммерческих и финансовых предприятиях города, давали ему в руки могущественное оружие против Каупервуда. Хэнд был без памяти влюблен в свою молодую жену. Не имея никакого опыта в отношении женщин, он удивлялся и негодовал при мысли о том, что Каупервуд посмел так беззастенчиво и нагло посягнуть на его права, так легко, походя, опозорить его. Хэнд горел жаждой мести; медленно и упорно разгоралось это пламя и жгло его душу.

Всякий, кто знаком с миром дельцов, крупных коммерческих и финансовых операций, знает, как важно здесь иметь репутацию человека солидного, положительного, степенного, то есть обладать теми качествами, которые служат залогом успеха многих коммерческих предприятий. Правда, порядочность отнюдь не является отличительной чертой представителей вышеупомянутого мира, но это не мешает каждому из них ждать и даже требовать порядочности от других. Никто с такой жадностью не прислушивается к слухам, не собирает с таким усердием сплетен, которые могут повредить карьере того или иного дельца, не следит так пристально и неутомимо за чужими делами и не прячет с таким тщанием свои собственные грязные дела и делишки, как деятели коммерческого и финансового мира. Кредит Каупервуда был до сих пор достаточно прочен, ибо все знали, что чикагские городские железные дороги — весьма и весьма доходное дело, что Каупервуд без задержки погашает все свои обязательства, что он фактически стоит во главе созданного им вместе с группой других предпринимателей Чикагского кредитного общества и двух городских железнодорожных компаний — Северной и Западной, — и наконец, что «Лейк-Сити Нейшнл бэнк», все еще возглавляемый Эддисоном, охотно принимает в обеспечение бумаги Фрэнка Каупервуда. Правда, и раньше у Каупервуда находились недруги вроде Шрайхарта, Симса и других влиятельных коммерсантов из кредитного общества «Дуглас», которые кричали на всех перекрестках, что Каупервуд выскочка и аферист, что вся его деятельность построена на грязных политических махинациях и обмане общественного мнения и что он не брезгует даже прямым мошенничеством в финансовых делах. Так, например, незадолго до описываемых событий Шрайхарт, состоявший наряду с Хэндом, Арнилом и рядом других дельцов членом правления «Лейк-Сити Нейшнл», вышел из его состава и изъял все свои вклады, ибо, как он объяснил, Эддисон уж слишком широко ссужает Каупервуда и Чикагское кредитное общество деньгами, не считаясь с интересами руководимого им банка. Арнил и Хэнд, не питавшие в то время личной неприязни к Каупервуду, сочли это обвинение необоснованным. Эддисон же заявил, что ссуды, получаемые Каупервудом, не превышают всех прочих ссуд, выдаваемых банком, а предоставляемое под них обеспечение — вполне солидно.

— Я не хочу ссориться с Шрайхартом, — сказал Эддисон, — но боюсь, что он судит предвзято. Он хочет использовать «Лейк-Сити Нейшнл» как орудие своей личной мести. Этак действовать не годится.

Хэнд и Арнил, оба люди здравомыслящие, согласились с Эддисоном, который всегда пользовался их уважением, и на том дело и кончилось. Шрайхарт, однако, продолжал трубить им в уши, что Каупервуд укрепляет Чикагское кредитное общество за счет «Лейк-Сити Нейшнл», добиваясь возможности впредь обходиться без помощи последнего. Эддисон же метит выйти в отставку и потому не очень-то печется о будущем банка. Эти предостережения поневоле заставляли Хэнда иной раз призадуматься, но пока он ничего не предпринимал.

Однако, когда весть о связи Каупервуда с миссис Хэнд достигла ушей ее супруга, на горизонте начали собираться тучи. Хэнд был уязвлен в самое сердце и решил как следует расквитаться с обидчиком. Встретив Шрайхарта на каком-то деловом совещании вскоре после рокового открытия, Хэнд сказал:

— Несколько лет назад, Норман, когда вы предостерегали нас против этого типа — Каупервуда, я думал, что в вас говорит зависть к более удачливому дельцу. Недавно под влиянием кое-каких событий я переменил свое мнение. Теперь я знаю, что этот человек — прожженный негодяй. Очень жаль, что мы вынуждены терпеть его в нашем городе.

— Значит, и вы раскусили его наконец, Хосмер? — сказал Шрайхарт. — Ладно, не буду уж напоминать вам, как давно я это утверждал. Надеюсь, вы согласны теперь, что город должен принять какие-то меры, чтобы обуздать этого проходимца?

Хэнд, угрюмый и, как всегда, немногословный, внимательно посмотрел на Шрайхарта.

— Я лично готов действовать, — сказал он, — как только увижу, что тут можно предпринять.

Вскоре после этого разговора Шрайхарт встретил Дьюэйна Кингсленда и, узнав истинную подоплеку внезапной ненависти Хэнда к Каупервуду, не замедлил поделиться этой пикантной новостью с Мэррилом, Симсом и прочими. Мэррил, который всегда восхищался смелостью и предприимчивостью Каупервуда и даже симпатизировал ему, хотя тот и отказался продолжить линию, выходящую из туннеля у Ла-Саль-стрит, до Стэйт-стрит, где помещался его магазин, был возмущен до глубины души.

— Ну, Энсон, — сказал Шрайхарт, — теперь вы видите, что это за тип! У него сердце гиены и душа хамелеона. Вы слышали, как он поступил с Хэндом?

— Нет, — отвечал Мэррил, — ничего не слышал.

— Не слышали? Ну, доложу я вам… — и Шрайхарт, наклонившись к уху Мэррила, поспешил сообщить все, что было ему известно.

Мэррил приподнял брови.

— Не может быть! — сказал он.

— А вы знаете, как он с ней познакомился? — с негодованием продолжал Шрайхарт. — Он явился к Хэнду, чтобы сделать у него заем в двести пятьдесят тысяч долларов под «Западно-чикагские транспортные». Что вы скажете? Ведь этому нет названия!

— Вот так история, — сказал Мэррил довольно безразличным тоном, хотя в душе был очень заинтригован, ибо всегда считал миссис Хэнд весьма привлекательной молодой особой. — Впрочем, я не особенно удивлен.

Мэррилу припомнилось вдруг, что еще совсем недавно его жена с необыкновенной настойчивостью требовала, чтобы он пригласил в гости Каупервуда.

Хэнд же, со своей стороны, встретив Арнила, признался ему, что Каупервуд позволил себе посягнуть на святость его семейного очага. Арнил был поражен и опечален. Его другу Хэнду нанесено тяжкое оскорбление! Они вдвоем решили потребовать от Эддисона, чтобы он, как директор «Лейк-Сити Нейшнл», немедленно прекратил всякие деловые отношения с Каупервудом и Чикагским кредитным обществом. В ответ на это требование Эддисон весьма учтиво выразил готовность известить Каупервуда о том, что он должен погасить все свои займы, но тут же подал в отставку, чтобы семь месяцев спустя занять пост директора Чикагского кредитного общества. Такое вероломство вызвало чрезвычайное волнение в деловых кругах города, поразив даже тех, кто предрекал, что рано или поздно это должно случиться. Все газеты оживленно обсуждали событие.

— Ладно, скатертью дорога, — угрюмо заметил Арнил Хэнду в тот день, когда Эддисон поставил в известность членов правления «Лейк-Сити Нейшнл» о своем уходе. — Если он решил порвать с банком и связать свою судьбу с этим авантюристом, — что ж, его дело. Но как бы ему не пришлось об этом пожалеть.

Между тем в Чикаго приближались выборы в муниципалитет. Хэнд и Шрайхарт решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы свалить Каупервуда, действуя единым фронтом со своим другом Арнилом.

Хосмер Хэнд считал, что долг призывает его к действию, и принялся за дело без промедления. Он всегда был несколько тяжел на подъем, но, раз ввязавшись в драку, умел биться упорно и ожесточенно. Зная, что для предстоящей выборной кампании ему нужен ловкий и расторопный помощник, он после некоторых размышлений остановил свой выбор на Пэтрике Джилгене — том самом Пэтрике Джилгене, который принимал когда-то участие в «газовой войне» Каупервуда за концессию в предместье Хайд-парк. Теперь мистер Джилген был уже довольно состоятельным человеком. Он обладал редкой способностью сходиться с людьми самого различного сорта, умел держать язык за зубами, не признавал за широкими массами никаких прав, вследствие чего в делах общественных отличался редкой беспринципностью, — словом, имел все данные к тому, чтобы сделать блестящую политическую карьеру. Мистер Пэтрик Джилген был владельцем одного из самых шикарных питейных заведений на Уэнтуорс авеню. Оно все сияло и сверкало, залитое светом калильных ламп (новинка в Чикаго!), яркие огни которых отражались в бесчисленных зеркалах, заставляя их грани переливаться всеми цветами радуги. Избирательный округ, который Пэтрик Джилген представлял от своей партии в конгрессе штата, был застроен одноэтажными ветхими домишками, теснившимися вдоль немощеных улиц, но мистер Джилген тем не менее был уже сенатором штата, кандидатом в члены конгресса на предстоящих выборах и, в случае победы республиканской партии, вероятным преемником достопочтенного Джона Дж.Мак-Кенти на его неофициальном посту Диктатора города. (Хайд-парк до слияния с городом всегда считался республиканским районом, и потому Пэтрику Джилгену неудобно было теперь перекинуться в другой лагерь, хотя большая часть города обычно стояла за демократов.) Во время предвыборной кампании стало очевидно, что среди политических деятелей Южной стороны Пэтрик Джилген пользуется наибольшим влиянием, и Хэнд решил пригласить его к себе для переговоров.

Надо сказать, что Хэнд куда больше одобрял холодный практический расчет и беспощадную логику Каупервуда, чем велеречивое, пустое морализирование Хейгенина или Хиссопа, которые довольствовались тем, что читали мораль и таким образом пытались победить зло добром. Если Каупервуд с помощью Мак-Кенти мог забрать такую силу, то он, Хэнд, найдет кого-нибудь другого, кто с его помощью побьет Мак-Кенти.

— Мистер Джилген, — сказал Хэнд, когда этот ирландец — краснолицый, коренастый, с хитрыми серыми глазками и здоровенными волосатыми ручищами, предстал перед ним, — вы меня не знаете…

— Но я достаточно знаю о вас, — улыбаясь, прервал его тот с легким ирландским акцентом. — Мы можем, я полагаю, разговаривать, не дожидаясь, когда нас представят друг другу.

— Отлично, — сказал Хэнд, протягивая ему руку. — Я тоже вас знаю и думаю, что мы найдем общий язык. Мне хотелось обсудить с вами нынешнюю политическую обстановку в Чикаго. Я сам не политик, но меня интересует все, что делается у нас здесь, и мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, что нас ждет в ближайшем будущем, какие могут произойти перемены.

Джилген не имел ни малейшей охоты сообщать свои политические прогнозы человеку, чьи намерения были ему неизвестны.

— О, я думаю, что у республиканцев неплохие виды на успех, — отвечал он. — Почти вся пресса, за исключением одной или двух газет, поддерживает их. Впрочем, я знаю только то, что печатают в газетах да о чем толкуют вокруг.

Мистер Хэнд отлично понял, что Джилген увиливает от прямого ответа, и это пришлось ему по душе: такой человек ему и нужен — осторожный, хитрый, расчетливый.

— Я пригласил вас сюда, мистер Джилген, разумеется, не только для того, чтобы потолковать о политике. У меня есть к вам вполне определенное предложение. Не знакомы ли вы случайно с мистером Мак-Кенти или, быть может, с мистером Каупервудом?

— Мне никогда не приходилось разговаривать ни с кем из них, — ответил Джилген. — Но я знаю мистера Мак-Кенти в лицо, да и мистера Каупервуда мне тоже приходилось видеть. — Больше он ничего не прибавил.

— Отлично, — сказал Хэнд. — Предположим теперь, что группа достаточно влиятельных в Чикаго лиц берется довольно широко субсидировать предвыборную кампанию республиканцев. Возьметесь ли вы, со своей стороны, с помощью вашей партии и при поддержке газет организовать провал демократов на выборах? Речь идет не только о мэре и главных должностных лицах, но о полной смене всего состава муниципалитета, всех олдерменов, понятно? Нам нужно, чтобы клика Каупервуда — Мак-Кенти не могла больше подкупить ни одного городского чиновника, ни одного вновь избранного олдермена. Демократы должны потерпеть такое поражение, такой крах, чтобы это было всем и каждому ясно. За деньгами мы не постоим, если вы дадите мне, или, вернее, группе лиц, интересы которой я представляю, доказательства того, что мы можем рассчитывать на успех.

Мистер Джилген состроил серьезную мину, помигал своими крохотными глазками, потер ладонями колени, заложил большие пальцы за проймы жилета, потом достал из кармана сигару, закурил и меланхолически уставился в потолок. Он размышлял, напряженно размышлял. Каупервуд и Мак-Кенти — люди могущественные. В своем избирательном округе и в некоторых прилегающих к нему округах, а также в восемнадцатом округе, от которого он был избран сенатором, мистеру Джилгену всегда удавалось справляться с оппозицией Мак-Кенти. Но одолеть Мак-Кенти по всем округам — это задача потрудней. Однако мысль о крупных средствах, которыми он будет единолично распоряжаться, очень вдохновляла мистера Джилгена, как, впрочем, и перспектива с помощью почтеннейших лиц, так сказать столпов чикагского общества, отнять у Мак-Кенти власть над городом! Мистер Джилген был весьма ловким политиком. Он любил устраивать заговоры, вести подкопы, заключать хитроумнейшие сделки — все это интриганства ради. И сейчас он хоть и принял серьезный, озабоченный вид, но сердце его радовалось.

— Я слышал, — продолжал Хэнд, — что вам удалось сколотить крепкую организацию в своем районе и округе?

— Да, мы не сдаем позиций, — ухмыльнулся Джилген. — Но побить демократов по всему Чикаго, — продолжал он помолчав, — не простая задача. В эти выборы в городе будет тридцать один избирательный округ, и за исключением восьми — все они в руках демократов. Я знаю их кандидатов, это все большие ловкачи. В муниципальном совете у них сидит Даулинг, тоже отнюдь не дурак, имейте в виду. А кроме него, у них там еще Унгерих и Дуваницкий, Тирнен и Кэриген, и никто из джентльменов себя в обиду не даст. — Упомянутые выше лица принадлежали к числу наиболее влиятельных и наиболее продувных олдерменов. — Вы видите, мистер Хэнд, как обстоит дело: демократы держат в руках весь аппарат, они распределяют должности, работу и тем самым вербуют себе сторонников. А потом без стеснения тянут деньги со всех, кто у них там занимает хлебные местечки, чтобы с помощью этих денег добиваться победы на выборах. Это, как вы сами понимаете, большое подспорье. — Джилген многозначительно улыбнулся. — Ну, затем на предприятиях этого самого Каупервуда занято

сейчас по меньшей мере тысяч десять рабочих; любой босс избирательного округа, поддерживающий Каупервуда, может прислать к нему любого безработного, и у Каупервуда наверняка найдется для него работенка. А это ведь очень и очень способствует увеличению числа сторонников его партии. Кроме того, надо принять во внимание, что такие богачи, как Каупервуд и ему подобные, не скупятся на деньги во время выборов. Что бы там ни говорили, мистер Хэнд, а все же исход дела решают доллары — два, пять, десять, — которые кто-нибудь в последнюю минуту выкладывает на стойку в баре или даже сует избирателю в карман перед самой избирательной урной. Дайте мне хорошую сумму денег, — и как бы в подкрепление этой благородной идеи мистер Джилген выпрямился и стукнул кулаком о ладонь, положив предварительно сигару, чтобы не обжечься, — и я поведу за собой все избирательные округа Чикаго, все до единого! Но для этого нужны деньги! — повторил он, выразительно подчеркнув два последних слова. Потом снова сунул сигару в рот, откинулся на спинку стула и вызывающе прищурился.

— Хорошо, — сказал Хэнд просто. — Сколько же вам нужно?

— Ну, это уж другой вопрос, — отвечал Джилген, мгновенно выпрямляясь. — Одни округа обойдутся дороже, другие дешевле. Откинув восемь республиканских — о них беспокоиться нечего, — мы должны будем обработать еще восемнадцать для того, чтобы получить большинство в муниципалитете. На мой взгляд, не имея десяти — пятнадцати тысяч долларов на округ, не стоит и затевать дело. Для верности я бы сказал, что всего потребуется тысяч триста — никак не меньше.

Мистер Джилген затянулся сигарой и, выпустив густые клубы дыма, уставился в потолок.

— А как будут расходоваться эти деньги? — осведомился мистер Хэнд.

— О, в такие подробности никогда не следует особенно вдаваться, — безмятежно отвечал мистер Джилген. — В политике кроить в обрез не приходится. Учтите: мы ведь связаны с руководителями участков, организаторами, уполномоченными по кварталам, агентами… Все они должны иметь немалые деньги для работы, чтобы, так сказать, располагать к себе души и сердца, и было бы большой ошибкой допытываться у них, как и куда они эти деньги тратят. Деньги нужны, чтобы поставить папаше пару пива и купить мамаше пакет угля, а маленькому Джонни — новый костюмчик. А торжественные шествия с факелами? А залы для собраний? А оплата разных крупных и мелких услуг? Да мало ли что. Тут расходов не оберешься, будьте покойны. Некоторые округа придется перед выборами временно заселить погуще, а значит неделю, а то и дней десять оплачивать содержание наших агентов в меблированных комнатах…

Мистер Джилген утомленно махнул рукой и умолк.

Мистер Хэнд, никогда не интересовавшийся деталями политических махинаций, слегка приподнял брови. «Предвыборное заселение округов?.. Не слишком ли это дорогая затея?» — подумал он.

— А кто же ведает распределением денег? — спросил он наконец.

— Номинально — окружной комитет республиканской партии, если ему это поручено, фактически — то лицо или группа лиц, которые руководят борьбой. У демократов этим лицом является Джон Дж.Мак-Кенти, и вам следует об этом помнить. В моем округе — это я, и только я.

Мистер Хэнд, уравновешенный, медлительный, а в иных случаях даже несколько туповатый, сдвинул брови и погрузился в раздумье. До сих пор ему приходилось иметь дело только с людьми из так называемого хорошего общества, которые не принимали непосредственного участия в темных предвыборных плутнях, совершавшихся в задних комнатах баров и пивных. Как и все дельцы, он знал, конечно, что нередки случаи, когда в урны опускаются фальшивые избирательные бюллетени и в отдельных округах меблированные комнаты временно заселяются нужными людьми. Каждому, хоть мало-мальски искушенному в этих делах, человеку известно, что деньги на проведение предвыборных кампаний собираются с тех, кто жаждет получить ту или иную должность, а также с тех, кто пользуется всевозможными поблажками, привилегиями и благодеяниями лиц, стоящих у кормила правления. Сам Хэнд не раз делал пожертвования в фонд республиканской партии в благодарность за уже оказанные услуги или в счет будущих. Он понимал, что, ворочая большими делами в больших масштабах, не следует скупиться на побочные расходы. Конечно, триста тысяч долларов — деньги не малые, но Хэнд и не собирался вынимать их все из своего кармана, предполагая, что такую сумму можно будет собрать при некотором нажиме с его стороны. Но годится ли Джилген на то, чтобы побить Каупервуда? Мистер Хэнд еще раз окинул своего собеседника внимательным взглядом и решил, что, за неимением лучшего, сойдет и Джилген.

Итак, сделка состоялась. Джилген, как член центрального комитета республиканской партии, а в будущем, возможно, и его председатель, должен был обойти все округа, не оставив без внимания ни единой сколько-нибудь стоящей республиканской организации, выбрать сильных, надежных антикаупервудовских кандидатов и попытаться провести их в муниципалитет; а Хэнд в свою очередь должен был раздобыть деньги и передать их Джилгену в собственные руки. Кроме того, Джилгену обеспечивалась безоговорочная, хотя и тайная, поддержка всех влиятельных членов республиканской партии в Чикаго. Его

дело было — победить любой ценой. В случае успеха республиканская партия поддержит его кандидатуру на выборах в конгресс. Если же это почему-либо не выгорит, его поставят во главе республиканской партии города и округа.

«Ну, как бы то ни было, — сказал себе Хэнд, когда мистер Джилген, наконец, откланялся, — а мистеру Каупервуду будет теперь не так-то легко обделывать свои дела. Не успеет он оглянуться, как придет пора возобновлять концессии, и если только я буду жив, мы поглядим, что у него из этого получится».

Последние слова финансист проворчал уже почти вслух. Он чувствовал неистребимую ненависть к этому человеку, который, как он полагал, отнял у него привязанность его очаровательной молодой супруги.

35. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СДЕЛКА

В описываемое время в первом и втором избирательных округах Чикаго, включавших в себя деловую часть города, Южную Кларк-стрит, пристань, набережную и несколько прилегающих к ним улиц и переулков, немалой известностью пользовались два человека — Майк Тирнен (он же «Веселый Майк») и Пэтрик Кэриген (он же «Изумрудный Пэт»). По своеобразию характеров и подозрительности делишек вторую такую пару не легко было бы сыскать в городе, а быть может и во всей Америке. «Веселый Майк» Тирнен, гордый обладатель четырех самых вместительных и самых грязных пивных района, отличался внушительными размерами и весьма округлыми формами. Ростом шесть футов и один дюйм, широкоплечий, с бычьей шеей и большой, круглой, как шар, головой, здоровенными волосатыми кулачищами и огромными ступнями, Майк Тирнен испробовал на своем веку немало самых различных занятий, начиная от очистки выгребных ям и кончая деятельностью члена муниципального совета в Чикаго. Выдвинутый на этот пост дорогим его сердцу первым избирательным округом, «Веселый Майк» довольно регулярно предавал интересы своих избирателей, — в сущности, всякий раз, как для этого представлялся удобный случай. Но излюбленным времяпрепровождением Майка было сидеть в задней комнате своего трактира «Серебряная луна» на Кларк-стрит, за палисандровым столом, отгороженным от остального пространства солидной перегородкой красного дерева. Здесь подсчитывал он доходы со своих разнообразных предприятий — пивных, игорных притонов и домов терпимости, которые он содержал при содействии или попустительстве городской администрации, смотревшей на его деятельность сквозь пальцы, и здесь же выслушивал жалобы и просьбы своих клиентов, арендаторов и просто прихвостней.

Мистер Кэриген, единственный соперник мистера Тирнена в его нелегкой и довольно темной деятельности, был человеком несколько иного склада. Невысокого роста, весьма щеголеватый, с худым лицом, украшенным колючими усиками, с хитрыми темно-карими глазками и целой копной черных как смоль волос, разделенных аккуратным косым пробором, он являл собой фигуру довольно представительную и безусловно колоритную. Словом, на него стоило поглядеть, в особенности, если вспомнить, что помимо всего прочего мистер Кэриген был еще обладателем больших торчащих ушей, придававших ему сходство с летучей мышью. В делах финансовых он смыслил значительно больше мистера Тирнена, да и денег у него водилось больше, хотя ему было всего тридцать пять лет, в то время как мистеру Тирнену шел уже пятый десяток. Подобно мистеру Тирнену в первом избирательном округе, мистер Кэриген был крупной силой во втором и держал в руках тех «неоседлых» избирателей, которые могут быть и очень полезны и чрезвычайно опасны для исхода выборов, смотря по обстоятельствам. Портовые грузчики, сезонные рабочие, бездомные бродяги, воры, хулиганы, жулики, шпики стекались со всех концов города в пивные мистера Кэригена. Он был очень тщеславен и почитал себя красавцем и сердцеедом. Женатый на молодой степенной женщине, отец двух детей, мистер Кэриген содержал еще и любовниц, которых он менял примерно раз в год, не считая «случайных» девиц. Одевался он весьма вычурно, хотя и кичился тем, что не носил никаких украшений, кроме булавки с колоссальным изумрудом стоимостью в четырнадцать тысяч долларов, которая в особо торжественных случаях сверкала в его галстуке, приводя в изумление всю Дирборн-стрит и муниципальный совет. Из-за этой-то булавки его и прозвали «Изумрудным Пэтом». На первых порах такое прозвище доставляло мистеру Кэригену немало простодушной радости, так же как и золотая с бриллиантами медаль — выражение признательности чикагских пивоваров за несметное количество проданных им бочонков пива, — в этой области мистер Кэриген не знал себе равных. Впоследствии, однако, когда газеты начали уделять слишком пристальное и ироническое внимание особе мистера Кэригена, так же как и особе мистера Тирнена, и их материальному процветанию, мистер Кэриген потерял вкус и к тому и к другому.

Отношение обоих этих джентльменов к тогдашней политической обстановке в Чикаго было довольно своеобразным и, как выяснилось впоследствии, весьма опасным для союза Каупервуд — Мак-Кенти. Тирнен и Кэриген, будучи соседями и приятелями, обделывали сообща разные делишки как по части коммерции, так и политики, и от случая к случаю оказывали друг другу различные услуги. Занимаясь делами весьма сомнительного и рискованного свойства, они оба нередко нуждались в совете, а порой и в утешении. Им, конечно, было далеко до такого человека, как Мак-Кенти, с его острым нюхом и железной хваткой, однако, по мере того как оба приятеля преуспевали в своих делах, зависть к Мак-Кенти и его высокому положению начинала все больше разъедать их души. Успехи Мак-Кенти заставляли их призадумываться. Они неустанно и ревниво наблюдали за тем, как Мак-Кенти после своего союза с Каупервудом неуклонно шел в гору, как он умел из всего извлечь для себя выгоду — получал хорошую мзду от городской полиции и ежегодно собирал крупную дань с предпринимателей, пользовавшихся любезностями газового и водного отделов муниципалитета. Мак-Кенти, прирожденный интриган, знал, где в случае необходимости можно получить средства на осуществление тех или иных махинаций, и, не колеблясь, черпал из этих источников. Он был всегда в меру любезен с Тирненом и Кэригеном, поскольку это входило в его расчеты, однако ни тот, ни другой не были причислены к тайной клике его ближайших сподвижников. Когда Мак-Кенти случалось бывать в торговых

кварталах, он заглядывал к ним в пивные, спрашивал, как идет торговля, не может ли он чем-нибудь быть полезен, пожимал руку на прощанье, но ни разу не снизошел до того, чтобы лично обратиться к ним с той или иной просьбой или пообещать ту или иную награду. Этим должен был заниматься Даулинг или другие лица, через которых Мак-Кенти устраивал свои дела.

Наделенные нравом беспокойным, хищным и напористым, Тирнен и Кэриген не находили удовлетворения своим растущим аппетитам и жадно искали случая расширить круг своей деятельности, дабы стяжать славу и приумножить доходы. В смысле подтасовки избирательных голосов их округа перещеголяли все другие округа города; количество законных избирателей было здесь не так уж велико, но зато какой простор для «дублирования» голосов на разных участках, для «заселения», для подсовывания в избирательные урны фальшивых бюллетеней! Во время выборов в муниципалитет, когда чаши весов начинали колебаться то в одну, то в другую сторону, первый и второй округа, совместно с частью третьего, соседнего с ними округа, умудрялись зарегистрировать такое количество фальшивых бюллетеней даже по истечении времени, отведенного для голосования, что эта подтасовка коренным образом меняла весь состав городского самоуправления. Во время предвыборных кампаний Тирнен и Кэриген получали от окружного комитета демократической партии крупные суммы, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Самый приблизительный подсчет предполагаемых расходов — вот и все, что от них требовалось, после чего им всегда вручалось несколько больше, чем они просили. Куда шли эти деньги — об этом они никому не давали отчета, да никто с них его и не спрашивал. Тирнен получал от пятнадцати до восемнадцати тысяч долларов, Кэриген — тысяч двадцать, иной раз двадцать пять, так как его район играл особо важную роль.

Мак-Кенти уже начал подумывать о том, что не мешало бы как-то отметить деятельность Тирнена и Кэригена, ибо мало-помалу они становились особами довольно влиятельными. Но как это сделать? Оба они не пользовались общественным доверием, про них шла худая слава — так же как и про их округа и практиковавшиеся там методы предвыборной борьбы. Однако город рос, росли и расширялись многообразные коммерческие предприятия господ Тирнена и Кэригена, а вместе с этим росла и потребность в противозаконных предвыборных плутнях, на которые эти двое были такие мастера, и потому день ото дня сия достойная пара становилась все требовательнее и все беспокойнее. «Почему бы мне не выставить свою кандидатуру на какой-нибудь более высокий пост?» — не раз уже вопрошал себя каждый из них. Тирнен, например, был бы совсем не прочь занять пост шерифа или городского казначея. Он считал себя человеком как нельзя более подходящим для любой из этих должностей. Кэриген на последней конференции городской организации демократической партии старался исподтишка внушить Мак-Кенти благую мысль выдвинуть его на должность инспектора шоссейных дорог и канализации; ему очень хотелось получить это тепленькое местечко, так как было заведомо известно, что оно приносит совсем неплохой побочный доход. Однако в этом году оппозиция республиканцев была сильнее, чем когда-либо, и потому список кандидатов демократической партии должен был быть безупречен и включать в него кандидатуры Кэригена или Тирнена было просто немыслимо. Это значило бы восстановить против себя всех почтенных, солидных избирателей. А Тирнен и Кэриген, перебирая в уме все свои заслуги, бывшие и будущие, возмущались и негодовали. Им не хватало широты кругозора, чтобы понять, в какой мере, несмотря на все их старания, такие люди, как они, опасны для своей партии!

После беседы с Хэндом Джилген обошел весь город и не скупился на посулы. В результате ему удалось завербовать немало восторженных сторонников для республиканской партии. Можно было надеяться, что в тех избирательных округах и участках, где преобладала так называемая «чистая публика», все наиболее почтенные избиратели на сей раз довольно единодушно объединятся против Каупервуда, вняв голосу неутомимо обличающих его газет. В районах, заселенных беднотой, дело обстояло несколько сложнее. Правда, и здесь, выложив изрядную сумму денег, можно было найти каких-нибудь отъявленных плутов, которые согласятся «зарезать» своих единомышленников, но это было дело рискованное и неверное. А так как слухи о недовольстве Кэригена и Тирнена доходили до Джилгена со всех сторон, то он решил навестить их и выяснить, нельзя ли окончательно восстановить обоих приятелей против нынешних заправил и перетянуть в свой лагерь. Мистер Джилген, хотя и принадлежал к враждебной партии, но был уверен, что скорее найдет с ними общий язык, чем мистер Мак-Кенти или мистер Даулинг.

По зрелом размышлении он положил свой первый визит нанести «Изумрудному Пэту», с которым был немного знаком, хотя на политической почве им еще и не приходилось снюхиваться, и, не мешкая более, направился в «Центральную пивную» на Дирборн-стрит. Знаменитая пивная — типичные «политические задворки» Чикаго тех дней — была довольно внушительным заведением, среди различных достопримечательностей которого не последнее место занимала круглая буфетная стойка вишневого дерева, — она, словно диковинная горная цепь, опоясывала зал, сверкая белым и цветным стеклом стаканов и пестрыми наклейками бутылок, отражавшимися в зеркалах. Пол в пивной был сложен из красных и зеленых, уже слегка стершихся, мраморных квадратиков, а потолок веселил взор намалеванными на нем пышными розовотелыми красавицами, парящими нагишом среди прозрачных облаков. Панели на стенах были в алую и коричневую полоску с филенкой из палисандрового дерева. Мистер Кэриген, если у него не было каких-либо безотлагательных дел, обычно торчал здесь с утра до ночи, болтая с приятелями и любуясь великолепием своего торгового предприятия. В тот день взору Джилгена он предстал в ослепительном щегольском костюме — темно-коричневом в ярко-красную полоску, в бордовом галстуке, украшенном прославленным изумрудом, шевровых ботинках и соломенной шляпе новомодного фасона и устрашающих размеров. Вместо жилета талию мистера Кэригена облегал шелковый кушак — последняя причуда современной моды. Короче говоря, он являл разительный контраст с мистером Джилгеном, который ввалился в пивную красный, запыхавшийся, потный, в легком фланелевом костюме кремового цвета и желтых полуботинках.

— Как поживаете, Кэриген? — любезно приветствовал его мистер Джилген, ибо эти политические противники не враждовали друг с другом. — Как идут дела, как торговля? Изумруд, я вижу, на месте, не потеряли еще?

— Нет, такая опасность ему не угрожает. Дела что ж, идут понемножку. А вы как поживаете, мистер Джилген? — мистер Кэриген радушно протянул руку.

— Мне бы надо с вами потолковать. Можете уделить мне минутку?

Вместо ответа мистер Кэриген провел гостя в заднюю комнату; до него уже доходили слухи, что республиканцы сколачивают сильную оппозицию к предстоящим выборам.

Мистер Джилген опустился на стул.

— Я, как вы сами понимаете, пришел к вам по поводу тех событий, которые предстоят нам этой осенью, — начал он с непринужденной улыбкой. — Считается, что нас с вами разделяет вроде как бы барьер, да так оно, пожалуй, и было до сих пор, а я вот подумал — не сломать ли нам его на сей раз?

Мистер Кэриген насторожился, но и глазом не сморгнул.

— Что вы такое надумали? — спросил он, поглядев на гостя с самым простодушным видом. — Я всегда готов поддержать хорошую идею.

— Дело в том, — продолжал мистер Джилген, нащупывая почву, — что у вас тут хороший большой избирательный округ, и вы крепко держите его в руках; то же самое можно сказать и про Тирнена… Это всем известно. Но известно также и то, что если бы вы с Тирненом так рьяно не орудовали, то демократическая партия вряд ли неизменно проводила бы своего мэра. А между тем, если хорошенько вникнуть в дело, так ни вы, ни Тирнен, на мой взгляд, не получаете того, что вам следовало бы получать по заслугам.

Мистер Джилген помолчал, но мистер Кэриген, соблюдая осторожность, не проронил ни слова.

— Так вот, у меня есть к вам предложение, а вы вольны принять его или отвергнуть, — мы из-за этого ссориться не станем. Мак-Кенти или не Мак-Кенти, а в эти выборы республиканцы, как мне кажется, должны победить, независимо от того, с кем будут первый, второй и третий округи. Сделки вашего главаря, — мистер Джилген имел в виду Мак-Кенти, — с этим субъектом с Северной Кларк-стрит, — сей джентльмен любил по временам выражаться несколько туманно, — слишком уж намозолили всем глаза. Вы же видите, как настроены газеты. Так вот, мне случайно стало известно, что на это дело отпущены немалые денежки кое-кем из наших финансовых тузов, которым этот господин с его городскими железными дорогами стал, как видно, поперек горла. Тут, насколько я понимаю, замешаны весьма крупные люди с Ла-Саль-стрит и с Дирборн-стрит. А в чем причина — не знаю. Ясно только, что все это неспроста. Быть может, вам известно даже больше, чем мне. Во всяком случае так обстоят дела. Теперь учтите, что восемь округов — республиканские, как ни крути, и еще десять — ни нашим, ни вашим, значит их можно перетянуть к нам в два счета. Вы понимаете, к чему я клоню? Но давайте плюнем пока на эти десять, будем считать только восемь — те, что уж никуда от нас не денутся. Тогда остается, значит, двадцать три округа, которые мы, республиканцы, всегда уступали вам. Теперь вообразите себе, что нам удастся на этот раз перетащить на свою сторону тринадцать округов из этих двадцати трех, что тогда? Тогда эти тринадцать, да еще восемь, о которых я вам уже говорил, — и мы имеем большинство в муниципалитете, и…

— тут мистер Джилген щелкнул пальцами, — все вы летите вверх тормашками — и вы, и Мак-Кенти, и Каупервуд, и все прочие. Никаких концессий, никаких контрактов на мощение улиц, никаких разрешений на проведение газа. Ничего по меньшей мере в течение двух лет, а то, глядишь, и больше. Если мы победим, все сделки, все лакомые кусочки перепадут нам. — Джилген перевел дух и с веселым вызовом поглядел на Кэригена.

— Ну так вот, я на днях объехал весь город, — продолжал он, — побывал во всех округах, на всех участках, и, уж поверьте, — знаю, о чем говорю. У меня сейчас хватит и людей и денег, чтобы повести борьбу по всей линии. На этих выборах мы возьмем верх — я и большие воротилы с Ла-Саль-стрит и все республиканцы или демократы, или противники алкогольных напитков, или кто бы то ни было — словом, все, кто захочет пойти с нами, — вы меня понимаете? На этих выборах мы дадим такой бой, какой еще не снился Чикаго! Я пока не могу назвать вам имен, но придет время, и вы все узнаете. Я вам прямо скажу, чего мне от вас надо, — я ведь не любитель ходить вокруг да около. Хотите вы с Тирненом присоединиться ко мне и Эдстрому и годика на два забрать город в свои руки? Если мы будем действовать сообща, мы можем победить, даже пальцем не шевельнув. А потом поделим все доходы поровну — газ, воду, городской транспорт, шоссейные дороги, полицию, — все. Или, если хотите, можем поделить все наперед и записать сейчас что — кому, черным по белому. Я знаю, что вы с Тирненом работаете заодно, иначе я не стал бы и толковать об этом. У Эдстрома все его шведы побегут за ним, куда он захочет; на этих выборах они дадут ему двадцать тысяч голосов. Потом еще Унгерих со своими немцами. Один из нас может с ним договориться и выделить для них потом какие-нибудь тепленькие местечки. Если мы победим, мы можем продержать город в своих руках лет шесть, а то и восемь, а потом… да стоит ли загадывать так далеко… Во всяком случае мы будем иметь большинство в муниципалитете, и мэр будет ходить у нас на поводу.

— Да, если… — сухо вставил мистер Кэриген.

— Верно, если… — как эхо отозвался мистер Джилген. — Вы правы, конечно. Во всем этом есть еще одно большое «если», не отрицаю. Но если ваши два округа — ваш и Тирнена — по тем или иным причинам перейдут на сторону республиканцев, — это будет равносильно поддержке четырех или пяти других округов.

— Правильно, — согласился мистер Кэриген. — Если они перейдут. Но они этого не сделают. Чего вы, собственно, от меня хотите? Чтобы я лишился своего места в муниципалитете и вылетел из демократической партии? Этого вы добиваетесь? Да что, вы меня совсем за дурака считаете, что ли?

— Жаль мне того человека, который вздумает считать «Изумрудного Пэта» за дурака, — льстиво отвечал Джилген. — Я во всяком случае на такой промах не способен. Кто просит вас терять место в муниципалитете и вылетать из партии? Кто мешает вам быть избранным в муниципалитет и провалить, — у мистера Джилгена чуть не сорвалось с языка «зарезать», — остальных кандидатов вашего списка?

Мистер Кэриген улыбнулся. Хоть он последнее время и проявлял довольно открыто свое недовольство политической обстановкой в Чикаго, но никак не ожидал, что мистер Джилген сделает ему такое предложение. Идея показалась ему стоящей. «Зарезать» одного-двух кандидатов, с которыми желательно было развязаться, — это ему случалось проделывать и раньше. Если демократической партии и вправду грозит опасность провалиться на предстоящих выборах и если Джилген готов честно распределить посты и поделить доходы, то над его предложением следует подумать. Ни Каупервуд, ни Мак-Кенти, ни Джилген ничем его особенно не вознаграждали. Если ему удастся провалить их ставленников, а самому удержаться в муниципалитете, им придется прийти к нему на поклон. Изобличить его они едва ли сумеют. А если так, то почему бы, действительно, не «зарезать» их кандидатов? Во всяком случае подумать стоит.

Придя к такому выводу, мистер Кэриген произнес сухо:

— Все это очень хорошо, но кто мне поручится, что вы не измените потом вашему слову и не оставите меня с носом? (Услыхав такое предположение, мистер Джилген раздраженно заерзал на стуле.) Дэйв Мориссн тоже вот просил меня помочь ему года четыре назад. Не очень-то много было мне от этого проку. — Слова мистера Кэригена относились к одному неблагодарному субъекту, которому он помог занять пост секретаря окружного совета. Когда впоследствии мистер Кэриген в награду за свои старания захотел воспользоваться его поддержкой для получения вожделенной должности инспектора шоссейных дорог, тот для него и пальцем не шевельнул. Этот Морисси стал теперь чрезвычайно важной персоной в политических кругах.

— Вы, конечно, вольны говорить все, что вам угодно, — с раздражением отвечал мистер Джилген, — но в отношении меня это несправедливо. Спросите тех, кто меня знает. Спросите любого человека из моего округа. Мы можем оформить нашу сделку на бумаге — вы напишете свои обязательства, а я — свои, черным по белому. Если я не сдержу слова, вы в два счета выведете меня на чистую воду. Я сведу вас с людьми, которые меня поддерживают. Вы увидите, какие мне отпущены средства. На этот раз у меня будет все, что нужно. Что вы теряете в конце-то концов? Они не могут выгнать вас за то, что вы провалите остальной список. Как они докажут? Мы приведем полицию, чтобы вся процедура выборов имела законный вид. Я не поскуплюсь на деньги, лишь бы иметь этот округ за собой.

Мистер Кэриген понял, что здесь можно хорошо поживиться. С демократов можно «сорвать» (как мысленно выразился мистер Кэриген) от двадцати до двадцати пяти тысяч долларов за ту грязную работу, которую он для них проделывает. Джилгену он нужен позарез, и тот выложит, конечно, не меньше. Тысяч пятнадцать-восемнадцать понадобится, пожалуй, чтобы обеспечить необходимое количество голосов, которые в зависимости от нужды можно будет использовать либо так, либо этак. В последний час перед окончанием голосования он выяснит, как прошли выборы по другим округам. Если будет ясно, что республиканцы одерживают верх, он поможет им доконать противников, а потом свалит всю вину на своих подручных — скажет, что их подкупили. А если окажется, что одолевают демократы, он плюнет на Джилгена и положит в карман его денежки. Так или иначе, тысяч двадцать пять — тридцать он на этом деле заработает и по-прежнему останется членом муниципалитета.

— Ну, допустим, что вы правы, — заметил Кэриген, изображая нерешительность, хотя он давно уже все решил. — Но тем не менее это дьявольски щекотливое дело. Не знаю, стоит ли за него браться, даже если верить, что оно выгорит. Что верно, то верно, наши заправилы из муниципалитета не очень-то щедро вознаграждают меня за труды, но не забывайте, что я демократ, а второй округ — искони демократический. Если только выплывет наружу, что я сыграл такую штуку со своей партией, мне крышка.

— Я человек слова, — важно заявил Джилген, поднимаясь со стула. — Если я обещал — значит, не подведу. Спросите обо мне в восемнадцатом. Слыхали вы, чтобы я хоть раз в жизни кого-нибудь обманул?

— Нет, нет, не слыхал, — примирительно отвечал Кэриген. — Но это очень серьезная штука — то, что вы мне предлагаете, мистер Джилген. Я не хочу решать этот вопрос на ходу. Округ считается демократическим. Шутка ли переманить его на сторону республиканцев, — вы знаете, какой подымется шум? Повидайтесь-ка с мистером Тирненом — послушаем сначала, что он вам скажет. А потом, быть может, мы с вами еще раз потолкуем. Сейчас решать рановато.

Мистер Джилген удалился в самом бодром и веселом расположении духа. Он отнюдь не был обескуражен.

36. ВЫБОРЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ

Несколько дней спустя мистер Кэриген как бы невзначай наведался к мистеру Тирнену. Мистер Тирнен нанес ему ответный визит. Вскоре после этого в городе Милуоки в небольшой гостинице (подальше от нескромных взоров) состоялось совещание между господами Тирненом, Кэригеном и Джилгеном. А вслед за этим произошла заключительная встреча господ Тирнена, Эдстрома, Кэригена и Джилгена, в результате которой возник план дележа, слишком сложный и запутанный, чтобы воспроизводить его здесь. Само собой разумеется, что было поделено все и даже в соответствующей пропорции

— все секретарские должности, все доходы от полиции, вся дань, взимаемая с игорных притонов и домов терпимости, все добровольные приношения газовых, транспортных и других компаний. Дележ был скреплен взаимными торжественными заверениями. Союз этой лихой четверки мог бы просуществовать годы, если бы ей удалось претворить в жизнь задуманное. Судьи, судейские чиновники, шерифы, крупные и мелкие должностные лица, налоговый аппарат, городской водопровод — все должно было попасть к ней в лапы. То была великолепная мечта лихоимцев, и, как таковая, она была достойна всяческого внимания и поощрения; но все же то была только мечта, и сами творцы ее понимали это порой…

Предвыборная кампания была уже в полном разгаре. Конец лета и начало осени — сентябрь и октябрь — прошли под звуки оркестров и топот марширующих ног, под истошные выкрики демократических и республиканских ораторов, выступавших в парках, на перекрестках улиц, в деревянных импровизированных «вигвамах» или палатках, в залах и вестибюлях общественных зданий — словом, всюду, где им удавалось собрать вокруг себя хотя бы ничтожную кучку людей и заставить слушать их речи. Газеты метали громы и молнии, как и подобает этим наемным поборникам «права» и «справедливости». Каупервуда и Мак-Кенти поносили на каждом углу. По улицам сновали повозки и тележки с намалеванными на огромных плакатах призывами: «Положим конец сделкам транспортных заправил с городским самоуправлением!», «Не позволим красть наши улицы!», «Не отдадим Чикаго во власть Каупервуда!» Утром, по дороге в контору, или вечером, возвращаясь домой, Каупервуд повсюду видел эти воззвания. Он глядел на плакаты, слушал ораторов, разносивших его в пух и прах, и улыбался. Он знал, кто взбунтовал против него город. Хэнд скрывался за всем этим — так донесли ему Мак-Кенти и Эддисон, без промедленья пущенные им по следу, — а Хэнда поддерживали Шрайхарт, Арнил, Мэррил, кредитное общество «Дуглас», издатели различных газет и среди них, конечно, Трумен Лесли Мак-Дональд, вся старая газовая шайка, Общечикагская городская компания — словом, все его недруги. Каупервуд подозревал даже, что им удалось уже подкупить кое-кого из олдерменов, хотя те, все как один, клялись ему в верности. Вместе с Мак-Кенти, Эддисоном и Видера, он, не теряя времени, разработал подробный план обороны. Каупервуд прекрасно понимал, что поражение на этих выборах, — где ему впервые предстояло столкнуться с решительной оппозицией, — повлечет за собой целую цепь довольно серьезных последствий, однако это не слишком его тревожило. Борьбу можно продолжать и потом: в судах — с помощью денег, в муниципалитете — путем влияния на раздачу постов; всегда можно найти общий язык с мэром и с городским прокурором. «Не мытьем, так катаньем», — любил говорить Каупервуд, и эта поговорка как нельзя лучше отражала его образ мыслей и упорство духа. Но, понятно, он предпочел бы и сейчас не проигрывать битвы.

В этой предвыборной борьбе бросалась в глаза одна забавная черта: сторонники Мак-Кенти, согласно полученному от него предписанию, ничуть не меньше драли глотки в защиту реформ, чем республиканцы; разница была только в том, что они не разоблачали Каупервуда и Мак-Кенти, а обрушивались на шрайхартовскую Чикагскую городскую железнодорожную, ибо, по их словам, это и был главный хищник, стремившийся захватить концессии на все улицы, по которым ни Каупервуд, ни Шрайхарт, Хэнд и Арнил не проложили линии. На этот поединок стоило поглядеть. Демократы похвалялись своим либеральным толкованием некоторых докучных воскресных законов: вот, мол, при республиканском муниципалитете ни один честный труженик не мог в воскресный день получить кружки пива или стакана вина. Республиканцы же в свою очередь кричали, что Мак-Кенти собирает дань со всех «грязных притонов и кабаков», и только избрание на пост мэра всеми уважаемого и высокочтимого кандидата республиканцев может положить конец этому безнравственному союзу городской администрации с грехом и пороком.

— Если я буду избран, — заявил достопочтенный Чэффи Зейер Сласс, республиканский кандидат, — ни Фрэнк Каупервуд, ни Джон Мак-Кенти не посмеют даже сунуться в муниципалитет с нечистыми руками и нечестными предложениями.

— Ура! — ревели избиратели.

— Я знаю этого осла, — заметил Эддисон, прочтя излияния мистера Сласса в «Трэнскрипт». — Он служил раньше в кредитном обществе «Дуглас». Потом, сколотив немного деньжонок, открыл комиссионную контору по продаже бумаги. Он просто пешка в руках Арнила и Шрайхарта. Характера и мужества у него не больше, чем у червяка на крючке рыболова.

А Мак-Кенти, прочитав «Трэнскрипт», сказал только:

— Необязательно самому являться в муниципалитет, можно проникнуть туда и другими путями.

Мак-Кенти считал, что на худой конец он всегда будет иметь поддержку большинства членов муниципального совета.

Однако среди всего этого шума и гама никто не обратил должного внимания на оживленную деятельность господ Джилгена, Эдстрома, Кэригена и Тирнена. Трудно было бы найти другую пару таких ловких пройдох, как последние два из вышепоименованных джентльменов. Тайком разрабатывая план совместных действий с Джилгеном и Эдстромом, они в то же время совещались с Даулингом, Дуваницким и даже с самим Мак-Кенти. Видя, что результат выборов по каким-то, ему самому неясным, причинам становится все более и более сомнительным, Мак-Кенти решил пригласить обоих к себе. Прочтя его послание, мистер Тирнен тотчас же отправился к мистеру Кэригену, узнать, не получил ли и он подобного приглашения.

— Как же, как же, получил! — весело отвечал Кэриген. — Вот оно тут, у меня в кармане. «Дорогой мистер Кэриген, — прочитал он. — Не окажете ли Вы мне честь отобедать со мной завтра в семь часов вечера? Мистер Унгерих, мистер Дуваницкий и еще кое-кто из наших друзей присоединятся к нам несколько позже. Мистера Тирнена я просил прибыть к тому же часу, что и Вас. Искренне Ваш Джон Дж.Мак-Кенти». Вот и все, — заметил мистер Кэриген.

— Это вполне в его духе.

Он сделал вид, что целует письмо, и отправил его обратно в карман.

— Так, так. Ну и у меня то же самое — почти слово в слово, — с довольным видом подтвердил мистер Тирнен. — Похоже, что он начинает, наконец, протирать себе глаза. А, что ты скажешь? Должно быть, почуяли, что без нас с тобой им теперь трудно придется. А?

— Понятно, положение может измениться, — не без язвительности заметил мистер Кэриген. — Очень уж они стали нос задирать. Мало ли что может еще случиться. Сейчас самое время им побеспокоиться.

— Что и говорить, все на свете меняется, — горячо подхватил мистер Тирнен. — А ведь у нас два самых больших округа в городе, и я думаю, это им известно. Хороши будут эти господа, когда наши избиратели в последнюю минуту покажут им спину.

Он хитро скосил глаза на мистера Кэригена и почесал свой красный мясистый нос толстым указательным пальцем.

— Твоя правда, черт побери, — весело отозвался его единомышленник.

Чтобы их не заподозрили в сговоре, они отправились на обед врозь и при встрече приветствовали друг друга так, словно давным-давно не видались.

— Как дела, Майк?

— Спасибо, Пэт, отлично. А как у тебя?

— Ничего, идут помаленьку.

— В ноябре твой округ не подкачает, надеюсь?

Мистер Тирнен собрал в складки свой жирный лоб.

— Сейчас еще трудно сказать.

Все это говорилось для успокоения мистера Мак-Кенти, который и не подозревал еще о бесстыдном вероломстве членов своей партии.

Толку от этого совещания вышло мало. Сидели, переливали из пустого в порожнее, прикидывали, в каком округе можно набрать абсолютное большинство голосов, да что Зиглер даст по двенадцатому, да сумеет ли Пинский сладить с шестым, а

Шламбом — с двадцатым, и так далее и тому подобное. Кандидаты республиканцев, появившиеся в исконно демократических, всегда считавшихся надежными округах, порождали тревогу.

— Ну, а как дела в первом, Кэриген? — спросил Унгерих, тощий, угрюмый немец, по всем повадкам — прожженный политикан. За последнее время Унгерих преуспел значительно больше в смысле снискания благосклонности Мак-Кенти, нежели Кэриген или Тирнен.

— О, первый… первый в порядке, — коварно отвечал Кэриген. — Хотя, конечно, ничего нельзя знать наперед. Этот парень, Скалли, может еще, разумеется, натворить чего-нибудь, но не думаю, впрочем, чтобы ему удалось многого добиться. Если полиция и на этот раз возьмет нас под защиту…

Этот ответ удовлетворил Унгериха. Ему в своем округе приходилось нелегко: у него появился противник, некий Гловер, не скупившийся, как видно, на подкупы, и Унгериху, чтобы победить на выборах, требовалось на этот раз куда больше денег, чем обычно. Совершенно то же самое творилось и у Дуваницкого.

Наконец Мак-Кенти отпустил своих подручных — с Кэригеном и Тирненом он распростился с необычной для него теплотой. Он не особенно доверял этой паре и совсем не был в восторге от их способов вести борьбу, — грубее уж ничего нельзя было придумать, — но они были нужны ему.

— Рад слышать, что дело у вас спорится, Пэт, и у вас, Майк, — сказал он им на прощанье, напутствуя каждого благосклонным кивком. — Нам сейчас потребуется вся ваша сноровка, и я уверен, что вы заткнете за пояс другие округа. А мы не забудем ваших стараний, когда придет время расплачиваться с каждым по заслугам.

— Можете на меня положиться, сделаю все, что в моих силах, — прочувствованно заявил мистер Кэриген. — Что говорить, годик выдался трудный, но нас еще не положили на обе лопатки.

— И на меня тоже, хозяин. Можете положиться и на меня, — просипел Тирнен. — Постараюсь, как могу.

— Желаю вам удачи, Майк, — ободряюще проронил Мак-Кенти, мягко опуская руку на его плечо. — И вам, Кэриген. Ваши округа имеют решающее значение, и мы помним об этом. Я всегда считал неправильным, что вы оба до сих пор только члены муниципалитета: наши руководители все как-то не могли столковаться и устроить для вас что-нибудь получше. Ну, теперь это уж не вызовет возражений, если, конечно, мое мнение к тому времени будет чего-нибудь стоить. — С этими словами мистер Мак-Кенти отпустил своих гостей.

На улице холодный октябрьский ветер гнал по мостовой желтые листья и сухие травинки. Тирнен и Кэриген молча шагали рядом, направляясь к Ван-Бьюрен-стрит, и ни один не проронил ни слова, пока они не отошли на добрую сотню шагов от дома Мак-Кенти.

— Ишь, как запел, слыхал? — промолвил, наконец, Тирнен, искоса глянув на Кэригена, освещенного зыбким светом газового фонаря.

— Еще бы! Они всегда щедры на посулы, когда выборы уже на носу. Медовые речи, ничего не скажешь!

— Да, после того как мы десять лет везем на себе всю грязную работу. Пора бы уж, кажется. А вот в июне прошлого года, во время сессии, что-то они не очень много о нас думали.

— Тише, тише, Майки, — мрачно улыбнулся мистер Кэриген. — Ты просто капризный, избалованный мальчишка. Я вижу, тебе не терпится ухватить кусочек сладкого пирога? Ну, твое время еще не приспело. Подожди годика четыре, а то и шесть, бери пример с Пэдди Кэригена и прочих скромников.

— Ну нет, не стану, — проворчал мистер Тирнен. — Не стану ждать шесть лет.

— И я не стану, — заявил мистер Кэриген. — Мы с тобой, кажется, знаем одну штуку, которая к будущему году может перевернуть здесь все вверх тормашками. Так, что ли?

— Верно, черт подери, — с жаром подтвердил мистер Тирнен.

И они разошлись по домам, вполне довольные друг другом.

37. МЩЕНИЕ ЭЙЛИН

Неотразимый Польк Линд, проснувшись как-то утром, решил, что роль чувствительного вздыхателя ему надоела и нужно сегодня же или, на худой конец, завтра сломить сопротивление Эйлин. После встречи у Ришелье прошло уже немало времени, однако, несмотря на все его старания, ему ни разу не удалось увидеться с Эйлин: она избегала его. Неопределенное чувство страха за будущее заставляло ее со дня на день откладывать встречу. Она понимала, что стоит у крутого поворота на своем жизненном пути, а судьба неумолимо толкает ее вперед, и была смущена и растеряна. Каупервуд и сейчас, помимо ее воли, сохранял над ней всю свою былую власть: он рисовался Эйлин колоссом, способным покорить весь мир, и это заставляло ее проводить дни в странной тревоге, смятении и раздумье. Женщина другого склада, быть может, не стала бы колебаться так долго после всего, что ей пришлось пережить, и особенно теперь, когда выплыла наружу связь Каупервуда с миссис Хэнд. Но не такова была Эйлин. В ее ушах все еще звучали прежние страстные клятвы и обещания, и она не в силах была отказаться от своей безумной мечты, ей все еще хотелось верить, что Фрэнк снова станет таким, каким был когда-то, — нежным и любящим.

Но и Польк Линд, хищник, светский авантюрист, покоритель женских сердец, был не из тех мужчин, которые отступают перед препятствиями и, вздыхая, покорно ждут в сторонке. Силой воли и настойчивостью он не уступал Каупервуду, а с женщинами был еще более беззастенчив и смел. Из своих бесчисленных любовных приключений он вынес уверенность, что все женщины нерешительны, боязливы, странно противоречивы и непоследовательны в своих поступках, а порой — даже в самых сокровенных своих желаниях. Чтобы одержать над ними победу, иной раз нужно проявить железное упорство.

Вот почему за Польком Линдом установилась такая худая слава. Эйлин чутьем разгадала все это еще в тот день, когда собиралась встретиться с ним у Ришелье. В глубине его темных, ласковых глаз таилось коварство. Она чувствовала, что он увлекает ее куда-то, по тому пути, где она может потерять свою волю и уступить его внезапному порыву, — и все же в условленный час явилась к Ришелье.

А Польк Линд, убедившись, что Эйлин избегает его, положил, не откладывая более, добиться решительного свидания. В десять часов утра он позвонил ей по телефону и принялся подтрунивать над ее нерешительностью, робостью, над прихотливостью ее настроений. Быть может, она отважится, наконец, прийти в мастерскую к его приятелю-художнику поглядеть картины? А нет, так он приглашает ее пойти с ним на летний праздник с танцами, который устраивает у себя в саду один из его холостых друзей. Эйлин, как всегда, стала отнекиваться.

— Нет, нет, я сегодня что-то не в духе, — заявила она.

Но Линд не унимался.

— Нужно взять себя в руки, — сказал он. И прибавил шутливо: — Вы создаете совершенно невыносимые условия для ваших поклонников.

Эйлин думала, что ей и на этот раз удалось, не говоря ни «да» ни «нет» и не принимая решительного боя, продлить поединок, но в два часа раздался звонок у парадной двери, и слуга доложил, что ее хочет видеть мистер Линд.

— Мистер Линд просит уделить ему всего несколько минут, он постарается не задержать вас. Он проезжал мимо, и ему случайно стало известно, что вы дома, — докладывал лакей, получивший доллар на чай.

Эйлин а сиреневом капоте, отделанном горностаем, сидела одна у себя в будуаре и читала роман. Застигнутая врасплох, пораженная такой наглой навязчивостью, встревоженная тем, что Линд, быть может, хочет сообщить ей что-то важное, досадуя на себя за свою растерянность и снова чувствуя над собой власть этого человека, — его голос, ласковые упреки, которыми он осыпал ее по телефону, все еще продолжали звучать в ее ушах, — она решила спуститься вниз.

— Просите мистера Линда в музыкальную комнату, — приказала она дворецкому. Переступая порог этой комнаты, Эйлин почувствовала, что у нее перехватило дыхание — так взволновала ее предстоящая встреча. Эйлин понимала, что, уклоняясь от свидания с Линдом, она показала, что боится его, а обнаружив свой страх перед противником, уже трудней оказывать ему сопротивление.

— О! — воскликнула она с наигранной беспечностью. — Вот уж не ожидала увидеть вас так скоро после вашего звонка! Вы ведь у нас впервые, не правда ли? Положите шляпу, и пойдемте, я покажу вам картины. Они хорошо освещены сейчас, и думаю, что некоторые из них вам понравятся.

Линд, который рад был всякому предлогу, чтобы продлить свидание и заставить Эйлин преодолеть свою растерянность и страх, охотно согласился, но продолжал делать вид, что спешит и заглянул к ней случайно, проездом.

— Не мог устоять против искушения увидеть вас. Решил — зайду хоть на минутку. Очаровательная комната! Как много света и воздуха! А, вот и вы! Кто вас писал? Вижу, вижу: Ван-Беерс! Прелестно, просто восхитительно!

Он окинул Эйлин быстрым взглядом и снова повернулся к портрету, где та же Эйлин, но десятью годами моложе, веселая, жизнерадостная, полная сил и надежд, сидела на каменной скамье на фоне голландского пейзажа, синего неба и пушистых облаков, прикрываясь от солнца нарядным розовым зонтиком. И оригинал и копия равно восхищали Полька Линда, и он рассыпался в комплиментах. Эйлин слегка пополнела с тех пор, цвет лица у нее стал грубее, походка немного тяжеловесней — что почти неизбежно с годами, но она все еще была в полном расцвете красоты, хотя осень и овеяла ее уже своим дыханием.

— О, да у вас Рембрандт! Изумительно! Я и не подозревал, что у вашего мужа такое прекрасное собрание! И Жером, и Израэльс, и Мейссонье! Великолепная коллекция!

— Некоторые полотна действительно превосходны, — небрежно заметила Эйлин, невольно подражая Каупервуду или кому-то из других знатоков. — Но кое-что мы решили убрать отсюда — вот этого Пауля Поттера и этого Гойю, как только нам удастся достать что-нибудь получше.

Она слово в слово повторяла то, что не раз слышала из уст Каупервуда.

Видя, что разговор не выходит из рамок обычной светской болтовни, Эйлин мало-помалу овладела собой и держалась довольно естественно и непринужденно. Теперь она даже радовалась приезду Полька Линда, который был так очаровательно скромен и мил. Видимо, он и вправду решил нанести ей обычный светский визит. А Линд исподтишка приглядывался к Эйлин, стараясь разгадать, какое впечатление производит на нее его учтиво-сдержанный тон. Довольно бегло осмотрев картины, он сказал:

— Я давно стремился увидеть ваш дом. Я знаю, что его строил Лорд и что он считается одной из лучших работ этого архитектора. Там у вас, как видно, столовая?

Эйлин, непомерно гордившаяся своим домом, хотя ей и не удавалось устраивать в нем пышных приемов, была очень польщена и обрадована интересом, который проявил к нему Линд, и тотчас повела его по всем комнатам. Линд, видевший на своем веку немало роскошных особняков, — дом его отца занимал среди них далеко не последнее место, — выказывал интерес и восхищение, которых отнюдь не испытывал. Переходя из комнаты в комнату, он хвалил то деревянную резьбу панелей, то подобранные в тон мебели драпировки, то открывавшийся из окон вид.

— Обождите минутку, — сказала Эйлин, когда они подошли к двери ее спальни. — Я хочу показать вам мои комнаты, но боюсь, что там беспорядок.

Она торопливо вошла и притворила за собою дверь.

— Войдите! — крикнула она через минуту.

Линд не замедлил воспользоваться приглашением.

— О, какая прелесть! И как уютно! Эти пляшущие фигурки необыкновенно легки и грациозны. И все тона подобраны изумительно. Они чудесно гармонируют с вашим обликом. Эта комната — как бы одно целое с вами.

Он умолк, разглядывая кровать из золоченой бронзы и огромный ковер, где теплые палевые тона перемежались с тускло-голубыми.

— Превосходная работа, — сказал он и, внезапно переменив тон, шагнул к Эйлин, которая стояла в глубине комнаты по правую руку от него. — Скажите мне теперь, почему вы не захотели пойти со мной на танцы? — спросил он. — Там будет очень весело. Вы бы не пожалели, что пошли.

От Эйлин не укрылась внезапная перемена в его настроении. Она вдруг поняла, что, водя его из комнаты в комнату, поставила себя в довольно затруднительное положение. В устремленном на нее беззастенчивом взгляде Эйлин читала все обуревавшие Линда мысли и чувства.

— Нет, нет, у меня просто нет к этому охоты. Я как-то потеряла вкус ко многим развлечениям с некоторых пор. Я…

Не договорив, она, словно невзначай, шагнула к двери, но Линд схватил ее за руку.

— Постойте, не уходите, — сказал он. — Дайте мне поговорить с вами. Вы всегда стараетесь ускользнуть от меня, словно я вам страшен. Или я совсем вам не нравлюсь?

— Конечно, вы мне нравитесь, но разве мы не можем с таким же успехом разговаривать внизу, в гостиной? Я сумею объяснить вам там ничуть не хуже, чем здесь, почему я вас избегаю. — И Эйлин улыбнулась лукаво и на этот раз действительно бесстрашно.

Линд ответил ей улыбкой, обнажившей два ряда ровных, ослепительно белых зубов. Веселые и злые огоньки заплясали в его глазах.

— Разумеется, разумеется, — сказал он. — Но здесь, в этой комнате, вы как-то особенно милы. Мне совсем не хочется уходить отсюда.

— Ну, тем не менее вам придется уйти, — отвечала Эйлин, стараясь говорить шутливо, но в голосе ее уже зазвучали тревожные нотки. — Вы увидите, что в гостиной я буду не менее мила, чем здесь.

Она снова двинулась к двери, но вдруг почувствовала, что у Линда очень сильные руки — совсем, как у Фрэнка, и что она так же беспомощна перед ним.

— Что вы делаете? Сюда могут войти, — сказала Эйлин. — Чем дала я вам повод так обращаться со мной?

— Чем? — повторил Линд, наклоняясь к ней и ласково сжимая ее полные белые руки своими смуглыми руками. — Быть может, вы и не давали мне повода. Вы сами — повод. Еще в ту ночь, в Олкот-клубе, я сказал вам, как вы мне дороги. Мне казалось, что вы поняли тогда, разве нет?

— О, я поняла, что нравлюсь вам… Ну что ж, это никому не возбраняется… Но чтобы позволять себе такие… такие вольности! Я никогда не думала, что вы посмеете! Ну вот, слышите? Кто-то идет сюда… — Эйлин сделала решительную, но безуспешную попытку освободиться. — Прошу вас отпустить меня, мистер Линд. Мне кажется, это не очень галантно — удерживать женщину против ее воли. Я не дала вам никакого повода… Смотрите, я рассержусь!

Линд снова улыбнулся, и глаза его блеснули.

— Право? Вот вы какая? Разве мы с вами совсем, совсем чужие друг другу? Разве вы не помните, что сказали мне однажды, когда мы завтракали у Ришелье? Вы не исполнили своего обещания. Вы ведь дали мне понять тогда, что придете ко мне. Почему же вы не пришли? Я не нравлюсь вам, или вы боитесь меня? Вы — прелесть, сокровище, я без ума от вас и хочу, наконец, знать правду.

Он обнял ее и притянул к себе, заглядывая ей в глаза. Потом внезапно поцеловал ее в губы, в щеку.

— Ведь я нравлюсь вам, я же вижу. Почему вы сказали, что придете, и не пришли?

Эйлин пыталась оттолкнуть его, но он только крепче прижимал ее к себе. Это было странное, совсем новое для нее ощущение, — кто-то другой, не Фрэнк, держал ее в объятиях. И страшно было то, что это — Польк Линд, единственный мужчина, к которому ее потянуло. Но как он осмелился так вести себя здесь, в ее доме! Фрэнк может каждую минуту вернуться, может войти кто-нибудь из слуг!

— Опомнитесь, что вы делаете! — возмущенно воскликнула она. Впрочем, ей все еще казалось, что Линд хочет только заставить ее быть ласковее к нему, что он не посмеет оскорбить ее, и потому она не испытывала особого страха за исход этого поединка. — Не забывайте, что вы в моем доме! Если вы сию же минуту не отпустите меня, значит вы не тот человек, каким я вас считала. Мистер Линд! — он покрывал поцелуями ее лицо. — Мистер Линд! Я запрещаю вам! Вы слышите! Я… я сказала, что приду, быть может, но это ничего не значит… А вы ворвались в мой дом, захватили меня врасплох… Это отвратительно! Если вы и нравились мне раньше, так теперь я не хочу вас видеть! Сейчас же оставьте меня, или, даю слово, вы меня больше не увидите! Никогда, никогда! Клянусь! Вы слышите? Оставьте меня! Прошу вас, умоляю! Я буду кричать… С этого дня вы не увидите меня больше…

Это была отчаянная, но бесполезная борьба.

Прошла неделя, и Каупервуд, вернувшись однажды вечером домой, заметил, что Эйлин пребывает в каком-то странно неуравновешенном состоянии — то весело напевает, то впадает в глубокую задумчивость. В нарядном вечернем туалете она охорашивалась перед зеркалом и казалась удивительно юной, полной огня и, совсем как прежде, жадно влюбленной в жизнь.

— Ну, как ты провела сегодня день? — весело спросил он.

Эйлин, сознавая свою вину перед Каупервудом, но находя себе множество оправданий, была доброжелательно расположена к нему; притом ей почему-то казалось; что, быть может, теперь она сумеет вернуть его себе.

— О, прекрасно! — ответила она. — Утром я заезжала ненадолго к Хоксема. В ноябре они собираются в Мексику. У миссис Хоксема новая плетеная коляска

— прелесть что такое, если бы она своим видом не портила ее. Эдда готовится в колледж и очень волнуется, как она оставит своего котенка и собачку. От них я заезжала в студию к Лейну Кроссу, оттуда — к Мэррилу (Эйлин имела в виду универсальный магазин) и — домой. На Уобеш авеню встретила Тейлора Лорда с Польком Линдом.

— С Польком Линдом? — переспросил Каупервуд. — Говорят, он очень интересен?

— Очень. Я не видела ни у кого таких безупречных манер. Он очарователен. В нем есть что-то мальчишеское, а вместе с тем можно поручиться, что он немало повидал на своем веку.

— Должно быть, — заметил Каупервуд. — Ведь это он, если не ошибаюсь, был замешан в скандальной истории с Кармен Торриба, испанской танцовщицей, приезжавшей сюда года два назад? Я слышал, что он был без памяти влюблен в нее.

— Ну и что ж? — возразила Эйлин с досадой. — Какое тебе до этого дело? Все равно он обворожителен. Он мне нравится.

— Мне, разумеется, никакого до этого дела нет. Просто припомнились кое-какие разговоры.

— О, я знаю, почему они тебе припомнились, — сказала Эйлин задорно. — Я вижу тебя насквозь.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он, пристально вглядываясь в ее лицо.

— Я знаю тебя — вот что, — повторила она ласково, но уже с некоторым вызовом. — Ты будешь бегать за каждой юбкой, а я, по-твоему, должна довольствоваться ролью обманутой, но любящей и преданной супруги. А я не собираюсь. Я ведь понимаю, почему ты сказал так о Линде. Ты боишься, как бы я не влюбилась в него. Что ж, это может случиться. Я ведь говорила тебе, что рано или поздно так будет, нравится тебе это или не нравится. Я тебе не нужна, так не все ли тебе равно, как относятся ко мне другие мужчины?

Каупервуд отнюдь не помышлял об опасности, угрожавшей ему со стороны Полька Линда, — во всяком случае не больше, чем со стороны всякого другого мужчины. И все же подсознательно он, как видно, почувствовал что-то, и это передалось Эйлин и вызвало такой, казалось бы необоснованный, взрыв с ее стороны. Каупервуд тотчас попытался успокоить ее, понимая, куда может завести их подобный разговор.

— Эйлин! — сказал он с нежным укором. — Как можешь ты так говорить! Ты же знаешь, что я люблю тебя. Конечно, я ни в чем не могу тебе помешать, да и не хочу. Единственное, к чему я стремлюсь, — это чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя — ты знаешь это.

— О да, я знаю, как ты меня любишь, — сказала Эйлин; настроение ее сразу изменилось. — Прошу тебя, не начинай ту старую песню. Мне она давно надоела. Я знаю, как ты развлекаешься на стороне. Знаю и про миссис Хэнд. Это можно было понять даже из газет. За целую неделю ты только раз появился дома вечером, да и то на несколько минут. Молчи, молчи! Не пытайся снова обманывать меня. Я давно все про тебя знаю. Знаю и про последнее твое увлечение. Так что уж, будь добр, не жалуйся и не укоряй меня, если и я начну интересоваться другими, потому что так оно и будет, можешь не сомневаться. Ты сам знаешь, что никто, кроме тебя, в этом не виноват, и нечего упрекать меня. Это ни к чему. Я не намерена больше делать из себя посмешище. Я уже говорила тебе это не раз. Ты не верил, но я докажу. Я говорила, что найду кого-нибудь, кто не будет так пренебрегать мною, как ты, и найду, увидишь, долго, ждать тебе не придется. Сказать по правде, я уже нашла.

Услышав это заявление, Каупервуд окинул Эйлин холодным, осуждающим взглядом. Впрочем, в этом взгляде можно было уловить и сочувствие, но Эйлин с вызывающим видом вышла из комнаты, прежде чем Каупервуд успел произнести хоть слово, и через несколько минут до его слуха донеслись снизу из гостиной звуки «Второй венгерской рапсодии». Эйлин играла

страстно, с необычным проникновением, изливая в музыке свое горе и смятение. Каупервуда охватила злоба при мысли о том, что это смазливое ничтожество, этот светский хлыщ Польк Линд мог покорить Эйлин… Но… что ж тут поделаешь? Как видно, это должно было случиться. Он не имеет права упрекать ее. И тут же воспоминания о прошлом нахлынули на него и пробудили в нем искреннюю печаль. Ему припомнилась Эйлин школьницей в красном капюшоне… Эйлин верхом, в коляске… Эйлин в доме ее отца в Филадельфии. Как беззаветно любила его тогда эта девочка, как слепо, без оглядки! Возможно ли, чтобы она стала так равнодушна, совсем охладела к нему? Возможно ли, чтобы ее и вправду сумел увлечь кто-то другой? Каупервуду было трудно освоиться с этой мыслью.

В тот же вечер, когда Эйлин спустилась в столовую в зеленом шелковом, отливавшем бронзой платье, с тяжелым золотым венцом уложенных вокруг головы кос, Каупервуд против воли залюбовался ею. В ее глазах было раздумье, и нежность (к кому-то другому — почувствовал он), и молодой задор, и нетерпенье, и вызов. И у Каупервуда мелькнула мысль о том, как самоуправно властвуют над людьми любовь и страсть. «Все мы — рабы могучего созидательного инстинкта», — мелькнуло у него в уме.

Он заговорил о приближающихся выборах, рассказал Эйлин, что видел на улице фургон с плакатом: «Не отдадим Каупервуду Чикаго!»

— Дешевый прием! — заметил он. — Республиканцы возвели на углу Стэйт-стрит «вигвам» — огромный дощатый барак — и понаставили в него скамеек. Я зашел туда и услышал, как надрывался очередной оратор, изобличая и понося пресловутого Каупервуда. Меня так и подмывало задать этому ослу несколько вопросов, но в конце концов я решил, что не стоит связываться.

Эйлин не могла сдержать улыбки. При всех своих пороках Фрэнк — поразительный человек! Так взбудоражить весь город! А впрочем… «каков бы ни был он — хороший иль плохой — не все ли мне равно, когда он плох со мной» — вспомнилось ей.

— Ну, а кроме очаровательного мистера Линда, еще кто-нибудь пользуется твоим расположением? — коварно спросил Каупервуд, решив выведать все, что можно, не слишком, разумеется, обостряя отношения.

Эйлин наблюдала за ним и каждую минуту ждала, что он вернется к этой теме.

— Нет, больше никто, — сказала она. — А зачем мне еще кто-нибудь? Одного вполне достаточно.

— Как я должен тебя понять? — осторожно осведомился Каупервуд.

— Так, как я сказала. Одного достаточно.

— Ты хочешь сказать, что влюблена в Линда?

— Я хочу сказать… — она запнулась и с вызовом взглянула на Каупервуда. — Да не все ли тебе равно, что я хочу сказать? Да, я влюблена в него. А что тебе до этого? С какой стати ты допрашиваешь меня? Тебе ведь совершенно безразлично, что я чувствую. Я не нужна тебе. Зачем же ты стараешься выпытать у меня что-то, зачем следишь за мной? Если я тебе не изменяла, так это вовсе не из уважения к тебе. Предположим, что я влюблена. Тебе же все равно.

— О нет, не все равно. Ты знаешь, что не все равно. Зачем ты так говоришь?

— Ты лжешь! — вспыхнула Эйлин. — Лжешь, как всегда. Так вот, если хочешь знать… — Его холодное спокойствие и безразличие задели ее за живое и, не помня себя от обиды, она выкрикнула: — Да, я влюблена в Линда, больше того — я его любовница! И не жалею об этом. А тебе-то что?

Ее глаза сверкали, она густо покраснела и задыхалась от волнения.

Услышав это признание, брошенное в пылу ярости и обиды, порожденных его равнодушием, Каупервуд выпрямился, взгляд его стал жестким, и выражение беспощадной злобы промелькнуло в нем, как бывало всегда при встрече с врагом. Мысль, что он может превратить в пытку жизнь Эйлин и жестоко отомстить Польку Линду, возникла было в его уме, но он тут же ее отбросил. Это было продиктовано не слабостью, а наоборот — сознанием своей силы и превосходства. Разыгрывать роль ревнивого супруга? Стоит ли? Он и так уже причинил Эйлин немало зла. Чувство сострадания к ней, к себе самому, чувство грусти перед неразрешенными противоречиями жизни пришло на смену мстительной злобе. Как может он винить Эйлин? Польк Линд красив, обаятелен. Расстаться с Эйлин? Потребовать объяснений у Линда? К чему все это? Лучше временно отдалиться от нее и ждать — быть может, ее увлечение скоро пройдет. А нет, так, вероятно, она по собственному почину решит

покинуть его. Но уж во всяком случае, если он встретит, наконец, такую женщину, какая ему нужна, и решит оставить Эйлин, он припомнит ей эту историю с Линдом. А есть ли где-нибудь на свете такая женщина? Пока ему еще не довелось с нею встретиться.

— Эйлин, — сказал он мягко, — зачем столько горечи? К чему? Скажи мне, когда это случилось? Я полагаю, ты можешь мне сказать?

— Нет, не могу, — резко ответила Эйлин. — Тебя эго не касается. Зачем ты спрашиваешь, тебе ведь все равно.

— Нет, не все равно, и я тебе это уже не раз говорил, — раздраженно, почти грубо возразил Каупервуд, и снова выражение жестокости и злобы промелькнуло в его глазах. Потом взгляд его смягчился. — Могу я по крайней мере узнать, когда это случилось?

— Не так давно. Неделю назад, — как бы против воли вымолвила Эйлин.

— А давно ты с ним познакомилась? — с затаенным любопытством продолжал расспрашивать ее Каупервуд.

— Месяцев пять назад. Зимой.

— И ты сделала это потому, что любишь его, или просто мне назло?

Он все еще не верил, что Эйлин могла охладеть к нему.

Эйлин вспыхнула.

— Нет, это уж слишком! Да, да, можешь быть уверен, я сделала это потому, что так хотела, а ты здесь совершенно ни при чем. Да как ты смеешь допрашивать меня после того, как годами пренебрегал мною! — Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола.

— Обожди минутку, Эйлин, — сказал Каупервуд спокойно, кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, уставленный севрским фарфором, цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах и залитый мягким светом затененной шелковым абажуром лампы. — Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким, тупым ревнивцем? Как бы ты ни поступала, я не намерен ссориться с тобой. Я ведь знаю, что с тобой происходит, знаю, почему ты себя так ведешь и каково тебе будет потом, если ты пойдешь по этому пути. Дело не во мне, дело в тебе самой… — Он умолк, ему внезапно стало жаль ее.

— Ах, вот как, дело не в тебе? — вызывающе повторила она, борясь с охватившим ее волнением. Его тихий, мягкий голос пробудил в ней воспоминания прошлого. — Ну, а я не нуждаюсь в твоем милосердии. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Я буду поступать так, как найду нужным. И лучше бы уж ты совсем не говорил со мной.

Эйлин отшвырнула тарелку, опрокинув бокал с шампанским, которое желтоватым пятном разлилось по белоснежной скатерти, вскочила и бросилась вон из комнаты. Гнев, боль, стыд, раскаяние душили ее.

— Эйлин! — Каупервуд поспешил за нею следом, не обращая внимания на дворецкого, привлеченного в столовую шумом отодвигаемых стульев (семейные сцены в доме Каупервудов были ему не в диковинку). — Послушай меня. Эйлин! Это же месть, а ты жаждешь любви, не мести; ты хочешь, чтобы тебя любили, любили беззаветно. Я все понимаю. Прости меня и не суди слишком строго, как я не сужу тебя.

Они вышли в соседнюю комнату, и он схватил Эйлин за руку, пытаясь удержать ее. Эйлин почти не понимала, что он говорит, она была вне себя от обиды и горя.

— Оставь меня! — выкрикнула она, и горькие слезы хлынули у нее из глаз.

— Оставь меня! Я не люблю тебя больше. Я ненавижу тебя! Понимаешь, ненавижу! — Она вырвала у него руку и, выпрямившись, стала перед ним. — Я не хочу тебя слушать! Не хочу говорить с тобой! Ты один виноват во всем. Ты, только ты виноват в том, что я сделала, и в том, что я еще сделаю, и ты не смеешь этого отрицать. О, ты еще увидишь! Увидишь! Я еще покажу тебе!

Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее за руки и притянул к себе. Он держал ее крепко, не обращая внимания на ее сопротивление, и в конце концов она, как всегда, перестала противиться и только судорожно всхлипывала, припав к его плечу.

— О да, я плачу! — воскликнула Эйлин сквозь слезы. — Но все равно, все равно теперь уж ничего не изменишь. Слишком поздно! Слишком поздно!

38. ПЕРЕД ЛИЦОМ ПОРАЖЕНИЯ

Стоический Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержениям ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем происками своих врагов, хотя и видел, что на него ополчился весь город. Он еще не забыл неповторимого очарования тех дней, когда Эйлин была молода и все ее существо, казалось, излучало любовь и светлую веру в будущее. Эти воспоминания вплетались во все его мысли и дела, как вторая тема в оркестре. Несмотря на то, что по натуре Каупервуд был человеком на редкость деятельным, он не прочь был иной раз предаться самоанализу, способен был понять высокий драматизм и пафос разбитых иллюзий. Он не испытывал ненависти к Эйлин, — лишь печаль при мысли о том, к каким последствиям привело его непостоянство, его упрямое стремление к свободе от всяких уз. Жажда нового! Вечная жажда нового! Но все уходит безвозвратно… И кто же может без сожаления проститься с тем, что поистине прекрасно? Даже если это всего-навсего любовь, безрассудная, шальная любовь.

Но вот настало 6 ноября — день выборов в муниципалитет, — и шумная, нелепая и бестолковая процедура эта окончилась громовым поражением для ставленников Каупервуда. Из тридцати двух кандидатов демократической партии только десять были избраны олдерменами; две трети мест, то есть подавляющее большинство в муниципалитете, досталось республиканцам. Господа Тирнен и Кэриген благополучно оказались на своих старых местах, однако вместе с ними пришел к власти республиканский мэр и все его сторонники по республиканскому списку, которые теперь, судя по их заверениям, должны были стать носителями высоконравственного и неподкупного начала. Каупервуд прекрасно понимал, что все это должно означать, и уже готовился войти в соглашение с неприятельским лагерем. От Мак-Кенти и других политических заправил ему были известны все подробности предательства Тирнена и Кэригена, но он не питал к ним злобы. Что ж, такова жизнь. Значит, в дальнейшем надо либо зорче следить за этими господами, либо расставить им какую-нибудь ловушку и покончить с ними раз навсегда. Они, конечно, изображали дело так, что им-де самим с трудом удалось набрать необходимое количество голосов.

— Нет, вы поглядите-ка, что получилось! Я сам едва-едва пролез — набрал всего на три сотни голосов больше, чем противник! — жаловался лукавый Кэриген при всяком удобном случае. — Черт подери! Я уж думал, что потеряю свой округ.

Мистер Тирнен горячился ничуть не меньше.

— От полиции нет никакого проку, — торжественно заявил он. — Моих ребят избивают, а полисменам хоть бы что! Я едва наскреб шесть тысяч голосов, а ведь должен был получить не меньше девяти.

Но им никто, разумеется, не верил.

Пока Мак-Кенти напряженно обдумывал, как бы в течение ближайших двух лет восстановить свое пошатнувшееся положение, а Каупервуд строил планы умиротворения враждебных ему олдерменов, считая это наилучшей политикой при сложившихся обстоятельствах, господа Хэнд, Шрайхарт и Арнил, в союзе с молодым Мак-Дональдом, ломали себе голову над тем, как, воспользовавшись своей временной победой, окончательно добить Каупервуда. Снова началась борьба, длительная, сложная, и в результате ее (прежде чем Каупервуд получил возможность войти в соглашение с новыми олдерменами) муниципалитет принял на рассмотрение и уже готовился одобрить проект концессии, которую давно просила Общечикагская компания электрических железных дорог и против которой всегда боролся Каупервуд; кроме того, уже шли слухи о предоставлении различным мелким компаниям прав и привилегий в окраинных районах, и наконец — что было хуже всего и до чего Каупервуд не додумался,

— поговаривали, что муниципалитет склонен разрешить некой компании постройку и эксплуатацию надземной железной дороги на Южной стороне. Это было самым жестоким ударом для Каупервуда, ибо теперь положение с чикагскими железными дорогами, которое, несмотря на все трудности, было до сего времени сравнительно простым, чрезвычайно осложнялось.

Вкратце дело сводилось к следующему. Лет двадцать назад в Нью-Йорке было построено несколько линий надземной железной дороги с целью разгрузить движение в нижней части этого узкого и длинного острова, и успех нового вида транспорта превзошел ожидания. Каупервуд заинтересовался надземными дорогами с самого момента их возникновения, как интересовался всем, что имело какое-либо отношение к городскому железнодорожному транспорту. Во время своих

неоднократных наездов в Нью-Йорк он подробно ознакомился с их устройством. Ему удалось также разузнать и всю коммерческую сторону дела — стоимость содержания дорог, размеры дохода, финансовое состояние компаний, которым они принадлежали, и имена тех, кто стоял за спиной этих компаний. Каупервуд тогда же пришел к выводу, что для такого перенаселенного островка, как Нью-Йорк, надземные дороги являются идеальным разрешением транспортной проблемы. Совсем другое дело — Чикаго, где население едва достигало миллиона и было разбросано на довольно обширной территории. Здесь, по мнению Каупервуда, эти дороги никак не могли оправдать себя — в течение ближайших лет во всяком случае. Они бы только переманивали пассажиров у наземных дорог, и, следовательно, построив надземные дороги, он увеличил бы свои издержки, отнюдь не увеличив доходы. Впрочем, мысль о том, что надземные дороги могут быть построены помимо него, если кому-нибудь удастся раздобыть концессию, — что до последних выборов он не считал возможным, — порой все же приходила ему в голову, и он как-то сказал Эддисону:

— Пускай себе вкладывают деньги в это предприятие; к тому времени, когда население у нас возрастет и дороги эти станут доходными, они уже перейдут к кредиторам. Если кому-то пришла охота загонять дичь в мой силок

— что ж, пожалуйста, со временем их дороги достанутся мне за бесценок.

Эддисон нашел такое умозаключение вполне разумным. Однако вскоре после этого разговора положение изменилось, и постройка надземных железных дорог в Чикаго стала делом отнюдь не столь проблематичным, как это казалось вначале.

Прежде всего само население Чикаго начало все больше и больше интересоваться надземными дорогами. Они были новшеством, событием в жизни Нью-Йорка, а чувство соперничества с этим огромным городом-космополитом жило в сердце почти каждого чикагского обывателя. Такие настроения, сколь бы они ни были наивны, могли сделать надземную дорогу достаточно популярной в Чикаго. Кроме того, это совпало с периодом рьяного местного патриотизма, эпохой своеобразного Возрождения на Западе, в результате которого Чикаго, незадолго до описанных выше выборов в муниципалитет, был, наконец, намечен как наиболее подходящий город для устройства грандиозной международной выставки — самой большой в истории Америки. Видные горожане

— такие, как Хэнд, Шрайхарт, Арнил, не говоря уж о редакторах и издателях газет, — горячо ратовали за эту затею, и Каупервуд на сей раз был с ними вполне согласен. Однако, как только честь устройства выставки была официально отдана Чикаго, противники Каупервуда тотчас постарались использовать это обстоятельство против него.

Во-первых, по решению нового, враждебного Каупервуду муниципалитета, место для выставки было отведено на Южной стороне, у конца шрайхартовской линии городских железных дорог, и весь город вынужден был, таким образом, платить дань этой компании. Вот тогда-то у противников Каупервуда и зародилась мысль использовать нью-йоркский опыт сооружения надземных дорог для Чикаго. Это был ловкий ход. Предприятие не сулило пока больших барышей, но зато оно должно было показать ненавистному всем дельцу, что у него есть грозный соперник, который сумеет проникнуть на захваченную им территорию, перебить у него доходы и в конце концов заставить его убраться из этого города. Между господами Шрайхартом и Хэндом, а также между господами Хэндом и Арнилом происходили по этому поводу весьма интересные и поучительные беседы. План их в своем первоначальном виде был таков: построить надземную дорогу на Южной стороне, к югу от места предполагавшейся выставки, и, как только дорога эта приобретет популярность среди населения, приняться, не спеша и заручившись предварительно концессиями, за постройку новых надземных линий на Западной, Южной и Северной сторонах и таким образом выжить постепенно отовсюду вредоносного Каупервуда.

Каупервуд, однако, тоже не дремал; он вовсе не намеревался целый месяц сидеть сложа руки и ждать, пока соберется новый муниципалитет, чтобы потом дать противникам захватить себя врасплох. Призвав надежных соглядатаев — поверенных и адвокатов компаний, — он услышал от них неприятное сообщение о новом коварном замысле своих врагов. По-видимому, Хэнд и Шрайхарт решили на этот раз взяться за дело всерьез. Не теряя ни минуты, Каупервуд продиктовал письмо к мистеру Джилгену, в котором приглашал этого джентльмена зайти к нему. Одновременно он потребовал от своих советников и крючкотворов, чтобы они поспешили разузнать, какие средства должны быть пущены в ход, чтобы произвести полный переворот в образе мыслей нового мэра, достопочтенного Чэффи Зейера Сласса, и заставить его наложить свое вето на предполагаемые концессии, если до этого дойдет дело.

Достопочтенный Чэффи Зейер Сласс, от позиции которого зависела, как мы увидим вскоре, судьба этого сложного дела, был высок, статен, преисполнен сознания собственной значимости и вдобавок имел самые возвышенные представления о своей коммерческой и общественной деятельности. Вам знаком, быть может, этот тип людей, выросших в атмосфере обывательского благополучия и всевозможных мелких социальных предрассудков и претензий и лишенных некоторых необходимых извилин в сером веществе головного мозга, что мешает им видеть жизнь со всеми ее превратностями. Не познав нужды и не имея никакого жизненного опыта, такие люди смотрят на самих себя с величайшим благоговением и полагают, что само провидение печется о них и руководит их поступками. Достопочтенный мистер Сласс гордился своими предками, считая, что ему по

наследству досталась безукоризненная честность. Родители его сколотили небольшое состояние, ведя оптовую торговлю шорными изделиями. Сам Чэффи в возрасте двадцати восьми лет связал себя брачными узами с некоей миловидной, но весьма посредственной молодой особой, отец которой довольно бойко торговал бакалеей. В тех местах, откуда мистер Чэффи Сласс был родом, дочка бакалейщика считалась «завидной партией». Свадьбу отпраздновали торжественно и пышно, как и полагалось, после чего молодые отбыли в свадебное путешествие, сначала к «Большому каньону», а потом в «Сад богов». По возвращении удачливый Чэффи

— любимец обоих породнившихся между собой семейств, завоевавший эту любовь своим мудрым и неукротимым стремлением сделать карьеру, — вернулся к повседневным занятиям, то есть в свою контору по продаже бумаги, и принялся с величайшим усердием сколачивать себе состояние.

Здесь необходимо прежде всего сказать, что достопочтенный Чэффи Сласс не имел почти никаких пороков, ибо нельзя же считать за таковые известную долю чванства и самодовольства и несколько чрезмерную заботу о своей выгоде и благополучии. Но все же одна маленькая слабость у него была, и она доставляла ему, увы, довольно много хлопот и тревог ввиду непримиримо пуританских воззрений его молодой супруги и суровой набожности его отца и тестя. Мистер Сласс был большим поклонником женской красоты, причем особым вниманием пользовались у него белокожие пышнотелые блондинки. Задумчиво-восхищенный взор этого отца двух детей и законного супруга добродетельнейшей из жен не раз украдкой следил за какой-нибудь лукавой соблазнительницей — одной из тех, что время от времени возникают на пути каждого мужчины, чтобы с помощью различных коварных уловок заманить его в свои тенета. Однако следует отметить, что достопочтенный мистер Сласс пустился по стопам веселого Лотарио лишь через несколько лет после женитьбы, когда за ним уже прочно утвердилась репутация высоконравственного человека. Два-три грехопадения с не слишком бесстыдными и распутными уличными красотками, тайная интрижка с девушкой, работавшей у него в конторе и имевшей некоторый опыт в такого рода делах,

— и начало было положено. По наивности мистер Сласс сперва вел себя несколько опрометчиво: он пытался всякий раз уверять этих молодых и просвещенных особ в своей искренней и неподдельной любви, что вызывало у них довольно ядовитые замечания. Они не требовали столь возвышенных чувств: некоторые материальные блага и развлечения были, по их мнению, достаточной наградой. Впрочем, для того чтобы успокоить одну соблазненную им особу, понадобилось ровным счетом пять тысяч долларов, причем мистер Чэффи Сласс натерпелся за это время такого страха (грозный образ жены и полные укоризны лица всех родичей и домочадцев неотступно стояли у него перед глазами), что это, по-видимому, должно было навеки излечить его от увлечений секретаршами и стенографистками. И действительно, довольно долгое время после этого злосчастного случая мистер Сласс предпочитал ограничиваться знакомствами, которые ему удавалось завязать через различных агентов, маклеров и коммерсантов, имевших с ним дела и время от времени приглашавших его принять участие в их холостых пирушках.

Шли годы, и жизненный опыт мистера Сласса значительно возрос, но с ним, на беду, возросла и его пылкость. Мистер Сласс встречался с крупными дельцами и политическими заправилами города; избирательный округ, к которому он принадлежал, был одним из ведущих; все это понуждало его выступать время от времени с публичными речами. И вот в результате такой деятельности он начал понемногу усваивать некоторые новые для него взгляды. Сущность их сводилась к тому, что человек живет затем, чтобы удовлетворять свои первобытные инстинкты, а христианская религия, мораль и прочие условности — всего лишь парадное одеяние, которое люди из века в век то снимают, то снова надевают, в зависимости от того, что подскажет им выгода, настроение или очередная причуда. Понять истинный смысл таких воззрений было достопочтенному Чэффи Зейеру Слассу, разумеется, не под силу. Для этой работы мозг его был недостаточно совершенен. «Люди ведут двойственное существование — это ясно, чего уж там… — говорил он себе. — Но ведь это скверно, очень скверно…» Его собственные грехи и заблуждения были тому примером. По воскресеньям, направляясь под руку с женой в приходскую церковь, мистер Чэффи Сласс всем своим существом ощущал великое и очистительное значение религии. В коммерческих делах, правда, он частенько натыкался на необходимость действовать вразрез со своими убеждениями, когда ему случалось наживать деньги не совсем честным способом или заключать фиктивные сделки и допускать прочие мелкие отступления от буквы закона… Но, как бы там ни было, а без бога, как говорится, не до порога, нравственность — превыше всего, и церковь необходима человеку. Поддаваться своим страстям (к чему мистер Сласс ощущал такую непреодолимую склонность) хотя и очень соблазнительно, но дурно. Нужно быть образцом добродетели для своих ближних или хотя бы казаться таковым.

Ну что можно было поделать с таким ханжой и морализирующим пустомелей? Впрочем, невзирая на то, что мистер Сласс позволял себе частенько уклоняться от пути истинного, — после чего всякий раз корчился от страха, ожидая разоблачения, — дела его неуклонно шли в гору, и он начинал приобретать некоторый вес и влияние в своем кругу. С годами он становился все более распущенным, но вместе с тем все более снисходительным и терпимым к чужим слабостям, пока не сделался в глазах многих человеком вполне приемлемым. Он был верным республиканцем и преданным прихвостнем Нори Симса и молодого Трумена Лесли Мак-Дональда. Тесть достопочтенного Чэффи Сласса был богат и обладал кое-какими связями. В одну из выборных кампаний мистер Чэффи Сласс особенно отличился, произнеся бесконечное количество речей, и проявил себя ярым сторонником республиканской партии. Все это вместе взятое и в первую очередь редкое уменье мистера Сласса подлаживаться и приспосабливаться, а также незапятнанная пока что репутация позволили ему попасть в список кандидатов республиканской партии и быть благополучно избранным по этому списку на пост мэра города Чикаго.

Из отдельных замечаний и высказываний мистера Чэффи Сласса во время последней предвыборной кампании Каупервуд мог заключить, что вновь избранный мэр относится весьма неодобрительно к его деятельности. Каупервуд даже беседовал об этом

с одним из своих адвокатов, достопочтенным Джоэлом Эвери, бывшим сенатором. Мистеру Эвери случалось вести дела самых различных компаний, и потому он знал не хуже, чем свои уставы и уложения, все ходы и выходы в местных судах, а также всех адвокатов, судей и политических заправил. Это был тщедушный человечек с красновато-желтыми, как шафран, волосами и бровями, хитрыми рысьими глазками и отвисшей нижней губой, которая по временам, когда мистера Эвери охватывало раздумье, норовила совсем прикрыть верхнюю. Мистер Эвери уже немало пожил на свете и в конце концов кое-как научился улыбаться — правда, очень странной и решительно ни на что не похожей улыбкой. Уставившись в одну точку и выпятив нижнюю губу, он обычно не торопясь изрекал свои мысли, облекая их в короткие, деловитые фразы. На сей раз именно мистер Джоэл Эвери дал Каупервуду весьма и весьма дельный совет.

— По-моему, единственное, что мы можем сейчас предпринять, — сказал он ему во время одного сугубо секретного разговора, — это поглубже вникнуть в… ну, скажем — в сердечные дела достопочтенного Чэффи Зейера Сласса. — Кошачьи глаза мистера Эвери насмешливо блеснули. — Либо я ровно ничего не смыслю в людях, либо у такого человека непременно должна быть тайная связишка с какой-нибудь дамочкой. А если нет, его нетрудно будет к этому склонить. Тогда ему придется пойти на некоторые уступки, так как он, вероятно, не захочет, чтобы все это выплыло наружу. Все мы люди, у всех есть свои маленькие слабости… — Нижняя губа мистера Эвери поползла наверх, совершенно закрыв верхнюю, потом снова вернулась в исходное положение. — И не к лицу нам, знаете ли, разыгрывать из себя чересчур уж суровых поборников нравственности. Мистер Сласс преисполнен, конечно, самых благих намерений, но на мой взгляд он слишком сентиментален.

Мистер Эвери сделал паузу; Каупервуд смотрел на него с любопытством. Внешность этого человека забавляла его не меньше, чем высказанные им суждения.

— Неплохая мысль, — сказал он. — Хотя, по правде сказать, я не охотник мешать любовные дела с политикой.

— Да, — с чувством заверил его мистер Эвери, — тут можно кое-чего добиться. Я, конечно, не убежден… Но это не исключено.

В результате вышеупомянутого собеседования на некоего мистера Бэртона Стимсона, теперь уже довольно преуспевающего поверенного, была возложена задача — представить отчет о вкусах, склонностях и привычках достопочтенного мистера Чэффи Зейера Сласса, а мистер Бэртон Стимсон в свою очередь перепоручил это своему помощнику, мистеру Марчбэнксу. Дельце было не совсем обычное, но тот, кто знает, сколь темными, извилистыми путями осуществлялся финансовый и политический контроль со стороны компаний в те незабвенные дни расцвета, едва ли придет в изумление, какие бы глубины коварства, клоаки грязи и трясины несчастья ни открылись его взгляду.

Тем временем из неприятельского лагеря на зов Каупервуда не замедлил откликнуться Пэтрик Джилген. Каковы бы ни были его политические связи и пристрастия, он не считал возможным пренебречь столь могущественным человеком, как Каупервуд.

— Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд? — осведомился он, представ перед финансистом. Мистер Джилген после одержанной победы выглядел очень бодро и уверенно и был одет с иголочки.

— Скажите, мистер Джилген, — напрямик спросил его Каупервуд, пристально вглядываясь в лицо председателя окружного комитета республиканской партии и задумчиво вертя большими пальцами переплетенных рук, — должен ли я понять, что вы намерены позволить Общечикагской городской электрической протащить через муниципалитет свой проект и не собираетесь препятствовать выдаче разрешения на прокладку надземной железной дороги-на Южной стороне, а мне не дадите даже возможности что-либо предпринять или хотя бы высказать свое мнение?

Мистер Джилген был лишь одним из четверки, временно захватившей в свои руки городское самоуправление, и Каупервуд, разумеется, прекрасно знал это, но предпочел сделать вид, что для него мистер Джилген — человек, которому принадлежит последнее слово, почти единоличная власть в городе, вроде самодержца Мак-Кенти.

— Дорогой мой мистер Каупервуд! — с лукавой усмешкой воскликнул Джилген. — Вы мне льстите! Право же, голоса членов городского муниципалитета не лежат у меня в кармане. Я был руководителем округа, это верно, и помог избрать кое-кого из этих людей, что тоже верно, но тем не менее я ведь не купил их на веки вечные. Почему бы им не принять проект Общечикагской городской электрической. Это вполне честное предложение, насколько мне известно. Все газеты за него горой стоят. Что касается концессии на надземную дорогу, то я здесь совершенно ни при чем. Не знаю даже толком, в чем там дело, об этом надо спрашивать мистера Шрайхарта и молодого Мак-Дональда.

Нельзя не отметить, что на этот раз почтенный мистер Джилген говорил сущую правду. Не господа Джилген, Тирнен, Кэриген и Эдстром, а именно молодой Мак-Дональд, начинавший постигать искусство политической интриги, призван был вразумить

непокорных олдерменов и научить их исполнять свой долг, и один из его прихвостней, некий олдермен Клемм, был с этой целью избран, если позволительно так выразиться, на пост фельдмаршала. Джилгеновская четверка тогда еще не успела привести в действие свою административную машину, хотя и прилагала к тому все усилия.

— Да, да, каждый из них избран с моей помощью, что верно, то верно, но только это не значит, что я могу ими распоряжаться. Нет, пока до этого еще далеко.

При этом «пока» по губам Каупервуда пробежала усмешка.

— Ну, как бы то ни было, мистер Джилген, — вкрадчиво проговорил он, — но вы в настоящее время — всеми признанный руководитель этого затеянного против меня похода, и, следовательно, с вами мне и надо договариваться в первую очередь. Вы держите в руках все нынешнее республиканское самоуправление и можете заставить его повернуть в любую сторону, стоит вам только захотеть. Во всяком случае вы можете уговорить членов муниципалитета не слишком торопиться с выдачей этих концессий, все зависит только от вашей доброй воли, я в этом уверен. Не знаю, известно ли вам, мистер Джилген, — впрочем, вероятно, известно, — что мои конкуренты стремятся выжить меня из Чикаго, — вот ради чего и ведется вся эта травля. Так позвольте мне спросить вас, как человека, наделенного здравым смыслом и большим деловым опытом, — полагаете ли вы, что это справедливо? Семнадцать лет назад я приехал сюда и вложил свои деньги в газовые предприятия города. В то время возможность эта — провести газ в предместье города, на Северной, Южной и Западной сторонах — была открыта для любого, и я решил ею воспользоваться. Но стоило мне взяться за дело, как на меня ополчились старые газовые компании, хотя я отнюдь не посягал на их права.

— Помню, помню, как же, — отозвался Джилген. — Я ведь тоже в числе прочих помогал вам тогда получить хайдпарковскую концессию. Не будь меня, вам бы не видать ее как своих ушей. А этот парень, Мак-Кибен, — прибавил Джилген усмехаясь, — каков был красавчик, а? Такие мягко стелют, да жестко спать. Он, верно, и сейчас работает с вами?

— Да, он служит в одном из моих предприятий; — надменно отвечал Каупервуд. — Но вернемся к интересующему нас вопросу. За Общечикагской электрической и той компанией, которая собирается прокладывать надземную дорогу, стоят, в сущности, все те же лица из старых газовых компаний — Блэкмен, Джулс, Бейкер, Шрайхарт и другие — и все они злы на меня, ибо я позволил себе заняться тем, что они считали своей монополией, и в конце концов принудил их от меня откупиться. Эти господа возненавидели меня еще и потому, что я переоборудовал ваши допотопные конки и сделал их доходными. Мэррил имеет против меня зуб за то, что я проложил петлю не вокруг его магазина, а другие — за то, что я вообще ее проложил. Они все ненавидят меня только потому, что я занялся тем же делом, что они, и сделал то, что им давно надлежало сделать. Я явился сюда незваный — вот вам и вся подоплека этой вражды. Я должен был привлечь муниципалитет на свою сторону — без этого мне и шагу ступить не давали, но как только я этого достиг, все мок недруги тотчас ударились в политику, чтобы атаковать меня еще и с этой стороны. Мне очень хорошо известно, мистер Джилген, кто стоял за вашей спиной во время последних выборов. Вы думаете, я не знаю, кто снабжает вас деньгами? Вы хорошо поработали, и победа осталась за вами. Я не питаю к вам никаких враждебных чувств, но хочу знать, намерены ли вы и впредь помогать этим господам в их борьбе со мною, или вы дадите и мне возможность померяться силами с их кликой? Через два года у нас будут новые выборы. Политика — не ложе из роз, на котором можно покоиться до скончания века, если уж вы улеглись на него однажды. Мои враги, с которыми вы стакнулись, — это все, так сказать, сливки местного общества. Им, в сущности, нет никакого дела до вас и до таких, как вы. Сейчас они с вами заигрывают, потому что вы им нужны, они надеются с вашей помощью прикончить меня. Ну, а потом, как вы полагаете, долго еще они будут в вас нуждаться?

— Очень может быть, что и не долго, — просто и чуть-чуть меланхолично отвечал Джилген. — Но так уж устроен мир, и ничего тут не поделаешь.

— Вы правы, — спокойно согласился Каупервуд, — но Чикаго — это Чикаго, и уступать им поле боя я не собираюсь. Вы можете на каждом шагу вставлять мне палки в колеса, можете строить надземные дороги, чтобы урезать мои доходы, выдавать концессии конкурирующим со мной компаниям, но все равно вы не выживете меня отсюда и даже не очень повредите мне. Я останусь здесь, а вот политическая обстановка не вечно будет оставаться такой, как сейчас. Вы, мистер Джилген, человек честолюбивый, в этом я не сомневаюсь, и, разумеется, не для развлечения занимаетесь политикой. Скажите мне, к чему вы стремитесь, и посмотрим, быть может, я сумею для вас сделать больше, чем эти джентльмены, с которыми вы связались. Чем я могу быть вам полезен? Я хочу доказать, что со мной не так уж плохо иметь дело. Я веду честную игру в Чикаго. Я создал здесь превосходный городской транспорт и вовсе не хочу, чтобы мои конкуренты поминутно совались в мои дела и докучали мне. Прошу вас, скажите, что я должен сделать, чтобы уладить наши отношения? Я уверен, что мы с вами можем договориться. К чему нам враждовать и на каждом шагу строить друг другу козни? Быть может, вы могли бы предложить какую-то программу действий, которой мы бы и стали придерживаться впредь к обоюдному удовлетворению?

Каупервуд умолк, а Джилген погрузился в раздумье. Каупервуд прав — не от нечего делать ввязался мистер Джилген в политику. Однако в настоящее время обстоятельства складывались не особенно благоприятно для осуществления той заманчивой программы, которую он некогда себе начертал. Тирнен, Кэриген и Эдстром, хотя и держались с ним пока еще довольно дружелюбно, но уже начинали предъявлять ни с чем несоразмерные требования. А так называемые сторонники

реформ, — те, что, поверив на слово газетам, считали Каупервуда мошенником, а все его начинания — вредоносными, — требовали от нового муниципалитета неподкупной честности во всех делах: никакие договоры, контракты и всякого рода сделки не должны были отныне и впредь заключаться без ведома населения и газет. Джилген после первого же совещания со своими единомышленниками, последовавшего вскоре за их избранием, уже почувствовал себя между молотом и наковальней. Но до поры до времени он только не спеша нащупывал почву и отнюдь не склонен был принимать какие-либо опрометчивые решения и действовать очертя голову.

— Да-а, это откровенное предложение, ничего не скажешь, — пробормотал он наконец. — Вы, стало быть, советуете мне предать моих друзей, едва только я одержал для них победу? Ну, в своей политической практике я, признаться, к таким трюкам не привык. Может быть, оно и правда — то, что вы сказали, — так все равно нельзя же бросаться из стороны в сторону, как кот в мешке. Приходится ведь иной раз и сохранять верность. — Мистер Джилген запнулся, не зная, как выйти из столь щекотливого положения.

— Ну что ж, — сочувственно промолвил Каупервуд, — подумайте еще. Из всех дел политика — самое сложное. Я лично занимаюсь ею только потому, что меня к этому вынуждают. Если вы увидите, что мы можем быть чем-либо полезны друг другу, — дайте мне знать. Так или иначе, но в моем предложении нет ничего для вас обидного. Меня хотят прижать к стене. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вполне понятно, что я буду бороться. Но это не значит, что мы с вами должны враждовать. Напротив, мы еще можем со временем стать закадычными друзьями.

— Понимаю, понимаю, — сказал Джилген, — и уж, поверьте, ничего бы, кажется, так не хотел, как подружиться с вами. Но если бы мне даже и удалось сладить с олдерменами — а это, конечно, не так просто, — то ведь остается еще мэр! А у меня с ним не более как шапочное знакомство. К тому же, насколько мне известно, он настроен по отношению к вам очень, враждебно и, значит, непременно поднимет шумиху в газетах. Да, мэр может вам здорово насолить.

— Ну, это я, пожалуй, сумею уладить, — сказал Каупервуд. — Вероятно, мне удастся повлиять на мистера Сласса. Быть может, он не так уж враждебно настроен против меня, как ему кажется. Ничего нельзя знать наперед.

39. НОВЫЙ МЭР ГОРОДА ЧИКАГО

На Оливера Марчбэнкса, подающего надежды юнца лисьей породы, мистер Стимсон возложил ответственную задачу — уличить достопочтенного мистера Сласса в каком-либо предосудительном поступке, и мистер Марчбэнкс раскапывал и разнюхивал до тех пор, пока не собрал достаточно данных, чтобы состряпать историю, которая могла бы навеки отравить жизнь мистера Сласса, если бы ему вздумалось стать слишком послушным орудием в руках врагов Каупервуда. Главным действующим лицом этого заговора явилась некая Клаудия Карлштадт, авантюристка и шпионка по призванию, веселая потаскушка и продажная душа, обладавшая большим житейским опытом и довольно приятной внешностью. Излишне говорить, что Каупервуд не входил ни в какие подробности, хотя один его снисходительный кивок привел в движение весь хитроумный механизм ловушки, сфабрикованной для уловления достопочтенного Чэффи Сласса.

Клаудия Карлштадт — орудие соблазна, с помощью которого была уготована гибель достопочтенному Чэффи, — была высокая стройная блондинка, еще довольно свеженькая, так как ей едва сравнялось двадцать шесть лет, и отличавшаяся тем бездушием и жестокостью, которые свойственны лишь самым алчным и самым легкомысленным созданиям. Чтобы понять, как сложился такой характер, следовало бы познакомиться поближе с беспросветной нуждой Южной Холстедской улицы, на которой родилась и выросла эта особа, заглянуть в одну из тех ветхих, вросших в землю лачужек, где оторванные ставни болтаются на одной петле, а перед окнами денно и нощно снует оборванный и вечно пьяный люд. В юности Клаудия привыкла бегать «на угол за пивом», продавать газеты на перекрестке Холстед и Харрисон-стрит и покупать кокаин в соседней лавчонке. Ее рубашка и платьишко — рваные и замызганные — были из самой что ни на есть плохонькой материи, чулки — асе в дырах, открывавших глазу синеватую кожу тонких ножек, башмаки — стоптанные, прохудившиеся, в непогоду всегда промокшие насквозь. Клаудия водила дружбу с целой ватагой отпетых сорванцов-мальчишек с окрестных улиц; она рано постигла искусство сквернословить и познала порок, хотя, как это часто бывает с детьми, в душе еще не была развращена. В одиннадцать лет, сбежав из омерзительного детского приюта, куда ее поместили после смерти матери, она сумела разжалобить рассказами о своих злоключениях одну ирландскую чету, которая и взяла ее к себе в дом на Западной стороне. В этом семействе были две дочери, обе служили конторщицами в большом универсальном магазине. С помощью этих девушек Клаудии удалось стать кассиршей. Дальнейшая судьба ее была так же пестра и необычна, как и начало ее жизненного пути. Следует отметить, что природа наделила эту девушку довольно живым умом. Когда ей минуло двадцать лет, она уже была обладательницей (сначала с помощью какого-то ювелира, затем — сына одного фабриканта обуви) обширного гардероба и небольшой наличной суммы денег. Вскоре некий молодой и весьма привлекательный член конгресса, только что избранный на этот пост от Западных штатов, пригласил Клаудию в Вашингтон для работы в правительственном учреждении. Новая должность требовала знания стенографии и машинописи, и Клаудия без труда усвоила все это. А затем один секатор привлек ее к тому роду секретной службы, который не предусмотрен государственным бюджетом, но является весьма доходным для тех, кто им занимается. Там, где не помогал обыкновенный подкуп, пускались в ход кокетство и лесть, и Клаудии удавалось раскрывать немало секретов. Одно из поручений — разведать тайные финансовые связи некоего члена конгресса от штата Иллинойс — привело Клаудию назад в Чикаго, где она свела знакомство с молодым Стимсоном. От Стимсона Клаудия узнала об интриге, которая плелась против Каупервуда в финансовых и административных кругах города, и любопытство ее было

сильно возбуждено. В Вашингтоне ей уже приходилось слышать кое-что о Слассе. Стимсон дал Клаудии понять, что некое лицо не пожалеет двух-трех тысяч долларов и сверх того покроет, разумеется, все необходимые затраты, если господин мэр будет основательно скомпрометирован. Так судьба авантюристки Клаудии Карлштадт неприметным образом сплелась с блистательной судьбой неподкупного Чэффи Сласса.

Привести в исполнение задуманный план оказалось делом не слишком сложным. С помощью достопочтенного Джоэла Эвери, Марчбэнксу удалось раздобыть письмо к мистеру Слассу от одного из его политических единомышленников. Это было ходатайство о некоей молодой вдове, опытной машинистке, стенографистке и так далее и тому подобное, оказавшейся в затруднительном положении и желающей устроиться на работу в местном муниципалитете. Вооруженная этим письмом, в необходимых для предстоящего поединка доспехах (платье из тяжелого черного шелка, плотно облегающее фигуру, скромная нитка жемчуга на шее, жемчужные перстни на пальцах, соломенно-желтые локоны, соблазнительно уложенные ка висках), Клаудия явилась в резиденцию нового мэра. У мистера Сласса дел было по горло, но тем не менее этой даме он назначил день и час приема. На сей раз Клаудия прибавила к своему туалету две бархатные розы, пунцовую и желтую, которые она приколола к корсажу. Итак, перед мистером Слассом предстала полногрудая молодая особа, весьма недурно сложенная и в совершенстве овладевшая искусством стоять, сидеть, двигаться и изгибать торс по всем правилам записных вашингтонских кокоток. Мистер Сласс загорелся с первого взгляда, но подошел к делу осмотрительно и осторожно. Как-никак, он теперь мэр большого города и у всех на виду! Ему показалось, что он уже встречался где-то с миссис Брэндон — так эта дама предпочла именовать себя на сей раз, — и она не замедлила напомнить ему, где именно. Два года назад в ресторане Ришелье. В воображении мистера Сласса тотчас возникли все подробности этой знаменательной встречи.

— Так, так. И с тех пор, как я понимаю, вы успели выйти замуж и овдоветь. Позвольте выразить вам мое соболезнование.

Обхождение мистера Сласса было снисходительно-величественным и вместе с тем непринужденным, как и подобало, по его мнению, человеку, вознесенному на столь высокий пост.

Миссис Брэндон ответила сдержанным наклонением головы. Ее ресницы и брови были слегка подчернены, а на пухлой розовой щечке оранжевым гримировальным карандашом сделано некое подобие соблазнительной ямочки. Поистине эта дама была воплощением женственности и трогательно безыскусной печали. Вместе с тем в ней чувствовалась и хорошая деловая сноровка.

— Когда я имел удовольствие с вами познакомиться, вы как будто состояли на службе в правительственных органах в Вашингтоне?

— Да, я занимала скромную должность в Государственном казначействе, но при новом правительстве мне пришлось уйти.

Миссис Брэндон прикрыла ресницами глаза и слегка подалась вперед, приняв самую соблазнительную позу. Не могло быть сомнений в том, что, помимо работы в Государственном казначействе, эта дама пробовала свои силы в самых различных областях. Миссис Брэндон с удовлетворением отметила про себя, что от зоркого глаза мистера Сласса не укрылось ничего, ни одна самая ничтожная деталь. Он окинул взглядом знатока ее лакированные ботинки на пуговках с прюнелевым верхом, черные лайковые перчатки, простроченные белым шелком и застегнутые гранатовыми пуговками, коралловое ожерелье, украшавшее на сей раз белоснежную шейку, и бархатные розы — пунцовую и желтую, — приколотые к корсажу.

Весьма элегантная и подающая надежды молодая вдова, хотя и перенесшая недавно столь тяжелую утрату.

— Так, так, дайте подумать, — с важным видом бормотал мистер Сласс. — Где вы изволите проживать? Позвольте, я запишу ваш адрес. Мистер Барри очень тепло отзывается о вас в своем письме. Разрешите мне подумать денька два-три. Сегодня вторник? Зайдите в пятницу. Быть может, я сумею подыскать для вас подходящее место.

Он проводил посетительницу до дверей, и поступь ее, упругая и легкая, также не укрылась от его внимания. В дверях миссис Брэндон обернулась и бросила на мэра столь нежный и томный взгляд, что он тут же решил непременно пристроить ее куда-нибудь. Более очаровательная просительница еще ни разу не переступала порога его кабинета.

А вскоре после этого достопочтенному Чэффи Слассу пришел конец. В назначенный день миссис Брэндон появилась снова. Ее туалет на этот раз приятно оживляла красная шелковая нижняя юбка, кокетливые оборки которой поминутно выглядывали из-под подола черного атласного платья.

— Видал, какие теперь тут ходят? — заметил один из привратников, обломок прежнего режима, другому ветерану. — Вот оно что значит — новое-то начальство. Из молодых, да ранние!

Он покрутил головой, оправляя воротник, франтовато, не без лихости обдернул шинель и весело взглянул на своего товарища, такое же старое пропыленное чучело, как и он сам.

В ответ ему достался дружеский шлепок по животу.

— Легче на поворотах, Билл. Не забегай вперед. Мы не успели развернуться как следует. Вот, погоди с полгодика — то ли еще будет!

Мистер Сласс не скрыл своей радости при виде миссис Брэндон. Он уже успел переговорить с Джоном Бастинелли, новым налоговым инспектором, чей кабинет был расположен на том же этаже, как раз напротив кабинета самого мэра, и мистер Бастинелли, в расчете на взаимную услугу, охотно согласился оказать покровительство молодой особе.

— Очень рад, что могу снабдить вас этим письмом к мистеру Бастинелли, — сказал мистер Сласс, нажимая звонок, чтобы вызвать стенографистку. — Мне в равной мере приятно сделать это как для моего друга мистера Барри, так и для вас. Кстати, вы хорошо знакомы с мистером Барри? — полюбопытствовал он.

— Нет, не очень, — призналась миссис Брэндон, быстро смекнув, что мистеру Слассу будет приятно узнать о ее крайне поверхностном знакомстве с лицом, давшим ей рекомендацию. — Меня направил к нему мистер Амермен. — Брэндон назвала первое подвернувшееся ей на язык имя.

Мистер Сласс почувствовал облегчение. Он протянул ей письмо, и она снова подарила его нежным, влекущим, исполненным благодарности взглядом. От этого взгляда у достопочтенного мэра не на шутку закружилась голова и началось такое волнение в крови, что благие намерения — держать ухо востро с этой малознакомой ему особой — тотчас разлетелись прахом.

— Вы, помнится, говорили, что изволите проживать где-то на Северной стороне? — осведомился он, растянув рот в безвольную глуповатую улыбку.

— Да, я сняла премиленькую квартирку, окнами на Линкольн-парк. Правду сказать, я не была уверена, хватит ли у меня средств содержать ее, но теперь, если я получу это место… Ах, вы были так добры ко мне, мистер Сласс. Я надеюсь, вы не забудете меня теперь на веки вечные? — По всему было видно, что это беззащитное создание остро нуждается в покровительстве. — Если только я когда-нибудь смогу быть вам полезна…

А мистер Сласс пришел в неописуемое волнение, подумав о том, что это восхитительное существо женского пола, которое находилось сейчас в такой соблазнительной от него близости, может исчезнуть навсегда. Провожая миссис Брэндон до дверей, он собрался с духом и пролепетал:

— Я как-нибудь загляну к вам в вашу новую квартирку, посмотрю, как вы там устроились. Я ведь живу неподалеку.

— О, пожалуйста, пожалуйста, приходите! — горячо воскликнула миссис Брэндон. — Это было бы так мило с вашей стороны. Я ведь совсем одна на белом свете. Может быть, вы играете в карты? А я умею готовить замечательный пунш. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели, как уютно я устроилась в своем новом гнездышке.

И мистер Сласс, уже всецело во власти тех чувств, которые были его единственной, но, увы, неискоренимой слабостью, воскликнул:

— Приду! Непременно приду! Быть может, даже скорее, чем вы ожидаете. Дайте мне знать, как идут у вас дела.

Он взял ее за руку. Она ответила ему горячим пожатием.

— Ловлю вас на слове, — проворковала она нежно, томно, понизив голос почти до шепота.

А через несколько дней мистер Сласс снова столкнулся с миссис Брэндон у себя в приемной: она уже давно подкарауливала его здесь, чтобы повторить приглашение. После этого мистер Сласс нанес ей визит.

Кое-кому из служащих, уцелевших от прежней администрации и работавших в канцелярии мэра, было поручено вести учет посещениям миссис Брэндон и отмечать длительность ее пребываний в кабинете мистера Сласса. Записка, написанная мистером Слассом миссис Брэндон, вошла в драгоценный фонд вещественных доказательств, среди которых не последнее место занимали свидетельские показания о посещении этой парой гостиниц, ресторанов и прочих злачных мест. Улик вскоре

набралось более чем достаточно, чтобы навсегда погубить репутацию достопочтенного мэра. На все эти мероприятия потребовалось около четырех месяцев, после чего миссис Брэндон неожиданно получила предложение возвратиться в Вашингтон и решила его принять. Письма, полетевшие ей вдогонку, были тут же приобщены мистером Стимсоном к другим уже собранным им неопровержимым уликам, с помощью которых можно было бы изобличить преступного мэра, если бы он вздумал проявить слишком большое рвение и упорство в своей борьбе против Каупервуда.

Меж тем осуществление плана наживы и дележа, намеченного мистером Джилгеном совместно с Тирненом, Кэригеном и Эдстромом, встретило довольно солидные помехи. Похоже было на то, что некоторые из вновь избранных олдерменов, затвердившие фарисейские уроки своих политических опекунов, не позволят провести через муниципалитет ни одной сколько-нибудь выгодной концессии, если на то не последует соизволения таких столпов общества и блюстителей нравственности, как господа Хэнд, Сласс и прочие. Более того: все отныне должно было делаться безвозмездно, никто, никому и ни за что не должен был отныне платить!

— Нет, как вам нравятся эти проклятые болтуны? Вот жулики-то, прости господи! — возопил мистер Кэриген, явившись к мистеру Тирнену прямо с совещания с мистером Джилгеном, на котором мистер Тирнен не присутствовал и, разумеется, не по своей вине. — Они уже состряпали проект — хотят весь город покрыть своими надземными дорогами. Только нам с вами при этом ничего не перепадет, не надейтесь! За кого они нас принимают в конце-то концов? А? Ну, что вы скажете?

А мистер Тирнен в свою очередь уже успел посовещаться с мистером Эдстромом и произвести, как он выражался, «разведку в тылу врага», что принесло ему следующие малоутешительные сведения: республиканцы выдвигали своим лидером в муниципальном совете некоего олдермена по имени Клемм — очень неглупого и весьма почтенного американского немца с Северной стороны, и этот самый Клемм, вместе с дюжиной других олдерменов, порешил, руководствуясь принципами высокой морали, что впредь городское самоуправление будет вершить дела только честным путем. От этого поистине можно было сойти с ума!

Услышав новость, мистер Кэриген, уже заранее прикинувший было, сколько тысяч долларов удастся ему сорвать и тут и там, когда понадобится его голос, вытаращил глаза от удивления.

— Как, черт возьми! — воскликнул он. — Вот это удумали! Да что же это такое?

— Я уже имел честь разговаривать с этим самым Клеммом из двадцатого избирательного, — процедил мистер Тирнен сквозь зубы. — Ну и субъект, доложу я вам. Мы встретились в «Тремонте», он был там с Хвранеком. Когда он пожал мне руку, я сразу увидел, что это за человек. Дохлая рыба какая-то! И вообразите себе, что он посмел мне сказать? «Если не ошибаюсь, мистер Тирнен из второго избирательного?», — говорит он. «Да, вы не ошиблись», — отвечаю я. «А вы не такой уж страшный с виду, как я думал», — говорит он. Хо-хо! Я чуть не сказал этому наглецу: «А ну, проваливай, пока я тебе скулы не своротил!» Попадись он мне теперь под злую руку где-нибудь в укромном местечке! — Мистер Тирнен даже зубами заскрипел от злости. — Послушали бы вы, как он разглагольствовал о том, что ему, дескать, непонятно, по какой такой причине препятствуют новым компаниям прокладывать в Чикаго свои трамвайные линии. «Кому ж это не ясно (тут мистер Тирнен сделал даже попытку передразнить мистера Клемма), — что население решительно против всяких монополий». Ну и ну! Поглядим, как он преподнесет эту галиматью Гамблу, или Пинскому, или Шламбому!

Мистер Кэриген, услышав имена этих матерых взяточников, привыкших драть с каждого по три шкуры и извлекать побочные доходы везде, где только можно, злорадно расхохотался и откинулся на стуле.

— Я вам скажу, Майк, что я насчет этого думаю, — с хитрым видом проговорил он, поддергивая узкие на английский манер модные брючки, — эта джилгеновская шатия — просто жалкие трусы, и их следует хорошенько проучить. Джилген это понимает не хуже нас с вами. Вся эта великопостная христианская белиберда не для меня. По-моему, Каупервуд прав: это кучка старых ханжей, которые лопаются от зависти. Если Каупервуд готов выложить хорошие деньги за то, чтобы мы не дали им залезть в его кормушку, так пусть и они выкладывают, если им припала охота туда залезать! Городское самоуправление — не богадельня! И нам нужно сейчас во что бы то ни стало сколотить в новом муниципалитете хорошее, очень крепкое ядро, чтобы Шрайхарту и Мак-Дональду не удалось получить того, на что они зарятся. Джилген так расписывал этих господ — я думал, с ними и вправду можно иметь дело. За выборы они с нами рассчитались, спору нет. Ну, а теперь пускай платят, если хотят получить хорошую концессию.

— Вы правы, черт побери, — отозвался Тирнен. — Готов подписаться под всем, что вы сказали!

В самом непродолжительном времени после этой поучительной беседы мистер Мак-Дональд был весьма неприятно поражен, обнаружив при помощи своего ставленника, олдермена Клемма, что у него много меньше сторонников, чем он предполагал. Да,

союз с такими политиканами — штука ненадежная! Некоторые олдермены — какие-то там Хорбэки, Фогарти, Мак-Грейны, Сэмельские — всем своим поведением давали основание предполагать, что получили взятку. С этим неутешительным известием мистер Мак-Дональд поспешил к Хэнду, Шрайхарту и Арнилу, которые уже поздравляли друг друга, полагая, что одержанная победа не замедлит принести им концессию на постройку разветвленной сети надземных железных дорог в Чикаго, после чего они поставят, наконец, на колени своего заклятого врага — Каупервуда.

Выслушав молодого Мак-Дональда, Хэнд, не медля ни минуты, послал за Джилгеном. На вопрос Хэнда — когда же, наконец, муниципалитет утвердит предложенный Клеммом проект концессии Общечикагской городской электрической — Джилген заявил, что, к великому его, Джилгена, прискорбию, этот проект наталкивается на довольно сильное противодействие со стороны целого ряда лиц.

— Что такое? — свирепо спросил Хэнд. — Мы ведь, кажется, обо всем с вами договорились? Вам, по-моему, уплатили все сполна, как было условлено? Вы брались провести в муниципалитет двадцать шесть олдерменов, которые будут голосовать так, как им прикажут. А теперь что же — на попятный? Хотите отказаться от своих обязательств?

— Обязательств! Обязательств! — проворчал Джилген, раздраженный чрезмерной, по его мнению, грубостью этого наскока. — Я взялся провести в муниципалитет двадцать шесть олдерменов-республиканцев и провел. А покупать их со всеми потрохами я и не брался. Я в конце концов не выбирал каждого из них по своей воле. Мне приходилось договариваться с разными людьми, по разным округам, — с теми, кто пользуется популярностью и у кого было больше шансов пройти. Но разве я могу отвечать за каждую подлость, которая творится за моей спиной? Если люди не держат слова, так я-то здесь причем?

Физиономия мистера Джилгена изображала укоризненный вопрос.

— Позвольте, но вы же сами подбирали этих людей? — наседал на него Хэнд. — Каждый из них был избран с вашего одобрения. Все они дали торжественное обещание бороться с Каупервудом до победного конца. А что же вышло? Теперь они отрекаются от этой своей священной обязанности? Они же не могут не знать, для чего их выбрали в муниципалитет. Все газеты требовали в один голос, чтобы Каупервуду не предоставлялось больше никаких привилегий.

— Все это правильно, — отвечал Джилген, — но только я никак не могу отвечать за честность других. Да, конечно, я провел их в муниципалитет, что верно, то верно! Но я подбирал их с помощью других республиканцев и кое-кого из демократов. Ведь как-никак, а прежде всего надо было отобрать таких, которые не провалятся на выборах. Впрочем, насколько я понимаю, большинство из них вовсе и не собирается потакать Каупервуду. Но вот концессии для других компаний — это уж совсем другое дело.

Мистер Хэнд наморщил свой широкий лоб и с нескрываемым подозрением вперил голубые глазки в мистера Джилгена.

— Но кто же все-таки там мутит воду? — спросил он. — Я хотел бы иметь список этих олдерменов.

Мистер Джилген, хитро обезопасив себя со всех сторон, готов был принести в жертву «непокорных». Пусть каждый ратует сам за себя. Мистер Хэнд записал имена тех, на кого надо было немедленно оказать давление, а заодно решил последить и за мистером Джилгеном. Если при осуществлении намеченного плана в административном аппарате начнет «заедать», придется опять обратиться к газетчикам и велеть им шуметь погромче! А тех олдерменов, которые не оправдают возложенного на них высокого доверия, — гнать в шею из муниципалитета, отдать на суд обманутых ими избирателей, пригвоздить к позорному столбу! И пусть газеты с удвоенной силой протрубят на весь мир о неслыханном коварстве и бесстыдных мошеннических проделках Каупервуда!

Тем временем господа Стимсон, Эвери, Мак-Кибен, старик Ван-Сайкл и другие агенты Каупервуда тоже не плошали, обрабатывая в его пользу отдельных олдерменов, из числа тех, кто не проявлял особого тяготения к высокой морали. Они старались втолковать им, что стоит только в течение двух лет воздерживаться от неугодных мистеру Каупервуду решений, и соответствующая награда не замедлит воспоследовать — либо в виде ежегодного жалованья в две тысячи долларов, либо в виде других преподношений… формы их могут быть разнообразны. Существуют просроченные и гнетущие, подобно тяжелому кошмару, векселя, которые можно индоссировать, закладные, которые можно выкупить… Да мало ли что. Строжайшее соблюдение тайны гарантировалось в любом случае. Само собой разумеется, что предложения такого рода никогда не исходили непосредственно от упомянутых выше лиц. Кто-нибудь из друзей или из соседей неожиданно выступал в роли посредника. А то просто какой-то незнакомец являлся с таинственным поручением. Так, еще одиннадцать олдерменов — помимо тех десяти олдерменов-демократов, которые уже были приручены Мак-Кенти, — попали в силок. Все расчеты Шрайхарта, Хэнда и Арнила были уже до основания разрушены, хотя они об этом и не подозревали, и, невзирая на все их усилия, долгожданная общегородская концессия на проведение трамвая никак не давалась им в руки. В конце концов им пришлось до поры до времени удовлетвориться концессией ка прокладку одной единственной линии надземной железной дороги на Южной стороне, то есть — на территории, уже фактически покрытой шрайхартовскими же линиями; Общечикагская

городская компания электрических железных дорог получила концессию тоже на одну и притом совершенно незначительную трамвайную линию, которую Каупервуд, если счастье ему не изменит, мог впоследствии легко присоединить к своим.

40. ПОЕЗДКА В ЛУИСВИЛЬ

Теперь на пути Каупервуда возникла новая трудность, и не столько политического, сколько финансового порядка. В те дни, когда Эддисон еще возглавлял «Лейк-Сити Нейшнл», Каупервуд черпал средства на финансирование своих городских железнодорожных предприятий преимущественно из его банка. Когда же Эддисону пришлось оставить свой пост, чтобы встать во главе Чикагского кредитного общества, Каупервуду удалось добиться того, что этот банк был объявлен резервным банком округа и ряду сельских банков было предложено держать там свои капиталы. Однако стараниями Хэнда и Арнила, контролировавших большинство чикагских банков и состоявших в тесной связи с нью-йоркскими финансовыми магнатами, борьба против Каупервуда и всех его начинаний обострялась все более и более, и вот, под воздействием враждебных ему сил, некоторые местные банки начали требовать обратно свои вклады, и можно было ожидать, что другие не замедлят последовать их примеру. Каупервуд не сразу уяснил себе масштабы финансовой войны, которая велась против него. Прежде всего он оказался вынужденным в поисках наличных денег предпринять ряд поездок: то в Нью-Йорк, то в Филадельфию, то в Цинциннати, то в Балтимору, то в Бостон, а иной раз даже в Лондон. В одну из таких поездок ему довелось свести несколько необычное знакомство, последствия которого, сложные и неожиданные, оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Разъезжая по стране, Каупервуд завязывал многочисленные деловые знакомства — преимущественно с теми, у кого водились деньги. Среди его новых знакомых были люди самого различного склада, от суровых дельцов до беспечных прожигателей жизни. К числу последних принадлежал и полковник Натаниэл Джилис — богач, спортсмен, кутила и прожектер, с которым Каупервуд встретился в городе Луисвиле, штат Кентукки. Полковник был заметной фигурой в тамошнем избранном обществе. Проникшись симпатией к Каупервуду, он не раз ссужал его деньгами и, как человек светский и с большими связями, вменил себе в обязанность развлекать своего нового приятеля во время его кратковременных наездов в Луисвиль. Однажды он сказал Каупервуду:

— С вашего позволения, Фрэнк, я бы хотел познакомить вас с одной из самых интересных женщин, которых я когда-либо встречал. Репутация у нее не безупречна, но она весьма занимательная особа. Она прожила очень бурную жизнь, дважды была замужем и дважды овдовела. Оба ее супруга были моими лучшими друзьями. Третий мой друг был ее любовником. Я привязан к ней, потому что знал ее отца и мать; она была тогда прелестным ребенком, да и теперь еще очень мила, хотя и свернула со стези добродетели. У нее здесь, в Луисвиле, нечто вроде дома свиданий, куда открыт доступ кое-кому из старых друзей. Вы свободны сегодня вечером? Быть может, мы навестим эту даму?

Каупервуд, который охотно откликался на любое предложение, а главное, умел угождать тем, кто мог быть ему полезен, — наподобие свирепой овчарки, весело скачущей вокруг хозяина в ожидании хорошей подачки, — не замедлил согласиться.

— Охотно, вы меня очень заинтересовали. Расскажите мне о ней еще что-нибудь. Она хороша собой?

— Недурна. Но главное ее достоинство в том, что у нее всегда есть на примете с десяток совершенно прелестных созданий. — Полковник погладил свою седеющую козлиную бородку и весело подмигнул приятелю.

Каупервуд встал.

— Ну что ж, поехали!

Вечер был дождливый. Дело, которое привело Каупервуда к полковнику, можно было закончить лишь на следующий день, и Каупервуд скучал, не зная, чем заполнить досуг. По дороге полковник поведал ему еще некоторые подробности из жизни Нэнни Хэдден, как он фамильярно называл эту особу, ибо таково было ее девичье имя. Она изменила его потом, став миссис Джон Александер Флеминг; через несколько лет после бракоразводного процесса превратилась в миссис Айра Джордж Картер, а теперь была известна среди луисвильских прожигателей жизни, к которым причислял себя и полковник, как Хэтти Стар, хозяйка веселого дома. Все это не пробудило особого интереса в Каупервуде до тех пор, пока он не увидел эту даму и не узнал от полковника, что у нее есть двое детей: дочь от первого брака, Беренис Флеминг, которая воспитывалась в пансионе в Нью-Йорке, и сын от второго брака — Ролф Картер, обучавшийся в военной школе где-то в Западных штатах.

— Эта ее дочка — настоящий отпрыск хорошего старинного рода, насколько я понимаю, — заметил полковник. — Я видел ее всего два или три раза, несколько лет назад, когда бывал в их загородном доме, но она уже тогда поразила меня, — столько обаяния было в этой десятилетней девочке. Настоящая маленькая аристократка с головы до пят… Как миссис Картер при своем образе жизни ухитрилась так воспитать девочку — загадка для меня. В равной мере непостижимо и то, что ей удается держать Беренис в столь аристократическом пансионе. В любую минуту там может разразиться страшный скандал. Я уверен, что девочка и не подозревает, чем занимается ее мамаша. В Луисвиль ей приезжать не дозволяется.

«Беренис Флеминг, — мысленно повторил Каупервуд. — Какое прелестное имя. И какое странное начало жизненного пути».

— А сколько же сейчас лет этой девочке? — спросил он.

— Вероятно, лет пятнадцать — не больше.

Экипаж остановился перед домом на пустынной, без единого деревца, унылой улице. Внутри дом, к удивлению Каупервуда, оказался просторным и обставленным с большим вкусом. Миссис Картер, как некогда звали эту даму в обществе, или Хэтти Стар, как именовали ее в более узком и менее респектабельном кругу, тотчас вышла к гостям… При первом же взгляде на нее Каупервуд понял, что, каково бы ни было ее теперешнее занятие, она несомненно не лишена светской утонченности. В ней чувствовалось хорошее воспитание. Она была жива, находчива, и если и не слишком умна, то во всяком случае не банальна. В ее скользящей походке и мягкой пластичности движений была какая-то своеобразная одухотворенность, которая пленила Каупервуда, — так же как веселое, откровенно беспечное отношение миссис Картер к своему щекотливому положению и спокойная непринужденность манер, сразу изобличавшая в ней светскую даму. Волосы миссис Картер были уложены высоко на макушке на французский манер, в стиле Империи; на щеках уже обозначились кое-где красные жилки. Румянец ее показался Каупервуду пожалуй слишком ярким, но в общем он нисколько не портил ее. Приветливые серо-голубые глаза миссис Картер красиво оттенялись светло-каштановыми волосами. Одета она была в простое домашнее платье, розовое в цветочках, которое красиво обрисовывало ее начинавшую полнеть фигуру. Шею украшала нитка жемчуга.

«Вдова двух мужей, — думал Каупервуд, разглядывая хозяйку. — Мать двоих детей».

Полковник представил своего приятеля, и тотчас же завязалась непринужденная беседа. Миссис Картер любезно заверила Каупервуда, что много слышала о нем. Слухи о его деятельности в области городского железнодорожного транспорта доходили и до нее.

— Раз уж мистер Каупервуд почтил нас сегодня своим посещением, может быть мы пригласим Грэйс Демминг? — предложила хозяйка.

Упомянутая дама пользовалась особым расположением полковника.

— Я буду счастлив, если вы удостоите меня беседой, миссис Картер, — галантно отозвался Каупервуд, подстрекаемый каким-то не вполне осознанным любопытством. Судьба этой женщины почему-то заинтересовала его. Мало-помалу из последующих бесед с полковником и новых встреч с самой миссис Картер он составил себе довольно отчетливое представление о ее прошлом.

Нэнни Хэдден, она же миссис Джон Александер Флеминг, она же миссис Айра Джордж Картер, она же Хэтти Стар, была прямым потомком вирджинских и кентуккских Хэдденов и Колтеров, насчитывавших несколько поколений и связанных родственными узами с доброй половиной аристократической верхушки четырех-пяти близлежащих штатов. Сейчас эта женщина, все еще обладавшая блестящими связями, была, в сущности, просто содержательницей дома свиданий в захолустном городке с двумястами тысяч жителей. Как же это случилось? Когда-то Нэнни Хэдден слыла красавицей. Она родилась в богатой семье и вышла замуж за богача. Ее первый муж, Джон Александер Флеминг, унаследовавший состояние, привилегии, наклонности и пороки всего рода Флемингов, в течение нескольких поколений разводивших табак и эксплуатировавших рабов, был очаровательным светским бездельником, типичным представителем вирджинско-кентуккских светских кругов. Он обучался праву и должен был сделать дипломатическую карьеру, но так и не-сделал, ибо по натуре был бездельником и шалопаем. Лошади, скачки, балы, охота, флирт и прочие развлечения подобного рода поглощали весь его досуг. Его бракосочетание с Нэнни Хэдден было расценено всеми как блестящий союз. К солидному капиталу жениха присоединилось не менее солидное состояние невесты. Молодожены закружились в вихре светских удовольствий, что было лишь естественным продолжением того рассеянного образа жизни, который предшествовал браку. Кое-какие уклонения в сторону от прямой стези супружеского долга считались допустимыми в этом кругу, при условии соблюдения тайны или хотя бы ее видимости. Поэтому появление молодого вертопраха по имени Тэккер Теннер, присоединившегося как-то раз, погожим осенним днем, к чете Флеминг во время их прогулки в горах Северной Каролины, было явлением вполне закономерным, так же как и нежная, хотя и недолговечная привязанность к нему прелестной Нэнни Флеминг, как она звалась в ту пору. Однако услужливые друзья не замедлили открыть мистеру Флемингу глаза на то, чего ему не удалось разглядеть без их помощи, и рассерженный супруг, который, кстати сказать, сам был изрядным повесой, повстречав как-то под вечер на одной из высокогорных тропинок мистера Тэккера Теннера, сказал ему примерно следующее:

— Советую вам убраться из этих мест подобру-поздорову, и не позже как сегодня же ночью. Иначе завтра солнце будет светить через те дырки, которые я в вас проделаю.

Тэккер Теннер, рассудив, что, как бы ни были смешны понятия о чести в Южных штатах, однако пули остаются пулями, — решил покориться. Миссис Флеминг была смущена, взволнована, но ни о чем не жалела и не проявила раскаяния. Напротив,

она почла себя глубоко оскорбленной. Скандальная история эта вызвала немало толков. Между супругами начался разлад, оба стали топить свое раздражение в вине и в конце концов почли за благо развестись. Тэккер Теннер больше не появлялся и не делал попыток восстановить свои попранные права, но упоминавшийся уже выше Айра Джордж Картер, еще один светский лоботряс без гроша за душой, принадлежавший к тому же кругу прожигателей жизни, что и Флеминги, предложил миссис Флеминг остановить на нем свой выбор, и его предложение было принято.

Плодом первого брака был один ребенок — девочка. Плодом второго брака — сын. Айра Джордж Картер, пока миссис Картер была еще слишком молода и легкомысленна, чтобы проникнуться заботой о своих детях и защищать их права, успел промотать на различные бессмысленные авантюры почти все состояние, доставшееся ей от отца, майора Уикхэма Хэддена. Пьянство и разврат быстро свели мистера Картера в могилу, и вдова его оказалась на краю нищеты. Миссис Картер была натура страстная, непрактичная и легко поддающаяся соблазну. Однако пример ее второго мужа, который бесплодно и бесцельно погибал на ее глазах, печальная судьба, грозившая детям, и пробуждение материнского инстинкта, а вместе с ним и чувства ответственности за детей, подействовали на нее отрезвляюще. Жажда жизни и любви еще не угасла в ней, но, увы, возможностей утолять эту жажду становилось с каждым днем все меньше. Миссис Картер сравнялось тридцать восемь лет, она все еще была хороша собой и не желала довольствоваться объедками жизненного пира. Гордость ее возмущалась при мысли о том, что она может попасть в унизительное положение светских парий, которые, утратив свое место в обществе, становятся предметом веселых насмешек со стороны тех, кого судьба не лишила своих милостей. Состояние ее было потеряно, и ею мало-помалу перестали интересоваться даже в ее собственном кругу, а наиболее консервативные семейства уже открыто ее сторонились.

Тем не менее миссис Картер сказала себе, что она не опустится до положения швеи или просто приживалки, живущей щедротами своих старых друзей. Как-то само собой стали возникать не освященные браком узы — иной раз их вязала дружба, иной раз мимолетная страсть; затем еще некоторое время миссис Картер занимала какое-то странное промежуточное положение между светскими дамами и женщинами полусвета, пока, наконец, не открыла в Луисвиле, правда негласно, дом свиданий. Совет этот подал ей кто-то из приятелей, знавший, как делаются такие вещи, и заботившийся больше о собственных развлечениях, чем о благополучии миссис Картер. Ее друзьям — в том числе и полковнику Джилису — нужна была укромная, уединенная квартирка, где они могли бы отдыхать, играть в карты и встречаться со своими дамами. С этого времени миссис Картер превратилась в Хэтти Стар и в качестве таковой стала известна даже полиции. Впрочем, пока ходили лишь смутные слухи о том, что в ее доме временами царит какое-то подозрительно буйное веселье.

Каупервуд, который всегда проявлял интерес ко всему незаурядному, необычному и умел ценить драматичность жизненных взлетов и падений, не мог пройти мимо этого сбившегося с пути создания, игрушки в руках капризного случая. Полковник Джилис обмолвился как-то невзначай, что при поддержке влиятельного человека Нэнни Флеминг могла бы вновь войти в общество. Она умела трогать сердца. Говорили, что это свойство передалось и ее детям, о которых, впрочем, эта дама никогда не упоминала. Побывав несколько раз в доме миссис Картер, Каупервуд стал проводить долгие часы в беседах с нею всякий раз, как приезжал в Луисвиль. Однажды, когда он вошел следом за ней в ее будуар, она поспешно убрала с туалетного столика фотографию дочери. Каупервуд никогда раньше не видел ни одного ее снимка. Он успел заметить только, что фотография изображает девочку лет пятнадцати — шестнадцати, но даже этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы облик ее врезался ему в память. Это была худенькая, трогательно хрупкая девочка. Каупервуда поразила ее улыбка, горделивая посадка головы на тонкой шейке и выражение надменного превосходства, сквозившее в презрительном и усталом взгляде из-под полуопущенных век. Каупервуд был очарован. Заинтересовавшись дочкой, он стал выказывать несколько преувеличенный интерес и к матери.

А вскоре после этого случай заставил Каупервуда от созерцания перейти к действиям: однажды он снова увидел лицо Беренис — на этот раз в витрине луисвильского фотографа. Это был довольно большой портрет, увеличенный с маленького снимка, который миссис Картер недавно получила от дочери. Беренис стояла вполуоборот, небрежно облокотившись о доску высокого, в колониальном стиле камина; в левой руке, свободно повисшей вдоль бедра, она держала широкополую соломенную шляпу. Слабая, едва приметная улыбка играла в углах ее рта, а широко раскрытые глаза светились притворным простодушием и лукавством… Непринужденная грация ее позы покорила Каупервуда. О том, что миссис Картер не давала разрешения выставлять портрет а витрине, он не имел ни малейшего представления. «Это самородок»,

— сказал себе Каупервуд и зашел в фотографию. Он пожелал, чтобы портрет был снят с витрины и негативы уничтожены. Выяснилось, что за полсотни долларов он может получить и портрет, и нега-швы — все, что захочет. Купив портрет Беренис, Каупервуд тотчас отдал его вставить в раму, увез в Чикаго и повесил у себя в кабинете. Нередко вечерами, поднявшись наверх, чтобы переодеться, он задерживался на мгновение перед портретом, и восхищение его все росло, а вместе с ним росло и любопытство. Каупервуд видел в этой девочке прирожденную аристократку, настоящую светскую женщину до мозга костей, воплощение, быть может, того идеала, слабым подражанием которому были светские дамы вроде миссис Мэррил и ей подобных.

Заехав как-то снова в Луисвиль, Каупервуд нашел миссис Картер в большой тревоге. Дела ее внезапно сильно пошатнулись. Некто майор Хейгенбек, личность, пользовавшаяся немалой известностью, скоропостижно скончался в ее доме при довольно

странных обстоятельствах. Майор был человек богатый, семейный; официально считалось, что он проживает со своей женой в городе Лексингтоне. В действительности же он почти никогда там не бывал, и внезапная смерть от паралича сердца застигла его в обществе некоей мисс Трент, актрисы, с которой он довольно весело проводил время и которую ввел в дом миссис Картер в качестве своей приятельницы. Из-за болтливости следователя, производившего дознание, полиции стало известно все. Фотографии мисс Трент, миссис Картер, майора Хейгенбека и его жены, а также различные весьма любопытные подробности, разоблачавшие нравы дома миссис Картер, уже должны были появиться в печати, когда вмешался полковник Джилис и еще кое-кто из людей светских и влиятельных; скандал замяли, но миссис Картер продолжала пребывать в смятении. Такого оборота дел она никак не ожидала. Все друзья, напуганные угрозой скандала, покинули ее. Сама она упала духом. Каупервуд застал ее за самым тривиальным занятием: она плакала, — глаза у нее вспухли и покраснели от слез.

— Ну, полно, полно, — воскликнул он, глядя на миссис Картер, которая, прилично случаю, облеклась в уныло-серые тона, — я уверен, что ничего страшного не случилось.

— О, мистер Каупервуд, — патетически воскликнула эта дама. — Несчастья так и сыплются на меня с тех пор, как вы нас покинули. Вы слышали о смерти майора Хейгенбека? — Каупервуд, которому полковник Джилис успел шепнуть кое-что, утвердительно кивнул. — Так вот, я сейчас получила извещение из полиции: мне предлагают покинуть город. Да и домохозяин уже предупредил меня, что я должна съехать. Ах, если б не дети, я бы, кажется…

И жестом, исполненным драматизма, она прижала к глазам кружевной платочек.

Каупервуд глядел на нее с любопытством, что-то обдумывая.

— Вам совсем некуда поехать? — спросил он.

— У меня есть дача в Пенсильвании, — призналась миссис Картер. — Но не могу же я там поселиться в феврале! Да и на какие средства я буду жить? Ведь это мой единственный источник дохода.

И миссис Картер обвела вокруг себя рукой, давая понять, что имеет в виду свою квартиру.

— А эта дача в Пенсильвании — ваша собственность? — спросил Каупервуд.

— Да, но она очень мало стоит, и, кроме того, мне никак не удается ее продать. Я уже пробовала не раз, потому что она надоела Беренис.

— И вы не отложили денег про черный день?

— Все, что я имела, уходило на содержание этой квартиры и обучение детей. Я старалась дать Беренис и Ролфу возможность достичь чего-нибудь в жизни.

При этом вторичном упоминании имени Беренис мысли Каупервуда невольно устремились к тому, что было истинной подоплекой его интереса к миссис Картер, его прихотью, капризом. Небольшая денежная помощь не обременит его. Зато впоследствии это может привести к знакомству с ее дочерью.

— Почему бы вам не покончить здесь со всем раз и навсегда? — сказал он.

— Это вовсе неподходящее для вас занятие — надо ведь подумать и о будущем детей. Этак можно непоправимо испортить им жизнь. Вы, вероятно, хотите, чтобы ваша дочь была принята в обществе, не правда ли?

— О, разумеется! — воскликнула миссис Картер, почти молитвенно глядя на Каупервуда.

— Вот именно, — сказал Каупервуд.

Мысль его напряженно работала, и он, как всегда в таких случаях, сразу перешел на лаконичный, деловой тон, хотя все это интересовало его отнюдь не с деловой стороны.

— Так почему бы вам не пожить пока на вашей даче в Пенсильвании или, скажем, в Нью-Йорке? Здесь вам нельзя оставаться. Продайте обстановку или отправьте ее туда пароходом.

— Ах, я бы рада была уехать, — вздохнула миссис Картер, — если бы только знала, как это осуществить.

— Послушайтесь моего совета и поезжайте пока что в Нью-Йорк. Уладьте все ваши денежные дела здесь, а в остальном я вам помогу — на первых порах. Начните новую жизнь. То, что сейчас произошло, может очень дурно отразиться на судьбе ваших детей. Я позабочусь о мальчике, когда он подрастет. Что же касается Беренис, — голос его прозвучал непривычно мягко, когда он произнес это имя, — то она может завязать хорошие знакомства, если пробудет в пансионе лет до двадцати, а это очень поможет ей в будущем. От вас же требуется только одно — стараться избегать встреч с вашими здешними приятелями. Быть может, не мешало бы даже увезти Беренис на некоторое время за границу, после того как она окончит пансион.

— Конечно, конечно, если бы только я могла все это устроить, — жалобно пролепетала миссис Картер.

— Прекрасно. Сделайте пока то, что я вам предлагаю, а там посмотрим, — сказал Каупервуд. — Было бы очень грустно, если бы это злополучное происшествие испортило жизнь вашим детям.

Миссис Картер, видя, что в лице Каупервуда — если он пожелает быть щедрым — судьба посылает ей избавление от грозных тисков нищеты, готова была рассыпаться в благодарностях, но, почувствовав легкую отчужденность в его тоне, умерила свой пыл. Хотя Каупервуд и бывал порой, когда ему этого хотелось, приветлив и сердечен, но обычно известный холодок сквозил в его обращении. Сейчас он думал о Беренис Флеминг, о том, что эта девушка с утонченной душой может стать очень ценным для него приобретением.

41. ДОЧЬ МИССИС ФЛЕМИНГ

Беренис Флеминг в ту пору, когда Каупервуд свел знакомство с ее матерью, воспитывалась у «Сестер Брустер» — в «Пансионе для молодых девиц», который помещался на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке и слыл одним из самых фешенебельных заведений такого рода. Общественное положение и связи Хэдденов, Флемингов и Картеров раскрыли перед Беренис двери пансиона, хотя дела ее матери находились а то время уже в упадке. Высокая, трогательно хрупкая девушка, с медно-каштановыми кудрями, напоминавшими Каупервуду рыжевато-золотистые волосы Эйлин, она была не похожа ни на одну из женщин, которых он когда-либо знал. Даже в семнадцать лет она уже была проникнута чувством собственного достоинства, чем-то необъяснимо возвышалась над окружающими и снисходительно принимала истерически восторженное преклонение своих более заурядных сверстниц, которые, ища выхода пробуждавшейся чувственности, курили фимиам своему кумиру.

Да, она была поистине странным созданием. Девочка, почти ребенок, она уже сознавала свое превосходство, свою женскую прелесть, уже мечтала о высоком положении в свете. Наделенная от природы нежной кожей, чуть тронутой веснушками на прямом точеном носике, ярким, даже неестественно ярким румянцем, удивительными, синими, как у ангорской кошки, глазами, прелестным ртом и безукоризненной линией подбородка, Беренис Флеминг отличалась какой-то особенной, хищной грацией. Движения ее, ленивые, надменные, плавные, находились в совершенной ритмическоой гармонии с прекрасными линиями тела. Когда воспитанницы собирались в столовой, а наставница запаздывала, она любила пройтись по комнате, поставив на голову шесть тарелок и увенчав это сооружение кувшином с водой на манер азиатских или африканских женщин. Ноги ее свободно и плавно двигались, но голова, шея, плечи пребывали в полном покое. Воспитанницы неделями приставали к ней, чтобы она повторила «этот фокус». Другой «фокус» состоял в том, что Беренис, вытянув руки за спиной наподобие крыльев, устремлялась вперед, имитируя крылатую богиню Победы, статуя которой украшала библиотечный зал.

— Знаешь, Беренис, — твердила ей какая-нибудь розовощекая почитательница, — я уверена, что она была похожа на тебя. У нее было такое же лицо, я уверена! Ах, ты изумительно ее изображаешь!

Синие глаза Беренис окидывали восторженную поклонницу равнодушно-пытливым взглядом. Она молчала, словно тая что-то про себя, — и это внушало всем благоговейный трепет.

Учиться в этом пансионе, руководимом благородными дамами — важными, похожими на старых сов, невежественными рутинерками, было для Беренис сущим пустяком, невзирая на все скучные и тупые правила, неукоснительное выполнение которых требовалось от воспитанниц. Беренис понимала ценность такого воспитания в глазах светского общества, но даже в пятнадцать лет уже считала себя выше окружавшей ее среды. Она чувствовала свое превосходство и над теми, кто ее воспитывал, и над своими сверстницами — отпрысками местной знати, которые ходили за ней по пятам, дружно восхищаясь тем, как она поет, рассказывает, имитирует кого-нибудь, танцует… Беренис была глубоко, страстно, восторженно убеждена в огромной ценности своей особы — внутренней ценности, не зависящей ни от каких унаследованных социальных привилегий и обусловленной только ее редкими качествами, дарованиями и чудным совершенством ее тела. Больше всего любила она, затворившись у себя в спальне, подолгу простаивать перед зеркалом, принимая различные позы, или, потушив лампу, танцевать в бледном свете луны, льющемся с окно, какие-то наивные танцы, на манер греческих плясок, — легкие, пластичные, воздушные, казалось бы совершенно бесплотные… Но под прозрачными хитонами цвета слоновой кости, в которые она любила наряжаться, Беренис всегда чувствовала свою плоть. Однажды она записала в дневнике — она вела его тайно от всех, и это было еще одной из потребностей ее художественной натуры или, если хотите, просто еще одной причудой:

«Моя кожа необычайна. Она налита жизненными соками. Я люблю ее и люблю свои крепкие, упругие мускулы. Я люблю свои руки, и волосы, и глаза. Руки у меня тонкие и нежные, глаза синие, совсем синие, глубокие; а волосы — каштановые с золотистым оттенком, густые и пышные. Мои длинные, стройные ноги не знают усталости, они могут плясать всю ночь. О, я люблю жизнь! Я люблю жизнь!»

Вы, вероятно, не назвали бы Беренис Флеминг чувственной — ибо она умела владеть собой. Ее глаза солгали бы вам. Они лгали всему свету. Они глядели на вас с насмешливым вызовом, спокойным savoir faire [note 4], и только легкая усмешка в уголках рта могла подсказать, что этот взгляд говорит: «Ты не разгадаешь меня, не разгадаешь!» Беренис склоняла голову набок, улыбалась и лгала (взглядом — не словами), что она еще просто ребенок. И это было так, пока еще это было так. А впрочем, не совсем. У этой девочки уже были свои, глубоко укоренившиеся воззрения, но она скрывала их — тщательно и умело. Мир никогда, никогда не увидит того, что происходит в ее душе! Он никогда ничего не узнает.

Каупервуд впервые узрел воочию эту Цирцею — дочь столь незадачливой матери, когда приехал весной в Нью-Йорк, через год после того, как он свел знакомство с миссис Картер в Луисвиле. Беренис должна была выступать на торжественном празднике, устраиваемом пансионом Брустер в честь окончания учебного года, и миссис Картер решила поехать в Нью-Йорк в сопровождении Каупервуда. В Нью-Йорке Каупервуд остановился в роскошном отеле «Незерленд», а миссис Картер — в значительно более скромном «Гренобле», и они вместе отправились навестить этот перл творения, чей запечатленный образ уже давно украшал одну из комнат чикагского особняка. Их ввели в мрачноватую приемную пансиона, и почти тотчас в дверь скользнула Беренис — тоненькая, стройная, восхитительно грациозная. Каупервуд тут же с удовлетворением отметил, что она воплощает в себе все, что обещал ее портрет. Ее улыбка показалась ему загадочной, лукавой, насмешливой и вместе с тем еще совсем детской и дружелюбной. Едва удостоив Каупервуда взглядом, Беренис подбежала к матери, простирая вперед руки неподражаемо пластичным, хоть и несколько театральным жестом, и воскликнула, тоже несколько манерно, но с искренней радостью:

— Мама, дорогая! Наконец-то вы приехали! Я думала о вас сегодня все утро и боялась, что вы не приедете, — ваши планы так часто меняются. Я даже видела вас сегодня во сне!

Она все еще носила полудлинные платья: ее нарядная юбочка из модного шуршащего шелка только чуть прикрывала края ботинок. Вопреки правилам пансиона от нее исходил тонкий запах духов.

Каупервуд видел, что миссис Картер немного нервничает — отчасти от сознания превосходства Беренис, отчасти из-за его присутствия здесь, — но в то же время гордится дочерью. Вместе с тем он заметил, что Беренис уголком глаза следит за ним. Впрочем, одного быстрого взгляда, которым она его окинула, было для нее достаточно: она сразу, и довольно точно, определила его характер, возраст, воспитание, общественное и материальное положение… Ни на секунду не усомнившись в правильности своих выводов, Беренис отнесла Каупервуда к разряду тех преуспевающих дельцов, которых, как она заметила, было немало среди знакомых ее матери. О своей матери Беренис думала часто и с любопытством. Большие серые глаза Каупервуда понравились девушке; она прочла в них волю, жизненную силу; их испытующий взгляд, казалось ей, с быстротой молнии оценил ее. Несмотря на свою молодость, Беренис мгновенно почувствовала, что Каупервуд любит женщин и что, наверное, он находит ее очаровательной. Но уделить ему хоть чуточку больше внимания было не в ее правилах. Она предпочла видеть перед собой только свою милую маму.

— Беренис, — деланно небрежным тоном сказала миссис Картер, — познакомься с мистером Каупервудом.

Беренис обернулась и на какую-то долю секунды остановила на нем смелый, открытый и чуть-чуть снисходительный взгляд, идущий из самой глубины ее синих глаз. «Цвета индиго», — невольно подумал Каупервуд.

— Ваша матушка не раз рассказывала мне о вас, — сказал он улыбаясь.

Не говоря ни слова, но и без тени замешательства, она отняла у него свою тонкую, прохладную руку, гибкую и податливую, как воск, и снова повернулась к миссис Картер. Каупервуд, по-видимому, не представлял для нее никакого интереса.

— Что ты скажешь, детка, если я на будущую зиму переселюсь в Нью-Йорк?

— спросила миссис Картер, после того как они с дочерью обменялись еще несколькими довольно банальными фразами.

— О, это будет чудесно, я бы так хотела пожить дома. Этот дурацкий пансион ужасно мне надоел.

— Беренис, как можно! Мне казалось, что тебе нравится здесь!

— Я ненавижу пансион — тут такая отчаянная скука. И все эти девчонки нестерпимо глупы.

Миссис Картер выразительно подняла брови и взглянула на своего спутника, как бы говоря: «Ну, что вы на это скажете?» Каупервуд спокойно стоял поодаль, считая неуместным высказывать сейчас свое мнение. Он видел, что миссис Картер в разговоре с дочерью держится крайне неестественно, что она, словно на сцене, играет роль снисходительно-величавой светской дамы. Быть может, виной тому был беспорядочный образ жизни, который она вела и вынуждена была скрывать. Беренис же держалась совершенно непринужденно. Тщеславие, самоуверенность и сознание своего превосходства — все было естественно в ней.

— У вас здесь премилый сад, я вижу, — заметил Каупервуд, приподнимая штору и глядя на клумбы с цветами.

— Да, наш цветник довольно красив, — отозвалась Беренис. — Подождите, я нарву вам букет. Это, конечно, не разрешается, но что могут со мной сделать? Исключить из пансиона? А я только этого и хочу.

— Беренис! Поди сюда! — в испуге закричала миссис Картер.

Но та уже ускользнула, легко и грациозно прошуршав оборками.

— Ну, как вы ее находите? — спросила миссис Картер, оборачиваясь к своему другу.

— Молодость. Одаренность. Силы брызжут через край — да мало ли еще что. Мне кажется, нет никаких оснований за нее тревожиться.

— Ах, если б только я могла убрать все препятствия с ее пути!

Беренис уже снова появилась в дверях: прелестная модель для художника. В руках у нее были розы и душистый горошек, — она безжалостно нарвала их целую охапку.

— Как ты своевольна, Беренис! — притворно сердито воскликнула мать. — Придется теперь объясняться с твоими наставницами. Ну что мне с ней делать, мистер Каупервуд?

— Заковать в цепи из роз и отослать на остров Цитеры, — отвечал Каупервуд, который посетил однажды этот романтический остров и знал его историю.

Беренис взглянула на него.

— Как мило вы сказали! — воскликнула она. — Мне даже хочется подарить вам за это цветок. Да, придется, — и она протянула ему розу.

Каупервуд подумал: «Как она меняется!» Когда эта девочка неслышно скользнула в комнату всего несколько минут назад, она казалась примерной скромницей — едва взглянула в его сторону. Но такова особенность тех, что родятся актрисами. А Каупервуд, наблюдая за Беренис, приходил к выводу, что она прирожденная актриса, тонкая, капризная, надменно-равнодушная. Она смотрит на мир свысока и ждет, что он, подобно комнатной собачонке, во всем будет ей повиноваться, будет стоять перед ней на задних лапках и просить подачки. Какой капризный и очаровательный характер! Как жаль, что жизнь не позволит ей безмятежно цвести в этом волшебном саду, созданном ее воображением! Как жаль, как жаль!

42. ФРЭНК АЛДЖЕРНОН КАУПЕРВУД В РОЛИ ОПЕКУНА

Прошло немало времени, прежде чем Каупервуд снова увидел Беренис. На этот раз встреча произошла в горах Поконо, на даче миссис Картер, куда он приехал на несколько дней. Это был идиллический уголок; домик стоял на горном склоне, в трех-четырех милях от Струдсбурга, среди живописных холмов, которые, по мнению миссис Картер, издали, с веранды ее дома, были похожи то ли на стадо слонов, то ли на караван верблюдов. Некоторые из этих величавых, поросших зеленью холмов достигали почти двух тысяч футов в вышину. В глубине долины, открытая для глаз более чем на милю, вилась белая пыльная дорога, спускавшаяся к Струдсбургу. Когда миссис Картер жила в Луисвиле, она могла себе позволить держать на даче летом садовника, и он разбил цветник на лужайке перед домом, полого сбегавшей с холма. У Картеров была хорошая лошадка, которую запрягали в нарядный новый кабриолет, а помимо того и у Ролфа и у Беренис имелись модные низкоколесные велосипеды — последняя новинка, вытеснившая старую разновидность велосипеда с высокими колесами. Затем у Беренис были еще рояль, этажерка с нотами — классические музыкальные пьесы и модные песенки, — полка с ее любимыми книгами, краски, холст и палитра, всевозможные гимнастические снаряды и несколько греческих хитонов, сшитых по ее собственным рисункам, а к ним сандалии и повязки для волос. Беренис была ленивое, мечтательное, чувственное создание! Она проводила дни в пустых грезах, рисуя себе свои будущие победы в свете, близкие и все еще далекие, а остальное время отдавала тем

светским развлечениям, которые были ей доступны уже теперь. Да, такие холодно-расчетливые и своенравные девицы, как Беренис Флеминг, встречаются не на каждом шагу! В ней с семнадцати лет каким-то непостижимым путем происходил процесс духовного приспособления; она уже очень хорошо знала, как нужно выбирать себе друзей и как важно уметь скрывать свои истинные чувства и намерения. И все же в душе она не была просто бездушной и расчетливой маленькой карьеристкой. Многое в ее жизни и в жизни ее матери оставило тревожный след в душе Беренис. Она помнила страшные ссоры между матерью и отчимом, свидетельницей которых была еще в раннем детстве, от семи до одиннадцати лет. Отчим напивался до бесчувствия, до белой горячки. В памяти Беренис еще были живы бесконечные переезды из города в город, из дома в дом, мрачные, унылые перипетии безрадостного детства. Она росла впечатлительным ребенком. Некоторые происшествия с особенной силой врезались ей в память. Однажды отчим в присутствии ее и гувернантки пинком ноги перевернул стол и, с дьявольской ловкостью подхватив падавшую лампу, швырнул ее в окно. Во время одного из таких приступов ярости он схватил Беренис за плечи и с силой отбросил от себя, прорычав в ответ на испуганные вопли окружающих: «Хоть бы она все кости себе переломала, сатанинское отродье!» Таким запомнился Беренис ее названый отец, и это отчасти смягчало ее отношение к матери, помогало жалеть ее, когда в душу к ней закрадывалось осуждение. О своем отце Беренис знала только то, что он развелся с ее матерью, но что послужило причиной развода — осталось ей неизвестно. Она была привязана к матери, но особенно горячей любви к ней не испытывала. Миссис Картер была то слишком взбалмошна и беспечна, то вдруг напускала на себя чрезмерную строгость. В этом летнем домике в горах Поконо — в «Лесной опушке», как нарекла его миссис Картер, — жизнь текла не совсем обычным чередом. Жили в нем только с июня по октябрь; остальное время года миссис Картер проводила в Луисвиле, а Беренис и Ролф — в своих учебных заведениях. Ролф был веселый, добродушный, хорошо воспитанный юноша, но звезд с неба не хватал. Каупервуд решил, что из этого мальчика в обычных условиях мог бы получиться довольно исполнительный секретарь или банковский служащий. Беренис же была существом совсем иного сорта, наделенным причудливым складом ума и изменчивым, непостоянным нравом. Во время своей первой встречи с Беренис, в приемной пансиона сестер Брустер, Каупервуд почувствовал, что перед ним еще не вполне сложившийся, но сильный и незаурядный характер. Он уже много женщин перевидал на своем веку и успел накопить немалый опыт, и женщина совсем нового, необычного для него типа не могла не воспламенить его воображения. Так породистая лошадь привлекает к себе внимание знатока. И подобно тому, как любитель лошадей замирает в скаковой конюшне от тщеславного восторга, угадав в одной из молодых кобылиц будущую победительницу дерби, так затрепетал и Фрэнк Каупервуд, угадав, как ему казалось, в скромной пансионерке, встреченной им в приемной брустерского пансиона, будущую королеву лондонских салонов и ньюпортских летних празднеств. Но почему? В Беренис Флеминг чувствовалась порода; ей были присущи стиль, грация, манеры подлинной аристократки, и этим она пленила Каупервуда сильнее, чем какая-либо женщина до нее.

Теперь он увидел ее снова — на лужайке перед «Лесной опушкой». Здесь по приказу Беренис садовник врыл в землю высокий шест, к которому на длинной веревке был привязан мяч, и Беренис вместе с братом забавлялась игрой в спиральбол. Получив телеграмму Каупервуда, миссис Картер встретила его на станции и привезла домой в своем кабриолете. Зеленые холмы, желтая извилистая дорога, всползавшая в гору, и в отдалении серебристо-серый домик с коричневой дранковой кровлей понравились Каупервуду. Время было около трех часов пополудни, и клонившееся к западу солнце заливало долину ослепительным светом.

— Взгляните, вон они, — растроганно промолвила миссис Картер, когда кабриолет, обогнув пологий склон холма, свернул на дорогу, ведущую к коттеджу. Беренис в эту минуту, высоко подпрыгнув и откинувшись назад, ловко отбила ракеткой мяч. — Ну конечно, опять они с этим мячом! Вот сорванцы!

Она любящим материнским взором следила за ними, и Каупервуд решил, что такие чувства делают ей честь. «Было бы очень печально, — думал он, — если бы надежды, которые она возлагает на детей, пошли прахом. Однако все может случиться. Жизнь — суровая штука. И какая странная женщина, как легко сочетается в ней нежная привязанность к детям с легкомысленным потворством мужским страстям и порокам. Удивительно, что она вообще обзавелась детьми».

На Беренис была короткая белая плиссированная юбка, белые теннисные туфли и легкая шелковая блузка бледно-желтого цвета. Ее розовые щеки еще больше разрумянились от прыжков и беготни, рыжеватые, отливавшие тусклым золотом волосы растрепались. Она была так увлечена игрой, что не удостоила взглядом кабриолет, который проехал за живую изгородь и подкатил к западному крыльцу коттеджа. В конце концов для Беренис Каупервуд был всего лишь приятелем ее матери. Он снова с невольным восторгом отметил про себя, какой удивительной, непринужденной грацией исполнены все ее движения, все эти пластичные, мгновенно меняющиеся позы. Ему захотелось поделиться своими впечатлениями с миссис Картер, но он сдержался.

— Занятная игра, — сказал он, с улыбкой следя за юной парой. — Вы тоже играете в нее?

— Играла когда-то. Теперь уж редко. Иной раз пробую сразиться с Ролфом или с Беви, но они всегда безжалостно меня обыгрывают.

— С Беви? Кто это — Беви?

— Беренис. Так называл ее Рольф, когда был совсем маленький.

— Беви! Очень мило.

— Я тоже люблю это имя. Мне кажется, что оно идет к ней, — не знаю даже почему.

Перед обедом появилась Беренис — освеженная купаньем, в воздушном платьице, которое, как показалось Каупервуду, все состояло из оборок и воланов и особенно подчеркивало ее природную грацию, ибо не требовало корсета. Каупервуд не мог отвести взгляда от ее лица и рук — продолговатого, очаровательно-худощавого лица и тонких, сильных рук. Внезапно перед ним воскрес образ Стефани — но лишь на секунду. Он подумал, что подбородок Беренис нежнее, округлее и вместе с тем еще упрямей. А глаза проницательные и взгляд прямой, не такой ускользающий, как у Стефани, но тоже очень лукавый.

— Вот мы с вами и встретились, — сказал он несколько принужденно, когда Беренис вышла на веранду и, едва взглянув на него, небрежно опустилась в плетеное кресло. — Когда я видел вас в Нью-Йорке, вы были заняты учением.

— Не столько учением, сколько нарушением правил. Впрочем — это самая легкая из всех наук. Ролф! — крикнула она через плечо, равнодушно отвернувшись от Каупервуда, — погляди, вон на траве валяется твой перочинный нож!

Каупервуд, которым явно пренебрегали, немного помолчал.

— Кто же из вас победил в этой увлекательной игре?

— Я, конечно. Я всегда побеждаю в спиральбол.

— О, вот как! — промолвил Каупервуд.

— Ролфа — я хочу сказать. Он совсем плохо играет. — Она отвернулась и стала внимательно всматриваться в дорогу, поднимавшуюся от Струдсбурга. — Честное слово, это Хэрри Кемп, — пробормотала она как бы про себя. — Он, верно, захватил мои письма, если на почте было для меня что-нибудь.

Она вскочила и скрылась в доме, но через несколько секунд появилась снова и, сбежав с веранды, направилась к калитке, шагах в ста от дома. Каупервуду показалось, что она не прошла мимо него, а проплыла по воздуху

— так легок и пластичен был ее шаг. К калитке подкатила рессорная двуколка на высоких колесах. В ней восседал щеголеватый молодой человек в синем пиджаке, белых брюках и белых ботинках.

— Вам два письма! — прокричал он высоким фальцетом. — Удивительно, что не восемь и не десять. Какая жарица, а?

У него были изнеженные и вместе с тем развязные манеры, и Каупервуд тут же мысленно обозвал его ослом. Беренис взяла письма и подарила Хэрри Кемпа чарующей улыбкой. Читая на ходу письмо, она прошла мимо Каупервуда, даже не взглянув на него. И сейчас же из дома донесся ее голос.

— Мама? Хэггерти приглашают меня к себе на конец августа. Я, кажется, приму это приглашение и откажусь от Таксидов. Я очень люблю Бесси Хэггерти.

— Тебе надо обдумать это, детка. А где они проводят лето: в Тэрритауне или в Лун-Лейке?

— В Лун-Лейке, разумеется, — отозвалась Беренис.

«Она уже начинает вести светский образ жизни, — подумал Каупервуд. — И начинает неплохо». Хэггерти слыли богачами; им принадлежали обширные угольные копи в Пенсильвании. Состояние Херриса Хэггерти, с детьми которого, как видно, дружила Беренис, оценивалось в шесть-восемь миллионов долларов. Эта семья принадлежала к самому избранному обществу.

После обеда всей компанией поехали в Садлер, в летний клуб «Садлеровский хуторок», где устраивались танцы и «гулянье при луне». По дороге Каупервуд впервые в жизни со всей остротой почувствовал свой возраст; быть может, отчужденность Беренис была тому причиной. Он был еще крепок и душой и телом, но все же в этот вечер мысль о том, что ему уже стукнуло пятьдесят два, а Беренис едва сравнялось семнадцать, не покидала его. Неужели юность вечно будет держать его в плену своих чар? Беренис была в белом платье: из пышного облака шелка и кружев выглядывали хрупкие девичьи плечи и стройная, горделивая, словно изваянная из мрамора шея. Каупервуд смотрел на ее тонкие, нежные руки и видел скрытую в них силу.

«Не слишком ли поздно? — сказал он себе. — Я становлюсь стар».

С холмов веяло прохладой; в светлой лунной ночи была разлита какая-то грусть.

В Садлере, куда они приехали только к десяти часам, собрались все, кто был беспечен, красив и весел, вся молодежь со всей округи. Миссис Картер в блекло-розовом бальном платье, отделанном серебром, выглядела очень эффектно и, по-видимому, ждала, что Каупервуд будет танцевать с ней. Он приглашал ее и танцевал, но взгляд его неотступно следовал за Беренис, которая весь вечер не присела, — то кружилась в вальсе с одним разряженным юнцом, то плясала шотландский — с другим. В моду тогда входил новый танец: сначала все весело и стремительно бежали вперед, потом, остановившись, слегка подпрыгивали на одной ноге, выбрасывая вперед другую, затем поворачивались, бежали назад и снова подпрыгивали, после чего кружились, став друг к Другу спиной и с задорным видом глядя через плечо. Беренис, легкая, ритмичная, казалась живым воплощением духа танца; она танцевала упоенно, забывая в эти минуты обо всем. Словно какая-то древняя богиня плясок и веселья сошла на землю в образе молодой девушки, чтобы в певучей гармонии движений излить переполнявшие ее чувства. Каупервуд был изумлен и взволнован.

— Беренис, — сказала миссис Картер, когда в перерыве между танцами девушка подошла к ней. Миссис Картер сидела с Каупервудом в залитом луной саду, смакуя нью-йоркские и кентуккские сплетни. — Неужели ты не оставила хотя бы одного танца для мистера Каупервуда?

Каупервуд, негодуя на бестактность миссис Картер и мысленно обозвав ее дурой, поспешил заявить, что он больше не собирается танцевать.

— Да, кажется, у меня уже все танцы расписаны, — равнодушно проронила Беренис. — Можно, впрочем, отказать кому-нибудь.

— Только не ради меня, прошу вас, — сказал Каупервуд. — Я не хочу больше танцевать, весьма благодарен.

Бездушная кривляка! Он почти ненавидел ее в эту минуту. И все же — нет, это было невозможно.

— Что с тобой, Беви? Как ты разговариваешь с мистером Каупервудом! Ты сегодня просто невыносима.

— Нет, нет, прошу вас, миссис Картер, — довольно резко перебил ее Каупервуд. — Прошу вас, оставьте. У меня нет ни малейшего желания танцевать.

Беренис как-то странно поглядела на него — это был мгновенный, но пытливый взгляд.

— Но ведь я же пошутила, — сказала она мягко. — Разве вы не хотите потанцевать со мной? У меня есть один танец.

— Не смею отказаться, — ледяным тоном отвечал Каупервуд.

— Следующий танец, — предупредила Беренис.

Они стали танцевать, но Каупервуд был раздосадован, зол и не сразу смягчился. И поэтому в первые минуты он чувствовал себя связанным и неуклюжим. Этой девчонке удалось вывести его из равновесия, поколебать его всегдашнюю самоуверенность. Но мало-помалу совершенная прелесть ее движений растопила лед и подчинила себе Каупервуда; у него вдруг исчезло ощущение скованности, ее чувство ритма передалось ему. Увлеченная танцем, Беренис прижалась к нему тесней, и их движения слились в одно гармоничное целое.

— Вы восхитительно танцуете, — сказал он.

— Я люблю танцевать, — отвечала она. Он отметил, что она уже достаточно высока — совсем под пару ему.

Танец кончился.

— Я хочу мороженого, — сказала Беренис.

Он взял ее под руку; ее манера держать себя с ним и забавляла и обескураживала его.

— Я вижу, вам нравится дразнить меня, — сказал он.

— Нет, нет, я не дразнила вас, я просто устала, — заверила его Беренис.

— Скучный вечер. Мне бы уже хотелось быть дома.

— Мы можем уехать, как только вы пожелаете.

Когда они подошли к буфету, Беренис, беря у Каупервуда из рук блюдечко с мороженым, снова внимательно поглядела на него своими матово-синими, холодными глазами, напоминавшими неглазированный голландский кафель.

— Не сердитесь на меня, — сказала она. — Я была груба. Не понимаю, что со мной случилось. Мне все не по душе здесь, и я злюсь сама на себя.

— А я ничего не заметил, — великодушно солгал Каупервуд. Весь гнев его как рукой сняло.

— Нет, я нагрубила вам и надеюсь, что вы простите меня. Очень прошу вас.

— Прощаю от всей души, хотя, право, не знаю, в чем вы провинились.

Он подождал, пока она съест мороженое, чтобы проводить ее обратно и сдать с рук на руки какому-то юнцу — одному из дожидавшихся своей очереди кавалеров. Он смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе танцующих, а потом предложил руку миссис Картер и усадил ее в кабриолет. Домой возвращались без Беренис — кто-то из друзей должен был привезти ее в своем экипаже. Каупервуд спрашивал себя, когда же она вернется и где ее комната, и вправду ли она была огорчена тем, что обидела его… Засыпая, он неотступно думал о Беренис Флеминг, и ее матово-синие глаза преследовали его даже во сне.

43. ПЛАНЕТА МАРС

Неприязнь местных банкиров к Каупервуду, вынуждавшая его предпринимать поездки в Кентукки и другие штаты, усиливалась с каждым днем. С особенной остротой она проявилась, когда Каупервуд сделал попытку достать денег на постройку городской надземной дороги. Пробил час для введения в Чикаго этого нового вида транспорта. Население уже проявляло к нему интерес. Каупервуд видел, как начала строиться первая надземная дорога, Элли-лайн, на Южной стороне, и как проектировалась другая, Метрополитен-лайн — на Западной, и понимал, что все это делается главным образом для того, чтобы привлечь внимание населения к новому виду транспорта и затруднить ему, Каупервуду, борьбу против общегородской концессии. Каупервуду стало ясно, что пора браться за постройку надземной дороги, если он не хочет, чтобы это сделали другие. А наряду с этим ему еще предстояло вскоре перестроить свои линии конки, так как электрическая тяга повсеместно вытесняла все другие виды тяги. Мало того, что различные препоны, на которые он постоянно наталкивался в органах самоуправления, требовали от него все новых и новых затрат, — теперь придется взвалить себе на плечи еще и эти хлопоты и добиваться концессий всеми правдами и неправдами, а проще говоря

— взятками. Надо сказать, что именно финансовая сторона дела беспокоила сейчас Каупервуда куда больше, нежели все затруднения формально-бюрократического порядка. Постройка надземных дорог в Чикаго представлялась ему делом довольно рискованным, так как многие обширные районы города были еще довольно слабо заселены. Новые силовые станции, новый подвижной состав, новые концессии — все это требовало колоссальных затрат. Каупервуд не любил вкладывать в предприятия свой личный капитал, предпочитая перелагать это бремя — путем выпуска акций — на плечи населения, а за собой сохранять право руководства и контроля, однако на этот раз он стал в тупик: чтобы начать работы — закупить строительные материалы, нанять инженеров и рабочих, — ему требовались сейчас, пока дороги не будут пущены в эксплуатацию, миллионные кредиты. Надземная дорога на Южной стороне (Каупервуду пришлось в конце концов примириться с тем, что концессия на эту дорогу выдана не ему, — ибо надо же было успокоить разбушевавшиеся страсти) приносила неплохой доход благодаря открытию Всемирной выставки. Однако по сравнению с нью-йоркскими надземными дорогами прибыли нового предприятия были невелики. Проектируемые Каупервудом линии должны были пройти по районам с еще более редким населением и, следовательно, могли принести еще меньше дохода. А сейчас надо было добывать деньги — миллионов двенадцать или даже пятнадцать — под акции и облигации этого предприятия, пустые бумажонки, которые, быть может, не будут приносить прибыли в течение еще нескольких лег. Чикагское кредитное общество было уже перегружено обязательствами Каупервуда, к Эддисон обратился в менее крупные, но достаточно солидные местные банки (в каждый банк по секрету от другого, разумеется) с предложением взять у него в обеспечение новые акции и выдать под них ссуду. Он был очень удивлен и опечален, когда все банки до единого ответили на его предложение отказом.

— Видите ли, как обстоит дело, Джуд, — с таинственным видом признался Эддисону директор одного из них. — Тимоти Арнил держит в нашем банке не менее трехсот тысяч долларов, по которым мы выплачиваем ему всего-навсего три процента

годовых. По условию он может в любую минуту востребовать этот вклад. Кроме того, когда нам срочно бывают нужны деньги, чтобы обернуться, наш главный источник — «Лейк-Сити Нейшнл», где мы никогда не встречаем отказа. Какую роль играет в этом банке мистер Арнил, вы сами знаете. Ссориться с ним нам никак нельзя. А меня уже предупредили, что он сильно не ладит с мистером Каупервудом. Так что, видите, я бы очень хотел удружить вам, но не могу, поверьте.

— Послушайте, Симмонс, — сказал Эддисон, — ведь эти господа готовы отказаться от выгодной сделки, лишь бы напакостить другим. Акции и облигации, которые я вам предлагаю, — прекрасное обеспечение, вам ли этого не знать. Весь этот шум и крик в газетах против Каупервуда ни к чему не приведет и привести не может. Каупервуд абсолютно платежеспособен. Чикаго растет. Каупервудовские линии городских железных дорог с каждым годом приобретают все большую ценность.

— Это-то я знаю, — отвечал Симмонс. — Да ведь уже существуют конкурирующие надземные дороги других компаний. И эта конкуренция может на первых порах нанести Каупервуду серьезный ущерб.

— Я лучше вас знаю Каупервуда, — спокойно отвечал Эддисон, — и потому не сомневаюсь, что в Чикаго не будет никаких других надземных дорог, кроме тех, которые он сам построит. Правда, его конкурентам удалось как-то выклянчить в муниципалитете концессию на одну единственную линию на Южной стороне, но она не имеет отношения к территории, обслуживаемой мистером Каупервудом, а та, другая линия, которую прокладывает Общечикагская городская, пока что ровно ничего не стоит. Пройдут года, прежде чем она начнет приносить доход. А к тому времени Каупервуд, вероятно, приберет ее к рукам, если найдет нужным. Через два года в Чикаго будут новые выборы, и, как знать, быть может новое самоуправление окажется более покладистым. Но даже с помощью нынешнего муниципалитета врагам мистера Каупервуда не удалось напакостить ему так, как им хотелось бы.

— Да. Но тем не менее его ставленники провалились на выборах.

— Верно, но это еще не значит, что они провалятся на следующих и будут проваливаться впредь.

— Все же должен вам заметить, — Симмонс снова таинственно понизил голос, — что мистера Каупервуда порешили во что бы то ни стало выжить из города. Шрайхарт, Хэнд, Мэррил, Арнил — все против него, а ведь это же очень влиятельные люди. Хэнд, говорят, заявил, что Каупервуду больше никогда не продлят концессий, а если и продлят, то на таких условиях, что он вылетит в трубу. Ну, словом, скоро тут у нас будет хорошая драка, насколько я понимаю, — торжественно заключил мистер Симмонс.

— Не верьте вы этим басням, — презрительно сказал Эддисон. — И Хэнд, и Шрайхарт, и Арнил — еще не Чикаго. У мистера Каупервуда есть голова на плечах. Не думайте, что его так легко выбить из седла. Вы знаете, какова истинная причина всей этой ненависти к нему?

— Да, слышал кое-что, — пробормотал Симмонс.

— Вы, может быть, думаете, что это не так?

— Не знаю, право. Да нет, почему же, все может быть. Только я полагаю, что это не имеет прямого отношения к делу. Завидуют его богатству, вот и все. И каждый готов перегрызть ему глотку. А Хэнд — большая сила.

Вскоре после этого разговора Каупервуд, зайдя в кабинет директора Чикагского кредитного общества, спросил:

— Ну, Джуд, как обстоят дела с акциями Северо-западной эстакадной?

— Да так, как я и предполагал, Фрэнк, — осторожно ответил Эддисон. — Придется нам поискать денег где-нибудь за пределами Чикаго. Хэнд и Арнил со своей шайкой ополчились на нас. Ясно, что это их происки. Не знаю, что их так разъярило, но они точно с цепи сорвались, Возможно, что какую-то роль сыграл и мой уход. Словом, все банки, в которых у них есть рука, отказались принять наше обеспечение — все как один. Для проверки я даже наведался к нашему старому знакомцу — в Третий национальный, а потом зашел и в Торгово-скотопромышленный на Сорок седьмой улице. Там сейчас работает Чарли Уоллин. Когда я был еще директором «Лейк-Сити-Нейшнл», этот тип вечно обивал у меня пороги, и я делал ему различные одолжения. Теперь он признался мне, что получил от своих директоров распоряжение не вступать с нами ни в какие сделки. То же самое и в других банках — все трусят. Я спросил Уоллина, в чем дело. Почему его директора так восстановлены против Чикагского кредитного и лично против вас? Он, понятно, заявил, что ничего не знает. А потом пообещал зайти как-нибудь позавтракать со мной. Короче, это просто кучка старых, выживших из ума болванов, которые, точно страусы, зарывают голову в песок. Ну, не дадут они нам займа, так мы получим его в другом месте! Пускай их сидят в своих заплесневелых банках и играют в бирюльки, раз уж ни на что другое не способны. А я поеду в Нью-Йорк, и через двое суток мы получим ссуду хоть в двадцать миллионов!

Эддисон разгорячился. Впервые приходилось ему сталкиваться с таким тупоумием. Каупервуд только презрительно скривил губы и задумчиво покрутил кончики усов.

— Ладно, не волнуйтесь, — сказал он. — Вы хотите сами ехать в Нью-Йорк, или, может быть, лучше съездить мне?

В конце концов они решили, что поедет Эддисон. Однако, прибыв в Нью-Йорк, Эддисон, к своему изумлению, обнаружил, что чикагские ненавистники Каупервуда успели каким-то таинственным образом распространить свое вредоносное влияние и на Нью-Йорк.

— Видите ли, в чем дело, дорогой мой, — сказал Эддисону Джозеф Хэкелмайер, глава международного банкирского дома «Хэкелмайер, Готлеб и Кь», маленький, толстенький человечек, похожий на жирного самодовольного кота. — До нас доходят странные слухи относительно мистера Каупервуда. Одни говорят, что он вполне платежеспособен, другие уверяют, что это далеко не так. Ему удалось добиться неплохих концессий, — я знаю, что сеть его городских железных дорог покрывает добрую половину Чикаго, — но ведь эти концессии выданы всего на двадцать лет, и к тысяча девятьсот третьему году срок их истечет. Насколько я понимаю, он там всех восстановил против себя, в том числе и лиц весьма влиятельных, так что ему теперь будет очень нелегко продлить свои концессии. Я, конечно, не живу в Чикаго и не особенно хорошо знаю ваши тамошние дела, но эти сведения получены мною от нашего представителя в Западных штатах. Мистер Каупервуд, по-видимому, очень способный и толковый делец, но если все эти господа так восстановлены против него, они еще доставят ему немало хлопот. Возбудить против него общественное мнение сейчас дело не хитрое.

— Вы очень несправедливы к этому способному и толковому дельцу, мистер Хэкелмайер, — возразил Эддисон. — Имейте в виду, что успеху в делах почти всегда сопутствует зависть. Лица, которых вы изволили упомянуть, хотят распоряжаться в Чикаго, как у себя на плантации. Они, по-видимому, считают этот город своей собственностью. А уж если на то пошло, так не они создали Чикаго, а Чикаго создал их.

Мистер Хэкелмайер поднял брови. Сложил на округлим, выпиравшем из-под жилета брюшке холеные, пухлые ручки с короткими пальцами.

— Благорасположение общества — немаловажный фактор в такого рода делах,

— со вздохом промолвил он. — Как вам известно, богатство человека наполовину заключается в его умении ладить с нужными людьми. Очень может быть, что мистер Каупервуд достаточно силен, чтобы преодолеть все эти препятствия. Не знаю, не знаю. Мне с ним встречаться не доводилось. Я говорю только то, что слышал.

Сдержанно-чопорная манера мистера Хэкелмайера предвещала неблагоприятную для Каупервуда погоду. Банкир этот был чудовищно богат. Фирма «Хэкелмайер, Готлеб и Кь» контролировала целый ряд железнодорожных магистралей и наиболее крупных банков страны. Мнением этих людей пренебрегать не приходилось.

Распространение в Нью-Йорке таких опасных для Каупервуда слухов могло привести к тому, что банкирские дома — крупные банкирские дома во всяком случае — откажутся принимать его акции, если только в Чикаго не произойдет в ближайшее время каких-либо благоприятных для него событий. Примеру крупных банков последуют мелкие, а отдельные держатели акций придут в крайне тревожное состояние.

Сообщение Эддисона о результатах его поездки весьма раздосадовало Каупервуда. Он был очень зол, прекрасно понимая, что все это дело рук Хэнда, Шрайхарта и их шайки, которая всеми силами старалась подорвать его кредит.

— Ладно, пусть их треплют языками, — сказал он грубо. — Городские железные дороги принадлежат мне, Хэндовской шайке не удастся выкурить меня из города. Я могу продавать акции и облигации непосредственно самим вкладчикам, если на то пошло! Найдется немало охотников вложить деньги в такое доходное предприятие.

Но в этот напряженный момент в дело совершенно неожиданно вмешалась судьба в лице Чикагского университета и планеты Марс. Университет этот в течение многих лет был всего лишь захудалым баптистским колледжем, пока однажды по прихоти некоего архимиллионера, одного из основных акционеров «Стандарт-Ойл», не превратился в знаменитое учебное заведение, привлекшее к себе взоры всего ученого мира. Университет стал одной из достопримечательностей города. В него ежегодно вкладывались миллионы долларов, что ни месяц воздвигались новые здания. Энергичный, разносторонне образованный ученый был приглашен из Восточных штатов на пост ректора. И все-таки еще многого не хватало: не было общежития, лаборатории, хорошей библиотеки и, наконец, — что тоже было отнюдь немаловажно, — большого телескопа, который мог бы обследовать небо с еще непревзойденной зоркостью и вырвать у него тайны, считавшиеся дотоле недоступными ни уму, ни глазу человека.

Звездное небо и величественные математические и физические методы его изучения всегда интересовали Каупервуда. В описываемое нами время нареченная столь воинственным именем планета, зловеще мерцая, висела в западной части небосвода, и кроваво-огненное светило это вызывало в падких до всего непостижимого или неразгаданного человеческих умах беспокойное любопытство: все только и говорили, что о пресловутых каналах на Марсе. Мысль о возможности создания нового телескопа, более сильного, чем все до той поры существовавшие, телескопа, который пролил бы свет на эту неразрешимую загадку, волновала умы не только в Чикаго, но и во всем мире. Как-то в сумерки Каупервуд, взглянув на необъятный небесный простор, открывавшийся из окна его новой силовой станции на Вест-Мэдисон авеню, увидел эту планету: она стояла низко над горизонтом, мерцая теплым оранжевым светом на бледном и чистом вечернем небосклоне. Каупервуд задержался у окна, чтобы поглядеть на нее. Правда ли, что ее населяют разумные существа и что они соорудили каналы? Жизнь поистине странная штука.

А еще через несколько дней Александр Рэмбо позвонил ему по телефону и сказал шутливо:

— Вы знаете, Каупервуд, я только что сыграл с вами довольно скверную шутку. У меня был доктор Хупер, ректор университета, и предложил мне войти в число десяти лиц, которые могли бы сообща гарантировать ему приобретение объектива для нового телескопа. Он, как видно, убежден, что без этого телескопа его заштатный университетик никак обойтись не может. Я сказал ему, что это предложение может, пожалуй, заинтересовать и вас. Ему, видите ли, нужно найти человека, который отвалил бы на эту штуку сорок тысяч долларов, или, на худой конец, восемь-десять человек, которые отвалили бы по четыре-пять тысяч каждый. Вот я и подумал о вас, вы ведь, кажется, интересуетесь астрономией?

— Пришлите его ко мне, — сказал Каупервуд, который не любил отставать от других там, где следовало проявить щедрость и размах, особенно если это могло способствовать прославлению его имени.

Доктор Хупер не заставил себя ждать. Это был невысокий, шарообразный, румяный человечек; сквозь толстые, в золотой оправе, стекла очков на Каупервуда глянули круглые, быстрые, проницательные глаза. Доктор Хупер оказался жизнерадостным, восторженным, увлекающимся и уверенным в себе. Хозяин и гость внимательно присматривались друг к другу. Первый — с тем привычным скептицизмом, для которого даже знаменитые университеты суть явления преходящие и ничтожные в общей бесконечной смене вещей; второй — с той верой в торжество истины, которая даже сильных мира сего — даже таких вот, как этот финансовый магнат — заставляет служить высоким целям.

— Я могу изложить вам суть дела в двух словах, мистер Каупервуд, — сказал доктор Хупер. — Вся наша астрономическая работа топчется сейчас на одном месте только по той причине, что у нас нет хорошего объектива, нет, в сущности, прибора, который мог бы по праву именоваться телескопом. Я хочу, чтобы наш университет занимался самостоятельными исследованиями в этой области и чтобы работа была поставлена на должную высоту. Если уж браться за дело, так нужно делать его лучше всех, — вот как я на это смотрю. Думаю, что вы со мной согласитесь? — И доктор Хупер улыбнулся, обнажив ряд ослепительно-белых зубов.

Каупервуд ответил вежливой улыбкой.

— А этот объектив, который должен стоить сорок тысяч долларов, будет действительно лучше всех других уже существующих объективов? — осведомился он.

— Да, если он будет изготовлен в Дорчестере фирмой «Братья Эплмен», — отвечал доктор. — Я сейчас объясню вам, как обстоит дело, мистер Каупервуд. Эта фирма специализировалась на изготовлении линз. Для большого объектива прежде всего требуется хороший флинтглас. Как вы, может быть, знаете, получить большое и безупречно чистое стекло не так-то просто. Но оно существует и является собственностью мистера Эплмена. Чтобы отшлифовать его, потребуется года четыре, может быть пять. Должен вам сказать, что шлифовка линз производится вручную: шлифуют, знаете ли, пальцами — большим и указательным. Для такой работы нужен опытный и искусный специалист-оптик, и он тратит на нее много времени и труда, что пока еще, к сожалению, обходится недешево. Но, конечно, этот труд стоит своей цены, и сорок тысяч долларов, — тут доктор Хупер сделал неподражаемо пренебрежительный жест маленькой, пухлой ручкой, — не такая уж в конце концов большая сумма. Обладать самым совершенным объективом на свете, который лучше всего отвечал бы своему назначению, — немалая честь для нашего университета. И, насколько я понимаю, — большой почет для лиц, которые сделают для нас возможным такое приобретение.

Каупервуду пришелся по душе этот ученый, говоривший о своем деле, как артист; он видел, что перед ним человек умный, одаренный, увлекающийся, подлинный энтузиаст науки. Каупервуду нравились сильные, целеустремленные натуры, а старались они для себя или для других — это было ему безразлично.

— И вы считаете, что сорока тысяч будет достаточно? — спросил он.

— Да, сэр. Во всяком случае сорок тысяч обеспечат нам главное — объектив.

— Ну, а земельный участок, здание для обсерватории, самая труба — это у вас уже есть?

— Пока еще нет. Но ведь шлифовка линз займет по меньшей мере четыре года, и у нас будет время подумать и об остальном. Место, впрочем, мы уже выбрали — в районе Лейк-Дженива, и уж, конечно, не упустим возможности приобрести участок и построить обсерваторию, как только к тому представится случай.

И ровные, белые зубы снова блеснули в улыбке, в то время как острые глазки буравили Каупервуда сквозь толстые стекла очков.

Каупервуд сразу увидел, какие перед ним открываются возможности. Он спросил, сколько будет стоить вся обсерватория. Доктор Хупер высказал уверенность, что триста тысяч долларов должны с лихвой покрыть расходы — стоимость объектива, земельного участка, зданий и остального оборудования. Словом, все величественное сооружение может быть выстроено на эти деньги.

— Какая сумма уже имеется у вас для приобретения объектива?

— Шестнадцать тысяч долларов пока что.

— А в какие сроки должны быть внесены деньги?

— В течение четырех лет, по десять тысяч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить работу над линзами.

Каупервуд задумался. Десять тысяч в год можно было рассматривать просто как выплату крупного жалованья в течение четырех лет, а за этот срок он сумеет без труда выделить остальную необходимую обсерватории сумму. Ведь к тому времени он будет еще богаче. Его планы будут еще ближе к осуществлению. После такого трюка (всем, конечно, станет известно, что он взял, да и подарил университету целую обсерваторию стоимостью в триста тысяч долларов, — и ее так и будут называть — обсерваторией Каупервуда!) он уж, конечно, не встретит отказа ни в нью-йоркских, ни в лондонских, ни в любых других банках, если ему понадобится кредит для его чикагских предприятий. Его имя в один день прогремит на весь мир! Каупервуд помолчал. Ничего нельзя было прочесть в его спокойном, непроницаемом взоре, хотя волнующее видение собственного величия как бы ослепило его на мгновение. Наконец-то! Наконец-то!

— Что вы скажете, мистер Хупер, — вкрадчиво спросил он, — если вместо десяти человек, каждый из которых должен дать вам по четыре тысячи долларов, как вы первоначально предполагали, вам предложит эти деньги одно лицо? Даст вам все сорок тысяч в течение четырех лет, по десять тысяч в год? Устроит это вас или нет?

— Дорогой мой мистер Каупервуд! — просияв, воскликнул доктор. — Должен ли я понять, что вы сами, лично хотите обеспечить нас средствами на приобретение объектива?

— Да! Но только с одним условием, мистер Хупер.

— А именно?

— Я хочу, чтобы мне было дано право взять на себя и все остальные расходы — оплату участка, строений, короче говоря — всей обсерватории. Я надеюсь, что разговор этот останется между нами — в том случае, конечно, если мы не разрешим вопроса ко взаимному удовлетворению, — дипломатично и осторожно добавил Каупервуд.

Ректор университета вскочил со стула и с непередаваемым выражением благодарности и восторга взглянул на Каупервуда. Он был человек деловой, обремененный трудами и заботами. Обязанности его были весьма обширны. Сбросить с плеч столь неожиданным образом одну из тягчайших забот было для него великим облегчением.

— Лично я, в рамках данных мне полномочий, готов немедленно принять ваше предложение, мистер Каупервуд, и поблагодарить вас от лица нашего университета. Для соблюдения формальности я должен буду поставить этот вопрос перед советом попечителей, но, разумеется, я нисколько не сомневаюсь в их решении. Ваше предложение будет принято с глубокой благодарностью. Разрешите мне еще раз выразить вам мою признательность.

Они обменялись дружеским рукопожатием, и доктор Хупер скрылся за дверью. Каупервуд неторопливо опустился в кресло, приставил кончики вытянутых пальцев друг к другу и на несколько секунд позволил себе погрузиться в мечты. Потом позвал стенографистку и стал диктовать. Он не хотел пока еще признаться даже самому себе, какие огромные выгоды сулила ему эта затея.

В результате этого свидания предложение Каупервуда было в сравнительно короткий срок официально принято советом попечителей университета и, с согласия того же Каупервуда, опубликовано во всех газетах. Благодаря особому стечению обстоятельств, уже описанному выше, новость эта произвела сенсацию. Гигантские рефлекторы и рефракторы уже обозревали небо с различных точек земного шара, но ни один из них ни величиной, ни качеством объектива не мог поспорить с будущим телескопом. Не успел еще Чикагский университет получить этот дар, как Каупервуда уже объявили покровителем наук и благодетелем человечества. Не только в Чикаго, но и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, во всех крупных городах мира, являющихся центрами научной жизни, взволнованно обсуждалось это необычайное преподношение сказочно богатого американца. Финансисты, разумеется, тоже не преминули его отметить, и когда агенты Каупервуда явились к ним в поисках денег под залог акций городской надземной железной дороги, на которую Каупервуд, по их словам, должен был не сегодня — завтра получить концессию сроком на пятьдесят лет, — они не встретили отказа. Что ни говорите, а человек, который оказался в состоянии подарить университету трехсоттысячную обсерваторию в тот момент, когда все считали, что он испытывает серьезные финансовые затруднения, должен крепко стоять на ногах, должен иметь колоссальный резервный капитал. И после некоторой подготовки — Каупервуд в эти дни побывал, как бы мимоходом, на Срэднидл-стрит в Лондоне и на Уолл-стрит в Нью-Йорке — было заключено соглашение с одним англо-американским банкирским домом, на основании которого большинство акций проектируемой надземной дороги было принято этой фирмой для продажи в Европе и других частях земного шара, а Каупервуд получил достаточно наличных денег, чтобы приступить к прокладке дороги. Все акции его наземных городских дорог тотчас поднялись на несколько пунктов, и тем, кто уже предрекал крушение Каупервуда, оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Даже «Хэкелмайер и Кь» начали с интересом приглядываться к его деятельности.

Энсон Мэррил, который совсем недавно пожертвовал университету большой земельный участок для спортивного стадиона, скорчил кислую мину, узнав, как перещеголял его Каупервуд. Хосмер Хэнд, пожертвовавший университету химическую лабораторию, и Шрайхарт, строивший общежитие, были не менее обескуражены: ведь Каупервуд, затратив пока что куда меньше средств, чем они, ухитрился наделать значительно больше шуму благодаря эффектности своего дара. Это только лишний раз свидетельствовало о том, как неслыханно везет этому человеку и как хранит его судьба, разрушая все козни его врагов.

44. В ПОГОНЕ ЗА КОНЦЕССИЕЙ

После того как деньги на постройку надземных железных дорог были добыты таким блистательным и необычным путем, перед Каупервудом возникла другая и не меньшая трудность — получить концессию. А для этого, наряду с прочим, необходимо было утихомирить достопочтенного Чэффи Зейера Сласса, который, находясь в полном неведении относительно собранных против него улик, начал метать громы и молнии, лишь только прослышал, что в близких к городскому самоуправлению кругах поговаривают о предоставлении Каупервуду новой концессии.

— Вы, конечно, не допустите этого, мистер Сласс, — заявил Хэнд своему наймиту, которого он любезно, но весьма настойчиво пригласил к себе на завтрак для срочной деловой беседы. — Нужно приложить все силы, чтобы этому воспрепятствовать. (Будучи мэром, мистер Сласс легко мог повлиять на бюрократическую машину городского самоуправления.) Вы должны возбудить вокруг этого дела такой шум, чтобы олдермены не посмели провести концессию вопреки вашему желанию. Помните, ваша репутация в Чикаго, а следовательно и вся ваша политическая карьера, поставлена сейчас на карту. Если вы провалите эту концессию, вам обеспечена поддержка всех газет и всех финансовых и привилегированных кругов города. В противном же случае вы рискуете остаться совсем один. Это, знаете ли, не проходит даром — когда люди предают своих сторонников, изменяют своим клятвам и не исполняют того, ради чего их выбирали!

Мистер Хэнд был очень разгневан.

Мистер Сласс, в безукоризненном черном сюртуке и белоснежной манишке был решителен, бодр и исполнен уверенности в том, что все указания мистера Хэнда будут неукоснительно выполнены. Он разгромит этот проект концессии в пух и прах, и, конечно, большинство олдерменов присоединится к его мнению.

— Не беспокойтесь, от меня им ничего не добиться, — торжественно заявил он. — Я знаю все, что они замышляют. И они знают, что я это знаю.

Он бросил на мистера Хэнда взгляд, каким один поборник закона и справедливости должен награждать другого, и богач-банкир остался в приятной уверенности, что бразды правления находятся на сей раз в надежных руках. Тотчас после этой беседы мистер Сласс дал интервью в газеты, в котором он доводил до сведения всех олдерменов и муниципальных советников, что никаких постановлений о выдаче концессий вроде той, которую ему хотят навязать, он, мэр города Чикаго, не подпишет.

В то самое утро, когда вышеозначенное интервью появилось в газетах и мистер Сласс, как всегда ровно в половине десятого, перешагнул порог своей канцелярии, раздался телефонный звонок, и секретарь доложил, что мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд желает говорить с мистером мэром. Мистер Сласс, уже чувствуя на своей голове лавровый венок победителя, гордый появлением интервью на первых полосах газет, преисполнился вдруг непомерной спеси от сознания своих гражданских добродетелей и важно молвил:

— Хорошо, соедините нас.

— Мистер Сласс? — услышал он голос Каупервуда. — С вами говорит Фрэнк Алджернон Каупервуд.

— Так. Чем могу служить, мистер Каупервуд?

— Я прочел ваше интервью в утренней газете. Вы изволили заявить, что ни один проект предоставления мне концессии на постройку надземной дороги на Северной или Западной стороне не получит вашего одобрения.

— Совершенно верно, — надменно отвечал мистер Сласс. — Не получит.

— Не кажется ли вам, мистер Сласс, несколько поспешным и преждевременным бороться с тем, что относится пока лишь к области слухов? (Каупервуд, внутренне усмехаясь, играл с мистером Слассом, как кот с легкомысленной, зазевавшейся мышью.) Я бы хотел побеседовать с вами, прежде чем вы сделаете какой-либо непоправимый шаг. Может случиться, что, выслушав мои доводы, вы уже не будете так агрессивно настроены. Я ведь не раз направлял к вам кое-кого из моих друзей, но вы, как видно, не сочли возможным принять их.

— Нет, не счел, — все так же надменно произнес мистер Сласс. — Не забывайте, мистер Каупервуд, что я человек занятой. А кроме того, я положительно не вижу, в чем я мог бы пойти навстречу вашим желаниям. И по своему характеру, и по своим нравственным воззрениям я не могу не быть решительным противником того, к чему направлена вся ваша деятельность, ибо моя деятельность преследует как раз противоположные цели. Не думаю, чтобы нам с вами удалось найти общий язык. Откровенно говоря, я уверен, что ничем не смогу быть вам полезен.

— Позвольте, позвольте, одну минуту, уважаемый господин мэр, — любезно и торопливо проговорил Каупервуд, боясь, как бы мистер Сласс не повесил трубку — так снисходительно высокомерен был его тон. — Я, со своей стороны, полагаю, что мы с вами все-таки найдем общий язык, хотя сейчас вам это и кажется невероятным. Быть может, вы не откажетесь позавтракать сегодня у меня, а не то, если хотите, я могу приехать к вам: домой или в канцелярию, как вам будет угодно. Нам с вами необходимо кое о чем потолковать, и, согласившись на это хотя бы просто из любезности, вы вскоре убедитесь, что поступили весьма благоразумно.

— У меня нет времени завтракать сегодня с вами, — отвечал мистер Сласс.

— И принять вас у себя я тоже не могу. Я слишком занят. И, кроме того, должен вам сказать, что я вообще не склонен вести какие-либо секретные переговоры с глазу на глаз ни с вами, ни с вашими агентами. А если вы все-таки сочтете нужным посетить меня, то имейте в виду, что вам придется разговаривать со мной при свидетелях.

— Отлично, — весело отвечал Каупервуд. — Я не потревожу вас своим посещением, мистер Сласс. Но если вы не навестите меня сегодня до пяти часов вечера, то завтра вам будет предъявлено обвинение в нарушении обещания сочетаться законным браком с некоей миссис Брэндон, и ваши письма, адресованные этой особе, станут достоянием гласности. Я хочу напомнить вам, что каждый день приближает нас к новым выборам, и Чикаго, вероятно, предпочтет иметь своим мэром человека, чья нравственность соответствует его показной добродетели. Всего наилучшего.

Мистер Каупервуд с треском повесил трубку, а мистер Сласс остался сидеть словно пригвожденный к месту, мертвенная бледность разлилась по его лицу. Миссис Брэндон?! Нежная, очаровательная миссис Брэндон? Такая сдержанная, такая благоразумная и так коварно покинувшая его? Возможно ли, чтобы она стала преследовать его судом? И за что? За то, что он якобы нарушил обещание жениться на ней? И как могли его письма попасть в руки Каупервуда? Бог ты мой — эти умильные влюбленные письма! А что, если узнает жена? Дети? Или чего доброго, — весь приход, во главе с этим ужасным, похожим на филина пастором! Да что там — весь Чикаго узнает! Чикаго, где полным-полно ханжей, святош, моралистов, блюстителей нравственности! Внезапно ему пришло в голову, что миссис Брэндон никогда не писала ему, раз только какую-то ничего не значащую записку. По правде говоря, ему ведь ничего о ней не известно.

Достопочтенному мэру припомнился вдруг жесткий, испытующий взгляд холодных голубых глаз миссис Сласс, и, вскочив со стула, он в порыве душевной муки глубоко запустил пальцы в волосы и долго стоял так, тупо уставясь в пол. Потом нервно стиснул руки, хрустнув суставами, и подошел к окну. Он думал о том, что в соседней комнате есть отводная трубка, и старался

угадать — подслушивала ли, по своему обыкновению, его разговор секретарша — молоденькая богобоязненная пресвитерианка, или нет. О, как печальна, как полна превратностей жизнь! Если на Северной стороне узнают эту историю — узнает Хэнд, узнает молодой Мак-Дональд, узнают газеты, — станут ли они защищать его? Нет, не станут. Проведут ли они его еще раз в мэры? Нет, никогда! Кому охота голосовать за него, когда во всех церквах только и слышишь, как громят прелюбодеяние и фарисейство? Господи ты боже мой! Что же теперь делать! И всего хуже, что его ведь так уважают в Чикаго, почитают за образец! А этот дьявол Каупервуд вдруг выскочил со своим разоблачением, и как раз в такую минуту, когда он уже считал свое положение вполне упроченным. И он, как на грех, был еще так нелюбезен с ним. Что, если Каупервуд решит отомстить ему за грубость?

Мистер Сласс вернулся к своему креслу, но не мог усидеть в нем и минуты. Он подошел к вешалке, снял пальто, повесил его обратно, снова снял, взял телефонную трубку, сказал секретарше, что сегодня никого больше принимать не будет, и вышел из кабинета через боковую дверь. Устало сгорбившись, брел он по Северной Кларк-стрит, глядя на уличную сутолоку, на грязную реку, с бесконечной вереницей судов, на дымное небо и серые здания и недоуменно спрашивал себя: что же ему теперь делать? Почему так жестока жизнь? Так беспощадна! Рушится его домашний очаг, его политическая карьера — рушится все. Как может он подписать постановление о выдаче концессии Каупервуду? Это же безнравственно, бесчестно, это скандал на весь город! Каупервуд — известный мошенник, посягающий на народное достояние. Но как же, как отказать ему, если миссис Брэндон, обольстительная и не слишком щепетильная миссис Брэндон, оказалась его союзницей? Ах, если бы увидеться с ней! Он стал бы ее просить, молить, заклинать… Но миссис Брэндон и след простыл. Вот уже несколько месяцев, как о ней ни слуху ни духу. Может быть, пойти к Хэнду и покаяться ему во всем? Но Хэнд такой же, как все, — суровый, черствый моралист. О боже мой, боже мой! И мистер Сласс вздыхал, стонал, ужасался, сознавая всю безнадежность своего положения.

Горе жалкому грешнику, попавшему в тиски беспощадного кодекса морали. Живи мистер Сласс в другой стране или в другое время, его положение, быть может, было бы не столь отчаянно и безнадежно, а торжество Каупервуда — не столь полно. Но он жил в Соединенных Штатах Америки, он жил в Чикаго и знал, что здесь все силы лицемерия, показной добродетели, условной ханжеской морали дружно объединятся против него. Что подумают заправилы «Лейк-Сити Нейшнл»? Что подумает пастор? Что подумает Хэнд, и все его «высоконравственные» сподвижники? Да, вот оно — страшное, неотвратимое возмездие тому, кто свернул с пути истинного.

Долго, в метель и стужу, блуждал мистер Сласс по чикагским улицам, кляня себя на чем свет стоит, а Каупервуд сидел за своим письменным столом, подписывал бумаги и, задумчиво поглядывая на тлеющие в камине угли, задавал себе время от времени вопрос: сочтет ли уважаемый мэр нужным явиться к нему, или нет? Наконец в четыре часа дверь кабинета отворилась, и безупречно вышколенная секретарша возвестила прибытие мистера Чэффи Зейера Сласса. Мистер Сласс возник в дверях — унылый, подавленный, растерянный, совсем не похожий на того самоуверенного джентльмена, который так надменно разговаривал по телефону пять-шесть часов назад. Стужа, ненастье и неотвязная мысль о невозможности примирить непримиримое сильно повлияли на состояние его духа. Достопочтенный мэр был бледен; походка его сделалась неуверенной. Душевные потрясения обладают свойством как бы придавливать человека к земле, и мистер Сласс в эту тягостную для него минуту стал словно бы ниже ростом и даже как будто тоньше, легковесней. Каупервуд не раз видел этого человека в различных общественных местах, а преимущественно — на трибунах, но впервые встречался с ним лицом к лицу. Когда встревоженный мэр перешагнул порог, Каупервуд поднялся и учтиво пододвинул ему стул.

— Присаживайтесь, мистер Сласс, — сказал он любезно. — Пренеприятная сегодня выдалась погодка. Вы хотите, вероятно, продолжить наш утренний разговор?

Не следует думать, что сердечный тон этих слов был наигранным. Бить лежачего было не в правилах Каупервуда, несмотря на все вероломство и коварство его натуры. В момент своего торжества над врагом он всегда бывал мягок, любезен, великодушен, а в иных случаях даже исполнен сочувствия, как, например, сейчас, и это отнюдь не было притворством.

Мистер Сласс снял свою высокую конусообразную шляпу и произнес напыщенно и высокопарно, ибо такова была его манера изъясняться, и он не изменил ей даже в эту столь трудную минуту:

— Вы видите, я здесь — перед вами, мистер Каупервуд. Что потребуете вы от меня теперь, что должен я сделать?

— Ничего чрезмерного, уверяю вас, мистер Сласс, — поспешил заверить его Каупервуд. — Мне уже давно хотелось потолковать с вами по-деловому с глазу на глаз, а так как сегодня утром вы были не слишком приветливы, то мне пришлось прибегнуть к некоторому нажиму, чтобы добиться беседы с вами. Прошу вас прежде всего не думать, что я хочу в какой бы то ни было мере повредить вам. Я пока что не имею намерения опубликовывать вашу переписку с миссис Брэндон. (С этими словами Каупервуд выдвинул ящик стола и достал оттуда связку писем, при виде которой злосчастного мэра бросило в холодный пот, ибо он сразу узнал свои страстные послания к прекрасной Клаудии, превратившиеся ныне в неопровержимую улику против него.) Я вовсе не собираюсь, — продолжал Каупервуд, — ни губить вашу карьеру, ни принуждать вас к каким-то решениям, несовместимым с вашими убеждениями. Письма эти попали ко мне случайно. Я не охотился за ними. Но раз уж они в моих руках, я счел возможным упомянуть о них, полагая, что это может послужить поводом для нашей встречи и, быть может, залогом дальнейшего согласия между нами.

Говоря так, Каупервуд даже не улыбнулся. Спокойно и задумчиво перебирая в руках письма, он смотрел на мистера Сласса, словно приглашая мэра убедиться в их подлинности и в том, что разговор идет не в шутку, а всерьез.

— Так, — с трудом вымолвил мистер Сласс. — Я понимаю.

Он не мог оторвать глаз от писем — эта небольшая связка выглядела чрезвычайно внушительно. Каупервуд скромно смотрел в сторону. Мистер Сласс с усилием перевел взгляд на свои ботинки, затем уставился в пол. Он нервно хрустнул пальцами, потер колени…

Каупервуд видел, что достопочтенный мэр находится в состоянии полнейшей растерянности. Зрелище было и смешное и жалкое.

— Полно же, полно, мистер Сласс, — сказал он мягко. — Не падайте духом. Все это не так ужасно, как вам кажется. Поверьте, я не потребую от вас ничего такого, чего бы вы сами, по зрелом размышлении, не могли признать справедливым. Вы — мэр города Чикаго. Я — один из его граждан. Я хочу только, чтобы вы не вели со мной нечестной игры, и прошу дать мне слово, что с нынешнего дня вы не будете принимать участия в борьбе, которая ведется против меня из зависти и личной вражды. Если уж ваши убеждения почему-то не позволяют вам пойти навстречу моим законным требованиям о получении дополнительных концессий, то вы по крайней мере не должны так ретиво обрушиваться на меня и на мои концессии в печати. Я положу эти письма в сейф, где они будут храниться до следующих выборов; затем я их уничтожу. Я не питаю лично к вам никакой неприязни, ни малейшей. Я не требую даже, чтобы вы санкционировали выдачу мне концессии на постройку надземной железной дороги, если муниципалитет примет такое решение. Все, о чем я вас прошу, — это воздержаться от науськивания на меня населения — в особенности, если муниципалитет найдет возможным решить вопрос в мою пользу, невзирая на ваше вето. Приемлемы для вас такие условия?

— Но что скажут мои друзья? Что скажет общественность? Республиканская партия? Разве вы не видите, что от меня ждут, чтобы я повел против вас широкую кампанию? — в полном отчаянии воскликнул мистер Сласс.

— Нет, не вижу, — сухо возразил Каупервуд. — И, кроме того, кампанию можно вести и так и этак. Выступая с речами, не вкладывайте в них столько жара. А главное — повидайтесь-ка с моими поверенными и впредь не отказывайте им в приеме, когда они будут наведываться к вам. Судья Дикеншитс человек справедливый и толковый. Ну и генерал Ван-Сайкл тоже. Почему бы вам не пользоваться время от времени их советами? Совсем не обязательно, конечно, встречаться с ними открыто, все это можно устроить так, чтобы ничто не бросалось в глаза. Вы увидите, что оба они могут оказаться вам очень полезны.

И Каупервуд подарил мэра милостивой и ободряющей, почти отеческой улыбкой. А Чэффи Зейер Сласс, видя, как все его честолюбивые мечты разлетаются прахом, сидел перед ним в мучительном раздумье, растерянный, жалкий и беспомощный.

— Хорошо, — сказал он наконец, лихорадочно потирая руки. — Я должен был этого ждать. Должен был знать заранее. Что ж, другого выхода нет… — И, едва сдерживая непрошенные слезы, внезапно прихлынувшие к глазам, достопочтенный мэр взял свою шляпу и покинул комнату. Излишне упоминать, что его проповеди против Каупервуда замолкли с этого часа раз и навсегда.

45. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В результате всех этих событий Каупервуд проникся таким чувством превосходства, какого никогда раньше не испытывал. Еще недавно он допускал, что враги могут одержать верх над ним, — отныне его путь был свободен от препятствий. Состояние его достигло кругленькой суммы в двадцать миллионов. Он владел крупнейшим собранием картин во всех Западных штатах, а если не считать публичных галерей, то, пожалуй, и во всей Америке. Он уже начал рассматривать себя как фигуру общеамериканского, а может быть и международного масштаба. И, однако, он все яснее чувствовал, что какие бы финансовые победы он в конечном счете ни одержал, двери чикагского общества никогда не откроются ни для него, ни для Эйлин. Слишком много наделал он шума своими делами, слишком многих оттолкнул от себя. Он по-прежнему был тверд в своем намерении удержать в руках все чикагские городские железные дороги; в успехе он не сомневался. Но уже во второй раз в жизни его терзала мысль, что, поддавшись увлечению, он опять женился неудачно, и не видел возможности исправить эту ошибку. Каковы бы ни были недостатки Эйлин, в характере ей отказать нельзя — она не будет такой покладистой и смиренной, как его первая жена. Кроме того, он считал, что все-таки многим ей обязан. Чувство к ней еще не вполне угасло в сердце Каупервуда, хотя она уже не тешила его тщеславия, не влекла и не соблазняла его так, как в прошедшие годы. Он, конечно, причинил ей немало горя, но и она слишком уж строго его судила. Он готов был ей сочувствовать, каяться в том, что так изменились его чувства к ней, но что было делать? Совладать с собой он не мог, так же как не могла и Эйлин.

Положение осложнялось еще тем, что за последнее время мысли Каупервуда все чаще обращались к Беренис Флеминг. С тех пор как он познакомился с ее матерью и увидел портрет Беренис, в душе его начала разгораться беспокойная страсть к этой девушке — а ведь они еще не обменялись ни единым взглядом, ни единым словом. Но есть на свете нечто неизменное, имя

чему красота; она может быть облачена и в лохмотья философа, и в шелка и атласы избалованной кокетки. Отблеск этой красоты, не зависящей ни от пола, ни от возраста, ни от богатства, сиял в развевающихся кудрях и темно-синих глазах Беренис Флеминг. Поездка к Картерам в Поконо принесла Каупервуду одно разочарование: он убедился в безнадежности своих попыток привлечь внимание Беренис, — с тех пор, во время их случайных встреч, она проявляла к нему лишь учтивое безразличие. Он не отступался, однако, и продолжал с обычным своим упорством преследовать намеченную цель. Миссис Картер, чьи отношения с Каупервудом в прошлом не были вполне платоническими, тем не менее объясняла внимание, которое он ей оказывал, главным образом тем, что он интересуется ее детьми и их будущими успехами в жизни. Беренис и Ролф ничего не знали о соглашении, заключенном между их матерью и Каупервудом. Верный своему обещанию оказывать ей помощь и покровительство, он снял для миссис Картер квартиру в Нью-Йорке, рядом с пансионом, где училась ее дочь, и уже мечтал о тех счастливых часах, которые будет проводить там вблизи от Беренис. Возможность часто видеть Беренис! Надежда вызвать в ней интерес к себе, снискать ее расположение! Каупервуд даже самому себе не признавался, какую роль это играло в том замысле, который с недавних пор начал созревать в его мозгу. Он задумал построить в Нью-Йорке роскошный дворец.

Эта мечта мало-помалу совсем завладела им. Чикагский особняк Каупервуда давно уже превратился в пышный склеп, в котором Эйлин одиноко оплакивала постигшую ее беду. Он являлся напоминанием об их светских неудачах и, кроме того, даже как здание, уже не удовлетворял Каупервуда, не отвечал требованиям его изощренной фантазии, его жажде роскоши. Если же ему суждено будет осуществить свой замысел, новый дом станет великолепным памятником, который он воздвигнет самому себе. Во время своих путешествий по Европе Каупервуд видел такие дворцы, построенные с величайшим тщанием, по всесторонне продуманному плану, — хранилища культуры и художественного вкуса многих поколений. Его собрание картин и предметов искусства, которым он так гордился, уже настолько разрослось, что само по себе могло послужить ему прекрасным памятником. Там были собраны полотна всех знаменитых школ, не говоря уже о богатых коллекциях изделий из нефрита, старинных молитвенников, расписанных миниатюрами, фарфора, ковров, тканей, рам для зеркал; в последнее время ему удалось приобрести еще и несколько прекрасных статуй. Красота этих удивительных вещей, терпеливый труд мастеров разных эпох и стран порой вызывали у Каупервуда чувство, близкое к благоговенью. Из всех людей на свете он уважал — даже чтил — только преданного своему искусству художника. Жизнь — тайна, но эти люди, целиком отдавшиеся скромному труду во имя красоты, порой улавливали какие-то ее черты, о которых Каупервуд только смутно догадывался. Жизнь приоткрыла для них свою завесу, их души и сердца были настроены в унисон со сладкозвучными гармониями, о которых мир повседневности ничего не знает. Иногда, усталый после напряженного дня, Каупервуд заходил поздно ночью в свою тихую галерею, включал свет, равномерно заливавший всю эту прекрасную залу, и, усевшись перед одним из своих сокровищ, погружался в размышления о той природе, той эпохе, том мировоззрении и том человеке, которые породили этот шедевр. Иной раз то была какая-нибудь меланхолическая голова кисти Рембрандта, — например, печальный «Портрет раввина», иной раз тихая речка Руссо, задумчивый лирический пейзаж. Иногда его приводила в восторг исполненная важности голландская хозяюшка, писанная Гальсом с обычным для этого мастера смелым реализмом и в обычной для него манере — с заглаженной до звонкости, словно глазированной, поверхностью; иногда он пленялся холодной элегантностью Энгра. Так он сидел, дивясь искусству мастера, впервые узревшего и воплотившего эти образы, и восклицал время от времени:

— Нет, это чудо! Это просто чудо!

Что же касается Эйлин, то и в ней происходили перемены. Ее постигла участь многих женщин — она пыталась высокий идеал подменить более скромным, но видела, что все ее усилия напрасны. Роман с Линдом, правда, развлек ее и принес ей временное утешение, но теперь она уже начинала понимать, что совершила непоправимую ошибку. Линд был, конечно, очарователен. Он забавлял ее рассказами о своей жизни — совсем непохожими на те, что ей случалось слышать от Каупервуда. После того как они сблизились, он не раз весело и непринужденно рассказывал ей о своих многочисленных и разнообразных любовных связях в Америке и Европе. Линд был настоящий язычник, фавн и вместе с тем человек из высшего круга. Его откровенное презрение ко всему чикагскому обществу, кроме двух-трех лиц, перед которыми Эйлин втайне благоговела и знакомства с которыми всячески искала, его небрежные упоминания о знаменитостях, чьи дома в Нью-Йорке и Лондоне были всегда открыты для него, высоко подняли Линда во мнении Эйлин; для нее, увы, все это служило лишь доказательством того, что она не унизила себя, поддавшись так легко его чарам.

И тем не менее, при всей своей любезности, ласковости и веселом нраве, Линд был и оставался всего-навсего бездельником и вертопрахом; устраивать для Эйлин новую жизнь на какой-то новой основе у него не было ни малейшего желания — и потому она уже раскаивалась в своем бесплодном увлечении, которое ни к чему не могло ее привести и в то же время могло окончательно оттолкнуть от нее Каупервуда. Внешне Каупервуд был, правда, так же приветлив и дружелюбен, как всегда, однако в их отношения вкралась какая-то неуверенность и чувство вины, которое они испытывали оба, но у Эйлин это чувство превратилось в утонченное самоистязание. До сих пор обиженной стороной была она: ее собственная супружеская верность не подвергалась сомнению, она могла считать, что Каупервуд грубо надругался над ее преданной любовью и простодушной верой. Теперь же все переменилось. Каупервуд, конечно, погрешил против нее, его вина была очевидна, но на другой чаше весов лежала ее измена, на которую она пошла ему в отместку. Что ни говори, а женскую верность так просто не сбросишь со счетов; установлена ли она природой, или выработалась под давлением общества, но большая часть человечества высоко ее чтит, и сами женщины являются рьяными и откровенными ее поборницами. Каупервуд отлично понимал, что Эйлин ему изменила не потому, что разлюбила его и влюбилась в Линда, а потому, что была глубоко оскорблена. И Эйлин знала, что он это понимает.

С одной стороны, это ее бесило, ей хотелось еще больше ему насолить, с другой — она горько сожалела в том, что так бессмысленно подорвала его доверие к ней. Теперь, что бы он ни делал — он чист в собственных глазах. Свое главное оружие — нанесенную ей несправедливую обиду — она сама выпустила из рук. Гордость не позволяла ей заговорить с ним об этом, но выносить небрежную снисходительность, с какою он принимал ее измену, она была не в силах. Его улыбки, его готовность все простить, его шуточки, подчас очень остроумные, она воспринимала как самое жестокое оскорбление.

В довершение всего у нее с Линдом, именно на почве ее преклонения перед Каупервудом, начали возникать ссоры. Линд, с самомнением светского льва, рассчитывал, что Эйлин полностью предастся ему и забудет о своем блистательном муже; и правда, когда они бывали вместе, Эйлин как будто поддавалась его обаянию, веселела, охотно откликалась на ласки, но все это скорее в пику обидевшему ее Каупервуду, чем из любви к Линду. Всякое упоминание имени Каупервуда вызывало у нее иронические замечания и насмешки по его адресу, но, несмотря на эту видимую враждебность, она и сейчас была безнадежно влюблена в него, считала его самым близким себе человеком, и Линд очень скоро это понял. Такое открытие — жестокий удар для любого покорителя сердец. Гордость Линда была сильно уязвлена.

— Да ты все еще влюблена в него, что ли? — как-то спросил он с кривой усмешкой. Они обедали вдвоем в ресторане Кингсли в отдельном кабинете, и Эйлин, в туалете из блестящего зеленого шелка, который как нельзя лучше подходил к ее яркому цвету лица, была в этот вечер особенно хороша. Линд только что предложил ей поехать с ним на месяц прокатиться по Европе, но Эйлин решительно отказалась. Она не смела. Такой шаг с ее стороны мог привести к полному разрыву с Каупервудом, более того, мог послужить ему предлогом для развода.

— Ах, да не в этом дело, — отвечала она Линду. — Просто мне не хочется. Не могу. У меня ничего не готово для такой поездки. Да и тебе вовсе не так уж нужно, чтобы я поехала, — это просто каприз. Тебе надоел Чикаго, скоро весна, вот тебе и не сидится на месте. Поезжай, а я буду ждать тебя здесь. Или потом приеду. — Она улыбнулась.

Линд нахмурился.

— Черт! — сказал он. — Думаешь, я не понимаю, что с тобой творится? Ты не можешь его забыть, хоть он и обращается с тобой как с собакой. Ты уверяешь, что разлюбила его, а сама сходишь по нем с ума. Я давно это вижу. Меня ты нисколько не любишь. Где уж там! Ты только о нем и думаешь.

— Оставь, пожалуйста! — сердито крикнула Эйлин, раздраженная этим обвинением. — Не говори глупостей. Все это вздор. Я восхищаюсь им, это правда. И не одна я. (Как раз в эти дни имя Каупервуда гремело по всему Чикаго.) Он удивительный человек. И он никогда не бывал со мною груб. Он настоящий мужчина, надо отдать ему справедливость.

К этому времени Эйлин настолько уже освоилась с Линдом, что могла смотреть на него со стороны: ей теперь случалось осуждать его про себя; она считала его бездельником, неспособным заработать хотя бы грош из тех денег, которые он так широко тратил, и порой она, не стесняясь, давала ему это понять. Она не рассуждала о влиянии социальных условий на характер, ибо мало что в этом понимала; но сопоставление Линда с Каупервудом — энергичным и неутомимым дельцом, зачинателем многих предприятий, а также свойственное Америке того времени презрение к праздности заставляло ее делать выводы не в пользу своего возлюбленного.

Сейчас, после этой ее вспышки, Линд еще больше помрачнел.

— Черт подери, — буркнул он. — Я тебя не понимаю. Иногда мне кажется, что ты любишь меня, а иногда, что ты по уши влюблена в него. Решай, кого же ты, наконец, любишь? Меня или его? Если ты так к нему привязана, что даже на месяц не в силах с ним расстаться, то уж, значит, ко мне у тебя нет никакого чувства.

Эйлин, конечно, сумела бы ему ответить, — после стольких стычек с Каупервудом это не составляло для нее труда. Но она боялась потерять Линда, боялась одиночества. Кроме того, он ей нравился. Он служил для нее хоть небольшим, но все же утешением в ее печалях — по крайней мере в настоящую минуту. С другой стороны, сознание, что Каупервуд рассматривает эту связь как пятно на ее доселе безупречной добродетели, охлаждало в ней всякое чувство к Линду. Мысль о муже и о своей запятнанной и загубленной жизни приводила ее в отчаяние.

— Черт! — раздраженно повторил Линд. — Не хочешь ехать, так и не надо. Умолять тебя я не собираюсь.

Они еще долго ссорились, и хотя в конце концов помирились, но оба чувствовали, что дело идет к разрыву.

Вскоре после этого разговора Каупервуд, которому последнее время очень везло, в весьма приподнятом настроении зашел утром в спальню к Эйлин, как он иногда еще делал, чтобы закончить у нее свой туалет и поболтать.

— Ну, — весело сказал он, завязывая галстук перед зеркалом. — Как там у вас с Линдом? Воркуете?

— Не смей так говорить! — вспыхнула Эйлин, задетая за живое: противоречивые чувства уже вконец измучили ее. — Кто, скажи пожалуйста, в этом виноват, как не ты сам? Да еще шуточки теперь отпускаешь, — что там у вас, да как там у вас! Очень хорошо у нас — великолепно. Он прекрасный любовник, — не хуже тебя, а может, даже и лучше. Я его люблю. И он меня любит, не то, что ты. И, пожалуйста, оставь меня в покое. Тебя ничуть не интересует, как я живу, так нечего и притворяться.

— Эйлин, Эйлин, ну зачем ты так! Не сердись. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Право, я очень огорчен и за тебя и за себя. Я не ревнив, я же тебе говорил. Ты думаешь, я тебя осуждаю? Да нет же, нисколько. Я отлично понимаю твое состояние. И от души тебе сочувствую.

— Конечно, — проговорила Эйлин. — Конечно, ты мне сочувствуешь. Только знаешь что? Ты уж оставь свое сочувствие при себе. К черту! К черту! К черту! — Глаза ее сверкали.

Каупервуд уже кончил одеваться и стоял сейчас перед Эйлин — оживленный, смелый, красивый — ее прежний Фрэнк! Она снова горько пожалела о своей ненужной измене, снова пришла в ярость от его равнодушия. «Негодяй! — хотела крикнуть она. — Бессердечное животное!» Но что-то в ней надломилось. К горлу подкатил комок, глаза наполнились слезами. Ей захотелось подбежать к нему, воскликнуть: «Фрэнк, неужели ты не видишь, что со мной, неужели не понимаешь, почему это случилось? Неужели ты уж никогда не сможешь любить меня по-прежнему?» Но она сдержалась. Подумала, что понять он ее, может быть, и способен, и даже наверное поймет, но обманывать все равно не перестанет. А она — с какой радостью она прогнала бы Линда, не взглянула бы больше ни на одного мужчину на свете, лишь бы Фрэнк сказал хоть слово, лишь бы он от души этого пожелал!

Вскоре после этой утренней ссоры в спальне Эйлин Каупервуд изложил ей свой план перебраться в Нью-Йорк и построить там дом, более подходящий для его разросшейся коллекции; это даст Эйлин, прибавил он, возможность сделать еще одну попытку войти в светское общество.

— Переехать в Нью-Йорк? — воскликнула Эйлин. — Ну да, для того, чтобы тебе было свободнее здесь без меня!

О существовании Беренис Флеминг она тогда еще не подозревала.

— Ну зачем ты так говоришь, — ласково сказал Каупервуд. — Ты же сама знаешь, что в Чикаго двери общества закрыты для нас. Здешние финансисты ополчились на меня. А когда у нас в Нью-Йорке будет такой дом, как я задумал, это само по себе послужит нам рекомендацией. Чикаго — это в конце концов провинция. Тон задают Восточные штаты, и в первую очередь Нью-Йорк. Если ты согласна, я продам этот дом, и мы станем жить большую часть года в Нью-Йорке. Там я смогу проводить с тобой не меньше времени, чем здесь, а пожалуй, и больше.

Тщеславная душа Эйлин невольно откликнулась на этот призыв — в самом деле, какие перспективы открывались перед ней! Чикагский дом давно уже стал для нее кошмаром: его населяли воспоминания о пережитом горе и перенесенных обидах. Здесь она избила Риту Сольберг, здесь чикагское общество сперва раскрыло ей объятия, а потом оттолкнуло ее, здесь она так долго ждала, что Фрэнк вернет ей свою любовь, и здесь же убедилась, что ее ожидание тщетно. Пока Каупервуд говорил, она глядела на него задумчиво, даже печально, терзаясь сомнениями. И вместе с тем в ней уже зарождалась мысль, что в Нью-Йорке, где деньгам придают такое значение, она могла бы благодаря огромному, непрерывно растущему богатству Каупервуда и его весу в деловых кругах занять достойное положение в обществе! «Кто не рискует, тот не выигрывает» — таков всегда был девиз Эйлин, и она опять готовилась поднять его на мачте своего корабля, хотя давно могла бы догадаться, что оснастка этого корабля не пригодна для того рискованного плавания, в которое ей хотелось пуститься. Крашеная фанера и парус из фольги и мишуры! Бедная, суетная и вечно надеющаяся Эйлин! Но откуда ей было знать!

— Хорошо, — сказала она наконец. — Делай, как хочешь. Мне в конце концов все равно, где тосковать в одиночестве — здесь или там.

Каупервуд знал, о чем она мечтает. Знал, какие мысли проносятся сейчас в ее мозгу, и тщета ее надежд была для него очевидна. Жизненный опыт подсказывал ему, что лишь исключительное стечение обстоятельств может открыть такой женщине, как Эйлин, доступ в надменный высший свет. Но у него не хватало мужества сказать ей об этом. Нет, ни за что на свете! Он не мог забыть, как однажды за мрачной решеткой исправительной тюрьмы в Пенсильвании он плакал на плече у Эйлин. Он не хотел быть неблагодарным, не хотел раскрывать ей свои затаенные мысли и наносить еще новый удар. Пусть тешит мечтами о светских успехах свое уязвленное тщеславие, пусть утешает ими свое наболевшее сердце, а ему этот дом в Нью-Йорке позволит быть ближе к Беренис Флеминг. Можно сколько угодно осуждать подобное криводушие, но нельзя отрицать, что оно составляет характерную черту многих людей, и Каупервуд в данном случае не был исключением. Он все видел, все учитывал и строил свои расчеты на простых человеческих чувствах Эйлин.

46. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Многообразные любовные похождения Каупервуда порою так осложняли ему жизнь, что он задавался вопросом, стоит ли игра свеч и можно ли в конце концов обрести мир и счастье иначе, как в законном браке. Миссис Хэнд в разгаре скандала уехала в Европу, но потом вернулась и теперь осаждала Каупервуда просьбами о свидании. Сесили Хейгенин писала ему бесчисленные письма, в которых заверяла его в своей неизменной преданности. Флоренс Кокрейн, даже и после того как Каупервуд к ней охладел, упорно добивалась встречи с ним. К тому же Эйлин, запутавшаяся и удрученная своими неудачами, начала искать утешения в вине. Крах ее отношений с Линдом — она хоть и уступила его домогательствам, но страсть так и не согрела ей сердца

— и равнодушие, с каким Каупервуд принял ее измену, ввергли Эйлин в то подавленное состояние, когда человек начинает предаваться бесплодному самоанализу, — состояние, которое у наиболее чувствительных или наименее устойчивых натур нередко кончается алкоголизмом, а иногда и самоубийством. Горе тому, кто отдает свое сердце иллюзии — этой единственной реальности на земле, но горе и тому, кто этого не делает. Одного ждут разочарование и боль, другого — запоздалые сожаления.

После отъезда Линда в Европу, куда Эйлин отказалась за ним последовать, она завела роман со скульптором по имени Уотсон Скит, человеком очень незначительным. Единственный наследник председателя правления крупнейшей мебельной компании, он, в отличие от большинства художников, принадлежал к состоятельному кругу, но по стопам отца идти не пожелал. Скит учился за границей и вернулся в Чикаго с намерением насаждать искусство на Западе. Это был рослый, полнотелый блондин, державшийся с какой-то безыскусственной наивностью, которая и пленила Эйлин. Они встретились в мастерской у Риза Грайера. После отъезда Линда Эйлин чувствовала себя заброшенной и, больше всего на свете страшась одиночества, сблизилась со Скитом, но связь эта оказалась безрадостной. Эйлин так и не могла отрешиться от прежнего своего идеала, от настойчивой потребности все мерить мерой первой любви и первого счастья. Кому не знакомо мертвящее дыхание памяти о лучших днях! Оно удушает мечту настоящего, встает перед нами подобно призраку на пиршестве и пустыми глазницами иронически озирает наш жалкий праздник. Возможное, но не свершившееся в ее жизни с Каупервудом неотступно преследовало Эйлин. Если раньше она только изредка закуривала сигарету, то теперь стала страстной курильщицей. Если она любила иногда выпить бокал хорошего вина, коктейль, рюмку коньяку с содовой, то теперь пила только коньяк или, еще чаще, новомодную смесь — виски с содовой, называемую «хайбол», — пила стакан за стаканом с жадностью, которая показывала, что вкуса напитка она попросту не замечает. Впрочем, пьяница всегда ищет в вине забвенья, а не вкусовых ощущений. Эйлин не раз замечала, когда ей случалось после ссоры с Линдом или в припадке уныния выпить виски с содовой, что ее охватывает приятная теплота и какое-то блаженное безразличие. Горе словно улетучивалось. Она плакала, но это были сладостные, облегчающие душу слезы. Ее печаль начинала походить тогда на бесплотные туманные видения, которые навещают нас во сне: они обступали ее, вились вокруг, но существовали вне ее, и она как бы со стороны смотрела на них. Порой и она сама и эти призрачные тени ее печалей (ибо Эйлин и себя видела словно в искажающем образы сновидении) представлялись ей существами из мира, где нет полного забвения, но нет и нестерпимых душевных мук. Старое испытанное средство от всех бед — алкоголь — нашел в ней верную почитательницу. После того как Эйлин случайно убедилась, что спиртное утишает, или, вернее, притупляет боль, она стала все чаще прибегать к нему. Почему бы ей не пить, если это приносит облегчение от нравственных и физических страданий? Никаких дурных последствий она пока не замечала. И потом ведь она очень сильно разбавляет виски водой. Оставаясь дома одна, Эйлин по нескольку раз в вечер наведывалась в буфетную, где хранились ликеры и виски, и приготовляла себе свою любимую смесь, а не то приказывала лакею принести ей в спальню поднос с бутылкой виски и сифон с содовой водой. Каупервуд, постоянно видя у Эйлин этот поднос и заметив, что она помногу пьет за обедом и ужином, счел нужным ее предостеречь.

— А не слишком ли ты этим увлекаешься, Эйлин? — спросил он как-то вечером, когда она залпом выпила стакан виски с содовой и сидела в каком-то отупении, разглядывая вышивку на скатерти.

— Конечно, нет, — ответила она, вспыхнув от досады и немного запинаясь.

— А что?

Эйлин и сама уже не раз думала, не испортит ли ей вино цвет лица. Ее красота — вот единственное, чем она еще дорожила.

— Да я все время вижу у тебя в комнате бутылку, вот и подумал, — может быть, ты сама не замечаешь, как много пьешь.

Зная ее обидчивость, он старался говорить как можно мягче.

— А если и так? — с сердцем отвечала она. — Какое это имеет значение? Я пью, а другие занимаются кое-чем похуже.

Такого рода шпильки доставляли ей удовлетворение так же, как и его расспросы: следовательно, она еще что-то значит для него. Да, она ему и сейчас еще не безразлична.

— Ну зачем так говорить, Эйлин? — сказал он. — Если тебе хочется иногда выпить — пожалуйста, я не возражаю. Впрочем, тебе, вероятно, все равно, возражаю я или нет. Но много пить, с твоей красотой, при твоем прекрасном здоровье, — просто грешно. Тебе это совсем не нужно, так ведь можно быстро скатиться бог знает куда. Никакой беды с тобой не стряслось. Мало ли женщин оказывалось в таком же положении! Уходить я от тебя не собираюсь, если ты сама этого не потребуешь, это я тебе сто раз говорил. Что поделаешь, все люди со временем меняются. Вероятно, и я кое в чем изменился, но это еще не причина, чтобы распускаться. И зря ты принимаешь это так близко к сердцу. В конце концов все может уладиться со временем.

Он говорил, почти не думая о своих словах, лишь бы успокоить ее.

— О! О! — Эйлин вдруг стала раскачиваться из стороны в сторону и плакать тяжелыми пьяными слезами, словно сердце у нее разрывалось на части. Каупервуд встал: ему было противно и жутко.

— Не подходи ко мне! — крикнула Эйлин, внезапно протрезвев. — Я знаю, что тебе нужно. Знаю, как ты печешься обо мне и моей красоте. Захочу пить

— и буду, и не то еще сделаю, если захочу. Это для меня облегчение, это мое дело, а не твое. — И назло ему она опять налила себе стакан и выпила.

Каупервуд внимательно поглядел на нее и сокрушенно покачал головой.

— Так не годится, Эйлин, — сказал он. — Прямо не знаю, что мне с тобой делать. Виски не доведет тебя до добра. От красоты твоей ничего не останется, и вдобавок на душе будет скверно.

— Ну и черт с ней, с моей красотой! — вспылила она. — Что мне дала эта красота?

Охваченная печалью и гневом, она вскочила из-за стола и выбежала из комнаты. Когда Каупервуд вошел через несколько минут к ней в спальню, она усердно пудрилась перед зеркалом. На туалете стоял наполовину опорожненный стакан виски с содовой. Странное чувство вины и бессилия овладело им.

Тревожась за Эйлин, он в то же время не переставал думать о Беренис, и надежды его то разгорались, то гасли. На его глазах эта необыкновенная девушка становилась яркой человеческой личностью. Во время последних встреч она, к его великой радости, уже не замыкалась в себе, а болтала с ним дружески, почти откровенно; она ведь вовсе не гордячка, думал он, а разумное, мыслящее существо, наделенное незаурядными способностями, и главное — тонкой артистической душой. Не зная никаких забот, она жила в ей одной ведомом возвышенном мире, порой погруженная в мечтательную задумчивость, порой с головой окунаясь в интересы того общества, частью которого она была и которое удостаивала своим вниманием, в той же мере, в какой оно удостаивало ее своим.

Как-то воскресным утром в конце июня, когда воздух в Поконских горах особенно прозрачен и там стоит необыкновенная тишина, Беренис вышла на веранду коттеджа, где сидел Каупервуд, просматривая финансовый отчет одной из своих компаний, и размышлял о делах — он приехал на несколько дней отдохнуть. Отношения их были теперь не столь далекими, как раньше, и она держалась в его присутствии непринужденно и весело. В общем он ей нравился. С неизъяснимо прелестной улыбкой, которая играла у нее на губах, собирая крошечные морщинки на носу и в уголках глаз, она сказала:

— Сейчас я поймаю птичку.

— Что поймаете? — переспросил Каупервуд, поднимая голову и притворяясь, что не расслышал.

Он жадно следил за каждым ее движением. На ней было утреннее платье, все в оборках, как нельзя более подходящее для того воздушного мира, в котором она обитала.

— Птичку, — отвечала она, беззаботно тряхнув головой. — Ведь сейчас июнь, и воробьи уже учат своих птенцов летать.

Каупервуд, за минуту до того погруженный в финансовые расчеты, словно по мановению волшебной палочки перенесся в другой мир, мир, в котором птицы, трава и летний ветерок значили больше, чем кирпич и камень, векселя и акции. Он встал и пошел за нею следом по траве к зарослям ольхи, где воробьиха усердно показывала своему птенцу, как подняться в воздух. Беренис наблюдала эту сценку еще из окна своей комнаты. Внезапно Каупервуд почувствовал, сколь ничтожное место в мощном потоке бытия занимают его собственные дела, когда каждое создание исполнено неукротимой воли к жизни, которую так зорко подметила Беренис. А она уже бежала по лужайке за птенцом, вытянув вперед руки и временами грациозно

пригибаясь к земле, но птенец, неловко трепыхаясь, все увертывался от нее. Вдруг Беренис словно нырнула в траву, потом обернулась к Каупервуду и с сияющим лицом воскликнула:

— Вот, поймала! Да он сражается со мной, посмотрите! Ах ты, моя прелесть!

Она держала птенца в горсти, так что головка его выглядывала между ее большим и указательным пальцами, и, смеясь, целовала его и поглаживала другой рукой. Беренис вовсе не так уж любила птиц, ее воодушевляла красота жизни и собственная красота. Услышав отчаянное чириканье вспорхнувшей на ветку воробьихи, она воскликнула:

— Ну чего ты расшумелась! Я его только на минутку взяла.

Каупервуд рассмеялся.

— Вполне понятно, что она волнуется, — сказал он.

— Она же отлично знает, что я ему ничего не сделаю, — возразила Беренис так горячо, точно слова ее не были шуткой.

— Неужели знает? — спросил Каупервуд. — Почему вы так думаете?

— Потому что так оно и есть. Они отлично понимают, когда их детям действительно грозит опасность.

— Да откуда же им знать? — не унимался Каупервуд, очарованный и увлеченный ее капризной логикой. Эта девушка была для него загадкой, он никогда не мог сказать, что она думает.

Беренис на мгновение остановила на нем взгляд своих холодных синих глаз.

— Неужели, по-вашему, у всех этих созданий только пять чувств? — Вопрос ее прозвучал мягко и совсем не укоризненно. — Нет, они все понимают. Вот и она поняла. — Беренис грациозным движением указала на дерево, в ветвях которого теперь царила тишина. Чириканье смолкло. — Поняла, что я не кошка.

И снова чарующая насмешливая улыбка пробежала по ее губам, собрала в морщинки нос и уголки глаз. Слово «кошка» прозвучало в ее устах как-то особенно выразительно и ласково. Каупервуд смотрел на нее, и ему казалось, что умнее ее он еще никого не видел. Вот женщина, которая могла бы завладеть всем его существом! Если он сумеет заинтересовать ее собой, ему понадобятся все его способности, все душевные силы. Какие у нее глаза — одновременно загадочные и ясные, приветливые и холодно-проницательные. «Да, — казалось, говорили эти глаза, — чтобы заинтересовать меня, нужно быть очень интересным!» А между тем она смотрела на него с искренним дружелюбием. Ее лукавая улыбка служила тому порукой. Да, это была не Стефани Плейто или Рита Сольберг. Он не мог просто поманить ее пальцем, как Эллу Хабби, Флоренс Кокрейн, Сесили Хейгенин. Это была женщина самобытная, с душой, открытой для романтики, для искусства, для философии, для жизни. Нет, завоевать ее не легко. А Беренис тем временем и сама стала все чаще думать о Каупервуде. Видно, он необыкновенный человек; так говорит ее мать, и газеты постоянно упоминают его имя, отмечают каждый его шаг.

Через некоторое время они снова встретились, на этот раз в Саутгэмптоне, куда она приехала с матерью. Каупервуд, Беренис и еще один молодой человек, некто Гринель, пошли купаться. День был изумительный. На востоке, на юге и на западе перед ними расстилалась испещренная рябью синяя морская ширь, слева в нее причудливо вдавался рыжеватый песчаный мыс. Когда Каупервуд увидел Беренис в голубом купальном костюме и купальных туфельках, его больно кольнула мысль о поразительной быстротечности жизни — старое старится, а молодое снова и снова идет ему на смену. У него за плечами долгие годы борьбы, большой жизненный опыт, однако в самых важных вопросах он не мудрее этой двадцатилетней девушки с ее пытливым умом и взыскательным вкусом! О чем бы они ни говорили, он не находил ни малейшего изъяна в ее броне, — так много она знала, такие здравые суждения высказывала. Правда, она не прочь была порисоваться, но ведь она имела на это полное право. Гринель уже успел надоесть ей, поэтому она отослала его прочь и развлекалась беседой с Каупервудом, который удивлял ее силой и цельностью своего характера.

— Знаете, — призналась она ему, — с молодыми людьми бывает иногда ужасно скучно. Они такие глупые. Посмотришь на них — штиблеты, галстук, носки, трость, а больше ничего и нет. Взять хотя бы Гринеля — ходячий манекен и только. Разгуливает живой костюм от английского портного и помахивает тросточкой.

— Вот это я понимаю, обвинительный акт! — засмеялся Каупервуд.

— Нет, право же, — отозвалась она. — И ничего-то он не знает, у него на уме только поло, да годный стиль плаванья, да кто куда поехал, да кто на ком женится. Разве это не скука?

Она откинула голову и вздохнула полной грудью, словно хотела выдохнуть из себя всю эту скуку и глупость.

— Вы и ему это говорили? — полюбопытствовал Каупервуд.

— Конечно, говорила.

— Тогда понятно, почему у него такой мрачный вид, — сказал он, оглядываясь на Гринеля и миссис Картер: они сидели рядом на пляжных стульчиках, Гринель сосредоточенно чертил по песку носком туфли. — Занятное вы существо, Беренис, — продолжал он непринужденным тоном. — Вы временами на диво откровенны и непосредственны.

— Не более, чем вы, если верить тому, что о вас говорят, — ответила она, пристально поглядев на него. — Ну во всяком случае я не намерена себя мучить. Уж очень он скучный. Ходит за мной по пятам, а мне он вовсе не нужен.

Она тряхнула головой и побежала по пляжу туда, где было меньше купающихся, оборачиваясь на бегу и словно говоря Каупервуду: «Ну, а вы что же отстаете?» Встрепенувшись, он побежал вслед за нею быстрым, молодым шагом и нагнал ее у мелкой закрытой бухточки с чистой, прозрачной водой.

— Глядите! — воскликнула Беренис. — Рыбки! Вон, вон они!

Она вбежала в воду, где, серебрясь на солнце, резвилась стайка колюшек, и стала ловить их, как ловила птенца, стараясь загнать в лужицу, отделенную от моря узкой песчаной косой. Каупервуд, словно десятилетний мальчишка, усердно помогал ей. Он с увлечением гонялся за рыбами, одну стайку упустил, зато другую подогнал совсем близко к берегу и стал звать Беренис.

— Ой! — воскликнула она. — Здесь их тоже много, Скорей сюда! Гоните их на меня!

Волосы ее разлетались, щеки разрумянились, глаза стали ярко-синими. Вытянув руки, и она и Каупервуд низко склонились над водой, где пять-шесть рыбок метались и прыгали, стараясь ускользнуть. Подогнав их к самому песку, оба одновременно сделали быстрое движение, и Беренис поймала рыбешку; Каупервуд промахнулся, но помог девушке удержать рыбку, которую она схватила.

— Ах, какая чудесная! — воскликнула она, быстро выпрямляясь. — Как она трепещет! Это я ее поймала!

От восторга ей не стоялось на месте, а Каупервуд, словно зачарованный, смотрел на нее. Он изнемогал от желания сказать ей, как она восхитительна, как дорога ему.

— Чудесная, — с расстановкой проговорил он, — только вы, Беренис.

С минуту она смотрела на него, держа рыбку в вытянутых руках. Он видел, что она не знает, как отнестись к его словам. Многие мужчины уже выказывали ей преувеличенное внимание. К комплиментам она привыкла. Но здесь было иное. Она ничего не ответила, только посмотрела на него, и взгляд ее сказал: «Мне кажется, сейчас вам больше ничего не нужно говорить». Потом, видя, что он понял и смущен и взволнован, она весело сморщила носик и сказала:

— Это как в сказке. Как будто она приплыла ко мне из другого мира.

Каупервуд понял. К ней нельзя приблизиться сразу. А между тем что-то уже связывало их — дружба, взаимная симпатия, — и оба они это чувствовали. Но воспитание в аристократической школе, светские условности, необходимость создать себе положение в обществе, консервативные взгляды ее знакомых — все это было очень живо в ней. Будь он свободен, думала Беренис, она бы, конечно, выслушала его до конца, потому что он, право же, очень интересен. Но так… А Каупервуду в этот день стало ясно, что Беренис — единственная женщина, на которой он бы с радостью женился, если бы только она согласилась.

47. «АМЕРИКАНСКАЯ СПИЧКА»

После того как Каупервуд, пустив всем пыль в глаза своим пожертвованием трехсот тысяч на телескоп, получил нужные ему кредиты, враги его на время присмирели, но только потому, что не придумали еще способа разделаться с ним. Общественное мнение, возбужденное газетами, все еще было против него. Но срок его концессий истекал лишь через восемь-десять лет, а за

это время он мог приобрести несокрушимое могущество. Окружив себя инженерами, управляющими, юристами, Каупервуд с молниеносной быстротой строил теперь линии своих надземных дорог, одну за другой. Одновременно он готовил западню враждебным ему чикагским банкам, предоставляя им через Видера, Кафрата и Эддисона онкольные ссуды, чтобы в случае кризиса прижать их. Получив в свое распоряжение огромное количество акций и облигаций и руководствуясь обычным своим правилом — не выплачивать более шести процентов дивиденда мелким акционерам, не принадлежащим к числу учредителей его компаний, Каупервуд наживал бешеные деньги. Когда представлялась возможность распределить большую прибыль, он тотчас выпускал новые акции, продавал их на бирже, а разницу клал себе в карман. Из касс своих бесчисленных компаний он забирал огромные суммы под видом временных займов, а потом, по его указанию, послушные исполнители относили их в счет расходов на «строительство», «оборудование», «эксплуатацию». Словом, он как матерый волк рыскал по чащобе, которую сам же и создал для себя.

Слабым местом нового предприятия Каупервуда — его надземных дорог — было то, что первое время не приходилось ждать от них дохода. К тому же надземные дороги начнут конкурировать с его старыми компаниями наземных городских железных дорог и в какой-то мере могут даже сократить их прибыли. А в акции этих компаний, как и в акции надземных дорог, у него были вложены огромные суммы. Если почему-либо курс резко снизится, все сразу захотят сбыть эти бумаги с рук, отчего они еще больше упадут в цене, и ему самому придется их скупать, чтобы спасти положение. Боясь финансовых бурь и финансовых репрессий, Каупервуд стал накоплять резерв в государственных обязательствах, который решил довести до восьми или даже десяти миллионов долларов. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть застигнутым врасплох.

Когда Каупервуд приступал к постройке своих надземных дорог, не было никаких оснований предполагать, что в Америке в ближайшее время может разразиться финансовый кризис. Но вскоре возникло непредвиденное осложнение. Это было время расцвета трестов, во всем их дутом великолепии. Уголь, железо, сталь, нефть, машиностроение и ряд других наиболее важных и прибыльных отраслей промышленности были уже «трестированы», а такие, как кожевенная, обувная, канатно-веревочная и т.д., попадали во все большую зависимость от ловких и неразборчивых в средствах дельцов. В Чикаго — Шрайхарт, Хэнд, Арнил, Мэррил и еще с десяток таких же акул богатели не по дням, а по часам, становясь во главе все новых и новых монополий, ибо хищники помельче, у которых недоставало свободных средств, довольствуясь крохами с барского стола, неизменно приглашали их в учредители. Между тем среди широких слоев нации росло убеждение, что в верхах засела кучка воротил — титанов без души и без сердца, стремящихся заковать народ в цепи рабства. Жертвы нищеты и невежества, эти массы в конце концов ухватились за программу одного западного политического деятеля, обещавшего им избавление от всех зол, и с самозабвенной верой стали ее поддерживать. Сей апостол, видя, что золота в обращении становится все меньше и меньше, что деньги и кредиты нации забрала в свои руки горстка монополистов-банкиров, орудующих в целях личной наживы, узрел спасение в том, чтобы увеличить количество обращающихся денег, — это, как он считал, облегчит получение кредита и снизит ссудный процент. Серебро, которым изобиловали недра Америки, должно было чеканиться свободно, при этом государству надлежало узаконить постоянный паритет обоих металлов, исходя из соотношения одной весовой единицы золота к шестнадцати единицам серебра. Тогда меньшинство никогда не сможет больше закабалить большинство при помощи денег. Серебряной монеты будет столько, что ни центральным банкам, ни стоящим во главе их финансовым воротилам уже не удастся установить свою власть над денежным рынком. Это была, конечно, утопия, мечта сострадательного сердца, но она породила ожесточенную борьбу за руководящие посты в правительстве. Финансовая верхушка, страшась даже подумать о том, на что могли натолкнуть народ теории новоявленного политического лидера, повела борьбу как с ним, так и с теми элементами демократической партии, которые его поддерживали. Рядовые члены обеих партий — те алчущие и жаждущие, которых всегда попирала и та и другая сторона, — встретили его как ниспосланного небом избавителя, нового Моисея, пришедшего вывести их из пустыни нищеты и отчаяния. Горе политическому вождю, который проповедует новую доктрину спасения и по мягкосердечию своему предлагает панацею от всех социальных зол. Ему воистину уготован терновый венец.

Каупервуд, как и другие финансисты, относился враждебно к этой, по его мнению, безумной идее — поддержания паритета между серебром и золотом законодательным путем. Он называл это конфискацией, конфискацией богатства немногих в пользу большинства. Превыше всего он опасался, как бы растущее волнение не вылилось в открытую классовую борьбу, при которой вкладчики обычно разбегаются и люди прячут деньги в кубышки. Он сразу стал свертывать паруса, приобретая только самые верные бумаги, а менее надежные начал исподволь сбывать с рук.

Но для текущих своих нужд Каупервуду приходилось порой занимать довольно крупные суммы, и вскоре он заметил, что банки, связанные с его противниками в Чикаго и других городах, соглашались выдавать ссуды под залог его акций лишь при непременном условии погашения таковых по первому требованию. Каупервуд шел на это, хотя и подозревал, что дело тут не чисто, — видимо, Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил намерены в трудную минуту потребовать возврата всех ссуд и таким образом загнать его в тупик.

— Кажется, я понял, чего добивается эта шайка, — сказал он как-то Эддисону. — Только они не на того напали, меня не так-то легко захватить врасплох.

Каупервуд не ошибся в своих подозрениях. Еще в самом начале агитации за свободную чеканку серебра, задолго до того, как разразилась буря, Шрайхарт, Хэнд и Мэррил, следя за каждым шагом Каупервуда через своих агентов и маклеров, установили, что тот занимает где только можно — в Нью-Йорке, в Лондоне, у некоторых чикагских банкиров.

— Сдается мне, — сказал как-то Шранхарт своему другу Арнилу, — что наш приятель в долгу, как в шелку. Он зарвался. Это его строительство надземных дорог поглотило слитком много капитала. Осенью предстоят новые выборы, и он знает, что мы будем бороться беспощадно. На электрификацию старых линии ему опять-таки потребуются деньги. Если бы только узнать, как у него обстоят дела и кому и сколько он задолжал, можно было бы, пожалуй, что-нибудь предпринять.

— Он несомненно запутался, — согласился Арнил. — История с чеканкой серебра уже сказывается на бирже — бумаги идут туго, а деньги в цене. Я считаю, что наши здешние банки должны давать ему по онкольным ссудам сколько он ни попросит. А когда придет время, мы прижмем его к стене. Хорошо бы раздобыть еще где-нибудь его векселя.

Мистер Арнил произнес все это без тени раздражения или сарказма. В трудную минуту, которая, быть может, уже не за горами, Каупервуду будет обещано спасение, и его «спасут», при условии, что он навсегда покинет Чикаго. А они, в неусыпной заботе о родном городе и добром имени властей предержащих, отберут его собственность и станут управлять ею по своему усмотрению.

На свое несчастье, в это самое время господа Хэнд, Шрайхарт и Арнил сами оказались втянутыми в одну небольшую спекуляцию, для исхода которой агитация за чеканку серебра могла оказаться роковой. Дело касалось такого обыденного предмета, как спички, производство которых, подобно производству многих других предметов первой необходимости, было трестировано и приносило громадные барыши. Акции «Американской спички» уже котировались на всех биржах, и курс их — сто двадцать долларов — держался стойко.

Гениальная идея объединить все спичечные фирмы в одну всеамериканскую спичечную монополию зародилась в мозгу двух приятелей, владельцев банкирско-маклерской конторы, господ Хэлла и Стэкпола. Мистер Финеас Хэлл, тщедушный, похожий на хорька и очень расчетливый человечек, с жидкой порослью песочно-серых волос и всегда прищуренным правым глазом — одно веко у него было частично парализовано, — имел несколько необычный, порою даже зловещий вид.

Его компаньон, мистер Бенони Стэкпол, в прошлом возница в Арканзасе, а затем барышник, мужчина огромного роста, тучный, хитрый и отважный, отличался недюжинной силой воли и деловитостью. Не такой дальновидный, как Арнил, Хэнд и Мэррил, он тем не менее был достаточно ловок и изобретателен. В погоню за богатством он пустился уже немолодым человеком и теперь из кожи вон лез, чтобы привести в исполнение план, который разработал с помощью Хэлла. Вдохновляемые мыслью о будущем богатстве, они завладели контрольным пакетом акций в одной спичечной компании, что позволило им вступить в переговоры с владельцами других фирм. Патенты и секреты производства, составлявшие собственность отдельных компаний, переходили в их руки, расширялось производство и сбыт.

Но для осуществления замысла Стэкпола и Хэлла требовались средства несравненно большие, чем те, которыми они располагали. Оба были уроженцами Западных штатов и потому прежде всего стали искать поддержки у западного капитала. Они обратились к Хэнду, Шрайхарту, Арнилу и Мэррилу, и солидные пакеты акций по ценам много ниже номинала перешли в руки этих господ. С помощью полученных таким путем средств объединение спичечных предприятий подвигалось весьма успешно. Патенты скупались направо и налево; «Американской спичке» предстояло в недалеком будущем заполонить Европу, а там, быть может, подчинить себе и мировой рынок. Тем временем высоким покровителям Хэлла и Стэкпола, каждому в отдельности и всем вместе, пришло в голову взвинтить курс акций, приобретенных ими по сорока пяти долларов за штуку и теперь уже продававшихся на бирже по ста двадцати, до трехсот долларов; если мечты о монополии сбудутся, такое повышение вполне оправдано. А если у них и окажется некоторый излишек акций спичечного треста, — положение которого казалось тогда прочным, а виды на будущее блестящими, — то это им никак не повредит. И вот они втихомолку стали скупать «Американскую спичку», надеясь в скором времени нажить большие деньги на повышении курса.

Однако такая игра никогда не остается тайной для других финансистов. Кое-кто из крупных биржевиков скоро прослышал, что ожидается резкое повышение акций «Американской спички». Каупервуд узнал об этом от Эддисона, хорошо осведомленного обо всех биржевых слухах и сплетнях, и оба они закупили акций на крупную сумму, но с таким расчетом, чтобы в любой момент без труда продать их и даже кое-что на этом заработать. В последующие восемь месяцев акции «Американской спички» медленно и неуклонно повышались в цене, достигли внушительной цифры в двести долларов и полезли дальше вверх. Когда курс стоял на двухстах двадцати, Эддисон и Каупервуд продали свои бумаги, заработав на этой операции около миллиона.

Между тем на горизонте собиралась давно ожидаемая гроза; сначала это было крохотное облачко, которое к концу тысяча восемьсот девяносто пятого года превратилось в грозную тучу, а к весне девяносто шестого эта туча зловещей пеленой закрыла полнеба, готовая вот-вот разразиться бурей. После того как в июле на пост президента Соединенных Штатов была выдвинута кандидатура «апостола свободной чеканки серебра», консервативные элементы и финансовые круги охватил страх. То, что Каупервуд предусмотрительно сделал больше года назад, другие, менее дальновидные дельцы, от штата Мэн до Калифорнии и от Мексиканского залива до Канады, принялись второпях делать сейчас. Вклады изымались из банков, неустойчивые и ненадежные бумаги выбрасывались на рынок. Шрайхарт, Арнил, Хэнд и Мэррил внезапно поняли, что попали впросак со

своими огромными капиталовложениями в «Американскую спичку». Имея на руках эти акции, которые выпускались на миллионные суммы, они вынуждены будут либо поддерживать курс, либо реализовать их с большим для себя убытком. Так как многим акционерам «Американской спички» понадобились теперь наличные деньги, то со всех концов страны посыпались телеграфные распоряжения продавать акции на чикагской бирже, где они были впервые пущены в продажу и где на них, по-видимому, существовал спрос. Инициаторы спекуляции после ряда совещаний сочли за благо поддерживать курс. Господам Хэллу и Стэкполу, официально возглавлявшим трест, было дано указание покупать, а те в свою очередь обратились к основным акционерам с предложением взять свою долю дополнительных акций, пропорциональную вложениям. Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил, не в силах справиться с растущим потоком акций, которые они должны были принимать по двести двадцать долларов, стали спешно закладывать их в банках по сто пятьдесят долларов и этими деньгами расплачивались за дополнительные партии, от которых не могли отказаться.

В результате зависимые от них банки оказались загруженными до отказа, над многими нависла угроза краха. Принимать эти акции в заклад они были уже не в состоянии.

— Нет, нет и нет! — решительно заявил Хэнд по телефону Финеасу Хэллу. — Я не могу рисковать больше ни одним долларом. Не могу и не хочу. Ваш план превосходен. Я не хуже вашего понимаю все его выгоды. Но с меня достаточно. Не сегодня — завтра разразится финансовый кризис. Потому-то биржа и наводнена бумагами. Я готов ограждать свои интересы, но всему есть предел. Повторяю: ни одна акция из тех, что у меня сейчас имеются, на рынок не попадет, но больше сделать я ничего не могу. Пусть остальные участники соглашения защищаются, как умеют. У меня есть другие, не менее важные дела, чем «Американская спичка», мне надо подумать и о них.

Разговор с мистером Шрайхартом увенчался не большим успехом. Поглаживая жесткие черные усы, Шрайхарт уже прикидывал в уме, не лучше ли, пока не поздно, отступить, выручив за свои акции сколько удастся. Но он боялся гнева Хэнда и Мэррила, в случае если по его вине «Американская спичка» покатится вниз и на чикагской бирже возникнет паника. Это был рискованный шаг. Арнил и Мэррил в конце концов согласились держать имевшиеся у них акции, но наотрез отказались принять еще хотя бы одну; будь что будет.

Попав в такую передрягу, оба почтенных джентльмена — Хэлл и Стэкпол — естественно приуныли. Значительно менее богатые, чем их высокие покровители, они могли потерять на этом все свое состояние. А в бурю хороша любая гавань. И вот Бенони Стэкпол явился в контору Каупервуда. Он испробовал уже все средства, а из крупных чикагских капиталистов Каупервуд был единственным, не участвовавшим в афере с «Американской спичкой». В самом начале, когда Стэкпол еще только вел переговоры с Хэндом и Шрайхартом, те, правда, сказали ему, что отказываются участвовать в деле, если к нему будет привлечен Каупервуд. Но это было больше года назад, а кроме того, Хэнд и Шрайхарт теперь отстранились, бросив его с компаньоном на произвол судьбы. Они не могут быть на него в претензии, если он обратится к Каупервуду, — лишь бы тот не подвел. Стэкпол был высокого роста — шести с лишком футов — и весил двести тридцать фунтов. Он предстал перед Каупервудом в соломенной шляпе, коричневом полотняном костюме (стоял конец июля), с веером из пальмового листа в одной руке и небольшим кожаным саквояжем, в котором лежали злополучные акции, — в другой. Пот лил с него градом, и мысли были самые мрачные. Ему грозило банкротство — ужасающее банкротство. Если акции «Американской спички» упадут ниже двухсот, придется закрывать свою банкирско-маклерскую контору, — у него с Хэллом столько акций на руках, что дефицит их составит двадцать миллионов долларов. А Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил все вместе потеряют миллионов шесть-восемь. Местные банки тоже, конечно, пострадают, но не очень сильно, ибо, принимая в заклад «Американскую спичку» по сто пятьдесят долларов за акцию, они могут потерять только разницу между этой цифрой и той ценой, до которой акции упадут.

Каупервуд не без иронии взглянул на входившего Стэкпола: он догадывался, что привело сюда этого джентльмена. Еще несколько дней назад в разговоре с Эддисоном он предсказал крушение «Американской спички».

— Мистер Каупервуд, в этом саквояже у меня пятнадцать тысяч акций «Американской спички», — начал Стэкпол. — Стоимость их по номиналу один миллион пятьсот тысяч долларов, по сегодняшнему курсу — три миллиона триста, но настоящая их цена триста долларов за штуку, если не больше. Не знаю, насколько внимательно вы следили за развитием треста «Американская спичка». Нам принадлежат все патенты на новые усовершенствованные машины, значительно повышающие производительность труда. Более того, на этих днях мы заключаем договоры с Францией и с Италией на право пользования нашими машинами и технологическими процессами, за это они будут платить нам по миллиону долларов ежегодно. Мы ведем также переговоры с Австрией и Англией. На очереди другие страны. Не сомневаюсь, что Американский спичечный трест будет снабжать своими спичками весь мир, вне зависимости от того, останусь я во главе его или нет. Но агитация за чеканку серебра застигла нас, что называется, в открытом море, и нам сейчас не легко будет перебороть шторм. Вступая с кем-нибудь в деловые отношения, я всегда предпочитаю быть откровенным и хочу сказать вам начистоту, как обстоит дело. Если нам удастся благополучно выбраться из этого переплета, вызванного агитацией за серебро, то можно поручиться, что к концу года наши акции будут стоить триста долларов. Так вот, я предлагаю их вам по сто пятьдесят, при одном условии: до декабря не выбрасывать их на рынок. Или же, если вы не можете взять на себя такого обязательства (тут Стэкпол замолчал и впился глазами в непроницаемое лицо Каупервуда), тогда, может быть, вы ссудите мне по ста пятидесяти долларов за акцию сроком самое малое на тридцать дней, из десяти, пятнадцати или сколько найдете нужным процентов.

При этом новом доказательстве изменчивости и непрочности всего земного Каупервуд задумался и, сложив руки, стал вертеть большими пальцами. Жизнь поистине полна превратностей, а тут представлялся долгожданный случай отплатить тем, кто преследовал его. Если взять акции в залог по сто пятьдесят и быстро по частям распродать их по двести двадцать или даже дешевле, «Американская спичка» вылетит в трубу. А когда курс упадет до ста пятидесяти или ниже, можно будет по дешевке снова скупить их, положить в карман разницу, завершить сделку с мистером Стэкполом, получив с него еще проценты, и улыбнуться, как улыбается сытый кот в детской сказке. Все это было проще простого и требовало не больше усилий, чем сидеть вот так и вертеть большими пальцами.

— А разрешите узнать, кто из чикагских дельцов, кроме вас и мистера Хэлла, поддерживал эти бумаги? — учтиво осведомился он. — Я, конечно, догадываюсь, но все же хотелось бы знать наверное.

— Отчего же, отчего же, пожалуйста, — с готовностью отвечал Стэкпол. — Мистер Хэнд, мистер Шрайхарт, мистер Арнил и мистер Мэррил.

— Так я и предполагал, — небрежно заметил Каупервуд. — И что же, они не в состоянии взять у вас эти акции? Загрузились до отказа?

— Загрузились, — уныло подтвердил Стэкпол. — Но если вы примете эти акции у меня в залог, мне придется поставить условием, чтобы ни одна не попала на рынок. Во всяком случае до тех пор, пока я сам не откажусь выполнить свои обязательства. Я знаю, что вы не в ладах с мистером Хэндом и другими джентльменами, которых я назвал. Но, как я уже говорил, — повторяю, я совершенно с вами откровенен, — положение у меня сейчас безвыходное, а в бурю хороша любая гавань. Если вы согласитесь меня выручить, я приму любые ваши условия и никогда не забуду оказанного мне одолжения.

С этими словами Стэкпол раскрыл саквояж и стал одну за другой выкладывать на стол перед Каупервудом желто-зеленые продолговатые пачки, туго перетянутые толстой резинкой. В каждой было по тысяче акций. Каупервуд взял одну из них и, как бы в раздумье, взвесил на руке.

— Очень сожалею, мистер Стэкпол, — сказал он, наконец, огорченным голосом, притворяясь, что пришел к какому-то решению, — но я не смогу быть вам полезен. Мне самому сейчас предстоят большие платежи, да и вообще я на бирже играю редко. К джентльменам, которых вы сейчас назвали, я не питаю никакого зла. На всех не угодишь. Я бы, конечно, мог, если б захотел, взять у вас эти акции, дать вам денег, а завтра же спустить их на бирже, но я этого делать не собираюсь. Я бы рад вас выручить, и, будь у меня возможность продержать ваши бумаги у себя три или четыре месяца, я бы охотно на это пошел. Но обстоятельства сложились так… — Каупервуд с сокрушенным видом поднял брови. — Вы побывали у всех банкиров в городе?

— У всех без исключения.

— И что же, никто не может прийти вам на помощь?

— При теперешнем положении дел они не в состоянии взять больше ни одной акции.

— Печально. Мне очень жаль, мистер Стэкпол. Постоите, а вы случайно не знакомы с мистером Милардом Бэйли или с мистером Эдвином Кафратом?

— Нет, не знаком, — ответил Стэкпол, перед которым вновь забрезжила надежда.

— И Бэйли и Кафрат значительно богаче, чем многие предполагают. У них часто бывают на руках крупные суммы. Почему бы вам не попытать счастья у них? А то есть еще мой приятель Видера. Я не знаю, правда, как у него сейчас с деньгами. Но вы всегда можете застать его в банке Двенадцатого района. Весьма возможно, что он захочет взять часть акций. Состояние у него порядочное, больше, чем некоторые думают. Удивительно, как это вас никто к ним не направил. (Без указания Каупервуда ни Бэйли, ни Кафрат, ни Видера не взяли бы у Стэкпола ни единой акции, но тот, разумеется, не мог этого знать. Мало кому было известно, что они связаны с Каупервудом.)

— Я вам чрезвычайно признателен и непременно побываю у них, — заверил его Стэкпол, укладывая в саквояж свои никому не нужные бумаги.

Каупервуд был необычайно любезен — он вызвал стенографистку, велел ей узнать для мистера Стэкпола домашние адреса Бэйли и Кафрата, которые, конечно, прекрасно знал, и, услужливо сообщив их посетителю, пожелал ему на прощание всяческого успеха. Озабоченный маклер решил тотчас наведаться не только к Бэйли и Кафрату, но и к Видера; однако, не успел Стэкпол доехать до конторы Бэйли, как туда уже позвонил Каупервуд.

— Это вы, Бэйли? Я вот по какому поводу, — сказал он, когда в трубке раздался голос лесопромышленника. — Тут у меня только что был Бенони Стэкпол, знаете — банкирская контора «Хэлл и Стэкпол»?

— Да, да.

— Принес пятнадцать тысяч акций «Американской спички», номинальная стоимость их — сто долларов, курс на сегодня — двести двадцать.

— Так.

— Он хочет заложить все или часть по сто пятьдесят.

— Так, так.

— Вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с «Американской спичкой»?

— Нет, знаю только, что они здорово лезли вверх, кто-то усиленно играл на повышение.

— Ну так слушайте. Скоро они покатятся вниз. «Американская спичка» должна лопнуть.

— Так!

— Я хочу, чтобы вы дали этому господину ссуду в пятьсот тысяч долларов, не больше чем по сто двадцать за акцию, а то и меньше; с остальными посоветуйте ему обратиться к Кафрату или Видера.

— Да, но у меня сейчас нет таких денег. Шутка сказать, — полмиллиона! К тому же вы говорите, что «Американская спичка» вот-вот лопнет.

— Я знаю, что у вас нет. Выпишете чек на Чикагское кредитное общество, Эддисон уплатит. А бумаги пришлите ко мне и забудьте об этом деле. Об остальном я позабочусь сам. Только ни в коем случае не упоминайте моего имени и не показывайте виду, что вы заинтересованы в сделке. Давайте не больше, чем по сто двадцать, слышите? А то и меньше. Вы узнаете мой голос?

— Конечно.

— Если у вас будет время, заезжайте потом ко мне, я бы хотел знать, чем кончится ваш разговор.

— Хорошо, — коротко отвечал Бэйли.

Затем Каупервуд позвонил Кафрату и Видера, с которыми у него состоялась примерно такая же беседа; не прошло и получаса, как все уже было подготовлено к приему мистера Бенони Стэкпола. Ссуду ему дадут под все его акции по сто двадцать долларов за штуку и ниже. Чеки будут выписаны сразу и при этом на различные банки, а не только на Чикагское кредитное общество. Он, Каупервуд, сам проследит за тем, чтобы по чекам уплатили без задержки, вне зависимости от того, есть ли у Бэйли, Кафрата или Видера деньги на текущем счету. Все заложенные акции он распорядился тотчас же прислать к нему в контору. Затем, позаботившись о том, чтобы нигде не произошло заминки, и уведомив банки, на которые должны были быть выписаны чеки, что они гарантируются им самим или еще кем-нибудь, Каупервуд стал спокойно дожидаться, когда его подручные принесут акции, которые он запрет в свой личный сейф.

48. ПАНИКА

Четвертого августа тысяча восемьсот девяносто шестого года Чикаго, а за ним и весь финансовый мир были ошеломлены известием о крахе Американского спичечного треста, акции которого считались одной из самых устойчивых ценностей на бирже, и банкротстве его учредителей — господ Хэлла и Стэкпола: дефицит их исчислялся в двадцать миллионов долларов. Уже накануне, в одиннадцать часов утра чикагские банкиры и маклеры почуяли недоброе. Высокий курс, на котором искусственно поддерживались акции «Американской спички», и нужда в наличных деньгах побуждали держателей пачками выбрасывать эти бумаги на рынок в надежде реализовать их до того, как они покатятся вниз. У серого, похожего на крепость здания биржи, угрюмо возвышавшегося в конце Ла-Саль-стрит, царило лихорадочное возбуждение — словно кто-то растревожил гигантский муравейник. Взад и вперед с озабоченным видом сновали клерки, непонятно куда и зачем торопились

посыльные. Маклеры, распродавшие накануне весь имевшийся у них запас «Американской спички», явились задолго до открытия биржи и одновременно с ударом гонга вновь качали наперебой предлагать внушительные партии по четыреста-пятьсот акций. Агенты Хэлла и Стэкпола, затертые в самую гущу теснившейся, орущей толпы, покупали все, что предлагалось, по курсу, который они надеялись поддержать. Сами Хэлл и Стэкпол беспрерывно сносились по телефону и телеграфу не только с наиболее видными дельцами, которых они втянули в эту спекуляцию, но также со своими клерками и агентами на бирже. Естественно, что при создавшемся положении оба были настроены весьма мрачно. Игра шла уже не плавно и гладко, как во времена высокой конъюнктуры, и обоим джентльменам пришлось заниматься всевозможными малоприятными и мелкими делами. Ибо здесь, как, впрочем, всегда в жизни, широкий поток событий, попав в теснину обстоятельств, бурлил и мельчал. Где раздобыть пятьдесят тысяч, чтобы уплатить за свалившуюся на них очередную партию «Американской спички»? Это было все равно, что пытаться голыми руками заделать непрестанно разрастающуюся брешь в плотине, за которой бушуют разъяренные волны.

В одиннадцать часов мистер Финеас Хэлл встал из-за большого письменного стола красного дерева и подошел к своему компаньону.

— Боюсь, Бен, — сказал он, — что нам не справиться. Мы стольким людям здесь в Чикаго заложили наши акции, что теперь не узнаешь, кто выбросил их на рынок. Но только руку даю на отсечение, что кто-то, не знаю только кто, намеренно разоряет нас. Ты не думаешь, что это Каупервуд или кто-нибудь из тех, кого он нам присватал?

Стэкпол, измученный тревогами последних недель, с трудом сдерживал раздражение.

— Откуда мне знать, Финеас? — буркнул он и насупился размышляя. — Не думаю. Мне казалось, что они не играют на бирже. А деньги мне так или иначе надо было доставать. Сейчас ведь любой акционер может испугаться, пустить свои акции в продажу, и тогда — пиши пропало. Да, дело дрянь!

И Стэкпол, уже в который раз за это утро, провел пальцем под тесным воротничком и засучил рукава рубашки; стояла удушливая жара, и он, придя с улицы, скинул сюртук и жилетку. В это мгновенье зазвонил телефон на столе у Хэлла, соединенный с кабинкой агента фирмы на бирже. Хэлл подскочил к аппарату и схватил трубку.

— Ну что у вас там? — спросил он сердито.

— Две тысячи акций «Американской» по двести двадцать. Брать?

Человек, который звонил Хэллу, в случае надобности подавал знак другому служащему фирмы, стоявшему на галерее, которая опоясывала «шахту», или главный зал фондовой биржи, а тот в свою очередь сигнализировал агенту внизу. Таким образом, утвердительный или отрицательный ответ мистера Хэлла почти мгновенно претворялся в биржевую сделку.

— Как быть? — спросил Хэлл у Стэкпола, прикрывая рукой трубку и еще более зловеще, чем обычно, сощуривая правый глаз. — Еще две тысячи. И откуда они только берутся?

— Это конец, — с трудом выдавил из себя Стэкпол. — Выше головы не прыгнешь. Я вот что скажу: будем поддерживать курс двести двадцать до трех часов дня. Потом подсчитаем наши ресурсы и долги. А тогда я постараюсь что-нибудь придумать. Если банки нам не помогут и Арнил со всей своей компанией захочет увильнуть, мы обанкротимся, вот и все. Но, не попытавшись спасти свою шкуру, я не сдамся, черт побери! Пусть они не помогают нам, но…

Мистер Стэкпол не знал, что, собственно, можно придумать, если Хэнд, Шрайхарт, Мэррил и Арнил не пожелают еще раз рискнуть крупной суммой, но выходил из себя при мысли, что эти господа даже пальцем не пошевельнут, если они с Хэллом пойдут ко дну. Он опять переговорил с Кафратом, Видера и Бэйли, но те остались непреклонны. Удрученный Стэкпол нахлобучил свою широкополую соломенную шляпу и вышел на улицу. В тени было девяносто шесть градусов по Фаренгейту. От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой жар, как в турецкой бане. Ни дуновенья ветерка. Белесо-голубое небо словно выгорело от зноя, и залитые солнцем стены высоких зданий слепили глаза.

Мистер Хэнд в своей конторе, занимавшей чуть ли не весь седьмой этаж в Рукери-билдинг, изнемогал от жары и тягостных мыслей. Человек отнюдь не такой уж скупой или скаредный, он тем не менее из всех земных бед болезненнее всего переживал свои финансовые неудачи. Слишком часто приходилось ему видеть, как сильных и неглупых людей из-за какой-нибудь случайности или просчета, словно ненужный хлам, выбрасывали на свалку. После измены жены Хэнд почти ничем не интересовался, кроме умножения своего капитала, состоявшего из акций и облигаций полусотни всевозможных компаний. И все эти компании должны были давать, давать, давать непрерывно возрастающий доход, — все до единой. Даже мысль, что какая-нибудь из них может потерпеть крах или ввести его в убыток, вызывала в Хэнде почти физическое чувство беспокойства и неудовлетворенности, нечто похожее на душевную и нравственную тошноту, которую он испытывал до тех пор, пока трудность не была, наконец, преодолена. Хэнд не умел мириться с неудачами.

Между тем положение с «Американской спичкой» становилось настолько угрожающим, что могло хоть кого привести в отчаяние. Не говоря уже о пятнадцати тысячах акций, которые господа Хэлл и Стэкпол в самом начале отложили для себя, Хэнд, Арнил, Шрайхарт и Мэррил приобрели каждый по пяти тысяч акций из расчета сорок долларов за штуку, затем для поддержания курса вынуждены были купить еще примерно столько же по цене уже от ста двадцати до двухсот двадцати долларов, причем большая часть была куплена по двести двадцать. Сам Хэнд попался почти на полтора миллиона, и немудрено, что у него на сердце скребли кошки. В пятьдесят семь лет человек, привыкший к постоянному успеху в делах и славящийся своим безошибочным коммерческим нюхом, поневоле начинает бояться неудач или ударов судьбы. Всякий промах может вызвать нежелательные толки о притуплении способностей, об отсутствии прежней хватки. Итак, в этот жаркий августовский день Хэнд, укрывшись у себя в кабинете, сидел в глубоком резном кресле красного дерева и предавался невеселым размышлениям. Еще сегодня утром, предвидя неминуемое падение курса, он готов был выбросить свои акции на биржу, но тут ему позвонили Арнил и Шрайхарт, которые предложили собраться и обсудить положение, прежде чем что-либо предпринимать. Нет, завтра при любых условиях, если только Стэкпол и Хэлл не придумают способа поддержать курс без его участия, он выйдет из игры и покончит со всей этой историей. Хэнд обдумывал, как лучше это устроить, когда явился Стэкпол — бледный, расстроенный, потный.

— Ну, мистер Хэнд, — проговорил он устало, — я сделал все, что в моих силах. До сих пор Хэлл и я поддерживали курс. Вы ведь знаете, что произошло сегодня утром на бирже между десятью и одиннадцатью. Наша песенка спета. Мы отдали последний доллар и заложили последнюю акцию. И мое состояние и состояние Хэлла ушло на это все без остатка. Кто-то из неизвестных нам акционеров, а может быть и целая группа, выбивает почву у нас из-под ног. Четырнадцать тысяч акций с десяти утра! Что тут можно добавить? Мы ничего больше сделать не в состоянии, если только вы, мистер Арнил, и другие не согласитесь пойти на большие жертвы, чем шли до сих пор. Если бы вы могли между собой договориться и взять еще пятнадцать тысяч акций…

Стэкпол замолчал, ибо мистер Хэнд внушительно поднял толстый указательный палец.

— Хватит, — произнес он строго. — Всему есть предел. Я лично не рискну больше ни одним долларом. Лучше выброшу все свои акции на рынок и возьму за них что дадут. Я уверен, что и Арнил и другие думают совершенно так же.

Предпочитая действовать наверняка, Хэнд заложил почти все свои акции в различных банках, чтобы освободить деньги для других операций, и никогда бы не посмел выбросить их разом на рынок, хотя бы уже потому, что должен был оплатить банкам ту сумму, по которой бумаги были приняты в заклад. Но припугнуть Стэкпола не мешало.

Стэкпол тупо уставился на мистера Хэнда.

— Что ж, — сказал он, — тогда мне остается только вывесить на дверях конторы объявление. Мы купили четырнадцать тысяч акций, поддержали курс, но платить за них нам нечем. Если банки или какой-нибудь маклер нас не выручат, мы прогорели.

Хэнд сразу понял, что если Стэкпол выполнит свое намерение, он потеряет свои полтора миллиона, и заколебался.

— Вы были во всех банках? — осведомился он. — Что вам сказал Лоренс из «Прери-Нейшнл»?

— Все они в таком же положении, как и вы, — с ожесточением отвечал Стэкпол. — Не хотят и не могут ничего больше взять. Во всем виновата эта проклятая агитация за свободную чеканку серебра. Бумаги вполне надежные. Через несколько месяцев они себя оправдают. Это несомненно.

— Вы так полагаете? — кисло заметил мистер Хэнд. — Все зависит от того, что будет в ноябре (он имел в виду предстоящие президентские выборы).

— Да, я знаю, — вздохнул мистер Стэкпол, убеждаясь, что ему противостоит не теория, а весьма конкретное обстоятельство. И, сжав здоровенный кулачище, воскликнул: — Черт бы побрал этого проходимца! (Стэкпол подразумевал «апостола серебра».) Все это из-за него! Ну, раз ничего нельзя сделать, так я, пожалуй, пойду. Попытаюсь все-таки заложить кому-нибудь акции, которые мы сегодня купили. Если мы получим за них по сто двадцать долларов, это все-таки хоть что-то.

— Совершенно справедливо, — отвечал Хэнд. — Желаю вам успеха. Но я лично бросаться деньгами больше не могу. Почему бы вам не сходить к Шрайхарту или Арнилу? Я с ними говорил, положение у них примерно такое же, как у меня, но если они согласны обсудить вопрос, то и я не прочь. Сейчас я, правда, не вижу еще никакого выхода, но, может быть, все вместе мы и найдем способ предотвратить завтрашнее избиение. Не знаю. Если, конечно, курс не упадет катастрофически.

Мистер Хэнд думал о том, что, быть может, удастся заставить Хэлла и Стэкпола отдать все оставшиеся у них акции по пятидесяти или даже по сорока центов за доллар. Тогда, если банки примут в заклад эти бумаги у него, Шрайхарта и Арнила и

продержат какое-то время, пока не представится возможность более или менее выгодно продать их, они возместят хоть часть своих убытков. Надо думать, что местные банки все же побоятся ослушаться приказа «могущественной четверки» и уж как-нибудь поднатужатся и изыщут средства. Но как все это устроить? Вот вопрос.

Шрайхарт так упорно и настойчиво расспрашивал Стэкпола, когда тот явился к нему, что в конце концов выпытал у него правду относительно его визита к Каупервуду. У Шрайхарта самого рыльце было в пушку, ибо в этот самый день, тайком от своих компаньонов, он сбыл на бирже две тысячи акций «Американской спички». Вполне естественно, что ему хотелось узнать, подозревают ли об этом Стэкпол и другие участники соглашения. Потому-то он и подверг Стэкпола самому тщательному допросу, а тот, лишь бы достичь своей цели, охотно во всем покаялся. По его мнению, то обстоятельство, что ни один из «четверки» палец о палец не ударил, чтобы его выручить, служило ему достаточным оправданием.

— Почему же вы пошли к нему? — воскликнул Шрайхарт, изображая на лице изумление и досаду, которые он если и чувствовал, то совсем по другому поводу. — Ведь мы с самого начала договорились: Каупервуда ни при каких условиях к этому делу не привлекать. С таким же успехом вы могли обратиться за помощью к дьяволу. — В то же время он думал про себя: «Как это кстати!» Поступок Стэкпола мог служить не только ширмой для его, Шрайхарта, хитроумной сегодняшней махинации, но, если на то будет воля «четверки», и превосходным предлогом, чтобы развязаться с попавшими в беду господами Хэллом и Стэкполом.

— Дело в том, что в прошлый четверг у меня было на руках пятнадцать тысяч акций и надо было достать под них деньги, — несколько смущенно и вместе с тем вызывающе отвечал Стэкпол. — Ни вы, ни Хэнд, ни Арнил не пожелали эти акции взять. О банках и говорить нечего. Я на всякий случай позвонил Рэмбо, и он направил меня к Каупервуду.

В действительности Стэкпол отправился к Каупервуду по собственному почину, но сейчас это маленькое отклонение от истины представлялось ему необходимым.

— Рэмбо! — фыркнул Шрайхарт. — Приспешник Каупервуда, как и все остальные. Вот уж нашли к кому обратиться. Ну, теперь я прекрасно понимаю, откуда взялись эти акции. Каупервуд или его приятели предали нас. Этого следовало ожидать. Он нас ненавидит. Так вы говорите, что исчерпали все возможности? И ничего больше не можете придумать?

— Ничего, — уныло отвечал Стэкпол.

— Плохо. Вы, конечно, поступили весьма опрометчиво, обратившись к Каупервуду. Но посмотрим, нельзя ли еще как-нибудь помочь делу.

У Шрайхарта, как и у Хэнда, был план: заставить Хэлла и Стэкпола отдать за бесценок все свои акции банкам. Тогда, с помощью некоторого нажима, можно будет убедить банки продержать бумаги, которые он сам, Хэнд и другие заложили у них, до тех пор, пока трест не будет реорганизован на новых, более доходных началах. В то же время Шрайхарт злился, что Каупервуд, благодаря счастливому стечению обстоятельств, опять, по-видимому, сорвал огромный куш. В том, что произошло сегодня на бирже, несомненно замешан этот тип. Как только Стэкпол ушел, Шрайхарт позвонил Хэнду и Арнилу и предложил встретиться, а через час все трое вместе с Мэррилом уже сидели в кабинете Арнила, обсуждая неприятную новость. К концу дня этих джентльменов стало все больше и больше одолевать беспокойство. Не то чтобы убытки, связанные с крахом «Американской спички», грозили кому-нибудь из них разорением, но неблагоприятное впечатление от такого грандиозного банкротства — в двадцать миллионов долларов, тень, которую оно могло набросить на их доброе имя и славу Чикаго как финансового центра, — вот что их пугало и заставляло призадуматься. И вдобавок, на этом еще нажился Каупервуд. Хэнд и Арнил выругались сквозь зубы, узнав о трюке Каупервуда, а Мэррил, как всегда, подивился его ловкости. Он поневоле любовался этим человеком.

Кто не гордится родным городом! Среди членов всякой преуспевающей общины мало найдется людей, в груди которых не теплилось бы это чувство, и чаще всего оно проявляется именно в трудную минуту. Четверо собравшихся джентльменов не составляли в этом смысле исключения. Шрайхарт, Хэнд, Арнил и Мэррил принимали близко к сердцу и добрую славу Чикаго и свою репутацию солидных дельцов в глазах финансистов Восточных штатов. Самолюбие их страдало при мысли, что созданный ими крупнейший трест, не уступающий по размаху тем гигантам, что возникали в Нью-Йорке и некоторых других городах, постигнет безвременная кончина. Финансовый мир Чикаго должен быть по возможности избавлен от такого позора. Поэтому, когда явился разгоряченный и взволнованный Шрайхарт и подробно рассказал все, что узнал от Стэкпола, его выслушали с напряженным вниманием.

Был шестой час, солнце еще палило вовсю, но стены зданий на противоположной стороне улицы уже окрасились в прохладный серый цвет, а местами на них легли черные пятна тени. В комнату врывался городской шум: пронзительные голоса мальчишек-

газетчиков, продававших экстренный выпуск, шаги спешивших домой пешеходов, резкие звонки трамваев — трамваев Каупервуда.

— Вот что я вам скажу, — произнес в заключение Шрайхарт. — Мы слишком долго терпели этого негодяя и его вмешательство в ваши дела. Разумеется, ни Хэлл, ни Стэкпол не имели никакого права к нему обращаться. Они и себя и нас поставили под удар, который и не замедлил на нас обрушиться. — Мистер Шрайхарт в своем праведном гневе был язвителен, холоден, неумолим.

— Но всякий состоятельный человек нашего круга, — продолжал он, — конечно, счел бы своим долгом предварительно переговорить с нами, предоставив нам или по крайней мере нашим банкам возможность выкупить эти бумаги. Нам пошли бы навстречу, щадя доброе имя Чикаго. При теперешнем положении дел Каупервуд не имел морального права выбрасывать эти акции на рынок. Он прекрасно знал, что повлечет за собой крах «Американской спички». Пострадает чуть ли не весь город, но какое до этого дело Каупервуду. Мистер Стэкпол уверяет, что у него была твердая договоренность с Каупервудом, или, вернее, с теми лицами, которые действовали по его поручению, что ни одна акция «Американской спички» из этой партии не попадет на рынок. А я беру на себя смелость утверждать, что в настоящую минуту в сейфах этих господ не осталось ни одной акции. Я в какой-то мере готов еще извинить беднягу Стэкпола, он действительно находился в очень затруднительном положении. Но для мошеннической проделки Каупервуда нет и не может быть никаких оправданий. Это грабитель с большой дороги, как я с самого начала и говорил. И нам следует подумать о том, чтобы положить конец его карьере здесь, в Чикаго.

Мистер Шрайхарт вытянул толстые ноги, поправил мягкий отложной воротничок и провел рукой по коротким, жестким усам, в которых уже пробивалась седина. В его черных глазах горела непримиримая ненависть к Каупервуду.

И тут Арнил, казалось бы без всякой связи с предыдущим, спросил:

— А знает ли кто-нибудь из вас, каково финансовое положение Каупервуда в настоящее время? Всем нам известно о его Северо-Западной надземной дороге и дороге на Лейк-стрит. Кроме того, я слышал, что он строит себе дом в Нью-Йорке, — это тоже должно стоить ему немало. Чикагский центральный банк предоставлял ему в разное время ссуды общей сложностью тысяч на четыреста. Но кому он еще должен?

— Он должен «Прери-Нейшнл» двести тысяч, — поспешил сообщить Шрайхарт.

— Я слышал и о других займах, но не помню сейчас, кто его кредитовал.

Мистер Мэррил, большой дипломат, изысканный и щеголеватый, словно парижанин, беспокойно заерзал в кресле и поглядел на своих собеседников хитрым, но отнюдь не свидетельствовавшим о воинственных намерениях взглядом. Хотя у него тоже имелся зуб против Каупервуда — тот в свое время отказался провести свою дорогу мимо магазина Мэррила, — он с интересом наблюдал за успехами этого дельца, и ему претила мысль участвовать в каком-то заговоре против него. Однако, поскольку он уже присутствовал на этом совещании, отмалчиваться было неловко.

— Мой финансовый агент, мистер Хилл, не так давно ссудил мистеру Каупервуду несколько сот тысяч, — произнес он, наконец, довольно нерешительно. — Вероятно, у него есть немало и других долгов.

Мистер Хэнд нетерпеливо пошевелился.

— Каупервуд и Третьему национальному и «Лейк-Сити» должен столько же, если не больше, — сказал он. — Я знаю, где он взял еще полмиллиона долларов, о которых здесь никто не упоминал: у полковника Баллингера двести тысяч и столько же у Энтони Иуэра. Потом в Торгово-скотопромышленном банке никак не меньше ста пятидесяти тысяч.

Арнил тут же прикинул в уме, что Каупервуд, таким образом, задолжал по онкольным ссудам примерно три миллиона.

— Это еще не все данные, — сказал он веско и неторопливо. — Нам следует переговорить сегодня вечером с председателями правлений наших банков и дополнить картину. Я не хочу проявлять жестокость по отношению к кому бы то ни было, но наше собственное положение очень серьезно. Если мы не примем неотложных мер, «Хэлл и Стэкпол» завтра обанкротятся. Все мы, конечно, в долгу у наших банков, и наша святая обязанность по мере сил помочь им. В какой-то степени здесь затронута честь Чикаго и его репутация крупного финансового центра. Как я уже говорил мистеру Стэкполу и мистеру Хэллу, я лично в это дело больше ничего вложить не могу. Вероятно, и вы находитесь в таком же положении. В настоящих условиях мы можем только рассчитывать на банки, а они, по-видимому, выдали так много ссуд под ценные бумаги, что теперь сами испытывают финансовые затруднения. Во всяком случае так обстоит дело с «Лейк-Сити-Нейшнл» и кредитным обществом «Дуглас».

— Так обстоит дело почти со всеми банками, — вставил Хэнд.

Шрайхарт и Мэррил кивнули, подтверждая его слова.

— Насколько я знаю, у нас нет никаких обязательств в отношении мистера Каупервуда, — продолжал Арнил после краткой, но многозначительной паузы. — Как справедливо указал сегодня мистер Шрайхарт, он пользуется любым случаем, чтобы навредить нам. По-видимому, он еще не сумел вернуть банкам ссуды, о которых здесь упоминалось. Почему бы не востребовать их сейчас? Это укрепит местные банки, и тогда они, вероятно, смогут прийти нам на помощь. Впрочем, Каупервуд в настоящее время вряд ли в состоянии погасить свою задолженность.

Мистер Арнил лично не чувствовал к Каупервуду особой неприязни. Но Хэнд, Мэррил и Шрайхарт были его друзьями и видели в нем главу финансовых кругов города. Возвышение Каупервуда, его наполеоновские замашки ставили под угрозу престиж Арнила. Он говорил, ни на кого не глядя, и усиленно барабанил пальцами по столу. Остальные трое, не сводя с него глаз, напряженно слушали, прекрасно понимая, куда он клонит.

— Блестящая, поистине блестящая мысль! — воскликнул Шрайхарт. — Я за любое предложение, которое позволит нам избавиться от этого субъекта. Как говорится, нет худа без добра. Если бы не создавшаяся теперь обстановка, неизвестно, сколько бы нам еще пришлось его терпеть. И во всяком случае требование о возврате ссуд поможет нам справиться с затруднениями.

— Я считаю эту меру правильной, — заметил Хэнд. — На таких условиях я готов поддержать «Хэлла и Стэкпола».

— Я тоже не возражаю, — сказал Мэррил. — Мне только кажется, — добавил он, — что любое наше решение должно быть предано широкой гласности.

— Что ж, давайте пригласим сюда банкиров, — предложил Шрайхарт, — узнаем точно, сколько и кому должен Каупервуд и какие потребуются суммы на то, чтобы поддержать «Хэлла и Стэкпола». Вот тогда мы и поставим Каупервуда обо всем в известность.

Хэнд утвердительно кивнул и поглядел на свои большие, безвкусно гравированные золотые часы.

— Я думаю, — сказал он, — что мы, наконец, нашли выход из положения. Предлагаю также вызвать Кандиша и Крамера (он имел в виду председателя и секретаря фондовой биржи), а также Симса из кредитного общества «Дуглас», тогда мы быстро выясним положение.

Решено было собраться в библиотеке Арнила. Зазвонили телефоны, полетели телеграммы, во все стороны помчались рассыльные. Сателлиты четырех финансовых светил и сторожевые псы местных казначейств созывались, чтобы приложить руку к этому принятому втайне решению, ибо никто не сомневался, что они не посмеют ослушаться.

49. СОВЕТ ОЛИМПИЙЦЕВ

В восемь часов вечера, когда должно было состояться совещание, весь финансовый мир Чикаго пришел в великое волнение. Шутка ли — сами господа Хэнд, Шрайхарт, Мэррил и Арнил забили тревогу! Ровно в половине восьмого зацокали подковы, и элегантные, нарядные экипажи, звеня упряжью, стали подъезжать к солидным особнякам, чтобы доставить оттуда к дому мистера Арнила председателя или по меньшей мере члена правления того или иного банка, спешащих на зов могущественной четверки. Такие видные горожане, как Сэмюэл Блэкмен, бывший председатель правления старой Чикагской газовой, а ныне член правления банка «Прери-Нейшнл»; Хадсон Бейкер, бывший председатель Западной газовой компании, ныне член правления Чикагского центрального банка; Ормонд Рикетс, издатель «Кроникл» и член правления кредитного общества «Дуглас»; Уолтер Райзем Коттон, когда-то крупный комиссионер, ныне директор многочисленных и разнообразных предприятий, — все направлялись к вышеозначенной резиденции. То была внушительная процессия серьезных, торжественных, глубокомысленных и спесивых джентльменов, чрезвычайно озабоченных тем, какое впечатление произведет их появление и вид на всех прочих. Надо признаться, что никто так не кичится внешними проявлениями богатства, как тот, кто недавно это богатство приобрел. Новоявленные богачи, олицетворяющие собой силу капитала и почитающие себя столпами общества, прилагают все усилия к тому, чтобы внушить к себе почтение хотя бы своими манерами и осанкой, если они не располагают для этого никакими другими средствами. Итак, душным летним вечером все вышепоименованные лица и многие другие, числом до тридцати, с важным видом подкатили в своих экипажах к большому комфортабельному особняку мистера Тимоти Арнила. Сам хозяин еще не прибыл и не мог встретить гостей; точно так же не появлялись еще господа Шрайхарт, Хэнд и Мэррил. Столь могущественным особам, быть может, и не подобало в подобных случаях лично приветствовать своих подданных. В это время каждый из них еще находился у себя в конторе и продумывал заключительные детали совместно разработанного плана, который надлежало преподнести собравшимся как некое внезапное озарение. Пока что гости были предоставлены сами себе. К их услугам имелись вина и разные прохладительные напитки, но им, по правде говоря, было не до того. Вешалка для шляп пустовала; собравшиеся почему-то предпочитали держать свои головные уборы при себе. Вся эта компания, рассевшаяся на покрытых чехлами стульях, расставленных вдоль обшитых деревянными панелями стен,

представляла собой довольно пестрое и небезынтересное зрелище. Стэкпол и Хэлл, для гальванизации чьих трупов и было созвано это высокоторжественное собрание, не присутствовали в зале заседания, но находились в другой части дома, откуда их в любую минуту можно было вызвать, если бы потребовался их совет или разъяснения. Надутые и важные, похожие на старых сов, сидели здесь те, что почитались самыми блестящими финансовыми умами города, сидели в тревожном предчувствии надвигавшегося на них краха. До появления мистера Арнила слышался лишь сдержанный гул голосов — шел обмен последними слухами.

— Да не может быть!

— Неужели даже до того дошло?

— Я знал, что дела у них пошатнулись, но чтобы до такой степени! Кто бы мог подумать?

— Какая удача, что мы не держали их акций! (Это можно было услышать из уст весьма немногих счастливцев.)

— Да, положение серьезно.

— Что и говорить!

— Ну и дела!

И ни слова осуждения по адресу господ Хэнда и Шрайхарта или Арнила и Мэррила, хотя всем и каждому было известно, какую роль они во всем этом сыграли. Тем не менее почему-то считалось, что эти джентльмены — благодетели, созвавшие совещание не для того, чтобы спасти свои карманы, а с единственной целью помочь ближним в тяжелую минуту. То и дело слышалось:

— Мистер Хэнд? О, это замечательный человек, замечательный!

Или:

— Мистер Шрайхарт? О, это голова, да, да, это голова!

Или:

— Уж будьте спокойны, эти люди не допустят никаких серьезных финансовых потрясений в нашем городе.

И тут же один шептал на ухо другому, что по наущению кое-кого из этой четверки многие банки стоят сейчас перед угрозой потери очень крупных сумм наличными или в бумагах. Впрочем, слух о том, что Каупервуд со своей шайкой пытается извлечь какую-то выгоду из создавшегося положения и что он вообще причастен к этому делу, еще не достиг ничьих ушей. Пока еще нет.

Ровно в половине девятого, с видом крайне непринужденным и неофициальным, в зале появился мистер Арнил, а вслед за ним, по очереди, — Хэнд, Шрайхарт и Мэррил. Один потирал руки, другой прикладывал ко лбу платок, но все четверо старались в этих щекотливых обстоятельствах придать себе как можно более уверенный и беспечный вид. Среди присутствующих нашлось немало добрых друзей и знакомых, с которыми надо было обменяться приветствиями, справиться о здоровье жены и детей. Мистер Арнил с пальмовым листом вместо веера в руке, в чесучовом костюме и белой шелковой сорочке в бледно-лиловую полоску, был вполне свеж и бодр. В его массивной шее и мощном торсе было что-то отечески-успокоительное, что-то надежное и патриархальное. На круглой блестящей лысине мелкими бисеринками серебрился пот. Мистер Шрайхарт, напротив, несмотря на жару, был сух, прям, тверд и словно вытесан из большого куска какого-то темного сучковатого дерева. Мистер Хэнд, дородностью и телосложением весьма напоминавший мистера Арнила, но еще более грузный и еще более внушительный, облекся ради такого случая в синий саржевый пиджак и клетчатые брюки кричащей, почти легкомысленной расцветки. Его багровое, апоплектическое лицо было серьезно и вместе с тем сияло воодушевлением, словно он хотел сказать: «Мои дорогие чада! Вам предстоит тяжкое испытание, но мы сделаем все, что в наших силах, дабы его облегчить». Мистер Мэррил хранил надменный и лениво-скучающий вид — в той мере, в какой это допустимо для столь крупного коммерсанта. Двое-трое из присутствующих удостоились легкого пожатия его бледной, прохладной руки, остальным пришлось удовольствоваться молчаливым кивком или улыбкой. На долю мистера Арнила, как самого видного и богатого из граждан Чикаго, выпала честь (со всеобщего единодушного согласия) занять монументальное председательское кресло, стоявшее во главе стола.

По залу пробежал шепот, когда мистер Арнил, после настоятельного приглашения со стороны мистера Шрайхарта, прошел вперед и занял вышеупомянутое кресло. Все прочие великие мужи тоже расселись по местам.

— Итак, джентльмены, — начал мистер Арнил сухо и деловито (голос у него был очень густой и хриплый), — я буду краток. Обстоятельства, которые заставили нас собраться сегодня здесь, весьма необычны. Всем вам, я полагаю, известно, что произошло с мистером Хэллом и мистером Стэкполом. «Американской спичке» грозит крах — и не позже как завтра утром, если сегодня же не будут приняты какие-то экстренные меры. Это совещание созвано по инициативе правлений некоторых банков и отдельных предпринимателей.

Мистер Арнил говорил негромко и держался неофициального тона — казалось, будто он, развалясь в кресле-качалке, ведет интимную беседу с кем-то из своих друзей.

— Крах «Американской спички», — заявил мистер Арнил, — если нам не удастся его предотвратить, поставит в чрезвычайно затруднительное положение как некоторые банки, так и отдельных держателей акций, и мы, я полагаю, должны принять все меры к тому, чтобы этого избежать. Основными кредиторами «Американской спички» являются местные банки и кое-кто из наших коммерсантов, предоставлявших этой фирме денежные ссуды под залог ее акций. У меня имеется точный список этих банков и частных лиц, с указанием выданных ими ссуд — всего на сумму около десяти миллионов долларов.

Мистер Арнил даже не потрудился объяснить, где он мог раздобыть такой список; с бессознательным высокомерием богача и местного воротилы он спокойно полез в карман, извлек оттуда какую-то бумажонку и положил ее перед собой. Все были заинтригованы: чьи имена стоят в списке? Какие суммы? Намеревается ли мистер Арнил огласить список?

— Теперь, — солидно и важно продолжал мистер Арнил, — я хочу сообщить собравшимся, что мистер Шрайхарт, мистер Мэррил, мистер Хэнд и я сам имеем кой-какие вклады в этом предприятии и до сегодняшнего вечера считали своим долгом — не столько в наших личных интересах, сколько в интересах банков, принимавших акции «Американской спички» в качестве обеспечения, а также и в интересах города в целом, — всеми возможными средствами поддерживать курс. Мы верили в мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Мы могли бы действовать так и впредь, будь у нас хоть малейшая надежда, что остальные держатели смогут сохранить у себя акции, не понеся при этом большого урона, однако последние события убедили нас, что им это вряд ли удастся. Если раньше мистер Хэлл и мистер Стэкпол, так же как и представители некоторых банков, имели основание подозревать, что некое лицо, играя на понижение, старается выбить у них почву из-под ног, то теперь это окончательно подтвердилось. Мы сочли необходимым созвать сегодняшнее совещание, ибо только наши объединенные усилия могут в нынешних условиях спасти город от весьма тяжелых финансовых потрясений. Акции будут по-прежнему выбрасываться на рынок. Возможно, что Хэллу и Стэкполу придется частично ликвидировать свое предприятие. Одно несомненно: если к утру не будет собрана весьма солидная сумма для покрытия тех платежей, которые предстоят завтра Хэллу и Стэкполу, их ждет банкротство. «Серебряная агитация» косвенным образом сыграла здесь, конечно, свою роль, но основную причину всех затруднений «Американской спички» и тяжелого финансового положения, в котором все мы оказались, следует искать в раскрытых нами недавно жульнических проделках одного лица. Я не считаю нужным что-либо замалчивать. Все это — дело рук одного человека, Каупервуда. «Американская спичка» справилась бы со своими затруднениями и городу не угрожало бы сейчас никакой опасности, если бы господа Хэлл и Стэкпол не совершили роковой ошибки, обратившись за поддержкой к этому субъекту.

Мистер Арнил сделал паузу, и мистер Нори Симс, наиболее экспансивный из всех, негодующе воскликнул:

— Ах, мерзавец!

Возмущенный ропот прозвучал как аккомпанемент к его словам, и все взволнованно заерзали на стульях.

— Как только мистер Каупервуд получил акции упомянутой компании в виде обеспечения под выданную им ссуду, — раздельно произнес мистер Арнил, — он тотчас начал крупными партиями выбрасывать их на рынок, невзирая на принятое на себя обязательство не продавать ни единой акции. Вот чем объясняется тот ажиотаж, который наблюдался на бирже вчера и сегодня. Свыше пятнадцати тысяч акций «Американской спички» были выброшены на рынок, и есть все основания предполагать, что продает их одно лицо, а в результате «Американская спичка» и господа Хэлл и Стэкпол стоят на краю банкротства.

— Негодяй! — снова воскликнул мистер Нори Симс, несколько даже привстав с места. Кредитное общество «Дуглас» имело немало причин тревожиться за судьбу «Американской спички».

— Какое бесстыдство! — завопил мистер Лоуренс из банка «Прери-Нейшнл», которому падение курса грозило потерей трехсот тысяч долларов на одних только принятых в заклад акциях. Этому банку Каупервуд, кстати сказать, был должен не меньше трехсот тысяч долларов по онкольным ссудам.

— Да уж будьте уверены, без его сатанинских происков тут дело не обошлось, — заявил мистер Джордан Джулс, которому никак не удавалось хоть сколько-нибудь преуспеть в своей борьбе против Каупервуда в муниципалитете и хоть немного

продвинуть там дела Общечикагской городской. Чикагский центральный, во главе которого он в настоящее время стоял, тоже был одним из тех банков, чьими услугами Каупервуд пользовался весьма широко для получения ссуд.

— Жаль, что ему все еще позволяют заниматься своими грязными делами в нашем городе, — заметил мистер Сандерленд Слэд сидевшему с ним рядом мистеру Дьюэйну Кингсленду — члену правления банка, возглавляемого мистером Хэндом.

Последний, равно как и мистер Шрайхарт, с удовлетворением отмечал про себя впечатление, произведенное на присутствующих речью мистера Арнила.

Мистер Арнил тем временем снова порылся в кармане и извлек оттуда еще один лист бумаги, который он тоже положил перед собой на стол.

— В такую минуту, как сейчас, — торжественно произнес он, — мы должны разговаривать начистоту, если хотим чего-нибудь добиться, а я полагаю, что далеко не все потеряно. Я хочу предложить вашему вниманию еще один список

— здесь перечислены ссуды, полученные мистером Каупервудом от некоторых банков и до нынешнего дня им не погашенные. Я хотел бы выяснить, — если вы найдете возможным предать это гласности, — не получало ли вышеозначенное лицо еще каких-либо ссуд, о которых нам пока неизвестно?

И мистер Арнил обвел всех торжественно-вопрошающим взглядом.

Тотчас мистер Коттон и мистер Осгуд сообщили о некоторых займах Каупервуда, не попавших в список мистера Арнила. Теперь уже каждому становилось ясно, к чему все это клонится.

— Должен вам сообщить, джентльмены, — продолжал мистер Арнил, — что я беседовал с некоторыми нашими видными дельцами, прежде чем созывать это совещание, Они целиком разделяют мое мнение: поскольку банки остро нуждаются сейчас в наличных средствах и поскольку никто не обязан охранять интересы мистера Каупервуда, все еще не погашенные им ссуды должны быть немедленно востребованы и полученные таким образом деньги обращены на поддержку тех банков и тех лиц, которые заинтересованы в судьбе мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Сам я не питаю никаких враждебных чувств к мистеру Каупервуду, то есть, я хочу сказать, что мне лично он никогда не делал зла, но, само собой разумеется, я не могу одобрить его образ действий. Добавлю: если не удастся собрать необходимую сумму, чтобы дать вам, джентльмены, возможность обернуться, последует еще ряд банкротств. Многим банкам предстоит выдержать огромный наплыв требований о возвращении вкладов. При таком положении, как сейчас, главное — это выиграть время, но мы, к сожалению, уже лишены этой возможности.

Мистер Арнил умолк и снова обвел взглядом собрание. Ответом ему послужил гул голосов — возмущенные, негодующие восклицания по адресу Каупервуда.

— Правильно, так и надо, пускай теперь расплачивается, — заявил мистер Блэкмен мистеру Слэду. — Ему слишком долго сходили с рук все его мошенничества. Пора уж положить этому предел.

— Что ж, похоже, что сегодня это будет, наконец, сделано, — отвечал мистер Слэд.

Слово взял мистер Шрайхарт.

— Я считаю, — сказал он, — что мистеру Арнилу, как председателю, следует предложить всем присутствующим высказаться, дабы собрание могло прийти к какому-то решению.

Тут поднялся мистер Кингсленд, высокий, тощий, с длинными усами, и пожелал узнать — как же все-таки это произошло? Каким образом акции «Американской спички» оказались в руках Каупервуда, и вполне ли присутствующие уверены в том, что именно Каупервуд и его клика, а никто другой, выбрасывают эти акции на рынок?

— Мне бы не хотелось, — сказал он в заключение, — совершать несправедливость по отношению к кому бы то ни было.

Тогда мистер Шрайхарт попросил председателя предоставить слово мистеру Стэкполу, дабы он мог рассеять сомнения. Часть акций была опознана с полной достоверностью. Стэкпол рассказал всю историю своих взаимоотношений с Каупервудом, и рассказ этот потряс собрание и еще сильнее восстановил всех против Каупервуда.

— Просто диву даешься, как это таким людям позволяют у нас творить что угодно, и держат они себя при этом так, точно их коммерческая репутация чиста, как стеклышко, — произнес мистер Васто, председатель правления Третьего национального, обращаясь к своему соседу.

— Я полагаю, что сегодня мы без труда придем к единодушному решению, — заявил мистер Лоуренс, председатель правления «Прери-Нейшнл», считавший себя обязанным Хэнду за различные одолжения в прошлом и в настоящем.

— Это тот случай, — вставил мистер Шрайхарт, все время выжидавший удобной минуты, чтобы высказать свои затаенные мысли, — когда непредвиденное изменение политической ситуации порождает непредвиденный кризис, а субъект, о котором идет речь, использовал этот кризис в своекорыстных целях и в ущерб всем остальным финансистам. На благосостояние города ему наплевать. На финансовое равновесие тех самых банков, которые ссужают его деньгами, ему тоже наплевать. Это отщепенец, авантюрист, и если мы не используем представившуюся нам возможность показать наше отношение к нему и к его махинациям, мы окажем очень плохую услугу и городу и самим себе.

— Джентльмены, — произнес мистер Арнил после того как все долги Каупервуда были тщательно занесены в список, — не считаете ли вы целесообразным послать за мистером Каупервудом и объявить ему как о принятом нами решении, так и о том, что побудило нас его принять? Я полагаю, все присутствующие согласятся с моим предложением. Мистер Каупервуд должен быть поставлен в известность.

— Да, да, разумеется, — подтвердил мистер Мэррил, который за этими благожелательными словами ясно видел увесистую дубинку, занесенную над головой Каупервуда.

Хэнд и Шрайхарт переглянулись и тут же перевели взгляд на Арнила; они помолчали, учтиво выжидая, не пожелает ли кто-либо высказаться, но, поскольку охотников не нашлось, Хэнд, считавший, что Каупервуду готовится неотразимый и сокрушительный удар, злорадно произнес:

— Ну что ж, можно его известить, конечно… если мы сумеем его найти. Позвоним ему — этого будет вполне достаточно. Пусть знает, что таково единодушное решение всех крупных финансистов Чикаго.

— Правильно, — одобрил мистер Шрайхарт. — Пора ему узнать, что думают о нем и о его мошеннических проделках все порядочные и состоятельные люди.

Шепот одобрения пробежал среди собравшихся.

— Прекрасно, — сказал мистер Арнил. — Энсон, вы как будто бы ближе других знакомы с ним. Может быть, вы позвоните ему по телефону и предложите приехать сюда? Скажите ему, что у нас экстренное совещание.

— Мне кажется, что внушительнее будет, если вы сами позвоните ему, Тимоти, — возразил мистер Мэррил.

Арнил, не любивший попусту тратить время, тотчас встал и направился к телефону, установленному на том же этаже, в небольшом уединенном кабинете неподалеку от зала, где происходило совещание; здесь никто не мог подслушать его разговор с Каупервудом.

В тот вечер, сидя у себя в библиотеке и просматривая новые художественные каталоги, Каупервуд против воли не раз возвращался мыслями к «Американской спичке», которой, как он понимал, наутро грозило банкротство. Через своих маклеров и агентов он был осведомлен о совещании, происходившем в это самое время в доме мистера Арнила. Днем у него уже перебывало немало банкиров и маклеров, встревоженных возможным падением акций, под которые они выдавали ссуды, а вечером камердинер то и дело докладывал, что мистера Каупервуда вызывают к телефону. Звонили — Эддисон, Кафрат, маклер Проссер, нынешний агент Каупервуда на фондовой бирже, заместивший на этом посту Лафлина, а также, что нельзя не отметить, кое-кто из служащих тех банков, руководители которых находились в этот момент на небезызвестном совещании. Если высшие должностные лица этих финансовых предприятий ненавидели Каупервуда, боялись его и ему не доверяли, то подчиненные отнюдь не разделяли этих чувств и старались путем различных мелких услуг снискать его расположение, рассчитывая впоследствии извлечь из этого немалую для себя выгоду. Раздумывая над тем, как ловко провел он своих врагов и какой нанес им удар, Каупервуд испытывал глубокое удовлетворение и внутренне усмехался. В то время как они ломали себе голову, изыскивая способы предотвратить грозящие им наутро тяжелые потери, ему оставалось только подсчитывать барыши. Когда все будет кончено, он положит в карман около миллиона чистой прибыли. Каупервуд не задумывался над тем, как жестоко поступил он с Хэллом и Стэкполом. Они все равно зашли в тупик. Он их разорил, конечно, но, не воспользуйся он этой возможностью, мистер Шрайхарт или мистер Арнил не преминули бы сделать то же самое.

Мысли о предстоящей победе на финансовом поприще перемежались у него с мыслями о Беренис. Увы, даже мозг титана не свободен от некоторых слабостей и причуд. Каупервуд думал о Беренис днем и ночью. А как-то раз даже видел ее во сне! Порой он смеялся над собой — так запутаться в сетях какой-то девочки, почти ребенка, в шелковистой паутине ее шафрановых волос! В эти дни, когда дела не позволяли ему отлучиться из Чикаго, он думал о ней беспрестанно: что она делает, у кого будет гостить там, на Востоке? О, как он был бы счастлив, если бы они были сейчас вместе — соединенные брачными узами.

На беду, летом, в Наррагансете, Беренис стала не на шутку увлекаться обществом некоего Лоуренса Брэксмара, лейтенанта морского флота, прибывшего с Портсмутской военно-морской базы в отпуск в Наррагансет. Каупервуд, приехав туда же на несколько дней, чтобы лишний раз взглянуть на своего кумира, очень встревожился, когда ему представили лейтенанта Брэксмара, и поневоле задумался о последствиях, к которым может привести знакомство Беренис с этим молодым человеком. До сих пор мысли о том, что у Беренис могут появиться молодые поклонники, как-то не беспокоили его. Без памяти влюбленный, он не хотел думать ни о чем, что могло бы стать на пути к исполнению его мечты. Беренис должна принадлежать ему. Солнечный луч, воплотившийся в облике юной, прекрасной девушки, должен осветить и согреть его жизнь. Но Беренис была так молода и так неустойчива в своих настроениях, что порой на Каупервуда нападало раздумье. Как приблизиться к ней? Как себя держать? Какие найти слова? Беренис отнюдь не была ослеплена ни его громкой известностью, ни богатством. Она проводила время среди людей, занимавших более высокое положение в свете, чем Каупервуд, даже и не подозревая, в какой мере обязана этим его щедротам. Приглядываясь к Брэксмару во время своей первой встречи с ним, Каупервуд вынужден был признать, что молодой лейтенант недурен собой, ловок и неглуп, а следовательно, его необходимо удалить от Беренис. Наблюдая за Беренис и Брэксмаром, когда они гуляли бок о бок по залитой солнцем веранде на берегу моря, Каупервуд невольно вздыхал, охваченный чувством одиночества. Неопределенность отношений с Беренис порой становилась просто невыносимой. О, как ему хотелось снова быть молодым и свободным!

Вот какие тревожные мысли смутно бродили в его мозгу, когда в половине одиннадцатого опять зазвонил телефон и чей-то густой, неторопливый бас произнес:

— Мистер Каупервуд? Говорит мистер Арнил.

— Я слушаю вас.

— Здесь, у меня собрались все крупнейшие финансовые деятели нашего города. Мы обсуждаем вопрос о мерах, необходимых для предотвращения биржевой паники. Как вам, вероятно, известно, Хэлл и Стэкпол оказались в тяжелом положении. Если сегодня им не будет оказана поддержка, завтра они обанкротятся на двадцать миллионов долларов. Все мы крайне обеспокоены — разумеется, не столько предстоящим крахом этой фирмы, сколько тем, как он отразится на состоянии банков и биржи. Все это, как я понимаю, имеет прямое касательство к ссудам, полученным вами из различных банков. Лица, здесь присутствующие, уполномочили меня просить вас, если вам будет угодно, прибыть на наше совещание, дабы мы могли решить сообща, что сейчас следует предпринять. Какие-то весьма радикальные меры должны быть приняты до наступления утра.

Пока мистер Арнил говорил, мозг Каупервуда работал, как хорошо налаженный механизм.

— А при чем здесь полученные мною ссуды? — спросил он. Голос его звучал вкрадчиво. — Какое имеют они ко всему этому отношение? Я не должен Хэллу и Стэкполу ни полцента.

— Нам это известно. Но очень многие банки обременены вашими обязательствами. Существует мнение, что часть ваших ссуд, значительная часть, должна быть погашена, если… если сегодня не будут изысканы какие-то другие средства для предотвращения катастрофы. Мы полагали, что вы, по всей вероятности, захотите приехать и обсудить с нами этот вопрос. Быть может, вы сумеете предложить какой-либо другой выход?

— Вот оно что, — насмешливо сказал Каупервуд. — Вы решили пожертвовать мною и спасти Хэлла и Стэкпола. Так ли я вас понял?

Он прищурился, словно мистер Арнил стоял перед ним, и в глазах его сверкнул зловещий огонек.

— Ну, не совсем так, — уклончиво отвечал мистер Арнил. — Но какие-то шаги мы должны предпринять. А потому, не считаете ли вы, что вам все-таки лучше прибыть на наше совещание?

— Отлично, — весело сказал Каупервуд. — Я приеду. Такие вопросы по телефону, конечно, решать не следует.

Он повесил трубку и приказал закладывать кабриолет.

По дороге он радовался своей дальновидности, которая побудила его сохранить в надежных сейфах Чикагского кредитного несколько миллионов долларов в государственных облигациях, приносивших низкий процент. На худой конец, их можно будет заложить. Господа заговорщики получат, наконец, возможность убедиться в том, как он силен и как мало он их боится.

Через несколько минут он подъехал к дому мистера Арнила. В легком летнем костюме, с соломенной шляпой, украшенной сине-белой лентой, в щегольских ботинках из тончайшей кожи, Каупервуд казался олицетворением успеха и уверенности в себе. Войдя в зал, где происходило совещание, он окинул собравшихся неустрашимым, львиным взглядом.

— Добрый вечер, джентльмены, — произнес он, направляясь к стулу, на который ему указал мистер Арнил. — Недурная погодка для совещания. Мне еще никогда не доводилось видеть такого количества соломенных шляп на чьих-либо похоронах. Насколько я понимаю, сегодня вы собрались здесь, чтобы похоронить меня. Итак, чем могу служить?

Он улыбнулся весело и учтиво, и улыбка эта на устах всякого другого не замедлила бы вызвать ответные улыбки. Но на устах Каупервуда она означала сознание своей силы и превосходства и вызвала в ответ только гнев и мстительную ненависть, которые отразились на лицах большинства присутствующих. Никто не ответил на его приветствие, слышен был только раздраженный скрип стульев. Те, кто знал его лично, как, например, господа Мэррил, Лоуренс, Симс, ограничились лишь небрежным кивком и весьма недружелюбным взглядом.

— Что ж, я слушаю вас, джентльмены, — сказал Каупервуд, нарушая воцарившееся в зале зловещее молчание, и посмотрел на демонстративно отвернувшегося от него Хэнда и уставившегося в потолок Шрайхарта.

— Мистер Каупервуд, — спокойно начал мистер Арнил, нимало не обескураженный самоуверенным видом своего врага, — как я уже говорил вам, это совещание созвано с целью предотвратить, если это окажется возможным, грозящую нам завтра биржевую панику, которая чревата весьма тяжелыми последствиями. Хэлл и Стэкпол на краю краха. Не погашенные ими ссуды составляют значительную сумму — семь-восемь миллионов долларов по одному Чикаго. Вместе с тем у них имеется актив в виде акций «Американской спички» и другого имущества, вполне достаточный, чтобы они могли продержаться при условии, если банки не потребуют покрытия задолженности. Но, как вам, вероятно, известно, акции сейчас падают и банки остро нуждаются в наличных средствах. Необходимо принять срочные меры. Досконально обсудив создавшееся положение, мы единодушно пришли к выводу, что полученные вами ссуды — это та статья актива, которая может быть наиболее быстро реализована банками. Мистер Шрайхарт, мистер Мэррил, мистер Хэнд и я до последней минуты делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, но теперь нам стало известно, что кто-то, получив в заклад от Хэлла и Стэкпола акции «Американской спички», усиленно выбрасывает их на рынок с целью посеять панику. У нас есть средства оградить себя от повторения подобных трюков (тут мистер Арнил посмотрел в упор на Каупервуда), но в настоящую минуту нам требуются наличные средства, а ссуды, полученные вами, — наиболее крупные и легко реализуемые из всех. Считаете ли вы возможным погасить их не позднее завтрашнего утра?

Арнил умолк, не сводя тяжелого взгляда с Каупервуда, и только слегка помаргивал своими колючими голубыми глазками, а все прочие дельцы, словно стая голодных волков, в полной тишине пожирали глазами свою жертву, с виду еще жизнеспособную, но уже явно обреченную на заклание. Каупервуд, отчетливо сознавая, какой ненавистью и враждой он здесь окружен, бесстрашно оглянулся кругом. Он держал в руках свою соломенную шляпу и небрежно похлопывал ею по колену. Кончики его усов задорно и надменно топорщились.

— Да, я могу погасить свои ссуды, — не задумываясь, отвечал он. — Однако не советую ни вам, ни кому-либо из присутствующих требовать, чтобы я их сейчас погасил. — В голосе его, невзирая на беспечный тон, каким сказаны были эти слова, прозвучали угрожающие нотки.

— А почему, собственно, разрешите узнать? — спросил Хэнд, грузно поворачиваясь на стуле и мрачно глядя на Каупервуда из-под насупленных бровей. — Вы, думается мне, сослужили не очень-то хорошую службу Хэллу и Стэкполу? — Лицо его побагровело.

— А потому, — сказал Каупервуд, улыбаясь и словно не замечая намека на его бесчестный трюк, — а потому, что я знаю, зачем созвано это совещание. Все эти джентльмены, которые сидят, словно воды в рот набрав, — просто пешки в ваших руках, мистер Хэнд, и в ваших, мистер Арнил, мистер Шрайхарт и мистер Мэррил. Я знаю, как вы спекулировали на акциях «Американской спички» и сколько вы на этом потеряли. А теперь, чтобы спасти себя от дальнейших потерь, вы решили принести меня в жертву. Так вот, имейте в виду, — тут Каупервуд поднялся, и его статная фигура теперь возвышалась над всеми, — вам это не удастся. Я не стану таскать для вас каштаны из огня, и сколько бы вы ни созывали своих приспешников на совещания, вам меня к этому не принудить. Хотите знать, что делать? Я вам скажу. Закройте завтра с утра чикагскую биржу и держите ее под замком в течение нескольких дней. Предоставьте Хэлла и Стэкпола их судьбе или поддержите их, у вас четверых хватит на это средств. А нет, так хватит у ваших банков. Но если завтра хоть одна из взятых мною ссуд будет востребована, прежде чем я пожелаю оплатить ее, я выпотрошу все банки в Чикаго. Вот тогда у вас действительно будет паника, такая, какая вам и не снилась. Всего наилучшего, джентльмены.

Каупервуд вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и быстро направился к двери, надевая на ходу шляпу. Он уже легко сбегал по широкой лестнице, предшествуемый лакеем, спешившим вниз, чтобы распахнуть перед ним парадную дверь, когда в зале мгновенное оцепенение сменилось взволнованными, негодующими возгласами.

— Мошенник! — снова и снова гневно восклицал Нори Симс, возмущенный брошенным им в лицо вызовом.

— Негодяй! — вторил ему мистер Блэкмен. — Где он награбил денег, чтобы так с нами разговаривать?

Мистер Арнил тоже был до глубины души потрясен беспримерной наглостью Каупервуда! Однако сдержанная ярость последнего заставила его насторожиться: он чутьем понимал, что тут следует действовать осмотрительно.

— Джентльмены, — сказал он, — я думаю, что нам следует решать этот вопрос с большим хладнокровием. Мистер Каупервуд, по-видимому, имеет в виду какие-то ссуды, которые могут быть востребованы по его указанию и о которых мне лично ничего неизвестно. Прежде чем что-либо предпринимать, надо узнать, в чем тут дело. Может быть, кто-нибудь из вас сообщит нам дополнительные сведения?

Но никто ничего толком не знал, и, еще раз обсудив положение, все пришли к выводу, что следует соблюдать осторожность. Ссуды, полученные Фрэнком Алджерноном Каупервудом, востребованы не были.

50. НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ДВОРЕЦ

Крах «Американской спички» произошел на следующее утро, и событие это взбудоражило весь город, даже всю страну, и на долгие годы осталось в памяти жителей Чикаго. В последнюю минуту решено было не трогать Каупервуда, принести в жертву Хэлла и Стэкпола, закрыть фондовую биржу и временно приостановить заключение каких бы то ни было сделок. Это должно было до некоторой степени предохранить акции от дальнейшего падения и дать банкам дней десять передышки, в течение которых они могли привести в порядок свои пошатнувшиеся дела и принять меры на случай каких-либо неожиданностей. Само собой разумеется, что все мелкие биржевые спекулянты, любители ловить рыбу в мутной воде, рассчитывавшие поживиться во время биржевой паники, бесились и вопили, но вынуждены были сложить оружие перед лицом непоколебимого, как скала, правления биржи, покорной ему и раболепной прессы и несокрушимого союза крупных банкиров, возглавляемых могущественной четверкой. Председатели правлений банков торжественно заявляли, что это лишь «кратковременное затруднение»; Хэнду, Шрайхарту, Мэррилу и Арнилу пришлось основательно раскошелиться, чтобы защитить свои интересы, а финансовая мелюзга единогласно окрестила торжествовавшего победу Каупервуда «хищником», «грабителем», «пиратом» и всеми прочими оскорбительными наименованиями, какие только приходили ей на ум. Дельцы покрупнее вынуждены были признать, что они имеют дело с достойным противником. Неужели Каупервуд их одолеет? Неужели он станет вершителем судеб в финансовых кругах их родного города? Неужели он будет и впредь безнаказанно издеваться над ними в глаза и за глаза и нагло кичиться своей силой, выставляя на посмешище их слабость перед лицом всяких мелких сошек?

— Что ж, приходится уступить! — заявил Хосмер Хэнд Арнилу, Шрайхарту и Мэррилу, когда совещание окончилось и все прочие разъехались по домам. — Похоже, что сегодня мы оказались биты, но что до меня, так я еще не свел с ним счеты. Сегодня он победил, да не вечно ему побеждать. Я буду бороться до конца. А вы, господа, можете присоединиться ко мне или остаться в стороне, как вам будет угодно.

— Полно, полно! — горячо воскликнул Шрайхарт, дружески кладя руку на плечо Хэнду. — Весь мой капитал, до последнего доллара, в вашем распоряжении, Хосмер. Разумеется, этот проходимец не вечно будет праздновать победу. Я — с вами.

Арнил, провожавший их до дверей, был сумрачен и молчалив. Человек, на которого он еще недавно смотрел сверху вниз, позволил себе оскорбить его самым бесцеремонным образом. Он не побоялся явиться сюда и диктовать свои условия финансовым тузам города! Наглый, самоуверенный, он высмеял их всех в лицо и без всяких околичностей послал к черту. Мистер Арнил хмурился и свирепел, чувствуя свое бессилие.

— Посмотрим, — сказал он своим коллегам, — что покажет время. Пока мы связаны по рукам и по ногам. Этот кризис подкрался нежданно-негаданно. Вы говорите, Хосмер, что еще сосчитаетесь с этим субъектом? Ну и я тоже. Только нам придется выждать. Мы сломим Каупервуда, лишив его поддержки в муниципалитете, а этого мы добьемся, ручаюсь вам!

Тут все высказали благодарность мистеру Арнилу за твердость и мужество, проявленные им в такую тяжелую минуту. Ведь как-никак, а всем им наутро предстояло распрощаться с кругленькой суммой в несколько миллионов долларов во избавление себя и банков от окончательного краха. Энсон Мэррил видел, что отныне ему придется вступить в открытую борьбу с Каупервудом, но, несмотря ни на что, этот человек даже теперь вызывал в нем восхищение своей отвагой. «Какая дерзость, какая уверенность в своих силах! — думал мистер Арнил. — Это лев, а не человек, у него сердце нумидийского льва».

И он по-своему был прав.

Вслед за вышеописанными событиями в Чикаго наступило некоторое затишье, отчасти потому, что до новых выборов было еще далеко; впрочем, состояние это более всего напоминало вооруженное перемирие между двумя враждующими лагерями. Шрайхарт, Хэнд, Арнил и Мэррил притаились и выжидали. Главной заботой Каупервуда было не дать своим врагам выбить у него из рук оружие на предстоящих выборах. Выборы в муниципалитет происходили в Чикаго каждые два года, а следовательно, до 1903 года, когда истекал срок концессий Каупервуда, они должны были состояться еще три раза. До сих пор Каупервуду удавалось побеждать своих врагов путем подкупа, интриг и обмана, но он знал, что чем дальше, тем труднее будет ему подкупать новых выборных лиц. На место угодливых, продажных олдерменов, которые сейчас пляшут под его дудку, могут быть избраны другие, — если и не более честные, то более тесно связанные с враждебным ему лагерем, и тогда добиться продления концессий будет нелегко. А от этого зависело все. Каупервуд должен был во что бы то ни стало продлить концессии на двадцать лет, а еще лучше — на пятьдесят, чтобы осуществить все свои гигантские замыслы: собрать коллекцию произведений искусств, построить новый дворец, окончательно укрепить свой финансовый престиж, добиться признания в свете и, наконец, увенчать все это союзом (в той или иной форме) с единственной особой, достойной разделить с ним престол.

Весьма поучительно наблюдать, как честолюбие может заглушить все остальные движения человеческой души. Каупервуду уже стукнуло пятьдесят семь лет. Он был сказочно богат, имя его приобрело известность не только в Чикаго, но и далеко за его пределами, и все же он не чувствовал себя у цели своих стремлений. Он еще не достиг того могущества, каким обладали некоторые магнаты Восточных штатов или даже пресловутая четверка крупнейших чикагских миллионеров, которые упорно множили свой капитал и получали чудовищные прибыли. Наживать деньги теми способами, какими они это делали, казалось Каупервуду чрезмерно скучным занятием. Почему, спрашивал он себя, ему вечно приходится наталкиваться на такое бешеное противодействие, почему он уже не раз видел себя на краю гибели? Не потому ли, что его считают безнравственным? Но ведь и другие не лучше. Большинство людей безнравственно вопреки религиозной догме и дутой морали, навязанной им сверху. Быть может, дело в том, что он не умеет верховодить исподтишка, не подавляя других своей личностью, и слишком мозолит всем глаза? Порой он думал, что это именно так. Все эти люди, скованные условностями, отупевшие от тоскливого однообразия своей жизни, не могли простить ему его вызывающего поведения, его беспечного пренебрежения к их законам, его упрямого стремления называть вещи своими именами. Высокомерная вежливость Каупервуда многих бесила, многими воспринималась как насмешка. Его холодный цинизм отталкивал от него робких. Если у Каупервуда не было недостатка в вероломстве, то в умении носить маску и льстить он уступал многим. А главное — он не находил нужным переделывать себя. Однако он еще не достиг исполнения всех своих честолюбивых замыслов, не сделался еще финансовым королем, не мог еще померяться силами с капиталистами Восточных штатов — акулами Уолл-стрит. А пока он не стал с ними в ряд, пока не построил свой дворец, всем на зависть и на диво, пока не создал свою коллекцию, которая прославит его на весь мир, пока у него нет Беренис, нет желанного количества миллионов — как мало он еще достиг в сущности.

Нью-йоркский дворец должен был, отразив как в зеркале характер, вкусы и мечты Каупервуда, увенчать собой все его достижения последних лет. Вкусы с годами меняются; ни модернизованная готика его старого филадельфийского дома, ни архитектурный стиль его особняка на Мичиган авеню — традиционное подражание французскому средневековому зодчеству — не могли уже удовлетворить Каупервуда. Только итальянские палаццо эпохи Ренессанса, которыми он любовался во время своих путешествий по Европе, отвечали теперь его представлению о пышной и величественной резиденции. Он хотел создать не просто жилой дом по своему вкусу, а нечто, рассчитанное на века, — дворец-музей, который увековечил бы его в памяти потомства. После долгих поисков ему удалось, наконец, найти в Нью-Йорке архитектора, внушившего ему доверие. Реймонд Пайн, гуляка, повеса, прожигатель жизни, был подлинным художником, с тонким чутьем ко всему изысканному и прекрасному. Вдвоем с этим человеком Каупервуд проводил дни за днями, размышляя над мельчайшими деталями своего будущего дворца-музея. Западное крыло дворца должна была занимать огромная картинная галерея; скульптуре и другим произведениям искусства отводилось южное крыло. Оба эти крыла образовывали как бы букву «Г», центр которой занимало основное здание, собственно жилой дом Каупервуда. Весь ансамбль строился из бурого песчаника, богато украшенного барельефами. Уже производились заказы на мрамор, зеркала, шелк, гобелены, редчайшие, драгоценные сорта дерева для внутренней отделки комнат. В главном здании все комнаты располагались с таким расчетом, чтобы окна выходили во внутренний дворик или зимний сад, окруженный воздушной колоннадой из белого с розовыми прожилками алебастра. В центре сада помещался фонтан из алебастра и серебра, а вдоль восточной стены предполагалось повесить жардиньерки с орхидеями и другими живыми цветами. Освещенные утренним солнцем, они должны были создавать эффектную игру красок в этом искусственном раю. На втором этаже одна из комнат была облицована тончайшим мрамором, передававшим все оттенки цветущих персиковых деревьев; за этими прозрачными мраморными стенами скрывался невидимый источник света. Здесь, как бы в лучах никогда не меркнущей зари, должны были висеть клетки с заморскими птицами, а меж каменных скамей виться виноградные лозы, отражаясь в зеркальной поверхности искусственного водоема, и звучать далекие, как эхо, переливы музыки. Пайн уверял Каупервуда, что когда тот умрет, эта комната послужит отличным местом для устройства выставки фарфора, нефритов, изделий из слоновой кости и прочих художественных ценностей.

Каупервуд уже начал перевозить свое имущество в Нью-Йорк и уговорил Эйлин сопровождать его. Непревзойденный мастер по части изворотливости и обмана, он с присущим ему бесстыдством уверял ее, что в Нью-Йорке они заживут совсем по-другому и даже будут приняты в обществе. Он стремился к супружескому миру с единственной целью сделать свой переезд в

Нью-Йорк как можно более легким и приятным. А потом он добьется развода или каким-либо иным путем достигнет намеченной цели.

Об этих планах Каупервуда Беренис Флеминг, конечно, ничего не подозревала. Однако постройка великолепного дворца привлекла в конце концов ее внимание к финансисту. Оказывается, этот холодный делец может быть вместе с тем и ценителем прекрасного! До сих пор она считала его просто выскочкой, который явился с Запада к ним на Восток и, пользуясь добротой ее матери, старается хоть немного приобщиться к светской жизни. Но теперь то, что говорила о нем миссис Картер, превозносившая его на все лады как человека незаурядного, с огромным будущим, каждый день получало новое и все более блистательное подтверждение. Этот дворец, о котором кричали все газеты, будет поистине чем-то из ряда вон выходящим. Как видно, Каупервуды всерьез решили проникнуть в нью-йоркские салоны.

— Жаль, что он не развелся со своей женой, прежде чем затевать все это,

— сказала как-то миссис Картер дочери. — Боюсь, что их не станут принимать. Будь около него другая женщина, а не эта особа… — Миссис Картер с сомнением покачала головой; она как-то раз видела Эйлин в Чикаго.

— Нет, нет, ему нужна не такая жена. У этой нет ни вкуса, ни манер, — изрекла она свой приговор.

— Если ему так плохо с ней, — задумчиво промолвила Беренис, — почему он ее не оставит? Быть может, она была бы даже счастливее без него. Это глупо

— жить как кошка с собакой. Впрочем, раз она сама так заурядна, ей, вероятно, не хочется терять свое положение при нем.

— Он женился на ней лет двадцать назад, — сказала миссис Картер, — когда был, как я понимаю, совсем другим человеком. Она не то чтобы уж очень вульгарна, но ей не хватает такта и ума. Она не в состоянии понять, что ему нужно. Я ненавижу эти неравные браки, но, к сожалению, они встречаются на каждом шагу. Надеюсь, Беви, что ты выйдешь замуж за человека, который будет тебе подстать. Впрочем, я готова видеть тебя за кем угодно, лишь бы не за бедняком.

Этой беседой завершился завтрак в доме на южной стороне Сентрал-парка; за окнами меж деревьев парка поблескивало озеро, золотясь в солнечных лучах. Беренис в зеленом платье, отделанном старинными кружевами, просматривала светскую хронику в утренних газетах.

— Да, конечно, уж лучше быть несчастной с деньгами, чем без них, — уронила она небрежно, не подымая головы.

Миссис Картер с обожанием смотрела на дочь, чувствуя ее высокомерное превосходство. Что ждет ее впереди? Успеет ли она вовремя выйти замуж? До сих пор ушей Беренис еще не коснулись слухи о том, какую жизнь вела ее мать в Луисвиле. Пока те, кто знал тайну миссис Картер, относились к этой даме доброжелательно и держали язык за зубами. Но как поручиться за всех? Разве не была она на краю гибели, когда на ее пути появился Каупервуд?

— Видимо, мистер Каупервуд не просто денежный мешок, — задумчиво произнесла Беренис. — Большинство этих западных богачей так нестерпимо глупы и пошлы.

— Моя дорогая! — с жаром воскликнула миссис Картер, которая успела стать самой горячей поклонницей своего тайного покровителя. — Ты совершенно не понимаешь его. Говорю тебе, это человек удивительный, необыкновенный! Мир еще услышит о Фрэнке Алджерноне Каупервуде. Ведь в конце-то концов должен же кто-то заниматься добыванием денег! Без денег, моя дорогая, тоже далеко не уедешь! Одного хорошего воспитания еще мало. Уж я-то знаю, до чего может довести человека бедность… Видела я кое-кого из наших друзей, впавших в нищету.

На лесах, окружавших дворец Каупервуда, знаменитый скульптор работал со своими помощниками над греческим фризом, изображавшим пляшущих нимф, оплетенных цветочными гирляндами. Миссис Картер и Беренис проходили мимо и остановились поглядеть. К ним подошел Каупервуд. Указывая на высеченные в камне фигуры, он сказал, как всегда весело и непринужденно, обращаясь к молодой девушке:

— Скульптору следовало бы взять вас за образец, тогда фриз лучше удался бы ему.

— Вы льстите мне, — ответила Беренис, внимательно оглядывая его своими холодными синими глазами. — Фриз очень красив. — Несмотря на свое предубеждение против Каупервуда, Беренис начинала думать, что он, подобно ей, благоговеет перед святыней искусства.

Каупервуд смотрел на нее молча.

— Этот дом — всего лишь музей для меня, — сказал он негромко, когда миссис Картер отошла в сторону. — Но я постараюсь, чтобы он был действительно хорош. Если он не принесет радости мне, пусть принесет ее кому-нибудь другому.

Беренис задумчиво поглядела на него, и он улыбнулся. Она поняла, — он хотел поведать ей о своем одиночестве.

51. ВОСКРЕШЕНИЕ ХЭТТИ СТАР

Беренис Флеминг на деньги Каупервуда вела жизнь веселую и беспечную, нимало не задумываясь над своим будущим. Каупервуд был щедр.

— Беренис молода, — снисходительно-великодушным тоном сказал он как-то раз миссис Картер, когда речь зашла о судьбе ее дочери. — Это редкий, изысканный цветок. Так пусть себе цветет, не зная печали. Потом она сделает хорошую партию и возместит вам все расходы… а вы — мне. Сейчас же нужно, чтобы она ни в чем не знала отказа. — И он подписывал чеки с видом садовода-любителя, выращивающего диковинную орхидею.

Миссис Картер, со своей стороны, смотрела на дочь как на редкостное произведение искусства, как на будущую звезду нью-йоркских салонов; она готова была душу заложить дьяволу, лишь бы хорошо устроить ее судьбу. Но для того чтобы жить на широкую ногу, нужны были деньги, и миссис Картер отдалась на милость Каупервуда, сознательно закрывая глаза на то, что ставит этим и себя и своих близких в чрезвычайно двусмысленное положение.

— О, как вы добры! — не раз говорила она Каупервуду, и взор ее увлажнялся слезами благодарности. — Я никогда не думала, что на свете могут быть такие люди, как вы. Но Беви…

— Эстет всегда останется эстетом, — прерывал ее Каупервуд, — а я принадлежу к этой довольно редкой породе. Я не хочу, чтобы заботы коснулись создания столь совершенного, как ваша дочь. Ей суждено большое будущее.

Заметив в свите Беренис новое лицо — лейтенанта Брэксмара, — миссис Картер повела себя совсем неосмотрительно: она стала надоедать дочери беспрестанными упоминаниями о нем, пытаясь снискать ее доверие. Спору нет, на Брэксмара стоило обратить внимание. Отпрыск старинной семьи, занимавшей прекрасное положение в обществе (качество весьма ценное в глазах Беренис), он был молод, статен, красив, неглуп и даже начитан, в меру весел и в меру меланхоличен, превосходно танцевал и отличался прекрасными манерами. Беренис встретилась с ним на балу, и молодой офицер в красивой морской форме, танцевавший с отменной легкостью, с первого взгляда произвел на нее впечатление.

— Вы прекрасно танцуете, — сказала ему Беренис. — Можно подумать, что у вас балы сменяются балами, покуда корабль носит вас по волнам океана.

— И даже, когда он идет ко дну, — шутливо ответил лейтенант. — Шторм иной раз доходит ведь и до десяти баллов, разве вы не знаете?

— О, какой ужасный каламбур, — воскликнула Беренис. — Хуже быть не может!

— Вовсе нет. Я могу придумать и похуже.

— Ну только не в моем присутствии, — возразила она. — Я все равно не стану слушать. — И они продолжали порхать, скользить и кружиться. После танцев он снова подошел к ней и сел рядом. Потом они гуляли при луне, и молодой моряк рассказывал Беренис о своей жизни на корабле, о своем доме в Южных штатах, о друзьях и знакомых.

Миссис Картер, которая уже заметила, что лейтенант весь вечер не отходит от Беренис, наутро сказала дочери:

— Мне понравился этот молодой моряк, Беви. Я знаю кое-кого из его родственников. Они из Каролины. Его ждет большое наследство, он из очень богатой семьи. Ты, кажется, произвела на него впечатление, детка?

— Не знаю, может быть… по-видимому, да, — небрежно ответила Беренис, слегка раздосадованная таким проявлением материнской заботы. Ей нравилось плыть по течению, наблюдая жизнь как бы сквозь легкую призрачную дымку, и манера ставить точки над «i» была ей не по нутру. — Впрочем, мне кажется, что он настолько поглощен своими кораблями, что едва ли может всерьез интересоваться чем-нибудь другим. У него на уме одни только крейсера.

Беренис скорчила насмешливую гримаску, и миссис Картер рассмеялась.

— Ах ты, плутовка! Нет мужчины, который бы не увлекся тобой. Так, значит, нечего и надеяться, что лейтенант Брэксмар может тебе понравиться?

— Что за странный вопрос! Почему вы это спрашиваете, мама? Разве так необходимо, чтобы он мне понравился?

— Нет, нет, конечно! Никакой необходимости в этом нет, — поспешила успокоить ее миссис Картер. Она помолчала, собираясь с духом, прежде чем выполнить то, что считала своим родительским долгом. — И все же, Беви, подумай о том, какая это прекрасная партия. Брэксмар из хорошей семьи, наследник огромного состояния… Ах, Беви, я не хочу торопить тебя. Упаси меня бог испортить тебе жизнь! Но прошу, подумай о своем будущем. Для тебя, с твоими вкусами и наклонностями, деньги — это так важно. А где же их взять, если ты не выйдешь замуж за богатого человека? Твой отец был так беспечен, а отец Ролфа — и того хуже.

И миссис Картер глубоко вздохнула.

Впервые в жизни Беренис пришлось задуматься над этим прозаическим вопросом, а заодно и над лейтенантом Брэксмаром. Мыслимо ли это — взять его себе в спутники жизни, следовать за ним по свету, быть может переселиться на юг? Но сколько она ни думала, решиться ни на что не могла. Наставления миссис Картер только испортили все дело, придав ему какой-то неприятный привкус. Правду сказать, в эти часы раздумий мысли Беренис не раз обращались к Каупервуду. Что-то в этом коммерсанте, дельце и стяжателе привлекало к себе Беренис. Ей припомнились его слова о том, что новый дом для него — лишь музей, припомнилось, как он молча взглянул ей в глаза, и она сразу поняла значение его взгляда; мелькнула мысль о его богатстве… Но Каупервуд был стар, да к тому же женат, значит нечего было о нем и думать, а Брэксмар — молод и привлекателен. Но как бестактно со стороны матери намекать ей, что она должна проявить к нему внимание! После этого Брэксмар стал ей почти неприятен. Неужели же их дела так плохи?

Теперь ей припомнилось многое, чему она раньше не придавала значения. Так, незадолго до ее встречи с Брэксмаром она гостила в Реддинг-Хилл, поместье, принадлежащем семейству Корскейден-Бэтджер на Лонг-Айленде, и как-то утром сидела с хозяйкой дома в гостиной, откуда открывался прелестный вид на голубевший далеко внизу залив.

Миссис Фредерика Бэтджер, свежая, полная, белокурая, невозмутимо-спокойная, казалась ожившим портретом работы какого-то фламандского мастера. В серебристо-сером шелковом капоте, причесанная на старинный лад, она занималась рукоделием, держа на коленях соломенную корзиночку с образцами норвежских вышивок.

— Беви, — сказала миссис Бэтджер, — вы помните Килмера Дьюэлма? Он, кажется, тоже был у Хэггерти прошлым летом, когда вы у них гостили?

Беренис за маленьким чиппендейловским столиком писала письмо и при этих словах подняла голову. Молодой человек, о котором шла речь, на мгновение предстал ее взору. Килмер Дьюэлма — высокий, грузный, фатоватый, одетый с нарочитой небрежностью и всегда по последней моде, с искусственно развинченной походкой, с ленивыми томными движениями, с толстыми красными щеками и бессмысленным взором… Этот молодой человек обладал удивительной способностью повторять чужие слова самым неожиданным и нелепым образом. Младший из двух сыновей Огаста Дьюэлма, банкира, предпринимателя, архимиллионера, он готовился унаследовать недурной капитал, в шесть-восемь миллионов долларов. Год назад в имении Хэггерти Килмер Дьюэлма не отходил от нее ни на шаг.

Миссис Бэтджер с любопытством посмотрела на Беренис; потом снова взялась за рукоделье.

— Я пригласила его к нам на конец недели, — сказала она.

— Да? — вежливо отозвалась Беренис. — Будет еще кто-нибудь?

— Вероятно, — уклончиво отвечала миссис Бэтджер. — А сам Килмер, по-видимому, не особенно интересует вас?

Беренис улыбнулась. Эту улыбку можно было истолковать как угодно.

— Вы помните Клариссу Фолкнер, Беви? — спросила миссис Бэтджер. — Она вышла замуж за Ромулуса Гэррисона.

— Разумеется, помню. Где она теперь?

— Они сняли на зиму замок Бриэль в Арсе. Ромулус, конечно, глуповат, но у Клариссы ума достанет на двоих. Она пишет, что они принимают очень широко. К ним съезжаются сливки парижского и лондонского общества. Я так за нее рада, воображаю, как она счастлива теперь. А было время, когда ее судьба внушала мне тревогу.

Беренис мгновенно поняла намек, но не подала виду. Что ж, миссис Бэтджер права. Каждый должен вовремя подумать о своем будущем. Беренис впервые ощутила тягостное чувство необходимости.

В пятницу, ровно в полдень, прибыл Килмер Дьюэлма, с чемоданами, портпледами, баулами и саквояжами, с собственным лакеем и чудовищным энтузиазмом к игре в поло и охоте — недугами, которыми он заразился от своих приятелей. Искусно составленный комплимент, исходивший якобы от Беренис и тактично преподнесенный ему миссис Бэтджер, направил его рассеянное внимание на девушку, после чего она удостоилась приглашения прокатиться верхом на Сэдл-Рок.

— Хо! Хо! Я просто в восторге, знаете ли, что встречаю вас снова. Хэггерти я не видел уже целую вечность. Мы там все жалели, когда вы уехали. Хо! Хо! Особенно я, знаете ли. Я теперь занялся поло, — куда бы ни поехал, тащу с собой своих пони. Хо! Хо! У меня их три штуки, целая конюшня!

Беренис мужественно старалась сохранять серьезность и проявлять интерес. Ее не покидало чувство необходимости, преследовали неотвязные мысли о замке Бриэль, о приемах Клариссы Гэррисон. Впервые появилось ощущение, что время-то уходит… Но поездка верхом была нестерпимо скучна, разговор не клеился, титанические попытки найти общий язык оказались тягостны и бесполезны. В понедельник Беренис не выдержала и уехала на всю неделю в Морристаун. Миссис Бэтджер, которая умела понимать без слов, только вздохнула. Ее собственный спутник жизни тоже мало чем мог похвалиться, кроме денег, но, что поделаешь, нужно ведь как-то устраивать свою жизнь, и тем, кто наделен честолюбием, необходимо обладать еще и богатством — унаследованным или добытым собственным умом. Какая-нибудь ловкая вульгарная девчонка подцепит этого Дьюэлма, и тогда… Миссис Бэтджер находила, что Беренис, пожалуй, чересчур разборчива.

Теперь старания миссис Картер, ратовавшей за лейтенанта Брэксмара, заставили Беренис вспомнить свой разговор с миссис Бэтджер. Сделав неожиданное открытие, что они с матерью не располагают крупными средствами и что только происхождение открывает им доступ в общество, Беренис почувствовала себя в каком-то смысле самозванкой, и это ее злило, и тревожило, и беспрестанно бередило ей душу. Теперь она понимала, почему ей никогда не приходилось слышать в свете разговоров о своем богатстве, улавливать за своей спиной почтительный шепоток, столь лестный для каждой богатой наследницы. Все эти светские юнцы, эти самодовольные, разряженные манекены, конечно, предпочтут ей какую-нибудь безмозглую куклу с длинным банковским счетом. Беренис, изнеженная сибаритка, влюбленная в роскошь, в успех, желавшая повелевать, рисовала себе свое будущее свободным от всяких житейских забот, протекающим в атмосфере поклонения искусству. Но для такой жизни требовались прежде всего деньги, и притом немалые. Вместе с тем Беренис смутно лелеяла надежду, что она встретит на своем пути человека, который полюбит ее глубоко, и, если он будет достоин ее любви или хотя бы уважения, она выйдет за него замуж с радостью и охотой. Но где же этот человек? Брэксмар был очень мил, однако трезвый, холодный ум Беренис требовал другого; ей нужен был человек сильный, решительный, даже беспощадный, который бы подчинил ее своей воле. Вместе с тем она понимала, что следует быть благоразумной, следует делать ставку только наверняка, без риска проиграть.

Летом в Наррагансете Каупервуду недолго пришлось тревожиться из-за присутствия лейтенанта Брэксмара, так как молодой моряк вскоре получил срочное назначение и спешно отбыл в Хэмптон-Родс. Однако осенью, когда Каупервуд, бросив все свои разнообразные и сложные дела, примчался из Чикаго в Нью-Йорк и явился в дом на южной стороне Сентрал-парка, он, к своей великой досаде, снова застал там лейтенанта Брэксмара. В полной парадной форме, оживленный, стройный молодой моряк прибыл, чтобы сопровождать Беренис на бал. Его золотые погоны сверкали, плащ на красной шелковой подкладке развевался за плечами, кортик позвякивал на боку, юное лицо, увенчанное высокой морской фуражкой, сияло красотой и свежестью. Словом, лейтенант Брэксмар казался воплощением победоносной молодости. Обстоятельства складывались явно не в пользу Каупервуда. Внезапно он остро ощутил свой возраст рядом с неотразимым обаянием юности, к тому же овеянной таким романтическим ореолом, и почувствовал себя лишним. Он жестоко страдал в эту минуту.

Беренис была обворожительна в облаке газовых оборок и воланов. Сидя в соседней комнате и делая вид, что просматривает газеты, Каупервуд наблюдал в открытую дверь за нею и лейтенантом Брэксмаром и раза два даже вздохнул украдкой. Увы, удастся ли ему, даже ему, при всем его уме и хитрости, помешать естественному течению событий? Сумеет ли он привлечь к себе сердце такой юной девушки? Брэксмар был молод, красив, обладал отменными манерами… В тот вечер, собираясь на бал, Беренис была необычайно весела. Жизнь так и била в ней ключом, в ее глазах светились мечты, надежды. Каупервуд поспешил проститься, сославшись на неотложные дела, и уехал. Но не дела были у него на уме, когда, вернувшись в гостиницу, он погрузился в размышления. Человек заурядный, попав в столь щекотливое положение, скорей всего смирился бы перед силой обстоятельств и, движимый такими высокими, но старомодными побуждениями, как рыцарство, самопожертвование и тому подобное, уступил бы дорогу молодости, утешаясь сознанием исполненного долга. Каупервуд не смотрел на вещи с таких

высоконравственных и альтруистических позиций. «Мои желания прежде всего» — было его девизом; он не собирался складывать оружие, пока оставалась хоть малейшая надежда на успех. Временами он чувствовал, что между ним и Беренис возникало что-то — едва уловимые намеки на возможность сближения, — и это вселяло в него уверенность, что он ей не так уж чужд.

Однако новой опасностью, возникшей в лице лейтенанта Брэксмара, не следовало пренебрегать. Каупервуд убедился в этом после разговора с миссис Картер. Если Беренис и не была увлечена Брэксмаром, то сам Брэксмар был от нее без ума.

— Не успел он уехать, как начал бомбардировать ее письмами, — рассказывала миссис Картер. — Мне кажется, он принадлежит к разряду тех мужчин, против которых не может устоять ни одна женщина.

— Очень счастливый разряд, — процедил Каупервуд сквозь зубы.

Миссис Картер горела желанием посоветоваться со своим покровителем. У Брэксмара прекрасное будущее, великолепные связи. После смерти отца он унаследует огромное состояние. А ну, как ее луисвильские грешки выплывут наружу, что тогда? Не лучше ли поскорее выдать Беренис замуж, пока не стряслось какой-нибудь беды?

— Вопрос серьезный, — сказал Каупервуд спокойно. — А вы уверены, что она любит этого молодого человека?

— Ну, не знаю… сказать трудно, но ведь любовь часто приходит потом. Беренис не из тех, кто легко теряет голову. Она для этого слишком благоразумна. Кроме того, она понимает, что ей нужно устроить свою судьбу, а мистер Брэксмар — отличная партия. Я знакома с его родственниками — Клиффорд-Портерами.

Каупервуд сдвинул брови. Это просто несносно — столько беспокойства, столько тревог из-за какой-то девчонки! Он чувствовал, что должен во что бы то ни стало завладеть ею, хотя бы для этого пришлось ее скомпрометировать. Он скорее готов был опозорить ее, чем уступить другому. Обстоятельства, однако, избавили Каупервуда от осуществления столь мрачного замысла.

Перенесемся в зал ресторана в одном из больших нью-йоркских отелей. Время — полночь. Каупервуд пригласил миссис Картер, Беренис и лейтенанта Брэксмара провести с ним вечер. Вся компания приехала сюда поужинать прямо из оперы. Каупервуд выступает в роли хлебосольного хозяина и доброго, бескорыстного наставника. Обдумывая про себя различные способы освободиться от неугодной ему особы лейтенанта Брэксмара, он тем не менее держится крайне обходительно, учтиво и с почтительным вниманием относится к Беренис. Он выжидает, как Мефистофель. В опере он внимательно наблюдал за миссис Картер и Беренис, которые сидели в первом ряду ложи в ослепительных туалетах — не для того ли и опера, чтобы щеголять нарядами? Миссис Картер была в лимонно-желтом шелку и в бриллиантах, Беренис — в пурпурном и бледно-розовом, с жемчужным гребнем в волосах. Лейтенант Брэксмар, в роскошной парадной форме, болтал, улыбался, хвалил исполнителей, шептал Беренис комплименты на ухо или, в свободную минуту, обращал внимание Каупервуда на кого-нибудь из своих знакомых. Из оперы по ненастным ветреным улицам они поехали в отель «Уолдорф», где для них был уже приготовлен столик, и Каупервуд, заказав ужин, снова мысленно вернулся к музыке, которую они только что слушали. Это была «Богема», и он заговорил о смерти Мими и скорби Родольфо, воплощенных в бессмертных мелодиях Пуччини.

— Этот искусственный театральный мирок, быть может, очень далек от жизни настоящих художников и поэтов, но драма безусловно очень жизненна, — заметил Каупервуд.

— Вот об этом, право, не берусь судить, — сказал Брэксмар серьезно. — Все мои познания по части богемы почерпнуты только из книг. «Трильби», например, и… — Не придумав ничего другого, он прибавил: — В Париже, вероятно, можно познакомиться с этим миром поближе.

Он взглянул на Беренис, ища поддержки, и был награжден улыбкой.

Беренис, непосредственная и впечатлительная, слушая музыку, забывала минутами обо всем. Захваченная красотой мелодий, то веселых, то печальных, но всегда находивших глубокий отклик в ее душе, она грезила, уронив руки на колени, устремив неподвижный взор на сцену, а Брэксмар и Каупервуд смотрели на ее тонкий профиль, на чуть приоткрывшийся, как у ребенка, рот, и оба испытывали волнение и восторг. Очнувшись от своих грез, Беренис заметила, что за ней наблюдают, и с минуту продолжала сохранять ту же позу, затем глубоко вздохнула, как бы очнувшись от сна. Сейчас ей припомнилось это, а затем воскресло и ощущение, которое пробуждала в ней музыка.

— Мне очень понравилась опера, — сказала она. — Не знаю, похоже ли это на жизнь художников и поэтов, но на жизнь вообще это, конечно, похоже. Право же, эта печальная история лучше, красивей, чем унылое благополучие. Жизнь по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия.

Она взглянула на Каупервуда и встретила его внимательный испытующий взгляд, потом перевела глаза на Брэксмара, и он в ту же секунду увидел себя на капитанском мостике, отдающим распоряжения команде в момент жаркого морского боя. Каупервуду тоже невольно припомнилось, как тернист был его путь. Ну, в его жизни, кажется, недостатка в трагическом не было — такая жизнь могла бы заинтересовать Беренис.

— Не скажу, чтобы меня так уж привлекали трагедии, — возразила миссис Картер. — Печальные истории в книгах или на сцене нагоняют на меня тоску. В жизни и без того немало драм.

Каупервуд и Брэксмар улыбнулись. Беренис задумчиво смотрела по сторонам. Переполненный людьми зал, снующие между столиками официанты, звон тарелок и бокалов, прорывающийся сквозь гром и треск оркестра, — все это отвлекало ее внимание; она кивала и улыбалась знакомым, которые приветствовали ее и Брэксмара, скользя любопытным взглядом по Каупервуду.

Неожиданно неподалеку от их столика, на пороге бара, возникла пьяная фигура: смятая манишка топорщилась на груди, накидка сползала с плеч, цилиндр был лихо заломлен набок, глаза налиты кровью, нижняя губа надменно выпячена и на всем лице написано то беспечно-наглое и вызывающее «а мне море по колено», которое столь присуще пьяным гулякам. Субъект этот обвел зал мутным взглядом и нетвердой походкой устремился в сторону Каупервуда и его гостей. По всему было видно, что он хватил лишнего и не вполне отдает себе отчет в своих поступках. Подойдя ближе, он приостановился, словно узнав кого-то из сидевших за столиком, шагнул вперед — к этому времени он уже успел привлечь к себе внимание всего зала — и с небрежно-снисходительным видом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер.

— Да это ты, Хэтти! Как поживаешь? — воскликнул он, весело подмигивая и ухмыляясь. — Что ты делаешь в Нью-Йорке, моя дорогая? Неужто так-таки и бросила свое дельце в Луисвиле? Знаешь, что я тебе скажу? С тех пор как ты нас покинула, у меня не было ни одной приличной девочки — ни единой. Если ты откроешь домик здесь, извести меня. Идет?

Самодовольно и покровительственно улыбаясь, он склонился над миссис Картер, роясь в кармане своего белого жилета, ища, как видно, визитную карточку. Каупервуд и Брэксмар, для которых смысл его слов был достаточно ясен, одновременно вскочили на ноги. Миссис Картер делала безуспешные попытки отделаться от назойливого пьяницы, когда Брэксмар — он стоял к нему ближе, чем Каупервуд, — схватил его за плечо. Два официанта, предводительствуемые метрдотелем, уже спешили к их столику.

— Что случилось? Что сделал этот джентльмен? — спросил метрдотель.

Но обидчик, кидая вокруг презрительные взгляды, громко воскликнул:

— Руки прочь! Вы кто такой? Какого черта вы лезете не в свое дело? Думаете, я не понимаю, что говорю? Спросите ее, она меня знает. Верно, Хэтти? Это же Хэтти Стар из Луисвиля. У нее был самый шикарный дом свиданий в городе. Чего это вы все переполошились? Я соображаю, что делаю. Видите, она меня помнит.

Он не только кричал, но и вырывался, и притом весьма решительно. Однако Каупервуд и Брэксмар с помощью официантов образовали вокруг наглеца своего рода кордон и вытеснили его из ресторана в коридор, оттуда — в вестибюль и тотчас вызвали полицию.

— Немедленно арестуйте этого человека, — потребовал Каупервуд, как только появился полисмен. — Он грубо оскорбил даму — мою гостью. Он пьян и крайне нагло и непристойно ведет себя в общественном месте, я требую, чтобы его привлекли к ответственности. Вот моя карточка. Пожалуйста, известите меня, куда я должен явиться. — Он протянул карточку полисмену, а Брэксмар, с воинственным видом разглядывавший незнакомца, сказал:

— Я бы с превеликим удовольствием переломал вам кости. Не будь вы пьяны, я бы так и сделал. Если вы порядочный человек и у вас есть визитная карточка, прошу дать ее мне. Я хочу поговорить с вами, когда вы протрезвитесь. — Он шагнул к незнакомцу, и мистер Билз Чэдси из Луисвиля увидел устремленный на него холодный и весьма решительный взгляд.

— Ладно, ладно, капитан, — насмешливо осклабился Чэдси. — Не беспокойтесь, у меня есть карточка. Сейчас найду. Можете наведаться ко мне в любое время — отель «Букингэм», угол Пятидесятой и Пятой. Кажется, я имею право разговаривать с кем хочу, когда хочу и где хочу. Понятно?

Он рылся по всем карманам, продолжая протестовать, а полисмен стоял рядом и ждал, чтобы взять его под стражу. Так как поиски не увенчались успехом, мистер Чэдси заявил:

— Ладно, черт с ней. Записывайте так. Билз Чэдси из Луисвиля, штат Кентукки, отель «Букингэм». Найдете меня там в любое время. Это Хэтти Стар. Она меня знает. А уж я-то ее ни с кем не спутаю, будьте покойны. Мало, что ли, ночей провел я в ее доме.

Брэксмар готов был броситься на него с кулаками, но тут вмешался полисмен.

Беренис и миссис Картер все еще сидели за столиком в ресторане. Миссис Картер была бледна, ошеломлена, растеряна; все ее попытки скрыть истину выглядели жалко и неубедительно.

— Нет, подумать только! — твердила она снова и снова. — Какая наглость! Какой ужас! Кто этот человек? Я впервые в жизни его вижу.

Беренис тоже была смущена и расстроена; насмешливая фамильярность, с какою этот забулдыга обратился к ее матери, не шла у нее из головы. Какой стыд! Какой позор! Может ли быть, чтобы человек, даже во хмелю, мог допустить такую ошибку? И этот негодяй держался так уверенно, так вызывающе. Он ничуть не смутился, когда у него потребовали объяснений. Какие чудовищные вещи он говорил!

— Успокойтесь, мама, — сказала Беренис мягко и с достоинством. — Все это вздор, не обращайте внимания. Поедемте домой. Дома вы сразу почувствуете себя лучше.

Беренис подозвала официанта и попросила его передать джентльменам, которые с ними ужинали, что они уезжают.

Потом встала, отодвинула стоявший на пути матери стул и подала ей руку.

— Нет, подумать только, какое оскорбление! — бормотала миссис Картер. — В публичном месте, в присутствии лейтенанта Брэксмара и мистера Каупервуда! Ужасно! Неслыханно!

Она продолжала стонать и причитать, Беренис вела ее под руку. Девушка держалась с большим достоинством; уходя, она окинула взором зал; лицо ее было презрительно и надменно, но сердце сжималось холодной тоской. Какая доля истины крылась в этих постыдных утверждениях? Почему из всех находившихся в ресторане дам этот пьяный скандалист избрал именно ее мать для своих отвратительных разоблачений? Почему мать ее так сражена, так пала духом, если в его словах не было ни крупицы правды? Все это было очень странно, очень печально, очень страшно. Что скажет свет? О, она знала наперед, как обрадуются все охотники до сплетен, какие начнутся толки и пересуды. Впервые в жизни Беренис ощутила, что значит попасть в разряд парий, — как это страшно!

На другое утро лейтенант Брэксмар явился в полицейский участок, где пребывал злополучный мистер Чэдси, и заявил, что всадит ему пулю в живот, если с его стороны немедленно не последует удовлетворительного извинения, после чего в доме помер 36 на южной стороне Сентрал-парка было получено следующее письмо, написанное на почтовой бумаге отеля «Букингэм» и адресованное миссис Айра Джордж Картер:

«Мадам!

Вчера вечером, находясь в состоянии непозволительного опьянения, которому нельзя подыскать никаких оправданий, я, к своему безмерному отчаянию, позволил себе оскорбить Вас и задеть чувства Вашей дочери и Ваших гостей, в чем и приношу ныне самые униженные извинения. Невозможно выразить словами, как сожалею я о своих вчерашних поступках, которых, увы, решительно не могу теперь припомнить. Стоит мне напиться, как я начинаю буйствовать и искать ссор, и, как видно, в одну из таких минут я позволил себе сделать ни на чем не основанное заявление. В своем безумии я принял Вас — по какой причине, неизвестно — за некую даму, пользовавшуюся в Луисвиле довольно большой популярностью. Еще раз приношу Вам самые почтительные извинения и умоляю предать забвению мое постыдное и гнусное поведение. Не знаю, чем мог бы я загладить свою вину, но с радостью готов исполнить любое Ваше требование. В надежде, что письмо это будет понято Вами, как оно того заслуживает, то есть как смиренная попытка хоть отчасти искупить свой проступок, остаюсь искренне Ваш Билз Чэдси».

Однако, прежде чем было написано и отправлено это письмо, лейтенанту Брэксмару пришлось удостовериться, что заявления мистера Чэдси, оскорбительные для чести миссис Картер, — увы! — не лишены оснований. Билз Чэдси в пьяном виде лишь проболтался о том, что добрых два десятка людей в трезвом уме и твердой памяти (не говоря уж о луисвильской полиции) могли подтвердить в любую минуту. Билз Чэдси постарался хорошенько растолковать это Брэксмару, прежде чем согласился написать вышеприведенное послание.

52. СКРЫТОЕ ОТ ГЛАЗ

На следующий день миссис Картер, побледневшая и осунувшаяся, вручила Беренис послание Билза Чэдси, и та, внимательно его прочитав, пришла к заключению, что так приносят извинения лишь из соображений запоздалой учтивости, когда в душе остаются при своем мнении. Миссис Картер была явно смущена. Она протестовала слишком бурно. Беренис знала, что может узнать правду, если захочет. Но к чему? Самая мысль об этом приводила ее в содрогание. Да и какое право имеет она судить свою мать?

Каупервуд явился очень рано и постарался придать происшествию как можно более невинный вид. Он рассказал, как отправился вместе с Брэксмаром в полицейский участок и потребовал, чтобы Чэдси притянули к ответу, и как Чэдси, сразу протрезвевший после ареста, утратил все свое нахальство и стал униженно рассыпаться в извинениях. Взглянув на письмо, которое протянула ему миссис Картер, Каупервуд воскликнул:

— Да, да! Он с радостью пообещал написать вам письмо, лишь бы мы отпустили его восвояси и прекратили дело. Брэксмар настаивал на этом письме. А я считал, что будет достаточно, если судья наложит на него штраф. Чэдси был пьян, о чем тут еще толковать?

В присутствии Беренис Каупервуд делал вид, что ему ничего более неизвестно, но, оставшись наедине с миссис Картер, сразу изменил тон.

— Плюньте на эту историю, она яйца выеденного не стоит, — властно сказал он. — Брэксмар не верит этому типу, а письмо рассеет подозрения Беренис. Держитесь как ни в чем не бывало, все зависит только от вас. Вид у вас чересчур подавленный, моя дорогая. Так не годится, вы выдаете себя с головой.

В душе же Каупервуд был рад такому счастливому для него обороту событий. Произошло как раз то, что могло, пожалуй, отпугнуть лейтенанта. Тем не менее Каупервуд потребовал от миссис Картер, чтобы она держалась уверенно, даже высокомерно, и миссис Картер и вправду повеселела, что, впрочем, не помешало ей расплакаться, как только она осталась одна.

Беренис заглянула к ней в кабинет и, увидев ее распухшие от слез глаза, воскликнула:

— Ах, мама, пожалуйста, перестаньте! Как вам не совестно! Если вы не можете взять себя в руки — поедемте за город, там вы отдохнете.

Миссис Картер принялась уверять дочь, что все это пустяки, просто нервы расходились. Но Беренис думала иначе: дыма без огня не бывает.

С Брэксмаром после этого происшествия Беренис держалась все так же любезно, но с холодком. Лейтенант приехал на следующий день, чтобы выразить свое соболезнование, и тут же пригласил Беренис на премьеру. Беренис была с ним мила, но он почувствовал ее отчужденность. Она дала ему понять, что инцидент с Билзом Чэдси считает исчерпанным, но приглашение на премьеру отклонила.

— Мы с мамой хотим поехать за город на несколько дней, — заметила она.

— Если вы не уедете до нашего возвращения, мы, конечно, будем рады вас видеть. — Она отвернулась, подошла к залитому утренним солнцем окну, выходившему в парк, и начала обирать засохшие листики с комнатных растений, стоявших в корзинках на подоконнике.

Брэксмар, воспитанный в духе сентиментального романтизма и плененный горделивыми чарами Беренис, ее великолепным умением сохранять самообладание при столь щекотливых обстоятельствах и высокомерной готовностью отпустить его на все четыре стороны, почувствовал вдруг, как это иной раз бывает, что его охватывает странное волнение, какой-то неудержимый восторг, столь же неожиданный и необъяснимый для него самого, как и для всякого, кто стал бы наблюдать эту сцену со стороны. Шагнув вперед, он простер к Беренис руки с видом пылким, восхищенным и в то же время почтительным и, волнуясь, воскликнул:

— Беренис! Мисс Флеминг! Не гоните меня прочь. Не покидайте меня. Разве я в чем-нибудь провинился перед вами? Я люблю вас безумно. Что бы ни произошло, это не должно стать между нами. Прежде у меня не хватало духу признаться вам, но теперь я не могу больше молчать. Я полюбил вас с первого взгляда. Вы — самая необыкновенная девушка на свете! Я знаю, что недостоин вас, но я люблю вас. Я люблю вас преданно и глубоко, я восхищен вами и почитаю вас. Что бы ни говорила молва — будь это правда или ложь, — мне все равно. Прошу вас, будьте моей женой. Я знаю, что недостоин развязать шнурки ваших ботинок, но у меня есть положение, а с вами я завоюю мир. О Беренис! — И с этим мелодраматическим восклицанием лейтенант вытянул руки по швам, выпрямился во весь рост, застыл на мгновение в этой позе и закончил: — Без вас мне лучше не жить на свете. Скажите, смею ли я надеяться?

Великая мастерица по части жеста, мимики, позы и прочих многообразных ухищрений своего пола, Беренис секунду, не больше, раздумывала над тем, что и как ей следует сказать и сделать. Она отнюдь не испытывала к лейтенанту таких пылких чувств, как он к ней, а мысль, что темное прошлое матери словно принуждает ее искать спасения в браке, уязвила самолюбие Беренис. Она понимала, что поступок лейтенанта продиктован самыми добродетельными и похвальными побуждениями, но не могла простить ему недостаток такта. Хоть бы подождал немного со своим предложением!

— Право, мистер Брэксмар, — сказала она, стоя в полуоборот к лейтенанту и поднимая на него задумчивый взор, — вы не должны сейчас требовать от меня ответа. Я верю вашей искренности. Боюсь, однако, что я чем-то дала вам повод неправильно истолковать мое поведение в отношении вас. Поверьте, я этого не хотела. Мне кажется, вам лучше не думать обо мне. Пока во всяком случае. Если вы будете настаивать, я могу сейчас дать вам только один ответ. Мне придется просить вас забыть меня навсегда. Мне больно говорить вам это. Я не умею выразить того, что сейчас чувствую, но, надеюсь, вы мне верите.

Она умолкла — очаровательное создание, очень расчетливое, очень дальновидное… Самообладание ни на секунду не изменило ей, хотя в конце концов она и на самом деле почувствовала себя растроганной.

Тут лейтенант Брэксмар впервые увидел, что имеет дело с совершенно непостижимым существом. Какая загадочная девушка! В эту минуту она показалась ему особенно желанной, быть может потому, что он понял, как она далека от него. Как ни странно, но этому молодому американцу внезапно пришли на ум острова древней Эллады, Цитера, погребенная под водой Атлантида, Кипр с его храмом Афродиты… В глазах Брэксмара вспыхнул огонь и со щек сбежал румянец.

— Не могу поверить, что я вовсе безразличен вам, мисс Беренис, — проговорил он, с трудом сдерживая волнение. — Нет, я чувствую, что не безразличен вам. Но… — Призвав на помощь все свое мужество, как и подобало человеку военному, он прибавил: — Не стану вам больше докучать. Я знаю, что вы понимаете мои чувства. Они не изменятся никогда. Ведь мы расстаемся друзьями, не правда ли?

Он протянул ей руку, и Беренис подала ему свою, чувствуя, что это рукопожатие кладет конец отношениям, которые могли бы стать идиллическим любовным союзом.

— Разумеется, мы расстаемся друзьями, — сказала она. — И я надеюсь вскоре снова увидеть вас.

Когда лейтенант удалился, Беренис прошла в соседнюю комнату, опустилась в плетеное кресло, уткнула локти в колени, подперла подбородок кулачком и задумалась. Какая грустная развязка дружбы, столь невинной и столь пленительной. Итак, лейтенанта Брэксмара больше нет. Она его никогда не увидит… И не пожелает увидеть… Не слишком будет этого желать во всяком случае. На свете много печального, много темного, даже отталкивающего. О да, жизнь начинала открываться Беренис с довольно неприглядной стороны.

Промучившись два дня со своими думами и чувствуя, что она больше не в силах это выносить, Беренис однажды вошла к матери в комнату и сказала:

— Мама, почему вы не хотите рассказать мне эту луисвильскую историю? Все как есть. Чтобы я знала правду. Я вижу — вас что-то гнетет. Почему вы не доверяете мне? Я уже не ребенок. Скажите мне правду, чтобы я могла во всем этом разобраться и знала, как мне следует поступать.

Миссис Картер, привыкшая играть роль важной, снисходительно-величественной мамаши, была совершенно сражена таким смелым и решительным поступком дочери. Она почувствовала, что краснеет, и по спине у нее побежали мурашки. Все же она решила солгать.

— Говорю тебе, ничего не было, — волнуясь, заявила она. — Случилось какое-то чудовищное недоразумение. Очень жаль, что этого ужасного человека не проучили как следует за то, что он осмелился так оскорбить меня, да еще в присутствии моей дочери!

— Мама, — повторила Беренис, не сводя с нее холодных синих глаз, — почему вы не хотите сказать мне правду? У нас с вами не должно быть тайн друг от друга. Быть может, я сумела бы вам помочь.

И миссис Картер, поняв, наконец, что дочь ее уже не дитя и не пустая светская кокетка, а вполне сложившаяся женщина, холодная, сознающая свое превосходство, рассудительно-участливая и куда более проницательная, чем она сама, бросилась в обитую пестрым кретоном качалку, вытащила из кармана крошечный кружевной платочек, прикрыла глаза рукой и разрыдалась.

— Я была в таком отчаянном положении, Беви, я просто не знала, что делать. Полковник Джилис посоветовал мне снять этот дом… Я хотела дать тебе и Ролфу приличное воспитание, вывести вас на дорогу. Но то, что говорил этот гадкий человек, — неправда. Все было совсем не так. Полковник Джилис и его приятели хотели, чтобы я сняла для них холостую квартиру… ну, с этого и началось. Я не виновата, Беви. Мне просто нечем было жить.

— А какое отношение имел ко всему этому мистер Каупервуд? — с любопытством спросила Беренис. Последние дни она стала все чаще и чаще думать о нем. Он так спокоен, умен, энергичен, так уверен в своих силах; чем-то сродни ей самой.

— Абсолютно никакого, — заявила миссис Картер, воинственно вскинув голову. Каупервуду она отдавала значительное предпочтение перед прочими своими друзьями мужского пола. Он никогда не толкал ее на дурные поступки, никогда не пользовался ее домом в своих личных целях. — Мистер Каупервуд только помог мне выпутаться из беды. Это он посоветовал мне оставить дом в Луисвиле, уехать на Восток и посвятить себя заботам о тебе и Ролфе. Он предложил мне свою помощь на то время, пока вы не оперитесь, и я его послушалась. Ах, если б я не была так неопытна, не испытывала такого нелепого страха перед жизнью! Ведь твой отец и мистер Картер умели только сорить деньгами и промотали все.

Она сокрушенно вздохнула.

— Значит, у нас просто-напросто ничего нет, так, что ли, мама? Никаких средств, решительно ничего?

Миссис Картер уныло покачала головой.

— И мы живем на деньги мистера Каупервуда?

— Да.

Беренис молча глядела в окно, на раскинувшийся перед домом парк. Небольшой прудок, рощица на холме и беседка в виде китайской пагоды у его подножья казались вписанными в раму окна, как картина. На холме сквозь деревья проглядывали желтоватые стены большого отеля. Снизу, с улицы, доносились звонки трамвая. По аллее парка двигалась вереница нарядных экипажей — чикагские богачи совершали прогулку в прохладе вечереющего ноябрьского дня.

Нищая, пария! — думала Беренис. Нужно выйти замуж за богача? Разумеется, если удастся, но за кого? За лейтенанта Брэксмара? Ни за что! Сильной личностью его не назовешь, и к тому же он был свидетелем ее позора. Так за кого же? О, их немало — пустоголовых повес, бездельников, прожигателей жизни! Немало и солидных, трезвых, уравновешенных, тупых, преуспевающих дельцов. И все это вместе составляет «общество». Когда-нибудь она встретит, быть может, и настоящего мужчину, но подарит ли он ее своим вниманием, если будет знать всю правду?

— Ты порвала с Брэксмаром? — спросила вдруг миссис Картер, и в голосе ее прозвучали тревога, любопытство, надежда на лучшее и покорность судьбе.

— Я не видела его с тех пор, — отвечала Беренис, решив из предосторожности солгать. — И еще не знаю, захочу ли увидеть. Мне нужно подумать. — Она поднялась со стула. — Ну, не расстраивайтесь, мама. Я бы хотела только устроить нашу жизнь как-нибудь так, чтобы не зависеть больше от мистера Каупервуда.

Беренис прошла к себе в спальню и, стоя перед зеркалом, начала переодеваться: она была приглашена на обед. Итак, значит, последние годы они жили на деньги мистера Каупервуда. И она, не задумываясь, сорила этими деньгами и была так тщеславна, самонадеянна, горда, держала себя с ним так высокомерно… А он молчал и только смотрел на нее — пристальным, пытливым взглядом. Почему? Можно было не задавать себе этого вопроса. Она знала — почему. Так вот какую игру он вел! И какой же она была дурочкой, что не понимала этого раньше! А мать? Подозревает она, догадывается? Беренис склонна была в этом усомниться. Какой странный, нелепый, какой страшный мир! — думала Беренис. Ей вспомнились вдруг глаза Каупервуда, и она вздрогнула под этим тяжелым взглядом.

53. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

В этот день Беренис впервые пришлось серьезно задуматься над своим будущим. У нее снова мелькнула мысль о замужестве. Но для этого нужно было либо призвать назад Брэксмара, либо предпринять утомительную и докучливую охоту за кем-нибудь другим, быть может еще менее отвечающим ее вкусам. Так уж не лучше ли просто объявить всем друзьям и знакомым, что потеря состояния вынуждает ее взяться за дело и зарабатывать себе на хлеб. Она будет преподавать танцы или сделается профессиональной танцовщицей. И вот однажды она совершенно невозмутимо преподнесла это удивительное решение своей матери. Миссис Картер, привыкшая вести паразитический образ жизни и менее всего помышлявшая о том, что деньги можно добывать трудом, пришла в неописуемый ужас. Подумать только, что ее необыкновенная Беви и она сама, а за ними,

следовательно, и ее сын, должны опуститься до самой прозаической и пошлой борьбы за существование. И это после всех ее мечтаний! Она вздыхала и плакала втихомолку, потом написала Каупервуду осторожное послание, умоляя его приехать в Нью-Йорк и повидаться с ней — но только так, чтобы не знала Беренис.

— Может быть, ты все-таки повременишь с этим немножко, — робко предложила она дочери. — У меня сердце разрывается на части, когда я думаю о том, что ты, с твоими талантами, должна опуститься до преподавания танцев. Нет, нет, Беви, что угодно, только не это. Ты же можешь сделать хорошую партию, и тогда сразу все устроится. Я ведь думаю не о себе. Я-то как-нибудь проживу. Но ты… — Миссис Картер была поистине несчастна, глаза у нее стали совсем страдальческие. Беренис была тронута проявлением столь горячей материнской привязанности и не сомневалась в искренности ее чувств. Но, боже мой, каких же она натворила глупостей, ее мать! И эта вот жалкая слабая женщина призвана служить ей опорой в жизни!

Каупервуд, выслушав жалобы миссис Картер, заявил, что все это сплошное донкихотство. У Беренис просто расстроены нервы. Как можно покидать общество, менять образ жизни и губить свое очарование профессиональной работой ради денег! Успокоив миссис Картер, он поспешил на дачу, зная, что застанет там Беренис одну. После истории с Билзом Чэдси Беренис тщательно избегала встречи с Каупервудом.

Он приехал в полдень, морозным январским днем. Снег, пышно устилавший землю, искрился и сверкал под золотыми лучами яркого зимнего солнца. В этот год уже появились автомобили, и Каупервуд ехал в новеньком темно-коричневом лимузине с мотором в восемьдесят лошадиных сил. Лакированный кузов автомобиля сверкал на солнце. Каупервуд был в тяжелой меховой шубе и круглой барашковой шапке. Он вышел из машины и позвонил у подъезда.

— Привет, Беви! Как поживаете? А мама дома? — спросил он, делая вид, что ему неизвестно об отсутствии миссис Картер.

Беренис устремила на него свой холодный, открытый, проницательный взгляд и любезно, но сдержанно улыбнулась, отвечая на его приветствие. В простом темно-синем фартуке из грубой бумажной материи, какие носят живописцы, с палитрой в руках, переливавшей всеми цветами радуги, она писала пейзаж и размышляла. Раздумье стало ее излюбленным занятием последнее время. Она думала о Брэксмаре, о Каупервуде, о Килмере Дьюэлма, перебирала в уме еще с полдюжины других возможных претендентов на ее руку, потом переносилась мыслями к сцене, танцам, живописи. Она видела свою жизнь переплавленной наново; порой ей казалось, что она решает какую-то сложную, запутанную головоломку, и, как только решит ее, все станет на свое место, сольется в стройный, гармоничный узор.

— Пожалуйста, присядьте, — сказала она Каупервуду. — Сегодня, кажется, очень холодно? Обогрейтесь у камина. Мамы нет дома. Она поехала в город. Вероятно, вы застанете ее сейчас на нашей городской квартире. Вы надолго в Нью-Йорк?

Веселая, беззаботная, она держалась любезно, но отчужденно. Каупервуд снова почувствовал, какой глубокой пропастью отделила себя от него Беренис. И эта пропасть всегда существовала между ними. Каупервуд знал, что Беренис лучше других понимает его и даже относится к нему с симпатией, и все же в их отношениях постоянно ощущался этот холодок. Быть может, их сближению мешали условности? Или непомерное честолюбие девушки? Или какие-то недостатки в нем самом? Каупервуд терялся в догадках. Но так или иначе, что-то отдаляло от него Беренис, заставляло ее быть с ним настороже.

Каупервуд окинул взглядом комнату. На картине, которую писала Беренис, был изображен запорошенный снегом склон холма. Самый холм, послуживший ей моделью, виднелся за окном. По стенам были развешаны наброски, только что сделанные Беренис, — легкие, грациозные пляшущие фигурки в коротких туниках… Каупервуд перевел взгляд на Беренис и отметил про себя, что ее необычный наряд очень ей к лицу.

— А вы, как всегда, увлечены искусством? — сказал он. — Да, это — ваш мир. Вы не можете жить иначе. Эти эскизы прелестны, — легким взмахом руки, в которой он держал перчатку, Каупервуд указал на хоровод пляшущих фигур.

— Должен вам сказать, что я приехал не к вашей матушке, Беренис. Я приехал к вам. Миссис Картер прислала мне довольно странное послание. Она пишет, что вы не хотите больше выезжать в свет и решили взяться за преподавание или что-то в этом роде. Я приехал потолковать с вами. Не думаете ли вы, что ваше решение принято несколько поспешно?

Говоря так, Каупервуд старался создать впечатление, что его участие к судьбе Беренис совершенно бескорыстно и не преследует никаких личных целей.

Беренис с кистью в руке стояла у мольберта. Она окинула Каупервуда холодным, пытливым и насмешливым взглядом.

— Нет, не думаю, — последовал ответ. — Вы знаете, как обстоят наши дела, и поэтому я могу говорить с вами совершенно откровенно. Я понимаю, что мамой руководили всегда только самые добрые побуждения. Но боюсь, что сердце у нее лучший советчик, чем голова. — В углу рта Беренис пролегла чуть заметная горькая складка. — Я готова также думать, что и ваши

побуждения были самыми лучшими. Я даже уверена в этом, — было бы неблагодарно с моей стороны предполагать что-либо другое. (Каупервуд пристально посмотрел на нее, и в глазах его словно промелькнуло что-то и ушло в глубину.) Но тем не менее так дальше продолжаться не может. У нас нет средств. Почему же не заняться каким-нибудь делом? Да и что, собственно, мне еще остается?

Она умолкла, и Каупервуд с минуту смотрел на нее, не говоря ни слова. В простом, грубом, нескладно топорщившемся переднике, непричесанная, — спутанные рыжеватые пряди падали ей прямо на глаза, — она смотрела на него своим пронзительным синим взором, и Каупервуду казалось, что на всей земле нет существа более прекрасного. Какой целеустремленный, острый, какой гордый ум! Какая одаренная натура, и как, подобно ему самому, эта девочка умеет ни перед кем не опускать глаз! Ничто, как видно, не может вывести ее из равновесия.

— Беренис, — сказал он негромко, — выслушайте меня. Вы оказали мне большую честь, признав, что я руководствовался самыми лучшими побуждениями, когда давал деньги вашей матушке. Это действительно так. Я во всяком случае убежден, что лучших побуждений быть не может. Признаться, они не были такими сначала. Если вы позволите, я буду сейчас вполне откровенен. Не знаю, известно ли это вам, но когда меня познакомили с вашей матушкой, я лишь краем уха слышал о том, что у нее есть дочь, и это чрезвычайно мало интересовало меня в ту пору. Один из моих деловых друзей, большой почитатель вашей матушки, ввел меня в ее дом, и должен сказать, что я тоже сразу проникся к ней уважением, ибо она — прирожденная аристократка и женщина весьма незаурядная. Как-то разя увидел у нее вашу фотографию, но она тут же убрала ее, прежде чем я успел расспросить о вас. Быть может, вы помните этот портрет — вы сняты в профиль, вам было тогда лет шестнадцать.

— Да, помню, — ответила Беренис просто и так тихо, словно выслушивала исповедь.

— Эта фотография произвела на меня очень сильное впечатление. Я стал расспрашивать о вас и постарался выяснить все, что мог. Потом я увидел еще одну вашу фотографию, большой портрет, он был выставлен в витрине луисвильского фотографа. Я купил его. Теперь он стоит у меня в кабинете на столе, в моей чикагской конторе. На этом портрете вы сняты около камина.

— Да, я припоминаю и этот снимок, — промолвила Беренис; она была тронута, но еще не успела собраться с мыслями.

— Позвольте мне рассказать вам вкратце о себе. Это не займет много времени. Я родом из Филадельфии. Мой отец и мать — коренные филадельфийцы. Всю жизнь я занимался банковским делом и городским железнодорожным транспортом. Моя первая жена была из пресвитерианской семьи, очень набожная, очень чопорная, старше меня лет на шесть-семь. Я был счастлив с ней сначала — первые годы. Она родила мне двоих детей. Потом я встретился с моей теперешней женой. Она была моложе меня на десять лет и очень хороша собой. В каком-то смысле она была умнее моей первой жены — не так напичкана предрассудками — и добрее, шире по натуре. Я увлекся ею и в конце концов добился развода. Мы уехали из Филадельфии и поженились. Я очень любил ее в то время и думал, что она будет мне идеальной подругой жизни. Да и сейчас я нахожу, что она обладает многими очень привлекательными качествами. Но мой идеал женщины, мои вкусы с годами постепенно менялись. В конце концов жизненный опыт убедил меня в том, что моя жена не та женщина, которая мне нужна. Она не понимает меня. Не берусь утверждать, что я сам себя вполне понимаю, но мне кажется, я могу встретить женщину, которая будет понимать меня лучше, чем я сам, которая сумеет увидеть во мне то, чего я сам не вижу, и все же будет любить меня. Не скрою, женщины всегда были моей слабостью. Для меня на свете существует только одна безусловная ценность — это женщина, которой я хочу обладать.

— Боюсь, что ни одна женщина не возьмется установить, кто же является вашей подлинной избранницей, — насмешливо улыбнулась Беренис.

Каупервуд и глазом не моргнул.

— Да, ни одна, кроме той, единственной, о которой идет речь, — с ударением произнес он.

— Ну, что ни говорите, и у нее будет нелегкая задача, — возразила Беренис шутливо, но уже более теплым тоном.

— Я исповедуюсь перед вами и не ищу оправданий, — сказал Каупервуд серьезно и с некоторым усилием. — Женщины, которых я знал, могут, вероятно, быть идеальными женами для других мужчин, но не для меня. В этом убедила меня жизнь. Она изменила мои вкусы, требования, запросы.

— И вы полагаете, что процесс этот каким-то образом пришел к концу? — спросила она тем высокомерно-насмешливым тоном, который всегда дразнил, привлекал и обезоруживал его.

— Нет, я этого не говорю. Хотя идеал женщины для меня, по-видимому, уже определился. Я ношу его в себе много лет. Поэтому все другое потеряло цену в моих глазах. Идеалы существуют, это не выдумка. И каждый человек стремится найти свою путеводную звезду.

Говоря так, Каупервуд вдруг почувствовал, что он делает совсем необычное для себя признание. Он явился сюда, чтобы подчинить Беренис своей воле и заставить ее изменить принятое ею решение. На деле происходило нечто совсем иное. Беренис одерживала над ним верх. Эта тоненькая, стройная, грациозная девочка, находчивая и уверенная в себе, спокойно стояла перед ним, заставляя его изливать ей свою душу. Но Каупервуд внезапно ощутил в ее отношении к нему что-то ласковое, почти материнское: ему казалось, что она все видит, чувствует и понимает. Он был уверен, что она поймет его. Он заставит ее понять! Каков бы он ни был, каково бы ни было его прошлое, она не будет мелочно осуждать его. Это не в ее натуре. Все в ней служило тому порукой.

— Да, — сказала Беренис, — каждому нужна путеводная звезда, только мне кажется, что вы, пожалуй, не сумеете ее найти. Неужели вы надеетесь встретить свой идеал в образе живой женщины?

— Я уже встретил его, — сказал Каупервуд, восхищаясь изворотливостью и гибкостью ее ума, а вместе с тем и своего собственного, уже уловившего ход ее мыслей, восхищаясь устройством человеческого мозга вообще, его темными, неисследованными глубинами, заставляющими иных становиться в тупик. — Прошу вас, отнеситесь серьезно к тому, что я сейчас скажу, это объяснит вам многое. Ваш портрет заинтересовал меня потому, что в нем я увидел воплощение моего идеала, который, как вам кажется, подвержен столь частым изменениям. А когда я впервые встретился с вами, в вашем пансионе на Риверсайд-Драйв, мне стало ясно, что я не ошибся. И вот прошло почти семь лет, а мой идеал не изменился. Я никогда не говорил с вами об этом, но ничто не изменилось во мне с тех пор. Быть может, вы сочтете, что я не имею права испытывать к вам подобные чувства. Многие согласятся с вами. Но тут уж ничего не поделаешь — я полюбил вас, я вас люблю, и этим, только этим объясняются мои взаимоотношения с вашей матушкой. Когда однажды в Луисвиле она рассказала мне о своих затруднениях, я решил помочь ей ради вас. И все, что я делал с тех пор, я делал ради вас… Впрочем, она этого не знает. В некоторых отношениях, Беренис, ваша матушка немного недогадлива. Все эти годы я был влюблен в вас, страстно влюблен. Вот я гляжу на вас и думаю, как вы божественно красивы — да, вы тот идеал, который я искал. Не тревожьтесь, я не собираюсь докучать вам своими признаниями. — Беренис сделала едва заметное движение. Она боялась не столько его, сколько самой себя. В этом человеке чувствовалась такая сила… Она не могла относиться к нему несерьезно, когда он был так серьезен. — Все, что я делал для вас и для вашей матушки, я делал только потому, что любил вас и хотел, чтобы вы стали совершенством, чтобы ничто не мешало расцвету ваших дарований. Ради вас я предпринял постройку своего нового дома на Пятой авеню. Да, вы не знаете этого, но я строил его, мечтая о вас. Я хотел создать нечто, достойное вас. Пустая греза? Конечно. Все, к чему мы стремимся, в известной мере относится к области грез. Если мой дом красив, этим я обязан вам. Думая о вас, я создавал его красивым.

Каупервуд умолк, молчала и Беренис. Ее первым побуждением было оборвать его, но Каупервуд сумел задеть ее тщеславие, пробудить в ней преклонение перед своей силой, расшевелить артистические струнки ее души. К тому же, сказать по правде, ее мучило любопытство: чего, собственно, добивается Каупервуд? Хочет ли он просто сделать ее своей любовницей, или намерен ждать, пока не получит возможности сделать ее своей женой?

— Вас, вероятно, интересует, мечтал ли я жениться на вас, — продолжал Каупервуд, словно прочитав ее мысли. — В этом отношении я ничем не отличаюсь от других мужчин, Беренис. Буду откровенен. Я хотел добиться вас любым путем, лишь бы добиться. Я жил надеждой, что вы когда-нибудь полюбите меня. Я возненавидел Брэксмара, как только он появился возле вас, но у меня и в мыслях не было мешать вам. Я был готов уступить ему дорогу. Я завидовал всем мужчинам, которых видел возле вас, — и старым и молодым. Я завидовал даже вашей матушке, потому что не мог быть так близок к вам, как она. Но в то же время я хотел, чтобы вы имели все, все, что вам нужно. Если бы я уверился в том, что вы по-настоящему полюбили кого-то и мне уже не на что надеяться, я не стал бы вам мешать. Вот и все, остальное вы сами знаете. Но я приехал сегодня сюда не за тем, чтобы говорить об этом.

Он ждал от нее ответа, но она произнесла только:

— Да?

— Я приехал просить вас продолжать жить так, как вы жили до сих пор. И как бы вы ни судили обо мне, особенно теперь, после моего признания, — верьте, что я прошу вас об этом совершенно искренне и бескорыстно. Я еще не распростился навеки со своими надеждами и мечтами. Как знать, быть может, судьба еще сделает меня вашим избранником. Но как бы то ни было, я хочу, чтобы вы ничего не меняли в вашей жизни и были счастливы, не думая обо мне. Я мечтал о вас, но, как видно, это была ошибка. Вы же должны держать голову высоко — вы имеете на это право. Вы должны повелевать. Выходите замуж за того, кто вам по сердцу. Я позабочусь, чтобы вы принесли вашему будущему супругу достойное вас приданое. Я люблю вас, Беренис, но с этого дня заставлю себя относиться к вам с чисто отеческой привязанностью. Перед смертью я позабочусь о вас а своем завещании. Но прошу — живите так же беззаботно, как жили до сих пор. Ведь для меня главное — это знать, что вы довольны и счастливы.

Он снова умолк, продолжая в упор глядеть на нее и искренне веря в эту минуту всему, что говорил. Когда он умрет, она найдет свое имя в его завещании. Если она будет жить по-прежнему, и выезжать в свет, и искать себе спутника жизни, то в конце концов, вероятно, найдет и полюбит кого-нибудь, но прежде чем это случится, она, быть может, станет теплее и доверчивее

относиться к нему. Иначе, что ему эта опека над ней? Но завоевать ее расположение, доверие, дружбу — разве это уже не награда?

Каупервуд всегда интересовал Беренис: его кипучая энергия, его решительность, жизненная сила и, как ей казалось, прямота — привлекали ее к нему. А теперь она была тронута его великодушием. Даже если он и не всегда будет так бескорыстен, если страсть в конце концов возобладает в нем над другими чувствами, то сейчас Беренис не могла сомневаться в его искренности. Так долго любить, преклоняться и молчать! Такой сильный, могущественный человек грезит о ней, как мальчишка, — это ли не победа! Для ее растревоженного самолюбия, столь сильно пострадавшего от пережитого унижения, признание Каупервуда было своего рода бальзамом. В откровенной его прямоте было какое-то своеобразное благородство, которое вызвало невольное восхищение Беренис. Вот он стоит перед ней — виски его уже посеребрила седина, а это очень к лицу некоторым мужчинам и весьма нравится некоторым женщинам. Сколько бы ни старалась Беренис, она не может не испытывать к нему симпатии, даже нежности, чувства чуть ли не материнского. О да, конечно, ему нужна настоящая женщина — женщина образованная, с высокой культурой, со вкусом, с умом, с душой. Во всяком случае как можно отнять у него право мечтать о такой женщине? В эту минуту он казался Беренис личностью необыкновенной и в то же время — просто своенравным, упрямым мальчишкой. Красивый, сильный душой и телом, исполненный уверенности и внутреннего огня, всегда стремящийся вперед, он отнюдь не был похож на старика. Правда ли, что он так сильно любит ее? Может ли он так любить? Может ли он вообще любить кого-нибудь? Однако чего он только не делал, чтобы снискать ее расположение! К чему же все это? Все эти пылкие слова? Все эти великодушные поступки? У подъезда на снегу стоял его роскошный автомобиль, отливая коричневым лаком. Да, это великий, знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд из Чикаго! И он у ее ног, он молит ее, пустую девчонку, сжалиться над ним, не прогонять его прочь, оставить ему хоть какое-то место в ее жизни. Это безмерно льстило Беренис, волновало ее воображение, кружило ей голову. Она сказала:

— Теперь вы нравитесь мне больше. Я верю вам. Раньше я не вполне вам верила. Это, конечно, не значит, что я разрешу вам тратить деньги на меня или на маму, — вовсе нет. Но я восхищаюсь вами. Этого вы добились. И, кажется, я понимаю вас, ваши стремления. Я всегда чувствовала, что отчасти понимаю их. Но прошу вас, пока не требуйте от меня ничего. Мне нужно подумать. Я еще не знаю, могу ли я сделать то, о чем вы просите. (Она заметила, как снова что-то промелькнуло в его глазах и ушло в глубину.) Не будем сегодня об этом говорить.

— Но послушайте, Беренис, — сказал Каупервуд с подлинной мольбой в голосе. — Мне кажется, вы все-таки не понимаете меня. Я был так одинок… Я…

— Нет, нет, я понимаю, — прервала она его, протягивая ему руку. — И с этого дня мы будем друзьями, что бы ни произошло, потому что я искренне расположена к вам. Но не заставляйте меня решать этот вопрос сегодня. Я не могу. Я не хочу. Это просто невозможно.

— Даже несмотря на то, что я был бы счастлив отдать вам все, что у меня есть? Ведь без вас к чему мне это?

— Нет, дайте мне подумать. Только, верно, я все равно не соглашусь, — сказала она вдруг, напуская на себя важность. И, высвободив свою руку из его руки, прибавила смеясь: — Так-то вот, господин опекун.

Сердце у Каупервуда подпрыгнуло в груди. В это мгновение он отдал бы все свои миллионы, лишь бы заключить ее в объятия. Но ему оставалось только улыбнуться просящей улыбкой.

— Поедемте со мной на машине в Нью-Йорк, Беренис. Если вашей матушки нет дома, вы можете остановиться в «Незерленде».

— Нет, нет, не сегодня. Но я скоро приеду. Я или мама известим вас тогда.

Еще несколько прощальных фраз… Каупервуд сбежал по лестнице, сел в машину, помахал Беренис рукой, и автомобиль рванулся вперед по розовеющему от закатных лучей снегу, чтобы к обеду доставить финансиста в Нью-Йорк. О, если бы ему удалось сохранить ее дружеское расположение, ее доверие! Если бы!

54. ТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕССИЯ НА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Итак, признание Каупервуда было благосклонно выслушано Беренис, и это на какой-то срок принесло ему удовлетворение, но, в сущности, никак его не обнадежило. Благодаря странной игре случая молодой соперник, лейтенант Брэксмар, был устранен с пути Каупервуда, а сам он получил возможность предстать перед Беренис во всеоружии своей любви, преданности, готовности служить ей. Но, видимо, Беренис расценивала эти его намерения не столь высоко, как он сам. И Каупервуд еще острее, чем прежде, почувствовал, что попал в сети существа необыкновенного, обладающего вполне самостоятельным и даже своеобразным взглядом на вещи и отнюдь не склонного подчиниться его воле. Быть может, именно это и заставило Каупервуда окончательно и безнадежно влюбиться в Беренис, красота же ее и грация лишь сильнее разжигали его страсть. Напрасно твердил он себе снова и снова: «Что ж, проживу и без нее, если так суждено». Но самая мысль эта была для него непереносима.

К чему деньги, слава, почет, если он не может обладать любимой женщиной? Любовь! Загадочное, необъяснимое томление духа, которому сильные подвержены еще больше, чем слабые… Теперь Каупервуд понял — это открылось ему словно в ослепительном видении, — что конечная цель славы, богатства, могущества — только красота и что красота — это сплав хорошего вкуса, врожденной культуры, одаренности, страсти, мечтаний такой женщины, как Беренис Флеминг. Он понял это. *Понял*. А помимо Беренис, впереди была только надвигающаяся старость, мрак, безмолвие.

Меж тем воскресные газеты, подстрекаемые агентами и приспешниками Каупервуда, соперничали друг с другом в описании чудес его новой нью-йоркской резиденции, и каждая газета считала своим долгом сообщить стоимость возведенного здания и земельного участка и перечислить по именам всех богачей — соседей Каупервудов. Портреты Эйлин и Каупервуда — каждый на полполосы — печатались в сопровождении бойких заметок, расписывавших на все лады предстоящие пышные приемы этой супружеской четы, которая благодаря своему несметному богатству несомненно будет принята в обществе. Однако все это были лишь газетные сплетни и досужие измышления репортеров. Если общегородская газетная хроника прожужжала всем уши богатством Каупервуда, то хроника великосветская, оповещавшая о жизни фешенебельных кругов, ни разу не упомянула его имени. Тут безусловно сказывались козни чикагских врагов Каупервуда, распространявших неблаговидные слухи о его прошлом и чернивших его в глазах тех общественных организаций, клубов и даже церквей, признание которых служит своего рода пропуском в рай, если не на небесах, то на земле. Агенты Каупервуда тоже, разумеется, не сидели сложа руки, но вскоре убедились, что достигнуть цели не так-то легко. Немало коренных жителей города, облаченных в такие солидные светские доспехи, какими Каупервуды вряд ли могли похвастаться, томились у райских врат, горя желанием проникнуть внутрь. После того как несколько фешенебельных клубов, один за другим, забаллотировали его кандидатуру, после того как в аристократическом приходе Сент-Томас равнодушно положили под сукно его просьбу о предоставлении ему молитвенной скамьи в соборе и после того, наконец, как его приглашения были отклонены целым рядом нью-йоркских архимиллионеров, с которыми он встречался на деловой почве, Каупервуд понял, что его великолепный дворец, помимо своего музейного назначения, едва ли на что-нибудь ему пригодится.

В то же время финансовый гений Каупервуда приносил ему все новые победы, и одной из самых значительных был оборонительно-наступательный союз, заключенный им с банкирским домом «Хэкелмайер, Готлеб и Кь». Убедившись в железной хватке Каупервуда, который сумел восторжествовать над своими врагами тотчас после серьезного поражения на выборах, господа Хэкелмайер и Готлеб обнаружили внезапную перемену в мыслях и заявили о своей готовности финансировать любое его предприятие. Как и все финансисты, они слышали о триумфе Каупервуда в связи с банкротством «Американской спички».

— Видно, этот Каупервуд очень ловкий человек, — с улыбкой заметил мистер Готлеб своим компаньонам. — Я буду рад познакомиться с ним.

И вскоре после этого Каупервуда ввели в огромный кабинет директора банка, где он был весьма приветливо встречен самим мистером Готлебом.

— Мне приходится немало слышать о Чикаго, — сказал мистер Готлеб с легким немецко-еврейским акцентом, — но еще больше — о вас. Вы, кажется, собираетесь проглотить все как есть дороги в этом городе — и электрические, и надземные, и прочие?

Каупервуд улыбнулся своей самой подкупающей улыбкой.

— Это не исключено. Но, может быть, вы хотите, чтобы я оставил кое-что и для вас?

— Нет, зачем же. Но я не прочь принять участие в ваших начинаниях.

— Вы, мистер Готлеб, всегда можете вступить в любое из моих предприятий. Вы знаете, что для вас широко открыты все двери.

— Я подумаю об этом, подумаю. Ваше предложение кажется мне весьма заманчивым. Очень рад был познакомиться с вами.

Финансовые успехи Каупервуда, как он это и предвидел с самого начала, в немалой степени зависели от неуклонного роста и развития Чикаго. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд впервые приехал сюда, его глазам открылась грязная болотистая равнина, наспех сколоченные лачуги, шаткие деревянные мостки и тесные лабиринты улочек в деловом квартале. Теперь великолепная столица Западных штатов, население которой уже перевалило за миллион, величественно раскинулась в округе Кук, захватив добрую его половину. Там, где было раньше какое-то жалкое подобие коммерческого центра города и лишь изредка попадалось солидное торговое здание или нарядный фасад гостиницы, протянулись глубокие, словно каньоны, улицы, застроенные высокими, пятнадцати— и даже восемнадцатиэтажными зданиями различных фирм и контор, из верхних этажей которых, точно со сторожевых башен, можно было наблюдать за повседневной суетой окружавшего их со всех четырех сторон хлопотливого человеческого муравейника. Дальше располагались районы богатых особняков, парки, увеселительные сады и

огромные пространства, занятые железнодорожными депо, бойнями, заводами и фабриками. И в сердце этого города, в его деловом центре, Фрэнк Алджернон Каупервуд вырос в фигуру огромного масштаба. Не удивительно ли, что некоторые люди растут и набирают силу до тех пор, пока не превратятся в такого колосса, что мир становится для них лишь подножием? Или пока, как индийские смоковницы, не пустят корня от каждой ветви и не создадут вокруг себя целого леса, — леса сложных коммерческих предприятий, разнообразная деятельность которых отражается на самых различных областях жизни. Городские железные дороги Каупервуда, как гигантские лианы, обвились вокруг двух третей города и высасывали из него соки.

В 1886 году, когда Каупервуд протянул руку к городским дорогам, их капитал не превышал шести-семи миллионов долларов (все возможности выпустить хотя бы одну лишнюю акцию, исходя из реальной стоимости предприятия, были исчерпаны). Теперь под его руководством этот капитал достиг шестидесяти-семидесяти миллионов долларов. Большинство выпущенных на рынок и реализованных акций распределялось таким образом, что двадцать процентов их давали контроль над остальными восемьюдесятью, а эти двадцать процентов находились в руках Каупервуда, который к тому же, закладывая их, получал крупные денежные ссуды. Западно-чикагская компания выпустила акций на сумму свыше тридцати миллионов долларов, и акции эти — в силу огромной пропускной способности городских железных дорог и бесконечного потока людей, которые с утра до ночи несли компании свои тяжким трудом заработанные медяки, — котировались так высоко, что теперь реальная стоимость этих дорог втрое превышала сумму, затраченную на их сооружение. Северо-чикагская компания, имущество которой в 1886 году стоило не больше миллиона долларов, теперь обладала капиталом в семь миллионов и выпустила акций почти на пятнадцать миллионов. Каждая миля пути оценивалась на сто тысяч долларов дороже, чем фактически стоила ее прокладка. Остается только пожалеть тех бедных тружеников, потребности и самый факт существования которых создают все это богатство и которые тем не менее не понимают, ни откуда оно берется, ни кто должен им управлять.

Все это гигантское количество акций — причем каждая стодолларовая акция приносила от десяти до двенадцати процентов дохода — находилось если не в полном владении Каупервуда, то под его контролем. Получаемые им под залог акций миллионные ссуды не заносились на счет контролируемых им предприятий, — он просто-напросто приобретал на эти деньги земельные участки, дома, экипажи, картины и государственные обязательства, не менее надежные, чем золото. Так он накапливал капитал в устойчивых ценностях. После бесконечных трудов и хлопот со стороны его перегруженных делами поверенных и стряпчих ему удалось добиться объединения всех пригородных линий городских железных дорог в Консолидированную транспортную компанию. Каждая линия имела самостоятельную концессию и самостоятельно выпускала акции, но в результате всевозможных хитроумных контрактов и соглашений все они находились под контролем того же Каупервуда и составляли одно целое с остальными его предприятиями. Северную и Западную компании он также намеревался теперь слить воедино, создав Объединенную транспортную компанию, и вместо десяти— и двенадцатипроцентных акций Северной и Западной собирался выпустить новые шестипроцентные стодолларовые акции Объединенной транспортной и обменять каждую старую акцию на две новых, чем должен был якобы облагодетельствовать акционеров, а по существу — самого себя, ибо это давало ему возможность прикарманить учредительскую прибыль, равную восьмидесяти миллионам долларов. Продлив свои концессии на двадцать, пятьдесят или сто лет, он возложил бы на плечи Чикаго тяжкое бремя выплаты процентов на эти в какой-то мере фиктивные ценности, а сам оказался бы обладателем стомиллионного капитала.

Но продление концессий и было самой трудной и сложной задачей из всех, которые он себе поставил. Для этого требовалось прежде всего победить или хотя бы перехитрить тех, кто разжигал страсти, всеми способами восстанавливая население против Каупервуда. Особенно яростное возмущение вызвала деятельность Каупервуда, связанная с расширением его надземных железных дорог. К двум построенным ранее линиям Каупервуд прибавил теперь третью — «Соединительную петлю», которую он предполагал связать не только со своими линиями, но и с чужими надземными дорогами, между прочим — с Южной дорогой, принадлежавшей мистеру Шрайхарту. После присоединения Каупервуд намеревался предложить своим противникам платить ему за право пропуска их поездов по его петле. Тем волей-неволей пришлось бы на это согласиться, так как новая петля обслуживала самые оживленные кварталы, где всегда была такая толкучка, словно все до единого жители Чикаго сговорились хотя бы раз в сутки непременно там побывать. Таким образом, Каупервуд сразу же обеспечивал себе изрядный доход со своей новой линии.

Проект этот породил небывалую злобу в сердцах его врагов. Клика Арнила

— Хэнда — Шрайхарта заявляла, что сам сатана не придумал бы такой штуки. Трумен Лесли Мак-Дональд, все усилия и помыслы которого со времени окончательного воцарения его — после смерти старого генерала — в газете «Инкуайэрер» были направлены на то, чтобы изгнать Каупервуда из пределов Чикаго, а за ним и господа Хейгенин, Хиссоп и Ормонд Рикетс решили прибегнуть к последнему отчаянному средству и подняли в своих газетах крик в защиту демократии. Места для сиденья — всем пассажирам! (На дорогах Каупервуда, разумеется.) Хватит цепляться за поручни в часы наплыва! Утром и вечером с рабочих брать не больше трех центов за проезд! Бесплатные пересадки (на тех же дорогах) — с западной на северную и обратно. Двадцать процентов валового дохода (с тех же дорог) — в пользу города! Пусть население узнает, наконец, о своих правах и привилегиях! Большинство противников Каупервуда поневоле одобряло эту политику, явно враждебную его интересам, но нашлись ультраконсервативные мужи, как Хосмер Хэнд например, в которых она вселила тревогу.

— Ох, уж не знаю, Норман, — сказал он Шрайхарту. — Не нравится мне это. Взбудоражить-то их нетрудно, а потом, поди-ка, утихомирь. Не забывайте, что это Америка — беспокойная, бредящая социализмом страна, а Чикаго — рассадник опасных

идей. Конечно, если это поможет нам разделаться с Каупервудом, так уж пускай газеты покричат еще немножко. Надеюсь, что они сумеют вовремя остановиться. И все-таки — не знаю, не знаю.

Мистер Хэнд принадлежал к разряду людей, считавших социализм опаснейшей заразой, перекочевавшей в Америку из Европы, которая погибала под гнетом монархизма. Как народ может быть недоволен тем, что сильные мира сего — образованные, состоятельные, богобоязненные люди — вершат его судьбу? Чем это не демократия? Это она и есть, а он, Хосмер Хэнд, — один из состоятельных, богобоязненных… Он презрительно и недовольно фыркал, читая радикальную болтовню газет. Однако все, все, что угодно, лишь бы свалить Каупервуда.

Каупервуд прекрасно понимал, что, усердствуя таким образом, газеты могли окончательно восстановить против него общественное мнение. Правда, срок его концессий истекал не ранее 1 января 1903 года, но если эта шумиха не уляжется, то уже никакие средства — ни законные, ни беззаконные — не помогут ему победить своих врагов на выборах. Корыстные и продажные олдермены и члены муниципального совета готовы были — за хорошую мзду, разумеется, — сделать для него все, чего бы он ни пожелал, но даже самые алчные, толстокожие и вконец обнаглевшие взяточники не могли не устрашиться гласности и яростного возмущения народа. А стараниями газет общественное мнение уже сейчас было возбуждено до крайности. Явиться в муниципалитет с просьбой о продлении концессий, срок которых истекал лишь через семь лет, было бы слишком рискованно. Даже подкупленные члены муниципалитета вряд ли осмелятся удовлетворить такую просьбу. Есть вещи невозможные даже для продажных политиков.

Вся эта история еще усложнялась тем, что продление концессий на двадцать лет уже не могло удовлетворить Каупервуда. Для задуманного им слияния Северной и Западной компаний необходимо было получить концессию на срок куда более солидный, чем те мизерные сроки, которые допускались современным законодательством штата, — ведь в результате этой консолидации должен был произойти огромный выпуск новых акций. Взамен находившихся в обращении двенадцатипроцентных акций на сумму в семьдесят миллионов долларов Каупервуд предполагал выпустить новых, шестипроцентных акций по меньшей мере на двести миллионов.

— Люди с капиталом не очень-то верят в эти краткосрочные концессии, — заметил раз мистер Готлеб Каупервуду, обсуждая с ним предполагаемое слияние компаний. Каупервуд хотел, чтобы «Хэкелмайер и Кь» гарантировали ему размещение всех акций нового выпуска. — Это дело ненадежное. Вот если бы вы могли получить концессию лет, скажем, на пятьдесят или на сто — ваши акции разобрали бы вмиг, как горячие пирожки. Я бы знал тогда, где их разместить, одна только Германия поглотила бы миллионов пятьдесят.

Тон мистера Готлеба был елейный и вкрадчивый.

Каупервуд и сам все это прекрасно понимал. Ему отнюдь не улыбалось при его грандиозных замыслах получить какую-то жалкую концессию сроком на двадцать лет, в то время как в других городах — в Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Питсбурге — муниципалитеты предоставляли своим компаниям концессии на девяносто девять лет, а иной раз — и на веки вечные. Такого рода концессиям оказывали предпочтение все крупные банкирские дома Нью-Йорка и Европы, и даже Эддисон в Чикаго, так же как Готлеб в Нью-Йорке, настаивал на долгосрочной концессии.

— Нам необходимо продлить концессии минимум на пятьдесят лет, — не раз говорил Эддисон Каупервуду, и, к сожалению, это была суровая и весьма неприятная истина.

Каупервудовские крючкотворы не дремали: быстро уразумев серьезность положения, они направили свои усилия на изобретение какого-нибудь юридического трюка. И в одно прекрасное утро мистер Джо Эвери явился к Каупервуду с новым планом.

— Обратили вы внимание, что предпринимают законодательные органы Нью-Йорка для разрешения некоторых местных транспортных проблем? — чуть ли не с порога крикнул сей почтенный законник и, войдя в кабинет Каупервуда, бесцеремонно уселся в кресло перед лицом своего великого патрона. В пальцах мистера Эвери дымилась недокуренная сигара, а лихо заломленный на затылок котелок придавал странно легкомысленное выражение его худому, желчному и выразительному лицу.

— Нет, а что такое? — отвечал Каупервуд, который отлично знал, о чем идет речь, и уже немало размышлял над этим вопросом, однако не считал нужным открывать свои мысли. — Я, кажется, видел какое-то сообщение в газетах, но не обратил на него внимания. Так в чем дело?

— Там решили создать комиссию из четырех-пяти человек, которая будет, кажется, заседать поочередно то в Нью-Йорке, то в Буффало и получит право предоставлять новые концессии и продлевать старые. Эта же комиссия установит размеры компенсации, выплачиваемой городу или штату, стоимость проездной платы, пересадок и прочее и будет регулировать выпуск акций. Если у нас здесь дело с продлением концессий не выгорит, почему бы не обратиться к законодательным органам штата и

не прощупать их на предмет создания такой же комиссии? Многие компании будут это приветствовать. Хорошо бы, конечно, чтобы предложение исходило не от нас. Мы не должны быть зачинщиками.

Мистер Эвери не мигая уставился на Каупервуда; тот с минуту молчал размышляя.

— Я подумаю, — сказал он. — Ваше предложение не лишено здравого смысла.

С этих пор мысль о комиссии не выходила у Каупервуда из головы. Такой оборот дела мог бы разрешить вопрос: появилась бы возможность продлить концессию на пятьдесят, даже на сто лет.

Однако создание подобной комиссии шло вразрез с конституцией штата Иллинойс и было даже в какой-то мере запрещено законом. Согласно конституции никакие изъятия из общих правил, в виде особых привилегий, концессий и прочего, не могли предоставляться ни частным лицам, ни каким бы то ни было организациям или концернам. Однако, как уже было сказано кем-то: «Можно ли считаться с таким пустяком, как конституция, особенно между добрыми друзьями?» Законодательство имеет свои лазейки, пользуясь которыми некоторые статьи закона можно спрятать под сукно, где они зарастут пылью и постепенно изгладятся из памяти. Немало высоких идей, заложенных в конституции ее творцами, были впоследствии искажены до неузнаваемости или просто потеряли силу благодаря различным дополнительным постановлениям, муниципальным договорам, апелляциям к федеральному правительству, апелляциям к законодательным органам штата и так далее и тому подобное. Все это было лишь бумажной фикцией, крючкотворством, но оказалось достаточным, чтобы, подобно крепкой паутине, оплести закон и свести на нет все благие намерения. К тому же Каупервуд был весьма невысокого мнения об уме и способностях сельских избирателей и очень сомневался в том, что они сумеют отстоять свои права. Он не раз слышал от своих юристов — да и не только от них — разные забавные истории из законодательной жизни штата — юмористические сценки, происходившие в судах, на сельских избирательных собраниях, на фермах, в придорожных гостиницах и просто на дорогах.

— Как-то раз еду я на поезде в Питэнки, — начинал старый генерал Ван-Сайкл, или судья Дикеншитс, или бывший судья Эвери… За сим следовало какое-нибудь удивительное повествование, живописующее безнравственность, тупость или общественно-политическое невежество сельских жителей. В Чикаго в то время было сосредоточено более половины всего населения штата, и этих избирателей Каупервуду пока что удавалось держать в руках. Остальные избиратели, населявшие двенадцать маленьких городов, фермы и поселки, не внушали ему уважения. Что они значат в конце-то концов — тупые, неотесанные парни, завсегдатаи сельских танцулек?

Штат Иллинойс — территория, не уступающая по своим размерам Англии, а по своему плодородию — Египту, с границами, проходящими по огромному озеру и полноводной реке, и с населением в два миллиона американцев, почитающих себя свободными от рождения, — казалось, являлся самым неподходящим местом для законодательных махинаций и засилья монополий. Тем не менее трудно было бы сыскать во всей вселенной еще одну человеческую общину, вся жизнь которой в такой же мере подчинялась бы интересам крупных компаний. Каупервуд, несмотря на свое презрительное отношение к буколическим поселянам, не мог не чувствовать известного почтения перед этим огромным населенным пространством, которое он избрал ареной своей деятельности. Здесь подвизались Маркет и Жолье, Ла-Саль и Хеннепин, мечтавшие проложить путь к Великому океану. Здесь вели между собой борьбу противник рабства — Линкольн и поборник рабства — Дуглас. Здесь впервые прозвучал голос «Джо» Смита — проповедника странной американской догмы мормонов. «Какая история у этого штата! — думал порой Каупервуд. — Какая фантастика, и как все это удивительно!» Ему приходилось из конца в конец пересекать Иллинойс во время своих поездок в Сент-Луис, в Мемфис или в Денвер, и он всякий раз бывал взволнован грубой простотой его облика. Небольшие города, застроенные новенькими бревенчатыми домиками, воплощали в себе американский дух, традиции, предрассудки, иллюзии. Белые шпили церквей, сельские улицы — тенистые, с зеленой лужайкой перед каждым домом, широкие ровные пространства полей, где летом густо золотятся хлеба, а зимой лежат пушистые сугробы снега, — все приводило ему на память его отца и мать, которые, казалось, были созданы для этого мира. Впрочем, эти лирические мысли никак не мешали ему прилагать все силы к тому, чтобы упрочить свое будущее, сделать прибыльным двухсотмиллионный выпуск акций Объединенной транспортной и обеспечить себе устойчивое положение в рядах финансовой олигархии Америки и всего мира.

Законодательными органами штата заправляла в то время небольшая кучка сутяг, кляузников, политических мошенников и плутов, плясавших под дудку тех или иных компаний. Каждый из них являлся выборным представителем какого-либо города, селения или округа и каждый был связан, с одной стороны, со своими избирателями, а с другой — со своими хозяевами как в стенах законодательного собрания штата, так и вне их. Связан именно теми узами, которые обычно связуют такого рода деятелей в такого рода обстоятельствах. Мы привыкли называть подобных людей мошенниками и плутами и думать, что этим все сказано. Конечно, они и мошенники, и плуты, но ничуть не в большей мере, чем, например, крысы или хорьки, которые неустанно прорывают себе путь вперед… и — наверх. Инстинкт самосохранения, древнейший и самый властный, вдохновляет этих джентльменов и руководит их поступками. Представим себе, к примеру, случай вполне обыденный. Накануне закрытия сессии сенатор Джон Саузек беседует с глазу на глаз за дверью конференц-зала с… ну, скажем, с сенатором Джорджем Мейсоном Уэйдом. Сенатор Саузек подмигивает, берет своего уважаемого коллегу за пуговицу жилета и придвигается к нему почти вплотную. На лице сенатора Уэйда — почтенного, солидного, многоопытного джентльмена, чрезвычайно представительного и благообразного, несмотря на выдающееся вперед брюшко, — написано любопытство и доверчивое ожидание.

— Ну что, Джордж, говорил я тебе или нет — если только у Куинси выгорит это дело с ремонтом набережных, нам с тобой тоже кое-что перепадет, а? Так вот, Эд Трусдейл приезжал вчера в город. (Последняя фраза сопровождается выразительным подмигиванием: только, дескать, смотри, помалкивай!) Тут пятьсот, пересчитай-ка!

Пачка желто-зеленых блестящих банкнот проворно и ловко извлекается из жилетного кармана сенатора Саузека. Сенатор Уэйд привычным движением пересчитывает их. Одобрение, благодарность, восторг, понимание озаряют лицо сенатора. Взгляд его как бы говорит: «Вот это дело!».

— Спасибо, Джон. А я уже об этом и позабыл совсем. Какие порядочные люди. Если увидишь Эда, кланяйся ему от меня. А когда поставят на обсуждение бельвильский вопрос, дай мне знать.

Мистер Уэйд — великолепный оратор, и к его услугам нередко прибегают, дабы настроить общественное мнение за или против тех или иных законопроектов, подлежащих обсуждению. О такой именно возможности использования его таланта он, со свойственной ему любезной предупредительностью, и напомнил. О жизнь! О неутомимые деятели на ниве законодательной! О ненасытные человеческие аппетиты и неутолимые желания!

Мистер Саузек — спокойный, тихий, ненавязчивый субъект, — один из тех сельских сутяг и проныр, которым в высоких коммерческих сферах частенько находят нужным оказывать покровительство. И он неплохо справляется со своей задачей — усердный, исполнительный служака. Он не стар, не старше сорока пяти лет, приятен и мягок в обхождении, одевается строго и со вкусом и обладает необходимой в его деле выдержкой и хладнокровием. Походка у него легкая, упругая, манеры энергичные, взгляд не злой и не холодный, а спокойно оценивающий. Он — директор одного из окружных банков, крупный акционер «Ж.К.И.» — Железнодорожной компании Иллинойса, негласный пайщик газеты «Гералд» и почитается весьма важной персоной в своем округе, где пользуется большим уважением всех сельских простаков. Однако другой такой продувной бестии не сыскать ни в одном из законодательных органов штата.

Мысль использовать Саузека зародилась у генерала Ван-Сайкла, который свел с ним знакомство еще в начале его политической карьеры. Вести переговоры было поручено Эвери. Известно было, что во всех законодательных махинациях в Спрингфилде, столице штата, сенатор Саузек представляет интересы «Ж.К.И.», которой принадлежала одна из самых крупных железнодорожных магистралей, проходящая через весь Иллинойс и соединяющая Чикаго с Южными, Восточными и Западными штатами. Компания эта была чрезвычайно озабочена продлением своих концессий как в Чикаго, так и в других городах, и в связи с этим по уши увязла в политических интригах штата. По странному стечению обстоятельств финансировалась эта компания преимущественно нью-йоркским банкирским домом «Хэкелмайер и Готлеб»; впрочем, связь Каупервуда с этим банком в ту пору еще не получила огласки. Явившись к Саузеку, который был руководителем республиканской партии в сенате, Эвери предложил ему с помощью судьи Дикеншитса и Джилсона Бикела, официального представителя «Ж.К.И.», взять на себя обработку членов сената и палаты в пользу некоего проекта, сущность которого сводилась к тому, чтобы включить в административную машину штата Иллинойс полномочную комиссию по образцу нью-йоркской. Проект этот имел одно маленькое побочное дополнение, очень интересное и примечательное: с момента введения вышеозначенного закона в силу все компании, обладающие теми или иными концессиями, утверждались в своих правах, привилегиях и прочее и прочее — включая, разумеется, и концессии — на пятьдесят лет вперед. Основанием для этого служило соображение, что столь радикальное мероприятие, как организация комиссии, может-де обеспокоить компании, срок концессий которых еще не истек, и нарушить их мирное процветание и благополучие.

Сенатор Саузек не усмотрел ничего предосудительного в таком проекте, хотя, разумеется, с первого слова понял, к чему все это клонится и в чьих интересах затеяно.

— Так, так, — сказал он, не тратя слов даром. — Все ясно. Ну, а я что от этого получу?

— Если дело выгорит, вы получите пятьдесят тысяч долларов и сверх того еще по две тысячи долларов получит каждый, кто найдет для себя удобным оказать вам содействие. Если все ваши хлопоты ни к чему не приведут, вы получите за свои труды десять тысяч долларов, при условии, конечно, что будете стараться не за страх, а за совесть. Удовлетворяют вас такие условия?

— Вполне, — отвечал сенатор Саузек.

55. КАУПЕРВУД И ГУБЕРНАТОР ШТАТА

Законопроект о создании комиссии мог бы в ту же сессию без особого труда пройти через сенат, если бы не упомянутая дополнительная статья, предусматривающая продление концессий и довольно шатко обоснованная тем, что подобное нововведение в системе государственных учреждений может-де создать для кого-то ряд трудностей. Легко догадаться, интересы какой группы преследовало это дополнение. Репортеры, словно рои мух заполнявшие залы Капитолия в Спрингфилде, были, как всегда, начеку и очень скоро докопались до сути дела. И уродится же на земле такое зловредное племя, как репортеры! Негодные эти пройдохи, находившиеся в услужении у истеричных, скандальных, падких на всякие сенсации и

сплетни и резко враждебных Каупервуду газет, проникали во все щели, умело прислуживались к сенаторам и к членам палаты и выуживали у них нужные сведения. Они пользовались доверием губернатора и деньгами конкурирующих компаний, да к тому же еще снабжали информацией друг друга. Пронесся слух… быть может, чья-то выдумка, фантазия, быть может кому-то померещилось что-то, — но вот уже сенатор Смит шепчет новость на ухо сенатору Джонсу или член палаты Джонс — члену палаты Смиту, а тот спешит поделиться полученными сведениями с Чарли Уайтом из «Глоб» или с Эдди Бэрнсом из «Демократа», а Эдди в свою очередь оповещает Роберта Хэзлита из «Пресс» или Гарри Эдмондса из «Трэнскрипт»…

В результате — тревожное сообщение в одной из этих газет. Неизвестно откуда оно взялось. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс ничего никому не говорили. Чарли Уайт или Эдди Бэрнс никак, разумеется, не могли обмануть доверия. Однако вот оно — напечатано черным по белому, и уже поднимается целая буря запросов, комментариев, протестов. Никто не знает, как это могло случиться, никто в этом не повинен, но тем не менее это так, и теперь борьба уже должна вестись в открытую.

Пост губернатора штата Иллинойс в это время занимал некий Суонсон, человек несколько необычной наружности, темноволосый, тощий, сухопарый, склонный к углубленным размышлениям и вследствие этого имевший за плечами пеструю и нелегкую жизнь. Родился он в Швеции, но еще ребенком был привезен в Америку, где ему пришлось пробивать себе дорогу в условиях крайней нищеты. Благодаря своему твердому, настойчивому и непреклонному нраву он, занимая различные судебные и общественные должности, приобрел себе довольно много почитателей среди чикагских шведов, которые его почти боготворили. Мистер Суонсон был поочередно сборщиком налогов, городским инспектором, районным прокурором, и в течение шести или семи лет — судьей выездного суда штата. На каждой из этих должностей он обнаруживал стремление быть честным и поступать так, как считал справедливым, чем чрезвычайно расположил к себе все бескорыстные умы. Он и в самом деле был честен, любил скорбно размышлять над тяжкой участью бедняков и в бытность свою районным прокурором, а потом судьей штата вынес несколько решений, которые сделали его весьма непопулярным среди сильных мира сего. Иски по обвинению крупных компаний в мошенничестве или незаконном присвоении городского имущества в виде земельных участков, занятых под железнодорожными путями, пристанями и т.п., иски о возмещении городу убытков и прочие иски такого же рода судья Суонсон всегда решал в пользу города, и население, читая в газетах сообщения о его деятельности и слушая его выступления по самым разнообразным поводам, проникалось к нему симпатией. Он был мягкосердечен, доброжелателен, вспыльчив, обладал блестящим даром речи и производил впечатление человека весьма незаурядного. А в дополнение ко всем этим особенностям своей натуры губернатор Суонсон был горячим, но робким поклонником женского пола, что, как мы знаем, так часто присуще неказистым, застенчивым интеллигентным аскетам всего мира, расплодившимся на этой планете к великому стыду нашего лицемерного века, оболгавшего в угоду ханжеской догме свою самую яркую мечту, самую нежную печаль, самую большую радость. Все это вместе взятое восстановило против губернатора ультраконсервативные элементы общества, и он прослыл человеком опасным. Тем временем путем удачного помещения имевшихся у него средств и самой суровой бережливости ему удалось сколотить довольно порядочный капитал. Совсем недавно, впрочем, губернатор попал впросак: увлекшись небоскребами, он имел неосторожность вложить почти все свое состояние в одно кое-как построенное и потому совершенно бездоходное здание, предназначавшееся для различных учреждений и контор. Этот коммерческий промах грозил ему разорением. Губернатор уже начал обивать пороги кредитных обществ.

Противодействие враждебных Каупервуду финансистов вкупе с газетами и губернатором представляло тройной барьер на пути к осуществлению его замыслов, и взять этот барьер было не так-то легко. Газеты, своевременно разгадав, кому и для чего понадобилось создавать новую комиссию, поспешили довести это открытие до сведения своих читателей. В конторах Шрайхарта, Арнила, Хэнда и Мэррила, а также и других центрах финансовой жизни Чикаго недолго ломали себе головы над этими новыми происками врага и вскоре разработали коварный план противодействия.

— Вы понимаете, куда он метит, Хосмер? — спросил Шрайхарт Хэнда. — Он видит, что здесь, в Чикаго, мы его прижали к стенке. При таком положении вещей, как сейчас, и при существующих законах он может просить муниципальный совет продлить ему концессии только на двадцать лет, да и то не раньше, как через три-четыре года. Срок его концессий еще не истек. Каупервуд знает, что к тому времени, как он истечет, мы уже так восстановим против него общественное мнение, что никакой муниципалитет, даже самый продажный на свете, не рискнет дать ему то, чего он просит, без солидной компенсации в пользу города. А если Каупервуд согласится на такую компенсацию, ему придется поставить крест на двухсотмиллионном выпуске шестипроцентных акций Объединенной транспортной. Они не найдут сбыта. Он не может, отчисляя двадцать процентов валового дохода городу и предоставив право бесплатных пересадок, выплачивать при этом шесть процентов на двести миллионов долларов, — каждый это понимает. А он куда как ловко все это придумал и рассчитал, ему уже казалось, что у него в кармане прибавилось миллионов сто! Но этому не бывать! Мы натравим на него газеты, и они задушат этот проект, прежде чем он успеет появиться на свет. А когда Каупервуду волей-неволей придется обратиться в муниципалитет, его заставят выплачивать двадцать-тридцать процентов валового дохода городу и предоставить бесплатные пересадки с любой из его линий на любую другую. Вот тут-то мы его и прикончим. Я тоже совсем не в восторге от всех этих заигрываний с социалистическими идеями, но ничего, как видно, не поделаешь. Приходится идти и на это. Только бы нам его выжить из города, а тогда мы уж заткнем глотку газетам, и население мало-помалу все позабудет. Я во всяком случае на это надеюсь.

До ушей губернатора тем временем уже долетело бывшее в то время в ходу словечко «подмазали»… Это значило, что в законодательных органах берут взятки. Губернатор не был человеком предвзятых мнений, не принимал участия в финансовой междоусобице, и бешеные нападки на Каупервуда не могли поразить его воображения — он знал им цену. Тем не менее он задумался. Он смутно прозревал честолюбивые мечты и замыслы Каупервуда. «Развратник!», «Соблазнитель!» — трубили о нем на всех перекрестках, повергая в ужас ханжей, но губернатор был равнодушен к этим истошным воплям. Он сам в

поступательной смене поколений прозревал таинственные чары богини Афродиты. Он видел, как Каупервуд быстро идет к своей цели, не брезгуя никакими средствами и сметая все препятствия со своего пути. Вместе с тем ему было известно, что городские железные дороги в Чикаго работают теперь совсем неплохо. Не использует ли он, однако, во зло доверие своих избирателей, содействуя осуществлению замыслов Каупервуда? Не должен ли он, перед лицом всех этих людей, изобличить подлинные стимулы, воодушевляющие этого дельца, — алчность, непомерное честолюбие, чудовищный эгоизм, — и противопоставить им бескорыстие христианской идеи и демократического принципа?

Когда в борьбу за обладание материальными ценностями вплетается борьба идей, жизненные столкновения приобретают особый драматизм, вдохновляющий художников и поэтов. Не потому ли горят неугасимым светом сигнальные огни Трои, не смолкая стучат конские копыта под Арбелой, вечно гремят пушки Ватерлоо?

В далеком, застроенном неказистыми бревенчатыми домишками штате Иллинойс, население которого состояло преимущественно из простых сельских жителей, любивших потанцевать на ярмарках под звуки скрипки, произошло решительное столкновение интересов, и с точки зрения губернатора штата это было не что иное, как столкновение идеалов отдельной личности с идеалами народа. Мечтам, стремлениям одного человека противостояли здесь мечты, стремления города, штата, нации — беспомощное барахтанье демократии, ощупью, вслепую силившейся подняться на ноги.

После упорных размышлений губернатор Суонсон решил наложить свое вето на новый законопроект, но Каупервуд не пал духом; он был уверен в силе своей логики, в своем знании людей и решил не жалеть ни денег, ни трудов, чтобы добиться победы. Он должен был воссесть, наконец, на тот величественный престол, который создал для себя в мечтах. С великим трудом протащив свой проект через законодательные органы под прицельным огнем всех газет, он, не теряя ни минуты, начал засылать к губернатору своих эмиссаров — членов законодательного собрания, представителей «Ж.К.И.» и других, официально не связанных с ним агентов различных компаний. Но губернатор Суонсон был непреклонен. Нет, он не подпишет законопроекта, совесть ему этого не позволяет.

Тогда в кабинете губернатора, в том самом злосчастном здании, которое угрожало рано или поздно вконец разорить его и было причиной его постоянных тревог и забот, появился сияющий самодовольством судья Наум Дикеншитс, ныне — главный поверенный Северо-чикагской транспортной. Грузный, холеный, раскормленный, он был житейски мудр, любил пофилософствовать и обращал на себя внимание тяжелым, жестким взглядом и слащаво-льстивыми манерами. Губернатор Суонсон не был знаком с мистером Дикеншитсом, но слышал о нем немало.

— Как вы поживаете, господин губернатор? Счастлив видеть вас опять в Чикаго. Если верить утренним газетам, вы заняты сейчас этим саузековским законопроектом? Мне бы хотелось потолковать с вами насчет него, если вы ничего не имеете против. Я уж недели три все собирался в Спрингфилд, — хотел повидаться с вами, прежде чем вы примете какое-нибудь решение по этому вопросу. Позвольте спросить вас — вы думаете наложить вето на законопроект?

Бывший судья, чисто «выбритый, отменно одетый, надушенный, улыбающийся, имел при себе объемистый кожаный портфель, который он поставил на пол, прислонив к ножке кресла.

— Да, господин судья, — отвечал губернатор Суонсон. — По правде говоря, я уже решил наложить вето. Не вижу никаких оснований поддерживать этот законопроект. Как я понимаю, он преследует очень узкие, очень эгоистические цели, не вызван насущной необходимостью, и, следовательно, в нем нет сейчас никакой нужды.

Губернатор говорил с легким шведским акцентом, своеобразным и даже приятным.

Затем последовало мирное и несколько философское обсуждение всех «за» и «против». Губернатор был утомлен, немного рассеян, но тем не менее считал своим долгом терпеливо и беспристрастно выслушать все, уже не раз слышанные им доводы. Он знал, конечно, что судья Дикеншитс является поверенным Северо-чикагской транспортной компании.

— Я очень рад, что имел возможность узнать ваше мнение, господин судья,

— сказал в заключение губернатор. — Будьте уверены, что я всесторонне обдумал этот вопрос. Мне известно, как вершатся дела в Спрингфилде. Мистер Каупервуд способный человек, и я осуждаю его действия ничуть не больше, чем действия двадцати других предпринимателей, которые сейчас орудуют там. Я знаю, в чем причина его затруднений. Едва ли меня можно заподозрить в симпатии к его врагам, ибо они отнюдь не симпатизируют мне. Я даже не прислушиваюсь к тому, что кричат газеты. Но я верю в демократию, я исповедую идеалы, которые чужды некоторым людям, и в своих поступках руководствуюсь этими идеалами. Я еще не наложил вето на законопроект и не стану утверждать, что мое решение поколебать невозможно. Однако, если мне не будет представлено каких-либо более веских доводов в пользу законопроекта, чем те, которые приводились до сих пор, я останусь при своем мнении и вето наложу.

— Господин губернатор, — сказал судья Дикеншитс, поднимаясь со стула, — разрешите мне поблагодарить вас за любезный прием. Меньше всего на свете хотел бы я оказывать на вас давление вразрез с вашими убеждениями, вразрез с тем, что вы считаете справедливым и честным. Я пытался только обратить ваше внимание на то, как важно, как безусловно справедливо и правильно было бы изъять этот вопрос о концессиях из сферы предубеждений, личных пристрастий, зависти, газетного ажиотажа и других посторонних влияний, которые пущены сейчас в ход, чтобы затруднить деятельность мистера Каупервуда. Все это зависть, и только зависть. Враги мистера Каупервуда готовы попрать все принципы чести и справедливости, лишь бы его уничтожить. В этом все дело.

— Возможно, что и так, — отвечал Суонсон. — Но вопрос этот имеет еще одну сторону, о которой вы, по-видимому, забываете или же не считаете нужным принимать ее во внимание. Конституцией штата народу даровано право пересматривать выданные ранее концессии — в те сроки и на тех условиях, которые обусловлены контрактом. То, что вы предлагаете, — это узурпирование прав народных. Вы хотите лишить народ возможности свободно, вне всякого контроля и влияния со стороны законодательных органов, пересматривать свои взаимоотношения с предпринимателями. Заставлять законодательные органы, путем давления на них или каким-либо иным путем, вмешиваться в эти взаимоотношения — неправильно и незаконно. То, чего вы хотите добиться при помощи вашего законопроекта, вам следует предложить народу на следующих выборах, чтобы избиратели могли либо согласиться с вашими мероприятиями по доброй воле, либо, также добровольно, отклонить их. Вот как это должно быть сделано. А приходить в законодательное собрание, оказывать на него давление, покупать голоса, а потом ждать, что я поставлю под законопроектом свою подпись, — нет, это не пройдет.

Суонсон не горячился, не разоблачал происки Каупервуда. Он говорил спокойно, твердо, даже доброжелательно.

Дикеншитс провел рукой по широкому лысеющему лбу. Казалось, он что-то обдумывал… вероятно, какой-то новый, еще не использованный довод или способ воздействия.

— Что ж, господин губернатор, — сказал он, — так или иначе, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы любезно приняли и выслушали меня. Между прочим, я вижу — у вас тут довольно вместительный сейф. — Дикеншитс поднял с пола свой портфель. — Не разрешите ли вы мне оставить этот портфель у вас на сохранение денька на два. Я еду за город, а здесь кое-какие бумаги, которые мне бы не хотелось брать с собой. Не откажите запереть его в сейф, а я потом пришлю за ним.

— Охотно, — отвечал губернатор.

Он взял портфель, положил его на нижнюю полку и запер сейф. Обменявшись дружеским рукопожатием, губернатор и судья расстались. Губернатор вернулся к своим размышлениям, судья поспешил на поезд.

На следующее утро губернатор Суонсон снова сидел у себя в кабинете и снова с тоской думал о том, где ему раздобыть сто тысяч долларов, чтобы выплатить проценты по закладным и произвести ремонт дома. Словом, покрыть расходы по этому злополучному зданию, которое никак не оправдывало себя и поглощало все его доходы. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и мальчик-рассыльный подал губернатору визитную карточку Фрэнка Алджернона Каупервуда. Губернатору еще никогда не приходилось с ним встречаться. Каупервуд вошел — бодрый, стремительный, энергичный. Губернатор подумал, что этот финансист похож на новый, только что отпечатанный доллар — так он был вылощен, опрятен, свеж.

— Губернатор Суонсон, если не ошибаюсь?

— Да, сэр!

Они посмотрели друг на друга испытующе и настороженно.

— Мое имя Каупервуд. Мне нужно сказать вам несколько слов. Много времени я у вас не отниму. Переливать из пустого в порожнее и заново приводить уже известные вам доводы я не стану. Мне достаточно того, что вы их знаете.

— Да, я имел вчера беседу с судьей Дикеншитсом.

— Вот именно. Теперь, поскольку вам все уже известно, разрешите мне затронуть еще один вопрос. Я знаю, что вы — человек сравнительно небогатый и все ваши средства вложены в этот дом. Я знаю также, что вы дважды пытались сделать заем в размере ста тысяч долларов и получили отказ, так как не могли предоставить никакого обеспечения, кроме этого дома, который уже заложен и перезаложен. Вам, я полагаю, известно, что те лица, которые борются против меня, борются и против вас. С их точки зрения — я негодяй, ибо я эгоист и честолюбец, иначе говоря — черствый материалист. Вы — хотя и не негодяй, но человек опасный, потому что вы идеалист. Подпишете вы этот законопроект или не подпишете, вам все равно не бывать больше губернатором штата Иллинойс, если людям, которые борются также и против меня, удастся, что вполне вероятно, одержать над вами победу.

Темные глаза губернатора загорелись. Он утвердительно кивнул.

— Господин губернатор, я пришел сюда, чтобы подкупить вас, если это мне удастся. Я не разделяю ваших идеалов. Я не верю, что в конечном счете от них может быть какой-нибудь прок. Вероятно, есть еще много такого, во что вы верите, а я нет. А жизнь, быть может, и совсем не похожа на то, как вы или я ее понимаем. Независимо от этого, вы вызываете во мне гораздо больше симпатии, чем большинство людей. Я готов одолжить вам сто тысяч долларов, так-как знаю, что вы сейчас в этом нуждаетесь, или двести, триста, четыреста тысяч — сколько потребуется. Вам нет нужды возвращать мне эти деньги, но, если хотите, можете и возвратить. Как вам будет угодно. В портфеле, который судья Дикеншитс оставил вчера в вашем сейфе, лежит триста тысяч долларов наличными деньгами. У Дикеншитса не хватило духу сказать вам об этом. Подпишите законопроект и дайте мне возможность одолеть моих врагов, которые мечтают сейчас одолеть меня. В дальнейшем я буду поддерживать вас всеми имеющимися в моем распоряжении средствами — и деньгами и влиянием — в любой политической кампании, в которой вы захотите принять участие, будь то выборы в сенат штата или в американский конгресс.

Глаза Каупервуда смотрели дружески, приветливо, как глаза преданной овчарки. Они светились пониманием, сочувствием, более того — в них было философское осознание недоступного ему душевного мира! Суонсон встал.

— Вы что же — открыто заявляете, что пришли меня подкупить? Так следует вас понимать? — спросил он и уже хотел было по привычке разразиться высокопарной обличительной тирадой, но вдруг почувствовал, что не может, хотя бы на минуту, не встать на точку зрения Каупервуда. Они шли разными путями, в разных направлениях, но куда приведут их эти пути?

— Мистер Каупервуд, — продолжал губернатор, и глаза его заискрились, а гримаса, появившаяся на лице, сделала его похожим на выразительные лица Гойи. — Я должен был бы негодовать, но не могу. Я понимаю вашу точку зрения. Но, к сожалению, ни вам, ни себе помочь не в состоянии. Мои политические убеждения, мои идеалы вынуждают меня наложить вето на законопроект. Если я пожертвую ими, я должен поставить крест на своей общественной деятельности. Быть может, меня не изберут больше губернатором, но это не так уж важно. Я мог бы, конечно, воспользоваться вашими деньгами, но не сделаю этого. А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего.

Он не спеша подошел к сейфу, открыл его, вынул портфель и протянул Каупервуду.

— Вам придется взять это с собой, — сказал он.

Они молча посмотрели друг на друга с любопытством, смешанным с сожалением; один — отягощенный денежными, общественными и моральными заботами, другой — исполненный непоколебимой решимости не сдаваться, даже в случае поражения.

— Господин губернатор, — сказал в заключение Каупервуд самым любезным, веселым и безмятежным тоном, — вам еще предстоит увидеть, как другое законодательное собрание и другой губернатор подпишут интересующий меня законопроект. В нынешнюю сессию этого, по-видимому, не произойдет, но рано или поздно так будет. Я не сложу оружия, потому что считаю мое дело правым. Тем не менее, даже наложив вето, можете прийти ко мне, и я одолжу вам сто тысяч долларов, если у вас будет в них нужда.

Каупервуд ушел. Губернатор наложил вето на законопроект. Достоверно известно, что вслед за этим он занял у Каупервуда сто тысяч долларов, чтобы спасти себя от разорения.

56. ИСПЫТАНИЕ БЕРЕНИС

Когда весть о том, что губернатор Суонсон отказался подписать законопроект, а у законодательного собрания не хватило мужества провести его вопреки губернаторскому вето, достигла ушей Шрайхарта и Хэнда, они возликовали.

— Ну что, Хосмер, — сказал Шрайхарт, встретившись на следующий день со своим приятелем в их излюбленном клубе «Юнион-Лиг», — похоже, что мы в конце концов делаем некоторые успехи? А, как вам кажется? На этот раз нашему милейшему Каупервуду не удался его трюк?

И мистер Шрайхарт в каком-то почти исступленном восторге уставился на своего почтенного коллегу.

— Да, на сей раз не выгорело. Интересно, до чего он еще додумается?

— Не знаю, но, по-моему, больше ничего изобрести нельзя. Он понимает, конечно, что ему уже не возобновить своих концессий без солидной компенсации, которая неминуемо поглотит большую часть его прибылей, а тогда — прощай выпуск

«Объединенных транспортных». На этот свой законопроект мистер Каупервуд потратил не меньше трехсот тысяч долларов, а чего он достиг? В следующий раз, если только я хоть что-нибудь в этом смыслю, новое законодательное собрание вообще поостережется связываться с ним. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из спрингфилдских политиков отважился еще раз привлечь на себя огонь всех газет.

Шрайхарт изрекал все это важно, величественно, до крайности самодовольно, ведь, как-никак, а его идея — науськать на Каупервуда газеты

— начинала приносить плоды. Хэнд был настроен не столь оптимистично. По складу своего характера он склонен был считать преходящим любой успех и всегда опасался каких-либо новых подкопов и подвохов. Поэтому он выразил удовлетворение, но не уверенность. Быть может, Шрайхарт и прав, а быть может нет.

Поселившись в Нью-Йорке, Каупервуд с каждым днем ощущал все острее тщетность своих попыток добиться для Эйлин признания в свете. «Да и к чему это?» — не раз говорил он себе, оценивая ее суждения, поступки, наивные планы и мечты и невольно вспоминая вкус, грацию, такт, изысканность Беренис.

Он чувствовал, что Беренис могла бы искусно и тонко победить предубеждение, которое существовало против него в свете и наносило ему такой ущерб. Это — чисто женская задача, говорил он себе, и ничего ему не добиться, пока около него нет настоящей женщины.

А Эйлин, дивясь тому, что одного богатства может быть недостаточно для успеха, что нужны еще какие-то качества, которыми она, по-видимому, не обладала, тем не менее не в силах была отказаться от своей мечты. В чем же секрет? — спрашивала она себя снова и снова. Чем эти светские дамы так отличаются от прочих смертных? Самый вопрос уже содержал в себе ответ, но Эйлин этого не понимала. Она все еще была очень хороша, блистательна даже, и все еще страстно любила наряжаться и украшать себя соответственно своим вкусам и понятиям об элегантности. Газеты подняли такую шумиху вокруг прибывшего с Запада нового архимиллионера и воздвигнутого им дворца, что уже все приказчики и рассыльные отелей знали Эйлин в лицо. Всякий раз, когда ей случалось появляться в общественных местах, она чувствовала устремленные на нее любопытные взоры, слышала за своей спиной шепот, а порой и довольно громкие замечания. Это, конечно, чего-нибудь да стоило! И как вместе с тем это было ничтожно по сравнению с известностью тех избранных особ, которые с высоты своего величия даже не замечают подобных признаков популярности! Но в чем же, в чем секрет успеха? Перед отъездом из Чикаго Каупервуд сумел убедить Эйлин, что в Нью-Йорке он упорядочит свою жизнь, покончит с любовными интрижками и создаст хотя бы некое подобие прочного и дружного супружеского союза. Однако, когда переселение совершилось, Эйлин увидела, что Каупервуд всецело поглощен своими финансовыми и политическими затруднениями и своей художественной коллекцией и не интересуется тем, что происходит в их новом доме. Как и прежде, она в одиночестве проводила вечера, а он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Но сколько бы ни злилась на него Эйлин — в душе или бурно, открыто, — какие бы ни принимала решения, она не могла излечиться от своего чувства к этому человеку, который, как ей казалось, превосходил всех силой ума и характера. Ни благородство, ни добродетель, ни милосердие или сострадание не принадлежали к числу его достоинств, но он покорял ее своей веселой, кипучей, непоколебимой самоуверенностью и упорным, деятельным стремлением к красоте, которая, словно солнечный луч, заставляет искриться и сверкать мутные воды житейского моря. Жизнь со всем, что в ней есть темного и мрачного, не могла, как видно, омрачить его душу. Погруженная в свои думы, Эйлин праздно бродила по созданному им чудесному дворцу и, казалось, вновь познавала Каупервуда. Серебряный фонтан во внутреннем дворике, усаженном орхидеями, мраморные стены, струившие розовое сияние, диковинные заморские птицы и ряд великолепных полотен в огромной картинной галерее — все это было частью его самого, отражением его беспокойной души. И горько было думать Эйлин, что она потеряла этого человека, потеряла после всего, что связывало их когда-то, не сумела навеки приковать его золотыми и крепкими цепями страсти к подолу своего платья! Горько думать, что он уже не побредет рабом своего желания за победной колесницею ее любви и красоты. И все же Эйлин не могла и не хотела отказаться от него.

Меж тем Каупервуд, проявив ни с чем не сравнимую выдержку, такт и стоическое пренебрежение к уколам самолюбия, сумел в конце концов восстановить, хотя бы на время, прежние материальные взаимоотношения с семейством Картеров. Для миссис Картер он был, как и раньше, посланцем небес. Со слезами на глазах она молила дочь снизойти к просьбе Каупервуда, ручалась за его бескорыстие, указывала на его многолетнюю щедрость. Беренис раздирали противоречия: ее манили роскошь, власть, возможность блистать в свете… и желание как-то сообразоваться с моральными и этическими требованиями окружавшей ее среды. Каупервуд был человек женатый и вместе с тем не скрывал своего влечения к ней; тем зазорнее было брать от него деньги. Беренис нередко думала о его отношениях с Эйлин, о причинах их семейного разлада, удивлялась, почему Каупервуд не знакомит ни ее, ни ее мать со своей женой. Какова она — эта вторая жена мистера Каупервуда? Он упоминал о ней лишь вскользь, в скупых, ничего не значащих фразах. Беренис решила даже попытаться, как бы невзначай, увидеть где-нибудь Эйлин, но случилось так, что ее любопытство было удовлетворено неожиданно для нее самой. Однажды в опере кто-то из сопровождавших ее друзей и поклонников шепнул ей на ухо:

— Взгляните, в девятой ложе — дама в белом атласном платье, с зеленой кружевной мантильей…

— Да? — Беренис поднесла бинокль к глазам.

— Это миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, жена чикагского миллионера. Они только что выстроили себе дом на углу Шестьдесят восьмой улицы. И, как видно, абонируют девятую ложу.

Беренис чуть-чуть вздрогнула, но тут же овладела собой и ограничилась небрежным, равнодушным взглядом в сторону девятой ложи. А потом украдкой снова навела бинокль и принялась изучать миссис Каупервуд. Не без любопытства отметила она, что волосы у Эйлин почти такого же оттенка, как и у нее, только еще золотистее. Она рассматривала ее чуть подведенные глаза, нежные щеки и полный рот, уже слегка огрубевший от алкоголя и беспорядочной жизни. Беренис решила, что Эйлин очень хороша, чувственно красива, но не молода, много старше ее самой. Что же отвратило от нее Каупервуда — возраст или то глубокое духовное различие, которое несомненно существует между ними? Миссис Каупервуд, конечно, было уже за сорок. Впрочем, сделав этот вывод, Беренис никакого удовлетворения не ощутила. По правде говоря, ей было все равно. Она подумала только, что эта женщина, как видно, отдала Каупервуду свои лучшие годы — светлую пору своего девичества. А теперь она ему прискучила. Под глазами и в углах рта Эйлин Беренис разглядела крошечные, тщательно запудренные морщинки… Впрочем, держалась миссис Каупервуд совсем как маленькая, избалованная девочка и была преувеличенно весела. С ней в ложе находилось двое мужчин: один — известный актер, красавец с мефистофельской внешностью и довольно темной репутацией, другой — молодой светский шалопай. Ни один из них не был знаком Беренис. Она почерпнула эти сведения от своего спутника — болтливого молодого человека, неплохо знакомого, по-видимому, с жизнью веселящегося Нью-Йорка.

— Говорят, она пользуется огромным успехом среди нашей богемы, — заметил молодой человек. — Если эта дама надеется быть принятой в обществе, такое начало нельзя назвать удачным, как вы полагаете?

— А вы думаете, что она к этому стремится?

— Все признаки налицо — ложа в опере, дом на Пятой авеню.

Эта встреча слегка взволновала Беренис, хотя она и чувствовала свое неоспоримое превосходство. Разве ее душа не парила высоко над тем пошлым, тривиальным мирком, где обитали такие, как Эйлин? Даже самый выбор спутников, с которыми эта женщина явилась в театр, уже был промахом — он указывал на отсутствие разборчивости. При том положении, какое Каупервуд сумел себе завоевать, он, конечно, должен быть недоволен такою женой. Она даже не может идти с ним в ногу, не поспевает за ним в его непрестанном продвижении, не говоря уже о том, чтобы лететь впереди, подобно крылатой Победе. Будь она женой такого человека, думала Беренис, он никогда не узнал бы ее до конца. Вечно изумляться и вечно терзаться сомнениями стало бы его уделом. Морщины тревоги и разочарования не избороздили бы ее лица. Она бы дразнила, и интриговала, и таилась бы, и ускользала от него. А ее будущему супругу, кто бы он ни был, оставалось бы только благоговеть перед ней и покоряться.

А впрочем, ей уже двадцать два года, и она еще не замужем, и прошлое внушает ей постоянную тревогу, а почва под ее ногами неверна и коварна. Печальную историю ее матери знают и Брэксмар, и Билз Чэдси, и Каупервуд. И еще кое-кто из знакомых, помнится, был в ресторане «Уолдорф» в тот роковой вечер. Долго ли узнать и остальным? Беренис старалась избегать матери, Каупервуда и потому охотно принимала приглашения и подолгу гостила то у одних своих друзей, то у других. Стремясь прогнать тягостные мысли, она стала искать применения своим талантам. Сначала взялась за живопись. Написала несколько акварелей и отправилась с ними к скупщикам. Все ее работы отличались утонченностью, но были холодны и отвлеченны. Снежный пейзаж с пурпурными отблесками заката, погруженный в размышления сатир — тяжелый, словно отлитый из чугуна, на фоне утонувшей в сумраке долины. Мефистофель, подглядывающий за молящейся Маргаритой. Интерьер в голландском духе, подсказанный обликом миссис Бэтджер, и несколько пляшущих фигур. Флегматичные торговцы мрачно просматривали акварели и равнодушно изрекали, что в них что-то есть, но все равно никто их не купит. Новичков много. Путь искусства долог и тернист. Если она будет работать… Пусть принесет еще что-нибудь. Беренис от живописи обратилась к танцам.

Новый вид этого искусства — танец-пантомима — недавно был завезен в Америку, и некая Алтея Бейкер наделала много шуму своими выступлениями. Беренис решила, что она может затмить эту танцовщицу или, на худой конец, разделить с нею ее успех, и с этой целью придумала и разучила несколько танцев. Один из них назывался «Испуг». Юная нимфа резвится весной в лесу и внезапно подвергается нападению фавна. Другой танец назывался «Павлин». Это была фантазия на тему спесивого самолюбования. Еще один — «Весталка» — воспроизводил древнеримские обрядовые пляски. Беренис уехала в Поконо и провела там несколько дней перед большим трюмо, изобретая позы и обдумывая костюмы, а затем, вернувшись в Нью-Йорк, обмолвилась как-то о своей затее миссис Бэтджер.

— Меня уже давно тянет заняться каким-нибудь искусством, — заявила она.

— А попутно это даст возможность зарабатывать деньги.

— Моя дорогая, что вы говорите! — воскликнула миссис Бэтджер. — Это вы-то, с вашими возможностями! Выходите-ка сначала замуж, а потом уж пляшите себе на здоровье. Вы так скорее обратите на себя внимание.

— С помощью мужа? Как смешно! А за кого же посоветуете вы мне поскорее выйти замуж?

— Ну, что касается этого… — Миссис Бэтджер не замедлила вспомнить Килмера Дьюэлма, и в голосе ее прозвучал упрек. — Да разве вам так уж необходимо с этим спешить? Но если вы станете профессиональной танцовщицей, мне, вероятно, придется в конце концов отказать вам от дома, в особенности после того, как это сделают другие.

И она нежно улыбнулась — воплощение доброжелательности и здравого смысла. Миссис Бэтджер почти всегда сопровождала свои намеки легким пофыркиванием и покашливанием. Беренис поняла, что даже самая возможность подобного разговора уже в известной степени повлияла на отношение к ней миссис Бэтджер. В этом кругу бедность считалась опасной темой. Одно упоминание о ней наводило ужас; в бедности было что-то непростительное — как в тягчайшем преступлении или пороке. А другие, подумала Беренис, и вовсе перепугаются насмерть.

Тем не менее вскоре после этого разговора она сделала робкую попытку проникнуть в те сферы, где можно получить театральный ангажемент. Это была печальная попытка. Грязь, спертый воздух, маленькие тесные каморки, развязно-грубые антрепренеры, невообразимо вульгарные дебютантки и не менее ужасные обитательницы этого мишурного мирка! Грубость! Низменность! Чувственность! Бесстыдство! Словно ей в лицо пахнуло чьим-то зловонным дыханием, и Беренис отшатнулась. Какая судьба должна постичь здесь все изящное, утонченное? Можно ли в этих условиях достигнуть чего-либо, не утратив достоинства и веры в себя?

Каупервуд тем временем придумал еще один способ покрепче опутать Беренис и явился к миссис Картер с предложением купить для нее дом на Парк авеню.

— Вы с Беренис будете устраивать там приемы, — сказал он, — а я буду изредка появляться на этих приемах как ваш гость. — Миссис Картер, превыше всего на свете ценившая жизненные удобства, от души приветствовала новую затею Каупервуда. Если у нее будет такой дом — ее будущее обеспечено.

— Я прекрасно понимаю вас, Фрэнк, — заявила она. — Вам нужно место, где бы вы чувствовали себя как дома. Все дело только в Беви. С тех самых пор, как этот несчастный дурень оскорбил меня тогда в ресторане, с ней просто сладу нет. Стоит мне что-нибудь предложить, она непременно сделает наперекор. Вы имеете на нее гораздо больше влияния. Поговорите с ней, может быть она и согласится.

Каупервуд мгновенно понял, какой ему представляется случай. Он был чрезвычайно обрадован, услыхав от миссис Картер это признание своей слабости, и поспешил объясниться с Беренис, как всегда пустив в ход обычную для него уловку криводушной прямоты.

— Знаете, Беви, что мне пришло в голову? — сказал он ей как-то, застав ее одну. — Не купить ли мне для вас и для вашей матери большой дом здесь, в Нью-Йорке, чтобы вы могли принимать на широкую ногу? Мне все равно никогда не истратить всех моих денег на себя, — так уж не лучше ли истратить их на того, кто найдет им хорошее применение? А меня вы можете включить в число ваших гостей под видом двоюродного дядюшки или найти мне какую-нибудь другую должность, — прибавил он шутливо.

Беренис тотчас поняла, что он расставляет ей силки, и на мгновение растерялась. Дом, да еще великолепно обставленный, — как это заманчиво! В обществе любят солидные, домовитые жилища — она давно это заметила. А какие приемы могли бы они устраивать, если бы не прошлое ее матери! Непреодолимым препятствием стало оно на их пути! Каупервуд явился к ней, словно халиф из «Тысячи и одной ночи», позвякивая золотом в карманах. Он уклончив, хитер и смотрит на нее с такой вкрадчивой, с такой подкупающей улыбкой. У него красивые руки. Тонкие и сильные…

— Дом, о котором вы говорите, сделает наш долг уже неоплатным, насколько я понимаю, — колко сказала она, презрительно скривив губы.

Каупервуд увидел, что, сколько он ни петлял, острый ум Беренис уже провел ее по его запутанному следу, и невольно поморщился. Она понимает, что ее судьба — в его руках… О, если бы она пожелала сдаться! В мгновение ока все его огромное состояние, до последнего доллара, было бы смиренно сложено к ее ногам! Сбылись бы все ее заветные желания, — все, что можно осуществить за деньги. И он был бы покорен ей, как раб.

— Беренис, — сказал Каупервуд вставая. — Я знаю, о чем вы думаете. Вы предполагаете, что я хочу таким путем добиться чего-то в своих личных интересах. Это неверно. За все сокровища мира я бы не согласился скомпрометировать вас. Вы знаете о

моем к вам отношении. Все мои деньги принадлежат вам, и вы можете распоряжаться ими, как вам заблагорассудится и на любых условиях, какие соблаговолите назвать. У меня нет ничего впереди, помимо вас, — вас и искусства. И я ничего не могу от вас требовать. Возьмите все, что у меня есть. Покорите свет, заставьте его лечь у ваших ног. Не думайте, что я когда-нибудь предъявлю вам счет. Я хочу только, чтобы вы занимали достойное вас положение. А теперь ответьте мне на один вопрос, и я никогда больше его не повторю.

— Да?

— Если бы я был свободен, а вы еще не замужем и ни в кого не влюблены — мог бы я надеяться?

Еще никогда не смотрел он на нее с такой мольбой.

Беренис широко раскрыла глаза, потом нахмурилась; лицо ее стало озабоченным, суровым и вдруг смягчилось.

— Позвольте, — сказала она, тряхнув головой, и глаза ее блеснули. — Как вас понять? Это звучит почти как предложение. Вы не имеете права задавать мне такой вопрос. Вы не свободны, и нет никаких оснований предполагать, что положение может измениться. Да и к чему мне заглядывать в будущее?

Она равнодушно посмотрела на него и вышла из комнаты. Каупервуд еще с минуту стоял в задумчивости. В каком-то смысле он несомненно одержал победу. Его предложение не оскорбило Беренис. Он не безразличен ей, и она стала бы его женой, если бы… если бы не Эйлин.

И Каупервуд отчетливо и страстно, как никогда прежде, пожелал в эту минуту быть свободным от всяких уз. Если он хочет добиться руки Беренис, необходимо убедить Эйлин дать ему развод.

57. ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА ЭЙЛИН

О Беренис Флеминг Эйлин узнала случайно, уже после того как поселилась в своем новом доме. Она подозревала, что у Каупервуда и сейчас были связи с женщинами — может быть, с кем-нибудь из тех, кого она знала, — со Стефани, или с миссис Хэнд, или с Флоренс Кокрейн. А может быть, у нее появились и новые соперницы. Но, поскольку никто из них не посягал на ее права, Эйлин с грехом пополам утешала себя мыслью, что еще не так все плохо. Пока Фрэнк так жадно ищет перемен, думала она, пока он бросает одну женщину ради другой, и ни одной из этих коварных сирен не удалось еще прочно привязать его к себе, незачем приходить в отчаяние. Ведь все-таки это она, Эйлин, завлекла его в свои сети, и десять блаженных лет — так она полагала — безраздельно владела им. Это не удавалось еще ни одной женщине,

— ни до, ни после нее. Рита Сольберг, пожалуй, могла бы добиться этого, подлая тварь! О, как самое воспоминание о ней было ненавистно Эйлин! Однако Фрэнк уже стареет. Придет день, когда он перестанет так стремиться к разнообразию, поймет, что игра не стоит свеч. И тогда он останется с ней на веки вечные, если только на склоне лет не встретит какую-нибудь Цирцею, которая привяжет его к себе и поработит, как поработила его она сама, когда-то, в раннюю пору его жизни. Так Эйлин жила в неизбывном страхе, со дня на день ожидая какого-нибудь нового неприятного открытия. И скоро настал день, когда она это открытие сделала.

Как-то раз Эйлин собралась навестить кого-то из нью-йоркских знакомых, с которыми свел ее Риз Грайер, чикагский скульптор. Пересекая Сентрал-парк в своем новом автомобиле французской марки, который подарил ей Каупервуд, она случайно взглянула в сторону боковой аллеи и увидела стоявший там точно такой же автомобиль. Время было раннее, около полудня; эти часы Каупервуд обычно проводил на Уолл-стрит. Однако он был здесь, и с ним — две женщины, которых Эйлин не успела рассмотреть. Тогда она приказала шоферу повернуть обратно и остановить машину за густым кустарником, откуда была хорошо видна боковая аллея. Незнакомый Эйлин шофер что-то исправлял в моторе роскошного автомобиля, а у края дороги стоял Каупервуд и рядом с ним — высокая стройная девушка с каштановыми кудрями, отливавшими червонным золотом. Оттенок волос этой девушки напомнил Эйлин ее собственные волосы, а мечтательное и надменное выражение юного лица почему-то сразу врезалось ей в память. В автомобиле сидела пожилая женщина

— по-видимому, мать девушки. Кто эти дамы? Что делает Каупервуд здесь, в парке, в этот час? Куда они направляются? В эту минуту Каупервуд улыбнулся, и жгучее чувство зависти пронзило сердце Эйлин — она слишком хорошо понимала значение этой улыбки! Как часто видела она ее когда-то на лице Фрэнка! Когда Каупервуд и незнакомка сели в автомобиль, Эйлин велела своему шоферу следовать за ними на некотором расстоянии. Вскоре автомобиль остановился у подъезда большого отеля, и обе дамы в сопровождении Каупервуда направились в ресторан. Эйлин пошла за ними следом. Ей удалось довольно ловко проскользнуть к столику за ширмой, откуда она, оставаясь незамеченной, могла беспрепятственно наблюдать за всеми посетителями. Она впивалась взглядом в незнакомку, словно хотела изучить каждую черточку этого холодного лица с нежно закругленным подбородком, с твердым, ясным взором синих глаз, прямым тонким носом и каштановыми кудрями, золотившимися на солнце.

Эйлин подозвала метрдотеля и спросила у него — кто эти женщины. Щедрое вознаграждение немедленно развязало ему язык.

— Миссис Айра Картер и с ней ее дочка — мисс Флеминг, мисс Беренис Флеминг. Миссис Картер носила раньше фамилию Флеминг.

Когда обе дамы покинули ресторан, Эйлин продолжала следить за ними до самой двери их особняка, за которой они скрылись вместе с Каупервудом. На следующий день она нашла по адресу номер телефона и убедилась, что эти дамы действительно там проживают. Проведя еще несколько дней в тяжелом раздумье, Эйлин в конце концов наняла сыщика и установила с его помощью, что Каупервуд является завсегдатаем дома Картеров, что он содержит в отдельном гараже автомобиль для них и что дамы эти вне всякого сомнения принадлежат к избранному кругу. Эйлин не стала бы вести столь тщательный розыск, если бы не выражение лица Каупервуда, когда он смотрел на эту девчонку — и в парке и в ресторане, — если бы не этот жадный, влюбленный взгляд, не оставлявший сомнения в его чувствах.

Не смейтесь над муками неразделенной любви. У ревности ледяные объятия, цепкие, как объятия смерти. День к ночь, день и ночь — запершись ли в своей одинокой спальне, или гуляя, катаясь в автомобиле, навещая своих немногочисленных знакомых — Эйлин думала об этой девушке. Бледное, тонкое лицо преследовало ее повсюду. Что видел этот устремленный вдаль, мечтательный взгляд? Любовь, преклонение Каупервуда? Да! Да! О да! Теперь погибло все и навеки! В одно мгновение развеялись все ее мечты! Прощай новая жизнь в новом доме! Прощай надежда на признание общества! А ведь она столько страдала, столько терпела…

Каупервуд не приезжал домой уже вторую неделю. Эйлин вздыхала, тосковала, затворившись у себя в спальне, временами впадала в ярость и в конце концов принялась пить. А потом пригласила к себе знакомого актера, волочившегося за ней еще когда-то в Чикаго», она встречала его теперь в Нью-Йорке в театральных кругах. В тяжелом, мрачном состоянии опьянения Эйлин жаждала не столько любви, сколько мести. День за днем длилась оргия: пьянство, разврат… потом взаимные оскорбления, ненависть, отчаяние. Отрезвев, Эйлин задала себе вопрос: что подумал бы о ней Фрэнк, если бы узнал все? Мог ли бы он любить ее после этого? Или хотя бы терпеть? Впрочем, ему ведь наплевать. Так и поделом ему! Собака! О, она ему еще покажет! Все его мечты разлетятся в прах, она опозорит его на весь свет! Их имена будут трепать на всех перекрестках! Он никогда не получит от нее развода! Он хочет бросить ее, чтобы жениться на этой девчонке, — так не бывать этому! Нет! Нет! Никогда, никогда, никогда! Каупервуд вернулся, и она встретила его разъяренная, но не удостоила объяснений, а только злобно огрызнулась.

Каупервуд мгновенно заподозрил, что она шпионила за ним. Он заметил ее пылающие щеки, запавшие глаза, нечистое дыхание. Как видно, она махнула рукой на все свои попытки стать светской дамой и ступила на новую стезю… Закутила! С тех пор как Эйлин переселилась в Нью-Йорк, она не сделала ни одного разумного шага, чтобы добиться признания в свете! — думал Каупервуд. Его частые отлучки, его равнодушие снова, как в Чикаго, толкнули Эйлин в общество людей, с которыми можно было забыться, но эта связь с богемой еще больше роняла ее в глазах света. Каупервуд решил поговорить с ней откровенно, признаться в своей страсти к Беренис, воззвать к ее доброму сердцу и здравому смыслу. Можно себе представить, какие сцены за этим последуют! Но так или иначе, она должна будет покориться. Гордость, ненависть, отчаяние, сознание безнадежности заставят ее это сделать. Кроме того, он может теперь закрепить за ней очень крупное состояние. Она уедет в Европу или останется здесь и будет жить в роскоши. Он ей по-прежнему будет другом, всегда поможет добрым советом, — если она этого пожелает, конечно.

Разговор, который произошел между ними, был похож на тяжелый сон, на кошмар. Слова их звучали неправдоподобно и страшно среди великолепия нового дома.

Представьте себе воскресный вечер. За ярко освещенными окнами дворца на Пятой авеню бушует непогода. Каупервуд уже несколько дней не отлучался из города и почти все время проводил в совещаниях с местными финансистами, которые отстаивали его интересы в законодательном собрании Иллинойса. И Эйлин уже опять тешила себя мыслью, что, быть может, любовь не занимает главного места в жизни Каупервуда, быть может, чувство не имеет больше власти над ним. В этот вечер Каупервуд был дома; он сидел в зимнем саду, среди своих любимых орхидей, и читал книгу, которую кто-то посоветовал ему прочесть, — дневники Бенвенуто Челлини. Временами он отрывался от чтения — мысли о его чикагских делах не давали ему покоя. За окнами хлестал дождь, ярко освещенный асфальт Пятой авеню был залит потоками воды, а сумрачный парк за решеткой казался эскизом в манере Коро. Эйлин в музыкальной комнате лениво наигрывала что-то на рояле. Ее мысли бродили в прошлом. Польк Линд… вот уже полгода, как она ничего не слышала о нем. Уотсон Скит, скульптор, — он тоже исчез с ее горизонта. Когда Каупервуд проводил вечер дома, Эйлин в силу давней привычки тоже никуда не уезжала и старалась быть поближе к нему. Такова власть уклада, созданного привязанностью, — мы продолжаем подчиняться ему даже тогда, когда он уже утратил всякий смысл и цену.

— Какая страшная ночь! — сказала Эйлин, входя в зимний сад и слегка отодвигая парчовую штору.

— Да-а, скверная погода, — отвечал Каупервуд, когда она отошла от окна.

— Ты собиралась сегодня куда-нибудь?

— Нет, — отвечала Эйлин равнодушно. Она снова вернулась было к роялю, но тотчас же встала, охваченная непонятной тревогой, и вышла в картинную галерею. Остановившись перед «Святым семейством» Рафаэля, одним из последних приобретений Каупервуда, она задумалась, глядя на безмятежное лицо средневековой итальянской мадонны. Богоматерь показалась ей хрупкой, бесцветной, бескостной — совсем безжизненной. Разве есть на свете такие женщины? И что в них находят художники? Правда, младенец Христос очень мил! Живопись нагоняла на Эйлин скуку; ей нравились лишь те картины, которые вызывали бурный восторг окружающих. Эйлин интересовала только сама жизнь и в наиболее ярких своих проявлениях, а никак не бледные ее подобия. Она вернулась в гостиную, прошла оттуда в зимний сад и хотела было подняться наверх, чтобы, приготовив себе виски с содой, взяться за чтение романа, когда услышала за своей спиной голос Каупервуда:

— Ты очень скучаешь, скажи по правде?

— Нет. Я уже привыкла к одиноким вечерам, — ответила Эйлин просто, без всякой колкости.

Каупервуд, безжалостно подчинявший своим желаниям всех и вся, был порою не чужд сострадания — впрочем, столь же эфемерного, как мост, перекинутый радугой через пропасть. Ему вдруг захотелось сказать Эйлин: «Бедная девочка, нелегко тебе со мной!» Но мысль о том, как она истолкует эти слова, остановила его. Он задумался, держа раскрытую книгу на коленях и глядя на серебристые струи, которые с легким журчанием падали в бассейн и осыпали искристыми брызгами тритона и восседающих на рыбах мраморных наяд.

— Ты несчастлива со мной, Эйлин, — произнес он. — Может быть, тебе будет лучше, если я совсем уйду из твоей жизни?

Мысли его внезапно снова обратились к той единственной цели, которая никогда не давала ему теперь покоя, и он подумал, что сейчас представляется удобный случай высказать все.

— *Тебе* будет лучше, а не мне, — отвечала Эйлин, Ее равнодушно-скучающий вид был только маской; она была глубоко несчастна, отчетливо сознавая, что ни мысли, ни чувства Каупервуда больше не принадлежат ей.

— Зачем ты так говоришь? — спросил он.

— Потому что знаю, что ты этого хочешь, и знаю, для чего ты спрашиваешь. Дело совсем не в том, чего я хочу, а в том, чего хочешь ты. А ты хочешь вышвырнуть меня, потому что я тебе надоела, выгнать вон, как старую клячу, которая отслужила свой век, и еще спрашиваешь, не будет ли мне от этого лучше! Какой ты лицемер, Фрэнк! Какой ты лживый человек! Не удивительно, что ты стал архимиллионером. Ты рад был бы пожрать весь мир, если бы у тебя хватило на это жизни. Ты думаешь, я не знаю, что здесь в Нью-Йорке есть некая Беренис Флеминг, перед которой ты пляшешь на задних лапках? Да, ты бегаешь за ней уже несколько месяцев — с тех самых пор, как мы переехали сюда, да и раньше, верно, бегал. Тебе кажется, что лучше ее никого нет, только потому, что она молода и принята в обществе. Я видела тебя в ресторане «Уолдорф» и в парке, видела, как ты не сводил с нее глаз, как ты слушал, разиня рот, каждое ее слово. Какой же ты дурак, несмотря на все твое величие! Любая девчонка, если у нее розовые щеки и кукольное личико, может обвести тебя вокруг пальца. Рита Сольберг! Стефани Плейто! Флоренс Кокрейн! Сесили Хейгенин! Да мало ли еще кто — разве я всех знаю. А миссис Хэнд, верно, до сих пор встречается с тобой, когда ты бываешь в Чикаго, дрянь паршивая! А теперь вот Беренис Флеминг с этим своим старым чучелом — мамашей! Я знаю, тебе еще ничего не удалось добиться — должно быть, мамаша себе на уме, ну да ты добьешься! Им ведь не ты нужен, а твои деньги. Смешно! Что говорить, счастливой меня, конечно, не назовешь, но только ты моему горю уже ничем помочь не в состоянии. Ты все силы приложил к тому, чтобы сделать меня несчастной, а теперь спрашиваешь, не лучше ли мне будет вдали от тебя? Ловко придумано, ничего не скажешь! Я ведь знаю тебя, как свои пять пальцев, Фрэнк! Больше ты меня уж не проведешь. Конечно, я не могу помешать тебе строить из себя дурака из-за каждой встречной девчонки и срамиться на всю Америку. Господи ты боже мой, да ведь ни одна порядочная женщина не может показаться в твоем обществе, без того чтобы не погубить своей репутации! Сейчас уже весь Бродвей знает, что ты волочишься за Беренис Флеминг. Скоро ты опозоришь ее, как опозорил других. Скажи ей: она может уступить тебе, все равно ей уже нечего терять. Если у нее было честное имя, ты давно втоптал его в грязь.

Эти слова взбесили Каупервуда — особенно то, что Эйлин посмела задеть Беренис. Ну что ты будешь делать с такой женщиной? — подумал он. Ее язык стал совершенно непереносим. Сколько грубых, вульгарных слов! Настоящая мегера! Да, конечно, конечно, он совершил громадную ошибку, женившись на ней. Но в конце концов он сломит ее упорство.

— Эйлин, — сказал он холодно, когда она умолкла. — Ты слишком много говоришь. Ты неистовствуешь. По-моему, ты становишься вульгарной. Разреши мне сказать тебе кое-что. — Взгляд его был тверд, и она сразу присмирела.

— Я не собираюсь просить у тебя прощения. Оставайся при своем мнении. Но я хочу, чтобы ты поняла, отчетливо поняла то, что я скажу, если, конечно, в тебе есть хоть капля женского достоинства. Я не люблю тебя больше. Или, если хочешь, — как ты

сама изволила выразиться, — ты мне надоела. Надоела уже давно. Поэтому я и изменял тебе. Если бы я любил тебя, я бы тебе не изменял. Теперь я люблю другую женщину — Беренис Флеминг, и думаю, что всегда буду ее любить. Я хочу быть свободным, хочу устроить свою жизнь так, чтобы испытать какую-то радость, прежде чем я умру. Ты, в сущности, уже не любишь меня. Не можешь меня любить. Я признаю, что поступал с тобой дурно, но ведь если бы я любил тебя, я бы этого не делал, не так ли? Ну, а виноват ли я, что любовь умерла? И ты не виновата. Я тебя и не виню. Пламя любви нельзя раздуть по желанию, как угли в камине. Если огонь угас — значит, все кончено. Я не люблю тебя больше и не могу любить — зачем же ты хочешь, чтобы я оставался с тобой? К чему тебе удерживать меня, почему не дать мне развода? Ты будешь так же счастлива или так же несчастна вдали от меня, как и со мной. Я хочу снова быть свободен. Я не могу быть счастлив с тобой, я понял это уже давно. Я сделаю все, что ты потребуешь. Оставлю тебе этот дом, эти картины — хотя, по правде говоря, не знаю, зачем они тебе. (Каупервуду очень не хотелось отдавать Эйлин свою коллекцию, если бы была хоть малейшая возможность избежать этого.) Я назначу тебе пожизненное обеспечение, в том размере, какой ты сама определишь, или выделю сразу большое состояние. Я хочу, чтобы ты дала мне свободу. Будь же благоразумна, Эйлин, и согласись.

Каупервуд начал свою речь сидя, закончил — стоя. Когда он заявил, что его любовь умерла, — впервые смело и без обиняков признался в этом, — Эйлин побледнела и прикрыла глаза рукой. Тут он встал. Он говорил холодно, решительно, даже мстительно, пожалуй, вначале. Эйлин поняла, что в сердце его не осталось и следа былых чувств, не осталось даже воспоминаний — сладостных, связующих воспоминаний — о тех счастливых днях, часах, минутах, которые были так дороги, так незабываемы для нее. Боже мой, боже мой, так это правда? Его любовь умерла, он сам признал это… Но нет, Эйлин не верила его словам, не хотела им верить! Нет, нет, это неправда, этого не может быть!

— Фрэнк, — проговорила она, приближаясь к нему, но он отшатнулся от нее. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, руки ее дрожали, губы судорожно подергивались. — Это же неправда, неправда, скажи? Ты не мог совсем, совсем разлюбить меня, Фрэнк? Ведь ты так любил меня! О Фрэнк, я злилась, я ненавидела тебя, я говорила ужасные, отвратительные вещи, но ведь это все только потому, что я люблю тебя. Всегда любила тебя. Ты сам знаешь. Я так страдала! Так страдала! Моя подушка часто бывала, мокрой от слез, Фрэнк! Я лежала и плакала ночи напролет. Или бродила до утра из угла в угол. Я пила виски, чистое, неразбавленное виски, потому что сердце у меня разрывалось от муки. Я сходилась с мужчинами, ты знаешь это, но, боже мой, боже мой, Фрэнк, ты же знаешь, что я этого не хотела, мне совсем это было не нужно! Потом мне всегда было тошно вспоминать! Ведь это только от одиночества, только потому, что ты был так неласков ко мне, совсем не обращал на меня внимания. Как я томилась, Фрэнк, как мечтала, чтобы ты опять любил меня, хоть одну ночь, один день, один только час! Есть женщины, которые умеют страдать молча, а я не могу. Мысли о тебе, воспоминания мучают меня, не дают мне покоя. Я не могу не думать о том, как я бегала к тебе на свидания в Филадельфии, как поджидала тебя, когда ты возвращался домой, как приходила к тебе на Девятую улицу и на Одиннадцатую… О Фрэнк, верно я причинила большое зло твоей первой жене. Я понимаю теперь, как она должна была страдать. Но ведь я была просто девчонка, глупая девчонка и совсем не знала жизни! Фрэнк, неужто ты забыл, как я изо дня в день приходила к тебе в филадельфийскую тюрьму? Ты сказал мне тогда, что никогда не забудешь этих дней, что будешь любить меня вечно. Разве ты не можешь любить меня, ну хоть немножко, совсем немножко! Ведь это неправда, что твоя любовь умерла! Разве я так уж изменилась, так постарела? О Фрэнк, не говори, что ты совсем не любишь меня, прошу тебя, прошу, не говори так, заклинаю тебя!

Она снова попыталась приблизиться к нему, коснуться его руки, но он шагнул в сторону. Он смотрел на нее, и она была ему неприятна — и физически и духовно: в ней, казалось, воплотилось все, что он с трудом мог выносить в людях. От былого обаяния не осталось и следа, чары развеялись. Ему нужна была теперь женщина совсем иного типа, иного склада ума, а главное, главное — ему нужна была молодость, легкокрылая молодость, воплощенная в облике Беренис Флеминг. Ему было жаль Эйлин, но другое чувство господствовало в нем, заглушая голос сострадания, подобно тому, как рев бури и яростный грохот волн заглушают далекий жалобный сигнал гибнущего судна.

— Ты не понимаешь. Эйлин, — сказал Каупервуд. — Я ничего не властен изменить. Моя любовь к тебе умерла. Я не могу возродить ее. Не могу заставить себя любить. Рад бы, да не могу. Ты должна это понять. Не все зависит от нашей воли.

Он посмотрел на нее, и взгляд его не смягчился. Эйлин прочла в его глазах холодную, беспощадную решимость: перед ней был рассудочный делец, коммерсант, хищник, человек с каменной душой. Она поняла, что доступ к его сердцу закрыт для нее навеки, и страх, гнев, бешенство, отчаяние охватили ее; на мгновение она словно лишилась рассудка.

— О Фрэнк, не говори так! Не говори! — крикнула она, не помня себя. — Прошу тебя, молю — не говори так! Ты можешь еще полюбить меня опять, немножко, если только… если только сам будешь в это верить. Разве ты не понимаешь, каково мне? Разве ты не видишь, как я страдаю?

Она упала перед Каупервудом на колени и обхватила его руками.

— Фрэнк! Фрэнк! О Фрэнк! — восклицала она, заливаясь слезами. — Я этого не переживу, нет, нет — я не могу этого вынести, Фрэнк!

— Эйлин, возьми себя в руки, — сказал Каупервуд. — Все это ни к чему. Я не могу обманывать себя и не хочу лгать тебе. Жизнь слишком коротка. Что случилось — то случилось. Если бы я мог сказать тебе, что я тебя люблю, и сам поверить в это, я бы так и сделал. Но я не могу. Я не люблю тебя. Зачем же я буду тебя обманывать?

Эйлин в душе все еще оставалась немного ребенком — избалованным, взбалмошным, капризным; вместе с тем она была отчасти и актрисой — любила преувеличения, позу. Но прежде всего она была женщиной, способной чувствовать глубоко, переживать страстно, действовать безрассудно, очертя голову. Услыхав слова Каупервуда, поняв, что он твердо решил бросить ее, об» речь на одиночество, она вне себя от отчаяния стала молить его не покидать ее совсем. Она готова делить его с другой. Ведь мирилась же она со Стефани Плейто, с Флоренс Кокрейн, с Сесили Хейгенин, с миссис Хэнд — со всеми, в сущности, кто был у него после Риты Сольберг… Она никогда не будет ему мешать. Она не следила за ним, вовсе нет, просто случайно встретила его с Беренис Флеминг… Конечно, Беренис красива, она это признает, но ведь она тоже еще хороша, пусть не так, как раньше, но все же… Разве он не может найти и для нее местечко в своей жизни? И для Беренис и для нее, для обеих?

При виде такого унижения и малодушия Каупервуд почувствовал горечь, отвращение, доходившее до тошноты… ему было и больно за Эйлин и противно. Ну что тут скажешь? Как убедить ее? Как заставить понять?

— Я бы хотел, чтобы это было возможно, Эйлин, — сказал он, наконец, с усилием, — но, к сожалению, это немыслимо.

Эйлин вскочила на ноги. Она посмотрела на него в упор красными, воспаленными глазами; слезы ее высохли.

— Значит, ты совсем не любишь меня? Совсем, совсем?

— Нет, Эйлин, не люблю. Я не хочу сказать, что ты мне неприятна. Я не отрицаю, что ты по-своему очень привлекательна, и не думай, что я не сочувствую тебе. Но я не люблю тебя. Я не могу тебя любить. Тех чувств, какие были у меня к тебе когда-то, больше нет и быть не может.

Эйлин молчала в растерянности, не зная, что делать, что сказать; лицо ее побелело, приобрело какую-то необычную одухотворенность. Боль, ярость, отчаяние раздирали ее душу, но, словно скорпион в кольце огня, она сумела обратить их только против самой себя. Будь проклята эта жизнь! Все уходит, и остаешься одна, совсем одна, стареть в одиночестве. Любовь ушла, и ничего нет! Ничего, ничего, пустота!

В глазах ее вспыхнула решимость; казалось, она снова на мгновение обрела волю.

— Ну что ж, — твердо произнесла она. — Я знаю, что мне делать. Я не стану так жить. Эта ночь будет для меня последней.

Она не выкрикнула эти слова, а проговорила их совсем спокойно. Теперь он узнает, как велика ее любовь.

Но Каупервуд счел ее слова за браваду, продиктованную бешенством, отчаянием, за попытку напугать его. Эйлин молча повернулась и направилась к лестнице — величественному сооружению из мрамора и бронзы, с мраморными нереидами вместо колонн и барельефами, изображающими античную пляску. Она неторопливо поднялась к себе в спальню, взяла нож для разрезания бумаги с бронзовой рукояткой и очень острым стальным лезвием в форме кинжала, прошла по внутренней галерее над зимним садом и отворила дверь в бело-розовую комнату, где щебетали птицы, стояли каменные скамьи, вились виноградные лозы, в тихом водоеме чуть поблескивала вода, а за прозрачно-мраморными стенами, казалось, вечно всходило солнце. Заперев за собой дверь, она присела на скамью, обнажила руку, внезапным резким движением всадила нож в вену, повернула его, стараясь расширить рану, и стала ждать. Ну вот, теперь она посмотрит, что он сделает, позволит он ей умереть или нет!

Каупервуд продолжал сидеть в зимнем саду, где оставила его Эйлин, пораженный, раздосадованный, недоумевающий. Неужели Эйлин отважится на такой отчаянный шаг, неужели так сильна ее любовь? Каупервуд не слишком тревожился вначале; обычная женская уловка, ничего больше! Однако… А вдруг она и вправду покончит с собой? Да нет, это невозможно. Какая нелепость! Но жизнь выкидывает порой такие странные, такие безумные шутки. Эйлин пригрозила ему и ушла; поднялась наверх, — быть может, для того, чтобы привести в исполнение свою угрозу… Невероятно! Да нет, никогда она этого не сделает. Так он сидел, мучаясь сомнениями, а в душу его уже закрадывался страх. Он вспомнил вдруг, как она напала на Риту Сольберг.

Каупервуд взбежал по лестнице и заглянул к Эйлин в спальню. Ее там не было. Он-быстро прошел по галерее, отворяя все двери одну за другой, пока не очутился перед мраморной комнатой. Дверь была заперта изнутри — вероятно, Эйлин там. Каупервуд толкнул ее — да, дверь на запоре.

— Эйлин! — позвал он. — Эйлин! Ты здесь? — Ответа не последовало. Каупервуд прислушался. Все было тихо. — Эйлин! — повторил он. — Ты здесь? Что за нелепость, да отвечай же!

— Черт возьми! — пробормотал он, отступая на шаг. — Она и вправду, пожалуй, может выкинуть такую штуку! А что, если она уже… — Из-за двери не доносилось ничего, кроме сердитого щебета птиц, потревоженных, как видно, зажегшимся светом. Пот выступил на лбу Каупервуда. Он повертел ручку двери, позвонил и приказал слуге принести запасные ключи, стамеску и молоток.

— Эйлин! — крикнул он. — Если ты сию минуту не отопрешь дверь, я прикажу ее взломать. Это сделать нетрудно.

Никакого ответа.

— А, черт побери! — воскликнул Каупервуд, уже не на шутку испуганный. Слуга принес ключи. Каупервуд нашел нужный ключ, но не смог вставить его в замочную скважину — мешал другой ключ, вставленный изнутри. — Дайте мне большой молоток! Дайте стул! — крикнул Каупервуд. Но, не дожидаясь, пока ему все это принесут, он вставил между створками двери стамеску, налег на нее, и дверь с треском распахнулась.

На мраморной скамье у края водоема, среди тропических птиц, мирно перепархивающих с ветки на ветку в нежно-розовых лучах искусственной зари, сидела Эйлин; лицо ее было бледно, волосы растрепаны, из левой руки, бессильно повисшей вдоль туловища, сочилась густая алая кровь и растекалась по полу у нее ног, словно роскошный бархатный ковер, уже начинавший слегка тускнеть по краям.

Каупервуд на мгновение застыл на месте. Затем бросился к Эйлин, схватил ее руку, крикнул, чтобы послали за врачом, и, разорвав носовой платок, наложил жгут повыше раны.

— Как ты могла это сделать, Эйлин! Чудовищно! Посягнуть на свою жизнь! Это не любовь. Это даже не безумие. Это просто глупость!

— Ты вправду больше не любишь меня? — спросила она.

— Как ты можешь спрашивать! Нет, как ты только могла это сделать! — Каупервуд был раздосадован, зол, рад, что она все-таки жива, пристыжен…

— Ты не любишь меня? — устало повторила она.

— Эйлин, замолчи! Я не стану объясняться с тобой сейчас. Надеюсь, ты больше нигде себя не поранила? — спросил он, ощупывая ее грудь и бока.

— Зачем же ты помешал мне умереть? — сказала она все так же безжизненно и устало. — Все равно я умру. Я хочу умереть.

— Ну, когда-нибудь ты, вероятно, умрешь, — ответил он. — Но не сегодня. И я не думаю, чтобы тебе сейчас очень этого хотелось. Нет, Эйлин, право, это все-таки слишком! Просто возмутительно!

Он выпрямился и посмотрел на нее сверху вниз холодным, недоверчивым взглядом, который уже светился победой, даже торжеством. Ну, конечно, как он и подозревал, — все это просто фокусы. Она бы не покончила с собой. Она ждала, что он придет и будет снова, как прежде, утешать и уговаривать ее. Отлично. Сейчас он позаботится, чтобы ее уложили в постель, приставит к ней сиделку и будет всячески избегать ее в дальнейшем, Если ее намерение серьезно, пусть она осуществит его, но не у него на глазах. Впрочем, он не верил, что она повторит свою попытку.

58. РАСХИТИТЕЛЬ НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ

Весна и лето 1897 года и, наконец, поздняя осень 1898 были свидетелями решающих схваток между Фрэнком Алджерноном Каупервудом и враждебными ему силами города Чикаго, штата Иллинойс и даже Соединенных Штатов Америки в целом. Когда в 1896 году был избран новый губернатор и новое законодательное собрание, Каупервуд решил без промедления возобновить борьбу. Почти год прошел с тех пор, как губернатор Суонсон наложил свое вето на саузековский законопроект, страсти стали остывать, шумиха, поднятая газетами, улеглась. Каупервуд с помощью различных благожелательных ему финансистов — в частности, Хэкелмайера и Готлеба и их тайных агентов — уже сделал попытку воздействовать на нового губернатора, и это ему отчасти удалось.

Новый губернатор штата — некий капрал А.И.Арчер, или, как его иной раз величали, бывший член конгресса Арчер, — являл собой, не в пример суровому губернатору Суонсону, любопытную смесь банальности и напыщенности; это был один из тех прямодушно-изворотливых и изворотливо-прямодушных политиков, которые обычно пробираются вверх извилистым, но не слишком компрометирующим их путем. Невысокий, коренастый, с гривой каштановых волос и живыми карими глазами, энергичный, предприимчивый, он, как и многие его собратья-политики, считал такие понятия, как гражданская совесть и мораль, не существующими. В четырнадцать лет, во время войны Севера и Юга, он был барабанщиком, в шестнадцать и восемнадцать — рядовым, затем последовательно повышался в звании. Последние годы он стоял во главе общества ветеранов и привлек к себе внимание своими неутомимыми попытками добиться каких-то благотворительных пожертвований в пользу престарелых солдат, их вдов и сирот. Арчер был, что называется, «добрый американец» — то есть принадлежал к породе тех людей, которые жуют табак, сквернословят и вечно кричат о своем патриотизме; помимо этого он обладал еще изрядным честолюбием. Другие старые вояки выставляли свои кандидатуры на различные государственные посты — почему бы и ему не попробовать? Он великолепно произносил речи, вернее, выкрикивал их высоким фальцетом и пользовался известной популярностью благодаря своей самоуверенности и умению со всеми держаться запанибрата. Будучи человеком сугубо деловой, практической складки, он не испытывал тяготения к более высокой умственной деятельности. Добиваясь губернаторского поста, он позволял себе обычные заигрывания и посулы и был в свою очередь заранее «прощупан» Хэкелмайером, Готлебом и другими финансовыми воротилами, союзниками Каупервуда, желавшими знать, какую позицию займет он в вопросе создания комиссии по концессиям. Сначала мистер Арчер не хотел брать на себя никаких обязательств. Но, убедившись, что в этом вопросе заинтересованы очень влиятельные железнодорожные компании — «Ж.К.И.», «Чикаго-Пасифик», а также, что другие претенденты на губернаторское кресло, того и гляди, могут его обскакать, Арчер не выдержал и в частной беседе пообещал поддержать законопроект, если таковой встретит сочувствие в законодательном собрании, а газеты прекратят свои злобные нападки на него. Прочие претенденты выказали примерно такую же готовность, но у Арчера оказалось больше сторонников, и он в конце концов был выдвинут кандидатом в губернаторы и благополучно избран на этот пост.

Тем не менее, когда новые депутаты съехались на сессию, произошло следующее непредвиденное событие: некто А.С.Розерхайт, издатель чикагской газеты «Джорнел», случайно уселся в кресло одного из депутатов — некоего Кларенса Маллигена. Вдруг кто-то довольно фамильярно хлопнул Розерхайта по плечу, и он увидел сенатора Ладриго. Сенатор предложил ему пройти в ротонду, где и представил его, как депутата Маллигена, некоему мистеру Джерарду. Последний, не тратя лишних слов, приступил к делу:

— Мистер Маллиген, я хочу договориться с вами по поводу саузековского законопроекта, который скоро будет поставлен на голосование. Мы уже имеем семьдесят голосов, но нам нужно девяносто. Как вы видите, законопроект получил второе чтение, — значит, мы сильны. Мне поручено прийти с вами к соглашению, если вы не возражаете. Вы отдадите нам ваш голос и получите две тысячи долларов, как только законопроект будет принят.

Мистер Розерхайт, один из только что завербованных сторонников враждебной Каупервуду прессы, оказался в эту трудную минуту на высоте положения.

— Простите, — пробормотал он, — я не расслышал вашего имени.

— Джерард. Дже-ра-рд. Генри А.Джерард, — последовал ответ.

— Благодарю вас. Я обдумаю ваше предложение, — отвечал мнимый депутат Маллиген.

Как ни странно, но в эту самую минуту в ротонду вошел подлинный мистер Маллиген, громко приветствуемый своими коллегами. Попавший впросак мистер Джерард и его пособник сенатор Ладриго почли за лучшее исчезнуть. Само собой разумеется, что мистер Розерхайт тотчас поспешил к тем, кто стоял на страже закона и справедливости. Этот маленький, но весьма пикантный инцидент получил широкую огласку, и саузековский законопроект снова попал под огонь газетных разоблачений.

Все чикагские газеты забили тревогу. Темные каупервудовские силы снова за работой! — кричали они и в не менее напыщенных выражениях предостерегали членов сената и палаты представителей от опрометчивых действий. Губернатору Арчеру ставилась в пример беспорочная добродетель бывшего губернатора Суонсона.

«Вся эта затея, — писал в своей передовой трумен-лесли-мак-дональдовский „Инкуайэрер“, — пахнет взятками, мошенничеством, низкими интригами. Населению Чикаго — более того, всего штата Иллинойс — слишком хорошо известно, кто именно наживется на этом новом законе. Мы не хотим, чтобы некая компания диктовала нам свою волю и создавала комиссию по концессиям. Неужели мы допустим, чтобы Фрэнк Алджернон Каупервуд — этот спрут во образе человека! — оплел своими щупальцами новое законодательное собрание, подобно тому, как он сделал это с предыдущим?»

Такого рода статьи печатались во всех газетах, и это в конце концов обозлило Каупервуда и однажды заставило его прибегнуть к довольно энергичным выражениям.

— Да ну их всех к черту! — сказал он как-то Эддисону, завтракая с ним.

— Я имею право продлить свои концессии на пятьдесят лет и добьюсь этого. Вы поглядите, какие концессии даются в Нью-Йорке и в Филадельфии! Черт возьми, предприниматели Восточных штатов просто смеются нам в глаза! Они не могут понять, что тут у нас творится. Это все происки шайки Шрайхарта — Хэнда. Мне известно, кто это проделывает, кто дергает за веревочки этих марионеток. Газеты начинают тявкать, как только им крикнут: «Куси!» Стоит Арнилу шевельнуть пальцем, и Хиссоп становится на задние лапки. Мальчишка Мак-Дональд — на побегушках у Хэнда. Они уже так зарвались, что готовы теперь на все, лишь бы свалить ненавистного Каупервуда. Ну, так им это не удастся! Я своего добьюсь. Законодательное собрание примет законопроект, разрешающий продление концессий до пятидесяти лет, а губернатор его подпишет. Уж я об этом позабочусь. У меня по меньшей мере восемнадцать тысяч вкладчиков, все они хотят иметь какой-то толк от своих денег и будут его иметь. А кроме того, разве другие не получают прибылей? Можно подумать, что остальные компании не наживают от десяти до двенадцати процентов. А мне почему нельзя? Чем это повредит Чикаго? Разве я не держу на работе двадцать тысяч рабочих и служащих и не плачу им приличную заработную плату? Вся эта болтовня о правах населения, о каком-то долге перед народом яйца выеденного не стоит. А много ли, позвольте вас спросить, думает мистер Хэнд о своем долге перед народом, когда набивает себе карман? Или мистер Шрайхарт? Или мистер Арнил? К черту газеты! Я плюю на них! Я знаю свои права. Честные законодатели удовлетворят мое ходатайство о продлении срока концессии и не отдадут меня на растерзание акулам из чикагского муниципалитета.

Тем временем газеты стали не менее внушительной силой, чем сами господа политики. Под высоким куполом Капитолия в Спрингфилде, в залах заседаний и кулуарах сената и палаты, в роскошных гостиницах и в сельских харчевнях — везде, где можно было подцепить хоть какой-нибудь слушок, — были их представители; они высматривали, вынюхивали, ловили каждую сплетню и наживали на этом столкновении двух сил славу и деньги. Именно они подстрекнули некоторых олдерменов из числа «благонамеренных» созвать массовые митинги в своих избирательных округах. Они призывали всех состоятельных лиц организоваться. Наконец сто наиболее видных чикагских граждан создали комитет под председательством Хэнда и Шрайхарта. И вскоре в залах и кулуарах Капитолия в Спрингфилде и в вестибюлях больших отелей чуть ли не ежедневно начали появляться воинственно настроенные делегации священников, благонамеренных олдерменов и представителей вновь созданного комитета, которые увещевали, угрожали, ораторствовали и удалялись лишь затем, чтобы уступить место новой делегации.

— Ну, что вы скажете об этих паломничествах, сенатор? — спросил член палаты Гринаф у сенатора Джорджа Крисчена, наблюдая, как группа чикагских священников в сопровождении мэра города и нескольких наиболее почтенных граждан шествовала через ротонду, направляясь к залу заседаний железнодорожного комитета, где при закрытых дверях происходило обсуждение пресловутого законопроекта. — Не кажется ли вам, что они свидетельствуют о величии нашего гражданского духа и крепости моральных устоев? — Гринаф сплел пальцы на животе и с елейно-ханжеским видом возвел глаза к небу.

— Как же, как же, дорогой *пастор,* — без тени улыбки ответствовал безбожник Крисчен — маленький, жилистый человечек, с быстрыми, как у хорька, глазами и желтоватым восковым лицом, украшенным жиденькими усиками и козлиной бородкой. — Но не забывайте, что господь бог призвал и нас выполнить свой долг.

— Истинно так, — отозвался Гринаф, — мы должны творить добро не покладая рук. Жатва обильна, а жнецов мало.

— Тише, тише, дорогой *пастор*. Не пересаливайте. Этак вы, пожалуй, заставите меня прослезиться, — отвечал Крисчен, и достойная пара разошлась в разные стороны, обменявшись сочувственными улыбками…

Однако попытки всех этих миротворцев успокоить газеты ни к чему не привели. Проклятые газеты! Их репортеры были и тут, и там, и повсюду: они ловили на лету обрывки разговоров, слухи, разоблачали какие-то воображаемые заговоры. Никогда еще граждане города Чикаго не получали столь наглядных уроков по искусству политической интриги, никогда перед ними не раскрывались с такой откровенностью все тонкости этого искусства, вся его подноготная. Председатель сената и спикер палаты представителей были отмечены особым вниманием газет — каждому из них было сделано соответствующее предостережение, дабы они не забывали о своем долге. Уже входило в обычай посвящать целую газетную полосу работе законодательного собрания.

Каупервуд теперь уже открыто выступил на арену — наглый, вызывающий, неумолимо логичный, с горящим уверенностью взором, — и, как всегда, сила его личности подчиняла себе людей. Он сбросил маску незаинтересованности,

— если допустить, что когда-либо носил ее, — приехал в Спрингфилд и занял роскошные апартаменты в одной из лучших гостиниц. Подобно генералу перед решительной схваткой, он делал смотр своим войскам. Теплыми июньскими ночами, когда улицы Спрингфилда затихали и бескрайные равнины Иллинойса, раскинувшиеся на сотни миль вокруг, утопали в серебристом сиянии луны, а сельские жители мирно почивали в своих скромных жилищах, Каупервуд часами совещался со своими юристами и с представителями законодательного собрания.

Ну, как не пожалеть этих бедняг, этих сельских простаков, попавших в законодательное собрание и теперь раздираемых непримиримыми противоречиями

— алчным желанием полуузаконенной и легкой наживы, с одной стороны, и страхом, что их объявят предателями интересов народа, — с другой. Да, для многих провинциальных депутатов, еще никогда не державших в руках даже двух тысяч долларов, это была поистине душераздирающая дилемма. Они ходили друг к другу в номера, собирались в гостиных отелей и обсуждали эту мучительную задачу. А потом каждый, оставшись один, проводил бессонную ночь и думал, думал, думал… Знакомство с крупными воротилами, которые навязывали свою волю другим, в то время как народ должен был выступать как проситель, действовало на них растлевающе.

Сколько романтически настроенных, преисполненных иллюзий молодых идеалистов — адвокатов, провинциальных издателей, общественных деятелей — превращалось здесь в циников, пессимистов и взяточников! Люди теряли всякую веру в идеалы, теряли даже последние остатки человечности. Волей-неволей они убеждались в том, что важно только уменье брать, а взяв,

— держать. На первый взгляд все здесь как будто бы имело самый заурядный, будничный вид: заурядные люди, жители штата Иллинойс, простые фермеры и горожане, избранные сенаторами или членами палаты, совещались друг с другом, раздумывали, решали, как им следует поступить, — в действительности же это были джунгли, страшные джунгли, где развязаны все инстинкты, где властвуют алчность и страх, где у каждого спрятан нож за пазухой.

Однако крик и шум, поднятые газетами, заставили некоторых, наиболее боязливых, законодателей попрятаться в кусты. Из родных городов и селений к ним уже начали поступать письма, написанные их друзьями-приятелями по наущению газет. Их политические противники начали поднимать голову. Приманка была близка, рукой подать, и тем не менее те, кто поосторожней, стали стыдливо отводить от нее глаза — слишком уж многое было поставлено на карту. Когда некто Спаркс, член палаты представителей, заносчивый и надменный, поднялся с места с законопроектом в руке и предложил включить его в повестку дня, произошел взрыв. По меньшей мере сто человек сразу потребовали слова. Другой член палаты представителей — Дисбек, на которого было возложено следить за действиями каупервудовских противников, подсчитал количество голосов и выяснил, что, несмотря на все происки врагов, на стороне законопроекта будет по меньшей мере сто два голоса, то есть те две трети, которые необходимы, чтобы сломить любое сопротивление. Тем не менее сторонники законопроекта из предосторожности вотировали его на второе и затем на третье чтение. Были внесены различные поправки — снижение проездной платы до трех центов в часы наибольшей загрузки линий, отчисление двадцати процентов валового дохода в пользу города. Законопроект со всеми поправками был послан в сенат, где они были вычеркнуты, после чего он еще раз возвратился в палату. Но тут, к великой досаде Каупервуда, стало очевидно, что на сей раз ему грозит провал.

— Ничего нельзя сделать, Фрэнк, — сказал судья Дикеншитс. — Кому же охота лезть в петлю? Все местные газеты следят за каждым шагом своих депутатов. Они их со света сживут.

Тогда была найдена другая лазейка — не столь возмутительная в глазах прессы, но куда менее удобная и для Каупервуда. Раскопав старинный закон — «Положение о порядке уличного транспорта от 1865 года», законодательное собрание даровало муниципальному совету города Чикаго право выдавать концессии сроком не на двадцать, а на пятьдесят лет. Это означало, что Каупервуд должен возвратиться в Чикаго и там довести борьбу до конца. Удар был тяжелый, но какая-то надежда все же оставалась. Стоило Каупервуду выиграть еще одну, последнюю битву в стенах чикагского муниципалитета, и он получил бы все, к чему стремился. Но удастся ли ему выиграть ее? Разве не затем, чтобы избежать риска, перенес он свою деятельность сюда, в законодательное собрание? Но тут его намерения подверглись самому жестокому разоблачению. И все же в конце концов, если плата за услуги будет достаточно высока, быть может чикагские муниципальные советники окажутся храбрее спрингфилдских законодателей? Быть может, они рискнут? Да, если он их заставит.

И вот, в результате отчаянного нажима на членов законодательного собрания, уговоров, нашептываний, увещеваний, родился второй законопроект, который — после отклонения первого большинством ста четырех голосов против сорока девяти — был довольно сложным путем, через юридическую комиссию, внесен на рассмотрение законодательного собрания, и оно все же его приняло, а губернатор Арчер после тяжких раздумий и колебаний подписал его. Человек ограниченный и недалекий, он не в состоянии был оценить силу общественного негодования и все последствия своего поступка. Кроме того, за его плечом стоял Каупервуд; он смеялся своим врагам в глаза, его стальной взор сверкал торжеством, словно приветствуя уже одержанную победу, и вселял в губернатора уверенность, что всем этим газетным крикунам скоро придется поджать хвост.

И еще одна подробность: Каупервуд пообещал губернатору сделать его — после принятия законопроекта — человеком богатым и независимым с помощью солидной мзды в пятьсот тысяч долларов.

59. КАПИТАЛ И ПРАВА НАРОДА

Сколько интриг, коварства, заговоров, газетных истерик наблюдал Чикаго в период между 5 июня 1897 года, когда законодательное собрание приняло законопроект Мирса, названный так по имени храбреца, отважившегося внести его на

рассмотрение, и декабрем того же года, когда законопроект был представлен чикагскому муниципальному совету! Хотя общественное мнение было сильно восстановлено против Каупервуда, в местных коммерческих кругах все же нашлось немало спокойных, уравновешенных людей, которые не видели причин относиться к нему предвзято. Ведь и они были дельцами. Принадлежащие Каупервуду линии городских железных дорог проходили мимо их домов или предприятий. Чем, собственно, эти линии так уж сильно отличаются от прочих? Так думали те, кто в откровенном стяжательстве Каупервуда видел оправдание собственному практицизму и не боялся в этом признаться. Но против них сомкнутым строем стояли моралисты — бедные, неразумные подпевалы, умеющие только повторять то, о чем трубит молва, люди, подобные несомой ветром пыли. А помимо них были еще анархисты, социалисты, сторонники единого налога и поборники национализации. Наконец были просто бедняки, и для них Каупервуд с его баснословным богатством, с его коллекцией картин и сказочным нью-йоркским дворцом, о котором шли самые фантастические россказни, являл собой живой пример жестокого и бездушного эксплуататора. А время было такое, когда по Америке все шире и шире разносилась весть о том, что назревают большие политические и экономические перемены, что железной тирании капиталистических магнатов должна прийти на смену жизнь более свободная, более счастливая и обеспеченная для простого человека. Уже слышались голоса, ратовавшие за введение в Америке восьмичасового рабочего дня и национализацию предприятий общественного пользования. А тут могущественная трамвайная компания, обслуживающая полтора миллиона жителей, опутала своей сетью чуть ли не все улицы города и заставляла платить ей дань тех самых простых, небогатых горожан, без которых не было бы ни улиц, ни трамвая, и выкачивала из населения таким путем от шестнадцати до восемнадцати миллионов долларов в год. И при таких колоссальных доходах, кричали газеты, — обслуживание из рук вон плохое, вагоны, того гляди, развалятся, в часы наплыва давка, сесть негде, сделал пересадку — опять плати, а город не получает от этих неслыханных барышей ни цента! Скромные труженики, читая эти разоблачения при тусклом свете газового рожка у себя на кухне или в убогой гостиной своей маленькой квартирки, чувствовали, что их грабят, отнимают то, что по праву должно было бы принадлежать им. Это чувство только усиливалось, когда они читали в той же самой газете описания веселой, пышной, беспечальной жизни богачей. А ведь все, казалось, сводится к тому, чтобы заставить Фрэнка Алджернона Каупервуда исполнить свой долг по отношению к народу. Отнять у него возможность подкупать олдерменов. Не дать ему вырвать концессию на пятьдесят лет. Лишить его этой привилегии, которую он уже успел купить себе в законодательном собрании штата путем растления честных людей! На колени его! Пусть склонит, наконец, голову перед силами закона и порядка! Законопроект Мирса — результат наглого подкупа. Они там все подкуплены — и в законодательном собрании и в сенате — все, вплоть до губернатора штата! (Лица, утверждавшие это, даже сами не подозревали, как близки они к истине.) Каупервуд — взяткодатель, каких еще свет не родил. Прямых улик против него не было, но все знали, что это так. В газетах печатались карикатуры, изображавшие его то на капитанском мостике пиратского судна, отдающим своим матросам приказ потопить другое судно — «Ладью Народных Прав», то в виде насильника и бандита в черной полумаске, пытающегося похитить у прекрасной девственницы «Чикаго» и честь и кошелек. Слухи об этой борьбе уже разнеслись далеко по свету. В Монреале и Кейптауне, в Буэнос-Айресе и Мельбурне, в Лондоне и Париже газеты оповещали своих читателей о происходящей в Чикаго невиданной схватке. Имя Каупервуда получило широчайшую известность по всей Америке и даже за ее пределами. Мечта его сбылась, хотя и в несколько измененном силою обстоятельств виде.

Меж тем местные финансовые тузы, те, что вдохновляли эти бешеные атаки на Каупервуда, сами испугались, увидав воочию плоды своих усилий. Правда, им удалось, наконец, решительно восстановить общественное мнение против Каупервуда, но разве они сами не получали таких же колоссальных прибылей, не охотились за такими же привилегиями, как он? И вот теперь они своими руками убивают курицу, которая несла им золотые яйца. Хэкелмайер, Готлеб, Фишел и другие могущественные капиталисты Восточных штатов, стоявшие во главе трансконтинентальных железнодорожных компаний, международных банкирских домов и прочих крупнейших предприятий страны, были потрясены: как могли газеты и все эти противники Каупервуда в Чикаго так зарваться? Где же уважение к капиталу? Неужели они там не знают, что долгосрочные концессии — основа основ капиталистического процветания? Если не положить этому конец, идеи, которые стали проповедовать в Чикаго, получат распространение и в других городах. Америка, того и гляди, станет страной антикапиталистической, социалистической. Чего доброго, они еще всерьез задумают все передать народу — и что тогда?

— Все они там, в Чикаго, ведут себя в высшей степени глупо, — заметил однажды мистер Хэкелмайер мистеру Фишелу, представителю банкирского дома «Фишел, Стоун и Симонс». — Не вижу, чем мистер Каупервуд отличается от прочих предпринимателей. Мне кажется, он человек положительный и энергичный. Все его предприятия приносят доход. Лучшего помещения для капитала, чем Северная и Западная компании чикагских городских железных дорог, и не сыщешь. Я так полагаю, что следовало бы слить все чикагские городские железные дороги в одну компанию и во главе ее поставить мистера Каупервуда. Он сумеет удовлетворить вкладчиков. Как видно, он знает толк в городском железнодорожном транспорте.

— Представьте себе, что я и сам уже об этом думал, — ответил мистер Фишел, такой же седой и важный, как Хэкелмайер; он, по-видимому, вполне разделял его точку зрения. — Надо положить конец этой грызне. Она чрезвычайно вредит деловым операциям! Чрезвычайно! Стоит этой бессмыслице распространиться — я имею в виду их трескотню насчет национализации и прочего, — и попробуйте тогда заткнуть крикунам глотку. И сейчас уже дело зашло слишком далеко.

Мистер Фишел был плотный и круглый — совсем как мистер Хэкелмайер, только уменьшенный до миниатюрных размеров. Порой казалось, что это даже не человек, а ходячая математическая формула и под его черепной коробкой находят себе место лишь финансовые комбинации и уравнения второй, третьей и четвертой степени.

И вот дела принимают совершенно новый оборот. Воспаление легких внезапно сводит в могилу мистера Тимоти Арнила, а все его акции Южных дорог переходят по наследству к его старшему сыну — Эдварду Арнилу. Мистер Фишел и мистер

Хэкелмайер сначала через своих доверенных лиц, а затем и лично приступают к мистеру Мэррилу с целью склонить его на сторону мистера Каупервуда. Речь ведь идет прежде всего о прибылях, говорят они, о том, что чикагские городские железные дороги под благотворным руководством мистера Каупервуда приносят куда больше дохода, чем под эгидой мистера Шрайхарта. А кроме того, мистер Фишел желает обуздать социалистических смутьянов. Того же желает теперь и мистер Мэррил. Вслед за тем мистер Хэкелмайер берет в работу мистера Эдварда Арнила, который пока еще не так силен, как был его отец, но которому страстно хочется достигнуть такого же могущества. Тут выясняется, — как это ни странно, — что мистер Эдвард Арнил в какой-то мере считает себя даже поклонником мистера Каупервуда и уж во всяком случае не видит никакой пользы в той политике, которая может привести только к муниципализации городских железных дорог. Теперь мистер Мэррил, по просьбе мистера Фишела, приступает к мистеру Хэнду.

— Нет, нет и нет! — заявляет мистер Хэнд. — Никогда!

Тогда за мистера Хэнда берется сам мистер Хэкелмайер.

— Нет, нет и нет! Никогда! К черту вашего Каупервуда!

Но тут на сцену выступает мистер Морган Фрэнкхаузер — еще один агент господ Хэкелмайера и Фишела и компаньон мистера Хэнда по прокладке городских железных дорог в городах Миннеаполисе и Сент-Пауле, предприятии, оцениваемом в семь миллионов долларов. Почему мистер Хэнд упорствует? Разве не возмутительно из побуждений личной мести будоражить народ, укоренять в умах идею муниципализации и доставлять столько беспокойства всем крупным капиталистам? Почему бы мистеру Хэнду не уступить мистеру Фрэнкхаузеру своей доли в чикагских городских железных дорогах в обмен на «Питсбургские городские железнодорожные», акция за акцию, а потом воевать с Каупервудом, сколько его душе угодно?

Мистер Хэнд поражен, озадачен; он почесывает шарообразную голову, ударяет увесистым кулаком по столу.

— Никогда, черт побери! — восклицает он. — Никогда, пусть я лучше сдохну!

И… уступает. «Странные штуки выкидывает иной раз жизнь! — думает он, недоуменно глядя в одну точку. — Кто бы только мог подумать!»

— Шрайхарт никогда на это не пойдет, — говорит он Фрэнкхаузеру. — Умрет, а не согласится. А бедный, старый Тимоти! Будь он жив, он бы тоже нипочем не согласился.

— Ах, оставьте вы Шрайхарта в покое, ради бога! — молит мистер Фрэнкхаузер, вылощенный господин, одетый на западноевропейский манер. — Хватит у меня хлопот и без него!

Мистер Шрайхарт разъярен. Никогда, никогда, никогда! Да он скорее выбросит все акции на рынок! Но — один в поле не воин, а мистер Фрэнкхаузер с радостью приобретет все акции мистера Шрайхарта для мистера Фишела или мистера Хэкелмайера.

И вот осенью 1897 года все линии чикагских железных дорог, принадлежащие соперникам мистера Каупервуда, преподносятся ему, как на блюде, — на золотом блюде.

— Ну, мы все это уладили, — доверительно сообщает мистер Готлеб мистеру Каупервуду за изысканным обедом в отдельном кабинете нью-йоркского клуба «Метрополитен», доступного только для избранных. Время — 8:30 пополудни, вино — искристое бургундское. — Сегодня получена телеграмма от Фрэнкхаузера. Милейший человек этот Фрэнкхаузер. Нужно вас познакомить. Так вот — Хэнд продает свой пакет Фрэнкхаузеру. Мэррил и Эдвард Арнил будут работать с нами. Мы с ними прекрасно столковались. Друзья мистера Фишела скупят для него у местных держателей все акции, какие только возможно, и таким образом вместе с этими тремя главными акционерами мы получим контроль над всем предприятием. Шрайхарт исключается. Он заявил, что выходит из состава правления. Вы, верно, не очень будете этим удручены? Итак, все теперь зависит от вас — удастся ли вам добиться в муниципалитете концессии на пятьдесят лет? Хэкелмайер говорит, что он предпочел бы видеть вас во главе предприятия, а не кого-либо другого. Он хочет все передать в ваши руки. Фрэнкхаузер разделяет его мнение. Должен вам сказать, что Хэкелмайер — человек слова. Ну, вот и все. Теперь дело за вами. Желаю вам успеха. Задача у вас нелегкая — нужно прежде всего сладить с газетами, а господа Хэнд и Шрайхарт будут по-прежнему ставить вам палки в колеса. Мистер Хэкелмайер просил меня кланяться вам и спросить, не отобедаете ли вы у него на будущей неделе? Или, если вам угодно, он посетит вас.

Пост мэра города Чикаго занимал в те дни некий честолюбивый карьерист по имени Уолден Х.Льюкас. Ему было тридцать восемь лет, и он пользовался популярностью; во всяком случае ему как-то удавалось всегда быть на виду. Он был очень самоуверен, недурен собой, обладал превосходным здоровьем, трезвым, расчетливым умом и холодно-рассудительным даром речи. Втайне он грезил высокими почестями и усиленно вербовал приверженцев, причем старался действовать осмотрительно и быть, так сказать, знаменем добродетели и справедливости, — впрочем, не слишком восстанавливая против себя порок. Словом, это был подающий большие надежды молодой Макиавелли из Западных штатов Америки — как раз такой человек, который, если бы захотел, мог бы сослужить неплохую службу в борьбе против Каупервуда.

Каупервуд обеспокоен и спешит посетить мэра в его канцелярии.

— Мистер Льюкас, мне хотелось бы выяснить, чем я могу быть вам полезен? Я целиком к вашим услугам. Быть может, у вас есть желание занять в дальнейшем более высокий пост?

— Вы ничем не можете быть мне полезны, мистер Каупервуд. Мы с вами говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга. Вы не можете понять меня, потому что я человек честный.

— Ах ты, господи! — восклицает Каупервуд. — Вот уж поистине завидное самомнение и не менее завидная глубина ума! Счастливо оставаться!

Вскоре после этого мэра посетил мистер Каркер — один из лидеров демократической партии штата Нью-Йорк — холодный, расчетливый, знающий свою силу политик. Каркер сказал:

— Видите ли, мистер Льюкас, крупные банкирские дома Восточных штатов заинтересовались происходящей здесь у вас в Чикаго борьбой. Так, например, «Хэкелмайер, Готлеб и Кь» считают, что все ваши городские железные дороги следует объединить, чтобы они могли стать соблазнительной приманкой для вкладчиков из самых широких слоев населения. Разумеется, интересы города должны при этом соблюдаться. Однако, по их мнению, двадцать лет — слишком короткий срок для такого объединения. Пятьдесят лет — минимальный срок, который мог бы их удовлетворить, но, конечно, они предпочли бы концессию на сто лет. Для предприятия с такими крупными издержками и этот срок не слишком велик. Политика, которая у вас здесь проводится, может привести только к муниципализации предприятий общественного пользования, что в настоящее время американская демократическая партия никак, разумеется, приветствовать не может. Это восстановило бы против нас всех богатых и влиятельных людей от берегов Атлантического до берегов Тихого океана. Всякий политический деятель, который будет так или иначе причастен к этим опасным идеям, может поставить крест на своей карьере. Он никогда не будет избран ни на один пост. Вы поняли меня, или, быть может, я выражаюсь недостаточно ясно?

— Вполне ясно.

— Убрать неугодное лицо с поста мэра города Чикаго не труднее, чем с поста губернатора в Спрингфилде, — продолжал мистер Каркер. — Мистер Хэкелмайер и мистер Фишел лично просили меня побывать у вас. Если вы хотите, чтоб вас избрали мэром города Чикаго еще на два года, или если желаете уже в будущем году занять пост губернатора, пока не придет время выставить вашу кандидатуру на президентских выборах, — что ж, все зависит только от вас. Однако при этом я считал бы крайне неблагоразумным связываться сейчас с теми, кто проповедует идею муниципализации предприятий общественного пользования. Газеты в борьбе с Каупервудом затронули вопрос, которого отнюдь не следовало бы касаться.

Вскоре после этого к мэру явился мистер Эдуард Арнил, пользующийся весом в местном обществе, а за ним мистер Джейкоб Бутол, лидер демократов в Сан-Франциско. Оба хотели одного и того же и обещали мэру всяческую поддержку, если он последует их совету. Их сменила делегация, состоящая из влиятельных республиканцев Миннеаполиса и Филадельфии. И даже председатели «Лейк-Сити-Нейшнл» и «Прери-Нейшнл» — некогда ярые противники Каупервуда, почтили мэра своим посещением, дабы повторить то, что было уже не раз сказано до них. Все говорили одно и то же. Льюкаса взяло сомнение. Не рискует ли он своей политической карьерой? Стоит ли продолжать ставить палки в колеса Каупервуду? Выгодно ли теперь защищать интересы избирателей? Запомнятся ли его заслуги? Что, если газеты уступят, если их заставят пойти на попятный, как предрекал мистер Каркер? Какая неразбериха! В этих политических интересах сам черт ногу сломит!

— Ну что, Бесси, — спросил он вечером свою русоволосую, пышную красавицу-жену, — как бы ты поступила?

У Бесси были серые глаза и веселый нрав. Эта весьма практичная особа обладала колоссальным честолюбием, прекрасными связями и чрезвычайно гордилась высоким положением своего мужа. Она верила в его звезду. У мэра вошло в привычку советоваться с женой, когда на его пути возникали трудности.

— Вот что я тебе скажу, Уолли, — ответила Бесси. — Нужно уж, друг мой, держаться чего-нибудь одного. Мне думается, массы должны на этот раз взять верх. По-моему, газеты, наделав столько шума, уже не могут теперь забить отбой. Тебе вовсе незачем ратовать за национализацию или еще что-нибудь в этом роде — это было бы несправедливо по отношению к людям

состоятельным. Но я бы стояла на том, что концессия на пятьдесят лет — это уж слишком. Пусть выплачивают сколько полагается городу и получают свои концессии без всяких взяток… Это-то уж они могут сделать! Я бы на твоем месте держалась прежней линии. Без поддержки избирателей ты же не можешь шагу ступить, Уолли. Без них ведь никак не обойдешься. Если ты потеряешь их доверие, никакие политические заправилы, да и никто на свете тебе не поможет.

Было ясно, что наступило время, когда с массами приходится считаться. Да, хочешь не хочешь, а считаться приходится!

60. ЛОВУШКА

Буря негодования, вызванная махинациями Каупервуда в Спрингфилде весной 1897 года, бушевала без устали до самой осени, и газеты Восточных штатов день за днем освещали все ее перипетии.

«Фрэнк Алджернон Каупервуд — против штата Иллинойс» — так определила это единоборство одна из нью-йоркских газет. Всякая популярность обладает большой притягательной силой. На кого не произведет впечатления ореол известности, который окружает некоторых людей, придавая им особый блеск? Попалась на эту удочку и Беренис. Как-то раз чикагская газета, забытая Каупервудом на столе, привлекла ее внимание. В пространной редакционной статье перечислялись разнообразные преступления Каупервуда — в частности, его интриги в законодательных органах штата — и далее говорилось так: «Этот человек отличается врожденным, закоренелым, неистребимым презрением к массам. Люди для него лишь пигмеи, рабы, обреченные тащить на своем горбу величественный трон, на котором он восседает. Еще ни разу в жизни Фрэнк Каупервуд не снизошел до прямого и честного обращения к населению, когда ему нужно было что-либо от него получить. Так, в Филадельфии он стремился завладеть конкой мошенническим путем — через подкупленного им городского казначея. В Чикаго повторились те же попытки — с помощью взяток завладеть наиболее доходными предприятиями города, использовать их в своих корыстных целях, тогда как они должны были служить на благо общества. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в силу народа, не возлагает на него никаких надежд. Общество для него — это только нива, с которой он хочет снимать обильную жатву. Он мысленно видит перед собой ряды согбенных спин: люди повержены на колени, в грязь. Они склонились ниц, припав лицом к земле, а он шагает по этим согбенным спинам — вперед, к господству. В тайниках своей души он не признает никого и ничего, кроме себя. Он сторонится масс, боясь, как бы нужда и нищета не отбросили на него мрачной тени, не потревожили его эгоистического благополучия. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в народ!»

Это грозное обличение, прогремевшее в спрингфилдских газетах в момент, когда в законодательном собрании шли решающие бои, и подхваченное чикагской прессой, а затем и другими газетами, произвело сильное впечатление на Беренис. Она думала о Каупервуде — о том, как он ведет этот отчаянный поединок, разъезжает из Нью-Йорка в Чикаго и обратно, строит свой великолепный дворец, собирает картины, воюет с Эйлин, — и мало-помалу он превращался в ее глазах в существо почти легендарное, приобретая черты не то сверхчеловека, не то полубога. Как же можно требовать от него, чтобы он шел проторенным путем, подчинялся каким-то раз навсегда установленным трафаретным правилам? Это невозможно, и этого никогда не будет! И этот-то человек добивается как милости ее расположения, благодарен ей за каждую мимолетную улыбку, готов покорно исполнять все ее прихоти и капризы.

Что ни говорите, а любая женщина таит в сердце мечту о герое — своем будущем избраннике. Если одни люди создают себе идолов из камня или полена, то другим требуется какое-то подобие настоящего величия. И в том и в другом случае налицо языческое обожествление иллюзии.

Беренис ни в какой мере не смотрела еще на Каупервуда, как на своего будущего возлюбленного, но его недозволенное преклонение льстило ей. Как-никак, это была дань со стороны человека, сумевшего, по-видимому, приковать к себе взоры целого света. А Каупервуд между тем, видя, что пожар грандиозной битвы, которую он вел на Среднем Западе, озарил уже столбцы нью-йоркских газет и они начинают обвинять его в подкупах, лжесвидетельствах, в попытках попрать волю народа и прочее и прочее, почел за лучшее забежать вперед и оправдать себя в глазах Беренис. Навещая ее дома или сопровождая в театр, он мало-помалу поведал ей всю историю своей чикагской борьбы. Он очертил перед ней характеры Хэнда, Шрайхарта и Арнила, описал зависть и мстительность этих людей, побуждавшие их так упорно бороться против его деятельности в Чикаго.

— Не родилось еще такого человека, который мог бы добиться чего-нибудь в чикагском муниципалитете, не прибегая к взятке, — сказал Каупервуд. — Кто выложит деньги на бочку, тот и получит то, что ему нужно. — Он рассказал Беренис, как Трумен Лесли Мак-Дональд безуспешно пытался выжать из него пятьдесят тысяч долларов, а потом газеты, кстати сказать, значительно расширили круг своих подписчиков и нажили немалые деньги, избрав его своей мишенью. Он откровенно признался ей в том, как был отвергнут светскими кругами Чикаго, приписав это отчасти бездарности Эйлин, отчасти тому, что он сам, как некий Прометей, бесстрашно бросал вызов обществу.

— Я справлюсь с ними и теперь, — торжественно заявил он Беренис, когда они завтракали как-то раз в полупустом зале ресторана «Плаца». Его холодные серые глаза отражали в эту минуту всю неукротимость его духа. — Губернатор не подписал еще законопроекта о предоставлении мне долгосрочных концессий (разговор этот происходил в то время, когда спрингфилдский этап борьбы еще не был закончен), но он его подпишет. Тогда мне останется только выиграть одно последнее сражение. Я должен объединить все чикагские трамвайные линии в одной системе управления. Я мог осуществить это лучше,

чем кто-либо другой. А потом, если уж непременно нужно, чтобы город сам владел этим хозяйством, он может купить их у меня.

— И тогда? — спросила Беренис мягко, польщенная оказанным ей доверием.

— О, не знаю еще. Вероятно, поселюсь за границей. Моя судьба, мне кажется, не слишком занимает вас. Буду пополнять свою коллекцию…

— Ну, а если вы потерпите поражение?

— Это невозможно, — ответил он холодно. — Кроме того, при любых обстоятельствах мне хватит средств до конца жизни. Я уже устал слегка от всей этой кутерьмы.

Он улыбнулся, но Беренис видела ясно, что мысль о возможности поражения омрачила его. Его душа жаждала победы, победы во что бы то ни стало.

Этот разговор произвел сильное впечатление на Беренис — ведь имя Фрэнка Алджернона Каупервуда привлекало сейчас к себе всеобщее внимание. А тем временем пришли в действие и еще некие зловещие силы, и это тоже лило воду на его мельницу. Мало-помалу миссис Картер и Беренис стали замечать, что ультра-консервативные дома перестают посылать им приглашения. Беренис была слишком заметной фигурой, чтобы о ней можно было просто позабыть. Месяцев пять спустя после случая с Билзом Чэдси, на торжественном завтраке у Хэггерти, какой-то заезжий гость из Цинциннати указал миссис Хэггерти на Беренис: об этой особе, сказал он, начинают ходить странные слухи. Миссис Хэггерти написала друзьям в Луисвиль и получила требуемые сведения. А вскоре после этого состоялся званый вечер в честь первого выезда в свет Джеральдины Борджа, и Беренис — школьная подруга ее сестры — была странным образом забыта. Беренис не оставила этот случай без внимания. А затем и Хэггерти не включили ее, вопреки обыкновению, в число своих гостей на летний сезон. Их примеру последовали и Зиглеры и Деминги… Никто не позволил себе никаких оскорблений по ее адресу — ее попросту перестали приглашать. И, наконец, развернув как-то утром «Трибюн», Беренис прочла, что миссис Корскейден-Бэтджер отплыла на пароходе в Италию. Эта дама считалась ее лучшим другом, и вот она узнает об ее отъезде из газет! Беренис умела понимать без слов; она знала, откуда подуло на нее этим холодным ветром и что он ей сулит.

Нашлись, правда, и такие — наиболее отчаянные из самых отчаянно-эмансипированных, — которые остались при особом мнении. Миссис Пэтрик Джилхенин, например:

— Нет, нет! Не может этого быть! Срам какой! Но все равно, я люблю Беви и всегда буду ее любить. Она такая умница. Двери моего дома будут по-прежнему открыты для нее. То, что случилось, не ее вина. Она — прирожденная аристократка, этого у нее никто не отнимет. Как, однако, жестока жизнь!

Или миссис Огастас Тэбриз:

— Неужели это правда? Не могу поверить. Но все равно, Беви слишком очаровательна, чтобы отказаться от ее общества. Я во всяком случае намерена игнорировать эти слухи, пока только это возможно. Беви будет посещать мой дом, даже если все от нее отвернутся.

Или миссис Пэннингтон Дрюри:

— Как? Беви Флеминг? Кто это выдумал? Никогда не поверю! Я очень к ней расположена. Подумать только — Хэггерти перестали ее принимать! Вот тупицы! Ну, в моем доме она всегда будет желанной гостьей, дорогая малютка. Как может она отвечать за прошлое своей матери!

Однако в косном мире денежных тузов, опирающихся на силу своего капитала, условностей, чванливой благонамеренности и невежества, Беви Флеминг перестала быть важной персоной. Как же она к этому отнеслась? С сознанием своего внутреннего превосходства, которое не могут поколебать никакие житейские невзгоды. Те, кто наделен яркой индивидуальностью, обычно знают себе цену уже с детских лет и, за редким исключением, никогда в себе не сомневаются. Жизнь с ее разрушительными приливами и отливами бушует вокруг, они же подобны утесу, горделивые, холодные, неколебимые. Беренис Флеминг так свято верила в то, что она неизмеримо выше своего окружения, что даже теперь ухитрялась высоко держать голову.

Тем не менее положение было не из приятных, и она стала внимательнее приглядываться к возможным претендентам на ее руку — как видно, единственным выходом могло быть замужество.

Брэксмар ушел из ее жизни навсегда. Он был где-то далеко на Востоке — в Китае, кажется. Его увлечение ею, как видно, прошло. Килмер Дьюэлма исчез тоже — попал в силки. Это достойное приобретение было сделано одним из тех семейств, которые закрыли сейчас свои двери перед Беренис. Но в тех светских салонах, где ее еще продолжали принимать, — а разве не были они ярмарками невест? — раза два перед ней как будто открывалась возможность устроить свое будущее: двое молодых людей, оба богатые наследники, делали попытки завоевать ее расположение. Судьбе было угодно, однако, чтобы это кончилось быстро и ничем. Один из этих юнцов — Педро Рицер Маркадо, бразилец, питомец Оксфорда, казалось, был искренне и страстно влюблен, но, увы, — только до тех пор, пока не узнал, что у Беренис нет ни гроша за душой и что она… Кто-то что-то шепнул ему на ухо. Другой претендент был некто Уильям Дрейк Баудэн — отпрыск старинного рода. Семейство Баудэн проживало в собственном особняке на Вашингтон-сквере. Беренис и Баудэн встретились как-то на балу, потом на музыкальном утреннике, потом еще где-то. После этого Баудэн представил Беренис своей, матери и сестре, и те были очарованы.

— Ангел мой, божество! — в упоении вырвалось как-то раз у юного Баудэна. — Согласны ли вы стать моей женой?

Беренис поглядела на него с любопытством и сомнением.

— Давайте подождем немного решать этот вопрос, друг мой, — предложила она. — Я хочу, чтобы вы проверили себя — действительно ли вы меня любите.

Вскоре после этого разговора Баудэн увидел в клубе одного из своих товарищей по колледжу, и тот сказал ему примерно следующее:

— Послушайте, Баудэн, вы — мой друг. Я вижу — вы встречаетесь с этой особой, мисс Флеминг. Я, конечно, не знаю, как далеко у вас зашло, и не хочу быть навязчивым, но скажите — достаточно ли хорошо вы осведомлены обо всем, что касается этой дамы?

— Что вы имеете в виду? — спросил Баудэн. — Будьте добры высказаться яснее.

— О, прошу прощенья, дружище. Я не хочу вас обидеть, поверьте. Вы же меня знаете… Старая дружба, колледж и всякое такое прочее… Словом, послушайтесь моего совета: наведите справки, пока не поздно. Вы можете услышать кое-что. Если это правда, вам следует знать. Если нет — нужно пресечь эти сплетни. Быть может, я ошибся — тогда готов держать ответ. Но, говорю вам, я слышал толки. Словом, с самыми лучшими намерениями, старина, поверьте.

Наводятся справки. Ревнивые, завистливые языки работают вовсю. Всем известно, что мистер Баудэн должен, как-никак, унаследовать три миллиона. В результате — крайне неотложный отъезд куда-то, и Беренис, сидя перед зеркалом, недоуменно спрашивает себя: что это такое? Какие толки идут за ее спиной? Как все это дико! Ну что ж, она молода и красива. Найдутся другие. Но все же… она могла бы, кажется, полюбить Баудэна. У него такой легкий, беззаботный нрав и какая-то бессознательная артистичность… Право же, она была о нем лучшего мнения.

Но Беренис не пала духом. Она держалась замкнуто, надменно, чуть-чуть грустила порой, порой была безудержно весела, но даже в эти минуты веселости ее все чаще и чаще охватывало теперь странное ощущение тщеты и призрачности всего существующего. Как, однако, все неверно в этой жизни! Лишите цветок воздуха и света, и он увянет. Поступок ее матери уже не казался теперь Беренис таким непостижимым, как прежде. В конце концов разве это не дало ей средства удержаться на какой-то ступеньке социальной лестницы и сохранить для своей семьи положение в свете? Красота быстротечна, как сон, и так же иллюзорна, а человеческая личность со всеми ее достоинствами не имеет, как видно, большой цены. Ценится другое — происхождение, богатство, уменье избежать роковых случайностей и сплетен. Губы Беренис презрительно кривились. Что ж, жизнь нужно, как-никак, прожить. Нужно уметь притворяться и лгать — вот и все. Молодость оптимистична, а Беренис при своем зрелом не по летам уме была еще очень молода. Жизнь казалась ей азартной игрой, таящей в себе много возможностей. Главное в этой игре — не упустить удачу. Взгляды Каупервуда находили теперь отклик в ее душе. Человек должен сам строить свою жизнь, делать себе карьеру, иначе его удел — унылое и безрадостное существование на задворках чужого успеха. Если свет так мелочен и капризен, если люди так тупы — что ж, она знает, что нужно делать. Жизнь принадлежит ей, и она сумеет ее прожить. Деньги — вот что должно ей в этом помочь.

К тому же Каупервуд день ото дня казался ей все более привлекательным. «Он и в самом деле очень мил», — думала Беренис. Он был несравненно интереснее большинства окружавших ее людей. В нем чувствовалась сила. Беренис была неестественно весела эти дни, словно хотела крикнуть всем: «Победа останется за мной!»

61. КАТАСТРОФА

Теперь Чикаго грозило то, чего он больше всего страшился. Гигантская монополия, подобно осьминогу охватившая город своими щупальцами, готовилась задушить его, и грозная опасность эта воплотилась в лице Фрэнка Алджернона Каупервуда. Найдя опору в исполинской мощи банкирского дома «Хэкелмайер, Готлеб и Кь», Каупервуд стал подобен монументу,

воздвигнутому на вершине скалы. Для осуществления всех его мечтаний ему оставалось только получить концессию на пятьдесят лет, а даровать ему эту концессию должны были сорок восемь олдерменов, из общего числа шестидесяти восьми — в том случае, если мэр ее не подпишет. Вот когда восторжествует упорство, с которым он добивался своего, невзирая на все препятствия! Вот когда он будет вознагражден за то, что, не дрогнув, встречал все бури и шквалы на своем пути! Другие на его месте давно бы пали духом, но не он. Какая удача, что этот переполох среди денежных тузов, напуганных идеей муниципализации, заставил их добровольно преподнести ему всю гигантскую махину городских железных дорог Южной стороны в награду за его стойкое сопротивление всяким сумасбродным идеям.

Влиятельные покровители Каупервуда дали ему возможность выступить перед различными местными коммерческими и финансовыми организациями: «Обществом по продаже недвижимой собственности», «Объединением крупных домовладельцев», «Лигой коммерсантов» и «Союзом банкиров», — чтобы он мог изложить им свои цели и задачи и привлечь их на свою сторону. Но впечатление от его вкрадчивых речей было сведено на нет поносившими его без устали газетами. «Можно ли ждать добра из Назарета?» — вопрошали они снова и снова. Газеты, выполнявшие волю Хэнда и Шрайхарта, выступали против него с не меньшим ожесточением, чем прежде, да и большинство других газет, ничем не связанных с капиталистами Восточных штатов, на этот раз сочли более выгодным выступать поборниками прав рядового горожанина. Они производили доскональнейшие математические выкладки, дабы наглядно показать населению, какие баснословные барыши готовилось в недалеком будущем получать объединение городских железных дорог. Они увидели в этом хищную руку финансистов Восточных штатов и разоблачали их черные намерения. «Миллионы — каждому из воротил объединения, ни одного цента — Чикаго» — так изображал эти намерения «Инкуайэрер». Нашлись и такие альтруисты, которые, в состоянии крайнего возбуждения, объявили, что в окончательном низложении Каупервуда видят свой долг перед господом богом, перед человечеством и демократией. Небеса разверзлись перед их взором, и свет господень просветил их разум. В противовес этим подвижникам, шайка политических пиратов, тех, что засели в ратуше и вершили дела (за исключением, впрочем, мэра), готова была, подобно голодным свиньям, запертым в хлеву, наброситься на все, что попадало к ней в кормушку, лишь бы нажраться до отвала. В острые моменты борьбы за наживу равно открываются и бездонные глубины низости и недосягаемые вершины идеала. Когда океан вздымает ввысь свои бушующие валы, между ними образуются зияющие бездны.

Наконец лето пришло к концу, и городское самоуправление собралось в ратуше; с первым прохладным дыханием осени весь город был охвачен предчувствием решительной схватки. Каупервуд, убедившись, что все его попытки снискать к себе расположение тщетны, решил прибегнуть к своему испытанному методу — подкупу. Он установил твердую таксу: двадцать тысяч долларов за каждый голос, поданный в его пользу, — это для начала. В дальнейшем, если понадобится, он намерен был поднять цену до двадцати пяти и даже до тридцати тысяч и довести общую сумму, ассигнованную им на взятки, примерно до полутора миллионов. И все же это вознаграждение было очень невелико по сравнению с барышами, которые сулила ему вожделенная сделка. Олдермену Балленбергу — одному из самых надежных приспешников Каупервуда — было поручено внести проект на рассмотрение муниципального совета и передать секретарю совета для оглашения; после чего другой каупервудовский прихвостень должен был рекомендовать этот проект объединенному комитету по благоустройству улиц и проспектов, состоящему из тридцати четырех человек — членов других постоянных комитетов. Этому комитету предстояло в течение недели рассмотреть проект на открытом заседании в главном зале заседаний муниципалитета. Каупервуд надеялся заразить своей наглой самонадеянностью своих приспешников и влить в них отвагу, необходимую для предстоящего испытания, которое обещало быть весьма серьезным. Олдерменам уже приходилось выдерживать настоящую осаду — на митингах в избирательных округах, в клубах, даже у себя дома. Они получали целые вороха писем — оскорбительных, угрожающих.

Соседи не давали им прохода, детишек их дразнили на улице. Священники писали им длинные послания — увещевали, грозили карами небесными. Газеты следили за каждым шагом олдерменов и что ни день печатали новые разоблачения. Сам мэр, закаленный в интригах политикан, взвинченный разгоравшейся борьбой и приближением еще более грандиозной битвы, чувствуя в своих руках могучее оружие — страх, не колеблясь, призывал к самым крутым мерам.

— Ждите, пока проект не будет передан на рассмотрение, — заявил он своим сторонникам на совещании, созванном в большом концертном зале. Несколько тысяч человек собралось здесь, чтобы решить, какие меры следует принять против лихоимцев из муниципального совета. — Насколько я понимаю, мы загнали мистера Каупервуда в тупик. Когда его проект будет представлен на рассмотрение, он в течение двух недель не сможет ничего предпринять, а мы в это время должны создать комитет охраны общественных интересов, созвать митинги по всем округам, организовать боевые демонстрации протеста. В ночь с воскресенья на понедельник — то есть накануне публичного обсуждения проекта — мы созовем грандиозный массовый митинг, а помимо того митинги по всем округам. Говорю вам, джентльмены, что в муниципальном совете найдется, я уверен, достаточно честных людей, которые не позволят каупервудовской шайке протащить проект вопреки моему вето, но мы до этого дело доводить не станем. Никогда нельзя знать, на что могут отважиться те или иные негодяи, завидев перед глазами жирный куш в двадцать-тридцать тысяч долларов. Большинство из них, даже при самой неслыханной удаче, едва ли за всю свою жизнь сумеют сколотить хотя бы половину этой суммы. К тому же они ведь не надеются быть избранными вторично. С них хватит и одного раза. За их спиной уже стоят другие, тоже жаждущие сунуть свое рыло в кормушку. Ступайте в ваши округа и районы и организуйте митинги. Призовите к себе избранных вами олдерменов. Не давайте им улизнуть; не позволяйте им морочить вам голову, прикрываясь громкими фразами насчет свободы личности и всяких там прав и обязанностей должностных лиц. Не уговаривайте их — угрожайте. Добром от этих мерзавцев ничего не добьешься. Возьмите их за глотку, и когда вам удастся вырвать у них обещание не давать концессии Каупервуду, стойте наготове с крепкой веревкой в руках, чтобы ни один из них не посмел отступиться от своего слова. Я не сторонник насильственных мер, но сейчас ничего другого не остается. Наш

противник вооружен до зубов и в любую минуту готов перейти в наступление. Он только и ждет, чтобы мы зазевались. Так пусть ждет и не дождется. Будьте начеку. Боритесь. Я — ваш мэр и готов помочь вам всем, чем могу, но один в поле не воин, а право вето — мое единственное, и довольно жалкое, оружие. Вы должны помочь мне, для того чтобы я мог помочь вам. Вы должны стоять за меня, а я буду стоять за вас.

Теперь представьте себе отчаянное положение, в каком оказался некий олдермен по фамилии Пинский, прибыв в клуб своего избирательного округа, четырнадцатого демократического, на следующий вечер после внесения проекта в муниципалитет. Краснолицый, пухлый, шарообразный, в цилиндре и длинном черном сюртуке, мистер Пинский хоть и выглядел весьма представительно, но был явно не в своей тарелке, так как и соседи и деловые его друзья уже давно не давали ему покоя. В клуб мистера Пинского пригнали угрозами — его-де еще заставят отвечать за все злодеяния и преступления, которые он замышляет. Почти все олдермены — взяточники и преступники, — это стало уже всеобщим убеждением, и на этой почве объединились приверженцы всех партий, на время забыв вражду. Не было больше демократов и республиканцев, только «каупервудовцы» и «антикаупервудовцы», — последних подавляющее большинство. К несчастью для мистера Пинского, он попал в число жертв, намеченных «Трэнскрипт», «Инкуайэрер» и «Кроникл», и ему предстояло одним из первых дать отчет своим избирателям. Мистер Пинский — еврей по отцу и американец по матери — родился и вырос в пределах четырнадцатого избирательного округа и говорил с характерным американским акцентом. Он был рыжеволос, невысок ростом, но и не слишком мал, а пронырливый, бегающий взгляд и обходительные, льстивые манеры сразу обличали в нем пройдоху. Сейчас мистер Пинский имел какой-то воинственно-взъерошенный и вместе с тем растерянный вид, ибо был доставлен сюда против своей воли. Взор его масленистых поросячьих глаз был упрямо и неотвратимо прикован к волшебному видению: тридцать тысяч долларов!.. Но его окружала буйная, крикливая толпа, она грозила отнять у него эту кругленькую сумму, на которую он — так ему казалось — имел уже непререкаемые права. Этот искус совершался в узком длинном зале, тускло освещенном пятью двурогими газовыми рожками, свешивавшимися с низкого потолка, и пестревшим спортивными и лотерейными афишами, расклеенными на грязных, давно не беленных стенах. Особенно бросались в глаза пестрые объявления, оповещавшие о том, что общество «Веселый досуг», возглавляемое мистером Пинским, устраивает бал. Сам мистер Пинский стоял на невысокой эстраде в глубине зала, окруженный двумя-тремя десятками своих более или менее надежных соратников. Красные, разгоряченные лица их выдавали волнение; все эти джентльмены были в черных сюртуках или в своих лучших воскресных костюмах, все держались настороженно, вызывающе и все при этом изрядно трусили. Мистер Пинский даже прихватил с собой пистолет. Речь мэра, в которой упоминались ружья, веревки, барабаны, боевые демонстрации и прочее и прочее, облетела весь Чикаго, и население, как видно, не прочь было устроить себе веселый уличный праздник, который мог бы увенчаться таким приятным и захватывающим развлечением, как расправа с парочкой-другой олдерменов.

— Эй, Пинский! — разносится чей-то окрик над морем чужих и явно враждебных этому олдермену лиц. (Да, нынешнее собрание отнюдь не состоит из приверженцев Пинского — это разнородное, стихийное сборище, спаянное одним стремлением — принудить, наконец, господ олдерменов к соблюдению элементарной порядочности. Здесь есть и женщины — кое-кто из местных прихожанок, две-три поборницы женского равноправия, две-три ретивые деятельницы общества трезвости. Мистер Пинский согласился предстать перед этими людьми лишь после того, как ему пригрозили: если он не придет к ним, то они придут к нему.)

— Эй, Пинский! Старый взяточник! Сколько думаешь подработать на транспортных концессиях? (Этот голос звучит откуда-то из глубины зала.) Пинский (резко поворачивая голову, словно его ущипнули). Кто посмел назвать меня взяточником? Это ложь! Все мои деньги, до последнего доллара, заработаны честным путем, и каждый человек в четырнадцатом избирательном знает это.

Пятьсот человек, присутствующие в зале. Ха! Ха! Ха! Пинский не взял ни одного доллара! Хо! Хо! Хо! Вот это здорово!

Пинский (багровеет, приподнимается со стула). Да, это так. И я не желаю разговаривать с кучкой бездельников, которые прибежали сюда сломя голову потому, что газеты приказали им травить меня. Я уже шесть лет занимаю пост олдермена. Меня все знают.

Голос. Ты еще смеешь называть нас бездельниками? Ах ты, негодяй!

Другой голос (в ответ на заявление Пинского, что его все знают). Да уж как не знать, знаем!

Еще один голос (говорит низенький, тощий водопроводчик в рабочей блузе). Эй ты, хапуга! Как будешь голосовать? За или против концессии? Отвечай!

Еще один (страховой агент). Да, да, как будешь голосовать?

Пинский (опять поднимаясь со стула. Он настолько растерян, что то и дело встает и снова садится). Я вправе поступать так, как считаю нужным! И вправе обдумывать свои действия! Для чего же вы избирали меня олдерменом? Наша конституция…

Республиканец — противник Пинского (молодой судейский чиновник). К черту конституцию! Не заговаривай нам зубы, Пинский! Как будешь голосовать? За или против? Отвечай!

Голос (говорит каменщик — противник Пинского). Ответит он вам, как же! У него уж наверно все карманы набиты деньгами этого проходимца, с которым он снюхался.

Голос из группы позади Пинского (говорит один из его шайки — дюжий, задиристый ирландец). Не давай им запугать тебя, Сим! Стой на своем! Пусть только тронут! Мы тебя в обиду не дадим!

Пинский (снова вскакивает). Это возмутительно! Позволят мне, наконец, высказаться или нет? О каждом деле можно судить и так и этак. Так вот, я считаю, что мистер Каупервуд, что бы там ни писали газеты…

Столяр-ремесленник (подписчик «Инкуайэрера»). Тебя подкупили, ворюга! Нечего нас за нос водить! Ведь ты только и думаешь, как бы продаться подороже.

Тощий водопроводчик. Правильно, правильно, жулик он! Положит в карман тридцать тысяч и даст тягу. Хапуга!

Пинский (вызывающе — подстрекаемый своими сторонниками). Я поступаю в соответствии со своими понятиями о чести и справедливости. Конституция предоставляет каждому, в том числе, надеюсь, и мне, свободу слова. Я утверждаю, что городские железнодорожные компании должны пользоваться известными правами. Но, конечно, у населения тоже есть свои права.

Голос. Какие же это права, по-твоему?

Другой голо с. Да разве он знает. Наши права для него яйца выеденного не стоят.

Еще один голос. Плевал он на них!

Пинский (видя, что его жизни пока не угрожает опасность, и еще больше осмелев). Я повторяю, что население тоже имеет права. Надо заставить компании уплатить соответствующий налог. Однако двадцать лет — это слишком ничтожный срок для концессии. Законопроект Мирса дает теперь право выдавать концессии сроком на пятьдесят лет, и мне кажется, что, принимая во внимание…

Пятьсот человек (хором). Вор! Грабитель! Взяточник! Вздернуть его! Тащите веревку!

Пинский (прячется за спины своих соратников; несколько горожан, сжав кулаки, надвигаются на него: их глаза блестят, зубы стиснуты — все это не предвещает ему добра). Друзья мои, постойте! Дайте мне кончить!

Голос. Сейчас мы тебя прикончим, падаль!

Горожанин (поляк, с окладистой бородой, наступая на Пинского). Как будешь голосовать, а? Отвечай! Как? Ну?

Другой горожанин (еврей). Дрянь ты — и больше ничего! Мошенник! Жулик! Я уж тебя не первый год знаю. Ты меня обобрал, когда еще держал бакалейную лавочку.

Третий горожанин (швед; нарочито елейным голосом). Скажите, пожалуйста, мистер Пинский: если большинство граждан четырнадцатого избирательного округа не желает, чтобы вы голосовали за эту концессию, будете вы все-таки голосовать за нее или нет?

Пинский колеблется.

Все пятьсот. Ото! Поглядите-ка на этого негодяя! У него язык отнялся! Он еще не решил, сделает ли он то, чего хотят от него избиратели! Пристукнуть его — и все! Треснуть разок по башке, и готово!

Голос из группы Пинского. Держись, Пинский! Не трусь!

Пинский (видя, что толпа напирает на подмостки, и совсем уже оробев). Если избиратели не хотят, чтобы я голосовал за концессию, то я, разумеется, этого делать не стану. Зачем это мне нужно? Я всегда исполняю волю избирателей.

Голос. Да, после хорошего пинка в зад!

Другой голо с. Ты родную мать продашь, не то что нас, скотина ты этакая! Разве ты можешь поступать честно?

Пинский. Если половина избирателей потребует, чтобы я голосовал против концессии, я так и сделаю.

Голос. Ладно, ладно, потребуем, будь покоен. Девять десятых подпишутся под этим еще сегодня.

Ирландец (парень лет двадцати шести, контролер газовой компании, наступая на Пинского). А не будешь голосовать как нужно, так мы тебя вздернем. Я первый помогу накинуть веревку.

Один из телохранителей Пинского. А это кто такой? Надо будет подождать его на улице да стукнуть разок, чтобы заткнуть ему глотку.

Ирландец. Уж не ты ли заткнешь, чума краснорожая? Выходи, погляди! (Тут в перебранку ввязываются уже все присутствующие.) Поднимается невообразимый шум. Пинский под охраной своих сторонников, которые окружают его плотным кольцом, отступает за дверь; вдогонку ему несется свист, улюлюканье, крики: «Вор! Взяточник! Грабитель!»

Немало таких драматических сцен разыгралось в Чикаго после того, как проект Каупервуда был внесен на рассмотрение муниципального совета.

Начиная с этого дня на улицах Чикаго стали появляться толпы людей; демонстрации, организованные клубами, проходили по всем избирательным округам — как в самых глухих уголках города, так и в центральных кварталах. Эти зловещие процессии, вызванные к жизни яростными призывами мэра, составлялись из рядовых незаметных людей — служащих, рабочих, мелких лавочников, а также всевозможных поборников религии и морали, независимо от рода их занятий. По вечерам, покончив с дневными трудами, они маршировали по улицам взад и вперед или собирались в дешевых кабаках и своих партийных клубах и готовились… К чему? К тому, чтобы вечером в роковой понедельник, когда в муниципальном совете будет решаться судьба проекта Каупервуда, явиться к ратуше и потребовать от погрязших в пороке законников исполнения воли народа. Каупервуд, направляясь как-то утром в контору, сел в вагон своей надземной железной дороги и увидел там солидных, степенных горожан; они чинно сидели на скамейках с газетами в руках, а на отворотах их пиджаков красовались странного вида значки: одни в форме виселицы с болтающейся петлей, другие в виде вопросительного знака, обвитого надписью: «Дашь ли ты себя обворовать?» Почтенные граждане даже не подозревали, что тот, кого они так страшились и ненавидели, находится сейчас рядом с ними. На заборах, тумбах для расклейки афиш и на глухих стенах домов бросались в глаза огромные плакаты:

УОЛДЕН Х.ЛЬЮКАС против ВЗЯТОЧНИКОВ!

Каждый гражданин города Чикаго должен СЕГОДНЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ, прийти вечером в ратушу и приходить туда каждый понедельник до тех пор, пока не решится вопрос о городских железнодорожных концессиях.

Мы должны отстоять интересы города и защитить его от ГРАБИТЕЛЕЙ.

ГРАЖДАНЕ, ПРОБУДИТЕСЬ И ПОКОНЧИТЕ СО ВЗЯТОЧНИКАМИ!

Крикливые газетные заголовки призывали к тому же; в церквах, клубах и других общественных местах произносились зажигательные речи. Люди, казалось, были опьянены яростным неистовством борьбы. Нет, они не подчинятся этому титану, который вознамерился посягнуть на их права, не позволят этому дракону, залетевшему к ним из Восточных штатов, пожрать город. Он либо честно заплатит городу дань, либо будет изгнан из его пределов. Пусть и не мечтает о концессии на пятьдесят лет. Закон Мирса должен быть отменен, и Каупервуд должен явиться в муниципалитет как скромный и честный проситель. Ни один олдермен, получивший от него хотя бы доллар, не может считать свою жизнь в безопасности.

Нужно было обладать солидным запасом храбрости, чтобы противостоять таким угрозам. Олдермены не были героями. На заседаниях комитета Каупервуд, имевший туда свободный доступ, пускал в ход все свое красноречие, стараясь доказать справедливость своих притязаний. Он готов платить, так как знает, что голоса в муниципалитете продаются, но тем не менее олдермены ведь только выполняют свой долг. Несокрушимая наглость и хладнокровие Каупервуда вливали бодрость в его приспешников, а мысль о тридцати тысячах долларов была надежным щитом, способным выдержать самые грозные удары. Тем не менее многие олдермены меланхолически задавали себе вопрос: что же будут они делать после того, как продадут интересы своих избирателей?

И вот настал понедельник, день решительной схватки. Вообразите себе высокое тяжеловесное здание из черного гранита, архитектурой своей отдаленно напоминающее постройки древнего Египта; сооружение его стоило миллионы долларов, и оно служит одновременно городской ратушей и местом заседаний окружного суда. В тот знаменательный вечер все четыре улицы, на которые выходит это здание, были запружены толпами народа. В их глазах Каупервуд стал уже личностью легендарной: это был не человек, а демон, с каменным сердцем, сказочным богатством и преступными замыслами. Именно в тот вечер «Кроникл», хорошо рассчитав день и час, заполнил целую полосу весьма детальным, хотя и несколько преувеличенным описанием нью-йоркского дворца Каупервуда. Ничего здесь не было забыто — ни чудеса зимнего сада с его орхидеями, ни бело-розовая комната с ее немеркнущей зарей, ни бассейны из розового и голубого алебастра, ни мраморные статуи и фризы. Среди всей этой роскоши и неги, среди своих книг и редчайших сокровищ, на пышном ложе, устроенном наподобие качелей, важно восседал Фрэнк Алджернон Каупервуд. Далее следовали туманные намеки, из которых можно было заключить, что в часы отдохновения одалиски услаждают его плясками и развлечениями, о которых лучше даже не упоминать.

А в зале заседаний ратуши собралась в это время такая стая хищных, голодных и наглых волков, какая вряд ли когда-нибудь собиралась вместе. Зал был просторный, освещавшийся высокими окнами в южной стене и тяжелой довольно вычурной бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка; шестьдесят шесть скамей, занимаемых олдерменами, располагались полукругом в несколько рядов; отполированные до блеска черные дубовые скамьи были украшены затейливой резьбой, а на голубовато-серых стенах сверкали золотые арабески, придавая всему, что происходило в зале, оттенок пышности и величия. Над креслом председателя висел громадный, написанный масляными красками портрет бывшего мэра — прескверно исполненный, запыленный и тем не менее внушительный. В этом зале, благодаря его размерам и устройству, голоса ораторов обычно звучали отчетливо и отдавались во всех уголках, но в тот вечер их заглушали рвущиеся в затворенные окна топот марширующих ног и дробь барабанов. В вестибюль рядом с залом заседаний набилось не меньше тысячи человек — кто с палками, кто с веревками; они привели с собой даже небольшой духовой оркестр, который время от времени принимался играть «Цвети, цвети, Колумбия, счастливая земля», или «Моя страна, пою тебя», или «Дикси». Олдермен Шлумбом жаловался, что избиратели вымотали из него всю душу; он явился в ратушу в сопровождении целой толпы, человек в триста. «Телохранители» остались у дверей, предупредив свою жертву, что по окончании заседания он найдет их здесь в полном составе. Все это произвело на мистера Шлумбома чрезвычайно сильное впечатление.

— Что ж это такое? — спросил он своего коллегу и соседа по скамье, олдермена Гейвегана, когда, усевшись на место, почувствовал себя, наконец, в некоторой безопасности. — И это свободная страна?

— А черт его знает! — отвечал мистер Гейвеган устало. — В жизни еще не-видал такой шайки головорезов, какая орудует сейчас в нашем двадцатом избирательном. Нам теперь, черт подери, рта раскрыть не дают. Что газеты велят — то и делай, вот до чего дошло.

Олдермен Пинский и олдермен Хоберкорн совещались в углу; лица обоих джентльменов были хмуры.

— Вот что я вам скажу, Джо, — заявил мистер Пинский своему соратнику. — Все это натворил наш милейший Льюкас, это он взбаламутил народ. Сегодняшнюю ночь я даже не ночевал дома — боялся, как бы эти молодчики не ворвались ко мне. Мы с женой остались на ночь в конторе. А недавно прибежал сынишка и говорит, что вокруг нашего дома с шести часов — уже целая толпа, человек в пятьсот. Ну, что вы скажете?

— То же самое творится и у нас. Я, конечно, не придаю значения этой болтовне насчет линчевания и прочего. Но поручиться все же ни за кого нельзя. Я даже не уверен, что от полиции будет какой-нибудь прок. Все это просто неслыханно, черт подери! Предложение Каупервуда вполне законно. Чего они взбесились в конце-то концов?

Отворилась дверь и по залу с удвоенной силой разнеслось: «Мы шагаем по Джорджии…»

Вошли олдермены Зайнер, Надсен, Ривир, Роджерс, Тирнен и Кэриген. Из всех вышепоименованных только господа Тирнен и Кэриген сохраняли, пожалуй, внешнее хладнокровие, хотя улицы, запруженные толпами народа, горящие факелы и эмблемы в виде виселицы с болтающейся на перекладине петлей выглядели достаточно внушительно.

— Скажу тебе по совести, Пэт, — заметил «Веселый Майк», когда они в конце концов пробились к двери сквозь улюлюкающую толпу, — мне это не нравится. А? Как по-твоему?

— К черту! — отвечал Кэриген решительно и зло. — Пока они еще не управляют моим округом и мне не указ. Я буду голосовать так, как пожелаю, черт их дери!

— И я тоже, — явно храбрясь, заявил Тирнен. — Ты сказал слово в слово то, что я думаю. Но дело будет жаркое, а?

— Ну, жаркое, — буркнул Кэриген, с подозрением вглядываясь в своего собеседника — уж не собирается ли он забить отбой? — Да меня этим не запугаешь.

— И меня тоже, — поддакнул «Веселый».

Под звуки духового оркестра, исполняющего марш, появляется мэр и всходит на трибуну. Снаружи доносятся восторженные клики. Галерею заполняет специально подобранная публика. Когда кто-нибудь из олдерменов поднимает глаза, он видит перед собой море недружелюбных лиц.

— Станьте навытяжку перед гостями господина мэра, — язвительно шепчет один олдермен другому.

Пока ведется обсуждение мелких текущих дел, на галерее перебрасываются замечаниями по адресу различных муниципальных знаменитостей, не стесняясь указывают друг другу то на одного олдермена, то на другого.

— Вон, глядите — это Джонни Даулинг, вон тот жирный, белобрысый, голова как шар. А вот Пинский — видите вы эту крысу? А вон и Кэриген. Мое почтение, господин Изумруд. Эй, Пэт, ты все еще таскаешь свое сокровище? Ну, сегодня тебе не удастся получить взятку, Пэт. Сегодня твое дельце не выгорит.

Олдермен Уинклер (каупервудовец). С позволения господина председателя, галерею следует призвать к порядку, дабы мы имели возможность спокойно заниматься делами. Я считаю возмутительным, что в такую минуту, когда интересы населения требуют величайшего внимания…

Голос. Ишь ты — интересы населения!

Другой голос. Сядь на место! Тебя подкупили!

Олдермен Уинклер. С позволения господина председателя…

Мэр. Я вынужден просить публику, занимающую места на галерее, соблюдать тишину, чтобы мы могли заняться обсуждением очередных вопросов. (Аплодисменты, шум на галерее стихает.) Олдермен Гуиглер (олдермену Сумулскому). Здорово он их вышколил.

Олдермен Балленберг (каупервудовец — толстый, холеный, с румянцем во всю щеку — поднимается с места). Прежде чем представить на рассмотрение проект, который назван моим именем, я хотел бы, с разрешения собравшихся, сделать заявление. На прошлой неделе, предлагая этот проект, я сказал…

Голос. Знаем мы, что ты сказал.

Олдермен Балленберг. …я сказал, что предлагаю проект, потому что меня об этом просили. Теперь я хочу пояснить, что просьба эта исходила от ряда лиц, выступавших затем перед комитетом, на рассмотрение которого был передан проект…

Голос. Ладно, Балленберг, хватит. Мы знаем, для кого ты стараешься. Нечего зря языком молоть.

Олдермен Балленберг. С позволения господина председателя…

Голос. Садись на место, Балленберг. Дай высказаться другим взяточникам.

Мэр. Попрошу галерею не прерывать оратора.

Олдермен Хвранек (вскакивает с места). Это возмутительно! Вся галерея забита субъектами, которые явились сюда, чтобы угрожать нам. Крупная, пользующаяся широкой известностью компания, которая в течение многих лет обслуживает наш город, и обслуживает, надо сказать, превосходно, вносит теперь вполне разумное предложение в муниципальный совет, а нас лишают даже возможности спокойно обсудить это предложение. Мэр заполнил галерею своими друзьями-приятелями, а газеты возбуждают население и собирают толпы крикунов, пытаясь нас запугать. Я, со своей стороны…

Голос. Чего ты так распетушился, Билли? Не получил еще своих денежек?

Олдермен Хвранек (у него интеллигентная, даже изысканная внешность, его говор выдает в нем поляка; он грозит кулаком кому-то на галерее). Ну-ка, спустись сюда и повтори то, что ты сказал! Что, струсил?

Пятьдесят голосов хором. Хо! Хо! Билли, уноси скорее ноги!

Олдермен Тирнен (встает). Послушайте-ка, господин мэр! Не пора ли положить конец этому безобразию?

Голос. Глядите, это кто? Никак, сам «Веселый Майк»?

Другой голос. Сколько ты рассчитываешь получить, Майк?

Олдермен Тирнен (поворачиваясь к галерее). А ну, спускайся сюда вниз, давай-ка потолкуем лицом к лицу! Меня веревками и ружьями не запугаешь. Я говорю — эта компания чего-чего только не делала для города…

Голос. Ого!

Олдермен Тирнен. Если бы не наши городские железнодорожные компании, у нас и города-то приличного не было бы.

Десять голосов хором. Ого!

Олдермен Тирнен (храбро). У меня свое мнение, я чужим умом не живу.

Голос. Оно и видно.

Олдермен Тирнен. Я стою за то, чтобы город получил компенсацию за те привилегии, которые мы намерены даровать.

Голос. А что ты за это получишь, ворюга?

Олдермен Тирнен. Я плюю на этих бродяг и трусов, чего они там горланят, на галерее. Я говорю — нужно дать компании то, на что она имеет право. Она помогла создать город.

Пятьдесят голосов хором. Ого! Скажи лучше — тебе нужно набить себе карман, вот что тебе нужно! Смотри, будешь сегодня голосовать за компанию

— пожалеешь!

Большинство олдерменов — кроме самых матерых муниципальных волков — уже явно струхнули перед лицом столь грозного натиска. Какой толк препираться с галереей? Как можно сладить с этой толпой, окружившей здание? Мэр — против них, репортеры стенографируют каждое случайно оброненное слово.

— Не знаю, что тут можно поделать, — говорит олдермен Пинский олдермену Хвранеку, своему соседу. — Пожалуй, лучше и не пытаться.

Поднимается олдермен Джиллеран — худощавый, бледный, похожий на ученого

— антикаупервудовец. По предварительному сговору именно он должен подвергнуть проект еще одному и, как вскоре выясняется, — решающему испытанию.

— С позволения председателя, — говорит Джиллеран, — я предлагаю пересмотреть вынесенное ранее решение, согласно которому проект Балленберга о выдаче концессии сроком на пятьдесят лет был передан на рассмотрение объединенного комитета по вопросам благоустройства, и передать этот проект на рассмотрение комитета городской ратуши.

Следует пояснить, что означенный комитет считался среди членов муниципалитета самым захудалым и малозначительным. На его обязанности лежало выдумывать новые названия для улиц и определять часы работы служебного персонала ратуши. В этом комитете решительно нечем было поживиться — ни взяток, ни преподношений. Поэтому при распределении мест среди новых членов муниципального совета всех сторонников мэра, всех «неблагонадежных» советников самым бесцеремонным образом спровадили в этот комитет. И вот вносится предложение — вырвать проект из рук доброжелателей и передать его в комитет, где он, без сомнения, будет погребен на веки веков. Наступало последнее испытание сил.

Олдермен Хоберкорн (его клика всегда выпускает этого оратора как наиболее изощренного в процедурных вопросах). Решение не может быть пересмотрено. (Следует пространное разъяснение причин, прерываемое свистом.) Голос, Сколько тебе заплатили?

Другой голос. Да ты всю жизнь кормился взятками.

Олдермен Хоберкорн (метнув вызывающий взгляд на галерею). Вы пришли сюда, чтобы запугать нас, но вам это не удастся. Мы вас презираем.

Голос. А ты слышишь, как гремят барабаны?

Другой голос. Ты только проголосуй за компанию, Хоберкорн, — тогда увидишь. Мы тебя не первый день знаем.

Олдермен Тирнен (про себя). А дело-то скверно, как я погляжу…

Мэр. Возражение необоснованно. Отклоняется.

Олдермен Гуиглер (растерянно). Мы что же — будем сейчас голосовать джиллерановское предложение?

Голос. Вот именно. И гляди — голосуй как надо.

Мэр. Да, приступаем к голосованию. Секретарь произведет подсчет голосов по списку.

Секретарь (выкликает имена начиная с буквы «А»). Алтваст? (Это каупервудовец.) Олдермен Алтваст. За. (Страх оказался сильнее его.) Олдермен Тирнен (олдермену Кэригену). Ну вот, одного младенца уже застращали.

Олдермен Кэриген. Н-да…

— Балленберг? (Это тоже каупервудовец — тот самый, что внес на рассмотрение проект.)

— За.

Олдермен Тирнен. Что это? И Балленберг в кусты?

Олдермен Кэриген. Похоже, что так.

— Кэниа?

— За.

— Фогарти?

— За.

Олдермен Тирнен (ему явно не по себе). Ну вот — теперь Фогарти.

— Хвранек?

— За.

Олдермен Тирнен. И Хвранек!

Олдермен Кэриген (о своих малодушных коллегах). Душа в пятки и хвосты поджали!

Ровно через восемьдесят секунд голосование было закончено. Каупервуд потерпел поражение сорока одним голосом против двадцати пяти. Теперь уже было ясно, что проект его полностью провалился.

62. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Случалось ли вам видеть человека, удрученного постигшей его тяжелой неудачей? Потухший взор, душа в изнеможении, скованная ледяным дыханием беды. В десять тридцать того памятного вечера Каупервуд, сидя один в библиотеке своего дома на Мичиган авеню, вынужден был взглянуть правде в глаза и признать, что потерпел поражение. Слишком много было поставлено на карту. И теперь уже не стоило говорить себе, что можно выждать, пока утихнет буря, и через неделю-другую явиться в муниципальный совет с новым, видоизмененным проектом концессии. Каупервуд не нуждался в самоутешениях такого рода. Он бился долго и отчаянно, пуская в ход все средства, все ухищрения своего изворотливого ума. Целую неделю, день за днем, проводил он в одной из зал ратуши, где шли заседания комитета. Невелико утешение знать, что путем бесконечных тяжб, кассаций, апелляций, пересмотров постановлений и прочих кляуз можно затянуть это дело на годы, сделать его добычей законников и проклятьем города, создать такую путаницу и неразбериху, что ее безуспешно все еще будут пытаться распутать, когда и он и его недруги давно истлеют в могилах. Последняя схватка назревала медленно и долго, он готовился к ней годами и с великим тщанием. Одержав такую победу, его враги воспрянут духом. Все его пособники из муниципалитета — напористые, алчные, закаленные борцы (ведь он подбирал их, словно римский император свою личную охрану, из наиболее оголтелых, наглых и таких же решительных, как он сам) — не выстояли в последнем бою, дрогнули и сдались. Как укрепить их ослабевший дух для новой схватки, как дать им силы выдержать гнев и ярость населения, познавшего, как достигается победа? Другим надлежит теперь вмешаться в это дело — Хэкелмайеру, Фишелу, кому-нибудь из числа могущественной шестерки восточных финансистов, — вмешаться и усмирить разбушевавшуюся стихию, ярость которой пробудил он, Каупервуд. Сам же он устал; Чикаго ему опостылел! Опостылела и эта нескончаемая борьба. Он даже дал себе слово: если его дело выгорит, никогда не пускаться впредь в столь рискованные авантюры, требующие слишком большой затраты сил. К чему? При его богатстве в этом нет никакой нужды. Кроме того, несмотря на всю свою неукротимую энергию, Каупервуд чувствовал, что начинает сдавать.

После разрыва с Эйлин он был совсем одинок — из его жизни ушли все, кого связывали с ним воспоминания молодости. Прелестная Беренис — венец всех его желаний — продолжала его чуждаться. Правда, за последние дни она как будто стала выказывать ему чуть-чуть больше сердечности, но что было тому причиной? Снисходительное сочувствие, быть может? Или признательность? Едва ли другие более нежные чувства могли пробудиться в ней, с горечью думал Каупервуд. Заглядывая в будущее, он мрачно говорил себе, что должен бороться, бороться до конца, что бы ни случилось, а потом…

Так он сидел в одиночестве своей огромной библиотеки, и только звонки телефона нарушали время от времени безрадостное течение его дум. Но вот кто-то позвонил у парадного входа, и слуга, подавая Каупервуду визитную карточку, доложил, что какая-то молодая особа ожидает его внизу и не сомневается, что будет немедленно принята. Каупервуд взглянул на карточку, вскочил и бросился вниз по лестнице, спеша к той, что была ему сейчас нужнее всех на свете.

Трудно бывает порой проследить весь сложный и запутанный ход тончайших, едва уловимых перемен, которые постепенно совершаются в сознании человека и приводят его в конце концов к душевному компромиссу. Когда Беренис Флеминг впервые увидела Каупервуда, она сразу почувствовала исходящую от него силу и поняла, что имеет дело с личностью незаурядной. С тех пор мало-помалу ему удалось привить ей взгляды довольно рискованные и опасные с точки зрения тех условностей, в которых она была воспитана, — стремление к свободе поступков и презрение к общепринятым нормам поведения и морали. Затем, мысленно следуя за ним во всех перипетиях чикагской борьбы, Беренис невольно была захвачена грандиозностью его замысла: она видела, что Каупервуд был на пути к тому, чтобы стать одним из финансовых гигантов мира. Во время его последних наездов в Нью-Йорк он, казалось, весь был во власти своей честолюбивой мечты, но Беренис читала в его глазах, что венцом всех его стремлений является она сама. Так он уверял ее однажды. И, наконец, Каупервуд всегда был щедр, покорен ей, предан и терпелив.

И вот Беренис приехала под вечер в Чикаго, остановилась у своих друзей в отеле Ришелье и теперь предстала перед Каупервудом.

— Так это вы, Беренис! — воскликнул Каупервуд, широким сердечным жестом протягивая ей руку. — Когда вы приехали в город и что привело вас сюда? — Он вспомнил вдруг, как молил ее однажды — тотчас, любым путем, дать ему знать, если в ее отношении к нему произойдет перемена. И вот она здесь, перед ним — с какой целью? Ему бросился в глаза туалет Беренис — коричневый шелковый костюм, отделанный бархатом. Как он подчеркивает ее мягкую кошачью грацию!

— Вы привели меня сюда, — сказала Беренис. В словах ее прозвучал и едва уловимый вызов и признание себя побежденной. — Я прочла вечерние газеты и подумала, что, быть может, я и в самом деле нужна вам сейчас.

— Вы хотите сказать?.. — начал Каупервуд и умолк. Глаза его загорелись.

— Да, я согласна. К тому же, рано или поздно, мне ведь придется расплачиваться с вами.

— Беренис! — воскликнул он с упреком.

— Нет, нет, я не то сказала, — поспешно поправилась Беренис. — Не сердитесь! Мне кажется, я теперь лучше понимаю вас. Ну, словом, — весело добавила она, словно стараясь себя подбодрить, и голос ее зазвенел, — я теперь сама так хочу.

— Беренис! Это правда?

— Разве вы не видите? — спросила она.

— Что ж, тогда… — сказал он, улыбаясь и протягивая к ней руки, и, к его изумлению, она сделала шаг вперед.

— Я сама не понимаю, что со мной, — проговорила она скороговоркой, приглушенным голосом, с трудом подавляя волнение. — Но я не могла больше оставаться вдали от вас. Мне все казалось, что вы на этот раз можете потерпеть поражение. И, если это случится, я хочу, чтобы вы уехали отсюда куда-нибудь — в Лондон или в Париж… В свете нас не поймут, конечно, но теперь я смотрю на все иначе.

— Беренис! — Он нежно гладил ее щеки и волосы.

— Нет, повремените еще. И вам придется теперь позабыть о других дамах, иначе я возьму свое слово обратно.

— Никто, никто мне теперь не нужен, кроме вас. Вы должны разделить со мной все, что я имею…

В ответ Беренис…

Как странно выглядят мечты, когда они претворяются в действительность!

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Человечество одурманено религией, тогда как жить нужно учиться у жизни, и профессиональный моралист в лучшем случае фабрикует фальшивые ценности. В конечном итоге бог или созидательная сила — не что иное, как стремление к равновесию, которое для человечества находит свое приблизительное выражение в общественном договоре. Примечательность этой силы заключается в том, что она порождает отдельные личности во всем их бесконечном и ослепительном многообразии, а также порождает массы с присущими им проблемами. Но и тут рано или поздно неизбежно наступает равновесие, когда массы подчиняют себе отдельную личность или отдельная личность — массы… на какой-то срок. Ибо океан вечно кипит, вечно движется.

Тем временем рождаются на свет социальные понятия, слова, выражающие потребность в равновесии. Право, справедливость, истина, нравственность, чистота души и честность ума — все они гласят одно: равновесие должно быть достигнуто. Сильный не должен быть слишком силен, слабый — слишком слаб. Но ведь прежде чем прийти в равновесие, чаши весов должны колебаться! Нирвана! Нирвана! Конечный покой, равновесие.

Подобно метеору, который, прочертив небо, оставляет за собой огненный след, Каупервуд на какой-то краткий срок явил взорам людей свое «я» — удивительное и страшное. Но и ему диктует свою волю все тот же закон вечного равновесия, и «ему суждено сделать трагическое открытие, что даже гиганты — всего лишь пигмеи, и что вечное равновесие будет достигнуто. А что сказать о растерянности, испуге, муках, о душевном смятении тех, кто, попав в орбиту его полета, был выбит из привычной колеи обыденного? Кто они? Члены законодательного собрания, числом около ста, изгнанные с арены политической деятельности, затравленные и сошедшие в могилу. Члены муниципальных советов различных созывов, числом около пятидесяти, возвращенные, невзирая на их негодующие или жалобные вопли, к унылому, безрадостному существованию и преданные забвению. Величественный губернатор, грезивший идеалами и уступивший материальной необходимости, истязая себя сомнениями и клеймя того, кто пришел ему на помощь. Еще один губернатор, более сговорчивый, которому выпало на долю быть освистанным народом, удалиться от дел и, после мрачных и недоуменных размышлений, наложить на себя руки. Шрайхарт и Хэнд, проникнутые мстительной злобой, не в силах понять, удалось ли им восторжествовать над Каупервудом, так

и умерли, не разрешив вопроса. Мэр, насладившийся своим триумфом, разрушивший планы того, кто так его презирал, всю жизнь потом твердил: „Это загадка. Это удивительный человек“. Огромный город, много лет подряд пытавшийся распутать то, что никому и никогда не удавалось распутать, — гордиев узел.

Сам же титан, вечная жертва своих страстей, по-прежнему бросается из одной схватки в другую, преодолевает новые препятствия, новые трудности в другой стране с более древней историей, но не может обрести покоя, не может достичь истинного познания жизни. Только алчность — алчность и жадное любопытство толкают его вперед. Деньги, деньги, деньги! Снова гигантские авантюры, снова борьба за их осуществление. Снова прежняя беспокойная жажда ощущений и новизны, которую ему никогда не утолить до конца. В Дрездене — дворец для некоей дамы, в Риме — еще один, для другой. В Лондоне — третий дворец, для его возлюбленной Беренис, чья красота не перестает прельщать его. Двум женщинам непоправимо исковеркана жизнь, десятки других жертв оплакивают свою с ним встречу. Сама Беренис все еще ослепительно хороша, но сердце ее увяло; ей нечем вознаградить себя за бесплодно растраченную юность. А он и мирится с этим и нет — любя, сомневаясь, сочувствуя, — околдованный этой женщиной, первой и единственной, которой он не может противостоять.

Подводя итог, что же нам сказать о жизни? «Покоя, покоя, отдохновения…»? Решим ли мы упорно бороться за то равновесие, которое, как мы знаем, должно наступить и — будем мы бороться за него, или нет — все равно наступит, чтобы сильный не мог стать слишком сильным и слабый слишком слабым? Или, быть может, пресытившись тусклой обыденщиной, скажем: «Хватит. Мы хотим достичь или умереть!» И умрем? Или будем жить?

Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себя наделил и потому не всегда умеет им управлять и которым не всегда умеют за него управлять другие. Кто указывает нам путь, то вознося нас к ослепительным вершинам славы и почестей, то ломая, калеча, наделяя темной, отталкивающей, противоречивой или трагической судьбой? Душа, что внутри нас? А чье же она порождение? Бога?

Во мраке неведомого зреют зародыши бесконечных горестей… и бесконечных радостей. Можешь ты обратить пламенем стены Трои? Что предопределило плач Андромахи? На каком ведьмовском шабаше решилась участь Гамлета? И почему вещие сестры предрекли гибель кровавому шотландцу?

Кипи, котел! Шипи! Бурли!

Огонь, гори! Вари! Вари!

Во мраке неведомого зреют зародыши бесконечных горестей… и бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор к восходящему солнцу? Тогда радуйся. И если в конце концов оно ослепит тебя — все равно радуйся! Ибо ты жил.

Note1

прежде всего! (франц.)

Note2

прелестно! (франц.)

Note3

остроумные словечки (франц.)

Note4

уверенностью (франц.)
